Библиотека
всемирной литературы

Серия первая *

Литература Древнего Востока
Античного мира
Средних веков
Возрождения
XVII и XVIII веков

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ПЛУТОВСКОЙ РОМАН

ЖИЗНЬ ЛАСАРИЛЬО С ТОРМЕСА, ЕГО НЕВЗГОДЫ
И ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ

●

ФРАНСИСКО ДЕ КЕВЕДО-И-ВИЛЬЕГАС

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ПРОЙДОХИ ПО ИМЕНИ ДОН ПАБЛОС

●

ЛУИС ВЕЛЕС ДЕ ГЕВАРА

ХРОМОЙ БЕС

●

АЛОНСО ДЕ КАСТИЛЬО-И-СОЛОРСАНО

СЕВИЛЬСКАЯ КУНИЦА

●

ТОМАС НЭШ

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ СКИТАЛЕЦ,
ИЛИ ЖИЗНЬ ДЖЕКА УИЛТОНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1975

Вступительная статья
Н. Томашевского

Сб 3
П 40

Иллюстрации
В. Носкова

П $\frac{70304\text{-}045}{028(01)\text{-}75}$ подписное

© Издательство «Художественная литература», 1975

ПЛУТОВСКОЙ РОМАН

Настоящая книга является первой на русском языке попыткой собрать воедино некоторые характерные образцы того жанра, который зародился в Испании в середине XVI века и который вскоре распространился с таким беспримерным успехом по всей Западной Европе и перешагнул далеко за океан, в страны Латинской Америки. Жанр этот получил наименование «плутовского романа».

Однако понятие «плутовской роман» настолько зыбко, что с самого начала здесь требуется дать некоторые предварительные пояснения. Хронологические границы жанра порой раздвигались совершенно неправомерно. От «Сатирикона» Петрония до «Признаний авантюриста Феликса Круля» Томаса Манна и «Призовой лошади» Фернандо Алегрии. Порой же они сужались едва ли не до одного «Гусмана де Альфараче». Между тем плутовской роман — жанр исторически завершенный, то есть имеющий определенные временные пределы. Жанр плутовского романа предполагает прежде всего некоторую преемственность содержательных и структурных моментов, связанных с определенной поэтикой, моральной проблематикой, с определенными утверждениями о жизни и человеке, принятыми однажды в одном произведении и разрабатываемыми и обновляемыми в произведениях последующих писателей, отражающих сходную историческую реальность. Когда же эта историческая реальность была преодолена, некоторые признаки жанра включились в иные литературные системы. Разобщение формы и содержания — верный признак завершения исторической жизни жанра. Плутовской роман прожил почти столетнюю жизнь, окончательно исчерпав себя к середине XVII столетия. Все, что последовало потом в этом жанре, было пустым эпигонством. Другое дело, что и в более поздние времена с успехом использовались отдельные его приемы. Но кто всерьез решится утверждать, что «Мертвые души» — плутовской роман?

Второе предварительное замечание. Мнение о том, что плутовской роман является романом реалистическим, по всей вероятности, справедливо. Но что понимать под его реализмом? Один из лучших знатоков испанской литературы, Марсель Батайон в своей работе о «Ласарильо с Тормеса» писал: «Ласарильо» разом и прозрачен и таинствен. На первый взгляд кажется, что в этом произведении отражена сама Испания. Ласаро, слепой, скупердяй-священник из Македы, голодный дворянин, продавец папских грамот, многие эпизодические персонажи кажутся прямо перенесенными из жизни в книгу. Но более внимательное рассмотрение заставляет оценить степень участия в этом собственно литературы». Плутовской роман реалистичен, но не в смысле натурализма или реализма XIX века. Сомнительна правота социологической критики, которая пытается наделить плутовской роман документальным значением, пытается на основе его анализа воссоздать жизнь, общество, нравы и обычаи испанского «золотого века». Следует помнить, что в эпоху плутовского романа еще действовала классическая поэтика правдоподобия, согласно которой закон литературного произведения не отражение правды, а создание правдоподобия, создание такого образа мира, который бы не противоречил законам действительности, который, не будучи ею, тем не менее мог бы ею казаться. Следует помнить и о том, что стиль плутовского романа является низким и идея его была завещана Возрождению еще античной риторикой. И стиль этот в силу ряда культурно-исторических причин оказался стойким именно в Испании. Настолько стойким, что даже был принят за чистейшее выражение национального духа. Плутовской роман и на самом деле изображает грубую, тягостную реальность, но реальность не непосредственную, а преображенную на основе идеологических представлений и навыков, свойственных литературному мышлению создателей романа. В статье об «Эстебанильо Гонсалесе» Хуан Гойтисоло писал, как в застывшую структуру испанского повествования XVI века ворвались элементы реальности и как они расшатали эту структуру. В этой связи он говорит о «Ласарильо с Тормеса» и как о формальной оппозиции существующей литературной модели с господствующей в ней фигурой идеального рыцарского героя. «Ласарильо,— пишет Гойтисоло,— не только отражение паразитической фауны Испании XVI века, но и антигерой, появление которого может быть объяснено также и одряхлением и износом приемов и мотивов рыцарских романов» [1].

В плутовском романе фигура пи́каро представляет собой не столько реального пикаро, сколько литературную его транскрипцию. Вот с такими оговорками и можно говорить о реализме плутовского романа, поскольку в его основе лежит все же определенная историческая действительность, хотя и несколько преображенная. Что же это была за действительность?

---

[1] Juan Goytisolo. Estebanillo González, hombre de buen humor.— «Cuadérnos de ruedo ibérico», 1966, № 8, p. 78

Казалось, ничто не предвещало краха. Правление императора Карла явилось для Испании эпохой наивысшего политического и военного могущества. Но в то же время оно явилось и началом экономического и общественного упадка. Правления Филиппа Второго и Филиппа Третьего доконали экономику страны, сохраняя еще внешние признаки государственного могущества. При Филиппе Четвертом крах стал уже очевидностью для всех.

Начиная с восстания комунерос обозначилось значительное уменьшение притока ценных металлов из Америки в метрополию. Уменьшение притока было вызвано истощением рудников, ростом контрабанды, растущим пиратством, расширением торговли между Америкой и Азией (после завоевания Филиппинских островов), увеличением населения Америки и оживлением ее экономической жизни. Характерно и другое. Несмотря на жестокую протекционистскую политику, ввоз ценных металлов, вместо того чтобы оплодотворять национальную экономику, обогащал другие европейские страны. Частично это объяснялось тайным вывозом золота и серебра, частично — необходимостью делать закупки зерна и других продуктов. Особенно же пагубно сказалась на хозяйстве страны имперская политика испанских Габсбургов (Нидерланды, итальянские походы). Недаром один видный сановник церкви восклицал: «О государи, кто ослепил вас и внушил вам мысль, будто можно разбогатеть войною, забывая о том, что благодаря миру можно оставаться богатым!»[1] Ввоз драгоценных металлов сопровождался ростом цен. Государственный долг катастрофически полз вверх, чему не могли помешать никакие дополнительные налогообложения. Обнаружилось полное банкротство. Неслыханные расходы по содержанию самого пышного двора в Европе, жульничество при чеканке монет, воровство раздутого до неимоверных пределов чиновничества полностью истощили государственную казну. Поборы множились, но они не касались аристократии и церкви, владевших большей частью земли. Цены росли, а доходы трудящегося населения оставались прежними.

Поражение народных движений вроде кастильских комунерос и херманий Валенсии и Майорки (1521—1522 гг.) привело к возвышению аристократических слоев дворянского класса, отличавшихся полнейшим отвращением к труду, равнодушных к промышленности и сельскому хозяйству, застывших в обожествлении понятий крови и дворянской чести. Этот обширный класс, почти вовсе освобожденный от налогов, владел гигантскими территориями, почти безраздельно располагал ключевыми постами в системе судопроизводства, хозяйничал в армии и в сфере управления. От него, как китайской стеной, был отделен народ, бесправный и допущенный преимущественно к скотоводству, сосредоточенному под эгидой так называемого Совета Месты, который находился под контролем короны. Этот Совет препятствовал развитию частного скотоводства, с одной стороны, и был упорным противником земле-

[1] García Mercadal. Estudiantes, sopistas y pícaros. Buenos Aires, 1954, p. 172.

делия — с другой. Огромные дворянские поместья приходили в упадок, так как работали там почти исключительно рабы и мориски, а с окончательным выдворением последних (1609—1614 гг.) была уничтожена трудолюбивая прослойка тогдашнего испанского общества. Работать стало фактически некому.

Массы жили в ужасающей нищете, и эта нищета, отягощенная презрением к каждодневному систематическому труду, в сочетании с всеобщим ослеплением легкой наживой за океаном, обезлюживанием деревни и переселением в города, способствовала созданию если не класса в строгом смысле слова, то обширной прослойки авантюристов, бродяг, тунеядцев и бездельников. Образованию этой прослойки не только не препятствовали всевозможные благотворительные учреждения и подаяния, но напротив — они лишь умножали эту категорию разношерстных тунеядцев и авантюристов. Нищета, общественное отчаянье, безнадежность и моральное разложение породили пикаро. Впервые это слово было зарегистрировано в литературных текстах 1540-х годов. Означало оно человека, занятого черным трудом, не имеющего своей профессии и живущего случайными заработками, бродягу, мошенника. Наиболее вероятная этимология: от «пикардийца», жителя Пикардии, поставлявшей наемных солдат, которые часто превращались в бродяг и дорожных грабителей. К категории пикаро относились студенты-недоучки, мелкие безработные чиновники, бывшие солдаты, разорившиеся дворяне, шуты, картежники, приживальщики, воры, проститутки. У них был свой жаргон, своя иерархия, свои организации, свои законы. Никакие королевские указы не могли искоренить это быстро растущее племя. Следует, однако, иметь в виду, что помимо пикаро между дворянством и народом находилась еще одна значительная и разнородная прослойка испанского общества, которая не могла конституироваться в сословие. Дело в том, что в силу разнообразных причин (абсолютизм Габсбургов, иммиграция иностранных торговцев и ремесленников, отсутствие экономических корней и т. д.) в Испании к тому времени так и не сложилось буржуазии. Прослойка эта представляла собой аморфную массу, так называемую «апикарадо», презираемую аристократией и служилым дворянством и, в свою очередь, презирающую простой народ и порой смешивающуюся с пикаро. Не найдя себе подобающего места в общественной системе, апикарадо стали в оппозицию к этой системе. Они понимали ее иллюзорность, но в силу собственной аморфности ничего, кроме протеста, противопоставить ей не могли. И как проницательно заметил один из крупнейших исследователей испанского плутовского романа, «в национальной жизни пикаро явился продуктом упадка Испании, но в ее литературе он стал самой могучей формой протеста»[1].

Протест этот осуществлялся в условиях усилившейся католической реакции, в эпоху барокко.

---

[1] F. W. Chandler. La novela picaresca en España. Madrid, 1913.

Испанское барокко — это не только литературный феномен, но в равной мере политический и этический. Это способ познания и восприятия жизни. Он теснейшим образом связан с идеологией контрреформации. Человек барокко осознает жизнь с точки зрения религиозного визионерства. Первейшей обязанностью государства полагается защита и возвеличение католической церкви; испанский народ объявляется народом-избранником, назначение которого — сокрушение неверных.

Испанское барокко унаследовало от Возрождения его натурализм, понимание мира как движения и борьбы форм, но привило этому наследию традицию — никогда, впрочем, не прерывавшуюся — средневековья с его сознанием неизбежности конца. Возникает культ преувеличения, культ чудовищного, уродливого (как напоминание о смерти, неизбежном конце). В силу контрреформистского сознания, испанское барокко признавало наличие в естественном сверхъестественного, признавало за индивидуумом, даже самым заблудшим, возможность спасения с помощью свободной воли, признавало в нем сопричастность к божественному промыслу и тем самым способность к преодолению разочарования, пессимизма, чувства тщеславия и всяких других заблуждений. Требовалась неукоснительная вера в загробное существование. Для испанского барокко характерны противоположение реальности — иллюзии, духа — материи, восхваление жизни, проникнутой страхом смерти. Барочная испанская литература в ее ортодоксальном варианте проникнута религиозными целями и учительными тенденциями.

Но за этим контрреформистским щитом прятался экономический крах, моральное разложение — словом, та реальность, глядя на которую незамутненным глазом нельзя было не заметить всей отчаянности положения. Вот это-то и не ускользнуло от среды, которая не разделяла официальной барочной идеологии, то есть от среды апикарадо, этих несостоявшихся буржуа, не лишенных культуры и зрелости. Писатели этого лагеря попытались ответить на вопросы, поставленные действительностью, плутовским романом. Конечно, ответили они далеко не на все вопросы. Да и не могли ответить. Конструктивных идей, которые они могли бы предложить обличаемому обществу, у них не было. Они выступили в роли недовольных, в роли критиков, порой острых и саркастичных. Самый жанр (низкий по тогдашней иерархии) допускал такие возможности, которые в жанрах высоких были решительно немыслимы. Здесь допускался даже относительный религиозный индифферентизм. Великая заслуга этих писателей в том, что они в обстановке застоя, вызванного жесточайшей реакцией, все же сумели отобразить упадок и разложение общества, ясно выразить свое в нем разочарование и горькое беспокойство за будущее. Надуманным героям аристократического барокко они противопоставили своего антигероя, иллюзиям — реальность. Другое дело, что допустимые тогдашними условиями существования литературы пределы реальности были довольно быстро исчерпаны. И вот, когда реальность уже перестала питать этот жанр, он стал вырождаться: иногда в конформизм, иногда в простой сарказм, иногда в откровенную развлекательность в погоне

ва читательским успехом. Произведения, представленные в настоящем томе, свидетельствуют об этом процессе.

Первые дошедшие до нас издания «Жизни Ласарильо с Тормеса» датируются 1554 годом, хотя наиболее достоверное время написания повести — 1525—1526 годы. Есть, правда, сведения об ее издании 1550 года. Несмотря на обширнейшую специальную литературу об этом произведении, установить подлинного его автора пока так и не удалось. Без достаточных оснований авторство приписывали то Хуану де Ортега, то дону Диего Уртадо де Мендоса, то эразмисту из кружка братьев Вальдес, то Лопе де Руэда, то Себастьяну де Ороско. Многочисленными исследованиями выяснены различные литературные и фольклорные источники «Жизни Ласарильо»: зависимость, к примеру, «Рассказа пятого» повести от четвертой новеллы сборника Мазуччо Салернитано, а быть может, и от четвертой «Макеронии» Теофило Фоленго, использование мотивов «слуги многих господ», «дома, где никогда не пьют и не едят», или «репы вместо колбасы на вертеле» и т. д. Однако все эти мотивы и анекдоты пересказаны в коротком романе о злоключениях Ласарильо совершенно по-своему, образуя с другими элементами оригинальный художественный сплав. В целом роман анонимного автора представляется прежде всего ироническим противопоставлением чудесному и сентиментальному миру рыцарских романов, пользовавшихся в Испании того времени большой популярностью. Иронические параллелизмы и горькие противопоставления тут многочисленны. Начать хотя бы с мотива воспитания рыцарского героя и плутовского антигероя. В связи с этим следует вспомнить, что, начиная с первых средневековых образцов, рыцарский роман был ориентирован на побуждение читателя к рыцарской жизни, являлся своего рода путеводителем к этико-сентиментальному совершенству. Книга же о Ласарильо — горькое, ироничное «введение в жизнь», показательная автобиография, руководство по искусству жизни среди «невзгод и злоключений». «Ласарильо» противостоит учительной литературе своего времени, абстрактной и книжной, игнорирующей действительность.

Ласаро, потеряв отца и отчима, пострадавших в борьбе за существование, попадает в обучение к слепцу, который дает ему первые уроки жизни. Это был тот самый учитель, который, «не будучи зрячим, просветил и наставил» его на «правильный путь». Подобно диккенсовскому мистеру Сквирсу из романа «Николай Никкльби», основывавшему свою педагогическую систему на «воспитании рукой» и житейской практике, хозяин Ласарильо также руководствуется методом физических действий. «...слуга слепого должен быть похитрей самого черта!» — внушает он своему ученику. И в самом деле, первое же испытание, которому слепой подвергает бедного Ласаро (эпизод с «каменным зверем, с виду очень похожим на быка»), мгновенно рождает мудрую житейскую заповедь: «...надо быть начеку и не зевать, ибо я сирота и должен уметь постоять за себя». С этого момента Ласаро начинает изощряться в умении «стоять за себя». С поразительным стоицизмом мальчишка-поводырь усваивает уроки слепого учителя (эпизоды с вином, репой и колба-

сой, кистью винограда). Всякий раз Ласаро приходится расплачиваться за учение телесными увечьями, пока наконец Ласаро не превосходит наставника в изворотливости и не отплачивает ему той же монетой: ставит слепого против каменного столба, тот прыгает и разбивает голову. Начальный курс науки жизни завершен. Теперь Ласаро может постоять за себя. Он готов к преодолению «невзгод и злоключений». Если «Рассказ первый» учит, что в жизни необходимы хитрость, изворотливость, плутовство и нечувствительность, что без них не обойдешься и что только с их помощью и можно осилить чужую хитрость, жестокость и плутни, то «Рассказ второй» повествует уже о шлифовке плутовского искусства Ласаро. Дальнейшую «схолию» он проходит под руководством священника из Македы, еще более скупого, чем слепой. Именно находясь в услужении в его доме, Ласаро совершенствуется. Фигурой священника из Македы анонимный автор подчеркивает, что слепой не является каким-то исключением, частным случаем, но что скаредность и эгоизм людям свойственны вообще, да еще усугублены ханжеством.

«Рассказ третий» посвящен службе Ласаро у дворянина. Новый хозяин собственным примером являет Ласаро наглядный урок того, что честь всего лишь пустой звук и что помыслы о ее защите и поддержании приводят лишь к попрошайничеству и другим унижениям. Пожалуй, это самая гротескная фигура в повести. Научается Ласаро у дворянина и еще одной чрезвычайно существенной вещи: он воочию убеждается, что реальное и видимое — понятия в корне различные. Подтверждение этому открытию он находит, перейдя на службу к продавцу папских грамот («Рассказ пятый»). С той лишь разницей, что для дворянина желаемая видимость сталкивалась с враждебной ей действительностью, а для продавца грамот — желаемая реальность с враждебной видимостью.

Таким образом, воспитание Ласаро завершено. Он вполне созрел для противостояния житейским бурям: он познал не только человеческую скаредность и необходимость обмана для того, чтобы выжить, но и осознал тщетность понятий чести и долга, иллюзорность людских установлений и мнений. Назидательная автобиография Ласарильо с берегов Тормеса заканчивается отказом от личной чести в обмен на могущественное покровительство, отказом верить в объективную реальность ради создания удобной «собственной» надуманной реальности. «Ласарильо» не является социальной сатирой[1], как не является и «поэмой голода»[2] (голод там лишь первое инстинктивное и животное выражение тех чувств, которые движут героем на пути от нищеты к материальному благоденствию). «Ласарильо» — это книга, научающая побеждать враждебную фортуну с помощью хитрости и обмана, соревнуясь с себе подобными в алчности и бесцеремонности.

---

[1] См.: A. Morel Fatio. Recherches sur «Lazarillo de Tormes».— «Études sur l'Espagne». Paris, 1895.

[2] См.: B. Croce. «Lazarillo de Tormes». La storia dell'escudero.— «Poesia ántica e moderna». Bari, 1943.

Но назидательность изображения иронична. Декларативности и абстрактности литературной и педагогической традиции анонимный автор противопоставил конкретную реальность, которую он увидел на своей земле. Автор не согласен с этой реальностью и реагирует на нее с горечью и иронией. Точнее говоря, действительность, которую он изображает, даже не его реальность, а реальность других, всех этих многочисленных Ласарильо, которые под разными обличиями наводняли испанское общество. Это Ласаро-рассказчик представляет свое «житие» как образцовое, поучительное для других. Анонимный же создатель Ласаро-рассказчика иронизирует над его «образцовостью», обнажает его аморальность, нигде, впрочем, не выступая в качестве комментатора или судии своего героя. Авторская ирония растворена в самом изображении, которое герой-рассказчик дает своей жизни: в наивности, с которой тот упивается жульническими своими сагами, собственным практицизмом, в обезоруживающей бесхитростности, с которой тот предлагает плутовские рекомендации человечеству, отнюдь не утратившему еще нравственных и общественных понятий.

Мир, который изображает Ласаро, мир мрачный, жестокий. Согрет он лишь проявлением животных инстинктов и, быть может, лукавым сочувствием к собственной изворотливости, да разве некоторым состраданием к тем, кто еще беднее и к тому же лишен способностей поживиться за чужой счет. Ласаро принимает этот мир безоговорочно с самого детства. Он сам его частичка. Другого мира он и не знает. Он не судит его, а если судит — то только с точки зрения собственного живота. Никаких моральных или социальных суждений он себе не позволяет. С первого же своего «университета» у слепого он сознает свое одиночество. Мир для него напрочь лишен какой бы то ни было солидарности, лишен очарований, а тем самым и разочарований. Несмотря на все мытарства, злоключения и получаемые щелчки — Ласаро оптимист. Он уповает только на собственные силы, ловкость и изворотливость. В борьбе с враждебной судьбой он непрерывно оттачивает это главное свое оружие. Оптимизм и бурлескный юмор, с которым Ласаро задним числом с высоты достигнутого успеха припоминает свои проделки, не противоречат мрачности окружающей духовной панорамы. Они ее порождение.

Анонимный автор находится на удалении от своего создания (Ласаро-рассказчика). Он не разделяет ни его простодушной аморальности, ни его житейского оптимизма, но и не вмешивается в повествовательную ткань. Отдавая себе отчет в коррупции общества, пронизанного эгоизмом, ханжеством, моральной распущенностью и безответственностью, анонимный автор предпочитает выражать свое отношение к действительности остраненно: через факты и иронически поданную апологетичность тона, с которым эти факты преподносит сам Ласаро. Прием весьма любопытный и тонко проведенный автором.

Важно еще одно. Ласаро строит концепцию своей жизни на одном изначальном недоразумении: действительность открыл ему тот, кто сам был ее сомнительным знатоком. Замкнутый в вынужденном одиночестве и подо-

зрительности слепец. Стало быть, Ласаро был просвещен человеком, которому отказано в свете. Он познал действительность глазами слепого. Слепота физическая в данном случае выступает как слепота духовная. В жизненных представлениях слепого присутствуют лишь изворотливость, ханжество, маниакальная хитрость, сарказм, самодурство. Все это было в точности усвоено Ласаро. Никакого иного света. Последующие злоключения укрепили эту изначальную мистификацию действительности. На службе у идальго-голодранца Ласаро сталкивается с двумя реальностями: одну представляет его хозяин, исполненный такого горделивого чувства чести и собственного достоинства, что все его принимают за человека состоятельного; другую реальность представляет тот же хозяин, только голодный и нищий. Стало быть, в одном случае видимость, в другом реальность? Перейдя на службу к продавцу папских грамот, Ласаро вновь сталкивается с двумя реальностями: с одной стороны — распря между продавцом и альгвасилом, разоблачения, сделанные этим последним, божественное возмездие и чудо, явленное папской буллой; с другой стороны — сговор этих двух мошенников, проделка с легковерными прихожанами. И в данном случае одно—видимость, другое—реальность. Но первое (видимость) является реальностью для невежественных прихожан, которые сперва верят разоблачениям альгвасила, а затем с такой же легкостью — чудодейственной силе папской буллы. А разоблачения альгвасила? Верные по существу, но фальшивые по цели. Ведь альгвасил говорит правду только в целях обмана. В этих эпизодах проглядывает идея, которую Сервантес окрестил «engaño a los ojos» («обман зрения»), характерная для эпохи Ренессанса; согласно ей одно дело то, что есть на самом деле, другое—то, что кажется. И часто человек становится жертвой этого «обмана зрения»[1].

Ласаро отлично познал фальсифицированную реальность, понял, что истина может быть простой мистификацией, а честь — пустой видимостью и что нужда и голод являются единственной бесспорной реальностью. Он научился тому, что людская молва по большей части основана на простой мнимости, а не реальности. И потому Ласаро со всей убежденностью полагает свое счастье в материальном достатке — этой несомненной реальности, а не чести — пустой видимости. В этом смысле он представляет собой античесть, становясь как бы противоположным символом дворянина, представляющего *ультрачесть*[2]. Ласаро заключает свое существование в добровольной слепоте, соответствующей естественной слепоте первого своего наставника. «Благоденствие и вершина житейского благополучия» заключается для Ласаро в неверности жены и в бесчестном покровительстве настоятеля церкви. Концовка горькая.

Но это еще не все. Никаких реальных исторических фактов в романе нет. Но два точных исторических указания все же содержатся: сражение у ост-

---

[1] См: A. C a s t r o. El pensamiento de Cervantes. Madrid, 1925, p. 179.
[2] См.: M. B a t a i l l o n. El sentido del Lazarillo de Tormes. Paris — Toulouse, 1954, p. 22.

рова Джерба, упоминаемое в начале книги, и вступление «победоносного императора» в «славный город Толедо» в конце. Правомерно ли предположить, что в общий иронический контекст финала входит упоминание о победах императора Карла Пятого? Параллелизм слишком очевиден, чтобы с ним не считаться. В самом деле, сражение у острова Джерба (1510 г.) явилось для Испании самой настоящей катастрофой. Начало царствования Карла ознаменовалось не только экономическим истощением Испании, но и крахом той войны против мавров, которая в глазах испанцев была войной идеальной и которую они рассматривали как естественное продолжение Реконкисты и политики католических королей. Внешняя же политика Карла все более и более принимала завоевательный характер. Страна обескровливалась в европейских войнах. Росло убеждение, что имперская политика Карла Пятого противоречила народным чаяниям, истощала экономику, вела к общественному упадку. И все это ради военной славы Германской империи, то есть славы иллюзорной, Испании ненужной. Вот почему анонимный автор, находившийся в очевидной оппозиции, ввел в свое повествование реальное поражение у Джербы и иллюзорный успех императора после битвы при Павии. Таковы хронологические и исторические рамки грустно-ироничной повести, порожденной пессимизмом анонимного автора и как бы символизирующей в злоключениях горемычного Ласаро злоключения испанского народа, ввергнутого в реальную нищету и разруху ради призрачной военной славы.

Повесть или маленький роман о невзгодах Ласарильо производит впечатление своей удивительной слаженностью всех структурных и стилистических элементов, что нашло свое выражение и в совершенном слиянии авторской горькой иронии с простодушным оптимизмом героя-рассказчика, и в апологии аморальности, поданной тоном оскорбленной невинности, и в изображении судьбы нации через автобиографию пикаро. И еще одно: горькая ирония анонимного автора по отношению к действительности порой умеряется невольной и нескрываемой симпатией к жизненной силе своего героя, столь близкой и понятной человеку Возрождения.

«Ласарильо» явился как бы «архитипом» плутовского жанра, однако еще в возрожденческом варианте. Первым же классическим образцом плутовского романа стал «Гусман из Альфараче» (первая часть — 1599 г.; вторая — 1604 г.) Матео Алемана, который уже в барочном климате воспринял и преобразил опыт «Ласарильо». Испанская действительность предстоит в этом романе в гиперболизированном гротескном виде. Отрицательные аспекты деформируются и принимают монументальные пропорции. Например, темы нищего и потакающего супруге мужа, поданные в «Ласарильо» с возрожденческой умеренностью, в «Гусмане» разрастаются до жутких картин профессионального нищенства и сутенерства[1].

---

[1] См.: J. A. Van Praag. Sobre el sentido del «Guzmán de Alfarache».— «Estudios dedicados a Ramón Menéndez Pidal». Paris, 1954.

«История жизни пройдохи по имени дон Паблос» Франсиско Кеведо была напечатана впервые в 1623 году, но сочинена уже к 1613 году. До нас дошли несколько ее рукописных редакций[1].

Литературными корнями книга Кеведо уходит в плутовскую традицию. Связь ее с «Ласарильо» и «Гусманом» не подлежит никакому сомнению. Кабра зависит от священника, а дон Торибио — от нищего дворянина из «Ласарильо», университетские проделки Паблоса живо напоминают поведение Гусмана в романе Алемана. Установлена литературная зависимость и целого ряда других эпизодов и персонажей. Дело, однако, не в этих заимствованиях. Обилие литературных реминисценций натолкнуло некоторых критиков на мысль о большей (по сравнению не только с «Ласарильо», но и с «Гусманом») «литературности» романа Кеведо, об его сознательном отходе от действительности в область чистого вымысла. Думается, что дело обстоит не совсем так. Речь, как кажется, должна идти скорее об усложнении проблемы отображения реальности, а не об ее снятии. Как и в случае с Ласаро и Гусманом, жизнь Паблоса — это бегство от мира. Но уже не от мира непознанного (случай Ласаро), а от мира познанного. Процесс этот протекает, однако, значительно сложнее. Когда отец Паблоса погибает на эшафоте, сынок восклицает: «...если батюшка мой попал на лобное место, то я хочу попытаться выше лба прыгнуть». И он пытается прыгнуть, чувствуя, что над ним тяготеет родительская судьба. Но бессознательно, незаметно для самого себя, он ступает именно на отцовский путь, предварительно испробовав разные пути к спасению. «Выше лба» ему так и не удалось прыгнуть. В конце концов Паблос скатывается на дно, отвергая все и вся. Это то, что касается судьбы героя-рассказчика. Что касается панорамы жизни в романе, то она шире, чем в «Ласарильо», и значительно разнообразнее. Шире она не только за счет количества отдельных типажей, но и за счет представленных там социальных групп. С каким же душевным расположением изображает свой романический мир Кеведо? Какое социально-этическое разрешение он предлагает? В «Паблосе» уже нет строгой определенности в распределении прав автора и рассказчика. Отношение Кеведо к изображаемой им реальности гораздо неопределеннее. Кеведо способен мгновенно переходить от жестокой шутки к абсолютному бесстрастию или буйному веселью. Возможно, что это объясняется и сложностью самой человеческой и писательской натуры Кеведо. Гуманист, католик, моралист, он в то же время скептичен, ироничен, непочтителен, одержим бесом разрушительной фантазии; в пылу он порой даже может забыть свои же первоначальные намерения. Чтобы понять художническую личность Кеведо, надо представить себе исторический контраст между индивидуализмом, унаследованным от Возрождения, и требованиями религиозно-наставительного порядка, свойственными контрреформации. Оказавшись между традициями и современностью, между принуждением и свободой, между

[1] См.: A. Rodríguez Monino. Los manuscritos del «Buscón» de Quevedo.— «Nueva Revista de Filología Hispánica», VII, 1953, p. 657.

внешней дисциплиной и внутренними импульсами, писатель нередко оказывается безоружным перед хаотической реальностью; жадный к жизни и расположенный к бегству от нее, прикованный к обществу и бунтарь, склонный к самой рискованной авантюре и предрасположенный к самой полной исповеди, Кеведо не только никак не противопоставляет себя своему герою, но даже снимает самую проблему. Если содержание говорит о бегстве созданного им персонажа от реальности, то стилистика свидетельствует о бегстве самого писателя[1]. Он бежит от реальности через иронию, сарказм, карикатуру. Реальность он подменяет парадоксальным, чудовищным видением, им самим созданным. Его духовный кризис, о котором говорилось выше, отразился и в поэтике. Он не подражает реальности, а сам ее создает. Кеведо создает мир инфернальный, отвратительный, населенный почти нечеловеческими существами. Одним словом, создает что-то похожее на фантазии Босха. Альдонса, Кабра, дон Торибио, казнь отца — вот персонажи и эпизоды, которые дают наиболее отчетливое впечатление о творческом гении писателя, его неуемной фантазии, беспощадной карикатуре. Реальность «Паблоса» — бесчеловечная реальность, призрачная, ирреальная, создающая тем не менее символ того общества, которое опустилось на последнюю ступень моральной деградации. Вот в таком бегстве находит себе успокоение буйный презрительный дух Кеведо. Создавая этот абсурдный дьявольский мир, как бы купаясь в слове, он вдруг успокаивается, и горькая гримаса сменяется заразительным веселым смехом. Так с помощью изобретательной и живописной метафоры Кеведо моделирует причудливый свой мир, в котором реальные ценности приобретают иные пропорции и привычные границы стираются. Своеобразие такого видения действительности может кого-то раздражать, быть не сразу понятным, наконец даже вызвать несогласие, но разящая критическая его сила огромна. Это не игра больного воображения, а острая боль за свою землю и за свое время. Объективная направленность и разоблачительная сила романа была верно подмечена королевской цензурой. Недаром через двадцать три года после его выхода в свет он был внесен в список книг, «подлежащих серьезной чистке».

А роман «Севильская Куница» (1642), вышедший почти накануне этого запрета, получил милостивое дозволение цензуры. И вот по каким причинам. Роман написан известным и довольно плодовитым писателем Алонсо де Кастильо-и-Солорсано (1584—1648?). Среди прочей литературной продукции Кастильо Солорсано принадлежат три — получивших в свое время широкое распространение — плутовских романа. По времени написания «Севильская Куница» последний из них, лучший и, быть может, наиболее характерный как для автора, так и для заключительного периода истории плутовского романа в Испании. Жанр этот переживал серьезный кризис еще задолго до появления этой книги. Под пером писателей главным образом «коммер-

[1] См.: L. Spitzer. Zur Kunst Quevedos in seinem «Buscón».— «Arch. Romanicum», XI, 1927, S. 551.

ческого» направления плутовской жанр все более и более формализовался, утрачивая связь с действительностью. На смену пикаро приходили все чаще и чаще удачливые авантюристы, воры, красавицы проститутки; рынки и трущобы заменялись все более и более приятными для глаз интерьерами состоятельных домов; герои-рассказчики книга от книги становились все образованнее, галантнее и обворожительнее, панорама простонародной жизни заменялась будуарными эстампами и миниатюрами. Внешняя схема оставалась в основном прежней. Но в старые мехи вливалось новое вино.

Начиная с «Бакалавра Трапасы» Солорсано отказывается от приема автобиографии. Само по себе это вовсе уж не столь существенно, так как мнимый «автобиографизм» не являлся обязательным условием жанра и до Солорсано. Просто пропала нужда в комментаторе (стилистики или содержания — безразлично). Дело ведь заключалось не в литературной мистификации. Два голоса были необходимы для поддержания диалога. И не просто диалога, а спора, в ходе которого читателю незаметно являлась истина. Нынче спорить стало уже не с чем и не с кем. С тех пор как герой плутовского романа по всем статьям сравнялся с автором, всякий спор явился бы простой тавтологией. Солорсано принимает общую схему жанра и создает на ее основе приятное публике развлекательное чтение. Проживая всю жизнь при самых аристократических домах, Кастильо Солорсано по положению своему вращается в светских и литературных салонах эпохи, законодателях придворного литературного вкуса. Даже в «плутовской» своей продукции Солорсано остается связанным с излюбленной в его обществе тематикой: любовь, ревность, светскость, честь. На уровне тогдашнего придворно-светского восприятия тематика достаточно условная. И потому нет ничего удивительного, что его пикаро действуют уже не под влиянием голода, а под влиянием живейшего желания попасть в тот слой общества, обычаи и вкусы которого они, так сказать, разделяли авансом. Большинство эпизодов посвящены светским приключениям, построенным по формулам рыцарской новеллистики и только время от времени прерываемым разоблачениями происхождения того или иного персонажа. Светским приключениям посвящены вставные новеллы и в «Бакалавре Трапасе» и в «Кунице». Плутовское повествование Солорсано не знает лохмотьев, рынков, переулков. Там нет ни мизантропии, ни сарказма, ни жестокости. Вы все время слышите приятный журчащий голос повествователя, быть может немножко монотонный... Возникает странное ощущение: неужто испанское общество начала 40-х годов XVII века впало в полное оцепенение, ничего не видит и не слышит? Под пером Кастильо Солорсано антигерой превратился в настоящего героя своего времени: в его биографии не осталось и следа протеста или хотя бы полемики. В авторе вместо иронии и осуждения осталось только восхищение своим героем, его пронырливостью, изворотливостью, то есть теми качествами, которые едва ли не стали идеалом общества, лишенного гражданского самосознания и нравственных устоев. Поразительно и то, что симпатией пользовались не умные сильные преступники, могущие согласно человеческой психике

вызывать уважение и даже восхищение, а мелкие жулики, пролазы, подхалимы, которые острым словцом или ловким трюком выманивали деньги или местечко под солнцем. Эволюция плутовского жанра в Испании завершилась. Начавшись как жанр демократический, боевой, оппозиционный по отношению к окостеневшим литературным догмам, он увял у салонных каминов. Из динамического организма он превратился в риторическую формулу.

«Ласарильо с Тормеса», «История пройдохи по имени дон Паблос» и «Севильская Куница» — три книги, которые представляют жанр плутовского романа в его, так сказать, «чистом виде» на всем протяжении его исторического развития. Но есть множество других произведений, которые с большим или меньшим основанием так же причисляются к «плутовской» литературе. Два из них включены в предлагаемый сборник: «Хромой Бес» Луиса Велеса де Гевара и «Злополучный скиталец, или Жизнь Джека Уилтона» Томаса Нэша.

Повесть «Хромой Бес» (1641) принадлежит к числу замечательнейших произведений испанской прозы XVII века. В ней рассказывается об удивительных событиях, которые приключились с «вечным студентом» Клеофасом Пересом Самбульо после того, как он, спасаясь от полиции, проник в дом мадридского астролога и выпустил из колбы черта. В благодарность черт (Хромой Бес) показывает студенту ту Испанию, которую бедный Клеофас не видел и не знал и которую так прекрасно знал автор книги — Луис Велес де Гевара (1570—1644), один из крупнейших испанских драматургов школы Лопе де Вега. Облетев Испанию (главным театром наблюдений были Мадрид и Севилья, крупнейшие тогда центры общественной жизни страны), Клеофас возвращается в университет Алькалá продолжать учение, а его спутник — в преисподнюю. Даже из самого краткого пересказа фабулы повести очевидно, что к плутовскому жанру отношения она, в сущности, не имеет. Из стандартных условий жанра: служение многим господам, «автобиографизм» (условие, впрочем, к моменту написания книги уже многими не соблюдаемое), обзор действительности (панорама типов, обозреваемая по пути странствий), поиски житейской удачи, морально-философские рассуждения о разных предметах и лицах — в повести Гевары соблюдены лишь последние. Да и то с той разницей, что в «классическом» плутовском романе наблюдения и оценки возникают в подавляющем большинстве случаев в результате личного опыта, здесь же — преимущественно «со стороны». Там — хождение по жизни, здесь — хождение по диковинному музею или зверинцу. Особенно характерна в этом смысле вторая главка (или «скачок», как называются главки у Гевары). Хромой Бес, пользуясь отпущенной ему нечистой силой властью, приподымает крыши мадридских домов и показывает студенту скрытые от глаз ячейки городского общества: мелькают картежники, сводня, проститутка, кутилы, алхимик и еще множество других характерных для тогдашней жизни типов. Их композиция, пропорции, карикатурность живо напоминают приемы современника и друга Гевары, автора «Истории жизни пройдохи» — Кеведо. Только менее саркастично и не столь деформированно. Соотношение Брейгеля и Босха.

Соотнося повесть Гевары с плутовским романом, следует отметить и еще одно. В классическом своем варианте плутовской роман всегда в тех или иных пропорциях предполагал «диалог» автора и протагониста. Даже в том приглушенном виде, в каком он еще присутствует (как дань традиции) в романе Кастильо Солорсано. В «Хромом Бесе» говорит один человек. И этот человек всегда Гевара.

В «Хромом Бесе» весьма ощутимо влияние плутовского романа в частностях (особенно в варианте Кеведо). Несомненно усвоены многие его уроки и даже использованы некоторые принципы его поэтики. Но в целом повесть принадлежит уже иной литературной системе. Лишь наличие некоторых элементов, свойственных романам и повестям о пикаро, позволяло относить повесть Гевары к плутовскому роману. Громадный успех повести о Ласарильо с берегов Тормеса способствовал утверждению плутовского романа и в других странах Западной Европы. И хотя ни в одной стране не было создано ничего равного лучшим испанским образцам (если не считать громкой славы лесажевского «Хромого Беса», наполовину обязанного своим успехом испанскому источнику), тем не менее ряд романов «не испанской» продукции заслуживает серьезного читательского внимания. Одной из первых стран, соблазнившихся плутовским романом, была Англия. Неправильно было бы усматривать в этом результат одного только литературного влияния. Это было подсказано потребностями самой действительности. При всей разнице исторического пути и социально-экономического и культурного положения этих двух стран, какие-то общие процессы протекали. В XVI веке в Англии, как и в Испании, и отчасти по сходным причинам (обезземеливание крестьян, бегство в города и т. д.) образовалась прослойка и пикаро и апикарадо. Она-то и стала питательной почвой для появления сходных явлений и в области литературы.

Первым английским плутовским романом почитается «Вестник Черной книги, или Жизнь и смерть Неда Броуна, одного из самых замечательных карманников в Англии» (1592). Принадлежит он перу одного из крупнейших английских писателей того времени — Р. Грина, особенно интересовавшегося «дном» лондонского общества и даже посвятившего ему книгу очерков под названием «Замечательное разоблачение мошеннического промысла» (1591).

Роман Томаса Нэша «Жизнь Джека Уилтона» был напечатан в 1594 году. Это история молоденького пажа, пронырливого и сметливого, решившего выбраться в люди. Своей цели он добивается после многочисленных приключений и скитаний по Англии и многим странам Европы. Роднит его с испанской традицией панорамность изображения, красочность в изображении лиц и типажей, встречавшихся герою на путях его странствий, сатирическое отношение ко многим проблемам времени, а иногда и подлинная гражданская горечь.

Со всем тем, есть и определенная разница. Новинкой, например, по сравнению с испанскими плутовскими романами является одно уже то, что Нэш сталкивает своего героя со многими реальными историческими лицами

(он встречается с Томасом Мором, очень забавно беседует с Пьетро Аретино, слушает Эразма и Лютера и т. д.). Значительно большее место по сравнению с испанскими писателями английский романист уделяет приключению, как таковому, не стремясь извлечь из каждого житейского столкновения моментальный урок и моральную заповедь. Он не озабочен моральными «pro» и «contra», вопросами иллюзии и реальности, правды и неправды. Он гораздо больше тяготеет к «авантюрному» повествованию, к поведению личности «в чрезвычайных обстоятельствах». И, вероятно, именно поэтому историки английской литературы прокладывают от Нэша прямую линию к Дефо, то есть к типу романа приключения и воспитания.

В самом «зародыше» плутовского повествования были заложены возможности для прорастания в разных направлениях: от философско-сатирической повести до приключенческо-воспитательного романа.

Значение плутовского романа для развития мировой литературы огромно. Умерев как конкретно-исторический жанр, он повлиял на становление и развитие большинства повествовательных жанров нового времени.

Н. ТОМАШЕВСКИЙ

ЖИЗНЬ ЛАСАРИЛЬО С ТОРМЕСА, ЕГО НЕВЗГОДЫ И ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ

ПЕРЕВОД С ИСПАНСКОГО К. ДЕРЖАВИНА

ПРОЛОГ

Рассудил я за благо, чтобы столь необычные и, пожалуй, неслыханные и невиданные происшествия стали известны многим и не были сокрыты в гробнице забвения, ибо может случиться, что, прочтя о них, кто-нибудь найдет здесь нечто приятное для себя, и даже тех, кто не станет в них особенно вдумываться, они позабавят. Плиний по этому поводу замечает: нет книги, как бы плоха она ни была, в которой не нашлось чего-либо хорошего, тем более что вкусы не у всех одинаковы, и за то, чего один и в рот не берет, другой готов отдать жизнь. Да и мы сами видим, что презираемое одними не презирается другими, а потому ничто, кроме чего-нибудь уже слишком отвратительного, не должно быть уничтожаемо или отвергаемо, все должно быть доведено до всеобщего сведения, в особенности если это нечто безвредное, нечто такое, из чего можно извлечь пользу.

В противном случае писали бы весьма немногие и только для одного какого-нибудь читателя, ибо писательство дается нелегко, и те, кто этим делом занимается, желают быть вознаграждены — не столько деньгами, сколько внимательным чтением их трудов, а если есть за что, то и похвалами, по каковому поводу говорит Тулий: «Почести питают искусство».

Неужели вы думаете, что солдату, первому взобравшемуся на штурмовую лестницу, более, чем кому-либо другому, опостылела жизнь? Разумеется, нет,— только жажда похвал заставляет его подвергаться опасности, и точно так же обстоит дело в искусствах и в словесности. Хорошо проповедует богослов, пекущийся о людских душах, но спросите-ка его милость, огорчает ли его, когда ему говорят: «Ах, ваше преподобие, какой же вы прекрасный проповедник!» Некий рыцарь, который весьма неудачно бился на турнире, отдал свою кольчугу шуту, ибо тот восхищался мет-

костью, с какою рыцарь будто бы наносил удары копьем. Ну, а как поступил бы рыцарь, если б он в самом деле заслуживал похвалы?

Признаюсь, я не лучше других, и коль скоро всем это свойственно, то и я не буду огорчен, если моей безделицей, написанной грубым слогом, займутся и развлекутся все, кому она хоть чем-нибудь придется по вкусу. Пусть узнают про жизнь человека, изведавшего так много невзгод, опасностей и злоключений.

Прошу вашу милость принять это скромное подношение из рук человека, который постарался бы придать ему больше ценности, если бы только это было ему по силам. И так как ваша милость велит, чтобы все было описано и рассказано весьма подробно, то и решил я приступить к моему повествованию не с середины, а с самого начала, дабы все о моей особе было известно и дабы люди, которым высокое происхождение досталось по наследству, поняли, сколь малым они обязаны самим себе, ибо фортуна была к ним пристрастна, и как долго и с какими усилиями налегали на весла те, кому она не благоприятствовала, прежде чем они достигли тихой пристани.

РАССКАЗ ПЕРВЫЙ

Ласаро повествует о своей жизни и о том, чей он сын

Итак, прежде всего, да будет известно вашей милости, что зовут меня Ласаро с Тормеса и что я сын Томе Гонсалеса и Антоны Перес, уроженец Техераса, деревни близ Саламанки. Произошел я на свет на реке Тормесе, откуда и получил свое прозвище, а случилось это так. Отец мой, да простит его господь, ведал помолом на водяной мельнице, что стоит на берегу реки, и прожил он там более пятнадцати лет. Однажды ночью беременная мать моя находилась на мельнице. Тут подоспели роды, и она там же и разрешилась, так что я с полным правом могу говорить, что родился на реке.

И вот, когда мне было восемь лет, отца моего уличили в том, что он по злому умыслу пускал кровь мешкам, которые принадлежали людям, съезжавшимся на мельницу молоть зерно. Он был схвачен, во всем сознался, ни от чего не отрекся и пострадал за правду. Уповаю на господа бога, что ныне пребывает он в раю, ибо Евангелие называет таких людей блаженными.

В это время был объявлен поход на мавров, куда попал и мой, в ту пору высланный из-за упомянутого несчастья, отец; поступив погонщиком мулов к некоему дворянину, принявшему участие в этом походе, он, как верный слуга, сложил голову вместе со своим господином.

Овдовевшая моя мать, очутившись без мужа и без опоры, решила прибегнуть к помощи добрых людей, ибо сама была женщиной доброй, поселилась в городе, сняла домишко и стала стряпать обеды студентам и стирать белье конюхам командора в приходе Марии Магдалины.

Вот тут-то, часто наведываясь в конюшню, и свела она знакомство с одним мавром из числа тех, что врачуют животных.

Он частенько приходил к нам и уходил только к утру. Иной раз днем он останавливался у дверей, будто бы пришел купить яиц, но потом все-таки входил в дом. На первых порах его приходы не доставляли мне удовольствия: его чернокожесть и уродство внушали мне страх, однако, заметив, что с его появлением стол наш улучшается, я в конце концов полюбил его, ибо он всегда приносил с собою хлеб, мясо, а зимою и дрова, которыми мы отапливались.

Продолжая водиться и знаться с этим мавром, мать подарила мне от него хорошенького негритенка, и я его нянчил и помогал пороть.

Помню, как однажды мой черный отчим возился с мальчишкой, а тот, обратив внимание, что мать и я — белые, а отец — черный, в испуге бросился к своей родительнице и, показывая на него пальцем, крикнул: «Мама, бука!» — а мавр, смеясь, заметил: «Вот сукин сын!» Я же, хоть и был тогда совсем еще юн, запомнил слова моего братца и подумал: «Сколько на свете людей, которые бегут от других только потому, что не видят самих себя!»

Судьбе, однако, было угодно, чтобы о Саиде — так звали мавра — пошли разные слухи и наконец достигли ушей командорского домоправителя. При обыске было обнаружено, что половину овса, отпускавшегося ему для лошадей, он крал; отруби, дрова, скребницы, чепраки, передники и попоны у него пропадали; когда же у него ничего такого больше не оставалось, то он расковывал лошадей, а выручку отдавал моей матери на воспитание мальчишки. Не будем после этого удивляться ни монахам, ни попам, грабящим бедняков и свои собственные дома ради духовных дочерей и всяких иных нужд,— нашего же несчастного раба толкала на это любовь.

Как я уже сказал, всплыло наружу все, что было и чего не было, ибо меня допрашивали с угрозами, а я по малолетству выбалтывал и выдавал страха ради все, что знал,— рассказал даже о подковах, которые по приказанию матери продал я одному кузнецу.

С незадачливого моего отчима спустили шкуру, а моей матери влепили обычную сотню плетей, а сверх того воспретили появляться в доме упомянутого командора и принимать у себя злосчастного Саида.

Чтобы не накликать горшей беды, бедная мать моя скрепя сердце подчинилась приговору и — от греха подальше — нанялась в услужение к приезжим в гостиницу Солана. И там, среди множества невзгод, окончилось воспитание моего братишки и мое: он уже начал ходить, а я стал бойким мальчуганом, бегал для постояльцев за вином, свечами и всем прочим.

В это время в гостинице остановился один слепец; решив, что я гожусь ему в поводыри, он выпросил меня у матери, и та уступила, заметив, однако, что так как я сын честного человека, павшего за веру в походе на Джербу, то она уповает на бога, что из меня выйдет человек не хуже отца, и просит хорошо обращаться с сиротою и заботиться обо мне. Слепец обещал,— он, мол, берет меня к себе не как слугу, а как родного сына.

Так я стал поводырем у моего нового и вместе с тем старого хозяина.

Некоторое время мы пробыли в Саламанке, но здесь ему нечем было особенно поживиться, и он решил перейти в другое место. Перед тем как двинуться в путь, я отправился к матери, мы оба заплакали, и она, благословив меня, сказала:

— Сын мой, чует мое сердце: не видать мне тебя больше. Старайся быть добрым человеком, и да хранит тебя господь! Я тебя вырастила, устроила на хорошее место, а теперь уж действуй сам.

Затем я вернулся к хозяину — тот поджидал меня.

Мы вышли из Саламанки и достигли места, где у входа стоит каменный зверь, с виду очень похожий на быка. Слепой велел мне подойти к нему и, когда я приблизился, сказал:

— Ласаро, приложи ухо к этому быку, и ты услышишь сильный шум внутри.

Поверив его словам, я по простоте своей так и сделал, а он, едва лишь я прикоснулся к камню, так стукнул меня об этого проклятого быка, что я потом несколько дней места себе не находил от головной боли.

— Дурак! — сказал он.— Знай, что слуга слепого должен быть похитрей самого черта!

Он был в восторге от своей шутки.

А я именно в это мгновенье отрешился, как мне кажется, от своего ребяческого простодушия.

«Он прав,— подумал я,— мне надо быть начеку и не зевать, ибо я сирота и должен уметь постоять за себя».

Мы двинулись дальше, и в несколько дней он научил меня своей тарабарщине. Видя, что я весьма сметлив, он очень этому радовался и все приговаривал:

— Ни серебром, ни златом я тебя оделить не могу, зато я преподам тебе много полезных советов.

И действительно: после бога даровал мне жизнь этот слепой, и он же, не будучи зрячим, просветил и наставил меня на правильный путь.

Мне доставляет удовольствие рассказывать вашей милости разные случаи из моего детства, ибо я стремлюсь показать, сколь-

кими добродетелями должен обладать человек, чтобы подняться из низкого состояния, и сколькими пороками, чтобы пасть.

Но обратимся к рассказу о деяниях моего доброго слепца; надобно вам знать, ваша милость, что с тех пор, как бог сотворил мир, он не создал никого хитрее и пронырливее моего хозяина. Это был на все руки мастер. Свыше сотни молитв знал он наизусть. Когда он молился, голос его, низкий, спокойный и внятный, наполнял собою всю церковь; лицо у него было смиренное и благочестивое, и придавал он ему соответствующее выражение во время молитвы, не строя гримас и ужимок ни ртом, ни глазами, как это обыкновенно вытворяют другие.

Кроме того, ему были известны тысячи способов и приемов выманивать деньги. Он говорил, что знает молитвы на любой случай: и для бесплодных женщин, и для беременных, и для несчастных в супружестве, чтобы мужья их любили. Беременным он предсказывал, родится у них сын или дочь. Что же касается искусства врачевания, то сам Гален, по словам моего хозяина, не разумел и половины того, что было известно ему о зубной боли, обмороках и болезнях матки. Одним словом, стоило только пожаловаться ему на тот или другой недуг, как он тотчас же изрекал:

— Сделайте так или эдак, возьмите такую-то травку, достаньте такой-то корень.

Потому-то его и обхаживал весь свет, в особенности женщины, ибо они верили всем его россказням. Он здорово на них наживался: прибегая к упомянутым средствам, он один зарабатывал в месяц больше, чем сто слепых в год.

И все же, да будет известно вашей милости, что, при всех своих доходах и барышах, он был самый скупой и алчный человек на свете. Меня он морил голодом, да и себя лишал многого необходимого. Сказать по правде, если бы не моя хитрость и изворотливость, я бы давно околел с голодухи. Однако, несмотря на все его знания и предусмотрительность, я так ловко подстраивал, что почти всегда все лучшее, и притом в наибольшем количестве, доставалось мне. Я пускался на дьявольские хитрости, и о некоторых я вам расскажу, хотя и не все они пошли мне на пользу.

Хлеб и другие припасы слепой держал в холщовом мешке, который застегивался при помощи железного кольца с замком и ключом. Слепой прятал и вытаскивал что бы то ни было с такой осторожностью и расчетливостью, что никто в мире не сумел бы стащить у него ни крошки. Оттуда получал я свою скудную пищу и уничтожал в мгновение ока.

Замкнув кольцо на мешке, хозяин мой успокаивался — он полагал, что я чем-либо занят, а я в это время распарывал жадный

мешок по шву, вытаскивая лучшие куски хлеба, сала и колбасы, а потом снова зашивал. Пользуясь столь краткими мгновениями, я не мог, конечно, утолить волчий мой аппетит, а лишь замаривал червячка, который вечно сосал меня по милости злого слепца.

Все, что я мог урвать или украсть из денег, держал я в полушках, и когда его просили помолиться и подавали ему бланку, то едва успевала дарующая длань расстаться с монетой, как монета попадала ко мне в рот, а стоило слепому хозяину протянуть за нею руку, приготовленная полушка, пройдя через мой размен, уменьшала милостыню на полцены. Слепец, угадывая на ощупь, что это не бланка, сетовал:

— Что за чертовщина! С тех пор как ты со мною, мне подают только полушки, а прежде сколько раз платили бланками и даже мараведи. Это из-за тебя мне так не везет.

В таких случаях он сокращал молитвы и прерывал их на середине, велев мне, чуть только отойдет заказчик, дергать его за капюшон. Я так и делал, и он снова принимался выкрикивать то, что такие, как он, обычно выкрикивают:

— Какую молитву прикажете прочесть?

За едою он имел обыкновение ставить возле себя кувшин вина. Я поспешно схватывал кувшин и, тайком приложившись к нему раза два, ставил на место. Но это продолжалось недолго. Ведя счет глоткам, он в конце концов обнаружил утечку и с тех пор, чтобы сохранить в целости свое вино, не расставался с кувшином и все время держал его за ручку. Однако ни один магнит так не притягивал железо, как я потягивал вино через длинную ржаную соломинку, заготовленную мной на этот случай. Опустив ее в горлышко кувшина, я высасывал вино до последней капли. Но так как злодей был хитер, то, по-видимому догадавшись об этом, изменил он свою повадку, стал прятать кувшин между ног, прикрывая горлышко рукою, и преспокойно попивал из него. Я же был словно рожден для вина, я умирал по нем, и вот, видя, что от соломины нет проку, решил я проделать в донышке кувшина неприметную дырочку, бережно залепив ее тонким слоем воска. Во время обеда, делая вид, что мне холодно, я устраивался у ног злосчастного слепца, дабы погреться возле нашего жалкого огонька. От тепла воск вскорости таял, и ручеек вина струился мне прямо в рот, который я подставлял так, чтобы ни одна капелька не пропадала зря. Захочет бедняга слепец выпить, а в кувшине-то и пусто.

Слепец удивлялся, ругался, посылал к черту и кувшин и вино и ничего не мог понять.

— Вы только уж на меня не подумайте, дяденька,— говорил я,— ведь вы кувшин из рук не выпускаете.

Слепец так долго вертел и ощупывал кувшин, что наконец нашел проточину и напал на мою плутню, однако и виду не подал.

И вот на другой день, когда я, не предчувствуя надвигавшейся беды и не ведая, что проклятый слепец подстерегает меня, лежал на спине и жмурил глаза, по обыкновению посасывая из кувшина и смакуя душистую влагу, рассвирепевший мой хозяин понял, что настало время отомстить, и, подняв обеими руками этот еще недавно сладкий, а ныне ставший для меня горьким сосуд, изо всей мочи треснул меня по лицу. Бедному Ласаро, не ожидавшему ничего подобного, ибо он, как всегда, был весел и беззаботен, показалось, будто небо со всем что ни есть обрушилось на него. Удар ошеломил и оглушил меня, а черепки огромного кувшина поранили мне во многих местах лицо и выбили зубы, коих я лишился навеки.

С того часа невзлюбил я злого слепца; после он пожалел меня, приласкал и подлечил, и все же он был рад, что так строго меня наказал, и я это отлично видел. Он омыл вином раны, нанесенные мне черепками, и, ухмыляясь, сказал:

— Как тебе это нравится, Ласаро? То, из-за чего ты пострадал, ныне лечит тебя и исцеляет.

Тут же он отпускал и другие шуточки, которые не очень-то были мне по вкусу.

Немного оправившись от тяжких своих ранений и кровоподтеков и сообразив, что еще несколько таких ударов — и жестокий слепец избавится от меня, я решил сам от него избавиться, но только не стал с этим торопиться, дабы успешно и безнаказанно привести задуманное мной в исполнение. Пусть даже мне удалось бы сдержать мой гнев и забыть историю с кувшином, но я все равно не мог бы простить злому слепцу, что он с той поры начал дурно со мной обходиться и ни за что ни про что награждать меня щипками и тумаками. Когда же кто-либо спрашивал его, почему он так дурно со мной обращался, он непременно рассказывал случай с кувшином.

— Вы, верно, принимаете этого мальчишку за простачка? — говорил он.— Вот послушайте — самому черту такой шутки не выкинуть.

Осеняя себя крестом, слушатели восклицали:

— Кто бы мог подумать, что такой малыш так испорчен!

Смеясь над моей проделкой, они добавляли:

— Наказывайте его, наказывайте! Господь вам воздаст за это!

И хозяин мой именно так и действовал.

Поэтому я всегда нарочно водил его по самым плохим дорогам, чтобы причинить ему вред и зло, в особенности если они были усеяны камнями или тонули в глубокой грязи, и хотя мне самому

иной раз приходилось трудненько, но я готов был пожертвовать своим собственным глазом, лишь бы только напакостить слепому. А он концом палки лупил меня по темени, отчего голова моя была вся в шишках, и давал такую таску, после которой в руках у него оставались целые пряди моих волос. Хоть я и божился, что делал это не по злому умыслу, а потому, что не находил лучшей дороги, но это мне не помогало, и он мне не верил,— таковы уж были нюх и сообразительность этого злодея. А чтобы ваша милость знала, как далеко простиралась догадливость этого хитреца, я вам расскажу один из многих случаев, красноречиво свидетельствующих, на мой взгляд, о великом его лукавстве.

Из Саламанки слепец держал путь в Толедо. Он утверждал, что народ там богатый, хотя и не очень отзывчивый. Однако не даром говорит пословица, что щедрее подает черствый, чем голый, а потому мы все же, в надежде на лучшую долю, двинулись именно этим путем. Где мы встречали радушный прием и поживу, там мы задерживались, а не то на третий же день давали ходу.

Случилось так, что в местечко Альмарос мы попали во время сбора винограда, и некий виноградарь подал моему хозяину целую гроздь. Гроздь эта смялась в корзине из-за небрежной укладки, да и к тому же она была совсем спелая и рассыпалась в руках, а когда еще полежала в мешке, то начала пускать сок.

Слепец решил устроить угощение — отчасти оттого, что не мог дольше ее беречь, отчасти же — чтобы вознаградить меня за полученные мною в тот день обильные пинки и удары. Мы сели на меже, и он объявил:

— Теперь я буду с тобой щедрым, а именно: мы вдвоем съедим эту гроздь винограда, и ты получишь равную со мной долю. Делиться же мы будем так: сначала ты отщипнешь, потом я, но только пообещай мне каждый раз брать не больше одной виноградины,— так оно будет без обмана.

На этих условиях мы приступили к делу, но уже со второго раза мошенник изменил своему слову и стал брать по две виноградины, полагая, что я наверняка поступаю так же. Видя, что он нарушает договор, я решил пойти дальше: две-три виноградины меня уже не удовлетворяли, и я принялся хватать их, сколько мог. Покончив с гроздью, слепец повертел в руках веточку и, покачав головой, сказал:

— Ласаро, ты меня обманул. Клянусь, что ты ел по три виноградины.

— Нет,— ответил я,— почему вы так думаете?

Тогда лукавый слепец молвил:

— Знаешь, почему я уверен, что ты ел по три? Потому, что когда я ел по две, ты молчал.

Я посмеялся про себя и, несмотря на молодость лет, оценил сообразительность слепого.

Чтобы не быть многословным, я не стану рассказывать о многих забавных и примечательных случаях, кои произошли у меня с этим моим хозяином, расскажу лишь о последнем — и на этом с ним покончу.

Находились мы в Эскалоне — городе, принадлежавшем одному герцогу, носившему такую фамилию,— на заезжем дворе, и слепец велел мне поджарить кусок колбасы. Когда же колбаса была посажена на вертел и начала пускать сок, он вытащил из кошелька мараведи и велел мне сходить в таверну за вином.

В это время дьявол явил моим глазам соблазн — говорят, что он всегда так поступает с ворами,— а именно пузатую и гнилую репку, непригодную для похлебки и брошенную у очага. А так как мы тогда были с нею наедине, то, ощутив неодолимое влечение к снеди и весь пропитавшись вкусным запахом колбасы, которая вызывала во мне только одно желание — во что бы то ни стало ею попользоваться, не думая о том, как все это может обернуться, я отринул всякий страх, лишь бы утолить свою страсть, и, пока слепой вытаскивал деньги из кошелька, стянул колбасу, а вместо нее проворно насадил на вертел репу. Выдав мне деньги на вино, слепец принялся вертеть репу на огне,— он рассудил за благо хорошенько прожарить все то, что казалось негодным для варки.

Я побежал за вином и поспешил разделаться с колбасой, а когда вернулся, то увидел, что слепой греховодник держит между двумя ломтями хлеба репу, которую он до сих пор еще не распознал, так как не успел притронуться к ней. Но едва он откусил кусок хлеба, полагая, что отправляет в рот и колбасу, и обнаружил, что это всего-навсего репа, то изменился в лице и вопросил:

— Что это такое, Ласарильо?

— Что же я за несчастный! — воскликнул я.— Неужели вы подумали на меня? Ведь я только что вернулся с вином. Верно, кто-нибудь заходил сюда и напроказил.

— Нет, нет, не может быть,— возразил он,— я не выпускал вертела из рук.

Тут я стал клясться и божиться, что непричастен к этой проделке и подмене, но это мне не помогло, ибо ничто не укрывалось от проницательности окаянного слепца. Слепец встал, схватил меня за голову, начал обнюхивать, как собака, сразу учуял запах и, решив удостовериться окончательно, резким движением правой руки раскрыл мне рот и бесцеремонно сунул туда свой длинный, крючковатый, да еще от злости удлинившийся на целую ладонь, нос, так что кончик его я ощутил у себя в глотке.

«Жизнь Ласарильо с Тормеса».

Великий страх, обуявший меня, злосчастная колбаса, которая не успела еще как следует устроиться в моем желудке, а главное, отвращение к мерзкому, чуть не задушившему меня носу — все это вместе привело к тому, что мое обжорство и преступление обнаружилось, а достояние слепого вернулось к своему хозяину. Прежде чем злой слепец вытащил из моего рта свой хобот, в моем желудке произошел переворот, и я изрыгнул уворованное, так что его нос и проклятая непрожеванная колбаса выскочили из моего рта одновременно.

Боже мой! Лучше бы мне тогда лежать в могиле! Лучше бы я был мертв! Злоба проклятого слепца была так велика, что, не сбегись на шум люди, он бы лишил меня жизни. Когда его оттащили от меня, руки его были полны моих жидких волос, лицо у меня было в ссадинах, во рту все расцарапано,— словом, досталось мне по заслугам.

Злодей поведал собравшимся мои злоключения; истории с кувшином и виноградом, а равно и эту последнюю он рассказывал по нескольку раз. Все так хохотали, что сюда заглядывали привлеченные этим весельем прохожие с улицы. Признаться, слепец до того остроумно и забавно описывал мои подвиги, что хотя я и ревел от боли, однако вынужден был признать, что рассказ его насмешит хоть кого.

Пока он так надо мной измывался, мне пришло на ум, что лишь по трусости и малодушию моему я не оставил его без носа, а я имел время сделать это, когда его нос до половины влез ко мне в рот. Стоило мне стиснуть зубы, и он перешел бы в мое владение, и, наверное, желудок мой лучше усвоил бы достояние слепого, чем колбасу. А так как ни колбаса, ни нос тогда бы не извергнулись, то на допросе я вполне мог бы отпереться. Да, упустил я случай, а уж как бы это было славно!

Хозяйка заезжего двора и постояльцы помирили нас и вином, которое я принес, промыли мне раны на лице и в глотке, по поводу чего злой слепец отпускал шутки:

— Ей-богу, у меня в год выходит больше вина на умывание этого мальчишки, нежели я сам выпиваю в два. Во всяком случае, Ласаро, вино больше для тебя сделало, чем твой отец: он родил тебя один раз, а вино много раз даровало тебе жизнь.

И он тут же рассказывал, как часто он мне царапал и разбивал лицо и лечил вином.

— Да уж,— в заключение говорил он,— если кому-нибудь на свете и посчастливится от вина, так это тебе.

Этому много смеялись омывавшие меня, меж тем как я изрыгал проклятия.

Однако предсказание слепого сбылось, и я потом часто вспо-

минал этого человека, несомненно обладавшего пророческим даром. Теперь я даже раскаиваюсь, что делал ему всякие гадости, хотя он хорошо и отплачивал мне за них,— ведь то, что он мне тогда предрек, оказалось истинной правдой, в чем ваша милость не замедлит удостовериться.

Претерпев злые шутки слепого, я окончательно решил оставить его; я давно уже это задумал, но последняя беда еще сильней укрепила меня в моем намерении. Случилось так, что на другой же день мы отправились в город просить милостыню, а минувшей ночью пошел сильный дождь, и так как он не переставал, то слепец мой молился под кровом галереи, где нас не мочило. Когда же наступил вечер, а дождь все не прекращался, он сказал мне:

— Ласаро, дождь упрям, и чем ближе ночь, тем он сильнее. Пойдем-ка домой.

На возвратном пути нам нужно было перебраться через ручей, а в ручье воды из-за дождя значительно прибавилось, и я сказал слепцу:

— Дяденька, ручей уж больно широк, но, я вижу, поодаль мы можем пройти не замочившись: там ручей гораздо у́же — мы прыгнем, и ноги у нас будут сухи.

Совет мой показался слепцу разумным, и он молвил:

— Ты сметлив — вот за что я тебя люблю. Веди меня туда, где ручей у́же: ведь теперь зима, а зимою промочить ноги — дело неподходящее.

Видя, что все благоприятствует моему замыслу, я вывел слепца из галереи и поставил прямо против одного из каменных столбов, которые высились на площади и на которых держались выступы зданий.

— Дяденька,— сказал я,— вот здесь самый узкий переход через ручей.

Дождь по-прежнему лил как из ведра, бедняга промок, мы спешили уйти от потоков воды, низвергавшихся на нас сверху, а самое главное, господь в это мгновение затемнил разум слепца, дабы я мог отомстить, вот почему слепец поверил мне и сказал:

— Поставь меня, где лучше, и прыгай через ручей.

Я поставил его прямо перед столбом и, прыгнув, спрятался за столб, точно за мной гнался бык.

— А ну, прыгайте как можно дальше,— крикнул я,— а иначе попадете в воду!

Едва успел я произнести эти слова, как бедный мой слепец помотал головой, словно козел, отошел на шаг назад, чтобы подальше прыгнуть, а затем стремительно бросился вперед, стукнулся головой о столб, который даже загудел от мощного удара, и тотчас же упал навзничь, полумертвый, с разбитою головою.

— Как же ты колбасу-то разнюхал, а столба не сумел? Так тебе и надо,— сказал я и, завидев множество народу, спешившего ему на помощь, бегом пустился из городских ворот и еще засветло добрался до Торрихоса. Что сталось со слепцом после, я так и не узнал, да и не пытался узнать.

РАССКАЗ ВТОРОЙ

Как Ласаро устроился у священника и что с ним случилось

На другой день, не чувствуя себя в безопасности, я отправился в местечко, называемое Македа,— там в наказание за мои грехи повстречался мне некий поп и, когда я подошел к нему за милостыней, спросил, умею ли я прислуживать за обедней. Я ответил, что умею, и так оно и было, ибо слепой греховодник хоть и дурно со мной обращался, а все же научил меня множеству полезных вещей, в том числе и прислуживать. В конце концов священник взял меня к себе.

Попал я из огня да в полымя. Слепой по сравнению с ним был настоящим Александром Великим, несмотря на то что, как я уже поведал, являл он собою олицетворенную скупость. Скажу только, что вся скаредность мира заключалась в этом человеке. Не знаю уж, родилась ли она вместе с ним, или же он впитал ее в себя, приняв духовный сан.

Был у него старый сундук, запертый на ключ, который он носил на ремне своего подрясника. Принеся из церкви благословенный хлеб, он собственноручно клал его в сундук и тут же запирал. Во всем доме не водилось ничего съестного, как это бывает в других домах: ни сала, подвешенного к дымоходу, ни сыра в столе или в шкафу, ни корзиночки с кусками хлеба, остающимися после трапезы; а между тем мне казалось, что, даже не притрагиваясь к ним, я бы утешился их созерцанием.

Все съестные припасы моего хозяина состояли из одной лишь связки лука, которую он держал под ключом в каморке наверху. Я получал одну луковицу на четыре дня, и когда просил у попа ключ, чтобы идти за нею, то, если кто-либо присутствовал при этом, он с великой осторожностью отвязывал ключ от ремня и протягивал мне его со словами:

— Возьми и сейчас же принеси обратно. Тебе бы все только лакомиться!

Можно было подумать, что там заперты все пряности Валенсии, хотя в этой каморке, как я уже сказал, не было ни черта, кроме висевших на гвоздике луковиц, которым поп вел строгий счет. Так что если б я, себе на горе, увеличил полагавшийся мне паек, мне бы это обошлось недешево.

В конце концов я стал помирать с голоду. Хозяин же мой, будучи ко мне не весьма милостив, себя, однако, не забывал: за обедом и ужином он обыкновенно съедал на пять бланок мяса. Правда, он делился со мной супом, но мяса я не видал как своих ушей, а хлеба получал вдвое, а то и втрое меньше, чем мне требовалось.

По субботам в тех краях едят бараньи головы, и я покупал для хозяина баранью голову за три мараведи. Он варил ее и съедал глаза, язык, затылок, мозги и щековину, а мне оставлял на блюде одни обглоданные кости и приговаривал:

— Бери, ешь и ликуй. Ты владеешь целым миром и живешь получше самого папы.

«Тебе бы послал господь такую жизнь!» — думал я.

К концу трех недель я настолько отощал, что от голода уже не мог держаться на ногах. Я бы так и сошел в могилу, если бы господь бог и моя собственная сообразительность не помогли мне. Пуститься на хитрости мне не представлялось случая, ибо здесь нечего было украсть, а если бы даже и было, то я не мог бы отвести попу глаза, как это мне удавалось с предыдущим хозяином, да простит его господь, если он помер от удара, ибо, при всем своем лукавстве, он был лишен бесценного дара — дара зрения и не видел меня. Что же касается этого, то никто не обладал такой зоркостью, как он. Когда мы совершали проскомидию, то ни одна полушка, падавшая в раковину, не ускользала от его взгляда. Одним глазом он смотрел на народ, а другим на мои руки, и зрачки его вращались, как если б они были из ртути.

Он вел счет всем монетам, какую бы кто ни подал, и после сбора тотчас же отбирал у меня раковину и ставил на престол, так что я за все время, пока у него жил, или, лучше сказать, умирал, ни разу не ухитрился стянуть ни единой бланки. Из харчевни я никогда не приносил ему вина ни на грош, а ту небольшую часть пожертвований, которая хранилась у него в сундуке, он распределял таким образом, что ему хватало на неделю. А чтобы скрыть свою великую жадность, он говорил мне:

— Знай, мальчик, священнослужители должны быть весьма умеренными в еде и питье, поэтому я не распускаюсь, как другие.

Сквалыга мой бессовестно лгал, ибо в монастырских трапезных и на поминках он жрал на чужой счет, как волк, и пил побольше любого знахаря, что лечит от водобоязни.

Раз уж я заговорил о поминках, то, да простит меня господь бог, ибо в эти дни я был врагом рода человеческого, единственно потому, что только в эти дни мы ели досыта, и я желал и молил бога, чтобы он каждый день поражал кого-либо из рабов своих. Когда мы причащали и соборовали больных и священник пред-

лагал всем присутствовавшим молиться, я, конечно, от других не отставал и от всего сердца и от всей души просил бога, чтобы он, как говорится, не отвергал слугу своего, а призвал его к себе.

Если некоторые из них выживали, то я, прости господи, многократно посылал их ко всем чертям, а тем, кто умирал, я столько же раз желал царства небесного. За все время, пока я пробыл у попа, а именно почти полгода, скончалось только двадцать человек, и, думается мне, умертвил их я, или, лучше сказать, они умерли по моему ходатайству. Видя, как я всечасно умираю лютою смертью, господь, верно, соизволил прикончить их, чтобы даровать мне жизнь. И все же я не находил средства от голода, ибо если в дни похорон я и жил, то в дни, когда покойника не было, я, привыкнув к сытости и возвращаясь к обычной своей голодовке, еще больше страдал от нее. Таким образом, ни в чем не находил я себе утешения, разве что в смерти, которой я иной раз желал и себе и другим, но не видел ее, хотя она всегда во мне пребывала.

Много раз замышлял я бросить этого жадного человека, но по двум причинам оставлял эту мысль: во-первых, по недоверию к моим ногам и из страха перед их слабостью, которая являлась следствием голодовки, а во-вторых, я рассуждал так:

«Было у меня два хозяина. Первый морил меня голодом; когда же я ушел от него, то попал к другому, и этот довел меня до могилы. И вот, если я расстанусь и с этим да попаду к еще худшему, мне останется только помереть». Вот почему не дерзал я ничего больше предпринимать — был уверен, что следующие ступени повлекут меня к еще горшим бедам, и если я спущусь по ним вниз, то о Ласаро никто уже не услышит на белом свете.

И вот, находясь в такой крайности, от которой избави бог всякого истинного христианина, не зная, как выйти из этого положения, и видя, что дела мои идут все хуже и хуже, однажды, когда злосчастный и скаредный хозяин мой ушел из дому, заприметил я у наших дверей какого-то медника, который показался мне ангелом, посланным в таком обличье с небес на землю. Он спросил, нет ли у нас какой починки.

— Взялся бы ты починить меня — вот и была бы у тебя работа, и работа немалая,— сказал я себе, но так, что он не слышал; однако мне было не до шуток, и, по наитию святого духа, я обратился к нему: — Дяденька, я потерял ключ от этого сундука и боюсь, что хозяин меня накажет. Ради бога, посмотрите, нет ли у вас с собой подходящего, а я вам заплачу.

Этот ангел в обличье медника стал пробовать один за другим ключи из большой связки, которая была при нем, а я помогал ему моими слабыми молитвами, и вдруг на дне сундука явился мне в образе хлебов, как говорится, лик господень.

— У меня нет денег заплатить вам за ключ,— сказал я меднику,— возьмите плату отсюда.

Он выбрал хлеб, какой получше, и, отдав мне ключ, ушел в отличном расположении духа, а меня оставил в еще лучшем.

До поры до времени я не притронулся ни к чему, чтобы недостача не была замечена; к тому же, сделавшись обладателем такого богатства, я полагал, что голод не посмеет больше напасть на меня. Пришел мой злосчастный хозяин и, по милости божьей, не заметил, что часть хлеба унес ангел.

На другой день, как только ушел он из дому, открыл я мой хлебный рай, схватил руками и зубами один из караваев, мгновенно уничтожил его, а затем предусмотрительно запер сундук на ключ. С тех пор уборка комнат стала для меня наслаждением — я был уверен, что злой моей доле пришел конец. Так я блаженствовал тот день и следующий, но блаженство это длилось недолго, ибо уже на третий день меня снова схватила возвратная голодная лихорадка: в недобрый час увидел я, что мой гладоморитель, стоя у сундука, перекладывает и пересчитывает хлебы. Я сделал вид, что ничего не замечаю, а сам втайне молил бога и взывал: «Святой Иоанн, ослепи его!»

Он же, после того как долго вел счет по дням и по пальцам, изрек:

— Если бы этот сундук не был так надежно заперт, я бы подумал, что кто-то похитил отсюда хлебы. Отныне, только затем чтобы избегнуть подозрений, я буду вести счет. Остается девять хлебов и один кусок.

«Девять болячек пошли тебе господь!» — подумал я. При его словах мне показалось, что сердце мое пронзила стрела, а желудок стал разрываться от голода, ибо я понял, что придется мне поститься, как прежде. Он ушел, а я, чтобы утешиться, открыл сундук и начал любоваться хлебом, не смея, однако, его взять. Я пересчитал хлебы в надежде, что проклятый поп ошибся, но — увы! — счет его оказался совершенно верным. Единственно, что я мог себе позволить, это многократно расцеловать хлебы и осторожно отщипнуть от куска, и больше у меня ничего во рту не было весь тот день, не столь радостный, как предыдущий.

Между тем голод мучил меня все сильнее, тем более что за истекшие два-три дня желудок мой привык к большему количеству хлеба; я просто помирал лютой смертью и, оставшись один, все только отпирал да запирал сундук, созерцая в хлебах лик божий, как говорят дети. Однако бог всегда приходит на помощь несчастным, и вот, видя, что я в таком тяжелом положении, он внушил мне довольно остроумную мысль, и я, пораскинув мозгами, сказал себе: «Этот сундучище стар, ветх и разбит в несколь-

ких местах. В нем есть несколько маленьких дырочек. Можно уверить попа, что туда забираются мыши и грызут хлеб. Стащить целый каравай нельзя, ибо утеснитель мой тотчас заметит пропажу,— лучше понемножку».

И вот накрошил я хлеб на лежавшие в сундуке не весьма драгоценные салфетки,— словом, от каждого из трех или четырех караваев я понемногу отковырял. Затем, подобно тому как принимают пилюли, я все это проглотил и несколько утешился. Поп, придя обедать и отперев сундук, заметил нанесенный ему урон и, конечно, подумал на мышей, потому что именно так обыкновенно грызут хлеб мыши. Он осмотрел сундук со всех сторон и, обнаружив несколько отверстий, решил, что через них-то мыши и забрались внутрь. Он позвал меня и сказал:

— Смотри-ка, смотри-ка, Ласаро, какому нападению подвергся нынче ночью наш хлеб!

Я сделал вид, что очень удивился, и спросил, что бы это могло быть.

— Как что? — сказал он.— От мышей не убережешься.

Сели мы обедать, господь и тут послал мне удачу. На сей раз мой хозяин оказался щедрее: он срезал ножом все, что считал попорченным мышами, и отдал мне.

— Ешь,— сказал он,— мыши — звери чистые.

Так, увеличив паек трудами рук моих, или, лучше сказать — ногтей, покончил я с обедом, хотя, по правде говоря, я и не начинал его.

Вскоре новый удар поразил меня: хозяин мой добросовестно принялся вытаскивать гвозди из стен и собирать дощечки, а потом заколотил и забил все дыры в старом сундуке.

«Боже мой! — подумал я.— Каким превратностям, бедствиям и несчастьям подвержены мы и до чего же скоротечны радости в нашей многотрудной жизни! Вот я надеялся таким скромным и жалким способом утолять голод, и это меня радовало и ободряло. Но злая судьба моя заставила скаредного моего хозяина быть начеку и выказывать еще бóльшую наблюдательность, чем та, какою его наделила природа, хотя, впрочем, такие злонамеренные люди, как он, по большей части не страдают недостатком бдительности: злая судьба, заколотив дыры в сундуке, тем самым отняла у меня последнее утешение и усеяла путь мой лишениями».

Так плакался я, а в это время мой добросовестный плотник при помощи гвоздей и дощечек окончил свою работу.

— Ну, вероломные господа мыши,— молвил он,— вам здесь делать больше нечего, в нашем доме вам придется туго.

Едва он вышел, я поспешил осмотреть его работу и обнаружил, что в ветхом и жалком сундуке своем он не оставил даже

щели, в которую мог бы пролезть комар. Я отпер сундук моим теперь уже бесполезным ключом, без надежды попользоваться чем-либо, увидел два или три начатых хлеба, которые хозяин мой принял за попорченные мышами, и взял самую малость, слегка коснувшись их, подобно ловкому фехтовальщику.

Нужда — великий учитель, я же испытывал ее постоянно, а потому я день и ночь обдумывал средства для поддержания моих сил и полагаю, что в поисках этих проклятых средств голод освещал мне путь, ибо говорят, что вдохновляет на выдумки он, а не сытость. Так, во всяком случае, было со мною.

И вот однажды ночью, будучи пробужден своими мыслями и размышляя о том, как бы мне овладеть и попользоваться содержимым сундука, удостоверился я, что хозяин мой почивает: об этом можно было судить по храпу и громким вздохам, которые он всегда испускал во сне. Еще днем обдумав свои действия и запасшись старым ножом, я бесшумно встал с постели, направился к злосчастному сундуку и с той стороны, где, как мне казалось, он был хуже всего защищен, бросился на него с ножом, который заменил мне бурав. А так как ветхий сундук, много лет проживший на свете, не только не обладал силой и стойкостью, но, напротив, был слаб и податлив, то он скоро сдался, и я провертел в его боку порядочную дыру. После этого я осторожно отпер израненный сундук, ощупью отковырял кусочек от начатого хлеба по вышеописанному способу и, удовольствовавшись этой малостью, снова запер хранилище, а затем возвратился на свою солому и, растянувшись, немного соснул. Спать мне, однако, не давал голод, а будь я сыт, в те времена сон мой не развеяли бы даже заботы, которые тревожат французского короля.

На другой день хозяин мой, обнаружив урон, нанесенный хлебу, а также дыру, которую я провертел в сундуке, посулил мышам черта.

— Что ты скажешь! — воскликнул он.— Прежде в моем доме мышей и в помине не было!

И он говорил истинную правду, ибо если и был во всем королевстве дом, к которому мыши относились с особым почтением, так это именно дом моего хозяина, ибо мыши не водятся там, где им нечего есть. Хозяин снова принялся выискивать гвозди в стенах, собирать дощечки и заколачивать дыру. Но с наступлением ночи, как только он засыпал, я сейчас же вставал, и что заколачивал он в течение дня, то расколачивал я за ночь своими инструментами.

Так оно и шло, и так мы с ним соревновались: вот уже поистине, едва одна дверь закрывается, как другая распахивается. Казалось, мы взяли подряд на тканье Пенелопы, ибо то, что он

ткал за день, я распускал по ночам. В короткий срок мы привели несчастное хранилище в такой вид, что всякий скорее назвал бы его не сундуком, а древними латами — так много было на нем заплат и гвоздей.

Видя, что средство его не помогает, хозяин сказал:

— Сундук этот весь разломан и сделан из столь ветхого и гнилого дерева, что не может противиться никакой мыши. Но, как бы он ни был плох, без него будет еще хуже, новый же сундук обойдется мне в три или четыре реала. Лучшее средство, по-моему, раз это не приносит пользы,— вооружиться на проклятых мышей изнутри.

Вскоре он занял у кого-то мышеловку и, снабдив ее кусочками сыра, выпрошенного у соседей, поместил ее внутри сундука. Мне это послужило особым подспорьем, так как хотя я и не очень нуждался в острой закуске для возбуждения аппетита, но рад был и сыру,— я извлекал его из мышеловки, не забывая в то же время угрызать хлеб.

Видя, что хлеб изгрызен, сыр съеден, а мышь все не попадается, мой хозяин злился и расспрашивал соседей, как это может случиться, что сыр похищен из мышеловки и съеден, а мышь ускользнула, хотя дверца захлопнулась.

Соседи пришли к заключению, что это не мышь, ибо хоть раз да должна же была она попасться. Один из соседей сказал:

— Помнится мне, что в доме вашем водилась змея, и это, наверное, она и есть. И понятно, что раз она длинна, то может стащить приманку и выбраться из мышеловки, хотя бы дверца и захлопнулась,— ведь не вся же змея туда влезает.

Все с ним согласились, а хозяин мой встревожился и с этого дня стал спать не столь спокойным сном, принимая за змею, грызущую его сундук, жучка-древоточца, что бывает слышен по ночам. Он вставал и палкою, которую держал наготове у своего изголовья, изо всех сил принимался колотить по злосчастному сундуку — так он думал напугать змею. Этим грохотом он будил соседей и не давал спать мне. Подойдя к моему сеннику, он ворошил его и меня, ибо ему представлялось, что змея заползла ко мне и спряталась в соломе или в моей одежде, а он слыхал, что иногда эти гады ночью, чтобы согреться, заползают в колыбели к детям и жалят их и что это очень опасно. Я обыкновенно притворялся спящим, а на следующее утро он спрашивал меня:

— Нынче ночью ты, мальчик, ничего не слыхал? Я следил за змеей и думал даже, что она заползла в твою постель: ведь они очень холодные и им хочется согреться.

— Дай бог, чтобы она меня не укусила,— ответил я,— я страшно боюсь этого.

Так как мой хозяин столько раз пробуждался и поднимался, змея или, вернее, змей не осмеливался подбираться к сундуку и грызть по ночам. Зато днем, когда хозяин был в церкви или в городе, я по-прежнему совершал нападения. Хозяин же, видя, сколь великие терпит убытки, и сознавая, что он бессилен с ними бороться, продолжал по-прежнему бродить по ночам, как домовой.

Я боялся, как бы рачительный мой хозяин не обнаружил ключ, который я держал под сенником, и в конце концов решил, что надежнее будет на ночь класть его в рот. Еще в ту пору, когда я жил у слепого, я превратил свой рот в кошель, мне случалось хранить там и десять и пятнадцать мараведи, все в мелкой монете, и они не мешали мне есть. В противном случае я бы их лишился, ибо проклятый слепец непременно нашел бы их: ведь он постоянно обыскивал меня.

И вот, как я уже сказал, теперь я каждую ночь прятал ключ к себе в рот и спал спокойно, уже не боясь, что мой колдун-хозяин отыщет его. Но когда приходит беда, все предосторожности тщетны. Судьба моя распорядилась так, а вернее всего, это было мне наказание за грехи: однажды ночью, когда я спал, спрятав ключ во рту, дыхание мое выходило через отверстие пустого внутри ключа с весьма отчетливым предательским свистом. Напуганный хозяин мой решил, что шипит змея, да это и впрямь было похоже.

Он тихонько встал и, с палкой в руке, весьма осторожно, чтобы змея его не почуяла, двинувшись в том направлении, откуда долетал звук, приблизился ко мне, ибо он полагал, что змея зарылась в солому и греется подле меня. И вот, взмахнув своей дубиной и вознамерившись одним ударом прикончить змею, он так меня треснул, что я, с проломленной головой, остался лежать без сознания. Смекнув, как он сам после рассказывал, что удар пришелся по мне, он наклонился и, громко окликнув, попытался привести меня в чувство. Дотронувшись до меня рукою и обнаружив сильное кровотечение, он поспешил принести свет, а когда возвратился, то услыхал мои стоны и увидел, что во рту у меня ключ,— я его так и не выронил, и он все еще торчал у меня одним концом наружу, как и тогда, когда я свистел в него.

Истребитель змей, придя в изумление, вытащил у меня изо рта ключ и рассмотрел его,— по виду он ничем не отличался от его собственного, коим запирался сундук. Хозяин тотчас в этом удостоверился и раскрыл мое преступление. В эту минуту жестокий охотник подумал, наверно, так:

«Наконец-то нашел я мышь и змею, которые со мной воевали и поедали мое добро».

О том, что произошло в следующие три дня, я ничего не могу сказать, ибо провел их словно во чреве китовом, а о самом при-

ключении я узнал уже после того, как пришел в себя, от хозяина, который со всеми подробностями рассказывал о нем всем своим знакомым.

Через три дня я очнулся и, увидев, что лежу на сеннике, что голова у меня в пластырях, натерта маслом и намазана мазью, в испуге спросил, что со мной приключилось.

— А то, что я переловил всех змей и мышей, которые меня разоряли,— ответил жестокий поп.

Увидев, в каком плачевном состоянии я нахожусь, я тотчас же догадался о моем несчастье.

В это время вошли соседи и старуха знахарка и начали снимать у меня с головы повязки и врачевать рану. Заметив, что я очнулся, они очень обрадовались и сказали:

— Ну, раз он пришел в себя, даст бог, все заживет.

Тут они снова принялись описывать мои невзгоды и смеяться над ними, а я, грешный, стал их оплакивать. Затем они дали мне поесть, я же совсем ослабел от голода и лишь слегка подкрепил свои силы.

Через две недели опасность миновала (не миновал только голод), я с грехом пополам поправился и кое-как стал на ноги.

На другой день после того, как я поднялся, хозяин мой взял меня за руку, вывел за порог и, поставив среди улицы, сказал:

— Ласаро, с сегодняшнего дня ты уже не мой, а свой собственный. Ступай с богом и ищи себе другого хозяина, а мне столь ревностный слуга не нужен. Тебе только поводырем у слепого и быть.

И, отчуравшись от меня, словно я был одержим бесами, он вернулся домой и запер за собою дверь.

РАССКАЗ ТРЕТИЙ

Как Ласаро устроился у дворянина и что с ним случилось

Таким образом, я вынужден был черпать силы из своей собственной слабости и потихоньку, с помощью добрых людей, добрался до славного города Толедо, где, по милости божьей, через две недели рана моя зажила. Пока я был болен, мне подавали кое-какую милостыню, но как только я вылечился, все стали твердить:

— Проныра ты и бездельник! Ищи, ищи себе доброго хозяина и послужи ему!

«А где же такого найти? — думал я.— Одна надежда, что господь бог вновь создаст его, как создал в свое время мир».

Предаваясь подобным размышлениям и с весьма малым тол-

ком бродя от одной двери к другой, ибо и милосердие вознеслось на небеса, набрел я однажды по воле бога на некоего дворянина,— тот шел по улице степенным шагом, прилично одетый и аккуратно причесанный. Он посмотрел на меня, я на него,— тогда он обратился ко мне с такими словами:

— Не ищешь ли ты хозяина, мальчик?

— Да, сеньор,— ответил я.

— В таком случае следуй за мной,— сказал он,— господь явил тебе особую милость тем, что свел тебя со мною. Видно, ты сегодня усердно молился.

Я последовал за ним и возблагодарил бога, ибо, судя по виду дворянина и его повадке, я пришел к заключению, что обрел именно того, кого мне было нужно.

С этим третьим моим хозяином мы встретились утром. Он повел меня чуть ли не через весь город. Мы проходили мимо рынков, где продавали хлеб и другие припасы. Я мечтал о том, как он нагрузит меня ими, ибо наступил уже тот час, когда люди обычно запасаются всем необходимым, но он размеренным шагом проходил мимо.

«Верно, он не находит здесь ничего по своему вкусу и собирается все закупить в другом месте»,— подумал я.

Так мы с ним бродили до одиннадцати часов. В одиннадцать хозяин направил свои стопы в собор, я последовал за ним, и тут я мог наблюдать, как усердно молился он за обедней и прочими церковными службами. И только после того как все кончилось и народ разошелся, вышли из храма и мы.

Мы медленно двинулись по улице. Я чувствовал себя счастливейшим из смертных: коль скоро нам не пришлось заниматься поисками пищи, рассуждал я, значит, хозяин мой — человек запасливый и обед будет в положенное время, и притом такой, о каком я мечтал и в каком нуждался.

В это время пробило час пополудни, хозяин мой остановился у какого-то дома, откинул левую полу плаща, вытащил из рукава ключ, отпер дверь, и мы вошли в дом. Вход в него был до того темен и мрачен, что, наверное, внушал страх всем посетителям, хотя, впрочем, дальше вы попадали во внутренний дворик, комнаты же были приличные. Войдя в дом, хозяин скинул плащ и, узнав, чистые ли у меня руки, с моей помощью встряхнул и свернул его, а затем, тщательно сдунув пыль со скамьи, положил на нее плащ, сам сел рядом и начал весьма подробно расспрашивать меня, откуда и как я попал в этот город. Я дал ему более подробный отчет, чем мне того хотелось, ибо я полагал, что лучше накрыть на стол и приняться за похлебку, чем исполнять его просьбу. Однако я удовлетворил его любопытство; привирал же я,

как только мог, повествуя о моих достоинствах и умалчивая обо всем остальном,— мне казалось, что это к делу не относится. После этого он еще некоторое время сидел неподвижно, в чем я тотчас же усмотрел дурной знак: ведь было уже около двух часов, а он помышлял о еде не больше, чем покойник.

Я стал рассматривать комнату, дверь которой была заперта на ключ. Ни вверху, ни внизу не было заметно никакого шевеления. Я видел перед собой только стены, но не видел ни единого стула, ни единой скамейки, даже такого сундука, как у предыдущего хозяина. Весь дом был точно заколдован.

Наконец хозяин спросил:

— Ты уж поел, мальчик?

— Нет, сударь,— ответил я,— ведь когда я повстречал вас, еще и восьми не было.

— А я вот спозаранку позавтракал, и надо тебе сказать: закусив с утра, я до вечера обхожусь без еды. Поэтому до ужина ты уж сам как-нибудь о себе позаботься.

Поверьте, ваша милость, что при этих словах я почти лишился чувств, но не от голода, а от того, что удостоверился, сколь неизменно жестокой пребывает ко мне судьба. Снова предстали предо мной мои злоключения, и я принялся оплакивать мои невзгоды. Вспомнилось мне, как я, замышляя бросить попа, боялся, что, хоть он зол и скуп, я могу напасть на другого хозяина, еще похуже этого. Потом всплакнул я при мысли о моей прежней тяжелой жизни и о близкой моей кончине.

Однако я постарался взять себя в руки и сказал:

— Сударь, я молод и не очень забочусь о еде. Слава богу, глотка у меня скромная,— этим я отличался от всех моих сверстников и за это меня хвалили все хозяева, которым я до вас служил.

— Хорошее качество,— заметил он,— за это я еще больше буду тебя любить. Обжираться свойственно свиньям, а есть умеренно приличествует людям достойным.

«Я отлично тебя понимаю,— подумал я,— будь прокляты те лекарства и те добродетели, которые мои хозяева выискивают в голоде!»

Я забрался в угол и вытащил из-за пазухи несколько ломтей хлеба, которые мне подали Христа ради. Он же, заметив это, молвил:

— Иди-ка сюда, мальчик! Что ты там жуешь?

Я подошел к нему и показал хлеб. Он взял у меня ломоть из трех, получше и побольше, и воскликнул:

— Ей-богу, хороший хлеб!

— Какой там хороший! — заметил я.

— Честное слово, хороший,— возразил он.— Где ты его раздобыл? Чистыми ли руками он замешан?

— Этого я не знаю,— ответил я,— но только вкус его мне не претит.

— Ну, будь что будет,— произнес мой бедный хозяин и, поднеся ломоть ко рту, начал кусать его так же яростно, как кусал я свой.— Клянусь богом, превкусный хлеб,— сказал он.

Поняв, на какую ногу он хромает, и уверившись в его готовности помочь мне расправиться с остатками хлеба, в случае если я замешкаюсь, я стал поторапливаться. Благодаря этому мы покончили с хлебом почти одновременно. Хозяин принялся собирать крошки, оставшиеся у него на груди, а затем прошел в соседнюю комнатушку, принес оттуда кувшин с отбитым горлышком и, отпив, предложил мне. Чтобы сойти за человека воздержанного, я сказал:

— Сударь, я вина не пью.

— Это вода,— ответил он,— можешь пить спокойно.

Тогда я взял кувшин и выпил, но немного, ибо жажда-то меня как раз и не донимала. Так провели мы время до вечера,— он меня расспрашивал, а я ему отвечал, как мог, складнее. Наконец он провел меня в комнату, где стоял кувшин, из которого мы напились, и сказал:

— Мальчик, иди-ка сюда и посмотри, как делается постель, чтобы в другой раз суметь ее приготовить.

Я стал с одного конца, а он с другого, и мы вдвоем приготовили это несчастное ложе, где и готовить-то нечего было, потому что состояло оно из плетенки, положенной на скамьи, и накрытого простыней тощего тюфяка, который, давно забыв о чистке, даже и не походил на тюфяк, но все же заменял таковой, хотя начинки в нем было меньше, чем полагалось. Мы его разостлали и попытались умягчить, но это оказалось невозможно, ибо из твердого очень трудно сделать мягкое. Проклятый тюфяк так мало содержал в себе шерсти, что, когда мы положили его на плетенку, все ее прутья обозначились под ним, как ребра у тощей свиньи. Сверху было положено столь же тощее одеяло, цвет которого я не мог разобрать. Когда постель была приготовлена, уже наступила ночь, и хозяин сказал:

— Уже поздно, Ласаро, а отсюда до рынка очень далеко. К тому же в городе полно воров, они грабят по ночам. Обойдемся как-нибудь, а утром господь нас вознаградит. Я не запасался едой — ведь я до сих пор жил один и все эти дни не обедал дома, а теперь мы устроимся иначе.

— Что касается меня, сударь,— заговорил я,— то об этом вашей милости не стоит беспокоиться,— я и не одну ночь, если нужно, могу побыть без еды.

— И будешь здоровее, да и проживешь дольше,— подхватил он,— мы с тобой уже говорили: ничто на свете так не способствует многолетию, как умеренность в еде.

«Ну, коли так,— подумал я,— то я никогда не помру: я всегда соблюдал это правило поневоле и думаю даже, что, на свое несчастье, буду верен ему всю жизнь».

Он улегся, подложив под голову свои штаны и камзол, и велел лечь у его ног, что я и сделал. Но будь проклят сон мой, ибо прутья плетенки и мои торчавшие кости всю ночь не переставали ссориться и злиться друг на друга, ибо от забот, несчастий и голода в теле моем не осталось уже ни фунта мяса. Притом я целый день почти ничего не ел и в конце концов озверел от голода, а тут уж бывает не до сна, и да простит меня господь, но только я осыпал проклятиями и себя самого, и мою несчастную судьбу. Большую и худшую часть ночи я не смел пошевельнуться, чтобы не разбудить моего хозяина, и неустанно молил бога о смерти.

Утром мы поднялись, и хозяин стал чистить и встряхивать свои штаны, камзол и плащ, а я усердно прислуживал ему во время долгого его одевания. Я подал ему воды вымыть руки, он причесался, взял свою шпагу и, прицепляя ее к портупее, сказал:

— Если бы ты знал, мальчик, что это за шпага! Я не променял бы ее на все золото в мире. Из тех шпаг, что сделал Антонио, ни у одной нет такого острого клинка, как у этой.— Он вытащил ее из ножен и попробовал пальцами: — Видишь? Я берусь пронзить ею кипу шерсти.

«А я моими зубами, хоть они и не стальные, берусь пронзить хлеб в четыре фунта весом»,— подумал я.

Он вложил шпагу в ножны, прицепил ее к портупее вместе с огромными четками и спокойным шагом, держась прямо, изящно покачивая станом и головою, перебрасывая плащ то через плечо, то через руку и подбоченясь, направился к выходу.

— Ласаро,— сказал он,— пригляди за домом, пока я схожу к обедне, прибери постель, сбегай за водою на реку, а дверь запри на ключ, чтоб у нас чего-нибудь не стянули, и положи его вот тут, у косяка, на случай если я вернусь раньше тебя.

И он, приосанясь, зашагал по улице с таким гордым видом, что всякий, кто не был с ним знаком, мог бы подумать, что это идет близкий родственник графа Аларкоса или, по крайней мере, камердинер, помогавший ему одеваться.

«Благословен господь,— подумал я, оставшись один,— посылая болезнь, он указует и лекарство! Кто, встретив моего хозяина, не подумает, судя по его довольному виду, что вчера он вкусно поужинал, спал на мягком ложе и, несмотря на ранний

час, сытно позавтракал? Неисповедимы пути твои, господи, и людям не дано их постигнуть! Кого не обманули бы эта наружность, этот приличный плащ и камзол? Кому придет в голову, что этот дворянин ничего вчера не ел и удовольствовался лишь краюхой хлеба, которую слуга его Ласаро целые сутки таскал у себя за пазухой? Кому придет в голову, что сегодня, вымыв лицо и руки, за неимением полотенца воспользовался он полой своего кафтана? Никто, конечно, этого не подозревает. О господи, как много подобных ему рассеяно по свету, и из-за этой гадости, которая называется честью, они терпят столько мук, сколько не претерпели бы во имя твое!»

Рассуждая таким образом, стоял я у дверей и смотрел вслед моему хозяину до тех пор, пока он не прошел нашу длинную и узкую улицу. Когда же он скрылся из виду, я в один миг обошел весь дом, сверху донизу, не зная, за что бы мне взяться. Я убрал злосчастную жесткую постель, взял кувшин и по дороге к реке увидел моего хозяина: он стоял в саду и рассыпал любезности двум расфуфыренным девицам, какие в том городе попадаются на каждом шагу. Многие из них имеют обыкновение в летнее время гулять по бережку и дышать утренней прохладой в надежде, что кто-либо угостит их завтраком, как это принято у местных идальго.

Итак, хозяин мой беседовал с ними на манер Масиаса, расточая больше нежных слов, чем их насочинял Овидий. Когда же они удостоверились, что он расчувствовался не на шутку, им не показалось зазорным попросить его повести их завтракать за полагающееся в таких случаях с них вознаграждение. Он же, ощутив, что кошелек его столь же холоден, сколь горяч желудок, внезапно заболел лихорадкой, побледнел, начал путаться в словах и бормотать пустые извинения. Наученные опытом, они сразу распознали его болезнь и предоставили его самому себе; я же, закусив капустными кочерыжками, с великим проворством, как подобает новому слуге, тайно от хозяина вернулся домой и решил хотя бы слегка подмести наше обиталище, ибо сделать это было просто необходимо, но только не нашел чем. Думал я, думал, за что бы мне приняться, и наконец решил обождать моего хозяина до полудня: он-де вернется и, быть может, принесет что-нибудь поесть, но ожидание оказалось напрасным. Когда я увидел, что уже два часа, а он все не идет, меж тем как голод продолжает донимать меня, я запер дверь, положил ключ, куда было велено, и вернулся к моему старому ремеслу. Тихим и слабым голосом, прижимая руки к груди, имея образ господа бога перед глазами и имя его на устах, стал я просить хлеба у дверей самых больших домов. Искусство это я всосал с молоком матери или, вернее, постиг его у великого моего учителя — слепца и вышел

вполне достойным его учеником, а потому, несмотря на жестокосердие жителей этого города и на неурожайный год, я выказывал такое умение, что, прежде чем пробило четыре часа, у меня оказалось столько же фунтов хлеба в желудке, да еще два в суме и за пазухой. Я повернул домой и, проходя мимо мясной лавки, выпросил у одной женщины кусок телячьей ножки и немного вареной требухи.

Моего доброго хозяина я застал дома. Плащ его был свернут и положен на скамью, а сам он прогуливался по дворику. Когда я вошел, он направился ко мне. Я подумал, что он будет бранить меня за опоздание, но господь все устроил к лучшему. Он спросил, где я был.

— Сударь,— ответил я,— до двух часов я был дома, а затем, видя, что ваша милость не возвращается, прошелся по городу и обратился за помощью к добрым людям, а они дали мне то, что вы видите.

Я достал из-под полы хлеб и требуху и показал ему, он же удостоил это милостивым взглядом и сказал:

— А я ждал тебя к обеду и, видя, что ты не идешь, пообедал один. Но ты и в этом случае поступил как порядочный человек, ибо лучше просить милостыню, чем воровать, и я надеюсь, что господь тебя не оставит. Но только смотри: никто не должен знать, что ты живешь у меня, иначе это может задеть мою честь. Впрочем, я уверен, что это останется тайной, ибо меня мало знают в этом городе, и лучше бы мне сюда вовсе не заглядывать!

— Не беспокойтесь, сударь,— молвил я,— никому нет до этого дела, и ни перед кем я не буду отчитываться.

— Ну, а теперь ешь, греховодник, бог даст, мы скоро выбьемся из нужды, хотя, признаюсь, с тех пор, как я поселился в этом доме, ничего хорошего я не видел. Верно, построен он на худой земле и на плохом основании. Есть такие несчастливые дома, где на жителей валятся всякие беды. Этот дом, конечно, из таких, но я тебе обещаю, что через месяц я с ним расстанусь, хотя бы мне отдали его в полное владение.

Умолчав о моем завтраке, чтобы он не принял меня за обжору, я сел на край скамьи и начал ужинать; я уписывал требуху и хлеб и украдкой поглядывал на незадачливого моего хозяина, который не сводил глаз с моего кафтана, служившего мне скатертью. Да будет господь так жалостлив ко мне, как жалел тогда я его, ибо все его чувства я сам перечувствовал и испытывал их изо дня в день. Я раздумывал, удобно ли предложить ему поесть, но так как он сказал, что уже отобедал, то я боялся, что он отклонит мое приглашение, хотя искренне желал, чтобы бедняга помог мне в моих трудах и поел вместе со мною, как это было

накануне. Тем более что припасы были лучшего качества и я сам был не такой голодный.

Господу было угодно исполнить мое, а пожалуй что и его желание, ибо как только я принялся за еду, он подошел ко мне и сказал:

— Я никогда еще не видел, Ласаро, чтобы кто-нибудь кушал с таким аппетитом, как ты. Кто не хочет есть, а смотрит на тебя — сразу захочет.

«Тебе самому хочется есть,— подумал я,— оттого ты мною и восхищаешься».

Все же я решил прийти ему на помощь, тем более что он сделал первый шаг.

— Сударь,— сказал я,— дело мастера боится. Хлеб до того вкусен, а телячья ножка так хорошо сварена, что всякий соблазнится.

— Это телячья ножка?

— Да, сударь.

— Ну, так я тебе скажу, что это лучшее кушанье на свете, я бы и на фазана его не променял.

— Так отведайте, сударь, и вы увидите, какова она.

Я сунул ему в руку телячью ножку и два-три куска хлеба из самой что ни на есть белоснежной муки. Он сел рядом со мною и, словно только этого и ждал, принялся уплетать все подряд, обгладывая каждую косточку не хуже любой собаки.

— С подливочкой это необыкновенное кушанье,— проговорил он.

«Тот соус, с которым ты его ешь, еще лучше»,— заметил я про себя.

— Ей-богу, я с таким аппетитом поел, как будто сегодня у меня еще маковой росинки не было во рту.

«Да наступят для меня столь же урожайные годы, каким был для меня нынешний день!» — подумал я.

Хозяин попросил воды, и тут я увидел, что кувшин полон, а это означало, что хозяин мой не слишком сытно обедал. Мы напились и, очень довольные, легли спать.

Чтобы не впасть в излишнее многословие, скажу только, что так прожили мы дней восемь — десять; злосчастный мой хозяин каждое утро с важным видом отправлялся мерным шагом на улицу глотать воздух, а бедный Ласаро исполнял в это время обязанности ходатая по съедобным делам.

Я много думал над своим несчастьем, над тем, что, спасаясь от плохих хозяев и стремясь к лучшей жизни, напал я на такого, который не только не поддерживает меня, но которому я сам должен служить опорой. И все же он был мне по душе; видя, что с него

нечего взять, я скорее чувствовал к нему жалость, чем неприязнь, и много раз обходился сам без пищи, лишь бы накормить его.

Однажды утром незадачливый мой хозяин в одной сорочке вышел по своей надобности из комнаты, а я тем временем, желая учинить осмотр его карманам, развернул камзол и штаны, которые он оставил у изголовья, и обнаружил бархатный кошелек, помятый, без единой полушки и даже без признака, что в нем когда-то водились деньги.

«Он беден,— решил я,— а ведь никто не может дать того, чего сам не имеет». Поганый выжига-поп и скупой слепец, которые морили меня голодом, хотя господь и одарил их (одного за то, что ему целовали руки, а другого за длинный язык), вызывали во мне ненависть, этот же — сострадание.

Свидетель бог, отныне, встречаясь с кем-нибудь вроде него, такого же обличья и с такой же спесью, я испытывал жалость при одной мысли, что он терпит то же, что претерпевал мой хозяин, которому, несмотря на его бедность, я служил охотнее, чем кому-либо другому. Немного не по душе мне была, однако, его кичливость: мне казалось, что при такой нищете ему следует быть скромнее. Но, по-видимому, у дворян это уж такой обычай — задирать нос, когда в кармане ветер свистит. Да простит их господь, ибо горбатого лишь могила исправит!

И вот, когда я находился в таком положении и вел вышеописанный образ жизни, злой судьбе моей, как будто еще недостаточно меня преследовавшей, захотелось даже и это позорное и многотрудное житие сделать недолгим. А именно: так как этот год оказался неурожайным, то городские власти решили, чтобы все пришлые бедняки покинули город, а кто ослушается, тех будут-де наказывать плетьми. Спустя несколько дней я увидел, что во исполнение этого указа целую толпу нищих гонят плетьми по улице. Это навело на меня такой страх, что я уже не осмелился просить милостыню.

Можно себе представить, какие лишения мы терпели, как тоскливо и тихо стало у нас в доме: по два, по три дня мы ничего не ели и не говорили друг с другом. Мое существование поддерживали две шляпницы, которые жили рядом; я свел с ними знакомство, и они от скудной своей трапезы уделяли мне кое-что, чем я скрепя сердце довольствовался.

Я не так жалел себя, как моего достойного жалости хозяина, у которого целую неделю крошки во рту не было. По крайней мере, в доме у нас ничего съестного не водилось. Не знаю, где он бродил и чем питался.

Нужно было видеть, как он шагал в полдень по улице, длинный и тощий, похожий на борзую собаку. А чтобы окаянная его

честь не была задета, он брал соломинку — этого добра у нас в доме было предостаточно,— выходил за дверь и начинал ковырять в зубах, хотя между ними ничего не могло застрять.

— Я не могу смотреть на злополучное это жилище,— сетовал он.— Смотри, какое оно мрачное, печальное, темное. Пока придется потерпеть, но я надеюсь, что в конце месяца мы отсюда выберемся.

Мы все еще продолжали влачить жалкое, голодное, постылое существование, как вдруг в один прекрасный день некий счастливый случай доставил моему хозяину один реал, и вернулся он такой ликующий, словно завладел всеми сокровищами Венеции. С веселым и довольным видом он протянул его мне и сказал:

— На, держи, Ласаро, господь уже простер над нами свою десницу. Иди на рынок и купи хлеба, вина и мяса — кутнем напропалую! И вот еще чем я тебя порадую: я подыскал другой дом, а в этом, несчастливом, мы доживем только до конца месяца. Будь проклят и самый дом, и тот, кто первый начал строить его! Ей-богу, с тех пор как я в нем поселился, я не видел ни капли вина и ни куска мяса и не знал покоя. Он так мрачен и угрюм! Ну, иди, иди, мы пообедаем сегодня на славу!

Я схватил реал, подхватил кувшин и, довольный и веселый, во все лопатки помчался на рынок. Но что хорошего может случиться с человеком, которому на роду написано, что все его радости должны быть хоть чем-нибудь да омрачены? Так оно и произошло со мною, ибо, летя по улице и размышляя, как мне лучше всего распорядиться реалом, чтобы с наибольшей для себя выгодой истратить его, и вознося благодарения богу, который даровал моему хозяину деньги, я в недобрый час внезапно увидел, что навстречу мне несут на носилках покойника, коего провожает толпа народу и множество духовных особ.

Я прислонился к стене, чтобы дать им дорогу. За гробом шла какая-то женщина в трауре, должно быть вдова покойного, и оглашала воздух громкими рыданиями.

— Супруг и господин мой! — причитала она.— Куда тебя уносят? В печальный и злосчастный дом, в дом мрачный и тесный, в дом, где никогда не пьют и не едят!

Когда я услыхал это, небо показалось мне с овчинку, и я подумал: «О, я несчастный! Мертвеца этого тащат в наш дом».

Я повернул обратно, пробрался через толпу и во весь дух помчался домой. Вбежав в комнату и мгновенно захлопнув за собою дверь, я начал умолять хозяина, чтобы он заступился за меня и защитил; я обнимал его и просил, чтобы он помог мне оборонить вход в наше жилище. Хозяин слегка встревожился и, полагая, что в самом деле что-то случилось, спросил:

— Что такое, мальчик? Чего ты кричишь? Что с тобой? Почему ты захлопываешь дверь с таким испугом?

— Ах, сударь,— воскликнул я,— помогите мне, к нам несут покойника!

— Как так? — спросил он.

— Я видел, как его несли, а жена его причитала: «Супруг и господин мой, куда тебя уносят? В дом мрачный и тесный, в печальный и злосчастный дом, где никогда не пьют и не едят». Его несут к нам, сударь!

Конечно, когда хозяин мой услыхал это, он, хотя и не имел причины быть веселым, залился хохотом и долгое время не мог вымолвить ни слова. Я запер дверь на засов и, чтобы дело вернее было, навалился на нее плечом. Народ со своим покойником давно прошел мимо, а я все еще опасался, что его втащат к нам.

Хозяин мой насмеялся досыта, так, как ему еще никогда не приходилось наедаться, и наконец сказал мне:

— В самом деле, Ласаро, слова вдовы могли навести тебя на эту мысль, но господь устроил все к лучшему, они прошли мимо, и ты теперь скорее открывай дверь и беги за едою.

— Пусть они пройдут всю улицу,— сказал я.

В конце концов хозяин подошел к входной двери и, отворив, вытолкнул меня, и сделать это было необходимо, ибо сам я так и не преодолел своего страха и смятения. В тот день мы наелись досыта, но никакого удовольствия пища мне не доставляла, да и следующие три дня я все еще не мог прийти в себя, а хозяин, вспоминая, что мне взбрело в голову, всякий раз приходил в веселое расположение духа.

Так прожил я у моего третьего хозяина, оскудевшего дворянина, еще несколько дней и все время порывался узнать цель его появления и пребывания в этих краях, ибо с первого же дня, как я нанялся к нему, я признал его за иноземца — так мало у него было знакомства в этом городе и так редко общался он с местными жителями.

Наконец желание мое исполнилось, и я узнал то, что мне хотелось. Однажды, когда мы прилично поели и хозяин мой был ублаготворен, рассказал он мне о своих делах и сообщил, что родом он из Старой Кастилии и что оставил он родные края из-за того, что не снял шляпу перед одним своим соседом — кабальеро.

— Сударь,— сказал я,— если он, по вашим словам, богаче вас, так вам тут нет никакой обиды — первому снять шляпу, да и потом вы сами говорите, что он снимал перед вами шляпу.

— Это правда, он богаче меня, и он снимал передо мной шляпу, но так как я много раз кланялся первый, то не грех было ему хоть раз предупредить меня.

— Мне кажется, сударь, я бы на это не посмотрел,— сказал я,— в особенности если имеешь дело с человеком богаче и старше себя.

— Ты дитя и ничего не понимаешь в делах чести, а в наше время честь составляет все достояние порядочных людей. Надо тебе знать, что я, как ты видишь, оруженосец, но, клянусь богом, попадись мне навстречу граф и не сними он передо мной самым вежливым образом шляпу, я, увидев его в другой раз, постараюсь зайти в какой-нибудь дом якобы по делу или перейду улицу, прежде чем он поравняется со мною, лишь бы не поклониться ему, так как дворянин никому и ничем не обязан, кроме бога и короля, и человеку благородному не подобает ни на мгновение ронять свое достоинство. Помню, однажды у себя на родине я обругал одно должностное лицо и даже собирался поколотить его, ибо каждый раз, встречаясь со мною, он говорил: «Да хранит вас господь!» — «Вы, сударь, невежа и грубиян,— сказал я ему.— Вы дурно воспитаны. Да знаете ли вы, с кем вы разговариваете, кому вы осмеливаетесь говорить: «Да хранит вас господь»?» С тех пор он всегда снимал предо мной шляпу и приветствовал надлежащим образом.

— А разве нехорошо приветствовать друг друга: «Да хранит вас господь»? — спросил я.

— Еще чего! — воскликнул он.— Так можно говорить людям маленьким, людей же знатных, вроде меня, должно приветствовать не иначе как: «Целую руки вашей милости», или, по крайней мере: «Целую ваши руки, сеньор»,— если тот, кто обращается ко мне, дворянин. Я не потерпел, чтобы мой земляк обращался ко мне недостаточно почтительно, и впредь не потерплю ни от кого на свете, кроме короля, такого приветствия: «Да хранит вас господь».

«Грешно так думать,— сказал я себе,— но ведь господь так мало о тебе печется, что ты не должен особенно беспокоиться, если к нему обратятся с подобной просьбой».

— Тем более что я вовсе не так беден,— продолжал он,— и если бы развалившиеся хоромы в моем поместье воздвигнуть наново в шестнадцати милях от моей родины, на Береговой улице в Вальядолиде, да сделать их большими и роскошными, то стоили бы они больше двухсот тысяч мараведи. Есть у меня и голубятня, но только она разрушена, а то бы она каждый год давала больше двухсот голубей. Я уж не говорю о многом другом — обо всем, что мне пришлось оставить из-за дел чести. Я надеялся найти в этом городе хорошее место, но случилось не так, как я предполагал. Я встречаю здесь много каноников и других священнослужителей, но эти люди живут столь замкнуто и скупо, что никто

в мире не сможет изменить их повадки. Господа среднего достатка также приглашают меня, но служить им очень трудно, ибо для этого надо из человека превратиться в мелкую картишку, а не то тебе скажут: «Ступай с богом». Да и жалованье там заставляет долго ждать себя, большей частью приходится служить за одну еду. Когда же они захотят успокоить свою совесть и вознаградить твои старанья, то облачат тебя в поношенный камзол или в дырявый плащ и куртку. Выкарабкаться из нужды можно, только устроившись к людям знатным. Что же, разве я не способен служить и угождать им? Попади я только к одному из них, я скоро сумел бы стать его любимцем, оказывал бы ему тысячи услуг, мог бы лгать ему не хуже всякого другого и угождать во всем. Я покатывался бы над его шутками и выходками, хотя бы даже они были и не весьма остроумны, я бы никогда не сказал ему ничего неприятного, хотя бы это и следовало. В его присутствии я проявлял бы рвение и на словах и на деле. Я не стал бы убиваться, что не могу хорошо сделать того, чего он не может увидеть, но распекал бы прислугу, когда он мог бы это слышать, дабы он удостоверился, как я о нем забочусь. Если бы он бранил слугу, то я, под видом заступничества за виновного, еще больше старался бы разжечь его гнев. Я бы отзывался хорошо о том, кого он хвалит, и, наоборот, относился бы насмешливо и враждебно к тем, кто ему не нравится. Я бы следил за домашними и за посторонними и разузнавал об их делах, чтобы сообщать все это ему, я бы изучил и применял множество приемов в этом духе,— приемы эти ныне в ходу при дворе, и высокопоставленные особы их одобряют. Они ведь не желают терпеть в своем доме людей честных, они ненавидят их, ставят ни во что и зовут дураками, коль скоро с ними нельзя обделывать дела и нельзя с ними позабавиться. У таких господ пристраиваются только пронырливые люди, чего мог бы достичь и я, но, видно, мне это не суждено.

Так сетовал на свою превратную фортуну мой хозяин, повествуя мне о своей доблестной персоне.

В это время появились в дверях какой-то мужчина и старуха. Мужчина стал требовать с моего хозяина плату за дом, а старуха — за кровать. Стали они насчитывать, и вышло, что за два месяца надо заплатить столько денег, сколько он и за год не наберет. Кажется, все это вместе составляло двенадцать или тринадцать реалов. Хозяин не растерялся: он ответил им, что пойдет на рынок разменять деньги, а они-де пусть придут попозже. Сам он ушел и не вернулся, так что когда они действительно пришли попозже, то было уже слишком поздно. Я сказал им, что он еще не приходил. Настала ночь, но он не появлялся. Я побоялся остаться один в доме, пошел к соседкам, поведал им обо всем и заночевал там.

Утром к ним явились заимодавцы и начали расспрашивать их о соседе, но без толку. Соседки сказали:

— Вот здесь его слуга, и у него ключ от дверей.

Заимодавцы стали выспрашивать у меня о хозяине, и я ответил, что не знаю, где он может быть, что он не возвращался домой с тех пор, как пошел разменять деньги, и что, думается мне, он обманным образом сбежал и от них и от меня.

Услышав такие вести, заимодавцы отправились за альгвасилом и писцом, вскоре возвратились с ними, взяли ключ, позвали меня, собрали свидетелей, отворили дверь и вошли в наше обиталище, дабы описать имущество моего хозяина для уплаты долгов. Обошли они весь дом и, видя, что он, как я уже рассказывал, совсем пуст, принялись допытываться:

— Где же имущество твоего хозяина? Где его сундуки, ковры и все драгоценности?

— Не знаю,— ответил я.

— Вещи унесены ночью, это ясно,— решили они.— Сеньор альгвасил, возьмите-ка этого паренька — он знает, где все это припрятано.

Тут альгвасил подошел ко мне и, схватив за шиворот, пригрозил:

— Мальчик, ты сядешь в тюрьму, если не скажешь, где спрятано добро твоего хозяина.

Никогда еще не был я в таком положении (впрочем, за воротник меня постоянно держал слепец, но в мирных целях, чтобы я показывал ему дорогу); я перепугался до смерти и со слезами пообещал ответить на все вопросы.

— Хорошо,— согласились они.— Ну, говори все, что знаешь, и не бойся.

Писец сел на скамью, чтобы составить опись, и начал выведывать у меня, чем владел мой хозяин.

— Сеньоры,— начал я,— хозяин мой говорил, что у него очень хорошее поместье и разрушенная голубятня.

— Что ж,— сказали они,— как бы мало это ни стоило, а на долги хватит. В какой части города у него эти угодья?

— На его родине,— ответил я.

— Ей-богу, дело обстоит неплохо! — воскликнули они.— А где же его родина?

— Хозяин говорил, что родом он из Старой Кастилии.

Альгвасил и писец расхохотались.

— Право, этих сведений вполне достаточно, чтобы мы могли взыскать с него ваши деньги, хотя бы за ним числилось еще и побольше,— сказали они заимодавцам.

Тут вмешались соседки:

— Господа, этот ребенок ни в чем не повинен,— объявили они.— Он всего несколько дней служит у этого дворянина и знает о нем не больше, чем ваши милости. Бедняжка часто приходил к нам, и мы его подкармливали, Христа ради, как могли, а на ночь он уходил спать к нему.

Уверившись в моей невиновности, власти отпустили меня и стали требовать с мужчины и со старухи возмещение издержек, из-за чего поднялся у них шум и спор.

Одни утверждали, что они ничего не обязаны платить, ибо не с кого им получить долг, другие же — что они из-за этого потеряли другое дело, поважнее.

Наконец, после долгих пререканий, стражник схватил тюфяк старухи, и хотя то был не великий груз, однако потащили его все пятеро, не переставая кричать.

Не знаю, чем все это дело кончилось; наверное, бедняга тюфяк расплатился за все протори и убытки, тем более что ему давно пора было уйти на покой, вместо того чтобы отдаваться внаем.

Так покинул меня мой злосчастный третий хозяин, и я вновь изведал всю горечь моей судьбины. Действуя во всех случаях против меня, она и здесь так обернула дело, что, хотя обычно слуги удирают от подобных хозяев, мой хозяин сам покинул своего слугу и удрал от него.

РАССКАЗ ЧЕТВЕРТЫЙ

Как Ласаро устроился у монаха ордена Милости и что с ним случилось

Пришлось мне искать четвертого хозяина, и таковым оказался один монах ордена Милости, к которому послали меня упомянутые мною соседки. Они называли его своим родственником. Ярый враг монастырской службы и монастырской пищи, любитель погулять на стороне, заниматься светскими делами и шляться по гостям, он, думается мне, изнашивал больше башмаков, чем весь монастырь, вместе взятый. От него-то я в первый раз в моей жизни и получил башмаки. Башмаки не выдержали больше недели, но и я не мог больше выдержать его беготни, и по этой причине, а также по некоторым другим, о коих не стоит упоминать, я с ним распрощался.

РАССКАЗ ПЯТЫЙ

Как Ласаро устроился у продавца папских грамот и что с ним случилось

Пятым моим хозяином судьбе угодно было сделать продавца папских грамот, самого развязного, бесстыжего и ловкого торгаша, которого я когда-либо видел, не надеюсь увидеть в будущем

и не думаю, что еще кто-нибудь увидит, ибо он был мастер придумывать разные способы, приемы и весьма ловкие штуки, чтобы сбывать свой товар.

Входя в деревню, он, прежде чем предложить грамоты, одарял клириков и священников разными вещицами не очень большой ценности и значения, как-то: мурсийским латуком, а если позволяло время года, то парочкой лимонов или апельсинов, персиками, парой абрикосов, или же давал всем по одной ранней груше. Такими подношениями он старался ублажить их, чтобы они способствовали его торговле и призывали своих прихожан раскупать грамоты.

Вручая подарки, он обыкновенно осведомлялся о степени учености одаряемых. Если они говорили, что знают латынь, то он ни слова по-латыни не произносил, чтобы не попасть впросак, а пользовался складной и размеренной испанской речью и своим развязнейшим языком. Если же он узнавал, что эти священнослужители из числа тех преподобий, что получают места больше за денежки и по рекомендации, чем за ученость, тогда он превращался в какого-то святого Фому и битых два часа болтал по-латыни или, по крайней мере, делал вид, что болтает. Если его грамоты не брали добром, он придумывал средства, чтобы их покупали поневоле, и всячески надувал народ, порой весьма хитроумными способами, а так как рассказывать о всех виденных мною его проделках долго, то я поведаю здесь только об одной, чрезвычайно занятной и ловкой, в которой он выказал все свое хитроумие.

В местечке Сагра, близ Толедо, он проповедовал два или три дня с обычным для него рвением, но у него не купили ни одной грамоты и, на мой взгляд, даже и намерения не имели покупать. Он бесился, ломал голову над тем, что бы ему еще предпринять, и решил созвать народ на другой день утром, чтобы еще раз предложить буллы.

В тот же вечер после ужина он и альгвасил засели за карты и вскоре заспорили и разругались. Он обозвал альгвасила вором, а тот его мошенником. Тогда хозяин мой схватился за копье, стоявшее у дверей, а альгвасил за свою шпагу, висевшую у пояса.

На шум и крики сбежались постояльцы и соседи и стали их разнимать, а они, озлобившись, старались высвободиться и ухлопать друг дружку. Но так как дом был полон народа, сбежавшегося на великий шум, и враги не посмели применить оружия, то они начали осыпать друг друга ругательствами, и альгвасил, между прочим, сказал моему хозяину, что он обманщик и что буллы его подложные.

В конце концов, видя, что усмирить их невозможно, народ увел альгвасила из гостиницы, хозяин же мой остался в весьма злобном расположении духа. Постояльцы и соседи просили его успокоиться и пойти спать. Он так и сделал, и все мы улеглись.

Утром хозяин мой отправился в церковь и велел звонить к обедне, в конце которой он собирался произнести проповедь о пользе булл. Народ собрался и возроптал: буллы-де подложные, сам альгвасил открыл это во время ссоры, и те, кто раньше не имел особой охоты покупать их, теперь и вовсе расхотели.

Проповедник взошел на кафедру и начал воодушевлять народ и убеждать его не лишать себя такого блага и милости, как отпущение грехов, приносимое святой буллой.

В самый разгар проповеди в церковь вошел альгвасил, опустился на колени, сотворил молитву, а затем, поднявшись, громко и внятно повел такую разумную речь:

— Люди добрые, выслушайте меня, а потом слушайте, кого хотите. Я пришел сюда из-за этого надувалы, который вон тут проповедует. Он ввел меня в соблазн и попросил помочь ему в его торговле, пообещав поделиться выручкой. Теперь же, сознав, какой вред принесло бы это моей душе и вашим кошелькам, и раскаявшись в содеянном, я во всеуслышание объявляю вам, что буллы его подложные. Не верьте им, не берите их, а я ни прямо, ни косвенно к ним не причастен и отныне бросаю своей жезл и оставляю службу. Если же когда-нибудь он понесет наказание за свои обманы, будьте свидетелями, что я с ним не заодно и не помогаю ему, а, напротив, предостерегаю вас и объявляю о его злоумышлениях.

На этом он окончил свою речь. Некоторые из находившихся там почтенных людей хотели вытолкать альгвасила из церкви, чтобы избежать скандала, но хозяин мой удержал их и под страхом отлучения велел не трогать его и дать ему выговориться, сам же он в полном молчании выслушал речь альгвасила. Когда тот умолк, хозяин мой спросил его, не намерен ли он добавить еще что-либо к сказанному. Альгвасил ему на это ответил:

— О вас и ваших плутнях можно рассказывать до бесконечности, но пока хватит и этого.

Тогда проповедник мой преклонил колени и, воздев руки и возведя очи горé, воскликнул:

— Господи боже, от тебя ничто не утаится, но все пред тобой обнаружится, для тебя нет ничего невозможного, ты знаешь истину и видишь, сколь неправо я оскорблен. Я, однако ж, прощаю его, ибо ты, господи, прощаешь меня. Отпусти ему, ибо он не ведает, что творит и что говорит. Об одном молю тебя: не оставь оскорбление, нанесенное тебе, безнаказанным, ибо кто-нибудь

из присутствующих, решивших приобрести священную буллу, а затем поверивших лживым словам этого человека, может отступиться от своего намерения. А так как этим наносится вред ближнему, то я молю тебя, господи: не оставь поступка его без наказания, яви здесь чудо, и пусть будет так: если правда то, что говорит он о моих обманах и подлогах, то пусть я провалюсь вместе с кафедрой под землю на семь локтей и так там и останусь, а если правда на моей стороне, он же клевещет по наущению дьявола, дабы лишить собравшихся твоего великого блага, да будет он так же точно наказан и обличен в своих злых намерениях.

Едва окончил свое моление благочестивый мой хозяин, как ноги у злобного альгвасила подкосились, и он с таким грохотом повалился на землю, что загудела вся церковь. Он стонал, извергая изо рта пену, корчился, строил гримасы, колотил руками и ногами и катался по полу.

В церкви поднялся столь великий шум и все так громко кричали, что ничего нельзя было разобрать. Иные пребывали в страхе и трепете, иные восклицали: «Спаси его, господи!», иные: «Так ему и надо, в другой раз пусть не лжесвидетельствует!»

Наконец несколько человек, по моим наблюдениям — с великим страхом, приблизились к нему и схватили за руки, коими он наносил мощные удары близстоящим. Другие усмирили его ноги, а это было нелегко, ибо взбесившийся мул не брыкается так, как брыкался альгвасил. Более пятнадцати человек навалилось на него, и всем им изрядно досталось, а чуть кто, глядишь, зазевался, тому попадало и по зубам.

Все это время хозяин мой пребывал на коленях у кафедры, все так же воздев руки и возведя очи к небу, а душою вознесясь к божеству, так что ни рев, ни шум, ни крики не могли отвлечь его от созерцания.

Добрые люди подошли к нему и, пробудив его своими возгласами, стали просить, чтобы он соизволил помочь несчастному умирающему альгвасилу, забыл о происшедшем и о злобных его речах, ибо тот за них уже поплатился, и из любви к богу избавил альгвасила от страданий и от опасности; они, мол, ясно видят теперь вину альгвасила, а равно и правоту и добросовестность моего хозяина, молитву коего господь услышал, альгвасилу же не замедлил воздать по грехам его и покарать.

Проповедник мой, словно пробудившись от блаженного сна, взглянул на них, посмотрел на преступника и на всех, что стояли вокруг, и торжественно заговорил:

— Добрые люди, вам бы не следовало заступаться за человека, на котором столь явно означился гнев господень, но поелику господь повелевает нам не платить злом за зло, а, напротив,

прощать обиды, то мы, уповая на его милосердие, постараемся умолить его простить богохульника. Обратимся же к господу!

Тут он спустился с кафедры и с весьма набожным видом призвал всех помолиться богу, да простит он этого грешника, вернет ему доброе здравие и ясный рассудок и изгонит беса, которому он попустил вселиться в альгвасила за содеянное им великое прегрешение.

Все преклонили колена и вместе с духовенством тихими голосами запели перед алтарем литанию, а хозяин мой, воздев руки к небу и так закатив глаза, что видны были лишь одни белки, произнес столь же пространное, сколь и трогательное слово и заставил расплакаться весь народ, как это бывает обычно с богобоязненными слушателями и проповедником во время проповедей о страстях господних. Он молился не о том, чтобы господь отнял у грешника жизнь,— как раз наоборот: он молился о том, чтобы господь продлил ему век и привел к покаянию, чтобы сей одержимый бесом грешник, проникшись сознанием греховности и устрашенный близостью смерти, принес покаяние, а чтобы господь, видя его чистосердечное раскаяние, простил его и исцелил.

Засим он велел подать ему буллу и возложил ее на голову альгвасила. Грешник тотчас же начал мало-помалу приходить в себя, и, едва лишь вернулся к нему рассудок, он бросился к ногам божьего посланца и признался, что говорил он по наущению дьявола, дабы причинить священнику зло и отомстить за обиду, а главное, дескать, потому он так говорил, что дьявол терпеть не может, когда народ раскупает священные буллы.

Хозяин мой простил его, дружба между ними восстановилась, а торговля буллами пошла так бойко, что почти ни одна живая душа в этом селении не осталась без них,— их брали нарасхват и мужья, и жены, и сыновья, и дочери, и юноши, и девушки.

Весть о случившемся распространилась по окружным деревням, и когда мы прибывали в какую-нибудь из них, не нужно было уже ни проповеди, ни хождения в церковь,— народ сам валом валил в гостиницу, точно это были не буллы, а раздаваемые даром груши, так что в десяти или двенадцати окрестных селениях хозяин мой распродал десять или двенадцать тысяч булл, не произнося никаких проповедей.

Когда хозяин мой разыгрывал все это в храме, я тоже, грешным делом, подивился и всему поверил, как верили и многие другие, но потом, когда он и альгвасил стали при мне смеяться и шутить над этой проделкой, я понял, что все было подстроено моим изобретательным и хитроумным хозяином. Несмотря на

свою молодость, я невольно подумал: «На какие только хитрости не пускаются эти плуты, чтобы обманывать простой народ!»

Всего пробыл я у этого пятого моего хозяина около четырех месяцев и изрядно потрудился, он же недурно меня кормил за счет священников и других духовных особ там, где ему случалось проповедовать.

РАССКАЗ ШЕСТОЙ

Как Ласаро устроился у капеллана и что с ним случилось

После этого нанялся я растирать краски к одному мастеру, расписывавшему бубны, и тоже натерпелся всяких бед.

К тому времени я уже подрос, и как-то раз, когда я зашел в собор, некий капеллан взял меня к себе в услужение. В мое ведение поступили осел, четыре кувшина, кнут, и начал я продавать воду по городу. Это была первая ступенька той лестницы, которая должна была привести меня к счастливой жизни, то есть к сытной пище. Каждый день отдавал я моему хозяину тридцать вырученных мараведи, а в субботу работал на себя, остальные же дни недели удерживал в свою пользу все, что мне удавалось выручить сверх тридцати мараведи.

Дела мои шли хорошо, и через четыре года на свои немалые сбережения я сумел уже вполне прилично одеться в подержанное платье. Купил я себе старый бумазейный камзол, поеденный молью казакин с расшитыми и прорезанными рукавами, залатанный плащ и отменную старую шпагу из Куэльяра. И вот, одевшись как подобает порядочному человеку, я тотчас же объявил моему хозяину, что он может забирать своего осла, ибо этим ремеслом я решил больше не заниматься.

РАССКАЗ СЕДЬМОЙ

Как Ласаро устроился у альгвасила и что с ним случилось

Распрощавшись с капелланом, устроился я на службу к одному альгвасилу. Прожить мне у него пришлось очень недолго, ибо служба эта показалась мне опасной, особенно после того, как однажды ночью меня и моего хозяина заставили спасаться от камней и палок беглые преступники. Хозяину моему, кажется, досталось, но меня они не достигли. На другой же день я отказался от подобного занятия.

Когда же я стал размышлять, какой образ жизни обеспечит мне спокойную и безбедную старость, то господь надоумил меня и наставил на верный путь. По милости друзей и знатных господ

все тяготы и затруднения, которые претерпевал я до сих пор, были вознаграждены тем, что я достиг своей цели, а именно — коронной службы, ибо я удостоверился, что никто не преуспевает так в жизни, как те, что на ней состоят.

Я и поныне занимаю все ту же должность, служу богу и вашей милости, и на обязанности моей лежит объявлять о винах, которые продаются у нас в городе, о торгах с молотка и об утерянных вещах. Кроме того, я сопровождаю тех, кто подвергается наказанию по суду, и во всеуслышание объявляю об их преступлениях. Одним словом, говоря попросту,— я городской глашатай.

На этой службе мне повезло, я быстро освоился со своими новыми обязанностями, и теперь почти все дела проходят через мои руки, так что кому надо продать вино или еще что-либо, тот может рассчитывать на прибыль, только если он прибегнет к посредничеству Ласаро с Тормеса.

С течением времени узнав меня поближе и увидев мои способности и добрый нрав, настоятель храма Спасителя, мой покровитель, он же слуга и друг вашей милости, в награду за то, что я объявлял о его винах, решил женить меня на своей служанке. Сообразив, что от такой особы ничего, кроме добра и пользы, мне ожидать нечего, я изъявил согласие, женился — и до сих пор не раскаиваюсь, ибо она женщина добрая, прилежная и услужливая. К тому же я пользуюсь благоволением настоятеля и получаю от него вспомоществование. Так, ежегодно дарит он нам почти целый куль зерна, каждую пасху — мяса, иной раз два каравая или старые штаны, которые он уже не носит. Он заставил нас снять домик рядом с его жилищем. По воскресеньям и почти каждый праздник мы обедаем у него.

Однако злые языки, в которых никогда не было и не будет недостатка, не дают нам покоя и болтают всякую чепуху — будто бы жена моя ходит к нему убирать покои и готовить обед. Не любо — не слушай, а врать не мешай. Супруга моя не из тех женщин, которых задевают подобные шутки, а хозяин, кроме того, обещал мне кое-что, и, надеюсь, он свое слово сдержит.

Однажды он очень долго беседовал со мною при ней и сказал:

— Ласаро с Тормеса! Кто обращает внимание на болтовню злых языков, тому в жизни не преуспеть. Меня нимало не беспокоят разговоры о том, что жена твоя ходит ко мне... Ручаюсь, что в этом нет никакого ущерба ни для ее, ни для твоей чести. Не придавай же значения пересудам, а придавай значение лишь тому, что непосредственно касается тебя, а именно твоей собственной выгоде.

— Сударь,— ответил я,— в моих правилах следовать добрым советам. Правда, друзья мои говорили мне что-то в этом

роде и даже уверяли, будто жена моя, до того как выйти за меня замуж, три раза родила, и, не в обиду вам будь сказано, от вашей милости.

При этих словах супруга моя разразилась такими проклятиями, что я уж думал — дом провалится вместе с нами; потом она заплакала и начала хулить того, кто выдал ее за меня замуж, так что лучше бы мне было помереть прежде, чем эти слова вырвались из моих уст. Мы с хозяином наперерыв принялись уговаривать и увещевать ее, и она прекратила свой плач, как скоро я поклялся, что никогда в жизни не заговорю с ней об этом, а буду радоваться и почитать за благо, что она ходит к нему и днем и ночью, ибо я вполне уверен в ее добродетели. И так мы все трое вновь зажили в мире и согласии.

До сего дня никто из нас не слыхал больше ничего подобного. Когда же я подозреваю, что кто-нибудь собирается сказать нечто о моей жене, я останавливаю его и говорю:

— Послушайте, если вы мой друг, то не говорите ничего такого, что может быть мне неприятно, ибо я не почитаю своим другом того, кто огорчает меня, в особенности если он хочет поссорить меня с моей женой, которую я люблю больше всего на свете и больше себя самого. Благодаря ей господь изливает на меня гораздо больше милостей и щедрот, чем я заслуживаю, и я готов поклясться святым причастием, что она лучшая из всех женщин Толедо. А кто станет мне возражать, с тем я разделаюсь по-свойски!

Мне, разумеется, не возражают, и в доме у меня царят мир и согласие.

Все это случилось в тот самый год, когда победоносный наш император вступил в славный город Толедо и созвал кортесы. Тогда же, как вы, ваша милость, наверное, слышали, здесь были устроены великие торжества.

В это-то самое время я благоденствовал и находился на вершине житейского благополучия.

«Жизнь Ласарильо с Тормеса».

ФРАНСИСКО ДЕ КЕВЕДО-И-ВИЛЬЕГАС

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ПРОЙДОХИ ПО ИМЕНИ ДОН ПАБЛОС

ПЕРЕВОД С ИСПАНСКОГО К. ДЕРЖАВИНА

ГЛАВА I,

в которой повествуется о том, кто такой пройдоха и откуда он родом

Я, сеньор, родом из Сеговии. Отца моего — да хранит его господь бог на небесах! — звали Клементе Пабло, и был он из того же города. Занимался он, как это обычно говорится, ремеслом брадобрея, но, питая весьма возвышенные мысли, обижался, когда его так называли, и сам себя именовал подстригателем щек и закройщиком бород. Говорили, что происходил он из весьма знатной ветви, и, судя по тому, как он знатно пил, этому можно было поверить.

Был он женат на Альдонсе де Сан Педро, дочери Дьего де Сан Хуана и внучке Андреса де Сан Кристобаля. В городе подозревали, что матушка моя была не старой христианкой; сама же она, однако, перечисляя имена и прозвища своих предков, всячески старалась доказать свое святое происхождение. Она была когда-то очень хороша собою и столь знаменита, что в свое время все виршеплеты в Испании изощряли на ней свое искусство. Вскоре после замужества, да и позже, претерпела она великие бедствия, ибо злые языки не переставали болтать о том, что батюшка мой предпочитал вместо трефовой двойки вытаскивать из колоды бубнового туза. Дознались как-то, что у всех, кому он брил бороду, пока он смачивал им щеки, а они сидели с задранной головой, мой семилетний братец с полнейшей безмятежностью очищал внутренности их карманов. Ангелочек этот помер от плетей, которых отведал в тюрьме. Отец мой (мир праху его) весьма жалел его, ибо мальчишка был таков, что умел пользоваться всеобщим расположением.

За подобные и всякие другие безделицы отец мой был схвачен, но, как мне рассказывали потом, вышел из тюрьмы с таким почетом, что его сопровождало сотни две кардиналов, из которых ни одного, впрочем, не величали вашим высокопреосвященством. Говорят, что дамы, лишь бы взглянуть на него, толпились у окон, ибо отец мой и пешком и на коне всегда выглядел в равной степени хорошо. Рассказываю я об этом не из тщеславия, ибо всякому хорошо известно, насколько я от него далек.

Мать моя, однако, не пострадала. Как-то я слышал в похвалу ей от старухи, которая меня воспитала, что своими прелестями она околдовывала всех, кто имел с ней дело. Старуха, правда, добавляла, что при упоминании о ней поговаривали о каком-то козле и полетах по воздуху, за что ее чуть было не украсили перьями, дабы она явила свое искусство при всем честном народе. О ней ходили слухи, что она умела восстанавливать девственность, возрождала волосы и возвращала им изначальную их окраску; кто называл ее штопальщицей вожделений, кто костоправом расстроившихся склонностей, а иные попросту худыми прозвищами сводницы и пиявки чужих денежек. Надо было видеть, впрочем, ее улыбающееся лицо, когда она слышала все это, чтобы еще больше почувствовать к ней расположение. Не могу не рассказать коротко о ее покаяниях. Была у нее особая комната, в которую она входила всегда одна и только иной раз вместе со мною, на что я имел право, как ребенок. Комната эта была уставлена черепами, которые, по ее словам, должны были напоминать о смерти, а по словам других — ее клеветников,— возбуждать желание жизни. Постель ее была укреплена на веревках висельников, и она мне это объясняла следующим образом:

— Ты что думаешь? Они у меня заместо реликвий, ибо большинство повешенных спасается.

Родители мои вели большие споры о том, кому из них должен я наследовать в ремесле, но сам я уже с малых лет лелеял благородные замыслы и не склонялся ни к тому, ни к другому. Отец говорил мне:

— Воровство, сынок,— это не простое ремесло, а изящное искусство.— И, сложив руки, со вздохом добавлял: — Кто на этом свете не крадет, тот и не живет. Как ты думаешь, почему нас так преследуют альгвасилы и алькальды? Почему они нас то ссылают, то избивают плетьми, то готовы преподнести нам петлю, хотя еще не наступил день нашего ангела и никто о подарках не думает? Не могу я говорить об этом без слез! — И добрый старик ревел, как малое дитя, вспоминая о том, как его дубаси-

ли.— Ибо не хотят они, чтобы там, где воруют они сами, воровали бы и другие, кроме них и их прихвостней. От всего, однако, спасает нас драгоценное хитроумие. В юности моей меня часто можно было увидеть в церкви, но, конечно, не потому, что я так уж ревностно прилежал религии. Сколько раз могли бы посадить меня на осла, если б я запел на кобыле! Каялся я в своих грехах только по повелению святой матери нашей церкви и вот этим путем да моим ремеслом вполне прилично содержал твою матушку.

— Как это так вы меня содержали! — в великом гневе отвечала на это моя мать, опасаясь, как бы я не отвратился от колдовства.— Это я содержала вас, вытаскивала из тюрем благодаря моему хитроумию и помогала вам моими деньгами. Если вы не каялись в своих грехах, так что было тому причиной: ваша ли твердость или те снадобья, которыми я вас поила? Да что тут толковать — вся сила была в моих банках. И не бойся я, что меня услышат на улице, я бы рассказала, как мне пришлось спуститься к вам в тюрьму по дымовой трубе и вытащить вас через крышу.

Она наговорила бы еще всякой всячины,— так все это ее разволновало,— не рассыпься у нее (она вовсю размахивала руками) четки из зубов покойников. Я помирил родителей, заявив, что непременно хочу учиться добродетели и шествовать по пути благих намерений, для чего они должны определить меня в школу, ибо, не умея ни читать, ни писать, нельзя ничего достигнуть. Слова мои показались им разумными, хотя они и поворчали между собой по этому поводу. Мать моя принялась нанизывать свои зубные четки, а отец отправился срезать у кого-то уж не знаю что — то ли бороду, то ли кошелек. Я остался один и вознес благодарение господу богу за то, что сотворил он меня сыном столь склонных и ревностных к моему благу родителей.

ГЛАВА II

О том, как я поступил в школу и что там со мной произошло

На другой день уже был куплен букварь и сговорено с учителем. Я отправился в школу. Учитель принял меня с большой радостью, заметив, что я кажусь смышленым и сообразительным. На это я в тот же день, чтобы оправдать его надежды, хорошо выполнил свой урок. Он отвел мне место поблизости от себя, и я почти каждый раз получал отличия за то, что приходил в школу раньше всех, а покидал ее последним, ибо оказывал разные услуги хозяйке — так называли мы супругу учителя. Их обоих

я привязал к себе многими любезностями. Они, в свою очередь, мне всячески покровительствовали, что усиливало зависть ко мне у остальных ребят. Я старался подружиться с дворянскими детьми и особенно с сыном дона Алонсо Коронеля де Суньига — мы вместе завтракали, я ходил к нему играть по праздникам и каждый день провожал его из школы домой. Остальные мальчишки — то ли потому, что я не водился с ними, то ли потому, что казался им слишком надменным,— принялись наделять меня разными прозвищами, намекавшими на ремесло моего отца. Одни звали меня доном Бритвой, другие доном Кровососной Банкой; кто говорил, оправдывая свою зависть, что ненавидит меня за то, что мать моя выпила ночью кровь у его двух малолетних сестренок, кто уверял, что моего отца приводили в его дом для травли мышей, потому что он кот; одни, когда я проходил мимо них, кричали мне «брысь», а другие звали «кис-кис!». Кто-то похвастал:

— А я запустил в его мать парочкой баклажан, когда на нее напялили митру.

Всячески, коротко говоря, порочили они мое доброе имя, но присутствия духа я, слава богу, не терял. Я обижался, но скрывал свои чувства и терпел.

Но вот в один прекрасный день какой-то мальчишка осмелился громко назвать меня сыном колдуньи, да еще и шлюхи. За то, что это было сказано во всеуслышание,— скажи он это тихонько, я бы не расстроился,— я схватил камень и прошиб ему башку, а потом со всех ног бросился к матери, прося ее меня укрыть, и обо всем ей рассказал. Она ответила:

— Правильно поступил ты и хорошо себя показал. Зря только не спросил ты его, кто это ему все наговорил.

Услышав это и, как всегда, держась возвышенного образа мыслей, я заметил:

— Ах, матушка, меня огорчает только то, что все это больше пахнет мессой, нежели оскорблением.

Матушка, удивившись, спросила меня, что я этим хочу сказать, на что я ответил, что весьма боюсь, как бы парень этот не выложил мне о ней евангельскую истину, и попросил ее сказать мне честно, могу ли я, по совести, изобличить мальчишку во лжи и являюсь ли действительно сыном своего отца или же был зачат в складчину многими. Мать моя засмеялась и сказала:

— Ах ты, паршивец! Вот до чего додумался! Простака из тебя, пожалуй, не выйдет. Молодец. Хорошо ты сделал, что прошиб ему голову, ибо о подобных вещах, будь это хоть сущая правда, говорить не полагается.

Я был совершенно убит всем этим и решил в кратчайший срок забрать все, что возможно, из дому и покинуть родительский кров,— так стало мне стыдно. Однако я все утаил. Отец мой отправился к раненому мальчишке, помог ему своими снадобьями и утихомирил, а я вернулся в школу, где учитель сердито встретил меня, но, узнав о причине драки, смягчился, ибо понял, что обижен я был жестоко.

Все это время меня постоянно навещал сын дона Алонсо Коронеля де Суньига, которого звали доном Дьего. Он очень полюбил меня, ибо я всегда уступал ему мои волчки, если они были лучше, угощал его своим завтраком и не просил у него ничего из того, чем лакомился он сам. Я покупал ему картинки, учил его драться, играл с ним в бой быков и всячески, заметив, как увеселяло его мое общество, почти всегда просил моих родителей, чтобы они разрешали мне оставаться у них обедать, ужинать и даже ночевать.

Случилось как-то раз, в один из первых учебных дней после рождества, что, увидав на улице человека по имени Понсио де Агирре — был он, кажется, обращенным евреем,— дон Дьегито сказал мне:

— Слушай, назови его Понтием Пилатом и удирай.

Чтобы доставить удовольствие моему другу, я назвал этого человека Понтием Пилатом. Тот так разозлился на это, что с обнаженным кинжалом бросился за мной вдогонку, намереваясь меня убить. Я был вынужден со всех ног с криком устремиться в дом моего учителя. Понтий Пилат проник туда вслед за мною, но учитель загородил ему путь, дабы тот не прикончил меня, и уверил его, что я тотчас же получу должное наказание; несмотря на просьбы своей ценившей мою услужливость супруги, он велел мне спустить штаны и всыпал двадцать розог, приговаривая при каждом ударе:

— Будешь еще говорить про Понтия Пилата?

Я отвечал «нет, сеньор» на каждый удар, которым он меня награждал. Урок, полученный за Понтия Пилата, нагнал на меня такой страх, что когда на другой день мне было велено читать молитвы перед остальными учениками и я добрался до «Верую»,— обратите внимание, ваша милость, как, сам того не чая, я расположил к себе учителя,— то, когда следовало сказать «распятого же за ны при Понтийском Пилате», я вспомнил, что не должен больше поминать имени Пилата, и сказал: «Распятого же за ны при Понтийском Агирре». Простодушие мое и мой страх так рассмешили учителя, что он меня обнял и выдал мне бумагу, где обязался простить мне две ближайшие порки, буде мне случится их заслужить. Этим я остался весьма доволен.

Наступили — дабы не наскучить вам рассказом — карнавальные дни, и учитель, заботясь об увеселении своих воспитанников, велел нам выбрать петушиного короля. Жребий был брошен между двенадцатью учениками, коих назначил учитель, и выпал он на мою долю. Я попросил родителей раздобыть мне праздничный наряд. Наступил день торжества, и я появился на улице, восседая верхом на тощей и унылой кляче, которая не столько от благовоспитанности, сколько от слабости все время припадала на ноги в реверансах. Круп у нее облез, как у обезьяны, хвоста не было вовсе, шея казалась длиннее, чем у верблюда, на морде красовался только один глаз, да и тот с бельмом. Что касается возраста, то ей ничего другого не оставалось, как сомкнуть навсегда свои вежды,— смахивала она более всего на смерть в конском обличье; вид ее красноречиво говорил о воздержании и свидетельствовал о постах и всяческом умерщвлении плоти; не оставалось сомнения, что она давно раззнакомилась с ячменем и соломой; но то, что казалось в ней особливо смехотворным, было множество проплешин, испещрявших ее шкуру; если бы только к ней приделать замок, она бы выглядела точь-в-точь оживший сундук. И вот, качаясь из стороны в сторону, как чучело фарисея во время процессии, и сопровождаемый другими разряженными ребятами (я один красовался на коне, между тем как прочие следовали пешком), добрался я — при одном воспоминании об этом меня охватывает страх — до базарной площади и, приблизившись к лоткам зеленщиц (упаси нас от них всевышний!), увидел, что лошадь моя схватила с одного из них кочан капусты и в мгновение ока отправила его себе в утробу, куда тот сразу же и покатился по ее длинному пищеводу. Торговка — а все они народ бесстыжий — подняла крик. Сбежались другие зеленщицы, а вместе с ними всякий сброд, и принялись забрасывать бедного петушиного короля валявшейся на земле огромной морковью, брюквой, баклажанами и прочими овощами. Видя, что началась настоящая битва при Лепанто, которую никак нельзя было вести верхом на коне, я решил спешиться, но скотине моей в это время так дали по морде, что, взвившись на дыбы, она повалилась вместе со мною — стыдно сказать! — прямо на кучу дерьма. Можете себе представить, что тут сталось! Товарищи мои, однако, успели запастись камнями и, начав запускать ими в зеленщиц, ранили двух из них в голову. Я же после своего падения в нужник стал самой что ни на есть нужной персоной в этой драке. Явились слуги правосудия и забрали зеленщиц и мальчишек, прежде всего тех, у кого нашлось оружие, ибо кое-кто повытаскивал висевшие у пояса для пущей важности кинжалы, а кое-кто — и маленькие шпаги. Все это, разумеется, отобрали. Дошла

очередь и до меня. Увидев, что при мне нет никакого оружия, ибо я успел спрятать его в соседнем доме, один из стражников спросил, нет ли у меня чего-либо опасного, на что я ответил, что нет ничего, кроме того, что может быть опасно для их носов. Должен признаться, ваша милость, что когда в меня стали бросать баклажанами и брюквой, я решил, что по перьям на шляпе меня приняли за мою матушку, которую так же в свое время забрасывали овощами. Вот почему по своей ребячьей глупости я и взмолился:

— Тетенька, хоть на мне и перья, но я не Альдонса де Сан Педро, моя мамаша!

Как будто бы они не видели этого по моему обличью и по моей роже! Страх и внезапность несчастья оправдывают, впрочем, мою растерянность. Что же касается до альгвасила, то он возымел намерение отправить меня в тюрьму, но не сумел этого осуществить, так как меня нельзя было удержать в руках, настолько я был вымазан всякой гнусью. В конце концов одни отправились в одну сторону, другие в другую, а я добрался до дому, измучив все встречавшиеся мне по пути носы. Дома я рассказал обо всем случившемся своим родителям, и они пришли в такую ярость, что решили меня наказать. Я взвалил всю вину на того несуразного коня, что они сами мне дали, пробовал всячески их ублажить, но, видя, что из всего этого ничего не выходит, удрал из дому и отправился к моему другу дону Дьего. Его я нашел с пробитою головою, а его родителей — исполненных решимости не отпускать больше своего сына в школу. Там я узнал также, что мой конь, очутившись в затруднительном положении, пробовал было разок-другой дрыгнуть ногами, но свернул себе хребет и при последнем издыхании остался лежать на куче навоза.

Видя, что праздник наш пошел кувырком, весь город взбудоражен, родители мои обозлены, друг мой — с пробитой головой, а лошадь издохла, решил я не возвращаться ни в школу, ни в отчий дом, а остаться в услужении у дона Дьего или, вернее сказать, составить ему компанию, что и было осуществлено, к великому удовольствию его родителей, любовавшихся на нашу детскую дружбу. Я отписал домой, что мне нет больше нужды ходить в школу, ибо хотя я и не научился хорошо писать, но для моего намерения стать кабальеро требуется именно умение писать плохо, что с этого же дня я отрекаюсь от ученья, дабы не вводить их в лишний расход, и от их дома, дабы избавить их наперед от всяческих огорчений. Сообщил им я также, где и в качестве кого я нахожусь и что не явлюсь к ним впредь до их волеизъявления.

ГЛАВА III

О том, как я отправился в пансион в качестве слуги дона Дьего Коронеля

В ту пору дон Алонсо надумал определить своего сына в пансион, отчасти — чтобы отдалить его от праздной жизни, отчасти — чтобы свалить с себя всяческие заботы. Разузнал он, что в Сеговии проживает некий лисенсиат Кабра, занимавшийся воспитанием дворянских детей, и направил к нему своего сынка вместе со мною в качестве провожатого и слуги. В первое же воскресенье после поста мы оказались во власти воплощенного голода, ибо нельзя было назвать иначе представшие перед нами живые мощи. Это был похожий на стеклодувную трубку ученый муж, щедрый только в своем росте, с маленькой головкой и рыжими волосами. Глаза его были вдавлены чуть не до затылка, так что смотрел он на вас как будто из бочки; столь глубоко упрятаны и так темны были они, что годились быть лавками в торговых рядах. Нос его навевал воспоминания отчасти о Риме, отчасти о Франции, был он весь изъеден нарывами — скорее от простуды, нежели от пороков, ибо последние требуют затрат. Щеки его были украшены бородою, выцветшей от страха перед находившимся по соседству ртом, который, казалось, грозился ее съесть от великого голода. Не знаю, сколько зубов у него не хватало, но думаю, что они были изгнаны из его рта за безделье и тунеядство. Шея у него была длинная, как у страуса, кадык выдавался так, точно готов был броситься на еду, руки его болтались как плети, а пальцы походили на корявые виноградные лозы. Если смотреть на него от пояса книзу, он казался вилкой или циркулем на двух длинных тонких ножках. Походка его была очень медлительной, а если он начинал спешить, то кости его стучали, подобно трещоткам, что бывают у прокаженных, просящих милостыню на больницу святого Лазаря. Говорил он умирающим голосом, бороду носил длинную, так как по скупости никогда ее не подстригал, заявляя, однако, что ему внушают такое отвращение руки цирюльника, прикасающиеся к его лицу, что он готов скорее дать себя зарезать, нежели побрить. Волоса ему подстригал один из услужливых мальчишек. В солнечные дни он носил на голове какой-то колпак, точно изгрызенный крысами и весь в жирных пятнах. Сутана его являла собою нечто изумительное, ибо неизвестно было, какого она цвета. Одни, не видя в ней ни шерстинки, принимали ее за лягушечью кожу, другие говорили, что это не сутана, а обман зрения; вблизи она казалась черной, а издали вроде как бы синей; носил он ее без пояса. Не было у него ни воротничка, ни манжет. С длинными волосами, в рваной короткой сутане, он был похож

на прислужника в похоронной процессии. Каждый из его башмаков мог служить могилой для филистимлянина. Что сказать про обиталище его? В нем не было даже пауков; он заговаривал мышей, боясь, что они сгрызут хранившиеся про запас куски черствого хлеба; постель у него была на полу, и спал он всегда на самом краешке, чтобы не снашивать простыней. Одним словом, он являлся олицетворением сугубой скаредности и сверхнищенства.

Во власть этого самого Кабры попали мы с доном Дьего и во власти его остались. Когда мы прибыли, он показал нам нашу комнату и обратился с внушением, которое, во избежание траты времени, длилось недолго. Он объяснил нам, что́ мы должны делать. Все это заняло у нас время до обеденного часа. Потом мы отправились вкушать пищу. Сначала обедали хозяева, а мы им прислуживали. Трапезная занимала помещение в полселемина вместимостью. За каждый стол садилось по пять кавалеров. Я осмотрелся, нет ли где кошек, и, не увидав ни одной, спросил у какого-то старого слуги, худоба которого свидетельствовала о его принадлежности к пансиону, почему их не видно. Он самым жалобным тоном ответил:

— Какие кошки? Кто же вам сказал, что кошки дружат с постами и воздержанием? По вашей дородности видно, что вы еще здесь новичок.

Услыхав это, я пригорюнился и еще больше испугался, когда заметил, что все обитатели пансиона походили на шила, а лица у них точно испытали действие сушащего пластыря. Лисенсиат Кабра уселся и благословил трапезу. Это был обед вечный, ибо он не имел ни начала, ни конца. В деревянных мисках притащили столь прозрачный суп, что, вкушая его, Нарцисс, наверное, рисковал бы жизнью больше, нежели склонившись над чистою водой. Я с тревогой заметил, что тощие пальцы обедающих бросились вплавь за единственной горошиной, сиротливо лежавшей на дне миски. Кабра приговаривал при каждом глотке:

— Ясно, что нет ничего лучше ольи, что бы там ни говорили. Все остальное — порок и чревоугодие.

Окончив эти присловья, он опрокинул посудину себе в глотку и сказал:

— Все это на здоровье телу и на пользу духу!

«Прикончил бы тебя злой дух»,— подумал я про себя и вдруг увидел полудуха в образе юноши столь тощего, что казалось, на блюде с жарким, которое он держал в руках, лежал кусок его тела. Среди кусочков мяса оказалась одна бесприютная брюква.

— Сегодня у нас брюква! — воскликнул лисенсиат.— По мне, ни одна куропатка с нею не сравнится. Кушайте, кушайте, мне приятно смотреть, как вы насыщаетесь!

Он уделил всем по такому ничтожному кусочку баранины, что, сверх оставшегося под ногтями и завязшего в зубах, на долю отлученных от пищи желудков уже ничего не пришлось. Кабра глядел на своих воспитанников и приговаривал:

— Ешьте, ведь вы молодежь! Мне приятно любоваться на вашу охоту к еде.

Посудите, ваша милость, какой приправой были подобные речи для тех, кто корчился от голода!

Обед был окончен. На столе осталось несколько сухих корок, а на блюде какие-то кусочки шкурки и кости. Тогда наставник сказал:

— Пусть это останется слугам. Им ведь тоже следует пообедать, а нам этого не нужно.

«Разрази тебя господь со всем, что ты съел, несчастный, за эту угрозу моим кишкам!» — сказал я себе.

Лисенсиат благословил обедающих и сказал:

— Ну дадим теперь место слугам, а вам до двух часов надлежит немножко поразмяться, дабы все съеденное вами не пошло вам во вред.

Тут я не выдержал и захохотал во всю глотку. Лисенсиат весьма разгневался, велел мне поучиться скромности, произнес по этому случаю две-три древние сентенции и удалился.

Мы уселись, и я, видя, что дела идут не блестяще и что нутро мое взывает к справедливости, как наиболее здоровый и сильный из всех, набросился на блюдо и сразу же запихал себе в рот две корки хлеба из трех, лежавших на столе, и кусочек какой-то кожицы. Сотрапезники мои зарычали, и на шум появился Кабра со словами:

— Делите трапезу, как братья, ибо господь бог дал вам эту возможность; не ссорьтесь, ведь хватит на всех.

Затем он пошел погреться на солнышке и оставил нас одних. Смею уверить вашу милость, что там был один бискаец по имени Хурре, который так основательно позабыл, каким образом и чем едят пищу, что, заполучив кусочек, два раза подносил его к глазам и лишь за три приема смог переправить его из рук в рот. Я попросил пить, в чем другие, столь долго постничая, уже не нуждались, и мне дали сосуд с водой. Однако не успел я поднести его ко рту, как у меня выхватил его, точно это была чаша для омовения при причастии, тот самый одухотворенный юноша, о котором я уже говорил. Я встал из-за стола с великим удручением, ибо понял, что нахожусь в доме, где если уста пьют за здоровье кишок, последние не в силах выпить ответную здравицу, ибо пить им нечего. Тут пришла мне охота очистить утробу, или, как говорят, облегчиться, хотя я почти ничего не ел, и спросил я у од-

ного давнего обитателя сих мест, где находится отхожее место. Он ответил:

— Не знаю; в этом доме его нет. Облегчиться же тот единственный раз, пока вы будете здесь в учении, можете где угодно, ибо я нахожусь тут вот уже два месяца, а занимался этим только в тот день, когда сюда вступил, вот как вы сегодня, да и то потому, что накануне успел поужинать у себя дома.

Как передать вам мою скорбь и муки? Были они таковы, что, приняв в соображение, сколь малое количество пищи проникло в мое тело, я не осмелился, хотя и имел к тому большую охоту, что-либо из себя извергнуть.

Мы проговорили до вечера. Дон Дьего спрашивал меня, как ему надлежит убедить свой желудок, что он насытился, если тот не хочет этому верить. В доме этом столь же часто страдали от головокружений, сколько в других от несварения желудка. Наступил час ужина, ибо полдник миновал нас. Ужин был еще более скудным, и не с бараниной, а с ничтожным количеством того, что было одного имени с нашим учителем,— с жаренной на вертеле козлятиной. И черт не измыслил бы такой муки.

— Весьма целебно и полезно для здоровья,— убеждал Кабра,— ужинать умеренно, дабы не обременять желудок лишней работой.

И по этому поводу цитировал целую вереницу чертовых докторов. Он восхвалял воздержание, ибо оно избавляет от тяжелых снов, зная, конечно, что под крышей его дома ничто иное, чем жратва, не могло и присниться. Подали ужин, мы отужинали, но никто из нас не поужинал.

Отправились спать. Всю ночь, однако, ни я, ни дон Дьего не могли заснуть. Он строил планы, как бы пожаловаться отцу и попросить вызволить его отсюда, я же всячески советовал ему эти планы осуществить, хотя под конец и сказал:

— Сеньор, а уверены ли вы, что мы живы? Мне вот сдается, что в побоище с зеленщицами нас прикончили и теперь мы души, пребывающие в чистилище. Имеет ли смысл просить вашего батюшку спасать нас отсюда, если кто-нибудь не вымолит нас молитвами и не вызволит за обедней у какого-нибудь особо почитаемого алтаря?

В таких разговорах и в кратком сне минула ночь, и пришло время вставать. Пробило шесть часов, и Кабра призвал нас к уроку. Мы пошли и приступили к ученью. Зубы мои покрывал налет, цвет его был желтый, ибо он выражал мое отчаяние. Велено было мне громко читать начатки грамматики, а я был столь голоден, что закусил половиною слов, проглотив их. Чтобы поверить всему этому, надо было послушать, что рассказывал мне

слуга Кабры. Говорил он, что как-то на его глазах в дом этот привели двух фрисландских битюгов, а через два дня они уже стали так легки на бегу, что летали по воздуху. Привели столь же здоровых сторожевых псов, а через три часа из них получились борзые собаки. Как-то раз, по его словам, на страстной неделе у дома Кабры сошлась и долго толкалась куча народа, из которой одни пытались просунуть в двери свои руки, другие — ноги, а третьи старались и сами пролезть внутрь. Кабра очень злился, когда его спрашивали, что это означает, а означает это, что из собравшихся одни страдали коростой, другие зудом в отмороженных местах и надеялись, что в этом доме болезни перестанут их разъедать, так как излечатся голодом, ибо им нечего будет грызть. Уверял он меня, что все это истинная правда, а я, узнав порядки в этом доме, охотно всему поверил и передаю вам, дабы вы не усомнились в правдивости моего рассказа. Но вернемся к уроку. Кабра читал его, а мы повторяли его за ним хором. Все шло дальше тем же порядком, который я вам описал, только к обеду в похлебку добавили сала, потому что кто-то когда-то намекнул ему, что таким способом он докажет, что он из благородных.

А добавка эта делалась таким образом: была у Кабры железная коробочка, вся в дырках, вроде перечницы. Он ее открывал, запихивал туда кусочек сала, снова закрывал, а потом подвешивал на веревочке в варившейся похлебке, дабы через дырки просочилось туда немного жиру, а сало осталось бы до другого раза. Все же это показалось ему в конце концов расточительным, и он стал опускать сало в похлебку лишь на один миг.

Можно представить себе, как существовали мы в таких обстоятельствах. Мы с доном Дьего дошли наконец до крайности и, не найдя ни одного способа насытиться, придумали не вставать утром с наших кроватей и решили сказываться больными, но только не лихорадкою, ибо при отсутствии ее обман наш легко мог быть обнаружен. Головная боль или боль зубная мало чему могли помочь, так что в конце концов мы заявили, что у нас болят животы и что вот уже три дня мы не можем никак облегчить их. Мы были уверены, что Кабра, скупясь на трату двух куарто, лечением нашим не займется. Дьявол, однако, устроил все иначе, ибо у Кабры оказалась клизопомпа, унаследованная им от отца, который был аптекарем. Узнав о нашем недомогании, он приготовил нам промывательное, а затем призвал семидесятилетнюю старуху, свою тетку, служившую ему сиделкой, и велел ей поставить нам несколько клизм.

Начали с дона Дьего. Бедняга весь скрючился, и старуха, вместо того чтобы влить содержимое внутрь, разлила все это между его сорочкой и спиной до самого затылка, так что то, что

должно было быть начинкой, стало подливкой. Юноша поднял крик, явился Кабра и, увидев, в чем дело, велел сначала взяться за меня, а потом уже вернуться к дону Дьего. Я сопротивлялся, но это не помогло. При содействии Кабры с помощниками, которые меня держали, старуха поставила мне клизму, содержимое коей, впрочем, я тут же вернул ей прямо в лицо. Кабра разозлился на меня и пообещал выгнать из своего дома, ибо убедился, что все это были только плутни. Я молил бога, чтобы он в гневе своем дошел до этого, но судьба моя сего не захотела.

Мы пожаловались дону Алонсо, но Кабра сумел его уверить, что мы говорим все это, только чтобы не учиться в пансионе. Поэтому мольбы наши остались тщетными. Старуху Кабра взял к себе в дом готовить еду и прислуживать воспитанникам, а слугу рассчитал, потому что утром в одну из пятниц обнаружил у него на камзоле хлебные крошки. Один господь ведает, чего мы натерпелись с этой старухой. Была она так глуха, что можно было охрипнуть, втолковывая ей что-либо, и к тому же почти совершенно слепа. Молилась она не переставая, и в один прекрасный день четки ее порвались над обеденным котлом. Таким образом, нам был подан самый благочестивый суп, какой только приходилось вкушать мне в жизни. Одни недоумевали:

— Что это? Никак, черный горох? Видно, его привезли из Эфиопии.

Другие потешались:

— Горох в трауре? Кто же это у них помер?

Хозяину моему одно из этих зернышек попало в рот, и, пробуя его раскусить, он сломал себе зуб. По пятницам старуха угощала нас яичницами со своими сединами, так что яичницы эти могли выдавать себя за коррехидоров или адвокатов. Взять угольную лопатку вместо разливательной ложки и подать на стол бульон с угольями было для нее самым обычным делом. Тысячи раз находил я в похлебке каких-то червей, щепки и паклю, которую она трепала. Все это шло в пищу, чтобы потом пробраться в наш желудок и наполнить его.

Муки эти терпели мы до великого поста. Наступил пост, и в самом начале его захворал один из наших товарищей. Кабра, боясь лишних расходов, воздерживался звать доктора до тех пор, пока больной, уже ни о чем другом не думая, стал молить об отпущении грехов. Тогда был призван какой-то лекарь, который пощупал его пульс и заявил, что голод перехватил у него случай умертвить этого человека. Больному поднесли причастие,и бедняга, увидав его, сказал, хотя уже целые сутки как потерял дар слова:

— Господи Иисусе Христе, только теперь, когда я вижу, что ты посетил сей дом, я начинаю верить, что нахожусь не в аду.

Слова эти запечатлелись в моем сердце. Бедняжка умер, мы его весьма бедно похоронили, так как был он приезжий, и остались в крайнем угнетении духа. В городе пошли толки об этом мрачном деле и наконец достигли ушей дона Алонсо Коронеля, а так как у него был только один сын, то он разуверился в обманчивых речах Кабры и стал питать больше доверия к доводам двух теней, в которые мы превратились в нашем бедственном положении. Он явился забрать нас из пансиона, и когда мы перед ним предстали, то все еще вопрошал, куда же мы девались. Разглядев нас и не спрашивая больше ни о чем, он последними словами обругал лисенсиата-постника и велел доставить нас домой в портшезах. Мы попрощались с товарищами, и те, провожая нас своими взглядами и помыслами, горевали так, как горюют остающиеся в алжирском плену, видя, как их покидают выкупленные тринитариями собратья.

ГЛАВА IV

О нашем выздоровлении и о том, как мы отправились учиться в Алькала-де-Энарес

Доставили нас в дом дона Алонсо и с особой осторожностью, дабы не рассыпались наши кости, изглоданные голодом, уложили в кровати. Были позваны сыщики, чтобы найти на наших лицах глаза, которых у меня — так как трудиться мне приходилось больше, а голод был совсем невообразимым, ибо я жил на положении слуги,— долгое время так и не могли обнаружить. Явились врачи и велели первым долгом лисьими хвостами вычистить пыль, набившуюся нам в рот, как это делают с алтарными статуями, и в самом деле, мы весьма и весьма смахивали на аллегорическое изображение страдания; затем было предписано кормить нас всякими вытяжками и мясными соками. Кто может представить себе, какие плошки зажгли на радостях наши кишки при первом глотке миндального молока и при первом куске дичи! Все это для них ведь было новостью. Врачи приказали в течение девяти дней не разговаривать громко в нашей комнате, так как пустота наших желудков откликалась, как эхо, на каждое произнесенное слово. Благодаря этим и прочим предосторожностям стали мы понемногу приходить в себя и обретать дыхание жизни; но челюсти наши от слабости и долгого бездействия разучились открываться и закрываться, а кожа на них стала дряблой и покрылась морщинами, и поэтому велено было каждый день растирать их ручкой пестика от ступки. Через сорок дней начали мы кое-как шевелить ногами, но все еще больше походили на тени других людей, а желтизной и худобой своей напоминали святых

пустынников. Целые дни мы посвящали молитве и благодарили бога за то, что он избавил нас от плена, моля его не допустить, чтобы еще какой-нибудь христианин попал в зверские лапы жесточайшего Кабры. Если же за едою иной раз случалось нам вспомнить о столовании в проклятом пансионе, голод наш столь увеличивался, что это сразу отражалось на дневных расходах. Часто мы повествовали дону Алонсо, как, садясь за стол, Кабра распространялся о грехе чревоугодия, не ведая его сам никогда в своей жизни. Дон Алонсо от души смеялся, когда мы рассказывали, как тот применял заповедь «не убий» к куропаткам, каплунам и ко всему тому, чем он не хотел нас кормить, а заодно и к голоду, ибо, судя по тому, как он преуменьшал и сводил на нет наше питание, он почитал великим грехом не только заморить его, но и нанести ему какой бы то ни было ущерб.

Так прошло три месяца, и наконец дон Алонсо надумал отправить своего сына учиться в Алькала всему тому, чего недоставало ему в знании грамматических наук. Он спросил меня, поеду ли я с ним, я же, мечтая только о том, чтобы скорее покинуть места, где можно было услыхать имя ненавистного гонителя наших желудков, обещал служить его сыну так, как он в этом не замедлит убедиться. Кроме того, к нему был приставлен еще один слуга, вроде домоправителя, дабы ведать хозяйством и вести счет расходу денег, кои нам были вручены в форме приказов на имя некоего Хулиана Мерлусы. Наши пожитки мы погрузили на телегу какого-то Дьего Монхе; пожитки эти состояли из хозяйского ложа, из двух складных кроватей — моей и второго слуги, которого звали Томасом Барандой, далее — пяти матрацев и восьми простынь, восьми подушек, четырех ковров, сундука с бельем и прочего домашнего скарба. Сами мы разместились в карете и тронулись в путь вечерком, за час до наступления темноты, а немного за полночь добрались до навеки проклятого постоялого двора в Виверосе. Хозяин его был мориск и вор. Никогда еще в жизни не приходилось мне видеть собаки и кошки, живущих в столь полном согласии, как в эту ночь. Встретил он нас весьма торжественно и вместе с возницами при нашем багаже, с которыми успел договориться, ибо багаж наш прибыл за полчаса до нас, так как мы ехали тихо, приблизился к карете, подал мне руку, чтобы помочь сойти с подножки, и осведомился, не еду ли я учиться. Я ответил ему, что еду. Он провел меня в свое заведение, где уже находились две жульнического вида личности, какие-то подозрительные девицы, священник, бормотавший молитвы, принюхиваясь к еде, старый и скупой купец, размышлявший о том, как бы ему позабыть поужинать, и два нищих студента, изыскивающие способ, как бы что перехватить за чужой

счет. Барин мой, войдя в харчевню, по неопытности своих молодых лет объявил во всеуслышанье:

— Сеньор хозяин, подайте, что там у вас имеется, для меня и для моих слуг.

— Все мы слуги вашей милости,— немедленно откликнулись двое проходимцев,— и будем за вами ухаживать. Ну-ка, хозяин! Этот кабальеро отблагодарит вас за все услуги, очищайте-ка вашу кладовку!

Сказав это, один из них подошел к дону Дьего, снял с него плащ, разостлал его на скамье и пригласил:

— Отдохните, ваша милость, сеньор мой.

От всего этого у меня закружилась голова, и я почувствовал себя хозяином постоялого двора. В это время одна из нимф воскликнула:

— Как миловиден этот кавалер! Сразу видно, что он дворянин. Он едет учиться? А вы, ваша милость, его слуга?

Я ответил им, что так оно и есть и что я и Баранда — действительно слуги этого кабальеро. Они полюбопытствовали узнать его имя, и не успел я его произнести, как к дону Дьего подскочил один из студентов и, чуть не рыдая, заключил его в самые крепкие объятия со словами:

— О сеньор мой, дон Дьего! Кто бы сказал мне, что через десять лет узрю я вас таким, как сегодня! Несчастный я человек, ведь вы-то меня никак уж не узнаете!

Дон Дьего был поражен, да и я также. Оба мы могли поклясться, что отроду его не видели. Другой его товарищ, всмотревшись в дона Дьего, обратился к своему приятелю:

— Это не тот ли сеньор, об отце которого вы столь много мне рассказывали? Велико же ваше счастье повстречать и узнать его, хоть он так вырос, дай ему бог доброго здоровья!

Тут он начал креститься. Кто бы не поверил им, что они действительно были свидетелями наших детских лет? Дон Дьего отнесся к нему с величайшей любезностью. Пока он осведомлялся об его имени, появился хозяин, разостлал скатерть и, учуя в воздухе какое-то мошенничество, сказал:

— Погодите со всем этим! Успеете наговориться и после ужина, а то все простынет.

Тут один из бродяг подал всем стулья, а дону Дьего придвинул кресло. Другой притащил блюдо с едою. Студенты заявили:

— Ужинайте, ваша милость, а мы, пока нам приготовят, что там найдется, будем вам прислуживать за столом.

— Боже мой! — воскликнул тут дон Дьего.— Садитесь и вы, сеньоры, и угощайтесь.

На это приглашение поспешили откликнуться оба проходимца, хотя к ним никто и не обращался:

— Сейчас, сеньор, как только все будет готово!

Видя, что одни были приглашены, а другие пригласили себя сами, я расстроился и стал опасаться того, что в конце концов и произошло, ибо студенты, принявшись за салат, которого была подана порядочная порция, взглянули на моего хозяина и сказали:

— Не подобает дамам оставаться без угощения в присутствии знатного кабальеро. Прикажите и им подать чего-нибудь.

Дон Дьего, разыгрывая из себя учтивца, попросил к столу и дам. Те подсели и вместе с двумя студентами вскоре оставили на блюде только одну сердцевинку кочешка, который и достался на закуску дону Дьего. Подавая ему этот огрызок, проклятый студент заметил:

— У вашей милости был дедушка, дядя моего отца, который при виде латука падал в обморок. Что за превосходный был человек!

Сказав это, он похоронил в своей пасти целую булку, а его приятель — другую. Шлюхи же тем временем разделывались с хлебом, но кто больше всего пожирал, так это священник,— правда, только глазами. Тут за стол уселись бродяги, прихватив половину зажаренного козленка, два хороших куска свинины и парочку вареных голубков.

— А вы, отче, чего сидите в сторонке? — обратились они к священнику.— Подвигайтесь к нам и пользуйтесь. Наш благодетель дон Дьего всем нам оказывает свою милость.

Не успели они это сказать, как священник уже оказался за столом. Дон Дьего, видя, как распоряжаются за его счет, забеспокоился. Они разделили между собой всю еду, а ему оставили косточки да крылышки. Остальное поглотили священник и вся компания. Бродяги еще приговаривали:

— Не кушайте так много, сеньор, чтоб не было вам худо.

А чертов студент добавлял:

— В особенности надо привыкнуть мало кушать для жизни в Алькала.

Мы с Барандою молили бога внушить им хоть что-нибудь оставить на нашу долю. Когда же все было уничтожено и священник обсасывал косточки с чужих тарелок, один из жуликов спохватился и воскликнул:

— Ах, грех какой! Мы ведь ничего не оставили слугам! Идите скорее сюда, а вы, сеньор хозяин, подайте им, что у вас найдется.

Тут мгновенно подскочил к нему проклятый родственник моего барина — я имею в виду студента — и сказал:

— Простите меня, ваша милость, сеньор идальго, но вы мало смыслите в вежливом обращении. Видно, вы плохо знаете моего двоюродного брата. Он сам угостит своих слуг, как угостил бы и наших, если бы у нас таковые были.— И, обратившись к остолбеневшему дону Дьего, добавил: — Не сердитесь, ваша милость, что они так мало вас знают.

Видя столь великое притворство, я про себя осыпал их бесконечными проклятиями.

Столы были убраны, и все начали упрашивать дона Дьего ложиться спать. Он хотел рассчитаться за ужин, но его уверили, что на это хватит времени и утром. Потом они немного поболтали. Дон Дьего спросил, как зовут студента, и тот ответил, что его зовут Педро Коронелем. Пусть в адском огне горит этот обманщик, где бы он ни оказался! Увидав спящего купца, он предложил:

— Хотите позабавиться, ваша милость? Давайте сыграем какую-нибудь шутку с этим старичком. За всю дорогу он скушал только одну грушу, а сам ведь богатейший человек.

Бродяги одобрили:

— Ловко придумано, сеньор лисенсиат, так ему и надо!

Тогда студент подкрался к незадачливому старику, который продолжал спать, и вытянул у него из-под ног ковровый мешок. Развязав его, он обнаружил коробку и, как если бы это был военный трофей, подозвал всех присутствующих. Мы подошли и, когда коробка была открыта, увидели, что в ней полно подслащенного крахмала. Студент вытащил весь крахмал, сколько его там было, а вместо него наложил камней, деревяшек и всего, что подвернулось под руку. Потом он туда опорожнился, поверх этой гадости положил еще несколько кусочков штукатурки, закрыл коробку и сказал:

— Это еще не все, у него есть и бурдючок!

Выпустив из бурдюка вино, он, распотрошив одну из подушек нашей кареты, набил его шерстью и паклей, полил все это вином и снова закрыл. После этого все разошлись, чтобы поспать оставшийся часок. Студент, запрятав коробку и бурдюк обратно в ковровый мешок и засунув старику в капюшон дорожного плаща огромный камень, отправился тоже на боковую.

Наступил час отъезда, все проснулись, а старик все еще спал. Его разбудили, но он никак не мог поднять свой плащ. Пока он рассматривал, в чем дело, хозяин напустился на него с криком:

— Черт возьми! Ничего другого не нашли вы подхватить, кроме этого камня! Что бы со мною было, господа, если бы я этого недоглядел! Ведь я ценю этот камень дороже, чем в сто дукатов, потому что он помогает от болей в желудке!

Старик клялся и божился, что он вовсе и не прятал этот камень в свой плащ.

В это время жулье подвело итог, и получилось у них шестьдесят реалов. Такой суммы не смог бы насчитать и сам Хуан де Леганес. Студенты сказали:

— Ничего. Мы будем служить вашей милости в Алькала.

Счет этот привел нас в ужас. Мы закусили кое-чем, а старик взял свои мешки и, дабы не было видно, что он оттуда вытаскивает, и не пришлось бы ни с кем делиться, развязал их украдкой под плащом, схватил перемазанный калом кусочек штукатурки, отправил его в рот и стал жевать своими полутора оставшимися зубами, чуть-чуть их не сломав. Тут он начал плеваться и строить гримасы от боли и омерзения. Все мы кинулись к нему, первым же приблизился священник и спросил, что с ним приключилось. Старик стал припоминать сатану и бросил свои мешки. К нему подошел один из студентов и сказал:

— Изыди, сатана! Крест перед тобою!

Другой студент раскрыл молитвенник. Старика пытались уверить, что он одержим бесом, и в конце концов уверили настолько, что он сам это признал, а затем попросил позволения промочить горло. Получив разрешение, он вытащил свой бурдюк, открыл его и налил в стаканчик немного вина, но оно выдавилось из бурдюка столь волосатым благодаря шерсти и пакле, что пить его было невозможно. Тогда старик совсем потерял терпение, но, увидав вокруг себя корчившиеся от смеха лица, почел за благо промолчать и забраться в повозку вместе с бродягами и женщинами. Студенты и священник взгромоздились на осла, а мы разместились в карете. Не успели мы тронуться в путь, как на нас посыпались насмешки и всякие задиристые словечки.

Хозяин постоялого двора сказал:

— Сеньор новичок, еще немного такой выучки, и вы наберетесь ума.

Священник добавил:

— Я священник и рассчитаюсь с вами обеднями.

Проклятый студент орал во всю глотку:

— Сеньор двоюродный братец, в другой раз почесывайтесь тогда, когда вас кусают, а не после!

Другой же студент присовокупил:

— Желаю вам подхватить чесотку, дон Дьего!

Мы делали вид, что не обращаем на это никакого внимания, но один бог знает, как мы были злы.

Наконец после таких происшествий добрались мы до Алькала, остановились в гостинице и весь день — мы прибыли в девять часов утра — подсчитывали стоимость вчерашнего ужина. Но так и не могли разобраться в наших расходах.

ГЛАВА V

О поступлении в университет, о поборах и о тех насмешках, что достались мне там, как новичку

До наступления сумерек мы перебрались из гостиницы на снятую для нас квартиру, которая находилась за воротами Сант-Яго, где кишмя кишело студентами, хотя до нас в нашем доме их поселилось только двое. Хозяин наш оказался из числа тех, что веруют в господа бога из учтивости или по лицемерию. Зовут таких людей морисками, и урожай на них весьма велик, как и на тех, у кого чрезмерно длинные носы, непригодные только к нюханью свинины. Говорю я все это, отдавая в то же время должное знатным людям, коих в том городе, конечно, весьма много. Принял меня поэтому хозяин с такой недовольной рожей, точно я был святым причастием. Сделал ли это он, дабы внушить нам с самого начала почтение, или же потому, что так свойственно всем ему подобным, ибо приходится иметь дурной нрав, если держишься дурной веры,— не знаю. Мы разложили наши пожитки, устроили себе постели и все прочее и всю ночь проспали. Наступило утро, и тут-то все проживавшие в нашем доме студенты прямо в сорочках явились требовать патента у моего хозяина. Он, не понимая, в чем дело, спросил меня, что им нужно, а я тем временем, во избежание всяких случайностей, устроился между двумя матрацами и лишь чуть-чуть высунул из-под них голову, что делало меня похожим на черепаху. Студенты попросили две дюжины реалов; по получении же таковых они подняли дьявольский гомон.

— Да здравствует наш товарищ и да будет он принят в наше содружество! — вопили они.— Пусть он пользуется всеми привилегиями и преимуществами старого студента, да нападет на него чесотка, да ходит он весь в коросте, да терпит он голод, как и мы все!

После этого — изволите видеть, какие это были привилегии! — студенты вихрем спустились с лестницы, а мы тотчас же оделись и пошли в университет.

Барина моего сразу взяли под свое покровительство несколько стипендиатов, знакомых его отца, и он отправился в свою аудиторию, а я, вынужденный начать свое учение на другом курсе и почувствовав себя одиноким, начал дрожать от страха. Вошел я во двор и не успел еще сделать первый шаг, как все студенты заметили меня и закричали: «Вот новичок!» Дабы скрыть свое смущение, я стал смеяться, но это не помогло, ибо человек девять студентов подошли ко мне и тоже начали смеяться. Тут мне пришлось — дай бог, чтоб это было в первый и последний раз! —

покраснеть, ибо один из студентов, стоявший рядом со мной, вдруг зажал себе нос и, удаляясь, воскликнул:

— Видно, это Лазарь и собирается воскреснуть, так от него воняет!

Тогда все стали от меня отходить, затыкая себе носы. Я, думая спасти свою шкуру, также зажал себе рукою нос и заметил:

— Ваши милости правы: здесь очень скверно пахнет.

Это их весьма рассмешило, и они, отойдя от меня, собрались числом чуть не до сотни. Они заметно наглели и, видимо, готовились к атаке. По тому, как они харкали, открывали и закрывали рты, я понял, что это готовятся мне плевки.

Тут какой-то простуженный ламанчец атаковал меня страшнейшим плевком, присовокупив:

— Начинаю!

Видя свою погибель, я воскликнул: «Клянусь богом, у...». Не успел я произнести: «...бью!», как на меня посыпался такой дождь, что слов моих я не мог докончить. Плевки у иных были так полновесны, что можно было подумать, будто они извергают на меня свою склизкую требуху; когда же у других во рту иссякала влага, они прибегали к займу у своих ноздрей и так обстреливали меня, что плащ мой гремел, как барабан. Я закрыл лицо плащом, и он вскоре стал белым, как яблоко на мишени; в него они и метили, и надо было видеть, с какой ловкостью попадали в цель. Меня словно снегом облепило, но тут один пакостник, заметив, что лицо мое было защищено и еще не успело пострадать, подскочил ко мне, восклицая с великим гневом:

— Довольно плевать! Не убейте его!

Я и сам опасался этого и освободил из-под плаща голову, чтобы осмотреться. В тот же миг злодей, припасший в утробе своей добрый снаряд, обернулся ко мне тылом и залепил его прямо мне в глаза. Судите же теперь о моем несчастном положении! Тут вся орава подняла такой адский крик, что голова у меня пошла кругом. Судя по тому, что́ они извергли на меня из своих животов, я полагаю, что, дабы не входить в изъян на лекарей и аптекарей, они ждали новичков, чтобы принять слабительное. Но и это показалось им недостаточным. Они захотели наградить меня еще и подзатыльниками. Но некуда было им меня ударить, иначе мучители мои рисковали перенести себе на руки половину украшений моего плаща, за мои грехи из черного ставшего белым.

В конце концов они оставили меня. Еле-еле добрался я до своего дома. К счастью, дело было утром, и навстречу мне попалось только двое-трое мальчишек, видимо не лишенных благородства, ибо они хлестнули меня только пять-шесть раз жгутами и пошли себе дальше. Я вошел в дом, и мориск, увидев меня,

стал хохотать и делать вид, точно собирается тоже плюнуть. Убоявшись, я сказал ему:

— Смотрите, хозяин, я ведь не ecce homo![1]

Ни в коем случае не должен был я это говорить, тогда он не обрушил бы мне на плечи несколько весьма ощутительных ударов гирями, которые были у него в руках. С этим поощрением я почти бездыханный взобрался по лестнице и потерял немало времени, прежде чем нашел в себе силы снять плащ и сутану. Наконец я освободился от них, швырнул их сушиться на крышу, а сам повалился на кровать. Вернулся мой хозяин. Он понятия не имел о тошнотворном приключении со мною и, видя, что я сплю, разозлился и принялся так сильно и стремительно таскать меня за волосы, что еще немного — и я проснулся бы лысым. С криком и жалобными стонами вскочил я с кровати, а он еще в большем гневе обратился ко мне:

— Хорошо же ты служишь мне, Паблос! Теперь ведь у нас другая жизнь.

Услыхав, что у нас другая жизнь, я решил, что уже умер, и ответил:

— Хорошо же вы меня жалуете, ваша милость, после всех моих несчастий! Посмотрите, что сталось с моей сутаной и плащом, которые служили носовыми платками бóльшим носам, чем были когда-либо виданы во время процессии на страстной неделе. И взгляните на мою спину.

Тут я заревел. Видя мои слезы, дон Дьего поверил им, найдя сутану, рассмотрел ее, проникся ко мне состраданием и сказал:

— Паблос, смотри в оба и не зевай. Береги сам себя, ибо нет здесь у тебя ни папаши, ни маменьки.

Я рассказал ему, как все было. Он велел мне раздеться и отправиться в мою комнату, где жило четверо хозяйских слуг.

Я лег, выспался, а к вечеру, хорошо пообедав и поужинав, почувствовал себя столь крепким, как будто бы ничего не произошло.

Стоит, однако, разразиться над кем-нибудь несчастью, как оказывается, что бедам нет конца, ибо следуют они одна за другой, точно звенья цепи.

Слуги явились ложиться спать и, поздоровавшись со мною, осведомились, не болен ли я часом, что лежу в кровати. Я рассказал им о случившемся, и они тут же, как будто не замышляя ничего дурного, начали креститься.

— Даже у лютеран такого не приключилось бы! — говорили они.— Экая пакость!

---

[1] Се человек! *(лат.)*

Кто-то из них заметил:

— Ректор виноват, что не прекращает таких безобразий. А вы узнали бы виновных?

Я отвечал, что нет, и поблагодарил их за сочувствие. Тем временем они разделись, улеглись, погасили свет; я заснул и увидел во сне, что нахожусь с отцом и братьями.

Было часов двенадцать ночи, когда один из слуг разбудил меня, изо всех сил вопя:

— Убивают, убивают! Разбойники!

По его кровати в это время кто-то как будто ударял хлыстом. Я поднял голову и спросил:

— Что там такое?

Стоило мне только немного высунуться из-под одеяла, как по моей спине стала гулять здоровенная, точно плетка с хвостами, веревка. Я застонал, хотел подняться, другой слуга тоже стонал, а били меня одного.

— Правый боже! — кричал я, но удары сыпались на меня столь часто, что мне — покрывало с меня стащили — оставался один путь к спасению: забраться под кровать.

Так я и сделал, и вслед за тем остальные трое слуг тоже принялись вопить, а коль скоро все еще были слышны удары плетьми, то я решил, что это кто-то чужой явился и разделывается со всеми нами. В это время мой проклятый сосед забрался ко мне на кровать, нагадил в нее, прикрыл все это покрывалом и вернулся восвояси. Удары прекратились, все четверо, сердито ворча, выскочили из постелей и начали ругаться:

— Что за безобразие! Это нельзя так оставить!

Я все еще лежал под кроватью, скуля, как собака, попавшая между дверьми, и скрючившись, точно борзая в судорогах. Соседи мои сделали вид, что закрыли двери, я выбрался из моего прибежища и улегся на кровать, осведомившись, не причинили ли им какого-либо зла. Все они отчаянно стонали.

Я устроился поудобней, завернулся в одеяло и снова заснул, а так как во сне поворачивался с боку на бок, то, проснувшись, оказался по горло в нечистотах. Когда все поднялись, я под предлогом полученных побоев решил не одеваться. Вряд ли нашлась бы даже дьявольская сила, которая сдвинула бы меня тогда с места. Мне было стыдно, что ненароком, от страха и смущения, я, сам того не заметив, во сне сотворил подобную гадость. В общем, я чувствовал себя и виноватым и невиноватым и не знал, как мне оправдаться. Товарищи мои подошли ко мне и, время от времени притворно морщась от боли, с самым участливым видом стали расспрашивать о моем здоровье. Я отвечал, что чувствую

себя совсем плохо, ибо меня здорово избили. Пробовал я разузнать у них, что бы это такое могло быть, и они отвечали:

— Он от нас не удерет. Нам на него укажет математик. Пока оставим это в покое, а теперь давайте лучше посмотрим, не ранены ли вы: уж что-то здорово вы стонали.

Говоря так, они начали стягивать с меня простыню в намерении совсем меня осрамить. В это время появился дон Дьего со словами:

— Что же это такое, Паблос? С тобой нет сладу. Уж восемь часов, а ты все валяешься. Вставай сейчас же, черт тебя побери!

Все остальные, дабы еще больше меня надуть, рассказали дону Дьего обо всем происшедшем и просили разрешить мне еще поспать. Один из них заметил:

— Если твой хозяин не верит, поднимись, Паблос! — и начал стаскивать простыню.

Я уцепился за нее зубами, дабы не обнаружить скрытой под ней мерзости. Видя, что со мной не справиться, один из слуг воскликнул:

— Черт возьми! Ну и вонь же здесь!

Дон Дьего сказал то же самое, и это была сама истина. Тут они стали смотреть, не забыли ли в комнате ночной горшок, иные уверяли, что этого не может случиться, и наконец кто-то из слуг заметил:

— Ничего себе положение для людей, которым учиться надо!

Осмотрели постели, убрали их, чтобы проверить, что́ под ними, наконец сказали:

— Это, верно, под кроватью у Паблоса. Перенесем-ка его на одну из наших постелей и посмотрим.

Видя, что спасения нет и что мне не вырваться из их когтей, я прикинулся, будто бы у меня сердечный припадок, уцепился за кровать и стал корчить рожи. Они же, зная мою тайну, схватили меня, восклицая: «Какое несчастье!» Дон Дьего взял меня за средний палец, и в конце концов впятером они меня подняли. Как только откинули простыни, в постели моей обнаружили даже не голубят, а основательных голубей, и раздался такой громогласный хохот, что у нас чуть не обвалился потолок.

— Бедняга! — ломали дурака эти великие плуты; я же сделал вид, что лишился чувств.— Дергайте его, ваша милость, посильнее за палец!

Дон Дьего думал помочь мне, дернул так сильно, что вывихнул его. Они еще собирались перетянуть мне ляжки веревкой, приговаривая:

— Бедняжка! Это с ним сталось, конечно, когда его хватил припадок.

Кто передаст, что я пережил, сгорая от стыда, с вывихнутым пальцем и под угрозой, что в довершение всего мне перетянут жгутом ноги!.. Наконец, из страха, как бы они не приступили к этой жестокой операции, ибо они уже перевязывали мне ляжку, я притворился, что пришел в себя. Как я ни торопился, злодеи, прекрасно понимавшие, что они делают, успели оставить на каждой ноге по рубцу в два пальца шириной. Наконец они отпустили меня со словами:

— Господи Иисусе, ну и слабый же вы!

Я плакал от досады, а они еще дразнили меня:

— Нас менее беспокоит то, что вы обмарались, чем ваше здоровье, успокойтесь!

Затем они снова уложили меня в постель, предварительно обмыв, и убрались.

Оставшись один, я думал о том, что в Алькала за один день со мной приключилось больше несчастий, чем за все то время, что я пробыл у Кабры. К полудню я оделся, пообчистил, как мог тщательней, свою сутану и, выстирав ее, как самое грязное тряпье, стал поджидать своего хозяина. Он пришел и спросил о моем здоровье. Все сели обедать. Пообедал и я, но ел мало и неохотно. Потом, когда все собрались поговорить в коридоре, слуги, сначала поиздевавшись надо мною, рассказали о своей проделке. Все долго потешались над нею, а мне стало вдвойне стыдно, и я подумал: «Будь начеку, Паблос, берегись!» После этого я решил начать новую жизнь и с тех пор, подружившись со всеми, жил как среди братьев. Ни в классах, ни на университетском дворе никто меня больше не обижал.

ГЛАВА VI

О жестокостях ключницы и о моих изворотах

Пословица говорит, и говорит правильно: с волками жить, по-волчьи выть. Глубоко вдумавшись в нее, пришел я к решению быть плутом с плутами, и еще большим, если смогу, чем все остальные. Не знаю, преуспел ли я в этом, но уверяю вас, ваша милость, что сделано мною для этого было все возможное. Прежде всего, я заранее присудил к смертной казни и подвергал ей всех свиней, попавших в наш дом, и всех цыплят, заходивших со двора в мою комнату. Однажды случилось, что к нам завернули два кабана столь совершенных статей, каких я не видывал в моей жизни. Я в это время резался в карты с другими слугами и, услыхав хрюканье, сказал одному из них:

— Пойди посмотри, кто это хрюкает у нас в доме.

Он посмотрел и доложил, что это два борова. Узнав об этом, я столь разгневался, что пошел к ним, назвал безобразием и нахальством привычку являться хрюкать в чужие дома и с этими словами, закрыв двери, проткнул грудь каждого из них шпагою. Тут же мы их прикончили, а чтобы не было слышно их визга, сами орали во все горло, как будто бы пели хором, и они испустили дух на наших руках. Потом мы их выпотрошили, собрали кровь и поджарили их на соломенных подстилках на заднем дворе, так что, когда явились хозяева, все уже было проделано, хоть и плохо, только вот из кишок мы не успели наделать кровяных колбас, хотя торопились так, что, по правде говоря, оставили в них половину содержимого. Об этой проделке узнали дон Дьего и домоправитель и так разозлились, что другим жильцам, которые не могли удержаться от смеха, пришлось за меня заступиться, Дон Дьего спрашивал, что я скажу, если меня притянут к ответу и я попаду в руки правосудия, я же отвечал, что сошлюсь на голод — прибежище всех студентов, а если это не поможет, то расскажу, как свиньи без спроса влезли к нам, как к себе домой, и я принял их за наших собственных. Эти оправдания вызвали общий смех, и дон Дьего заметил:

— Поистине, Паблос, ты за словом в карман не лезешь!

Нужно заметить, что хозяин мой был благочестив и честен, я же — изворотлив и плутоват, так что добродетели одного оттенялись пороками другого, и наоборот.

Ключница наша души во мне не чаяла, ибо мы с ней стакнулись, составив заговор против запасов провизии. Я стал настоящим Иудой — хранителем казны и в этой должности воспылал невероятной страстью к утайке хозяйского добра. В руках ключницы мясо не соблюдало правил риторики, ибо из большего делалось меньшим, и если ей это удавалось, то вместо баранины она подсовывала козлятину или овечье мясо, а если имелись под рукой кости, то о мясе не было и речи. Она варила какие-то чахоточные, совсем тщедушные похлебки, бульоны, из которых, если бы они застыли, можно было бы сделать хрустальные четки. На рождество и на пасху, дабы отметить праздники, она, стараясь сделать похлебку пожирней, подбрасывала туда огарки сальных свечей. Хозяину в моем присутствии она говорила:

— Вот уж верно, не найти другого такого слуги, как Паблос, не будь он только так плутоват. Берегите его, ваша милость, ибо плутовство его можно терпеть за его преданность. Он всегда приносит с рынка все самое лучшее.

А я говорил про нее то же самое, и так мы надували весь дом. Когда покупалось сразу много угля или сала, поло-

вину всего этого мы припрятывали, по мере надобности заявляя:

— Умеряйте, господа, ваши расходы, ибо при такой расточительности нам не хватит и королевского состояния. Вот уже нет ни угля, ни масла — так поторопились они исчезнуть. Надо прикупить еще, и тогда все пойдет по-иному. Прикажите дать денег Паблосу.

Деньги я получал, и мы им продавали удержанную нами часть, а из вновь купленного снова утаивали половину. Так мы поступали решительно со всем, а если мне случалось купить что-нибудь на рынке за настоящую цену, то мы с ключницей нарочно спорили и ссорились. Она восклицала, будто бы в сердцах:

— Не говори мне, Паблос, что тут на два куарто салата!

Я притворялся, будто плачу, поднимал крик и шел жаловаться моему хозяину, требуя, чтобы он послал домоправителя на рынок проверить цены и тем самым заткнуть рот ключнице, которая, дескать, нарочно наговаривает на меня. Домоправитель шел на рынок, устраивал проверку, все убеждались в моей честности и оставались довольны моими стараньями и усердием ключницы.

— Вот если бы Пабликос был столь же добродетелен, сколь и предан,— говорил дон Дьего домоправителю, весьма мною довольный,— все было бы очень хорошо. Что вы о нем скажете?

Мы же продолжали делать свое дело и сосали хозяина, как пиявки. Готов биться об заклад, что вы, ваша милость, пришли бы в изумление от той суммы денег, какую мы выручили к концу года. Сумма эта была весьма велика, но никто и не думал ее возвращать законным владельцам. Хотя ключница исповедовалась и причащалась каждую неделю, но ей никогда не приходило в голову вернуть что-либо, и поступков своих она не стыдилась. Такой уж была она святой человек. На шее у нее висели столь большие четки, что вместо них легче было таскать на себе вязанку дров. К четкам этим было прицеплено множество образков, крестиков, встречались там и зерна крупнее других — они служили для молитв за души в чистилище. Она уверяла, что еженощно перебирает их все, молясь за своих благодетелей. Среди святых она насчитывала сто с чем-то своих заступников, и, вправду сказать, ей нужна была помощь их всех, чтобы очищаться от своих прегрешений. Спала она в комнате над помещением моего барина и на сон грядущий бормотала больше молитв, чем какой-нибудь нищий слепец. Начинала она с «Судьи праведного», а

заканчивала «Conquibult»[1] и «Salve, Regina»[2]. Читала она молитвы по-латыни, нарочно, чтобы выставить напоказ свою простоватость, так как она их безбожно коверкала, отчего мы чуть не лопались со смеху. Обладала она и иными талантами: потрафить всяким желаниям и угождать разным вкусам, то есть, попросту говоря, быть сводней. Передо мной она оправдывалась тем, что это у нее наследственное свойство, подобное дару французского короля исцелять от золотухи.

Ваша милость, быть может, решит, что мы с нею жили всегда в добром согласии. Но кому не ведомо, однако, что друзья, коль скоро они корыстные, будут стремиться обмануть один другого? Ключница наша разводила на дворе кур. Мне захотелось полакомиться одной из них. У этой курицы было двенадцать или тринадцать уже порядочных цыплят, и вот однажды ключница стала созывать их на кормежку, крича: «Пио, пио!» Услыхав этот зов, я закричал, в свою очередь:

— Черт побери, хозяйка, убей вы человека или обворуй короля, я бы еще промолчал, но промолчать о том, что вы тут делаете, нельзя! Горе и мне и вам!

Узрев меня в столь крайнем и как будто бы непритворном волнении, ключница несколько встревожилась.

— А что же, Паблос, я такого сделала? — спросила она.— Брось шутки и не огорчай меня.

— Какие тут шутки, черт возьми! Я-то ведь не могу не дать знать обо всем этом инквизиции, иначе меня отлучат от церкви!

— Инквизиции? — переспросила она и начала дрожать.— А разве я сделала что-нибудь во вред нашей вере?

— Похуже того,— отвечал я.— Лучше не шутите с инквизиторами, лучше признавайтесь им, что вы оговорились по глупости, но не отпирайтесь от богохульства и дерзости.

— А если я покаюсь, Паблос, меня накажут? — со страхом спросила она.

— Нет,— успокоил я ее,— тогда они дадут вам отпущение.

— Так я каюсь,— сказала она,— только объясни мне — в чем, ибо сама я этого не знаю, клянусь спасением души моих покойников.

— Неужели вы этого не знаете? Уж не знаю, как и сказать вам, дерзость-то ваша меня прямо в ужас приводит. Разве вы не помните, что позвали цыплят: «Пио, пио», а Пио — это имя пап, викариев господа бога и глав церкви! Разве это малый грех?

— Я и в самом деле так сказала, Паблос,— помертвев, при-

---

[1] Всякий, кто хочет *(искаж. лат.)*.

[2] Радуйся, царица небесная *(лат.)*.

знялась она,— но пусть не простит меня господь, если это было по злому умыслу. Я каюсь, а ты подумай, нет ли какого способа избегнуть обвинения; ведь я помру, коли попаду в инквизицию.

— Если вы поклянетесь перед святым алтарем, что не имели злого умысла, я, пожалуй, на вас и не донесу, но нужно, чтобы вы отдали мне двух цыплят, что выкормили, подзывая святейшим именем первосвященников, а я отнесу их на сожжение одному слуге инквизиции, ибо они уже осквернены. Кроме того, вы должны будете присягнуть, что никогда не повторите ничего подобного.

— Забирай же их, Паблос, сейчас же,—возрадовалась она,— а присягу я принесу завтра.

— Плохо только то, Сиприана (так звали ключницу),— сказал я ей для вящего правдоподобия,— что в этом деле я сам подвергаюсь большой опасности. А вдруг инквизиция решит, что провинился-то я, да и наделает мне неприятностей? Лучше отнесите вы их сами, а то я, ей-богу, боюсь.

— Паблос,— взмолилась она,— бога ради, смилуйся надо мной и отнеси их сам, с тобой ничего не сможет приключиться.

Я дал ей время как следует попросить меня и наконец сделал так, как хотел: забрал цыплят, спрятал их в своей комнате, прикинулся, что ушел со двора, а затем вернулся и сказал:

— Все обошлось лучше, чем я думал, он было хотел пойти со мною, чтобы взглянуть на виновную, но я его ловко обдурил и все устроил.

Она наградила меня тысячей поцелуев и еще одним цыпленком, а я направился туда, где были уже спрятаны его товарищи, и заказал одному харчевнику приготовить из них фрикасе, которое и было съедено в компании других слуг. Ключница и дон Дьего, однако, дознались об этой проделке. Весь наш дом был от нее в восхищении. Владелица же цыплят расстроилась чуть не до смерти и с досады едва не выдала все мои покражи и утайки, но ей все же пришлось молчать.

Видя, что отношения мои с ключницей ухудшаются, я, не имея больше возможности надувать ее, стал приискивать новые способы развлекать себя и принялся за то, что студенты называют «хапаньем на лету».

Тут со мной приключились забавнейшие происшествия. Шествуя как-то около девяти часов вечера, когда прохожих уже бывает мало, по главной улице города, увидел я кондитерскую, а в ней на прилавке корзину с изюмом. Я вскочил в лавку, схватил корзину и пустился наутек. Хозяин кинулся за мною, а за ним его приказчик и соседи. Таща тяжелую добычу, я понял, что хотя расстояние между нами и порядочное, но они меня непре-

менно догонят, а потому, завернув за угол, уселся на корзину, поспешно прикрыл ногу плащом и, держась за нее обеими руками, прикинулся нищим и начал причитать:

— Ой, как он отдавил мне ногу! Но, господи, прости ему.

Преследователи, услыхав это, подбежали ко мне, а я стал бормотать: «Ради царицы небесной», и то, что обычно говорят попрошайки, о недобром часе и об отравленном воздухе. Они попались на удочку и стали допытываться:

— Не пробегал ли тут один человек, братец?

— Пробежал до вас,— отвечал я,— и чуть не раздавил меня, хвала всевышнему!

Тут они все бросились дальше в погоню, а я, оставшись один, дотащил корзину до дому, рассказал о своей проделке, и хотя все весьма ею остались довольны, никто, однако, мне не поверил. Поэтому я пригласил всех на следующий вечер полюбоваться моим налетом на такой же короб, и они собрались, но, увидев, что короба стоят в глубине лавки и что их нельзя достать с улицы руками, решили, что представление не состоится. К тому же хозяин, наученный горьким опытом владельца изюма, был начеку. Подойдя на двенадцать шагов к лавке, я выхватил порядочных размеров шпагу, вбежал туда с криком: «Умри!»— и сделал выпад, целясь прямо в торговца.

Тот повалился на землю, моля отпустить его душу на покаяние, а я пронзил шпагой один из коробов, подцепил его и был таков. Приятели мои обомлели от этой выходки и чуть не померли со смеху, когда лавочник стал просить их освидетельствовать его, ибо он, дескать, вне всякого сомнения, ранен человеком, с которым только что повздорил. Но, оглядевшись и увидев, что при похищении короба соседние с ним оказались смещенными, он догадался, что стал жертвой надувательства, и начал без конца осенять себя крестным знамением.

Признаюсь, редко что выходило у меня столь удачно. Приятели мои уверяли потом, что хватило бы меня одного, чтобы пропитать весь дом моими набегами, или, выражаясь более грубо, кражами.

Будучи молод и видя, как восхваляют мои таланты и умение ловко выпутываться из всяких переделок, я пускался и на другие подвиги. Каждый день я притаскивал на поясе целую связку кувшинов, которые выпрашивал у монахинь, чтобы напиться воды, но не возвращал обратно. Кончилось это, правда, тем, что мне перестали их одалживать без залога.

Однажды я дошел до того, что пообещал дону Дьего и всем моим приятелям как-нибудь украсть шпаги у ночного дозора.

«Жизнь Ласарильо с Тормеса».

Мы сговорились и вышли все вместе во главе со мною. Обнаружив дозор, я вместе с другим слугой подошел поближе и спросил с весьма встревоженным видом:

— Стража закона?

Они ответили, что да.

— А где коррехидор?

Они сказали, что здесь. Тогда я преклонил колена и обратился к нему с речью:

— Сеньор, в руках вашей милости — мое спасение, мое отмщение и великая польза для государства. Соблаговолите, ваша милость, выслушать два словечка наедине, и вам будет обеспечен изрядный улов.

Он отошел в сторону, корчете уже схватились за шпаги, а альгвасилы — за свои дубинки, и я сказал ему:

— Сеньор, я прибыл из Севильи следом за шестью величайшими злодеями на свете, грабителями и человекоубийцами. Один из них лишил жизни мою мать и моего брата, дабы их ограбить, чему я имею доказательства. Все они находятся в сообществе — и это я слыхал от них самих — с каким-то французским шпионом, коего подослал,— тут я совсем понизил голос,— Антонио Перес.

При этих словах коррехидор даже подскочил и заорал:

— Где они?

— В публичном доме, сеньор! Не медлите, ваша милость, души моей матери и брата воздадут вам молитвами, а король — само собою...

— Господи Иисусе! — заторопился тот.— Какое тут может быть промедление! Следуйте все за мною, дайте мне щит!

— Сеньор,— тут я снова отвел его в сторону,— коли вы так будете себя вести, то у вас ничего не получится. Сначала пусть все по одному войдут туда без шпаг, ибо они сидят по комнатам с пистолетами и, заметив, что у вас шпаги, какие бывают только у стражников, примутся стрелять. Лучше было бы напасть на них с кинжалами и похватать всех втихомолку, у нас для этого народу предостаточно.

План этот встретил одобрение коррехидора, жаждавшего схватить преступников. Мы подошли к указанному месту, и он велел всем попрятать шпаги в траву, что росла на лугу у самого дома. Стражники так и сделали и двинулись дальше. Я пошел вслед за ними, предварительно научив своего спутника, как только шпаги останутся без присмотра, схватить их и тащить домой, что и было сделано в один миг. Когда дозор входил в дом вместе с другим людом, я нарочно замешкался, а затем дал тягу и помчался по переулку, ведущему к монастырю святой Анны, с такой

быстротою, что меня не догнала бы и гончая собака. Войдя в дом и никого там не обнаружив, кроме студентов и всякого сброду, что, впрочем, одно и то же, стражники принялись искать меня, однако нигде не нашли и, заподозрив, в чем тут дело, бросились к своим шпагам, но тех уже и след простыл! Кто изобразит волнение, которое пережили в ту ночь ректор и коррехидор? Они обошли все дворы, всматривались во все лица, обыскивали все кровати, побывали и в нашем доме, а я, дабы меня не опознали, улегся в постель в ночном колпаке, взял в одну руку свечку, а в другую — распятие, а рядом поставил вместо духовника одного из товарищей, который как бы помогал мне переселиться в другой мир. Остальные же запели отходную. Явились ректор и стражники и, увидев подобное зрелище, ушли прочь. Им и в голову не пришло, что и на этот раз их провели за нос. Они никуда не заглянули, а ректор даже прочитал надо мною несколько слов молитвы и осведомился, могу ли я еще говорить. Ему ответили, что нет. После этого они удалились в полном отчаянии, что не нашли никаких следов воровства. Ректор клялся и божился, что предаст в руки правосудия того, кто ему попадется, а коррехидор — что повесит его, будь он хоть сыном гранда. Я воскрес из мертвых, и в Алькала до сих пор удивляются этой моей проделке.

Дабы не удлинять рассказа, я не буду повествовать о том, как я превратил городской рынок в место столь небезопасное для торговцев, словно это был густой лес, и как изъятым у стригачей сукон, у ювелиров и у зеленщиц — ибо не мог я забыть обиды, нанесенной мне, когда я был королем петухов,— поддерживал почти целый год наш очаг. Умолчу я и о той дани, которую я наложил на все окрестные огороды и виноградники. Все эти подвиги стяжали мне славу самого ловкого и пронырливого пройдохи. Ко мне благоволили все кабальеро, и каждый из них стремился переманить меня к себе на службу, но я оставался верным дону Дьего, коего неизменно чтил за его ко мне великую благосклонность.

ГЛАВА VII

Об отъезде дона Дьего, об известиях о смерти моих родителей и о решениях, которые я принял на будущее

В это время дон Дьего получил от своего отца письмо, в которое было вложено послание ко мне моего дяди Алонсо Рамплона, человека, украшенного всеми добродетелями и весьма известного в Сеговии своею близостью к делам правосудия, ибо все приговоры суда за последние четыре года исполнялись его

руками. Попросту говоря, был он палачом и настоящим орлом в своем ремесле. Глядя, как он работает, хотелось невольно, чтобы и тебя самого повесили. Этот самый дядя и написал мне из Сеговии в Алькала нижеследующее письмо.

Письмо

Сынок мой Паблос! (Он очень меня любил и так меня называл.) Превеликая занятость моя в должности, препорученной мне его величеством, не дала мне времени написать раньше это письмо, ибо если и есть что плохое на коронной службе, то разве только обилие работы, вознаграждаемой, однако, печальной честью быть одним из королевских слуг. Грустно мне сообщать малоприятные вести. Батюшка твой скончался неделю тому назад, обнаружив величайшее мужество. Я свидетельствую это как человек, самолично ему в этом помогавший. На осла он вскочил, даже не вложив ногу в стремя. Камзол шел ему, точно был сшит на него, и никто, видя его выправку и распятие впереди него, не усомнился бы, что это приговоренный к повешению. Ехал он с превеликой непринужденностью, разглядывая окна и вежливо приветствуя тех, кто побросал свои занятия, чтобы на него поглазеть. Раза два он даже покручивал свои усы. Исповедников своих он просил не утомляться и восхвалял те благие напутствия, коими они его провожали. Приблизившись к виселице, он поставил ногу на лестницу и взошел не столь быстро, как кошка, но нельзя сказать, чтобы медленно, а заметив, что одна ступенька поломана, обратился к слугам правосудия с просьбой велеть ее починить для того, кто не обладает его бесстрашием. Могу сказать без преувеличения, что всем он пришелся по душе. Он уселся наверху, откинул складки своего одеяния, взял веревку и набросил ее себе на кадык. Увидев же, что его собирается исповедовать некий театинец, он обернулся к нему и сказал: «Я уже считаю себя отпетым, отче, а потому скорехонько прочтите «Верую», и покончим со всем этим»,— видно, ему не хотелось показаться многоречивым. Так оно и было сделано. Он попросил меня сдвинуть ему набок капюшон и отереть слюни, что я и исполнил. Вниз он соскочил, не подгибая ног и не делая никаких лишних движений. Висел же он столь степенно, что лучшего нельзя было и требовать. Я четвертовал его и разбросал останки по большим дорогам. Один господь бог знает, как тяжело мне было видеть, что он стал даровой пищей для ворон, но думаю, что пирожники утешат нас, пустив его останки в свои изделия ценою в четыре мараведи. О матушке твоей, хоть она пока и жива, могу сообщить примерно то же самое, ибо взята она толедской инквизицией за то, что отка-

пывала мертвецов, не будучи злоречивой. Говорят также, что каждую ночь она прикладывалась нечестивым лобызаньем к сатане в образе козла. В доме у нее нашли ног, рук и черепов больше, чем в какой-нибудь чудотворной часовне, наименее же тяжкое из предъявляемых ей обвинений — это обвинение в подделывании девственниц. Говорят, что она должна выступить в ауто в троицын день и получить четыреста смертоносных плетей. Весьма печально, что она срамит всех нас, а в особенности меня, ибо в конце концов я слуга короля и с такими родичами мнє не по пути. Тебе, сынок, осталось кое-какое наследство, припрятанное твоими родителями, всего около четырехсот дукатов. Я твой дядя, и все, что я имею, должно принадлежать тебе. Ввиду этого можешь сюда приехать, и с твоим знанием латыни и риторики ты будешь неподражаемым в искусстве палача. Отвечай мне тотчас же, а пока да хранит тебя господь и т. д.

Не могу отрицать, что весьма опечалился я нанесенным мне новым бесчестием, но отчасти оно меня и обрадовало. Ведь родительские грехи, сколь велики бы они ни были, утешают детей в их несчастьях.

Я поспешил к дону Дьего, занятому чтением письма своего отца, в котором тот приказывал ему вернуться домой и, наслышавшись о моих проделках, велел не брать меня с собою. Дон Дьего сообщил, что собирается в путь-дорогу, рассказал об отцовском повелении и признался, что ему жаль покидать меня. Я жалел еще больше. Предложил он устроить меня на службу к другому кабальеро, своему другу, а я на это только рассмеялся и сказал:

— Другим я стал, сеньор, и другие у меня мысли. Целю я повыше, и иное мне нужно звание, ибо если батюшка мой попал на лобное место, то я хочу попытаться выше лба прыгнуть.

Я рассказал ему, сколь благородным образом помер мой родитель, как его разрубили и пустили в оборот и что написал мне обо всем этом мой дядя — палач, а также и о делах моей матушки, ибо ему, поскольку он знал, кто я такой, можно было открыться без всякого стыда. Дон Дьего весьма опечалился и спросил, что я намерен предпринять. Я поделился с ним своими замыслами, и после всего этого на другой день он в глубокой скорби отправился в Сеговию, а я остался дома, всячески скрывая мое несчастье. Я сжег письмо, дабы оно не попало кому-либо в руки, если потеряется, и стал готовиться к отъезду с таким расчетом, чтобы, вступив во владение своим имуществом и познакомившись с родственниками, тотчас же удрать от них подальше.

ГЛАВА VIII

О путешествии из Алькала в Сеговию и о том, что случилось со мною в пути до Рехаса, где я заночевал

Пришел день моего расставания с наилучшей жизнью, которую я когда-либо вел. Одному богу ведомо, что перечувствовал я, покидая моих приятелей и преданных друзей, число коих было бесконечно. Я распродал для дорожных расходов все свои припрятанные пожитки и с помощью разных обманов собрал около шестисот реалов. Нанял я мула и выехал из дому, откуда мне оставалось только забрать свою тень.

Кто поведает мне печаль сапожника, поверившего мне в долг, вопли ключницы из-за наших расчетов и ругань хозяина, не получившего квартирной платы? Один сокрушался, говоря: «Всегда я это предчувствовал», другой: «Не зря твердили мне, что он мошенник». Словом, я уехал, столь удачно рассчитавшись со всем населением города, что одна половина его по моем отъезде осталась в слезах, а другая смеялась над ее плачем.

Дорогой я развлекал себя мыслями обо всем этом, как вдруг, миновав Тороте, нагнал какого-то человека, ехавшего верхом на муле. Человек этот с великим жаром что-то доказывал сам себе и был так погружен в свои мысли, что не заметил меня даже тогда, когда я с ним поравнялся. Я обратился к нему с приветствием, он ответил; тогда я спросил его, куда он едет, о том же спросил и он меня, и, обменявшись ответами, мы принялись рассуждать, затеют ли турки войну и каковы силы нашего государя. Спутник мой начал объяснять мне, каким способом можно завоевать Святую землю и завладеть Алжиром. Из этих объяснений я понял, что он помешан на делах государственных и правительственных. Мы продолжали беседовать о том о сем, как это полагается у бродячих людей, и наконец добрались до Фландрии. Тут спутник мой стал вздыхать.

— Это государство стоит мне бóльших расходов, чем королю,— промолвил он,— ибо вот уже четырнадцать лет, как вожусь я с одним проектом, который хоть и неисполним, но привел бы все в порядок, если бы его можно было осуществить.

— Какой же это проект,— полюбопытствовал я,— и почему он неосуществим, несмотря на столь великие его выгоды?

— А кто сказал вам, ваша милость,— возразил мой собеседник,— что он неосуществим? Он осуществим, но не исполняется, а это совсем не одно и то же, и если это вам не будет в тягость, я бы поведал, в чем тут секрет. В свое время, впрочем, вы это узнаете, ибо я собираюсь теперь напечатать его вместе с другими

моими сочинениями, в коих я, между прочим, указываю королю два способа завоевать Остенде.

Я попросил его изложить мне эти два способа, и он, вытащив из кармана и показав мне большой план неприятельских и наших укреплений, сказал:

— Вы видите ясно, ваша милость, что вся трудность заключается в этом кусочке моря. Ну вот я и велел бы высосать его при помощи губок и убрать прочь.

На эту глупость я разразился хохотом, а он, взглянул на меня, заметил:

— Все, кому я это рассказывал, приходили в такой же восторг, как и вы.

— Ваша идея,— ответил я,— столь нова и столь тщательно обдумана, что в этом я нимало не сомневаюсь. Примите только во внимание, ваша милость, что чем больше вы будете высасывать воду, тем больше нагонит ее с моря.

— Море этого не сделает,— возразил он,— ибо я его считаю истощившимся, и остается лишь приступить к делу, а кроме того, я придумал способ углубить его поодаль на двенадцать человеческих ростов.

Я не осмелился возражать ему из страха, чтобы он не принялся излагать мне способ спустить небо на землю. Никогда еще в жизни не довелось мне видеть такого чудака. Он сообщил мне, что изобретения Хуанело ничего не стоят и что сейчас он сам разрабатывает проект поднимать воду из Тахо в Толедо более легким способом, и на мой вопрос, как именно, сказал, что способ этот заключается в заклинании. Слыхана ли была на свете такая чушь, ваша милость?

Наконец он объявил мне:

— Я не думаю привести все это в исполнение до тех пор, пока король не пожалует мне командорства, которое мне вполне подойдет, ибо я происхожу из достаточно знатного рода.

В таких беседах прошел путь до Торехона, где он покинул меня, ибо ехал туда навестить какую-то свою родственницу.

Помирая со смеху от тех проектов, которыми занимал свое время мой спутник, я направился далее, как вдруг еще издали увидел посланных мне богом и счастливым случаем мула без седока и спешившегося около него всадника, который, уставившись в книгу, чертил на земле какие-то линии и измерял их циркулем. Он перескакивал и перепрыгивал с одной стороны дороги на другую и время от времени, скрестив пальцы, проделывал какие-то танцевальные движения. Признаюсь, за дальностью расстояния я сначала принял его за чернокнижника и даже не осмеливался к нему подъехать. Наконец я решился. Он заметил меня, когда

я уже был близко от него, захлопнул книгу и, пытаясь вдеть ногу в стремя, поскользнулся и упал. Я помог ему подняться, а он объяснил мне:

— Я плохо рассчитал центр соотношения сил, чтобы сделать правильную описывающую дугу при восхождении.

Уразумев его речь, я пришел в смущение тем более законное, что он действительно оказался самым сумасбродным человеком из всех, когда-либо рожденных женщиной. Он спросил, направляюсь ли я в Мадрид по прямой или по окружно-изогнутой линии, и я, хоть и не понял этого вопроса, поспешил ответить, что по окружно-изогнутой. Тогда он поинтересовался, чья рапира висит у меня на боку. Я ответил, что моя собственная. Он посмотрел на нее и сказал:

— У таких рапир поперечница у рукояти должна была бы быть гораздо больше, чтобы легче было отражать режущие удары, приходящиеся на центр клинка,— и завел тут такую длинную речь, что в конце концов заставил меня спросить, чем он занимается. Он пояснил, что является великим мастером фехтования и может доказать это в любых обстоятельствах.

Еле сдерживая смех, я сказал ему:

— А я, признаться, увидав вас издали, попервости решил, что вы колдун, чертящий магические круги.

— А это,— объяснил он мне,— я исследовал обман с большим переходом на четверть окружности так, чтобы одним выпадом уложить противника, не оставив ему ни единого мига для покаяния, дабы он не донес, кто это сделал. Прием этот я хотел обосновать математическим путем.

— Неужели для этого нужна математика? — спросил я его.

— И не только математика,— ответил он,— но и богословие, философия, музыка и медицина.

— Что касается медицины, я нисколько не сомневался в этом, раз дело идет о человекоубийстве.

— Не шутите,— возразил он мне,— я сейчас изучаю парад при помощи широкого режущего удара, заключающего спиральное мулине.

— Из того, что вы мне говорите, я все равно ни слова не понимаю.

— Все это разъяснит вам,— успокоил он меня,— вот эта книга, именуемая «Величие шпаги», книга весьма хорошая и содержащая в себе истинные чудеса. А чтобы вы всему этому поверили, в Рехасе, где мы сегодня с вами остановимся на ночлег, я покажу вам чудеса при помощи двух вертелов. Можете не сомневаться, что всякий, кто изучит эту книгу, убьет, кого ему будет

угодно. Ее написал, само собой разумеется, человек великой учености, чтобы не сказать больше.

В подобных разговорах добрались мы до Рехаса и спешились у дверей какой-то гостиницы. Он, видя, как я схожу с мула, поспешил громко крикнуть, чтобы я расставил ноги сначала под тупым углом, а затем свел их к параллелям, дабы опуститься перпендикулярно к земле. Заметив, что я смеюсь, хозяин гостиницы также расхохотался и спросил, не индеец ли часом этот кабальеро, что столь чудно выражается. Я думал, что сойду с ума от смеха, а фехтовальщик подошел к хозяину и обратился к нему с просьбой:

— Дайте мне, сеньор, два вертела для двух-трех геометрических фигур, я их вам незамедлительно возвращу.

— Господи Иисусе! — воскликнул хозяин.— Давайте, ваша милость, эти фигуры сюда, и жена моя вам их зажарит, хоть я и не слыхал никогда про таких птиц.

— Это не птицы! — Тут спутник мой обратился ко мне: — Что вы скажете, ваша милость, о таком невежестве! Давайте сюда ваши вертела. Они нужны мне только для фехтования. Быть может, то, что я проделаю у вас на глазах, принесет вам больше пользы, чем все деньги, что заработали вы за всю жизнь.

Вертела, однако, были заняты, и нам пришлось удовольствоваться двумя огромными поварешками. Никогда еще не было зрелища, столь достойного смеха. Фехтовальщик подпрыгивал и объяснял:

— Меняя место, я сильно выигрываю, ибо под этим углом могу атаковать противника в профиль. Чтобы парировать его удар в среднем темпе, мне достаточно замедленного движения. Таков должен был быть колющий удар, а таков вот режущий.

Он и на милю не приближался ко мне, а вертелся вокруг со своей ложкой, а так как я спокойно оставался на месте, то все его выпады походили на возню кухарки около горшка с убегающим на огне супом.

— Вот это настоящее фехтование,— заметил он,— а не те пьяные выкрутасы, которые выписывают и коим учат всякие жулики под видом мастеров шпаги, ибо они умеют только пить горькую.

Не успел он договорить эти слова, как из соседней комнаты вышел здоровенный мулат с оскаленными зубами в широченной, точно прибитой к зонтику шляпе, в колете из буйволовой кожи под расстегнутой куцей курткой, увешанной лентами, кривоногий, точно орел на императорском гербе, с физиономией, отмеченной per signum crucis de inimicis suis[1], острой бородкой, усами,

[1] Крестным знамением врагами его *(лат.)*.

торчащими, как перекладина на рукояти меча, и со шпагой, украшенной более частой решеткой, нежели решетки в приемных женских монастырей. Мрачно уставя глаза в пол, он сказал:

— Я дипломированный маэстро фехтования и клянусь солнцем, согревающим хлеба, что изрежу на куски каждого, кто плохо отзывается о людях моей профессии.

Видя, какой оборот принимает дело, я встал между ними и принялся уверять маэстро, что разговор наш его не касался и что ему нечего обижаться.

— Так пусть берет шпагу, если она у него имеется, бросит ложки, и мы посмотрим, кто владеет настоящим искусством!

Тут мой незадачливый спутник открыл книгу и громко заявил:

— Про это написано в данной книге, а напечатана она с дозволения короля, и я буду доказывать, что все в ней истинная правда, и с ложкой и без ложки, и здесь и в любом ином месте. Если же нет — давайте измерим.— Тут он достал циркуль и начал: — Этот угол — тупой...

Тогда новоприбывший маэстро, вытаскивая шпагу, сказал:

— Я не знаю ни Угла, ни Тупого и в жизни своей не слыхивал таких прозвищ, но вот этой шпагой я разрежу вас на кусочки.

Тут он набросился на моего беднягу и начал наносить ему удары, а тот пустился в бегство, прыгая по всему дому и крича:

— Он не может меня ранить, ибо я могу разить его в профиль!

Я, хозяин и все присутствующие утихомирили их, хотя я едва мог пошевелиться от смеха.

Несчастного отвели в его комнату, где поместился и я. Все обитатели гостиницы отужинали и легли спать, а он в два часа ночи поднялся с кровати и в одной рубашке стал бродить в потемках по комнате, время от времени вытворяя какие-то прыжки и бормоча на своем геометрическом языке всякую ерунду. Не удовольствовавшись тем, что это меня разбудило, он спустился к хозяину, чтобы забрать у него свечку, ибо, по его словам, нашел верную точку для нанесения колющего удара через радиус в хорду. Хозяин послал его ко всем чертям за то, что тот потревожил его сон, и обозвал сумасшедшим. Тогда фехтовальщик поднялся ко мне и предложил, если я захочу встать с кровати, показать мне изумительный прием, который он придумал против турок с их ятаганами, присовокупив, что в ближайшее время отправится обучать короля, дабы прием этот послужил на пользу католикам. Тем временем наступило утро; мы все оделись, заплатили за постой, помирили нашего сумасброда с мулатом, и тот, прощаясь с ним, заметил, что книга моего спутника, конечно, хороша, но что по ней мастерству не научишься, а скорее сойдешь с ума, ибо большинство ни аза в ней не поймет.

ГЛАВА IX

О том, что произошло при встрече с одним поэтом по дороге в Мадрид

Я двинулся по направлению к Мадриду, а фехтовальщик простился со мною, так как ехал другой дорогой. Уже отдалившись на порядочное расстояние, он с большой, однако, поспешностью вернулся и, громко окликнув меня, прошептал мне на ухо в открытом поле, где нас и так никто не слыхал:

— Умоляю, сеньор, не открывайте никому тех глубочайших тайн фехтовального искусства, которые я вам сообщил. Храните их про себя, ведь вы — человек с умом.

Я пообещал ему так и сделать. Он повернулся и поехал прочь, а я посмеялся над его удивительными тайнами.

Так я проехал больше мили, не повстречав ни души. Ехал я, обдумывая и передумывая то великое множество трудностей, кои стоят на пути чести и добродетели, ибо я должен был сначала скрыть, сколь малая толика совершенств украшала моих родителей, а затем украсить себя оными в той степени, чтобы их слава не перешла на меня. Мысли эти казались мне столь достойными, что я благодарил за них сам себя и думал: «Больше всего я должен быть доволен самим собой, так как не у кого было мне научиться добродетели, коей люди обычно научаются у своих предков».

Я все еще продолжал рассуждать и размышлять, как вдруг столкнулся с одной прелестной особой духовного звания, следовавшей верхом на муле по мадридской дороге. У нас с ним завязалась беседа, и он спросил меня, откуда я еду. Я сказал, что из Алькала.

— Да проклянет господь,— воскликнул он,— столь гнусных людей, коими населен этот город, ибо среди них нет ни одного просвещенного человека.

Я полюбопытствовал, почему так худо отзывается он о городе, в котором собрано столько ученейших мужей, и он в большом гневе ответствовал мне:

— Ученейших! Столь ученых, скажу я вашей милости, что вот уже четырнадцать лет, как я сочиняю в Махалаонде, где состою сакристаном, песнопения к празднику тела господня и к рождеству, а они не удосужились отметить наградой ни одного моего стишка. А чтобы вы, ваша милость, убедились в их несправедливости по отношению ко мне, я вам кое-что почитаю. Убежден, что я доставлю вам удовольствие.

Мучиться нетерпением он меня не заставил и тут же обрушил на меня целый поток вонючих строф. По этой первой вы можете составить себе мнение, каковы были остальные.

Пастухи, не прелестная ль шутка,
Что снисходит до наших желудков
Тот, кто всех непорочнее агнцев?
Святой Корпус Кристи,
Из пречистых пречистый,
Днесь спускается в чрево испанцев.
Пусть то поводом будет для танцев!
Заиграй, сакабуча,
Чтоб отметить сей случай,
И да вторят свирель ей и дудка!
Пастухи, не прелестная ль шутка, и т. д. [1].

— Что лучшее мог бы сочинить сам изобретатель острословия? — спросил он.— Обратите внимание, сколь много тайн заключает в себе одно только это слово: «пастухи». Оно стоило мне больше месяца работы.

Здесь я не мог уже сдержать смеха, который с клокотанием вырывался у меня из глаз и из ноздрей, и, давясь от хохота, сказал:

— Удивительные стихи! Но я только позволю себе спросить, почему ваша милость употребила выражение святой Корпус Кристи? Ведь Corpus Cristi — тело господне — это не святой, а день установления таинства причастия.

— Вот это мило! — ответил он мне со смехом.— Да я вам покажу календарь, и вы увидите,— закладываю свою голову,— что это канонизированный святой!

Я не мог спорить с ним из-за душившего меня при виде столь неслыханного невежества смеха, но все же признал, что стихи достойны любой награды и что мне не доводилось до сих пор читать или слышать столь изящное произведение.

— Не доводилось? — подхватил он.— Так послушайте же, ваша милость, небольшой отрывок из книжечки, которую я сочинил в честь одиннадцати тысяч дев-мучениц, из коих каждой я посвятил по пятидесяти октав. Это удивительное произведение!

Дабы уклониться от выслушивания стольких миллионов октав, я умолил его не читать мне божественных стихов, и тогда он принялся мне декламировать комедию, в которой было больше хорнад, чем в пути до Иерусалима. Он пояснил мне:

— Эту комедию я сочинил в два дня, и это у меня черновик.

Комедия занимала собою до пяти дестей бумаги, и называлась она «Ноев ковчег». В ней действовали петухи, мыши, лошади, лисицы и кабаны, как в баснях Эзопа. Я похвалил ее замысел и выполнение, на что он ответил мне:

---

[1] Стихи здесь и на с. 169 и 170 даны в переводе И. Лихачева.

— Это все моя выдумка, и другой такой комедии нет на всем свете. Самое важное — это ее новизна, и если мне удастся поставить ее на сцене, то это будет великое событие.

— Как же можно будет играть ее на сцене,— полюбопытствовал я,— если в ней должны выступать животные, которые ведь не умеют говорить?

— В этом и состоит трудность,— ответил он,— а не будь ее, разве могло бы поспорить с ней какое-либо другое произведение? Впрочем, я подумаю о том, чтобы поручить исполнять ее попугаям, сорокам и дроздам,— они ведь умеют говорить, а в интермедиях мы займем обезьян.

— Да, конечно, это будет великое произведение.

— У меня есть и другие, еще более великие,— не унимался он.— Их я написал для одной женщины, в которую я влюблен. Полюбуйтесь-ка на девятьсот один сонет и двенадцать редондилий,— все это выглядело так, будто он разменивает эскудо на мараведи,— кои я сложил к ногам моей дамы.

Я спросил его, видал ли он их в природе. Он ответил, что его сан этого ему не позволил, но что сонеты его их прозревали. По правде говоря, хотя мне и было забавно его послушать, но я убоялся такой массы плохих стихов, а потому начал переводить разговор на другие предметы и заметил, что вижу зайцев.

— Так я вам начну,— живо подхватил он,— с того стиха, где я сравниваю ее с этими зверьками.

И тотчас же начал. Я, чтобы отвлечь его, спросил:

— Видите вы, ваша милость, вон те звезды, что заметны и днем?

На это он ответил:

— А вот я закончу этот сонет и прочту вам тридцать третий, где я сравниваю ее со звездой. Но оценить его можно только тогда, когда вы знаете, с какой целью они все написаны.

Я весьма опечалился, поняв, что нельзя ничего назвать и ни о чем упомянуть, по поводу чего он не сочинил бы какой-нибудь глупости, но, видя, что мы приближаемся к Мадриду, возрадовался всей душой, ибо понадеялся, что теперь он замолчит от стыда. Но случилось наоборот, так как, желая обратить на себя внимание, он при въезде в город только возвысил свой голос. Я умолял его прекратить эту декламацию и предупреждал, что если дети пронюхают в нем поэта, то не останется ни одной кочерыжки, которая бы своим ходом не понеслась нам вдогонку, ибо поэты объявлены сумасшедшими в некоей прагматике, изданной одним из их собратий, удалившимся от занятий поэзией в доброчинную жизнь. Он, весьма взволновавшись, попросил меня прочесть ему эту прагматику, если она у меня имеется. Я пообещал

сделать это в гостинице. Мы направились к той из них, где он имел обыкновение останавливаться, и натолкнулись у ее дверей на целую дюжину слепцов. Одни узнали его, видимо, по запаху, другие — по голосу и громко его приветствовали. Он обнял каждого из них, и тогда одни стали просить у него побуждающую к щедрости молитву праведному судье, написанную торжественными и нравоучительными стихами, другие — молитву за души в чистилище. Они тут же принялись торговаться. Получив от каждого по восьми реалов задатку, он попрощался с ними и сказал:

— Эти слепцы приносят мне больше трехсот реалов дохода. С позволения вашей милости, я теперь ненадолго уединюсь, дабы сочинить для них кое-что, а потом, после обеда, послушаем прагматику.

О, несчастная жизнь! Ибо нет никого несчастнее безумцев, которые зарабатывают себе на пропитание своим собственным сумасшествием!

ГЛАВА X

О том, что я делал в Мадриде и что случилось со мною вплоть до прибытия в Серседилью, где я и заночевал

Стихотворец уединился на некоторое время, чтобы заняться сочинением всякой ереси и глупостей для слепцов. Тем временем наступил час обеда. Мы пообедали, и тотчас же поэт попросил меня прочесть прагматику. Не будучи занят ничем другим, я достал ее, прочитал и теперь помещаю здесь, ибо она показалась мне соответствующей тому, что автор ее поставил себе целью обличить. Гласила она следующее:

«ПРАГМАТИКА РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНАЯ
ПРОТИВ ПОЭТОВ СКУДОУМНЫХ,
МНОГОРЕЧИВЫХ И ЛИШЕННЫХ ИЗЮМИНКИ»

Заглавие это вызвало у сакристана взрыв самого громкого, какой только раздавался в мире, хохота, и он сказал:

— Раньше бы сказал, в чем дело! А то я, ей-богу, подумал, что этот указ касается меня, а выходит, что он относится только к поэтам без изюминки.

Эти слова его весьма умилили меня, ибо он произнес их так, словно у него кладовые ломились от сабзы и кишмиша. Я опустил вступление и стал читать прямо с первого пункта, где значилось:

— «Принимая во внимание, что тот род пресмыкающихся, коих именуют поэтами,— наши ближние и христиане, хотя и плохие, ввиду того, что они круглый год заняты обожанием бровей, зубов, шелковых лент, волос и туфелек, совершая к тому же

еще бóльшие прегрешения, повелеваем, чтобы на страстной неделе все площадные поэты и песельники были собираемы, подобно женщинам предосудительного поведения, порицаемы за их ошибочный образ жизни и увещеваемы обратиться на истинный ее путь. Местом для этого назначаются исправительные дома.

Item:[1] принимая во внимание обилие жары в не знающих прохлады стихах поэтов, иссушенных, как изюм, бесчисленными солнцами и светилами, кои идут на их сочинительство, обязываем их к строгому молчанию по поводу небесных явлений, определив месяцы, запретные для муз, подобные тому как существуют запретные месяцы для охоты и рыбной ловли, дабы не исчерпать природные запасы и вышепоименованных.

Item: принимая во внимание, что адская секта людей, осужденных на вечный консептизм, разрушителей слов и извратителей мысли, заразила своей поэтической лихорадкой и женщин, объявляем, что сия последняя напасть есть справедливое возмездие за то зло, которое причинила Адаму прародительница наша Ева. А поелику век наш оскудел и испытывает нужду в драгоценностях, повелеваем стихотворцам сжечь свои сочинения, подобно старым бахромам, дабы извлечь из них сии благородные металлы, ибо в большинстве стихов они дам своих превращают в некие подобия статуй Навуходоносора, из всевозможных металлов изваянных».

Тут мой сакристан не стерпел и, вскочив, воскликнул:

— Еще и достояния нашего лишить нас хотят! Бросьте читать дальше, ваша милость. Ибо если дело дошло до этого, я поеду к папе и растрачу все, что у меня есть. Неужели же мне, духовной особе, прилично перенести подобное оскорбление? Я докажу, что стихи поэта духовного сана не подчиняются подобной прагматике. Сейчас же иду подавать жалобу в суд!

Меня разбирал смех, но, дабы не задерживаться — было уже поздно,— я сказал ему:

— Сеньор мой, эта прагматика написана шутки ради, она не имеет ни силы, ни обязательности, ибо не исходит от власть имущих.

— Бедный я грешник!—воскликнул он в сильном волнении.— Надо было предупредить меня об этом, и тогда я был бы избавлен от величайшего огорчения на свете. Представляете ли вы себе, ваша милость, что это значит — написать восемьсот тысяч строф и выслушивать нечто подобное? Продолжайте же, ваша милость, господь да простит вам тот страх, который меня обуял.

Я продолжал:

---

[1] То же *(лат.)*.

— «Item: обращаем внимание на то, что, благодаря святому таинству крещения, добрая половина их писаний стала ложью, и истина в оных проявляется лишь тогда, когда они поносят друг друга.

Item: принимая во внимание, что они ни о чем здраво судить не могут, решив, что все равно все будет рассужено в долине Иосафатовой, и оставили там свой рассудок, постановляем, чтобы разрешили им проживать в государстве не иначе, как с особой отметиной, а буйных бы вязали, давая им, однако, пользоваться всеми льготами, положенными умалишенным, дабы, если случится им где напроказить, упоминания того, что они поэты, если они представят тому доказательство, было им достаточно, чтобы не только избавиться от наказания, но еще и заслужить благодарность за то, что они ничего худшего не натворили.

Item: замечая, что, перестав быть маврами, хотя и сохранив кое-что от прошлого, стихотворцы превратились в пастухов и скот по этой причине тощает, так как питается их слезами и иссушивается огнем их пламенеющих душ, и перестал пастись, так как упоенно слушает их музыку, повелеваем им оставить это занятие, отведя уединенные места для любителей отшельничества, а остальным предписав освоиться с веселым ремеслом погонщиков мулов, которым и соленое словцо употребить не страшно».

— Какой-то шлюхин сын, содомит, рогатый муж или иудей выдумал все это,— вскричал сакристан,— и если бы я узнал, кто он, я бы сочинил на него такую сатиру, которая бы задала жару и ему, и всем его читателям. Подумайте сами, пристало ли отшельничество таким безбородым людям, как я? Почтенному сакристану, имеющему дело со священными сосудами,— и вдруг стать погонщиком мулов! Как хотите, сеньор, но это страшное оскорбление!

— Я уже вам объяснил, ваша милость,— сказал я,— что это всего лишь шутки, и как шутки их и следует слушать.

Затем я продолжал:

— «Item: во избежание великих хищений, запрещаем ввоз стихов из Арагона в Кастилию и из Италии в Испанию под страхом для поэта быть наряженным в хорошее платье; а если провинность повторится, то и ходить чистым и умытым в течение целого часа».

Это очень понравилось моему слушателю, ибо он носил поседевшую от старости сутану с таким количеством грязи на подоле, что если бы потребовалось предать его погребению, то достаточно было бы стряхнуть ее на его останки; плаща же его хватило бы на унавоживание двух полей.

Посмеиваясь над моим поэтом, я сказал ему, что прагматика повелевает считать повинных в смертном грехе отчаяния всех жен-

щин, влюбляющихся исключительно в поэтов, и отказывает им в церковном погребении, как это делается с повесившимися и бросившимися в пропасть.

— «Item,— добавил я,— имея в виду великие урожаи редондилий, канцон и сонетов, которые имели место за последние плодородные годы, повелевается: охапки рукописей, которые из-за плохого качества бумаги избегнут бакалейных лавок, должны быть отправлены без всякой пощады в отхожие места».

Наконец я дошел до последнего пункта, гласившего:

— «Однако, милостиво принимая в соображение, что в государстве имеется три рода людей, столь несчастных, что они не могут жить без поэтов, а именно — слепцы, комедианты и сакристаны, объявляем, что допускается существование нескольких лиц, занимающихся этим искусством, при условии наличия у них экзаменационного свидетельства, выданного им местным поэтическим касиком, вместе с тем обязываем поэтов, пишущих для комедиантов, не кончать интермедий ни избиением палками, ни появлением чертей, а комедий — свадьбами; пусть также для привлечения публики не рассчитывают они на объявления, будь то на листках или изустные под звуки труб. Поэтам же для слепцов возбраняется местом действия их романсов избирать Тетуан и для того, чтобы срифмовать «Христа ради», не вспоминать «о награде», повелев им изгнать из своего словаря следующие речения: «возлюбленный христианин», «человечный» и «дело чести».

Всем, кто прослушал эту прагматику, она показалась превыше всяких похвал, и каждый из слушателей попросил у меня ее копию. Один лишь сакристан стал клясться торжественной вечерней, «introibo»[1] и «kyrie»[2], что эта сатира направлена против него, судя по тому, что в ней говорилось о слепцах, и добавил, что в своем деле он разбирается не хуже всякого другого.

— Я лицо,— заявил он под конец,— которое проживало в одной гостинице с Линьяном, лицо, которое не один раз обедало вместе с Эспинелем, лицо, бывшее в Мадриде в такой же близости к Лопе де Веге, как и он ко мне, видевшее дона Алонсо де Эрсилья тысячу раз, имеющее в своем доме портрет божественного Фигероа и купившее штаны, оставшиеся от Падильи, когда тот пошел в монахи, штаны, носимые и теперь, хотя они и прохудились.

Он показал эти штаны, чем так рассмешил всех собравшихся, что они не хотели уходить из гостиницы.

Однако было уже два часа, а так как ехать все равно надо было, мы покинули Мадрид. Я распрощался не без сожаления с

---

[1] Войду в храм твой *(лат.)*.
[2] Господи *(греч.)*.

сакристаном и направился к горному проходу. Богу было угодно, дабы я не предался дурным помыслам, послать мне на дороге какого-то солдата. Мы с ним немедленно вступили в беседу. Он спросил, не следую ли я из столицы. Я ответил, что был в ней проездом.

— Большего она и недостойна,— сказал он на это,— я предпочту — клянусь господом богом! — просидеть в осаде, по пояс в снегу, вооруженный с ног до головы, как человечек с башенных часов, и питаться корой, нежели переносить всякие мерзости, творимые там над честным человеком.

На это я указал ему, что, насколько можно судить, в столице имеется все, что угодно, и что там весьма почтительно обращаются с каждым порядочным и удачливым человеком.

— Почтительно обращаются! — воскликнул он в великом раздражении.— Я проторчал там полгода, хлопоча о чине прапорщика за двадцать лет подвигов и за то, что проливал свою кровь на службе у короля, о чем вопиют эти раны!

Тут он показал мне шрам величиной с ладонь в паху, происхождение коего от бубона было ясно, как солнце, а также две отметины на пятках, сказав, что они сделаны пулями, и кои я, поскольку и у меня было две таких же точно, признал за отмороженные места. Потом он снял шляпу и показал мне свое лицо. Оно было украшено шестнадцатью швами, и шрам этот рассек ему нос надвое. Если прибавить к этому шраму еще три, что у него были, не покажется удивительным, что лицо у него смахивало на географическую карту, так оно было исчерчено.

— Этим,— объяснил он,— меня наградили в Париже на службе богу и королю, истыкав мне все лицо, а теперь мне тычут в нос любезные речи, заступившие ныне место злых дел. Прочтите эти бумаги, заклинаю вас жизнью лисенсиата, из которых вы увидите, что никогда не ходил в бой — клянусь Иисусом Христом! — человек — разрази меня господь! — столь отмеченный заслугами.

В этом он, пожалуй, был прав, ибо отмечен он был основательно. Тут он стал вытаскивать какие-то жестянки и совать мне бумаги, наверняка принадлежавшие кому-то другому, чье имя он себе присвоил. Я прочитал их, расточив тысячи похвал воину, с подвигами которого сравниваются лишь деяния Сида и Бернардо дель Карпио. Услыхав это, он подскочил и воскликнул:

— Как так сравниваются? Разрази меня господь, но со мной не сравниваются ни Гарсиа де Паредес, ни Хулиан Ромеро, ни кто-либо другой из героев! Черт побери, тогда-то ведь еще не было артиллерии! Клянусь господом богом, в наше время Бернардо не выдержал бы и часа сражения! Спросите-ка во Фландрии про подвиги Корзубого, услышите, что вам понарасскажут.

— Не вы ли этот самый Корзубый, ваша милость? — спросил я.

Он ответил:

— А кто же еще? Разве не заметно, сколько зубов не хватает у меня во рту? Но оставим этот разговор, ибо неприлично мужчине восхвалять самого себя.

Коротая время в таких беседах, мы настигли ехавшего на ослике отшельника с бородой столь длинной, что он вывозил ее в дорожной грязи, тощего и одетого в серое сукно. Он приветствовал нас обычным «Deo gratias»[1] и начал расхваливать тучные пажити — знак великой благости божьей. Солдат подскочил и воскликнул:

— Э, отче! Я видел более густую щетину пик, направленных на меня, и, клянусь богом, все же не сплоховал, когда мы громили Антверпен. Да, да, свидетель мне всевышний!

Отшельник упрекнул его в том, что он столь часто клянется именем господним. На это солдат ответил:

— Сразу видно, отче, что вы не были солдатом, раз попрекаете меня моим собственным ремеслом.

Меня весьма рассмешило его понятие о солдатском ремесле, и я смекнул, что это просто-напросто какой-нибудь трус и проходимец, ибо для сколько-нибудь выдающегося воина нет более отвратительной привычки, да, пожалуй, и для всех солдат вообще. Мы достигли горного прохода. Отшельник молился, перебирая свои четки, сделанные из здоровенных обрубков дерева, так что при каждой «аве Марии» они стучали, как кегельные шары. Солдат шествовал, сравнивая скалы с замками, кои ему довелось видеть, и воображая, где могут быть возведены на них укрепления и где следовало бы разместить артиллерию. Я ехал, разглядывая их обоих, в равной мере боясь и четок отшельника, и солдатского вранья.

— Эх, взорвал бы я порохом большую часть этого прохода,— хвастался солдат,— и сделал бы доброе дело для путешественников.

В этих и тому подобных разговорах добрались мы с наступлением темноты до Серседильи и все трое направились на постоялый двор. Заказали ужин — была пятница,— и отшельник в ожидании его предложил:

— Займемся-ка делом, ибо безделье — мать пороков. Сыграем-ка на авемарии!

С этими словами он извлек из своего рукава колоду карт. Меня весьма рассмешило это зрелище, в особенности когда я подумал о его четках.

---

[1] Благодарение господу *(лат.)*.

Солдат сказал:

— Нет, сыграем на деньги, но только по-дружески, не больше как на сто реалов, которые при мне.

Я из алчности к деньгам согласился на эту сумму, а отшельник, дабы не расстроить компанию, сказал, что имеет при себе лампадного масла на двести реалов. Признаюсь, я понадеялся, что буду совой, которая это масло у него выпьет, но надеждам этим суждено было осуществиться так же, как и замыслам турецкого султана. Решили мы сыграть в парар, и самое забавное было то, что отшельник сказался незнакомым с этой игрой и попросил научить его. Потом он благодушно дал нам выиграть две партии, а затем обобрал нас так, что на столе не осталось ни полушки. Он сделался нашим наследником еще при нашей жизни, и больно было видеть, как он сгребает ладонью наши денежки. Он проигрывал карты, на которые мало было поставлено, и вознаграждал себя дюжиной крупных ставок. При каждом его выигрыше солдат разражался дюжиной клятв и стольким же количеством ругательств, подкрепленных проклятиями. Я грыз себе ногти, в то время как отшельник загребал своими мои капиталы. Не было ни одного святого, которого я не призывал бы себе на помощь. Счастливой карты мы ждали, как евреи ждут мессии, и столь же тщетно. Отшельник начисто нас обчистил, мы хотели играть под заклад вещей, но он, выиграв у меня шестьсот реалов, составлявших все мое достояние, а у солдата — сотню, сказал, что играл с нами лишь для забавы, что мы его ближние и что он не хочет больше нас обыгрывать.

— Никогда не клянитесь,— поучал он,— мне повезло, потому что я поручил себя господу богу.

Мы же, ничего не зная о ловкости его рук от пальцев до запястья, ему поверили. Солдат дал клятву больше никогда не клясться, и я последовал его примеру.

— Вот незадача! — горевал бедный прапорщик, в разговоре со мною он присвоил себе этот чин.— Бывал я среди лютеран и мавров, но так меня еще никто не грабил.

Отшельник в ответ только ухмыльнулся и снова стал перебирать четки. Я, оставшись без гроша, попросил его угостить меня ужином и оплатить до Сеговии постой за нас двоих, ибо мы были обречены на путешествие почти in puribus[1]. Он пообещал сделать это и, заказав яичницу из семидесяти яиц,— в жизни я не видал ничего подобного! — заявил, что отправляется спать.

---

[1] Нагишом *(лат.)*.

Мы провели ночь в общей зале с другими путниками, ибо отдельные комнаты были уже заняты. Я лег в великой печали, а солдат призвал хозяина и препоручил ему жестянку со своими бумагами и сверток с изношенными сорочками. Мы улеглись. Отец пустынник осенял себя крестами, мы же открещивались от него. Он заснул, а я бодрствовал, обдумывая способ лишить его денег. Солдат во сне бормотал что-то о своих ста реалах, точно они еще у него не сгинули.

Наступило время вставать. Я попросил поскорее подать свет. Хозяин принес его, захватив и сверток с рубахами для солдата и позабыв про бумаги в жестяной банке. Незадачливый прапорщик чуть не обрушил дом своими криками, требуя принести ему его самонужнейшие списки.

Хозяин переполошился, а так как все мы кричали, чтобы он принес требуемое, он опрометью притащил три ночные вазы и сказал:

— Вот для каждого из вас своя. Может быть, вам нужно еще?

Наверное, он думал, что у нас разболелись животы. Тут солдат вскочил с кровати и в одной сорочке бросился со шпагой за хозяином, клянясь, что убьет его за насмешки над его особой, которая была в сражении у Лепанто и в битве при Сен-Кантене и которой вместо бумаг подают ночные горшки.

Хозяин оправдывался:

— Сеньор, ваша милость просила самонужнейшие списки, а я полагал, что на солдатском языке так называются ночные вазы.

Мы успокоили их и вернулись в залу. Подозрительный отшельник остался в кровати, сказавшись от страха больным. Он заплатил за нас, и мы двинулись вдоль горного прохода, озлобленные поступком отшельника и неудавшимся замыслом отобрать у него наши деньги.

Дорогою мы встретились с одним генуэзцем, иначе говоря — с антихристом для испанских денег, который направлялся в горы в сопровождении пажа и под зонтиком, как весьма богатый человек. Мы вступили с ним в беседу. Говорить он мог только о мараведи, ибо люди его племени рождаются лишь для денежных дел. Начал он рассказывать о Безансоне и о том, выгодно или нет одалживать Безансону деньги, и говорил об этом столь подробно, что мы с солдатом спросили, что это за кабальеро Безансон. На это он со смехом ответил:

— Это город в Италии, где собираются деловые люди (коих мы здесь называем жуликами по писчей части) и устанавливают цены на деньги.

Из этого мы заключили, что в Безансоне задают тон всем ворам и грабителям. Он развлекал нас по дороге рассказами о своих убытках, так как лопнул один банк, задолжавший ему более шестидесяти тысяч эскудо, и все время клялся своею совестью, хотя я полагаю, что совесть у купцов — это то же самое, что непорочность у публичной девки, продающейся и без ее наличия. Из людей этого ремесла почти никто совестью не обладает: поскольку народ этот наслышан, что она способна терзать человека за самую малость, они предпочитают расстаться с нею вместе с пуповиной при рождении.

Беседуя таким образом, мы увидели стены Сеговии, и взор мой возрадовался, несмотря на то что воспоминания о Кабре портили мне настроение. Я достиг города и при входе в него увидел четвертованного отца моего, ожидавшего того мгновения, когда, преображенный в звонкую монету, он в кошельке отправится в долину Иосафатову. Я расчувствовался и вошел в город, не будучи узнан, ибо возвращался не таким, каким его покидал,— теперь у меня уже пробивалась бородка и был я хорошо одет. Я оставил своих спутников и стал прикидывать, кто, кроме виселицы, мог бы знать моего дядю, но никого не нашел. У многих я спрашивал об Алонсо Рамплоне, и никто мне ничего не мог о нем сказать, все уверяли, что не знают его. Я весьма обрадовался, что в моем родном городе есть еще так много честных людей, как вдруг услыхал голос глашатая, возвещавшего публичное бичевание, и узрел моего дядюшку за работой. Он шествовал за пятью обнаженными людьми с непокрытыми головами и лениво наигрывал на них пассакалью, только лютней служили ему их спины, а струнами были веревки. Я стоял рядом с тем человеком, которого я спрашивал о моем дяде и которому назвал себя, на его вопрос, знатным кабальеро, как вдруг увидел, что достойный мой дядюшка, проходя мимо, устремил на меня свой взор, а затем раскрыл объятия и бросился ко мне, называя меня своим племянником. Я чуть не умер со стыда, даже не простился со своим собеседником и пошел за дядей. Он сказал мне:

— Ты можешь пройтись с нами, пока я покончу с этим народом. Потом мы вернемся и вместе отобедаем.

Я представил себя на коне в этой компании, что при данных обстоятельствах выглядело немногим лучше, чем быть поротым, и сказал, что обожду его. Встреча эта так меня устыдила, что, не будь мой дядюшка хранителем причитавшегося мне наследства, я ни за что не заговорил бы с ним больше при посторонних и не показался бы вместе с ним в людном месте.

Он закончил обработку спин осужденных, возвратился и повел меня в свой дом, где я и остался и где мы пообедали.

ГЛАВА XI

О пребывании моем у дяди, о его гостях, о получении денег и возвращении моем в Мадрид

Обиталище доброго моего дядюшки находилось около боен, в доме какого-то водовоза. Мы вошли туда, и он сказал мне:

— Ну, конечно, жилье мое не Алькасар, но будь уверен, племянничек, что оно как раз подходит для успешного ведения моих дел.

Мы поднялись по лестнице, и мне оставалось только дождаться, что будет со мною наверху, чтобы увидеть, отличается ли она чем-нибудь от ступеней эшафота. Затем мы вступили в столь низкое помещение, что ходить там можно было только словно под благословением, с головами, опущенными долу. Он повесил бич на стену, куда было вбито еще несколько гвоздей, с которых свешивались веревки, петли, ножи, крюки и другие принадлежности ремесла моего дядюшки. Он спросил меня, почему я не снимаю плаща и не усаживаюсь. Я ответил, что это не в моих правилах. Один бог знает, что я испытал при виде всех этих гнусных инструментов. Дядя заметил, что мне изрядно посчастливилось и что я попал к нему в весьма удачный день, ибо мне предстоит хорошо поесть: у него должны быть в гостях несколько друзей.

В этот момент в дверях появился завернутый до самых пят в фиолетовое одеяние один из тех, что собирают деньги на вызволение душ из чистилища, и, потрясая кружкой, в которой звенели монеты, сказал:

— Такой же доход принесли сегодня мне души в чистилище, как тебе наказанные кнутом. Забирай!

Они ласково потрепали друг друга по щекам, бездушный вызволитель душ откинул полы своей одежды,—оказалось, что у него кривые ноги в коротких полотняных штанах старинного покроя,— и стал приплясывать и спрашивать, не пришел ли Клементе. Дядя мой ответил, что его еще нет. Тут по воле господа бога и в добрый час вошел завернутый в какую-то тряпку—и притом весьма грязную — игрок на желудевой свистульке, иначе говоря — свинопас. Я узнал его, извините за выражение, по рогу, который он держал в руках. Ему недоставало только носить его на голове, чтобы быть как все люди. Он приветствовал нас по-свойски, а за ним вошел некий мулат, левша и косоглазый, в замшевом камзоле и в шляпе с тульей, которая отнюдь не тулилась, напротив, и с полями поистине необозримыми. Шпага его имела с дюжину дужек на гарде. Лицо его напоминало вязанье, так изобиловало оно дырками, обведенными ниточками кожи. Он вошел, сел, поклонился находившимся в комнате, а дяде моему сказал:

— По правде говоря, Алонсо, недешево отделались Курносый и Крючконосый.

При этих словах тот, что занимался душами, вскочил и заметил:

— Четыре дуката дал я Флечилье, палачу в Оканье, чтобы он подгонял осла и не орудовал треххвостым бичом, когда мне прописали трепку.

— Свидетель бог,— сказал тут корчете,— слишком дорого заплатил я Хуансо в Мурсии, так как ослик его, когда вез меня, подражал черепашьему шагу, и этот подлец успел отлупить меня так, что вся спина моя превратилась в один сплошной пузырь.

Свинопас, поеживаясь, присовокупил:

— Мои-то плечи пока что девственны.

— Каждой свинье приходит день ее святого Мартина,— заметил сборщик пожертвований.

— Могу похвалиться, что я такой кнутобойца,— вставил тут свое слово мой добрый дядюшка,— который сделает тому, кто его ублаготворит, все, что потребуется. Шестьдесят дали мне сегодняшние и ушли с побоями чисто дружескими, простым бичом.

При виде того, какими почтенными особами были собеседники моего дядюшки, сознаюсь, краска бросилась мне в лицо, и я не мог скрыть моего стыда. Корчете заметил это и сказал:

— Это не тот ли куманек, кого прошлый раз двинули разок-другой по оборотной стороне?

Я возразил, что не принадлежу к числу тех людей, кои привычны к тому, к чему привычны здесь собравшиеся.

Тут дядя мой встал и сказал:

— Это мой племянник, магистр из Алькала, важная персона.

Тогда они попросили у меня прощения и всячески обласкали. Мне страшно хотелось наесться, забрать мое достояние и удрать от дядюшки.

Накрыли на стол и при помощи веревки, подобно тому, как заключенные в тюрьме притягивают к себе милостыню, из трактира, что находился позади дома, подняли в чьей-то шляпе обед на обшарпанных тарелках, а выпивку — в бутылках и кувшинах с отбитыми горлышками. Невозможно себе представить то чувство досады и стыда, которое меня охватило. Сели обедать, сборщик — на почетное место, а остальные — как попало. Не скажу, что́ мы там ели, а только скажу, что вся еда возбуждала жажду. Корчете выдул три посудины чистого красного и пил за мое здоровье, я же отвечал ему, разбавляя вино водой. Свинопас болтал и пил здравиц больше нас всех. Появились на столе пять пирогов, по четыре мараведи, и все, окропив себя святой водой, после того как была

снята верхняя корка, дружно возгласили «Requiem aeternam»[1] тому покойнику, чья плоть послужила начинкой для этого пирога.

Дядя мой сказал:

— Ты, наверное, помнишь, племянник, то, что я писал тебе о твоем отце.

Я, конечно, припомнил. Они ели, а я ограничился нижней коркой; с тех пор это даже вошло у меня в привычку, и теперь, всякий раз, как мне случается есть пироги, я читаю «Аве Мария» за того, кто пошел на них.

Они благополучно усидели два кувшина общей емкостью в ведро с лишним; корчете и спаситель душ допились до того, что когда принесли блюдо сосисок, похожих на пальцы негров, то один из них спросил, для чего подали курительные свечки. Дядя мой был в таком состоянии, что, протянув руку и схватив одну из них, произнес голосом несколько грубым и хриплым, с глазами, плавающими в сусле:

— Племянник, клянусь этим хлебом, который создал господь по своему образу и подобию, что никогда ничего более вкусного не едал.

Я же, видя, что корчете, протянув руку, взял солонку и сказал: «И горяч же этот бульон!» — а свинопас, набрав полную горсть соли, заметил: «Чем острее, тем лучше пьется» — и отправил ее себе в рот,— одновременно и хохотал и злился.

Принесли бульон, и душеспаситель, обеими руками взяв миску, возгласил:

— Благослови господь честных людей.

Затем, вместо того чтобы поднести ее ко рту, поднес к щеке и, перевернув, обварился бульоном, облившись сверху донизу так, что смотреть на него было противно. Он попробовал встать, и так как голова его была тяжелее ног и тянула к земле, то он оперся на стол (который не принадлежал к числу устойчивых), опрокинул его и испачкал всех остальных. После этого он заорал, что его-де толкнул свинопас. Свинопас, видя, что тот обрушился на него, оглушил его своим рогом. Тут они подрались, кулаки их заработали, сборщик вцепился зубами в щеку свинопаса, а свинопас в суматохе извергнул все, что съел, на бороду сборщика. Дядя мой, который был все же трезвее других, громко вопрошал, кто это привел в его дом стольких священников. Я, видя, что они стали уже множить, вместо того чтобы складывать, утихомирил и расцепил дравшихся, а корчете, в великой печали плакавшего в луже вина, поднял с пола. Дядю моего я уложил в постель, и он низко поклонился круглому деревянному столику, который стоял рядом, приняв его за одно-

[1] Вечный покой *(лат.)*.

го из своих гостей. У свинопаса я отнял его рог, ибо, хотя все другие уже спали, он все еще в него трубил и требовал, чтобы ему оставили этот музыкальный инструмент, так как, мол, нет и не бывало на свете, кроме него самого, такого человека, который умел бы играть на нем столько песен, и что он нисколько не уступает органу. Словом, я оставался с ними до тех пор, пока они не заснули.

Тогда я вышел из дому и весь день развлекал себя обозрением родных мест, зашел, между прочим, и в дом Кабры и узнал, что он умер от голода. Убив кое-как четыре часа, я вернулся домой вечером и увидел одного из дядиных гостей проснувшимся, ползавшим по комнате на четвереньках и жаловавшимся на то, что в доме этом он совсем заблудился. Я поднял его, остальных же не стал будить, и в одиннадцать часов они проснулись сами. Потягиваясь, мой дядя спросил, который час. Свинопас ответил, что он не проспал еще хмеля и сьеста, верно, еще не кончилась, ибо стоит невыносимая жара. Сборщик попросил, как умел, чтобы ему отдали его кружку.

— Как порадовались души чистилища, что смогли поддержать мое существование,— заметил он и, вместо того чтобы идти к дверям, пошел к окну; увидев звезды, он стал громко сзывать всех остальных, уверяя, что небо покрыто звездами в полдень и что наступило великое затмение. Все начали креститься и прикладываться к полу. Видя эту мерзость, я был страшно возмущен и обещал себе в будущем сторониться подобных людей. Из-за всех тех подлостей и гнусностей, свидетелем которых мне пришлось быть, все сильнее становилась во мне тяга к обществу людей порядочных и благородных. Гостей я отослал восвояси одного за другим так вежливо, как только мог, а своего дядюшку, который хоть и не был пьян вдрызг, но все же нализался порядочно, уложил спать. Сам же я устроился на моих собственных вещах и на груде других лежавших тут же одежд, которые остались без хозяев, перебравшихся в мир иной,— да будет им царство небесное!

Таким образом провели мы ночь, а на следующее утро попробовал я узнать у моего дядюшки, каков мой капитал, и получить его. Дядюшка, проснувшись, стал жаловаться, что чувствует себя совсем разбитым и не знает, отчего это. Вся комната превратилась в вонючую лужу. Эти свиньи полоскали себе рты и выплевывали воду на пол, мочились они тут же. Наконец он встал, и мы долго говорили о моих делах, что было нелегко, ибо дядюшка нимало не протрезвился, да и не отличался к тому же сообразительностью. В конце концов я вытянул из него сведения хоть о некоторой части моих денег, и он отчитался мне примерно в трехстах дукатах, заработанных добрым моим батюшкой собственными своими руками и оставленных на хранение у одной милой жен-

щины, под крылышком которой мирно совершались кражи на десять миль в окружности. Наконец я получил свои деньги, которые дядюшка еще не успел пропить, что было не так уже плохо, принимая во внимание то, с каким человеком я имел дело. Дядя был уверен, что на них я мог бы получить ученую степень и сделаться кардиналом, что он считал делом нетрудным, поскольку в его власти было обращать человеческие спины в красные мантии. Видя, что я уже вступил во владение моими деньгами, он сказал:

— Сынок Паблос, уж это будет твоя вина, коли не станешь ты хорошим человеком, ибо есть тебе с кого брать пример. Деньги у тебя имеются, так как все, что я зарабатываю на службе,— все это пойдет тебе, для себя я бы не старался.

Я горячо поблагодарил его за эту жертву. Мы провели с ним день в глупейших разговорах, а вторую половину дня дядя мой посвятил игре в бабки со свинопасом и сборщиком; последний ставил на кон мессы, словно ничего удивительного в таких ставках не было. Надо было видеть, как они смешивали бабки, как ловко принимали их на лету от тех, кто их подбрасывал, и, скатив их на запястье, снова сдавали назад. Бабки, как и карты, служили им предлогом для выпивки, поэтому кувшин с вином всегда стоял у них посреди стола. Наступила ночь, они убрались, мы с дядей легли каждый на свою кровать, так как я успел раздобыть себе матрац. На рассвете, раньше, чем дядя успел проснуться, я встал и отправился на постоялый двор, так что он даже не слыхал, как я ушел. Я вернулся, чтобы закрыть двери снаружи, а ключ просунул внутрь через отверстие для кошки. Как уже было сказано, я отправился на постоялый двор, чтобы найти там пристанище в ожидании случая уехать в Мадрид. Дома я оставил дядюшке закрытое письмо, в котором объяснял ему причины моего ухода и советовал не разыскивать меня, так как он не должен меня больше видеть до конца своих дней.

ГЛАВА XII

О моем бегстве и о том, что случилось со мною по дороге в Мадрид

В то же утро с постоялого двора выезжал с грузом в столицу один погонщик мулов. Я нанял у него осла и стал ждать его у городских ворот. Погонщик подъехал, и началось мое путешествие. Я мысленно восклицал дорогою по адресу моего дядюшки: «Оставайся здесь, подлец, посрамитель добрых людей и всадник на чужих шеях!»

Я утешал себя мыслью, что еду в столицу, где никто меня не знает, и это-то больше всего придавало мне бодрость духа. Я знал, что смогу там прожить благодаря моей ловкости и изворотливости.

Решил я, между прочим, дать отдых моему студенческому одеянию и обзавестись коротким платьем по моде. Обратимся, однако, к тому, что поделывал мой вышеупомянутый дядюшка, обиженный письмом, которое гласило:

«Сеньор Алонсо Рамплон! После того как господь оказал мне столь великие милости, а именно лишил меня моего доброго батюшки, а матушку мою запрятал в тюрьму в Толедо, где, надо полагать, без дыма дело не обойдется, мне оставалось только увидеть, как с вами проделывают то самое, что вы проделываете с другими. Я претендую на то, чтобы быть единственным представителем моего рода,— а двум таковым места на земле нет,— если только мне не случится попасть в ваши руки и вы не четвертуете меня, как вы делаете это с другими. Не спрашивайте, что я и где я, ибо мне важно отказаться от моего родства. Служите дальше королю и господу богу».

Не стоит перечислять те проклятия и оскорбительные выражения, которые он, надо думать, отпускал на мой счет. Вернемся к тому, что случилось со мною по пути. Я ехал верхом на ламанчском сером ослике, мечтая ни с кем не сходиться по дороге, как вдруг увидел издали быстро шагавшего в плаще, при шпаге, в штанах со шнуровкою и в высоких сапогах некоего идальго, на вид хорошо одетого и украшенного большим кружевным воротником и шляпой, один край которой был заломлен. Я подумал, что это какой-нибудь дворянин, оставивший позади свой экипаж, и, поравнявшись с ним, поклонился ему. Он взглянул на меня и сказал:

— Должно быть, господин лисенсиат, ваша милость едет на этом ослике с бóльшим удобством, чем я шествую со всем моим багажом.

Я, думая, что он говорит о своем экипаже и о слугах, которых он опередил, ответил:

— По правде говоря, сеньор, я полагаю, что гораздо покойнее идти пешком, нежели ехать в карете, затем что хотя бы вы и ехали с большей приятностью в карете, что осталась позади вас, однако тряска и опасность перевернуться всегда вызывают беспокойство.

— Какая такая карета позади меня? — спросил он весьма тревожно, и в тот момент, когда он обернулся, чтобы посмотреть на дорогу, от быстроты его движения у него свалились штаны, ибо лопнул поддерживающий их ремешок. Надо думать, что только на нем они и держались, ибо, видя, что я прыснул со смеху, кавалер обратился ко мне с просьбой одолжить ему мой ремешок, я же, заметив, что от рубашки его осталась только узкая полоска и седалище прикрыто лишь наполовину, сказал:

— Бога ради, сеньор, обождите здесь своих слуг, ибо я никак не смогу вам помочь — у меня у самого тоже всего лишь один ремень.

— Если вы, ваша милость, шутите со мной,— сказал он, поддерживая одной рукой свои портки,— то бросьте это, ибо я совсем не понимаю, о каких слугах вы говорите.

Тут стало мне ясно, что человек он очень бедный, так как не успели мы пройти и с полмили, как он признался, что если я не разрешу ему хоть немного проехаться на моем ослике, то у него не хватит сил добраться до Мадрида: настолько утомило его пешее хождение в штанах, которые все время надо было поддерживать руками. Движимый состраданием, я спешился, и так как он не мог отпустить их, боясь, как бы они снова не упали, я подхватил его, чтобы помочь ему сесть верхом, и ужаснулся, ибо, прикоснувшись к нему, обнаружил, что то место, прикрытое плащом, которое находится у людей на оборотной стороне их персоны, было у него все в прорезях, подкладкой коим служил голый зад. Огорчившись, что я все это увидел, он почел, однако, благоразумным совладать с собою и сказал:

— Господин лисенсиат, не все то золото, что блестит. Должно быть, вашей милости при виде моего гофрированного воротника и всего моего обличья показалось, что я какой-нибудь герцог де Аркос или граф де Бенавенте, а между тем сколько мишуры на свете прикрывает то, что и вашей милости пришлось отведать.

Я ответил ему, что действительно уверился в вещах, противоположных тому, что видел.

— Ну, так вы еще ничего не видали, ваша милость,— возразил он,— так как во мне и на мне решительно все достойно обозрения, ибо я ничего не скрываю и ничего не прикрываю. Перед вами, ваша милость, находится самый подлинный, самый настоящий идальго, с домом и родовым поместьем в горных краях, и если бы дворянское звание поддерживало меня столь же твердо, как я его, мне нечего было бы желать. Но дело в том, сеньор лисенсиат, что, к сожалению, без хлеба и мяса в жилах добрая кровь не течет, а ведь по милости божьей у всех она красного цвета, и не может быть сыном дворянина тот, у кого ничего нет за душою. Разочаровался я в дворянских грамотах с тех пор, как в одном трактире, когда мне нечего было есть, мне не дали за счет моего дворянства и двух кусочков съестного. Говорите после этого, что золотые буквы моей дворянской грамоты чего-нибудь да стоят! Куда ценнее позолоченные пилюли, чем позолота этих литер, ибо проку от пилюль больше. А золотых букв, однако, теперь не так уж много! Я продал все, вплоть до моего места на кладбище, так что теперь мне и мертвому негде приклонить голову, так как все движимое и

недвижимое имущество моего отца Торибио Родригеса Вальехо Гомеса де Ампуэро — вот сколько у него было имен — пропало из-за того, что не было выкуплено в срок. Мне осталось только продать мой титул дона, но такой уж я несчастный, что никак не могу найти на него покупателя, ибо тот, у кого он не стоит перед именем, употребляет его бесплатно в конце, как ремендон, асадон, бландон, бордон и так далее.

Сознаюсь, что хотя рассказ о несчастьях этого идальго был перемешан с шутками и смехом, меня он тронул до глубины души. Я полюбопытствовал, как зовут его и куда он шествует. Он ответил, что носит все имена своего отца и зовется дон Торибио Родригес Вальехо Гомес де Ампуэро-и-Хордан. Никогда я не слыхал имени более звонкого, ибо кончалось оно на «дан», а начиналось на «дон», как перезвон колоколов в праздничный день. После этого он объявил, что идет в столицу, ибо в маленьком городке столь ободранный наследник знатного рода, как он, виден за версту, и поддерживать свое существование в таких условиях невозможно. Поэтому-то он и шел туда, где была родина для всех, где всем находилось место и где всегда найдется бесплатный стол для искателя житейской удачи. «Когда я бываю там, кошелек у меня никогда не остается без сотенки реалов и никогда не испытываю я недостатка в постели, еде и запретных удовольствиях, ибо ловкость и изворотливость в Мадриде — философский камень, который обращает в золото все, что к нему прикасается».

Передо мной словно небо раскрылось, и, чтобы не скучать по дороге, я упросил его рассказать, как, с кем и чем живут в столице те, кто, подобно ему, ничего не имеет за душой, ибо жить там казалось мне делом трудным в наше время, которое не довольствуется своим добром, а старается воспользоваться еще и чужим.

— Есть много и таких и других людей,— ответил он.— Ведь лесть — это отмычка, которая в таких больших городах открывает каждому любые двери, и дабы тебе не показалось невероятным то, что я говорю, послушай, что было со мной, и узнай мои планы на будущее, и тогда все твои сомнения рассеются.

ГЛАВА XIII,

в которой идальго продолжает рассказ о своей жизни и обычаях

— Прежде всего должен ты знать, что в столице находит себе место самое глупое и самое умное, самое богатое и самое бедное и вообще имеются крайности и противоположности во всем; дурное там ловко скрыто, а доброе — припрятано; есть там и такой сорт людей, как я, о которых неизвестно, от какого корня, корневища

или лозы они произошли. Друг от друга отличаемся мы прозвищами. Одни из нас именуются кавалерами-пустоцветами, другие — яйцами-болтунами, фальшивыми монетами, пирожками ни с чем, доходягами и огоньками и так далее. Защитницей нашей жизни является изворотливость. Большую часть времени проводим мы с пустыми желудками, так как добывать себе обед чужими руками — вещь трудная. Мы помогаем уничтожать угощения, мы всепожирающая моль трактиров, незваные гости: живем мы, питаясь чуть ли не одним воздухом,— тем и довольны. Мы те, кто ест один порей, а делает вид, что сожрал целого каплуна. Если кто-нибудь придет к нам с визитом, то обнаружит в наших комнатах разбросанные бараньи и птичьи кости и кожуру от фруктов, на пороге наших дверей увидит он горы куриных и каплуньих перьев и старые винные мехи, сложенные для отвода глаз. Все это мы собираем по ночам на улицах, дабы днем пускать людям пыль в глаза. Придя к себе домой, мы кричим на хозяина: «Неужели всей власти моей недостаточно, чтобы заставить служанку подмести? Извините за беспокойство, ваша милость, здесь обедал кое-кто из моих друзей, а эти слуги...» — и тому подобное. Кто нас не знает, тот верит, что это действительно так, и принимает весь этот хлам за остатки званого обеда.

Но что мне сказать о способах обедать в чужих домах? Поговорив с кем-нибудь две минуты, мы выведаем, где он живет, и идем туда как бы с визитом, но непременно в обеденный час, когда знаем, что он собирается сесть за стол, говорим, что привели нас пылкие дружеские чувства к хозяину, ибо такого ума и такого благородства, как у него, нигде больше на свете не встретить; когда нас спрашивают, обедали ли мы, то если хозяева еще не сели обедать, мы отвечаем, что нет, и не дожидаемся вторичного приглашения, так как от подобных ожиданий приходилось нам другой раз терпеть великий пост. А если там уже обедают, то мы заявляем, что поели, и начинаем хвалить хозяина за то, как он ловко режет птицу, хлеб, мясо или что бы там ни было. Для того чтобы отведать подаваемые блюда, мы говорим: «Нет, уж позвольте, ваша милость, поухаживать за вами, ибо я помню, что такой-то, царство ему небесное (тут мы называем имя какого-нибудь умершего герцога, маркиза или графа), великий мой покровитель, предпочитал смотреть, как я режу, чем обедать». Сказав это, мы берем нож и разрезаем кушанье на мелкие кусочки, а затем восклицаем: «Какой чудный запах, какой аромат! Не попробовать такого блюда — значит обидеть ту, которая готовила, а у нее, видно, золотые руки!» За словом следует дело, и так, на пробу, съешь полблюда: репку — потому, что это репка, свинину — потому, что это свинина, и вообще все— потому, что оно чем-нибудь да является.

Когда такой возможности у нас нет, то мы ходим по монастырям и пробавляемся супом, раздаваемым беднякам, но едим его не на глазах у всех, а потихоньку, заставляя монахов верить, что делаем это не столько из нужды, сколько из набожности.

Стоит посмотреть на кого-нибудь из нас в игорном доме, стоит посмотреть, с каким старанием прислуживает он за зеленым столом, ставит свечи и снимает с них нагар, таскает урыльники, приносит карты и радуется за выигравшего, и все это только для того, чтобы заполучить в награду хоть один реал с кона.

Что касается нашей одежды, то мы наперечет знаем все изъяны нашего тряпья, и как у иных установлены часы для молитв, так у нас установлены часы для его штопки и латанья. Стоит посмотреть, как мы проводим наши утра: поскольку злейшим нашим врагом мы почитаем солнце, ибо оно делает заметными все лоскуты, штопки и заплатки, мы расставляем ноги под его лучи, и по теням, отбрасываемым на земле, видим, какие между ляжками свешиваются у нас нити и лохмотья, и ножницами подстригаем бороды нашим порткам. А так как всего более изнашиваются штаны, мы вырезаем подкладку из-под надрезов сзади, чтобы переставить ее наперед, после чего задница наша, отныне прикрытая одной фланелью, принимает самый мирный вид, поскольку уже не кажется исполосованной ножом; но ведомо это одному лишь нашему плащу, ибо среди бела дня мы остерегаемся порывов ветра, боимся всходить по освещенным лестницам или садиться на коня. Мы изучаем способы сидеть и стоять против света, разгуливаем днем, стараясь не раздвигать ног, и приветствуем знакомых не расшаркиваясь, а лишь прищелкивая каблуками, ибо если раздвинуть колени, сразу бросятся в глаза окна в нашем одеянии. На теле нашем нет ни одной носильной вещи, которая в прежнее время не была бы чем-нибудь совсем иным и не имела своей истории. Verbi gratia[1], ваша милость, вероятно, обратила внимание на мою короткую куртку,— ну, так знайте, что сначала я носил ее в виде широких штанов до колен и что она является внучкой накидки и правнучкой большого плаща с капюшоном, каковой и был ее родоначальником, а теперь надеется обшить подошву моих чулок и пойти еще на многое другое. Легкие матерчатые туфли были у нас раньше носовыми платками, а еще раньше — полотенцами и рубашками, родными дочками простынь; после всего этого мы сделаем из них бумагу для письма, а из нее — средство для оживления почивших башмаков, ибо я сам видел, как безнадежно больная обувь с помощью подобных медикаментов бывала возвращаема к жизни.

[1] Например *(лат.)*.

А чего стоят все те приемы, с помощью которых мы в вечернее время избегаем света, чтобы не видно было наших оплешивевших накидок и полысевших курток? На них ведь остается столько же ворсу, сколько на голом камешке, ибо господу богу угодно, чтобы волоса у нас росли на подбородке и вылезали из плащей. Чтобы не тратиться на цирюльников, мы поджидаем, пока вырастет щетина еще у кого-нибудь из нас, и тогда бреем ее друг у друга, ибо сказано в Евангелии: «Помогайте друг другу, как добрые братья». И еще мы стараемся не ходить в те дома, где бывают наши товарищи, если знаем, что знакомые у нас общие. Надо знать, что такое муки ревнивого желудка.

Мы обязаны проехаться верхом хотя бы раз в месяц, хотя бы на осленке, по самым людным улицам, раз в год прокатиться в экипаже, хотя бы на козлах или на запятках. Но если уж нам удалось проникнуть внутрь кареты, то садимся мы обязательно у самой дверцы, выставив всю голову в окошко, и раскланиваемся направо и налево, чтобы нас видели все, и заговариваем с друзьями и знакомыми, даже если они смотрят в другую сторону.

Если нам нужно почесаться в присутствии дам, то мы владеем целой наукой делать это на людях самым незаметным образом. Если у нас чешется бедро, то мы заводим рассказ о том, что нам случалось видеть одного солдата, разрубленного отсюда досюда, и показываем руками то место, где у нас чешется, незаметно его почесывая. Если дело происходит в церкви и у нас зачесалась грудь, то мы бьем себя в нее, как это делают при «sanctus»[1], хотя бы читали «introibo». Если чешется спина, то мы прислоняемся к углу дома или здания и, приподнимаясь на цыпочках и как бы разглядывая что-то, успеваем почесываться.

Рассказать ли вам о лжи? Правда никогда не исходит из наших уст. В свой разговор мы вставляем герцогов и графов, выдавая одних за наших друзей, других — за родственников, но стараясь выбрать между ними лиц, кои уже умерли или находятся в далеких краях.

Особо следует заметить, что мы никогда не влюбляемся бескорыстно, а лишь de pano lucrando[2], ибо устав наш запрещает ухаживать за жеманницами, и потому мы волочимся за трактирщицей — ради обеда, за хозяйкой дома — ради помещения, за гофрировщицей воротников — ради нашего туалета, и хотя при столь скудной пище и столь убогом существовании со всеми не управишься, однако каждая из них бывает вполне довольна, что наступила ее очередь.

---

[1] Свят *(лат.)*.
[2] Из-за куска хлеба *(лат.)*.

«История жизни пройдохи по имени дон Паблос».

Глядя на мои высокие сапоги, как можно догадаться, что они сидят на голых ногах, без чулок или чего-либо в том же роде? Глядя на этот воротник, можно ли узнать, что я хожу без рубашки? Ибо все может отсутствовать у дворянина, сеньор лисенсиат, все, кроме роскошно накрахмаленного воротника, с одной стороны, потому, что он служит величайшим украшением человеческой личности, а затем еще и потому, что, вывернутый наизнанку, он может напитать человека, ибо крахмал есть съедобное вещество и его можно посасывать ловко и незаметно. Словом, сеньор лисенсиат, дворянину нашего полета надлежит воздерживаться от всего лишнего еще строже, чем беременной на девятом месяце, и тогда он проживет в столице. Правда, в иную пору он процветает при деньгах, а в иную валяется в больнице, но в конце концов жить можно, и кто умеет изворачиваться — тот сам себе король, хоть мало чем и владеет.

Мне так понравился у этого идальго его необычайный способ существования и я так был упоен всем этим, что, увлекшись его рассказами, не заметил, как добрался до Лас-Росас, где мы и заночевали. Идальго, у которого не было ни гроша, поужинал со мною, я же считал себя многим обязанным ему за его советы, ибо с их помощью у меня открылись глаза на многое, и я склонился к его обманному образу жизни. Прежде чем мы легли спать, я заявил ему о желании моем вступить в их братство. Он бросился меня обнимать, говоря, что не сомневался в должном действии своих слов на столь умного и тонкого человека. Он предложил познакомить меня в столице с остальными членами шайки и поселиться у них. Я согласился воспользоваться его любезностью, однако умолчал о моих эскудо и упомянул только о сотне реалов; их оказалось достаточно вместе с тем добром, которое я ему сделал и продолжал делать, для того, чтобы он почувствовал себя обязанным мне за мое дружеское к нему расположение. Я купил ему три ремня, он привел в порядок свою одежду, ночь мы проспали спокойно, встали рано и пустились в путь к Мадриду.

ГЛАВА XIV

О том, что случилось со мною в столице после того, как я туда прибыл, и вплоть до наступления ночи

В десять часов утра мы вступили в столицу и, как было условлено, направились к обиталищу друзей дона Торибио. Добрались мы до его дверей, и дон Торибио постучал; двери открыла нам какая-то весьма бедно одетая дряхлая старушенция. Дон Торибио спросил ее о своих друзьях, и она ответила, что все они отправи-

лись на промысел. Мы провели время одни, пока не пробило двенадцать часов: он — наставляя меня ремеслу дешевой жизни, а я — внимательно его слушая. В половине первого в дверях появилось нечто вроде привидения, с головы до ног закутанного в балахон, еще более потрепанный, чем его совесть. Они поговорили с доном Торибио на воровском языке, после чего привидение обняло меня и предложило себя в полное мое распоряжение. Мы немножко побеседовали, и мой новый знакомый вытащил перчатку, в которой находилось шестнадцать реалов, и какую-то бумагу, которая, по его словам, представляла собой разрешение нищему просить милостыню и принесла ему эти деньги. Опорожнив перчатку, он достал другую и сложил их, как это делают доктора. Я спросил его, почему он не надевает их, и он объяснил, что обе они с одной руки и этой хитростью он пользуется, когда ему нужно добыть себе перчатки. Усмотрев тем временем, что он не снимает своего балахона, я (как новичок) полюбопытствовал узнать причину, которая заставляет его все время ходить закутанным, на что он ответствовал:

— На спине у меня, сын мой, находится дыра, суконная заплатка и пятно от оливкового масла. Этот кусок плаща прикрывает их, и я могу с ними выходить на улицу.

Он освободился от своего огрызка плаща, и я увидел, что балахон его странно пузырится. Я подумал, что это от штанов, ибо выпуклость имела их очертания, как вдруг он, готовясь давить вшей, подобрал нижнюю часть своей одежды, и под ней оказались два привязанных к поясу и приложенных к бедрам круга из картона, скрывавших его наготу, ибо ни штанов, ни сорочки на нем на самом деле не было и искать какую-либо живность в швах и складках ему почти не представлялось возможности. Он вошел в вошебойку, предварительно перевернув на двери табличку вроде тех, которые бывают на ризницах, дабы открылась надпись «занято» и никто больше туда не вошел. Великую благодарность следует воздать господу богу за то, что он людям небогатым дарует столь великое хитроумие!

— Я,— сказал в это время мой добрый друг,— вернулся из путешествия с больными штанами, и мне нужно найти, чем бы их исцелить.

Он спросил у старухи, нет ли у нее каких-нибудь лоскутьев. Старуха (она занималась тем, что дважды в неделю собирала на улице разное тряпье,— так же, как собирают его на бумагу,— дабы врачевать этим тряпьем негодные вещи своих кабальеро) сказала, что у нее ничего нет и что из-за отсутствия тряпок вот уже две недели как валяется в постели дон Лоренсо Иньигес дель Педросо, у которого захворало его платье.

В это время появился еще кто-то в дорожных сапогах, в бурой одежде и в шляпе с загнутыми полями. Он узнал от остальных о моем приезде и вступил со мной в весьма сердечную беседу. Когда он скинул свой плащ, то обнаружилось,— кто бы мог это подумать, ваша милость! — что одежда его была сделана из бурого сукна только спереди, сзади же она была из белого полотна, потемневшего от пота. При этом зрелище я не мог сдержать смеха, но он с великим спокойствием заметил:

— Будете обстрелянной птицей, так перестанете смеяться. Бьюсь об заклад, что вам и в голову не приходит, почему я ношу эту шляпу с загнутыми полями.

Я ответил, что, вероятно, из франтовства и дабы не мешать глазам смотреть.

— Наоборот,— возразил он,— именно для того, чтобы мешать им видеть. Знайте же, что у моей шляпы нет ленты вокруг тульи, а так этого никто не замечает.

Сказав это, он вытащил больше двадцати писем и столько же реалов и объяснил, что не имел возможности вручить всю корреспонденцию по принадлежности. На каждом было помечено, что почтовый сбор составляет один реал. Все это изготовлялось им самим. Подписывал он их любым именем, которое ему приходило в голову, писал всякие небылицы, разносил их в лучшие дома и взимал мнимый сбор за пересылку. Этим он занимался каждый месяц. Я весьма удивился столь новому для меня способу наживы.

Вскоре вошли еще двое, один в суконной куртке длиною до колен и в таком же плаще с поднятым воротом, дабы не было видно его рваного воротника. Его широченные валлонские шаровары, насколько их было видно из-под плаща, были сшиты из камлота, верх же надставлен цветной байкой. Он вошел, споря со своим спутником, у которого был не гофрированный, а отложной воротник, а рукава бутылками возмещали отсутствие плаща. Он опирался на костыль, и, за неимением одного чулка, одна его нога была обернута в какие-то тряпки. Выдавал он себя за солдата и в самом деле был таковым, но только плохим и в боях не участвовал. Он рассказывал о своих необыкновенных заслугах и на правах военного умел пролезать всюду.

Тот, кто был в куртке и, как казалось, в штанах, требовал:

— Вы должны мне отдать, по крайней мере, половину, если не бóльшую часть, а если не отдадите, то клянусь господом богом...

— Не клянитесь именем господним,— сказал другой,— ибо дома я перестаю быть хромым и могу здорово отколотить вас этим костылем.

С криками «Отдайте!— «Не отдам!» и с обычными упреками во вранье они накинулись друг на друга, и при первой же схватке

лохмотья их одеяний остались у них в руках. Мы помирили их и стали расспрашивать о причине ссоры.

— Вы что, шутите со мною? — заорал солдат.— Не достанется вам ни полушки! Надо вам знать, ваши милости, что, когда мы стояли на площади Спасителя, к этому несчастному подошел какой-то малец и спросил, не я ли прапорщик Хуан де Лоренсана. Тот, видя, что мальчишка держит что-то в руках, подтвердил это, подвел его ко мне и, назвав меня прапорщиком, сказал: «Вот, ваша милость, вас спрашивает этот мальчик». Смекнув, в чем дело, я подтвердил, что меня действительно так зовут. Тогда мальчишка вручил мне сверток с дюжиной носовых платков, которые его мать велела отнести какому-то Лоренсане. Теперь он требует у меня половину, но я скорее позволю разорвать себя на куски, нежели соглашусь на это. Все их должен до дыр сносить мой нос.

Дело было решено в его пользу, но без права сморкаться, платки велено было передать старухе в общий котел, дабы она понаделала из них воротников и манжет, вид которых должен был обозначать у нас наличие отсутствующих рубашек. Сморкаться по уставу здесь было запрещено, разве что пальцами, впрочем, здесь чаще шмыгали носом, дабы ничто ценное не расточалось. Так и порешили.

Наступила ночь. Мы улеглись в две постели, прижавшись один к другому, как зубцы в гребешке. Ужин был отложен на утро. Большинство легло не раздеваясь, а в том платье, в каком ходили они весь день, следуя тем самым правилу спать нагишом.

ГЛАВА XV,

в которой продолжается начатый рассказ и происходят разные необычные вещи

Послал нам господь бог утро, и мы взялись за оружие. Я уже так привык к моим новым товарищам, точно все они были моими братьями, ибо легкость знакомства и поверхностная дружба всегда неразрывны с дурными делами. Стоило полюбоваться, как один из нас в двенадцать приемов надевал свою рубашку, расползающуюся на двенадцать кусков, приговаривая над каждым из них молитву наподобие облачающегося священника. Кто-то блуждал ногой в закоулках и тупиках штанов и находил дорогу там, где ей вовсе не следовало пролегать. Кто-то звал помощника, чтобы надеть свою куртку, и полчаса возился с нею, причем ему никак не удавалось изловчиться ее напялить.

Когда это достойное удивления зрелище окончилось, все взялись за иголки и нитки, чтобы зашить продранные места. Один

изогнулся глаголем, штопая себе дыры под мышкой, другой, став на колени и видом своим напоминая перевернутую цифру пять, латал штаны в том месте, где они образовывали складки, третий просовывал голову между ног и превращался в какой-то узел. Такие удивительные позы не изображал, насколько я помню, даже сам Босх. Все зашивали и заштопывали сто тысяч прорех, а старуха подавала лоскуты и лохмотья разных цветов,— те, что притащил солдат. Когда кончился час лечения, как называлась у них эта работа, они стали осматривать друг друга, не осталось ли чего-нибудь без починки, и наконец решили двинуться на промысел. Я попросил подобрать и для меня какую-нибудь одежду, ибо мог затратить на это сто реалов и бросить свою сутану.

— Э, нет,— объявили они.— Деньги пойдут в общую кассу, вас же мы тотчас оденем из нашего гардероба и укажем тот приход в городе, где вы только и будете промышлять и рыбачить.

Это мне понравилось. Я отдал деньги, и в мгновение ока они превратили мою сутану в подобие траурной куртки из сукна, а плащ наполовину окорнали. Получилось хорошо. Остатки моего одеяния они обменяли на старую, перекрашенную шляпу, украсили ее тулью клочками вымазанной чернилами ваты, сняли с меня воротник, а вместо моих штанов дали мне такие, у которых прорези были только спереди, так как бока и зад были от замшевых. Шелковые чулки нельзя было назвать чулками, ибо они спускались от колен вниз только на четыре пальца, остальное прикрывали сапоги, плотно прилегавшие к цветным чулкам. Воротник по праву можно было назвать открытым — так он был изодран. Надели они его на меня со словами:

— Воротник этот порядком изношен и сзади и с боков. Если на вас будет смотреть один человек, то поворачивайтесь вокруг него, как подсолнух за солнцем, если же их будет двое и они подойдут к вам с боков, то отступите, а для тех, кто окажется сзади вас,— сдвигайте шляпу на затылок, прикрывая ее полями воротник и открывая лоб. Если же вас спросят, почему вы ходите в таком виде, то отвечайте, что не боитесь всюду ходить с открытым лицом.

Потом они дали мне коробку с черными и белыми нитками, шелком, шнурками, иглами, наперстком, кусками сукна, полотна, атласа, лоскутами других материй и ножиком. К поясу они прицепили чашку для сбора денег, а также кожаный кошель с трутом, огнивом и кремнем, сказав:

— С этим ящиком вы можете обойти весь свет, не нуждаясь ни в друзьях, ни в родных; в нем заключены все наши средства к существованию, возьмите и берегите его.

Для промысла мне отвели квартал Святого Луиса, и я начал

мой трудовой день, выйдя из дому вместе со всеми. По причине моей неопытности ко мне, точно к церковному служке, был приставлен для начала тот, кто меня привел и обратил в их веру, он и стал моим наставником в мошеннических делах.

Мы вышли из дому медленным шагом, с четками в руках, и направились к указанному кварталу. Всех встречных мы учтиво приветствовали,— перед мужчинами снимали шляпы, думая про себя, что не худо было бы поснимать с них самих плащи, женщинам отвешивали поклоны, ибо это всегда им нравится. Одному мой любезный спутник говорил: «Деньги мне принесут завтра». Другого он успокаивал: «Подождите, ваша милость, еще немного, банк дал мне слово со мной рассчитаться». Кто просил вернуть ему плащ, кто торопил отдать пояс, и из всего этого я заключил, что спутник мой был столь большим другом своих друзей, что не имел ничего своего. Путь наш извивался змеею от одной стороны улицы к другой, дабы не проходить вблизи домов наших заимодавцев. Один из них просил вернуть деньги за наем помещения, другой — за данную напрокат шпагу, третий — за простыню и сорочку. Словом, я убедился, что спутник мой был кавалером напрокат, вроде наемного мула. Вдруг он издали усмотрел какого-то человека, который, должно быть, готов был выдрать у него долг вместе с глазами. Денег у него с собою, конечно, не было, и, чтобы тот его не узнал, он мигом зачесал себе волосы вперед из-за ушей, что придало ему вид назареянина, смахивающего не то на образ нерукотворного Спаса, не то на лохматого кабальеро, налепил на один глаз пластырь и начал говорить со мной по-итальянски. Все это мой спутник успел проделать, так как тот человек не сразу заприметил его — он заговорился с какой-то старушкой. Вы не поверите, как он вертелся потом вокруг нас, точно собака, что собирается укусить, крестился чаще, чем заклинатель бесов, и приговаривал:

— Господи Иисусе! Я подумал было, что это он. У кого корову украли, всюду слышит колокольчики!

Я помирал со смеху, глядя на моего друга. Когда гроза миновала, он зашел в подворотню, чтобы расчесать свою гриву и снять пластырь, и сказал:

— Так вот избегают платить долги. Учитесь, брат мой! Вы увидите много подобных вещей в этом городе.

Мы пошли дальше и на одном из углов спросили у какой-то торговки сухого варенья и водки, она же отпустила нам все это даром, как только поздоровалась с моим наставником.

— Теперь,— сказал мой спутник,— мы уже можем не заботиться о еде, тем более что в ней недостатка не будет.

Я опечалился и, движимый требованиями моего желудка, выразил сомнение, что у нас будет обед; он же успокоил меня:

— Мало веруешь ты в бога и в орден собачьего промысла. Господь бог печется о воронах и сойках, даже о судейских писцах, так неужели же он позабудет о жаждущих и алчущих? Видно, что в брюхе твоем еще мало мужества.

— Это правда,— согласился я,— только страшновато мне, что еды в нем будет еще меньше.

Тем временем пробило двенадцать, а так как я был еще новичком в своем ремесле, это мало понравилось моему желудку, и я ощутил такой голод, как будто бы никакого сухого варенья я еще не ел. Пища снова пришла мне на ум, и я обратился к моему другу с такими словами:

— Голод, брат, жестокий искус для послушника. Человек создан, чтобы насыщать свою утробу, а меня заставляют поститься. Если вы не ощущаете голода, то это не удивительно, ибо, привыкнув к нему с детства, как тот царь, что привык к яду, вы, видно, насыщаетесь им. Не вижу, чтобы вы особенно деятельно раздобывали себе съестное. Я же буду искать его сам, как умею.

— Черт вас подери! — ответил он.— Еще только полдень, а вам уже не терпится. Слишком точный у вас аппетит, а нужно привыкать терпеть задержку платежей. Не жрать же, в самом деле, круглый день! Скоты, правда, кроме этого, ничего не делают, но мне что-то нигде не приходилось читать, чтобы благородного кабальеро когда-либо прохватил понос; уж скорее от него можно ожидать обратное, поскольку в него ничего не поступает. Я уже говорил вам, что господь бог никому не откажет, а если вам так не терпится, то я пойду отведать похлебку у монастыря святого Иеронима, где живут откормленные, как каплуны на молоке, монахи, и там напитаюсь. Если угодно, следуйте за мною, а если нет — пусть каждый идет своей дорогой.

— Прощайте,— сказал я,— потребности мои не столь малы, чтобы я мог удовольствоваться чужими остатками. Пусть каждый из нас пойдет своей дорогой.

Приятель мой отправился твердым шагом, смотря себе под ноги. Из коробочки, всегда бывшей при нем для такого случая, он вынул несколько крошек хлеба и посыпал ими себе бороду и костюм, дабы казаться человеком, уже отобедавшим. Я шел, ковыряя время от времени в зубах, приводя в порядок усы и стряхивая несуществующие крошки с плаща, так что встречные принимали меня за человека плотно закусившего; на самом же деле, если кто чем-либо закусывал, так только вши моею грешной плотью.

Я рассчитывал на несколько своих эскудо, хотя совесть моя угрызалась преступлением против правил нашего ордена, возбранявших питаться на свои деньги тому, у кого кишки вольные: хотят — едят, хотят — постятся. Однако я твердо решил нару-

шить свой пост и с этим намерением добрался до угла улицы Святого Луиса, где торговал один пирожник. С его прилавка на меня глянул пирог ценою в восемь мараведи, а запах печки так ударил мне в нос, что я мгновенно как шел, так и остановился, подобно собаке на стойке, и вперил в этот пирог свой взор. С такой страстью смотрел я на него, что он, наверное, засох, точно от дурного глаза. В голове моей то строились планы, как бы его похитить, то возникало решение его купить.

Между тем пробило час дня. На меня напала такая тоска, что я решился было найти приют в каком-нибудь кабачке. И тут, когда я уже нацелился на один из них, господу было угодно, чтобы я на пути столкнулся с лисенсиатом Флечильей, моим приятелем по Алькала, который спешил куда-то, со своим прыщавым от обилия крови лицом и в таком грязном платье, что походил на ходячую помойку в сутане. Хотя меня и трудно было признать, однако он тотчас же бросился ко мне. Я обнял его; он спросил, как идут мои дела. Я ему ответил:

— О чем только я не рассказал бы вам, сеньор лисенсиат, если бы, к несчастью, мне не надо было уезжать сегодня вечером.

— Это меня весьма огорчает,— молвил он,— и не будь так поздно да не торопись я обедать, так как меня ждут сестра с ее супругом, я бы провел время с вами.

— Как, здесь находится сеньора Ана?! Тогда бросим все дела и идем к ней. Я долгом своим почитаю ее приветствовать.

Я воспрянул духом, узнав, что он еще не обедал, и увязался за ним. По пути я завел с ним разговор про одну бабенку, которой он очень интересовался в Алькала, и сказал, что знаю, где она находится, и могу ввести его к ней в дом. Это предложение сразу пришлось ему по сердцу, а я из хитрости завел с ним беседу о приятных ему вещах. Толкуя таким образом, мы добрались до его дома. Я рассыпался в любезностях перед его зятем и сестрой, а они, убежденные в том, что я явился к обеду по приглашению лисенсиата, стали просить прощения, что, не предупрежденные о столь высоком госте, ничем не успели запастись.

Воспользовавшись случаем, я пустился в уверения о моих давних дружеских чувствах к их семье, доказывая, что я свой человек и нехорошо было бы разводить со мной всякие церемонии.

Они сели за стол; сел и я, а чтобы лисенсиат не выказал недовольства — ему ведь и в голову не приходило меня приглашать,— время от времени поддразнивал его упомянутой дамочкой, цедя сквозь зубы, что она-де расспрашивала меня о нем, и прочее тому подобное вранье. Это примирило его с моим обжорством, ибо того разгрома, который я учинил закускам, не могло произвести и пушечное ядро. Подали олью, и я уничтожил ее почти всю в два глот-

ка — без злого умысла, но с поразительной быстротой. Можно было подумать, что, даже когда она была у меня во рту, я все еще боялся, как бы ее у меня не отняли. Да простит меня бог, но даже кладбище Антигуа в Вальядолиде не пожирает тела мертвецов с такой быстротой,— а уже через сутки от них ничего не остается,— с какой я пожирал во всю силу своих челюстей подвертывавшиеся мне кушанья. Хозяева, вероятно, не могли не заметить тех огромных глотков, какими я втягивал в себя бульон, вычерпывания до дна суповой посуды, преследования, которому я подвергал кости, и истребления мяса. Сказать по правде, я, между прочим, успел набить всякой всячиной и свои карманы. Наконец убрали со стола. Мы с лисенсиатом удалились к окну, чтобы потолковать о паломничестве к названной особе, которое я взялся устроить. Сделав вид, будто меня откликнули с улицы, я отозвался: «Вы меня, сеньор? Сейчас иду», и попросил позволения у лисенсиата покинуть его на минутку. Надо полагать, что с того времени он мог бы поджидать меня до сих пор, ибо, уничтожив весь хлеб и заметив, что все встали из-за стола, я исчез навеки.

Потом я с ним встречался много раз и имел случай оправдаться, наговорив кучу выдумок, не относящихся, однако, к моему рассказу.

Пошел я куда глаза глядят, добрался до Гвадалахарских ворот и уселся на одну из скамеек, которые ставят обычно у дверей лавок. Богу было угодно, чтобы в это самое время к лавке подошли две девицы из числа тех, что пускают в оборот свои личики. Были они закутаны по самые глаза и разгуливали в сопровождении своей старухи и маленького пажа. Они спросили меня, нет ли в продаже бархата какой-нибудь особой выделки. Я — лишь бы начать с ними беседу — принялся плести всякую чепуху, играя словами и расточая любезности. По моей непринужденности они решили, что кое-что из лавки им может перепасть, я же предложил им выбрать все, что понравится, ибо в этом не было для меня никакого риска. Они стали отказываться и уверять, что никогда ничего не принимают от незнакомых людей. Я сказал, что с моей стороны было бы дерзостью ничего им не предложить, и я надеюсь, что они окажут мне милость и примут несколько кусков тканей, выписанных мною из Милана, которые вечером принесет им на дом мой слуга. Тут я указал как на своего на какого-то лакея, стоявшего напротив нас и ожидавшего своего хозяина, который зашел в другую лавку, почему слуга этот стоял с непокрытой головой. А дабы они приняли меня за человека из хорошего общества и за лицо известное, я только и делал, что снимал шляпу перед всеми проходившими мимо советниками и кавалерами и, не будучи ни с кем из них знаком, учтиво с ними здоровался, словно я с ними

на короткой ноге. Девицы весьма этому обрадовались; их также ослепила сотня золотых эскудо, которую я извлек из кармана, когда в их присутствии у меня попросил милостыню какой-то нищий. Они решили, что я весьма знатная персона. Тут, спохватившись, что им пора идти домой, ибо уже вечерело, они предупредили меня, что лакея следует прислать не иначе как тайком. Я попросил у них в знак особой милости, как бы в залог непременной завтрашней встречи, дать мне отделанные золотом четки, которые держала в руках самая из них хорошенькая. Девицы сначала поломались, я же предложил им, со своей стороны, в залог сто эскудо и попросил сказать, где они живут. В намерении нагреть меня в дальнейшем на бóльшую сумму они отказались от залога, дали мне свой адрес, поинтересовались, где я живу, и предупредили еще раз, что лакей не может явиться к ним в любое время, ибо они — дамы высшего света. Я пошел проводить их по Большой улице и в начале улицы Тележной выбрал, как мне показалось, самый лучший и самый большой дом, у дверей которого стояла карета без лошадей, и сказал девицам, что это мое обиталище и что дом, карета и сам хозяин всего этого готовы к их услугам. Назвался я доном Альваро де Кордоба и на глазах у моих девиц скрылся в дверях этого здания. Вспоминаю также, что когда мы выходили из лавки, я с важным видом подал знак одному из лакеев подойти ко мне и сделал вид, будто велю ему и другим лакеям оставаться здесь и ждать меня. Девиц я в этом убедил, на самом деле я спросил его, не находится ли он в услужении у моего дяди — командора. Он ответил, что нет. Таким способом я ловко присвоил себе, как истый кабальеро, чужих слуг.

Наступила темная ночь, и все мы сошлись в нашем доме. Там я встретился с солдатом-тряпичником, притащившим восковую свечу, которую ему дали подержать на похоронах и с которой он улизнул. Звали его Маргусо, и родился он в Олиасе, исполнял роль полководца в некоей комедии и сражался с маврами в каком-то балете. Когда он беседовал с кем-нибудь из побывавших во Фландрии, то рассказывал о своей службе в Китае, а когда его собеседниками оказывались лица, побывавшие в Китае, то он хвастался своими подвигами во Фландрии. Порой он поговаривал поставить все у нас на военную ногу, как в лагере, но, видимо, сам мог только давить вшей; он называл замки, но сам видел их разве только на монетах. Он восхвалял память дона Хуана, и я не раз слыхал, как он говорил, что имел честь быть другом самого Луиса Кихады. Он рассказывал о турках, о галионах и о полководцах все то, о чем поется в песнях. Ничего не смысля в морских делах, он рассуждал о том сражении, которое дал дон Хуан при Лепанто, полагая, что Лепанто — это какой-то весьма воинственный мавр,

и нисколько не подозревая, что это название морского залива. Мы мерли со смеху.

Вскоре явился и мой спутник с разбитым носом, с перевязанной головой, весь окровавленный и грязный. Мы спросили его, что было причиной этому, и он рассказал о паломничестве к похлебке святого Иеронима и о том, как он попросил удвоенную порцию для неких благородных, но бедных особ. Эту порцию ему дали, обделив других нищих, а они в досаде отправились следом за ним и обнаружили его в укромном уголке за воротами, где он храбро разделывался со своим котелком. Начался спор о том, хорошо ли обманывать всех, чтобы нажраться одному, лишая других пищи ради собственной своей пользы. За спором в ход были пущены и палки, а вслед за палками на бедной голове моего спутника появились шишки и кровоподтеки. Атаковали его и глиняными кувшинами, а урон его носу был нанесен деревянною мискою, которую кто-то дал ему понюхать с несколько большим азартом, чем требуется. Шпагу у него отняли. На крики выбежал привратник, но и он не мог добиться мира и тишины. В конце концов приятель мой, увидав себя в столь великой опасности, взмолился:

— Я отдам вам все, что съел!

Но этого оказалось недостаточным, ибо на него обрушились за то, что, прося якобы для других, он скрыл, что сам являлся таким же охотником на даровую похлебку, как и все остальные.

— Взгляните на этого оборванца, на эту тряпичную куклу! Выглядит он грустней, чем лавка пирожника во время поста, дыр на нем больше, чем у флейты, заплат — чем пятен у пегой лошади, а пятен — чем в яшме! — вопил какой-то нищий студент с корзинкой для подаяний.— Тут за похлебкой стоят люди, которые могли бы стать епископами, а какая-то голытьба осмеливается ее пожирать. Я бакалавр философии из Сигуэнсы!

Привратник, услыхав, как один старикашка заявил, что хотя он и пользуется даровым супом, но тем не менее происходит от Великого Полководца и имеет знатную родню, кинулся их разнимать.

Тут я и оставлю его, ибо мой приятель удалился разбинтовывать свои мослы.

ГЛАВА XVI,

в которой речь идет о том же, пока все не попадают в тюрьму

Явился Мерло Диас со своим поясом, превратившимся в ожерелье из глиняных кувшинчиков и склянок, которые он насобирал по женским монастырям, прося у монашек напиться и без зазрения совести присваивая себе посуду. Его перещеголял Лоренсо дель

Педросо, вернувшийся с промысла в роскошном плаще, который он обменял в одной бильярдной на свой столь облезлый, что тому, кому он достался, не придется больно в нем красоваться. Обычно он снимал свой плащ, как бы собираясь вступить в игру, клал его вместе с другими, а затем, сделав вид, что не нашел, с кем составить партию, уходил, прихватывая с собой тот плащ, который ему больше всех приглянулся. Проделывал он это и там, где играли в арголью и в кегли.

Все это, впрочем, оказалось пустяком в сравнении с доном Косме, который явился окруженный толпою золотушных, больных язвами, проказой, раненых и покалеченных мальчишек: он превратился в знахаря и лечил своих больных крестными знамениями и молитвами, коим его научила какая-то старуха. Этот дон Косме зарабатывал за всех, ибо если он не замечал под плащом у приходивших к нему страждущих какого-нибудь свертка или не слыхал звона денег в карманах либо писка цыплят или каплунов, то о лечении не заходило и речи. Обобрал он половину королевства, заставляя верить всему, что было ему угодно, ибо не родился еще такой искусник в обманах и лганье, как он; даже по рассеянности он не говорил правды. Он вечно поминал младенца Иисуса, входил в дома, произнося: «Deo gratias» и «Дух свят да пребудет со всеми». При нем всегда были атрибуты лицемерия — четки с гигантскими зернами и выглядывавший как бы ненароком из-под плаща и омоченный в крови из носу кончик бича, коим он якобы себя бичевал. Когда он чесался от укусов вшей, то делал вид, что его терзает власяница; вынужденную же свою голодовку он выдавал за доброхотный пост и воздержание. Он перечислял, каким искушениям он подвергался; упоминая дьявола, всегда приговаривал: «Да оборонит и сохранит нас господь», при входе в церковь целовал пол, называя себя недостойным грешником, не поднимал на женщин глаз, но подолы им заворачивал. Этими выходками он так действовал на народ, что все препоручали себя его представительству, а это было все равно что препоручать себя дьяволу, ибо он был не просто игроком, а еще и искусником, чтобы не сказать — шулером. Имя господа бога он употреблял не только всуе, но и впустую, а что касается женщин, то у него было семь детей и две обрюхаченные его трудами святоши.

Пришел после этого с превеликим шумом Поланко и попросил дать ему мешок, большой крест, длинную накладную бороду и колокольчик. В таком виде он бродил по вечерам, возглашая: «Не забывайте про смертный час и уделите что-нибудь на души чистилища» — и так далее. Таким способом собирал он порядочную милостыню. Он забирался также в дома, двери которых были открыты, и если не встречал помехи или лишних свидетелей, то

забирал все, что плохо лежит, а если на кого-нибудь натыкался, то звонил в свой колокольчик и возглашал: «Не забывайте, братья» — и так далее.

Все эти воровские уловки и необычайные способы существования я изучил, пробыв в этой компании месяц.

Вернемся теперь к тому дню, когда я показал моим друзьям полученные от девиц четки и рассказал их историю. Товарищи весьма хвалили мою ловкость, а четки были вручены старухе, с тем чтобы она продала их за ту цену, какую найдут подходящей. Старуха отправилась с ними по домам, говоря, что четки эти принадлежат какой-то бедной девушке, которая продает их, так как ей нечего есть. На всякий случай у нее были припасены свои уловки и изворотливости. Она то и дело плакала навзрыд, ломала руки и горестнейшим образом вздыхала. Всех она называла своими детками и носила поверх очень хорошей сорочки, лифа, кофты, нижних и верхней юбок рваный мешок из грубого холста, принадлежавший ее другу — отшельнику, обитавшему якобы в горах близ Алькала. Старуха вела хозяйство всей нашей братии, была нашей советчицей и укрывательницей краденого. Дьяволу, который никогда не дремлет, если дело касается его работы, было угодно, чтобы в один прекрасный день, когда наша старуха поплелась продавать в какой-то дом краденое платье и разные вещицы, владелец их узнал свое имущество и привел альгвасила. Старуху, называвшуюся мамашей Лепрускас, зацапали, и она тут же созналась во всех своих делах, рассказала о нашей жизни и о том, что мы являемся рыцарями легкой наживы.

Альгвасил посадил ее в тюрьму, а затем явился к нам на дом и застал всех нас на месте. С ним было с полдюжины корчете, этих пеших палачей, и они поволокли всю нашу жульническую коллегию в тюрьму, где ее рыцарская честь оказалась в великой опасности.

ГЛАВА XVII,

в которой описывается тюрьма и все, что случилось в ней, вплоть до того, когда старуху высекли, товарищей моих поставили к позорному столбу, а меня отпустили под залог

На каждого из нас при входе в тюрьму надели наручники и кандалы и погнали в подземелье. По дороге туда я решил воспользоваться бывшими при мне деньгами и, вытащив один дублон, сказал тюремщику:

— Сеньор, я хочу сказать вам кое-что по секрету.

А чтобы он меня выслушал, я в виде задатка дал ему поглядеть на золотой. Увидев монету, он отвел меня в сторону.

— Молю вашу милость,— обратился я к нему,— о сострадании к порядочному человеку.

Потом я нашел его руку и, так как ладони его были созданы для того, чтобы принимать подобные приношения, заключил в их тиски двадцать четыре реала. Он сказал:

— Я посмотрю, что это за болезнь, и если она не серьезна, подземелья вам не миновать.

Я понял всю тонкость его обращения и весьма смиренно что-то ему ответил. Он оставил меня наверху, а товарищей моих всех отправил вниз.

Не буду подробно рассказывать о том веселье и смехе, которые сопутствовали нам, пока нас вели по городу и доставляли в тюрьму. Шли мы связанные, подбадриваемые пинками, одни без плащей, другие волоча их за собою. Любопытное зрелище являли собою наши персоны, облаченные в заплатанные и весьма пестрые одеяния. Иного из нас, не имея возможности схватить за что-нибудь мало-мальски надежное, придерживали просто за голое тело. Другого и за тело было невозможно схватить — так он исхудал от голода. Некоторые шли, оставив в руках у полицейских куски своих расползавшихся курток и штанов. Когда же развязали веревку, которой все мы были скручены, она лишила нас последних лохмотьев, напрочно к ней прилипших.

С наступлением ночи меня положили спать в общую камеру. Мне дали койку. Стоило посмотреть, как некоторые заключенные заваливались спать не раздеваясь, между тем как другие одним движением скидывали с себя свой скудный наряд. Кое-кто занялся игрою. Нас заперли и погасили свет. Мы позабыли о своих кандалах.

Параша была расположена как раз у моего изголовья. То и дело ею приходили пользоваться ночью. Прислушиваясь к издаваемым звукам, я сначала думал, что это раскаты грома, и начинал креститься, поминая святую великомученицу Варвару, но потом, различив запах, понял, что раскаты эти совсем не небесного происхождения. Воняло так, что я чуть не помер. Кого просто несло, а кого — как на пожар. В конце концов я вынужден был потребовать, чтобы посудину перенесли куда-нибудь в другое место. По этому поводу произошел обмен крепкими словечками. Я не заставил себя ждать и одного из тех, кто обеспокоил мой сон, не долго думая, смазал по физиономии ремнем. Он подскочил и опрокинул посудину. Все проснулись и начали в темноте лупить друг друга ремнями; вонь стояла такая, что все повскакали. Поднялся великий шум, и начальник тюрьмы, полагая, что от него удрал кто-нибудь из его вассалов, примчался, вооруженный, со всем своим войском. Открыли дверь, внесли свет, и он осведомился,

что произошло. Все свалили вину на меня. Я оправдывался, доказывая, что всю ночь мне не давали сомкнуть очей, так как все поочередно открывали свое очко. Тюремщик, считая, что я скорее дам ему еще дублон, нежели погружусь в подземелье, воспользовался этим случаем и велел мне идти вниз. Я уже решил лучше пойти в подземелье, но только не отдавать свой кошелек на полное разграбление. Меня отвели вниз, где я был встречен ликованием и радостью моих друзей.

Эту ночь я спал тревожно. Наконец господь послал нам утро, и мы выбрались из подземелья. Мы посмотрели друг на друга, и первое, что нам велели наши соседи,— это внести некую мзду на наведение чистоты, до чистоты непорочной девы Марии никакого отношения не имеющей, иначе они всыплют нам по первое число. Я тотчас же выложил шесть реалов, товарищам моим нечего было дать, и им пришлось остаться в подземелье на следующую ночь.

Вместе с нами сидел некий парень — кривой, долговязый, усатый, с мрачным лицом, с согнутой спиной, на которой были заметны следы плетей. Железа на нем было больше, чем в Бискайе,— две пары кандалов и цепь у пояса. Называли его Дылдой. Он говорил, что сидит за прегрешения по ветряной части. В моем воображении последовательно возникали мельницы, кузнечные мехи, веера. Но когда ему задали вопрос, что из этого послужило причиной его ареста, он сказал, что не это его погубило, а то, что он зады повторял; я сначала решил, что сидит он не впервой и все за те же преступления, и лишь потом сообразил, что он имеет в виду мужеложество. Когда начальник тюрьмы ругал его за какие-либо провинности, тот огрызался, обзывая его кладовщиком палача и смотрителем погреба человеческих вин. В преступлениях своих он покаялся, но не раскаивался, и был настолько отчаянным, что мы вынуждены были принять особые меры предосторожности, и никто даже шептуна не решался пустить, боясь напомнить ему о месте, где кончается спина. Парень этот водил дружбу с другим молодцом, по имени Робледо, а по прозвищу Сверленый. Тот говорил, что сидит за вольнолюбие, ибо руки его без стеснения забирали все, что подвертывалось. Драли его больше, чем почтовую лошадь, и не было палача, который не испытал бы на нем силу своих рук. Лицо у него было исполосовано ножевыми ранами, число ушей непарным, а ноздри зашиты, но не столь ловко, как были рассечены они надвое ножом. С этими двумя молодыми людьми водили компанию еще четверо — столь же дерзких на вид, как львы на гербах, с ног до головы закованных в цепи и осужденных на галерные работы. Они говорили, что скоро смогут похвалиться своей службой королю на суше и на море. Трудно поверить, с какой радостью ожидали они своей отправки.

Вся эта компания, раздосадованная тем, что мои товарищи не платят тюремных податей, решила ночью, как говорится, напустить на нас змей, то есть отодрать предназначенной для этой цели веревкой. Наступила ночь. Нас запрятали в самый дальний карман тюрьмы и погасили свет. Я тотчас же забрался под нары. Двое из молодцов начали посвистывать по-змеиному, а третий — работать веревкой. Наши бедные рыцари, увидав, что дело приняло такой оборот, тесно прижались друг к другу своими телами, которые для вшей и коросты составляли и завтрак, и обед, и ужин; они целым клубком завалились в щель между нарами, вроде гнид в волосах или клопов в кровати. От ударов веревкой трещали доски, а избиваемые молчали. Мерзавцы, не слыша воплей своих жертв, перестали лупить их веревками и принялись забрасывать кирпичами и всякими обломками. Один из них угодил в темя дону Торибио и раскроил ему башку. Тот заорал, что его убили. Дабы никто не услыхал криков, мошенники стали петь хором и лязгать кандалами. Дон Торибио же, ища спасения, силился подлезть под своих соседей. Стоило послушать, как от этих усилий стучали их костй — точь-в-точь как трещотки святого Лазаря. Одежда их окончила свое существование, нигде не осталось ни лоскутка. Камни и другие метательные снаряды сыпались в таком изобилии, что в скором времени в голове названного дона Торибио оказалось больше дыр, чем в его платье. Не находя никакого укрытия от этого града небесного и чувствуя, что ему приходит мученический конец святого Стефана, хотя святостью его он не обладал, он взмолился, чтобы его отпустили, обещая заплатить выкуп и отдать в залог свое платье. Это было ему разрешено, и, к огорчению всех остальных, кои за ним прятались, он еле-еле выполз с пробитой головой и перебрался на мою сторону. На головы остальных, хотя обладатели их и поспешили принять то же решение, успело обрушиться больше черепичных обломков, чем росло на них волос. В уплату подати они предложили свое платье, справедливо рассудив, что лучше лежать в постели из-за отсутствия одежды, нежели из-за ранений. В эту ночь их поэтому оставили в покое, а утром потребовали, чтобы они разделись. Они разделись, но тут выяснилось, что всего их тряпья не хватило на подшивку и пары драных чулок.

Всем им пришлось остаться в кровати под лохматым шерстяным плащом, завернувшись в который обычно давят вшей. Прикрытие это скоро дало знать о себе, ибо последние набросились на них, как голодные собаки. Были там вши-великаны и такие, что смогли бы впиться в ухо быка. Злополучные товарищи мои уже боялись быть съеденными заживо. Пришлось скинуть этот несчастный плащ и, проклиная судьбу, до крови царапать себе тело ногтями. Я выбрал-

ся из подземелья, попросив у них прощения за то, что вынужден с ними расстаться, еще раз сунул в руку тюремщика три реала по восемь мараведи и, узнав, кто из судейских писарей ведает моим делом, послал за ним мальчишку на побегушках. Тот явился, мы с ним уединились, и я, рассказав о своем деле, упомянул, что у меня есть кое-какие деньги, и попросил его взять их на хранение, а если представится случай, то и заступиться за несчастного идальго, который обманом был вовлечен в преступную шайку.

— Поверьте, ваша милость,— сказал он, клюнув на мою приманку,— тут все зависит от нас, и если в нашей компании окажется негодный человек, то он может натворить много зла. Я просто так, ради удовольствия присудил к галерам больше невинных, чем бывает букв в судебном протоколе. Доверьтесь мне и будьте покойны, что я вытащу вас отсюда целым и невредимым.

С этим он ушел, однако в дверях обернулся и попросил у меня чего-нибудь для добрейшего альгвасила Дьего Гарсии, которому следует, мол, заткнуть рот серебряным кляпом, и еще для какого-то докладчика по делу, дабы помочь ему проглотить все пункты обвинения.

— Докладчик, сеньор мой,— объяснил мне писарь,— может одним лишь нахмуриванием бровей, возвышением голоса или топаньем ноги, посредством чего он привлекает внимание обычно рассеянного судьи,— словом, одним движением сжить со света любого христианина.

Я сделал вид, что понял его, и добавил еще пятьдесят реалов. В благодарность за это он посоветовал мне поднять воротник моего плаща и сообщил два средства от простуды, которую я схватил в холодной тюрьме. На прощанье он сказал, взглянув на мои оковы:

— Не печальтесь. За восемь реалов начальник тюрьмы окажет вам всякие послабления. Это ведь такой народ, который добреет только тогда, когда это ему выгодно.

Мне понравился этот совет, и по уходе писаря я дал начальнику эскудо, и тот снял с меня наручники.

Он пускал меня к себе в дом. У него была жена — настоящий кит — и две дочки, дуры и уродины, но тем не менее крайне склонные к распутству. Случилось, пока я был там, что начальник, которого звали Бландонес де Сан Пабло (жена его прозывалась донья Ана де Мора), пришел однажды к обеду, задыхаясь от бешенства. Есть он не захотел. Супруга его, подозревая большую неприятность, так пристала к нему со своими назойливыми расспросами, что он в конце концов вскричал:

— А что же делать, если этот негодяй и вор Альмендрос, апосентадор, когда мы поспорили с ним относительно арендной платы, сказал мне, что ты нечиста?

— А он что, подол мне чистил, что ли? — вскипела она.— Клянусь памятью моего деда, ты не мужчина, раз не вырвал ему за это бороду! Позвать мне разве его служанок, чтобы они меня почистили? Слава богу,— тут она обернулась ко мне,— я не такая иудейка, как он. Из тех четырех куарто, что ему цена, два — от мужика, а остальные восемь мараведи — от еврея. Честное слово, сеньор Паблос, если б он сказал это при мне, я бы напомнила ему, что на плечах у него мотовило святого Андрея!

Тогда весьма опечаленный начальник тюрьмы воскликнул:

— Ах, жена, молчи, ибо он сказал, что на мотовиле этом есть виток-другой и твоей пряжи и что нечиста ты не потому, что свинья, а потому, что не ешь свинины.

— Значит, он назвал меня иудейкой? И ты так спокойно об этом говоришь? Так-то ты бережешь честь доньи Аны Мора, внучки Эстебана Рубио и дочери Хуана де Мадрида, что известно богу и всему свету?

— Как,— вмешался тут я,— вы дочь Хуана де Мадрида?

— А как же,— ответила она,— дочь Хуана де Мадрида из Ауньона.

— Клянусь богом, что тот, кто оскорбил вас,— сам иудей, распутник и рогоносец! Хуан де Мадрид, царствие ему небесное,— продолжал я,— был двоюродный брат моего отца, и я всем докажу, кто он такой, ибо это задевает и меня. Если меня выпустят из тюрьмы, я заставлю этого мерзавца сто раз отказаться от своих слов. У меня в городе есть особая грамота, касающаяся и отца и дяди, писанная золотыми буквами.

Все чрезвычайно обрадовались новому родственнику и воспрянули духом, узнав про грамоту. Грамоты, впрочем, такой у меня не было, да я и понятия не имел, кто они такие. Супруг пожелал в подробностях осведомиться о нашем родстве, а я, дабы он не уличил меня во лжи, клялся, божился и делал вид, что все еще не могу прийти в себя от ярости. Тогда они стали успокаивать меня и уговаривать не думать и не говорить об этом деле. Я же время от времени нарочно и как бы невзначай восклицал: «Хуан де Мадрид? Все, что он про него наплел,— это же курам на смех?!» Или: «Хуан де Мадрид? Так ведь его отец был женат на толстой Ане де Асеведо!» А затем снова на некоторое время умолкал.

В конце концов начальник тюрьмы дал мне в своем доме стол и постель; а писец по его просьбе и благодаря моему подкупу обстряпал все так удачно, что старуху вывезли из тюрьмы на всеобщее рассмотрение верхом на некоем сером животном, коего

тащили на поводу, между тем как шествие возглавлял певец ее провинностей. Оповещение о ней было таково: «Женщине сей за воровство». Такт марша отбивал ей по спине палач, согласно предписанию сеньоров в судейских мантиях. За нею следовали мои товарищи, без шляп, с открытыми лицами, на водовозных клячах. Их поставили к позорным столбам, причем оттого, что на них были одни лохмотья, срам их усугублялся, ибо каждый мог его обозревать, а потом выслали каждого из Мадрида на шесть лет. Я был выпущен под залог по милости писца, да и докладчик по моему делу не сплоховал: он взял тоном ниже, говорил тихо и долго; читая мое дело, ловко перепрыгивал через основания обвинения и проглатывал целые параграфы.

ГЛАВА XVIII

О том, как я водворился в гостинице, и о несчастье, которое меня там постигло

Выйдя из тюрьмы, я очутился один-одинешенек и без друзей. Хотя они и дали мне знать, что пойдут по севильской дороге, прося милостыню, присоединиться к ним я не пожелал.

Решил я поселиться в гостинице, где и познакомился с одной девицей — рыжеволосой, беленькой, веселой, охотно вмешивающейся в чужие дела, порой сдержанной, а порой весьма сговорчивой и услужливой. Девица эта немножко сюсюкала и пришепетывала, боялась мышей, была уверена, что у нее красивые ручки, и, чтобы все ими любовались, всегда сама снимала нагар со свечей и разрезала еду за столом. В церкви она сидела, сложив руки на груди, на улицах указывала пальчиком, кто в каком доме живет, в гостиной постоянно поправляла в волосах шпильку, если же играла, то только в писпириганью, ибо и тут можно было показать ручки. Время от времени она нарочно позевывала, чтобы показать зубки и иметь повод перекрестить ротик. Одним словом, все в доме было ее ручками так щупано и перещупано, что она уже надоела собственным родителям. Они меня очень хорошо приняли в своем доме, ибо я поговаривал, что хотел бы снять его. Кроме меня, здесь жили один португалец и какой-то каталонец. И тот и другой обошлись со мной весьма учтиво. Девица показалась мне годной для развлечения от скуки, и это было тем более удобно, что я проживал с нею под одной крышей. Я начал с того, что не спускал с нее глаз, рассказывал разные разности, которых понабрался для приятного времяпрепровождения, сообщал всяческие новости, хотя нигде их и не узнавал,— короче говоря, оказывал ей и ее родителям множество услуг, которые мне самому ничего не стоили. К тому же я сообщил

им, что сведущ в колдовстве и что могу, если пожелаю, сделать так, что всем покажется, будто их дом горит, и всякую другую ерунду, которую они принимали всерьез, так как были очень легковерными людьми. Одним словом, я завоевал всеобщее расположение, но не сумел еще покорить девицу, ибо не был одет как нужно, хотя несколько и улучшил свое платье при содействии начальника тюрьмы, которого продолжал навещать, поддерживая с ним родственные связи в обмен на мясо и хлеб. Из-за плохой одежды меня не ценили в должной степени.

Дабы меня принимали за человека, скрывающего свои богатства, я подсылал в гостиницу в свое отсутствие разных приятелей. Сначала пришел один из них и спросил сеньора дона Рамиро де Гусмана, как я назвал себя, ибо друзья убедили меня, что переменить имя ровно ничего не стоит и весьма полезно. Он спросил «дона Рамиро, делового человека, богача, который только что выхлопотал себе три подряда у короля». Хозяйки не узнали меня по этому описанию и ответили, что у них живет некий дон Рамиро де Гусман, но не столь богатый, сколь оборванный, низкий ростом, некрасивый лицом и бедный.

— Так это он и есть,— объявил мой приятель,— и я не пожелал бы иметь большей ренты на службе господу богу, чем тот доход в десять тысяч дукатов, который он получает.

Он понарассказал им еще всякого вздору, от коего они пришли в полнейшее изумление, и ушел, попросив передать мне к акцепту подделанный вексель на девять тысяч эскудо. Тут и дочка и мать поверили в мое богатство и заранее стали прочить меня в мужья. Я пришел домой с совершенно невозмутимым видом, а они уже в дверях вручили мне вексель и сказали:

— Деньги и любовь трудно скрыть, сеньор Рамиро. Почему же вы, ваша милость, таились от нас, зная о нашем к вам расположении?

Притворившись недовольным, что они узнали о векселе, я удалился в свою комнату. Нужно было видеть, как, поверив в мое богатство, стали они уверять, что все мне идет, восхищаться моим красноречием, находить, что ни у кого, кроме меня, нет такого изящества! Убедившись в том, что они попались на удочку, я объяснился девчонке в любви, и она выслушала меня с огромным удовольствием, наговорив мне, в свою очередь, тысячу самых лестных вещей. Мы разошлись, и в один из ближайших вечеров я, дабы еще больше утвердить их в мысли о моем богатстве, заперся в своей комнате, которая отделялась от их помещения всего лишь тонкой переборкой, и, достав свои пятьдесят эскудо, пересчитал их столько раз, что на слух можно было принять их за шесть тысяч. Окончательно уверившись тогда в моей денежной наличности,

они сна лишились, чтобы угодить мне и исполнить все мои желания.

Португальца звали senhor[1] Васко де Менезес, fidalgo[2] ордена Христа. Он носил длинный шерстяной плащ, высокие сапоги, низенький воротник и огромные усы. Кавалер этот сгорал от любви к донье Беренгеле де Робледо — так звали мою девицу, и пытался влюбить ее в себя, чаще вздыхая за разговором, чем святоша за проповедью великим постом. Он скверно пел и вечно ссорился с каталонцем, самым скучным и жалким из всех божьих созданий. Обедал он, как перемежающаяся лихорадка, через два дня на третий и довольствовался столь черствым хлебом, что его едва мог укусить самый злоречивый человек. Он строил из себя весьма бравого мужчину, но разве только яиц не нес, ибо во всем остальном был совершенной курицей и хвастался, как курица, только что снесшая яйцо. Заметив, как быстро подвигаюсь я вперед, оба стали злословить на мой счет. Португалец говорил, что я вшивый мошенник и голодранец, а каталонец называл меня трусом и подлецом. Я все это знал и порой слыхал собственными ушами, но был не расположен им отвечать.

В конце концов девица стала тайком со мной беседовать и принимать мои записки. Начались они, как обычно: «В этой моей дерзости повинна ваша превеликая красота...» Дальше я предлагал ей себя в рабы, а вместо подписи изображалось сердце, пронзенное стрелой. Мало-помалу мы перешли на «ты», и я, дабы дать новую пищу ее вере в мое высокое положение, в один прекрасный день вышел из дому, нанял мула, прикрыл лицо плащом и, изменив голос, подъехал к гостинице и спросил о себе самом: не живет ли здесь его милость сеньор Рамиро де Гусман, владетель Вальсеррадо и Велорете.

— Да, здесь живет невысокого роста кабальеро, которого зовут именно так,— откликнулась девушка.

Я сделал вид, что сообщенные ею приметы меня убедили, что он и есть, кого я ищу, и попросил передать ему, что дон Дьего де Солорсано, его управляющий, приезжал собирать причитающиеся ему доходы и заезжал, дабы поцеловать ему ручки. После этого я удалился и вскоре пришел обратно в своем настоящем виде. Хозяева встретили меня с необычайной радостью, упрекнув, зачем я скрыл от них свои владения в Вальсеррадо и Велорете, и передали поручение управителя.

Этот случай совсем сразил мою девицу, возжаждавшую столь богатого мужа, и мы сговорились с нею о свидании в час ночи в ее

---

[1] Сеньор *(португ.)*.
[2] Кавалер *(португ.)*.

комнате, в которую можно было попасть через коридор, выходивший на крышу, куда было обращено ее окно. Всепроницательный дьявол устроил так, что когда я с наступлением ночи, обуреваемый желанием насладиться представившимся случаем, вышел в коридор и стал выбираться на крышу, то поскользнулся, полетел и грохнулся на крышу соседнего дома, где жил какой-то судейский писец, с такой силой, что перебил все черепицы. От шума проснулся весь дом, и, думая, что это воры — судейские обо всех судят по себе,—люди полезли на крышу. Заметив их, я попытался спрятаться за трубу, но тем только усилил их подозрения. Писец, его брат и двое его слуг поколотили меня палками и связали, не оказав мне никакого уважения, и все это на глазах моей дамы. Она, видя все это, только залилась смехом, ибо, как я уже сказал, считала меня магом и волшебником и вообразила, что это все шутка и некромантия, а потому начала просить меня подняться к ней на крышу: она, мол, посмеялась вдоволь и предостаточно. Я выл под палками и тумаками, но самое обидное было то, что она, думая, будто все это устроено мною нарочно, не переставала хохотать.

Писец тут же стал вести дознание и, услыхав бряцанье ключей в моем кармане, признал их за отмычки и так и записал в протоколе, хотя ясно было видно, что это ключи. Когда я назвал себя доном Рамиро де Гусманом, он весело расхохотался. Удрученный тем, что меня колотили палками на глазах моей возлюбленной, схватили без всякого основания и считают вором, я не знал, как мне поступить. Я преклонял перед писцом колени, но ни этим, ни каким-либо иным способом ничего от него не добился.

Все это происходило на крыше, а судейские способны и черепицы на крыше призвать в свидетели обвинения. Меня велели спустить вниз, что и сделали через окно комнаты, служившей кухней.

ГЛАВА XIX,

в которой идет рассказ о том же и о разных других происшествиях

Всю ночь я не сомкнул очей, размышляя о своем несчастье, заключавшемся не столько в падении на крышу, сколько в том, что я попал в руки судейского писца. Вспоминая же найденные будто бы в моем кармане отмычки и исписанные по этому поводу листы дознания, я понял, что ничто не разрастается так в своей величине, как вина под властью судейского крючкотвора. Ночь напролет я измышлял всяческие планы. Мне приходило в голову молить его именем Иисуса Христа, но, вспомнив, что́ эти книжники сотворили с Христом, я отказался от этой мысли. Много раз пробовал я

освободиться от пут, но писец тотчас слышал, что я ворочаюсь, и вставал проверять узлы. Ему, пожалуй, больше не терпелось засудить меня, чем мне освободиться. Чуть только забрезжило утро, писец оделся и, пока в доме все еще спали, явился вместе со своими свидетелями, взялся за ремень и хорошенько прогулялся им по моей спине, обвиняя меня в пороке воровства с таким усердием, с каким может обвинять лишь тот, кто сам предается этому пороку. Так мы проводили время: он — одаряя меня ударами, а я — подумывая о том, чтобы одарить его деньгами, этой кровью невинного агнца, лишь с помощью которой можно обрабатывать самые твердые алмазы; как вдруг, подвигнутые просьбами моей возлюбленной, которая видела мое падение и убедилась в том, что это не волшебство, явились португалец и каталонец. Писец, видя, что они разговаривают со мной, навострил перо и решил тут же пришпилить их, как моих соучастников. Португалец не стерпел этого и довольно неучтиво с ним поспорил, заявив, что он благородный fidalgo de casa do rey [1] и что я homen muito fidalgo [2] и безобразие и подлость держать меня связанным. Тут он принялся освобождать меня от уз, писец поднял крик о сопротивлении властям, слуги же его — нечто среднее между полицейскими и крючками,— поскидав и потоптав ногами свои плащи и порвав на себе воротники, что делается, дабы изобразить не имевшую места драку, стали призывать заступничество королевской власти. Наконец португалец и каталонец развязали меня. Тогда писец, видя, что ему никто не помогает, заявил:

— Со мной, клянусь богом, так поступать нельзя, и не будь ваши милости тем, кем вы являетесь, это могло бы вам дорого обойтись! Велите-ка удовлетворить этих свидетелей и примите во внимание, что я остаюсь безо всякой выгоды.

Я сразу смекнул, в чем тут дело, вытащил восемь реалов и отдал их. Хотелось мне возвратить писцу полученные удары, но, решив промолчать о них, я оставил эту мысль и ушел со своими заступниками, принося им свою благодарность за освобождение и избавление. Лицо мое было все в синяках, а плечи выражали недовольство палочной расправой.

Каталонец очень смеялся и советовал моей девице выходить за меня замуж, дабы перевернуть пословицу «Сначала рогатый, потом побитый» на «Сначала побитый, потом рогатый». Называли они меня смельчаком и решительным мужчиной, играя двумя значениями слов «sacudido», значащим еще и «человек, из которого выбили пыль». Стоило мне войти в комнату, где они находились,

---

[1] Идальго из придворных *(португ.)*.
[2] Человек весьма благородного происхождения *(португ.)*.

как тотчас же начинался разговор о палочных ударах или же о батогах и кольях. Все это меня весьма изводило. Видя, что я становлюсь предметом насмешек и оскорблений, и заметив, что вера в мое богатство пошатнулась, я начал подумывать о том, как бы удрать из этого дома, а для того чтобы не заплатить за еду, постель и прожитие, что составляло изрядное количество реалов, и благополучно вынести мои пожитки, сговорился я с неким лисенсиатом Брандалаюсом, родом из Орнильоса, чтобы он с двумя своими приятелями в одну из ближайших ночей явился меня арестовать. Они пришли в назначенный час и заявили хозяевам, что посланы святейшей инквизицией и что в сем случае требуется сохранение полной тайны. Все перетрусили, ибо я выдавал себя здесь за некроманта. Когда меня потащили, хозяева молчали, но когда дело дошло до моих вещей, то они попросили оставить их им в обеспечение моего долга, но получили ответ, что это достояние инквизиции. На это ни одна душа не пикнула. Инквизиторы спокойно убрались вместе со мною, а хозяева сказали только, что они всегда этого опасались. Каталонцу и португальцу они рассказали, что, видно, те, кто раньше приходил за мною, были демоны и что я с ними водился на свою погибель, а когда я, дескать, пересчитывал свои деньги, то это только так казалось, а на самом деле никаких денег не было. Те поверили всему этому, а я унес с собою и мои вещи, и то, что должно было обеспечить мое пропитание.

По совету моих освободителей я переменил одежду на штаны с лентами и модное платье с большим гофрированным воротником, а кроме того, завел себе лакея, так сказать, разменной монетой, ибо, собственно, вместо одного лакея у меня было два пажа, что в то время было принято. Друзья поощряли это расточительство, рисуя все выгоды, которые меня ожидают, если меня примут за богатого жениха, и уверяя, что подобные случаи нередки в столице. Обещали они также направить меня туда, где все дальнейшее будет зависеть уже только от моей предприимчивости. Я, как человек ушлый и жаждущий подцепить какую-нибудь даму, без труда решился на подобный шаг.

Я походил по распродажам и купил себе жениховский наряд. Узнал я также, где берут напрокат лошадей, и воссел на одну из них, но в первый день лакея я себе еще не нашел. Я двинулся по Большой улице и остановился у шорной лавки, как будто бы собираясь что-то присмотреть. В это время подъехали два всадника, за каждым из которых следовали по два лакея, и спросили, не собираюсь ли я купить серебряную уздечку, которую я держал в руках. Мы вступили в беседу, и я, наговорив им кучу любезностей, несколько задержал их. Наконец они сказали, что собираются

ехать на гулянье в Прадо, а я попросил, если это не будет им в тягость, принять меня в свою компанию. Купцу я велел, когда явятся мои пажи и лакей, послать их в Прадо, описал ему их ливреи и отправился в путь вместе с двумя всадниками. Я сообразил, что никто из видящих нас не в силах будет разобрать, кому принадлежат сопровождавшие нас пажи и лакеи и кто из нас их не имеет. Я весьма смело завел разговор о конных состязаниях в Талавере, о том, что у меня есть белая с синим отливом, словно фарфоровая, лошадь, и весьма хвастался жеребцом, которого мне будто бы должны доставить из Кордовы. Встречая какого-нибудь пажа, ехавшего верхом, или лакея, я их останавливал, расспрашивая, у кого они служат, распространялся по поводу их ливреи и осведомлялся, не собираются ли хозяева продать этого коня. Я просил их раза два проехать туда и обратно по улице и непременно находил у лошади или придумывал какой-нибудь изъян во рту и советовал, как его исправить. Подобных случаев подвернулось мне несколько, и я заметил, что спутники мои были удивлены и как будто бы спрашивали друг друга: «Что это за хвастливый дворянин?», и так как один из них носил на груди орденский знак, а другой был украшен брильянтовой цепью, что само по себе уже свидетельствовало о его высоком положении, я объяснил им, что присматриваю хороших лошадей для себя и своего двоюродного брата, потому что мы собираемся принять участие в неких празднествах.

Мы достигли Прадо. Я, вынув ноги из стремян, выставил пятку кнаружи и стал гарцевать, закинув плащ за одно плечо и держа шляпу в руках. Все меня разглядывали. Кто-то сказал: «Мне он где-то попадался пеший», другой: «Ого, недурно устроился, пройдоха!», но я делал вид, что ничего не слышу, и ехал дальше.

Оба моих спутника подскакали к карете с какими-то дамами и попросили меня позанять их шутливым разговором. Я предоставил им развлекать молодых девиц, а сам заехал с того боку, где сидели мать с теткой. Они оказались бойкими старушками, одна лет пятидесяти, а другая несколько моложе. Я расточал перед ними тысячи нежностей, и они выслушивали меня, ибо нет такой женщины, как бы стара она ни была, у которой самомнения было бы меньше, чем у готов. Я пообещал им кое-какие подношения и осведомился о молодых дамах, и они ответили, что это девицы; это, впрочем, можно было понять и из их разговоров. Я, как полагается, выразил желание, чтобы они были устроены так, как того заслуживают их достоинства. Старушкам весьма понравилось слово «устроены». Они спросили меня, чем я занимаюсь в столице. Я ответил, что скрылся здесь от своих родителей, которые против моей воли хотели женить меня на уродливой, глупой и неважного

рода женщине, польстившись на ее приданое, а я, сеньоры, предпочитаю иметь супругу чистой крови, а не богатую еврейку, ибо по милости божьей майорат мой дает мне сорок тысяч дукатов дохода, а если я выиграю еще выгодный для меня процесс, то больше мне ничего не потребуется.

— Ах, сеньор, как бы мне этого хотелось! — поспешила тут вставить свое слово тетка.— Не женитесь иначе, как по своему выбору, на девушке из хорошей семьи. Уверяю вас, хоть я и не очень богата, но до сих пор не соглашалась выдать мою племянницу замуж, несмотря на весьма выгодные предложения, ибо не находила ей достойной партии. У нее, бедняжки, всего только шесть тысяч дукатов приданого, но родовитостью своей она поспорит со всякой.

— Этому я охотно верю,— ответил я.

Тут девицы прервали разговор, попросив моих друзей чем-нибудь их угостить.

Один посмотрел на другого,
И оба, смутясь, задрожали...

Поняв причину их затруднения, я поспешил высказать сожаление, что при мне нет моих слуг, которых можно было бы послать домой за коробками со сластями. Дамы поблагодарили меня за любезность, а я тут же пригласил их на следующий день в Каса-дель-Кампо, заодно испросив разрешения прислать им на дом каких-нибудь сластей. Они тотчас приняли это приглашение, сказав мне, где живут, и спросили мой адрес. Карета их отъехала, а я с моими спутниками направился домой. Заметив, что я щедр на угощение, мои новые приятели прониклись ко мне нежными чувствами и, дабы оказать мне внимание, пригласили вечером откушать с ними. Я заставил их немножко себя упрашивать, но все же отужинал, время от времени посылая за моими якобы замешкавшимися слугами и клянясь выгнать их из дома. Пробило десять часов, я сказал, что мне нужно спешить на некое любовное свидание, и попросил разрешения откланяться. Распрощавшись, мы условились, что завтра вечером встретимся в Каса-дель-Кампо.

Я возвратил коня его хозяину и поспешил домой, где застал моих товарищей за игрой в кинолу. Я рассказал им о моем знакомстве и о том, что сговорено на сегодня и на завтра, и мы решили без промедления отослать дамам различных угощений, затратив на это двести реалов, после чего легли спать. Признаюсь, всю ночь я не мог заснуть, так как был озабочен мыслями, что мне делать с приданым. Больше всего меня тревожил вопрос, обзавестись ли домом или же пустить его в оборот под проценты. Я не знал, что будет лучше и выгоднее для меня.

ГЛАВА XX,

в которой продолжается рассказ о том же и о разных примечательных событиях и несчастьях

Наступило утро, и мы проснулись; нам надо было позаботиться о слугах, посуде и кушаньях. В конце концов, так как деньги созданы, чтобы всем повелевать, и нет никого, кто не питал бы к ним уважения, я, заплатив сколько следует буфетчику одного сеньора, получил от него посуду в придачу с ним самим и тремя слугами. День прошел в хлопотах и приготовлениях, а к вечеру я уже взял напрокат лошадку и в назначенный час пустился в путь в Каса-дель-Кампо. За пояс у меня было заткнуто несколько бумаг, как бы важных мемориалов, шесть пуговиц моего камзола были расстегнуты, и из-под него тоже выглядывали бумаги. Когда я прибыл на место, там уже оказались поджидавшие меня дамы и кавалеры. Первые встретили меня очень радушно, а вторые в знак короткого знакомства стали обращаться ко мне не «ваша милость», а просто на «вы». Я сказал, что меня зовут доном Фелипе Тристаном, и затем все время только и было разговору что о доне Фелипе во всех его видах. Я пустился в рассказы о том, что, занятый по горло делами его величества и счетами по моему майорату, я боялся не исполнить своего обещания и вот теперь приглашаю их немедленно приступить к угощению. Тут появился буфетчик со всем своим снаряжением, посудой и слугами. Все присутствующие, в том числе и дамы, молча смотрели на меня. Я велел приготовить ужин в беседке, пока мы погуляем у прудов. Старушки состязались в любезностях по моему адресу, а девушки, к моему удовольствию, открыли свои лица. С того мига, как бог меня создал, я не видел ничего столь прекрасного, как та, которую я наметил себе в супруги: она была белолица, с золотистыми волосами, румяными щеками, маленьким ротиком, мелкими частыми зубками, правильным носиком, большими черными глазами, высокая ростом, с красивыми руками и немножко пришепетывала. Другая была также недурна, но более развязна и показалась мне уже довольно опытной в поцелуях. Мы прошлись к прудам, осмотрели там все, и из разговора я понял, что моя невеста во дни Ирода-царя подвергалась бы величайшей опасности, ибо по части ума была совершенным младенцем. Она ни о чем не имела никакого понятия, но так как я не ищу в женщинах ни советчиц, ни забавниц, а люблю их только за то, что с ними можно спать, а спать с уродинами или слишком умными — это то же, что ложиться в кровать с Аристотелем, или Сенекой, или какой-либо другой книгой, то для искусства греха я выбираю хорошеньких. Мы вернулись к беседке, и я, проходя мимо куста, разорвал себе о ветку воротник. Девица тот-

час же поспешила застегнуть его серебряной булавкой, а ее матушка попросила завтра же прислать им этот воротник на дом, чтобы его починила донья Ана — так звали ее дочку. Все блюда, как горячие, так и холодные, фрукты и сладости, были в полном порядке и изобилии. Мы весело поужинали, я рассыпался в любезностях по адресу моих гостей, а они не оставались в долгу. Когда убрали со стола, я увидел, что по парку шествует какой-то кавалер в сопровождении двух слуг. Каково было мое изумление, когда я распознал в нем моего доброго дона Дьего Коронеля. Он подошел ко мне и, видя меня в богатом платье, то и дело поглядывал на меня. Разговаривая с девицами, которых он называл двоюродными сестрами, он не спускал с меня глаз. Я в это время занялся с буфетчиком, а два других кавалера, оказавшиеся друзьями дона Дьего, пустились с ним в оживленную беседу. Он их спросил, как это выяснилось потом, кто я такой, и они сказали, что я дон Фелипе Тристан, весьма благородный и богатый человек. Тут он, я заметил, перекрестился, а потом на глазах у всех подошел ко мне и сказал:

— Простите меня, ваша милость, но, ей-богу, я принимал вас, пока не узнал вашего имени, совсем за другое лицо, ибо в жизни моей не видел столь великого сходства, которое вы являете с моим бывшим слугой Паблосом, сыном сеговийского цирюльника.

Все громко засмеялись, а я, силясь не выдать себя краской, которая заливала мне лицо, сказал, что очень бы хотел взглянуть на этого человека, ибо с разных сторон я только и слышу что о нашем необычном сходстве.

— Господи Иисусе! — воскликнул дон Дьего.— Какое там сходство! Фигура, голос, манеры... Это что-то невиданное. Уверяю вас, сеньор, я ничего подобного не встречал!

Тогда старушки, тетка и мать, заметили, что столь знатный кабальеро, как я, не может походить на какого-то там мошенника, а одна из них, дабы снять всякое подозрение, заявила:

— Я очень хорошо знаю дона Фелипе, ибо это он принимал нас по просьбе моего супруга в Оканье.

Я понял ее намерение и сказал, что единственное мое желание — это, по мере моих слабых сил, неизменно служить им. Дьего, со своей стороны, уверил меня в своей преданности и попросил извинения за обиду, нанесенную мне сравнением с сыном цирюльника, добавив:

— Вы не поверите, ваша милость: мать его была колдуньей, отец — вором, дядя — палачом, а он — самым негодным и злоумышленным пронырой на свете.

Что должен был переживать я, когда мне в лицо говорились столь оскорбительные вещи? Чувствовал я себя, хотя и скрывал

это, точно на жаровне. Решили возвратиться в город. Я и двое других кавалеров распрощались с дамами, а дон Дьего поместился в их карете. Он спросил их, с чего это затеяно было угощение и как они оказались в моем обществе. Мамаша и тетка рассказали о моем майорате со множеством тысяч дукатов ренты, о том, что меня хотят женить на Анике, и предложили ему справиться обо всем этом, дабы убедиться, что это верное дело и к тому же весьма почетное для всего их рода.

В таких разговорах они доехали до своего дома, который находился на Песочной улице у церкви святого Филиппа, а я, как и в прошлый вечер, отправился к моим приятелям. Надеясь очистить мои карманы, они предложили мне перекинуться в картишки. Я понял их цель и сел за игру. Достали карты, конечно крапленые; я сначала проиграл, потом передернул и нагрел их на триста реалов. На этом я распрощался с ними и отправился домой.

Дома я застал моих товарищей — лисенсиата Брандалагаса и Перо Лопеса — погруженными в изучение разных ловких приемов с игральными костями. Завидев меня, они бросили это занятие и стали расспрашивать, как прошел день. Я был хмур и озабочен и сказал им только, что очутился в весьма затруднительном положении; тут я поведал им о встрече с доном Дьего и о том, что из этого вышло. Они утешили меня, посоветовали продолжать притворство и никоим образом не отступать от моих намерений.

Тут мы узнали, что в соседнем доме у аптекаря идет игра в парар, или в пинты. В этой игре я кое-что смыслил; у меня были в запасе разные ловкие штуки и искусно приготовленная колода. Мы решили пойти туда и, как говорится, прикончить кого-нибудь, то есть начисто обобрать его кошелек. Я послал вперед моих друзей, они вошли в комнату, где сидели игроки, и спросили, не угодно ли им будет помериться силами с неким монахом-бенедиктинцем, который только что приехал сюда для лечения и остановился в доме своих родственниц, привезя с собою на врачей и лекарства порядочное количество реалов по восемь мараведи и эскудо. У игроков загорелись глаза, и они закричали:

— Ладно, пусть приходит!

— Человек этот пользуется немалым почетом в своем ордене,— добавил Перо Лопес.— Теперь, на свободе, ему хочется немного развлечься, а главное — провести время в приятной беседе.

— Пусть приходит и делает, что хочет!

— Только для сохранения тайны не надо никого со стороны,— заметил Брандалагас.

— Об этом нечего и говорить,— сказал хозяин.

Это их окончательно убедило, и ложь была принята за чистую монету. Между тем пособники мои пришли за мною. У меня на

голове уже красовался ночной колпак, одет я был в монашеское платье, случайно мне доставшееся, на нос нацепил я очки и приладил бороду, которая была подстрижена и посему не мешала мне играть. К игрокам я вошел в высшей степени смиренно, сел, и мы начали игру. Они снимали неплохо.Трое из них действовали заодно против меня, но я, смысля немного больше в искусстве, чем они, угостил их такими штуками, что в течение трех часов обобрал их больше чем на тысячу триста реалов. Я роздал полагающиеся с выигрыша подарки, сказал им на прощание «Хвала всевышнему!» и удалился, посоветовав не смущаться тем, что я принял участие в игре, так как играли мы только для развлечения, а не ради чего-либо иного. Они же, проиграв все, что у них было, ругали себя на чем свет стоит. Я откланялся, и мы вышли.

Вернулись мы домой в половине второго ночи и, разделив добычу, улеглись спать. Я несколько пришел в себя после того, что со мной случилось, и утром отправился нанять себе лошадь, но безуспешно, из чего я заключил, что подобных мне было много, но ходить пешком мне, в особенности в моем положении, казалось непристойным. Я пошел к церкви святого Филиппа и нашел там лакея одного адвоката, отправившегося послушать мессу и поручившего своего коня его заботам. Я сунул лакею четыре реала и попросил, чтобы он, пока его хозяин будет в церкви, дал мне коня, дабы разочка два прокатиться по улице, где живет моя дама. Лакей согласился. Я сел на коня и два раза проехал туда и обратно по Песочной улице, но ничего не высмотрел. На третий раз донья Ана выглянула в окно. Узрев ее, я, не зная повадок своего коня и не будучи хорошим наездником, решил, однако, отличиться и два раза угостил животное хлыстом и дернул уздечку. Конь встал на дабы, а потом несколько раз вскинул задние ноги, рванулся вперед и сбросил меня через голову в лужу. Оказавшись на глазах моей дамы в таком положении и окруженный сбежавшимися со всех сторон мальчишками, я начал ругаться:

— Ах ты, шлюхин сын, разве ты не валенсуэла? Эти дурачества плохо для тебя кончатся! Говорили мне о твоих шутках, да я не хотел им верить!

Тут лакей успел схватить лошадь, и она мигом успокоилась. Я снова сел на нее. На шум выглянул дон Дьего, который жил в доме своих двоюродных сестер. Увидев его, я онемел. Он спросил меня, что случилось. Я ответил, что ничего особенного, хоть я и повредил себе ногу. Лакей торопил меня сойти с коня, так как боялся, что вернется и увидит все это его хозяин, который должен был ехать во дворец. На мое несчастье, пока я с ним препирался, сзади откуда ни возьмись появился этот адвокатишка и, узнав своего коня, набросился на лакея и стал угощать его зуботычинами, во

весь голос крича, что отдавать лошадь чужим людям — черт знает что такое. Хуже всего было, что, обратившись ко мне, он потребовал, чтобы я немедленно, если боюсь бога, слез с лошади. Все это происходило в присутствии моей дамы и дона Дьего. Такого срама не испытывал даже ни один из тех, кого приговаривали к публичной порке. Я был крайне обескуражен, испытав два столь великих несчастья на одной лишь пяди земли. В конце концов мне пришлось спешиться. Адвокат вскочил в седло и уехал. Я же из притворства продолжал переговариваться с улицы с доном Дьего:

— Никогда в жизни не садился я на столь злобную скотину. Тут у церкви стоит мой соловый конь, невероятно горячий и способный понести, едва его пришпоришь. Я описал, как останавливаю его на всем скаку. Мне сказали, что есть лошадь, с которой я этого не проделаю, та самая, что принадлежит этому лисенсиату. Я захотел попытать свое уменье, но никак не мог предположить, что у нее столь крутые бока и такое плохое седло. Удивительно еще, что я не разбился насмерть.

— Да, удивительно,— согласился дон Дьего.— А все-таки мне сдается, что у вас побаливает, ваша милость, вот та нога.

— Да, побаливает,— ответил я ему,— и я думаю пойти за своей лошадью и отправиться домой.

Девица осталась вполне удовлетворена моими объяснениями и весьма, как я заметил, близко приняла к сердцу мое падение, но дон Дьего заподозрил что-то неладное и по виду адвоката, и по всему, что произошло на улице. Это подозрение и стало причиной моего несчастья, помимо всего другого, что со мной случилось.

Самой большой и главной бедой оказалось следующее. Когда я вернулся домой и заглянул в шкатулку, в которой хранились все мои деньги — и те, что остались от полученного наследства, и те, что я выиграл в карты, не считая ста реалов, которые я имел при себе,— то обнаружил, что добрый лисенсиат Брандалагас и Перо Лопес забрали их и исчезли, не оставив ни гроша. Я чуть не умер, я не знал, что делать и как помочь горю. Мысленно я говорил себе: «Горе тому, кто доверяется нечестно заработанным деньгам, ибо они уходят так же, как и пришли! Горе мне! Что же я буду делать?»

Я не мог сообразить, следует ли мне искать похитителей самому или заявить правосудию. Последнее, впрочем, не показалось мне удачным, так как в случае задержания воров они живо донесли бы о моей проделке с монашеским одеянием и о других делах, а это означало бы погибнуть на виселице. Бежать же за ними вдогонку я не решался, ибо не знал куда.

В конце концов, дабы не упустить невесты, на чье приданое я возлагал все свои надежды, я рассудил за благо никуда не бе-

жать, а торопиться со свадьбой. Я пообедал, вечером нанял лошадку и выехал на улицу, а так как у меня не было лакея, то, дабы не обнаружить этого, задерживался на всех углах в ожидании какого-нибудь человека, который мог бы сойти за моего слугу. Когда такой человек появлялся, я двигался следом за ним и, таким образом, без его ведома превращал его в своего прислужника. Добравшись до конца улицы, я снова спрятался за угол и ждал до тех пор, пока не появлялся еще один подходящий человек.

Не знаю, сама ли очевидность, свидетельствовавшая, что я и есть тот самый бродяга, которого я напоминал дону Дьего, или же подозрительная история с лошадью и лакеем адвоката, или же что-либо другое, но что-то заставило дона Дьего разведать, кто я такой и на какие средства живу. Он стал меня выслеживать и в конце концов напал на истину самым неожиданным образом, ибо я уже сильно продвинул дело с необходимыми для свадьбы бумагами, а на него всячески наседали дамы. Однажды, разыскивая меня, он наткнулся на лисенсиата Флечилью — того самого, что пригласил меня отобедать у своей сестры, когда я жил вместе с угодившими потом в тюрьму кавалерами. Рассерженный тем, что я не вернулся закончить с ним разговор, Флечилья в беседе с доном Дьего, зная, что я был у того в слугах, рассказал ему о нашей случайной встрече, о том, как он повел меня обедать, и прибавил, что дня два назад он встретил меня верхом на коне, хорошо одетым, и я-де сообщил ему о своей близкой женитьбе на богатой невесте. Дон Дьего, не теряя времени, поспешил домой и, встретив на площади у Пуэрто-дель-Соль двух знатных кавалеров — моих друзей: одного с орденским знаком, а другого с цепью,— рассказал им обо всем и попросил быть готовыми к тому, чтобы подкараулить меня на улице и намять мне бока. Он предуведомил их, что на мне будет его плащ и что по этому плащу они меня распознают. Столковавшись и свернув на Песочную улицу, они повстречали меня, столь ловко скрыв все трое свои истинные намерения, что я почувствовал, как никогда, их дружеское ко мне расположение. Мы поговорили о том, что́ можно было бы предпринять вечером до звона к «Аве Мария», потом друзья мои распрощались, а мы с доном Дьего направились к церкви святого Филиппа. Дойдя до улицы Мира, дон Дьего сказал:

— Ради бога, дон Фелипе, давайте переменимся плащами: я должен пройти здесь неузнанным.

— Извольте,— ответил я, ничего не подозревая; взял его плащ и в недобрую минуту отдал ему свой. Я предложил ему свои услуги, чтобы уберечь его от удара в спину, но он, у которого только и было на уме, как отыграться на моей, сказал, что ему следует идти одному и пусть я иду своей дорогой. Не успел я, завер-

«История жизни пройдохи по имени дон Паблос».

нувшись в его плащ, отойти на несколько шагов, как вдруг — видно, сам дьявол так распорядился — два молодца, поджидавшие дона Дьего, чтобы рассчитаться с ним за какую-нибудь бабенку, приняв меня за него, кинулись на меня с мечами и обрушили на мою спину и голову град ударов плашмя. Я поднял крик. По голосу и моему виду они поняли, что я не дон Дьего, и удрали, оставив меня избитым посреди улицы. Я постарался прикрыть свои синяки, но некоторое время не осмеливался двинуться с места. Наконец, в полночь, в обычное время моих свиданий с невестой, я добрался до ее дверей, как вдруг навстречу мне выскочил один из тех кавалеров, которых подговорил дон Дьего, и свалил меня на землю двумя ударами дубины по ногам. В это время подскочил другой, полоснул меня кинжалом по лицу от уха до уха, отнял плащ и, оставив лежать на земле, промолвил:

— Так рассчитываются с подлыми обманщиками и плутами.

Я начал кричать и просить священника для исповеди, не ведая, откуда свалилась на меня такая напасть. По смыслу сказанных слов мне казалось, что это мог быть и хозяин того дома, который я покинул при помощи выдумки с инквизицией, и обманутый мною начальник тюрьмы, и мои удравшие приятели. Со стольких сторон мог я ожидать расправы, что не знал, куда мне кинуться,— один лишь дон Дьего был у меня вне подозрений. Я кричал: «Караул! Грабят!» На крик явилась полиция. Меня подняли и, видя, что на лице моем красуется рытвина длиною в ладонь и плащ украден, и не зная, в чем дело, потащили врачеваться к какому-то цирюльнику, и он оказал мне необходимую помощь. Затем полицейские спросили, где я живу, и отвели меня домой.

Меня уложили в постель, и всю эту ночь я провел в необычайном смущении и в раздумьях. Физиономия моя была разрезана на две части, тело избито и измолочено, ноги столь изувечены палкой, что я не мог держаться на них. Я был изранен и оборван, да так, что не мог уже ни вести дружбу с моими знакомыми, ни готовиться к свадьбе, ни оставаться в столице, ни выехать из нее.

ГЛАВА XXI

О моем излечении и других удивительных событиях

И вот на другое утро, вместе с восходящим солнцем, появилась над моим изголовьем хозяйка дома, старуха весьма почтенного возраста (ей стукнуло пятьдесят пять — набери она столько очков, играя в примеру, она бы выиграла) с крупными четками и с лицом, похожим не то на сушеный персик, не то на ореховую скор-

лупу — так было оно изборождено морщинами. Сумев приобрести у местных жителей добрую славу, она могла ложиться спать со спокойной совестью, а также со всеми теми, кто испытывал склонность утолить ее желания. Прозывалась она Марией Наставницей, дом свой отдавала внаем, а также была на побегушках у всех, кто желал снять себе на время другое помещение. Жильцы не переводились на этом постоялом дворе круглый год. Стоило посмотреть, как учила она какую-нибудь девчонку кокетничать, прикрываясь плащом, и что советовала оставлять открытым. Ту, у которой были красивые зубы, учила она смеяться всегда, даже выражая соболезнование; ту, чьи руки славились красотой, она обучала постоянно фехтовать ими, как шпагами; русой советовала почаще встряхивать волосами и стараться, чтобы из-под плаща или шляпки выбивался локон или прядка волос; девушек с красивыми глазами она учила ловко ими стрелять, а тех, у кого был томный взгляд, учила их щурить или возводить к небу. Так как была она опытна в делах косметических, то приходили к ней женщины от природы черные, как галки, и она так отделывала им лица, что по возвращении домой из-за белизны лика их не узнавали собственные мужья. А уж в чем она была истинным мастером, так это в деле восстановления утраченной девственности. За какую-нибудь неделю, что пробыл я в ее доме, своими глазами насмотрелся я, как она все это проделывала. Сверх того, обучала она женщин, как облапошивать доверчивых людей, да притом с какими присловьями это делать. она учила их также, как выклянчивать подарки: молодых девчонок — так просто, взрослых женщин — требуя их как нечто должное, а старух — используя чувство уважения и благодарности. У нее были одни приемы для выпрашивания денег и другие — для выманивания колец и цепочек. Как на высшие авторитеты, она ссылалась на Виданью — свою конкурентку в Алькала и на Пласиосу из Бургоса — женщин, способных провести всех и вся. Все это рассказывается здесь, чтобы меня пожалели, узнав, в какие руки я попал, и взвесили должным образом те слова, которые мне сказала старуха. Начала она, по своей привычке изъясняясь пословицами, следующим образом:

— Где все берут да не кладут, сынок дон Фелипе, там скоро и до дна дойдут; из чего пыль — из того и грязь, какова свадьба — таковы и оладьи. Я тебя не понимаю, не знаю я и твоих жизненных правил, человек ты молодой, и не удивит меня нисколько, если ты иной раз и выкинешь какую-нибудь шалость, невзирая на то что и во сне мы спешим к могиле. Я сама не больше чем горсть праха, а оттого и могу так говорить с тобой. Все говорят мне, что ты, сам не зная как, растратил большое состояние и что тебя видели здесь то студентом, то жуликом, то кавалером, и все по милости людей,

с которыми ты заводил знакомства. Скажи мне, с кем ты водишься, сынок, и я скажу тебе, кто ты; каждой овечке свой барашек. Знай, сынок, что пока несешь ко рту ложку супа, он может пролиться. Послушай-ка, дурачок: если уж тебе так приспичило иметь бабу, знай, что в наших краях я главный оценщик этого товара и что живу я на доходы с этой работы. Хочешь жить правильно и разумно, сынок, не бегай ты то с тем, то с другим проходимцем за какой-нибудь размалеванной шлюхой или продувной бестией, которая снашивает юбки с тем, кто ей даст на новые рукава. Клянусь тебе, ты сумел бы сохранить не один дукат, вовремя обратившись ко мне, ибо я совершенная бессребреница; и еще клянусь моими дорогими покойничками, и да будет мне самой ниспослана мирная кончина, не попросила бы я тебя уплатить мне нынче за постой, не будь мне нужды в деньгах на разные свечечки и травки.

Дело было в том, что она бойко торговала всякими снадобьями, не будучи аптекарем, и если ее подмазывали, то и она, в свою очередь, умащивала себя, что давало ей возможность ночью упархивать через дымовую трубу.

Видя, что болтовня и проповедь ее закончились просьбой о деньгах и что, хотя таково было ее главное намерение, она этой просьбой заключила, а не начала свою речь, как сделали бы ей подобные, я не удивился ее визиту, тем более что за все время, что я у нее жил, она ни разу меня не навещала, а только однажды явилась объясниться по поводу якобы дошедших до меня слухов о ее занятиях колдовством и о том, что ее разыскивали, но она успела скрыться. Пришла она, чтобы рассеять мои подозрения насчет всего этого и сказать, что дело касается совсем другой старухи, тоже по прозвищу Наставница. После этого мы не должны удивляться, что с такими наставниками все мы бредем отнюдь не по прямой дороге.

Я отсчитал ей денежки, но, пока она их получала, злая судьба, которая меня не забывает, и черт, который обо мне всегда помнит, захотели, чтобы ее пришли арестовать за незаконное сожительство, будучи уверены, что дружок ее находится у нее в доме. Вошли в мою комнату и, увидев, что я лежу в постели, а она — рядом со мной, набросились на нас обоих, дали мне пять-шесть здоровенных тумаков и сбросили с кровати. Ее же в это время держали двое других, обзывая сводней и ведьмой. Кто бы мог подумать такое о женщине, которая вела вышеописанный образ жизни! Услыхав крики альгвасила и мои громкие жалобы, ее приятель — фруктовщик, находившийся в задней комнате, пустился наутек. Они же, увидев это и узнав от другого постояльца, что я не был ее дружком, бросились за тем плутом и поймали его, я же остался с выдранными волосами и весь избитый. Несмотря на

все мои мучения, я смеялся над тем, что эти негодяи говорили старухе. Один из них, глядя на нее, уверял:

— Сколь хороши вы будете, матушка, в митре, и до чего мне будет весело смотреть, как в вас запустят тысчонки три реп за ваши услуги!

Другой:

— Уж у господ алькальдов перья подобраны что надо, дабы украсить вас как положено.

Наконец привели и того плута и обоих связали. У меня попросили прощения и оставили меня одного.

Я вздохнул с некоторым облегчением, видя, как обернулись дела моей хозяйки. Таким образом, у меня не оставалось иной заботы, как только подняться с одра болезни вовремя, чтобы запустить в нее апельсином, хотя, судя по тому, что говорила одна из оставшихся в доме служанок, пребывание в тюрьме моей хозяйки представлялось сомнительным, ибо служанка толковала что-то о ее способности летать по воздуху и о других вещах, которые не очень-то мне понравились. Я оставался на излечении в этом доме еще неделю и даже после этого едва-едва мог выбраться на улицу. Пришлось наложить мне двенадцать швов на лицо и обзавестись костылями.

Я оказался без денег, ибо мои сто реалов ушли на лечение, еду и постой. Поэтому, дабы больше не тратиться, так как денег у меня не было, решился я выползти из дому на костылях и продать мою одежду — куртки и воротники, вещи все до одной очень хорошие. Так я и сделал и на вырученные деньги обзавелся старым колетом из дубленой кожи, отличной курткой из грубого рядна, залатанным и широким нищенским плащом, гетрами и огромными башмачищами. На голову накинул я капюшон, а на грудь повесил бронзовое распятие. Обучил меня необходимому жалобному тону и причитаниям нищего один бедняк, который отлично разбирался в этом искусстве, в котором я и начал упражняться на улицах. Оставшиеся у меня шестьдесят реалов я зашил в куртку и стал изображать из себя нищего, полагаясь на свойственное мне красноречие. Целую неделю бродил я по улицам в таком виде, завывал самым жалобным голосом и попрошайничал с молитвами: «Подайте, добрый христианин, слуга господень, бедному калеке, покрытому язвами, ибо вижу пред собою вожделенное, а достигнуть его не могу». Это я говорил в будни, а в праздники заводил на другой лад: «Правоверные христиане, преданные служению господнему, ради царицы небесной, матери бога нашего, подайте милостыню бедному калеке, пораженному рукою всевышнего». Тут я на мгновение останавливался, что было весьма важно, и затем прибавлял: «Ядовитый воздух в недобрый час, когда я трудился на виноград-

нике, сковал мне члены, а раньше был я таким же здоровым, каким вижу вас и дай вам бог всегда быть!»

В ответ на меня так и сыпались, спотыкаясь друг о друга, мараведи. Я отлично зарабатывал и, быть может, имел бы еще больше дохода, не попадись на моей дороге уродливый, без обеих рук и без одной ноги молодчик, который кружил на тележке по тем же улицам, что и я, и собирал больше милостыни, так как выпрашивал ее менее учтивым образом. Говорил он хриплым голосом, переходящим под конец в визг: «Вспомните, рабы Суса Христа, о том, кого покарал господь за грехи; подайте бедняку, и да будет угодна господу ваша жертва». Потом он прибавлял: «Подайте, ради доброго Суса»,— и зарабатывал так, что любо-дорого было смотреть. Я это заметил и перестал говорить, «господи Иисусе Христе», а начал говорить «господи Сусе Христе», отбросив начальное «и», чем пробуждал в слушателях большое сострадание. В конце концов я изменил кое-какие выражения и стал зарабатывать огромные деньги.

Ходил я на костылях, засунув обе ноги в кожаный мешок и перевязав их. Спал я в подворотне дома одного костоправа вместе с нищим с ближайшего перекрестка,— это был один из самых великих мошенников, которых когда-либо создавал господь бог. Был он богатейшим человеком и являлся чем-то вроде нашего ректора, так как зарабатывал больше нас всех. У него была большая грыжа, кроме того, он туго перевязывал себе веревкой плечо, так что вся рука казалась распухшей, воспаленной и недействующей. Он ложился на спину грыжей кверху, а была она такая же большая, как самый большой шар для игры в шары, и приговаривал: «Взгляните на нищету и на то, чем одарил господь бог христианина». Если проходила женщина, он говорил: «Прекрасная сеньора, да пребудет господь в душе вашей». Большинство из них подавали ему милостыню за то, что он называл их красавицами, и старались пройти мимо него, хотя путь их лежал совсем в другую сторону. Если проходил солдатик, он говорил: «Ах, сеньор капитан!», а если другой какой человек, то: «Ах, сеньор кабальеро!» Если кто-нибудь ехал в карете, то он обращался к нему или «ваше превосходительство», или «ваша светлость», а если проезжал священник на муле, то величал его не иначе как «ваше преосвященство». Словом, льстил он всем ужасно. В праздник каждого святого он имел особо приноровленную к нему манеру просить. Я так с ним подружился, что он открыл мне секрет, благодаря которому мы разбогатели за два дня. Дело же было в том, что на этого бедняка работало трое мальчишек, собиравших на улицах милостыню и воровавших все, что попадало им под руку. Они отчитывались перед ним, а он все это загребал себе. Кроме того, входил он в дело к двум молодцам по части церковных кру-

жек и получал положенное от кровопусканий, которые эти кружки претерпевали.

Я решил последовать его примеру, и народ повалил ко мне. Меньше чем через месяц я сколотил себе больше двухсот реалов чистоганом. Этот же нищий наконец открыл мне, имея в виду пригласить меня работать на пару, свой величайший секрет в высшем искусстве нищенства, и этим искусством занялись мы оба. Состоял же он в том, чтобы красть маленьких детей, каждый день двоих или четверых, а то и пятерых. О пропаже их объявлялось во всеуслышание на улицах, и тогда мы шли по адресам родителей и заявляли:

— Ну, конечно, сеньор, я его нашел, а если бы не я, то его переехала бы повозка; сейчас же он у меня дома.

Нам давали награду за находку, и мы богатели с такой быстротой, что скоро у меня оказалось пятьдесят эскудо. К этому времени ноги у меня зажили, хотя я еще перевязывал их. Я решил уехать из столицы и направиться в Толедо, где ни я никого не знал, ни обо мне никто не ведал. В конце концов я собрался в путь, купил себе одежду темного цвета, воротник и шпагу и, распрощавшись с Валька́саром — так звали нищего, о котором я рассказывал,— стал искать по заезжим домам, на чем мне добраться до Толедо.

ГЛАВА XXII,

в которой я становлюсь странствующим комедиантом, поэтом и ухаживателем за монахинями, чьи свойства обнаруживаются самым приятным образом

На одном постоялом дворе нашел я труппу странствующих комедиантов, направлявшихся в Толедо. У них были три телеги, и провидению было угодно, чтобы среди них оказался один мой бывший сотоварищ по учению в Алькала, отрекшийся от науки и занявшийся актерским ремеслом. Я сказал ему, что мне необходимо уехать в Толедо и выбраться из столицы. Человек этот едва узнал меня, настолько я был исполосован, и не переставал творить крестные знамения, видя, как здорово я был окрещен чьим-то клинком. В конце концов за мои деньги он оказал мне любезность, отвоевав у остальных местечко для меня, чтобы я мог ехать вместе с ними. Ехали мы в телегах вперемежку, мужчины и женщины, и одна из них, а именно танцовщица труппы, которая, кроме того, играла роли королев и всяких важных особ, показалась мне весьма занятной тварью. Случилось так, что муж ее оказался рядом со мною, и я, понятия не имея, с кем говорю, подстрекаемый вожделением, спросил:

— С какой стороны подступиться мне к этой женщине, чтобы истратить на ее милости двадцать или тридцать эскудо? Она мне кажется красивой.

— Мне не подобает ни говорить про это, ни соваться в такие дела, так как я прихожусь ей мужем,— сказал этот человек,— но, говоря беспристрастно, ибо никакие страсти меня не волнуют, на нее можно было бы истратить любые деньги, ибо ни другого такого тела, ни другой такой резвушки в делах любовных нет на всей земле.

Сказав это, он соскочил с нашей телеги и сел в другую, как кажется, для того только, чтобы дать мне случай заговорить с ней. Мне понравился ответ этого человека, и я заметил себе, что к нему применимо выражение одного негодяя, который, употребляя слова апостола Павла в дурном смысле, говаривал, что для таких людей что иметь жену, что не иметь ее — все едино. Я воспользовался случаем заговорить с нею, и она, спросив меня, куда я направляюсь, поинтересовалась слегка моей жизнью. В конце концов, выяснив все, мы отложили наши дела до приезда в Толедо.

По дороге мы здорово веселились. Случайно я стал представлять отрывок из комедии об Алексее Божьем Человеке, которую помнил с детства, и разыграл этот отрывок так, что у моих собеседников возникло желание привлечь меня в свою труппу. Когда же я рассказал моему другу, ехавшему вместе с нами, о моих несчастьях и неприятностях, он спросил меня, не желаю ли я тоже стать комедиантом; при этом он расписал мне жизнь странствующих комедиантов такими заманчивыми красками, что я, не зная, куда бы мне приткнуться, и к тому же увлеченный этой красивой бабой, подписал на два года контракт с директором. Я дал ему подписку в том, что останусь в его труппе, и он обещал содержать меня и, кроме того, платить мне за каждое представление; так мы доехали до Толедо.

Мне дали выучить три лоа и несколько ролей стариков, для чего голос мой оказался весьма подходящим. Я все выполнил с большим старанием и в Толедо впервые выступил с прологом. Речь в нем шла о корабле,— как это часто бывает в прологах,— потерпевшем крушение и оставшемся без провианта. Я говорил: «Се гавань», называл зрителей «сенатом», просил у них прощения «за наши недостатки», взывал к их вниманию и наконец ушел с подмостков. Меня проводили одобрительным гулом; словом, на подмостках я оказался на своем месте.

Мы играли комедию, сочиненную одним из наших актеров, и я очень удивился, что из актеров могут выходить поэты, ибо полагал, что сочинять комедии могут только мудрые и ученые, а не такие невежды. Однако в наше время нет такого директора труппы,

который не писал бы комедий, или актера, который не сочинил бы своего фарса о маврах и христианах. Раньше же, помню, если комедия не была сочинена славным Лопе де Вегой или Рамоном, то ее и не ставили. Словом, комедия нашего актера была разыграна в первый же день, и никто ничего в ней не понял. На второй день мы поставили ее снова. Судьбе было угодно, чтобы начиналась она войной, и я вышел на сцену вооруженный и с маленьким круглым щитом, и это было мое счастье — иначе я бы погиб под градом гнилой айвы, кочерыжек и огурцов. Такого дождя всякой дряни еще не было видано на свете, но комедия заслуживала именно этого, потому что в ней был выведен ни к селу ни к городу король Нормандии в одежде отшельника, затем, для того чтобы рассмешить публику, два лакея, а к концу все действующие лица успевали переженироваться и повыходить замуж — вот и все. Словом, получили мы по заслугам. После этого мы набросились с упреками на нашего товарища — сочинителя, и больше всех я. Я посоветовал ему принять во внимание все то, чего мы чудом избежали, и в следующий раз думать о том, что делаешь. На это он поклялся всевышним, что в комедии не было ни слова, принадлежащего ему, а что он сшил ее, как плащ бедняка, взяв один кусок из одной комедии, другой — из другой, и что вся беда произошла оттого, что швы не везде сходились. Он признался мне, что когда комедианты берутся писать комедию, они остаются у многих в долгу, ибо невольно делают своим то, что уже когда-то играли; что дело это отнюдь не трудное и что жажда нажить триста или четыреста реалов вводит их в соблазн и заставляет пускаться на риск. С другой стороны, разъезжая по разным городам, они встречаются со всякого рода авторами и забирают у них комедии как бы на просмотр, а на самом деле просто воруют их, и, подставив свою чепуху вместо чего-нибудь удачно сказанного, выдают за свое сочинительство. Сказал он мне также, что испокон веку не было на свете комедиантов, которые умели бы сочинять стихи иным способом. Способ этот показался мне плохим.

Сознаюсь, я почувствовал склонность к такому занятию в силу природного влечения моего к поэзии, тем более что я был уже знаком с некоторыми поэтами и читал Гарсиласо. Таким образом, решил я посвятить себя этому искусству.

Итак, я проводил дни, занимаясь поэзией, актеркой и актерством. Уже месяц, как мы находились в Толедо, и за это время состряпали много хороших комедий, тем самым исправляя ошибку наших прошлых дней. Вскоре я приобрел уже некоторую известность и назывался теперь Алонсете, ибо в начале знакомства сказал актерам, что меня зовут Алонсо. Вместо фамилии меня называли Жестоким, так как это была роль, в которой имел я большой успех у мушкетеров и прочей черни. Теперь было у меня уже три

костюма, и находились даже директора других трупп, пытавшиеся сманить меня к себе на службу. Я уже мог говорить, что разбираюсь в комедиях, находил недостатки в лучших из них, критиковал мимику Пинедо, подавал свой голос за спокойную естественность Санчеса, а Моралеса считал лишь ничего себе; моего совета просили при украшении театрального зала, со мною же советовались и по части декораций и машин. Если кто-нибудь приходил к нам читать новую комедию, то выслушивал ее прежде всего я.

Ободренный этим успехом, нарушил я наконец девственность моего поэтического дарования романсом, а потом написал интермедию, и оказалось, что вышло неплохо. Рискнул я написать и комедию, а чтобы она получилась божественной во всех отношениях, то сочинил я ее на тему о богоматери с четками. Начиналась она звуками свирелей, действующими лицами были души чистилища и черти, которые тогда были в большой моде. Зрителям очень понравилось в виршах упоминание о сатане и то, что говорилось тут же о его падении с неба, и тому подобное. Наконец комедия моя была представлена и имела успех.

У меня было столько работы, что просто рук не хватало, то и дело являлись ко мне влюбленные — кто за стихами о бровях, кто за поэмами о глазах, кто просил сонета о руках или романса о волосах. Каждое такое произведение расценивалось по таксе, хотя, в силу того что имелись и другие лавочки, торговавшие подобным товаром, старался я брать дешевле, чтобы привлечь покупателей. Из-за рождественских вильянсико кишмя кишели вокруг меня сакристаны и монашки, ходившие по домам; слепцы поддерживали мое существование молитвами, которые я писал для них по восьми реалов за штуку. Помнится мне, что в то время сочинил я молитву к Судье праведному, столь торжественную и звучную, что не подать после нее милостыню было совершенно невозможно. Для одного слепца я написал, а он потом выдал его за свой, тот знаменитый духовный стих, который начинается так:

Милости яви мне, дева,
Дочь предвечного отца,
Чье Христа носило чрево и т. д.

Я был первый, кто ввел обычай заканчивать духовные стихи, на манер проповедей, просьбой об отпущении грехов в этой жизни и о блаженстве на том свете, как произносилось в молитве тетуанского пленника:

Молим, полные смиренья:
«Ты, Христос, что всех невинней,
За раденье наше ныне
Отпусти нам прегрешенья,
Дай блаженство по кончине. Аминь».

Плыл я на всех парусах по морю сочинительства, богатый и благополучный настолько, что подумывал уже сам стать директором труппы. Дом мой был отлично прибран и украшен, ибо, для того чтобы недорого обить чем-нибудь его стены, я пустился на дьявольскую хитрость: купил, обойдя таверны, куски материи с чужими гербами и развесил их потом у себя. Обошлись они мне реалов в двадцать пять или тридцать, были из себя виднее, чем те, что красуются у короля, уже потому хотя бы, что сквозь мои было видно решительно все — настолько они были дырявые, а сквозь королевские ничего усмотреть нельзя.

Однажды приключилась со мной очень смешная история, и хотя случилась она к вящему моему позору, но рассказать ее я должен. Сочиняя как-то комедию, я забрался на чердак того постоялого двора, где жил, и проводил там все время; приходила туда служанка с обедом, ставила его рядом со мной и уходила. У меня было обыкновение представлять все сочинения в лицах и декламировать громким голосом то, что я писал. Дьяволу взбрело на ум устроить так, что именно в тот час и тот момент, когда служанка поднималась по узкой и темной лестнице, держа тарелку с ольей в руках, я как раз сочинял то место комедии, где у меня говорилось об охоте, и принялся восклицать громким голосом:

Эй, спасайся, кто как может!
На меня медведь нагрянул,
Задерет тебя он тоже.

Что ж подумала служанка, которая была родом из Галисии, когда услышала мой возглас: «Эй, спасайся, кто как может!»? Она решила, что все это правда и я хочу предупредить ее об опасности. Тут бросается она бежать, в смятении запутывается в собственных юбках и катится вниз головой по всей лестнице, пролив олью и перебив тарелки; с криком выбегает на улицу, говоря всем, что медведь задирает человека, и как я ни торопился, несясь вслед за ней, уже застал всех соседей в сборе. Все спрашивали, где медведь, и даже после того, как я объяснил им, что все произошло от невежества служанки, ибо то, что я говорил, относилось к комедии, никто из них мне не поверил. В этот день я так и не пообедал. Об этом узнали мои товарищи по труппе, и сплетня о медведе пошла по всему городу. Такие вещи случались со мною неоднократно. Пока продолжал я заниматься поэзией, от неприятностей отбоя не было. Случилось однажды, что к директору моей труппы — все они этим кончают,— узнав, что в Толедо дела его шли хорошо, приступили некие люди с требованием уплатить какой-то долг. Он был посажен в тюрьму, и после этого труппа наша распалась и каждый пошел своей дорогой. Я, говоря по правде, хоть и приста-

вали ко мне мои товарищи, желая ввести меня в другие труппы, только думал, как бы поразвлечься, поскольку одет я был хорошо и денежки у меня водились, а к подобной профессии я больше не стремился, ибо работа моя у них была вызвана только жестокой необходимостью. Я распростился со всеми, они уехали, а я, решив, что заживу прилично, как только перестану быть бродячим комедиантом, сразу попал,— да простит меня ваша милость, — в обожатели при монастырской решетке, или, говоря яснее, стал покушаться на роль папаши антихриста, или, что все равно, воздыхателя при монахинях. Мне представился случай влипнуть в эту кашу потому, что я связался с одной черницей, по просьбе которой сочинил множество рождественских стихов и которая влюбилась в меня на представлении действа в праздник тела Христова, где я исполнял роль евангелиста Иоанна. Ухаживала эта монахиня за мной самым старательным образом. Однажды она сказала мне, что единственно, чем она расстроена, так это тем, что я стал актером. Сказано это было потому, что я наврал ей, будто я сын весьма знатного дворянина, и тем самым внушил ей сострадание. Наконец я решился написать ей следующее письмецо.

Письмо

Больше для того, чтобы угодить вашей милости, нежели ради собственного моего удобства покинул я компанию моих товарищей по труппе, ибо всякая компания без вас является для меня одиночеством. Теперь, принадлежа больше самому себе, тем более буду я принадлежать вам. Сообщите мне, когда в монастыре очередной день свидания, и я буду знать, когда я буду иметь счастье, и т. д.

Это письмецо отнесла дежурившая у входа послушница. Трудно вообразить себе, до чего обрадовалась моя милая монашка, узнав о перемене в моем положении. Ответила она мне следующим образом.

Ответ

Радостные события в вашей жизни заставляют меня думать, что вы сами не замедлите поздравить себя с принятым решением, поэтому не поздравляю вас с ним. Мне было бы очень грустно, если бы мое желание не совпало с вашим благом. Можно сказать, что вы обрели самого себя. Теперь вам остается проявить такую же настойчивость, какую проявляю я. Боюсь, что сегодня приемного дня в монастыре не будет, но да не преминет ваша милость прийти к вечерне, так как там мы сможем увидеться, а затем можно будет поговорить и через окно. Быть может, мне удастся обмануть бдительность настоятельницы, а пока прощайте.

Мне очень понравилась эта записка; видно было, что эта женщина все понимала с полуслова. К тому же была она весьма красива. Я отужинал и надел на себя костюм, в котором обычно играл роль первых любовников в комедиях. Затем я пошел в церковь, помолился и начал внимательно осматривать все завиточки и дырочки монастырской решетки. Смотрел я во все глаза, дабы не проморгать ее появления, и в добрый час, когда было угодно богу, или, скорее, в недобрый час, по воле черта, услыхал я древний, как мир, сигнал покашливанием. В ответ я стал кашлять сам, и пошел тут у нас такой кашель, что можно было подумать, будто по всей церкви рассыпали перец. Наконец, когда я устал кашлять, из-за решетки выглянула кашляющая старуха. Тут познал я всю глубину моего несчастья, затем что знак кашлем в монастырях — вещь весьма опасная, ибо если для молодых женщин он служит лишь сигналом, то у старухи является привычкой, и горе тому мужчине, который, думая, что это призыв соловья, обнаруживает, что это карканье вороны. Долгое время я проторчал в церкви; наконец началась вечерня. Прослушал я ее всю до конца: ведь за это людей, ухаживающих за монахинями, называют «торжественными воздыхателями» — по торжественным вечерням, кои им приходится прослушивать. Кроме того, для них все время длится вечер любви, поскольку ночь любви так и не наступает. Невозможно сказать, сколько пришлось мне переслушать этих вечерних служб. Шея моя стала на добрых два аршина длиннее, чем была до ухаживания,— так сильно приходилось мне вытягивать ее, чтобы лучше видеть. Я очень подружился с сакристаном, а также со служкой; хорошо относился ко мне и викарий, человек характера довольно жестокого. Держался он столь прямо, что казалось, будто за завтраком он проглатывал вертел, а за обедом ест одни лишь арбалетные стрелы.

Сходил я и постоять под окнами монастыря. Туда, даром что площадь была просторная, приходилось посылать кого-нибудь занять места загодя, часов с двенадцати дня, словно на представление новой комедии. Тут все кишело набожными поклонниками. В конце концов нашел и я себе местечко. Стоило сходить туда, чтобы полюбоваться диковинными позами влюбленных кавалеров. Один, положив руку на рукоять шпаги, а в другой держа четки, стоял и смотрел, не мигая, словно каменное изваяние с надгробного памятника. Второй, протянув руки вперед и раскрыв ладони, словно для получения стигматов, пребывал в позе истинно серафической; третий, у которого рот был открыт шире, чем у нищей попрошайки, не произнося ни слова, показывал предмету своей страсти собственные внутренности через глотку; четвертый, прилепившись к стене, жал на кирпич так, словно хотел измерить свой

рост у выступающего угла; иной прогуливался, как будто его должны были полюбить за его поступь, словно мула; кто-то еще стоял с письмецом в руке, похожий на охотника, который кусочком мяса приманивает своего сокола. Ревнивцы составляли группу другого рода; одни держались кучками, посмеиваясь и глядя на монахинь, другие читали стихи и показывали их предмету своей любви; кто-то для уязвления прогуливался на площадке перед монастырем с женщиной, иной разговаривал с мнимой служанкой, которая якобы принесла ему записку. Так было внизу, то есть там, где находились мы. Но стоило посмотреть и на то, что творилось наверху, там, где находились монахини. Смотрины состояли в том,что монахини появлялись в сквозной башенке с такими ажурными украшениями, что казалась она не то песочницей, не то резным флакончиком для духов. Все отверстия ее пестрели различными сигналами. Здесь виднелась ручка, там ножка, в другом месте был настоящий субботний стол: головы и языки, только мозгов недоставало, а дальше была истинная лавка щепетильника: одна показывала свои четки, другая махала платком, в третьем месте высовывали перчатку, поодаль мелькала зеленая ленточка. Одни говорили довольно громко, другие кашляли, а одна, подражая продавцу шляпами, двигала пальцами, как паучьими лапками, и присвистывала.

Надо видеть, как летом несчастные поклонники не то что греются на солнышке, а прямо-таки опаляются дневным светилом. Весьма забавно наблюдать, как в то время как из воздыхателей получается чуть ли не жаркое, их дамы сохраняются в первоначальной свежести. Зимой от сырости у иного из нас на теле начинает прорастать всякая зелень и заводится кресс-салат.

Нет снега, который на нас не падал бы, ни дождя, который бы нас не мочил. И все претерпевали эти муки всего лишь для того, чтобы видеть какую-то женщину за решеткой и стеклом, наподобие мощей. Это все равно что влюбиться в дрозда в клетке, если женщина болтлива, а если молчалива — все равно что в портрет. Все ее ласки ограничиваются прикосновениями, которые никогда ни к чему не приводят,— это всего лишь барабанная дробь пальцами. Они просовывают головы свои в решетки, и любовные жалобы доходят до них только через узкие, высокие окна, напоминающие бойницы. Любят они тайком. Так ли приятно слушать, как слова любви произносятся шепотом, точно молитва? Или терпеть ворчанье старух, помыканье привратниц, вранье дежурных послушниц и — самое мучительное — выдерживать сцены ревности из-за тех женщин, которые нам доступны, выслушивать, что только их любовь — настоящая, и видеть, к каким дьявольским ухищрениям они прибегают, чтобы доказать это нам.

Под конец я уже звал настоятельницу просто сеньорой, викария — отцом, а сакристана — братцем, то есть достиг всего того, чего с течением времени добивается безнадежный влюбленный. Мне стали уже надоедать привратницы, меня отгонявшие, и монахини, к себе зовущие. Я подумал о том, как дорого мне стоил тот самый ад, который другим достается столь дешево, и притом здесь же, на земле, без всякого труда; видел я, что душа моя гибла из-за пустяков и шла прямо в геенну огненную по одной лишь тропе осязания. Если я и разговаривал, то, для того чтобы меня не слыхали остальные, находившиеся у той же решетки, мне приходилось так плотно прижиматься к ней головой, что на лбу моем два дня спустя были еще видны следы от железных прутьев, и говорить так тихо, как иерей, освящающий святые дары. Всякий, кто меня видел, не мог пройти мимо, не сказав: «Будь ты проклят, монастырский любовник», и многое другое, еще того хуже.

Все это заставляло меня не раз задумываться, и я уже готов был навсегда покинуть мою монахиню, хотя это и лишало меня поддержки. Окончательно решился я на это в день Иоанна Богослова, ибо тут только я убедился воочию, чего эти монахини стоят. Достаточно будет сказать вашей милости, что все черницы общины Иоанна Крестителя к тому дню нарочно охрипли, и голоса у них были такие, что вместо того чтобы пропеть мессу, они ее всю простонали. Они даже не умыли себе лица и оделись во все старое, а поклонники монахинь этой общины, желая умалить значение другого святого Иоанна, натащили в церковь деревянных скамеек вместо стульев и привели с собой множество голодранцев с толкучего рынка.

Когда я увидел, что каждая монахиня стоит за своего святого, а чужого поносит зазорными словами, то забрал у моей монашки, будто бы для лотереи, на пятьдесят эскудо разного монастырского шитья, шелковых чулок, мешочков с янтарем и сластями и направил стопы свои в Севилью, опасаясь, если бы я стал еще медлить, как бы в приемной монастыря не выросли мандрагоры. Что переживала монахиня — не столько из-за моего исчезновения, сколько из-за пропажи своих вещей,— да вообразит себе набожный читатель.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

О том, что случилось со мной в Севилье до отплытия в Индию

Совершил я путь из Толедо в Севилью вполне благополучно, тем более что деньги у меня не переводились. Дело в том, что я уже овладел основами шулерской игры, и у меня были кости, начиненные грузом так, что я мог по желанию выбросить боль-

шее или меньшее количество очков, да к тому же правая рука моя занималась укрывательством одной кости, поскольку, беременная четырьмя, она рожала их только три. Кроме этого, у меня был изрядный запас шаблонов разнообразной формы, дабы по ним подрезать карты для разных шулерских приемов.

Не буду рассказывать вам и о всяких иных благоухавших хитростью шутках, ибо, услышав о них, вы бы приняли меня за букет цветов, а не за человека. К тому же лучше предлагать людям какой-нибудь положительный пример для подражанья, чем соблазнять их пороками, от коих они должны бежать. Тем не менее, если я изложу кое-какие приемы и принятые среди шулеров выражения, я смогу просветить несведущих и оградить их от обмана, а если кто окажется облапошенным и после этого, пусть уже пеняет на себя.

Прежде всего не думайте, что если ты сдаешь карты, ты уже застрахован от шулера,— тебе их могут подменить, пока будут снимать нагар со свечи. Далее, не давай ни ощупывать, ни царапать, ни проглаживать карты, ибо таким образом обозначают плохую игру. Если же ты, читатель, принадлежишь к разряду слуг, то имей в виду, что на кухнях и на конюшнях дурные карты отмечаются или при помощи прокалывания булавкой, или при помощи загибания уголка, чтобы узнавать их на ощупь. Если ты вращаешься среди людей почтенных, то берегись тех карт, которые зачаты были во грехе еще в печатне, так как по их рубашке опытный глаз умеет различить, какая карта на обороте. Не доверяйся и совсем чистым картам, ибо для того, кто глядит в оба и запоминает, самая чистая карта оказывается грязной. Смотри, чтобы при игре в картету сдающий не слишком сгибал фигуры (за исключением королей) по сравнению с остальными картами, ибо это верный гроб для твоих денег. За игрой в примеру следи, чтобы при сдаче тебе не подсовывали карт, отброшенных сдающим, и старайся подметить, не переговариваются ли твои противники какими-нибудь условными жестами или произнося слова, начинающиеся с той буквы, с которой начинается нужная им карта. Больше я не стану тебя просвещать; сказанного достаточно, чтобы ты понял, что жить нужно с великой осторожностью, ибо нет сомнения в том, насколько бесконечны всякого рода надувательства, о которых мне приходилось умалчивать. «Угробить» означает на языке подобных игроков — и означает справедливо — вытянуть из вас все деньги; «играть наизнанку» — это значит обжуливать своего ничего не подозревающего приятеля; «пристяжным» именуется тот, кто заманивает в игру простаков, чтобы их общипали настоящие удильщики кошельков; «белыми» зовут простодушных и чистых,

как белый хлеб, людей, а «арапами» — ловкачей, которых ничем не проведешь.

Подобный язык и подобные штуки довели меня до Севильи; деньгами своих встречных знакомых я оплатил наемных мулов, а хозяев постоялых дворов я обыгрывал на еду и постой. Достигнув своей цели, я остановился в гостинице «Мавр» и повстречал здесь одного из своих сотоварищей по Алькала; звали его Мата — имя, которое, за недостатком звучности, он переменил на Маторраль. Он торговал людскими жизнями и был продавцом ножевых ударов. Дело у него шло неплохо. Образцы своего ремесла он носил на собственном лице, и по этим образцам он договаривался с заказчиком о глубине и размере тех ударов, которые он должен был нанести. Он любил говорить: «Нет лучше мастера в этом деле, чем тот, кто сам здорово исполосован»,— и был совершенно прав, так как лицо у него было что решето и кожа казалась дубленой. Он-то и пригласил меня поужинать с ним и его товарищами, обещав, что они проводят меня потом до гостиницы.

Мы отправились, и, войдя в свое обиталище, он сказал:

— Эй, скинь-ка плащ, встряхнись и будь мужчиной, нынче ночью увидишь всех славных сынов Севильи. А чтобы они не приняли тебя за мокрую куфицу, растрепли-ка свои волосы, опусти свой воротник, согнись в плечах, волочи свой плащ по земле, ибо всегда мы ходим с плащом, волочащимся по земле, рожу криви то в одну сторону, то в другую, и говори вместо «р» — «г» и вместо «л» — «в»: гана, гемень, гука, вюбовь, кагта, бутывка. Изволь это запомнить.

Тут он дал мне кинжал, широкий, как ятаган, который по длине своей вполне заслуживал названия меча и только из скромности так не назывался.

— А теперь,— сказал он,— выпей пол-асумбре этого вина, иначе, если ты от него не взопреешь, за молодца ты не сойдешь.

Пока мы занимались всем этим и я пил вино, от которого у меня помутилось в голове, явились четверо его друзей с физиономиями, изрезанными, как башмак подагрика. Шли они вразвалку, ловко обернув плащи свои вокруг пояса. Шляпы с широченными полями были лихо заломлены спереди, что придавало им вид диадем. Не одна кузница истратила все свое железо на рукояти их кинжалов и шпаг, концы которых находились в непосредственном общении с правыми их каблуками, глаза их таращились, усы топорщились, словно рога, а бороды были на турецкий лад, как удила у лошади. Сначала, скривив рот, они приветствовали нас обоих, а затем обратились к моему приятелю и каким-то особенно мрачным тоном, проглатывая слова, сказали:

— ' аш с'уга!

— ' аш кум,— отвечал мой наставник.

Они уселись и не проронили ни одного звука, дабы узнать у Маторраля, кто я такой; только один из них взглянул на него и, выпятив нижнюю губу, указал ею на меня. Вместо ответа мой покровитель собрал в кулак свою бороду и уставил глаза в пол. Тогда они с превеликой радостью повскакали со своих мест, обняли меня и принялись чествовать. Я отвечал им тем же, причем мне показалось, что я отведал вина разного сорта из четырех отдельных бочек.

Настал час ужина. Прислуживать явились какие-то проходимцы. Все мы уселись за стол. Тотчас же появилась закуска в виде каперсов, и тут принялись пить здравицы в мою честь, да в таком количестве, что я никак не мог думать, что в столь великой степени обладаю ею. Подали рыбу и мясо, и то и другое с приправами, возбуждавшими жажду. На полу стояла бадья, доверху полная вина, и тот, кто хотел пить, прямо припадал к ней ртом. Я, впрочем, довольствовался малым. После двух заправок вином все уже перестали узнавать друг друга. Разговоры стали воинственными, посыпались проклятья, от тоста к тосту успевало погибнуть без покаяния чуть ли не тридцать человек. Севильскому коррехидору досталась едва ли не тысяча ударов кинжалом, добрым словом помянули Доминго Тиснадо, обильно было выпито за упокой души Эскамильи, а те, кто был склонен к нежным чувствам, горько оплакали Алонсо Альвареса. Со всем этим у моего приятеля, видно, выскочил какой-то винтик из головы, и, взяв в обе руки хлеб и смотря на свечу, он сказал хриплым голосом:

— Поклянемся этим господним ликом, а также светом, что изошел из уст архангела, что, если сие будет сочтено благоугодным, нынешней ночью мы рассчитаемся с тем корчете, что забрал нашего бедного Кривого.

Тут все подняли невообразимый гвалт и, повытаскав кинжалы, поклялись, возложив руки на края бадьи с вином и тыкаясь в нее ртами:

— Так же, как пьем мы это вино, мы выпьем кровь у каждой ищейки!

— Кто такой этот Алонсо Альварес, чья смерть так всех опечалила? — спросил я.

— Молодой парень,— ответил один из них,— неустрашимый вояка, щедрый и хороший товарищ! Идем, меня уже тянут черти!

После этого мы вышли из дому на охоту за корчете. Отдавшись вину и вручив ему власть над собой, я не соображал, какой опасности себя подвергаю. Мы дошли до Морской улицы, где лицом к лицу с нами столкнулся ночной дозор. Едва только наши храбрецы его завидели, как, обнажив шпаги, бросились в атаку. Я последо-

вал их примеру, и мы живо очистили тела двух ищеек от их поганых душ. При первых же ударах шпаг альгвасил доверился быстроте своих ног и помчался вверх по улице, призывая на помощь. Мы не могли броситься за ним вдогонку, так как весьма нетвердо держались на ногах, и предпочли найти себе прибежище в соборе, где и укрылись от сурового правосудия и выспались настолько, что из наших голов выветрились бродившие там винные пары. Уже придя в себя, я не мог надивиться тому, как легко правосудие согласилось потерять двух ищеек и с какой резвостью бежал альгвасил от той виноградной грозди, какую мы собой представляли.

В соборе мы знатно провели время, ибо, учуяв запах таких отшельников, как мы, явилось туда несколько шлюх, которые охотно разделись, чтобы одеть нас. Больше всех полюбился я одной из них, по имени Грахаль, которая нарядила меня в свои цвета. Жизнь мне эта пришлась весьма по вкусу, больше чем какая-либо другая, и я порешил до самой смерти претерпевать с моей подругой все муки любви и тяготы сожительства. Я изучил воровские науки и в короткий срок стал самым ученым среди всех других мошенников. Правосудие неутомимо искало нас, и хотя дозоры бродили вокруг храма, это не мешало нам выбираться после полуночи из нашего укрытия и, переодевшись так, что нас невозможно было узнать, продолжать свои набеги.

Когда я убедился, что эта канитель будет еще долго тянуться, а судьба еще больше будет упорствовать в преследовании меня, то не из предосторожности — ибо я не столько умен,— но просто устав от грехов, я посоветовался первым долгом с Грахаль и решил вместе с ней перебраться в Вест-Индию, дабы попробовать, не улучшится ли с переменой места и земли мой жребий. Обернулось, однако, все это к худшему, ибо никогда не исправит своей участи тот, кто меняет место и не меняет своего образа жизни и своих привычек.

ЛУИС ВЕЛЕС ДЕ ГЕВАРА

ХРОМОЙ БЕС

ПЕРЕВОД С ИСПАНСКОГО Е. ЛЫСЕНКО

ДОН ХУАН ВЕЛЕС ДЕ ГЕВАРА
СВОЕМУ ОТЦУ

Тебе, в ком зародилась жизнь моя,
Чье пламя дни мне ярко озарило,
Я подражать в трудах принялся было,
Но дух твой мудрый превзошел меня.

Сияет нам поэзия твоя,
Но слава даже светоч сей затмила.
Твоих творений неземная сила
Продлила нам миг краткий бытия.

Твой гений веселит и наставляет,
Не властно время хмурое над ним,
С годами он все более прекрасен.

Здесь тот твои деянья воспевает,
Кто, чтобы сыном быть во всем твоим,
Стать даже росчерком пера согласен.

ЕГО СВЕТЛОСТИ ДОНУ РОДРИГО ДЕ САНДОВАЛЬ,
ДЕ СИЛЬВА, ДЕ МЕНДОСА И ДЕ ЛА СЕРДА,
КНЯЗЮ ДЕ МЕЛИТО, ГЕРЦОГУ ДЕ ПАСТРАНА,
ДЕ ЭСТРЕМЕРА-И-ФРАНКАВИЛЛ И ПРОЧ.

Превосходительный сеньор!

Великодушие Вашей светлости — всех талантов истинное отечество, где им уготован надежный приют,— превозмогло мою робость и побудило извлечь из мрака забвения повесть, завалявшую-

ся среди прочих набросков, написанных забавы ради и названную мною «Хромой Бес», дабы ныне она под покровительством столь славного Мецената отважилась явить миру невежество автора. Зависть иссякнет, злословие онемеет, соперники отступят, увидев меня под хранительной Вашей сенью. С таким поручительством повестушке моей не страшно пуститься в плаванье, показаться открыто среди людей. Да хранит господь Вашу светлость, как того желают и просят слуги Ваши, среди коих

к стопам Вашей светлости припадает
покорный слуга

Луис Велес де Гевара.

ОБРАЩЕНИЕ К СВИСТУНАМ МАДРИДСКОЙ КОМЕДИИ

О вы, обычаем и свычаем поставленные, судьи театральные, вы, свистуны, ненавистные и мне и тебе, читатель! Благодарение богу, на сей раз могу взяться за перо, не опасаясь вашего свиста, ибо рассказ о Хромом Бесе зачат и рожден вне театральных подмостков, а следственно, вашему ведомству не подлежит. Ему не грозит и ваше чтение с пристрастием — ведь из вас мало кто и по складам разбирает. Ваш удел лишь множить число прозябающих на белом свете, торчать в зрительном зале, да, разинув рот, ждать, когда комедиант вас подцепит, как рыбу на крючок, бойкой остротой или забавным коленцем,— к истинному вдохновению вы глухи. Что ж, развлекайтесь, как умеете, вы, прихвостни Фортуны, превозносите до небес бездарный фарс и хулите творение, достойное сиять среди звезд. От вас и гроша медного мне не надобно, лишь у господа прошу я милости для своего рассказа, и пусть, кто хочет, вверяет себя приливам и отливам ваших похвал, от коих да избавит нас всевышний в милосердии своем бесконечном.

К НЕЛИЦЕПРИЯТНОМУ И ПРИЯТНОЛИЦЕМУ ЧИТАТЕЛЮ

Любезный читатель! Повесть сию — не смею назвать ее книгой — я написал в часы, свободные от домашних забот и театральных директоров, сменив жесткое седло поэзии на мягкие подушки прозы, и, поскольку речь в ней идет о Бесе Хромом, разделил рассказ не на главы, а на «скачки». Надеюсь, и ты промчишься по ней

вприскочку,— тогда тебе некогда будет меня бранить, а мне не придется благодарить за внимание. Больше толковать нам не о чем, а посему кончаю письмо, но не мольбы к господу, да сохранит мне твое благоволение.

Писано в Мадриде (день, месяц и год проставь сам, как получишь книгу).
Остаемся и пр. и пр.

Автор и рукопись.

СКАЧОК ПЕРВЫЙ

Было это в Мадриде, в конце июля. Только что пробило одиннадцать вечера — зловещий час для прохожих, а в темную, безлунную пору самое подходящее и законное время для темных делишек и шуточек со смертью. Прадо замирал, изрыгая запоздалые кареты,— там кончалось последнее действие комедии прогулок, а в купальнях Мансанареса столичные Адамы и Евы, скорей испачканные песком, нежели обмытые водой, восклицали: «Расходитесь, река кончилась», когда дон Клеофас Леандро Перес Самбулье, идальго из поместья «Четыре ветра», кавалер многих сквозняков на перекрестке четырех имен, начинающий влюбленный и вечный студент, пробирался на четвереньках, со шпагой и щитом, по коньку одной из мадридских крыш, спасаясь от блюстителей закона, преследовавших его за насилие, в котором он ни сном ни духом не был повинен, хотя в списке должников некоей потрепанной девицы удостоился двадцать второго места. От бедного лисенсиата требовали, чтобы он один оплатил то, чем угощалось столько народу; но так как ему вовсе не хотелось услышать «да будут двое едина плоть» (окончательный приговор священника, иже в силе отменить лишь викарий Заупокой, судья мира иного), то он, не долго думая, перемахнул, как на крыльях, с упомянутой крыши на соседнюю и вскочил в чердачное окно, привлеченный огоньком, там мерцавшим, словно путеводная звезда средь бури. Беглец приложился — одновременно и подошвами и устами — к полу чердака, приветствуя его, как потерпевший кораблекрушение — гавань, и радуясь, что оставил в дураках всех крючкотворов, а заодно разбил добропочтенные мечты доньи Томасы де Битигудиньо, поддельной девицы, которая, как фальшивая монета, имела хождение лишь в темноте. Девица сия для вящего успеха своей затеи не преминула совершить сделку о куплепродаже и с капитаном тех самых молодчиков, которые, по ее жалобе оседлав коньки, исследовали, подобно береговому дозору,

море мадридских крыш. Каково же было их изумление, когда они убедились, что корабль, оснащенный плащом и шпагой, от них ускользнул, умыкая честь сеньоры, промышлявшей девственностью. Что до нашей доньи Томасы, то, узнав об этом, она поклялась выместить неудачу на другом желторотом, не смыслящем в уловках девственниц, и в сговоре со старухой, которую величала «тетушка», принялась завлекать его в свои силки, куда уже попалось столько разных залетных пташек.

Тем временем студент, едва веря в свое спасение, оттирал камзол от сажи и протирал глаза, разглядывая места, куда причалил, и диковинные предметы, сей вертеп украшавшие. Маяком ему тут послужила подвешенная на крюке плошка, освещавшая огромный старинный стол, а на нем — кипу смятых бумаг, испещренных математическими значками, астрономические таблицы, два глобуса, несколько циркулей и квадрантов — верные приметы того, что внизу проживал астролог, владелец этого странного хозяйства и приверженец черной магии. Как человек ученый и питающий склонность к подобным занятиям, дон Клеофас подошел к столу и начал с любопытством перебирать астрологическую утварь. Внезапно послышался как бы исходивший от нее вздох, но студент решил, что это ему почудилось в ночном мраке, и продолжал внимательно перелистывать трактаты Эвклида и измышления Коперника. Вздох раздался снова, и тогда дон Клеофас, убедившись, что слух его не обманывает, с дерзкой развязностью, подобающей храброму студенту, спросил:

— Что за черт там вздыхает?

И в тот же миг ему ответил голос, вроде бы человеческий, но не совсем:

— Это я, сеньор лисенсиат, я здесь, в колбе, куда меня засадил проживающий внизу астролог; он к тому ж и в черной магии разбирается и вот уже года два как держит меня в неволе.

— Стало быть, ты его домашний бес? — спросил студент.

— Ох, как бы я хотел,— отвечал голос из колбы,— чтобы сюда заглянул служитель святейшей инквизиции и упрятал моего тюремщика и каменный мешок, а меня вызволил из этой клетки для адских попугаев! Но ты явился вовремя и тоже сможешь выпустить меня. Этот тиран, чьим заклятиям я вынужден повиноваться, томит меня праздностью, маринует здесь без дела, меня, самого озорного из всех духов преисподней!

Как истый студент Алькала, дон Клеофас, кипя отвагой, спросил:

— Ты дьявол из простых или из знатных?

— Даже из весьма знатных,— отвечал бесовский сосуд.— Я самый знаменитый бес и в этом и в подземном мире.

— Ты Люцифер? — спросил дон Клеофас.

— Нет, то бес дуэний и эскудеро,— ответствовал голос.

— Ты Сатана? — продолжал спрашивать студент.

— Нет, то бес портных и мясников,— снова ответил голос.

— Ты Вельзевул? — еще раз спросил дон Клеофас.

А голос ему в ответ:

— То бес притонодержателей, распутников и возниц.

— Так кто же ты — Баррабас, Белиал, Астарот? — спросил наконец студент.

— Нет, те старше меня по чину,— отвечал голос.— Я бес помельче, но во все встреваю; я адская блоха, и в моем ведении плутни, сплетни, лихоимство, мошенничество: я принес в этот мир сарабанду, делиго, чакону, бульикускус, соблазнительную капону, гиригиригай, самбапало, мариону, авилипинти, «цыпленка», «обоз», «брата Бартоло», карканьял, «гвинейца», «щегла-щеголька»; я изобрел кастаньеты, ха́кары, шутки, дурачества, потасовки, кукольников, канатоходцев, шарлатанов, фокусников — короче, меня зовут Хромой Бес.

— Так бы сразу и сказали,— заметил студент,— не пришлось бы долго объяснять. Покорный слуга вашей милости — я давно мечтаю познакомиться с вами. Кстати, сеньор Хромой Бес, не скажете ли мне, почему именно вас так прозвали? Ведь все вы падали с одинаковой высоты, и товарищи ваши могли точно так же изувечиться и получить такое же прозвище.

— Сеньор Клеофас Леандро Перес Самбулье,— как видите, ваше имя, вернее, все ваши имена мне известны, ибо вы захаживали по соседству от меня к даме, из-за которой вас давеча преследовала стража и о которой я еще расскажу вам немало чудес,— я ношу такое имя, потому что был первым среди поднявших мятеж на небесах и первым среди низринутых; все прочие свалились на меня, отчего я и получил увечье, и с той поры более других бесов отмечен десницей господа и копытами всех дьяволов, а в придачу и прозвищем. Но хромота не помеха, без меня еще не обошлась ни одна каверза в наших Нижних Провинциях, и во всех тамошних делах я не отставал от других, напротив, всегда был впереди — ведь по дороге в ад здоровый и хромой, как ветер, мчат. Правда, с тех пор как я сижу в этом маринаде, моя репутация сильно подмокла; а предали меня мои же товарищи за то, что, как гласит кастильская поговорка, Хромой Бес всех чертей хитрей,— самым дошлым из них я не раз продавал кота за черта. Вызволи меня из этого алжирского плена, уж я тебя отблагодарю, исполню все твои желания,— слово дьявола! — ибо хорош я или плох, а тому, кто мне друг, всегда буду другом.

— Как же ты хочешь,— сказал дон Клеофас, меняя учтивый тон на дружески развязный,— чтобы я совершил то, что не под силу даже тебе, самому ловкому бесу?

— Мне нельзя,— молвил дух,— а тебе можно, ибо ты человек, на коем почиет благодать крещения, и, значит, не подвластен заклятиям того, кто вступил в союз с владыками нашей кромешной Гвинеи. Возьми тут на столе квадрант и разбей эту колбу. Как только жидкость разольется, я предстану перед тобой в зримом и осязаемом облике.

Дон Клеофас не был ни ленив, ни труслив, он тут же исполнил просьбу — схватил квадрант и разбил вдребезги сосуд; со стола полился мутный маринад, в котором хранилась нечистая сила. Взглянув вниз, дон Клеофас увидел на полу маленького человечка, опиравшегося на костыли; голова вся в больших шишках, спереди похожая на тыкву, сзади — на дыню, нос приплюснутый, рот до ушей, на голых деснах ни резцов, ни коренных, только торчат два острых клыка; усы торчком, будто у гирканского тигра, а редкие волоски на голове — один здесь, другой там — вроде корешков спаржи, которым так ненавистно общество, что они никогда не сходятся вместе, разве что в пучках на рыночном лотке. Иное дело салат, у того, пока вырастет, все корни друг с дружкой спутаются — ни дать ни взять жители нашей столицы (да не обессудят меня за обидное сравнение!).

С отвращением смотрел дон Клеофас на этого уродца, но что поделаешь! Без помощи беса никак ему нельзя было выбраться с чердака, из этой мышеловки астролога, в которую он попал, спасаясь от гнавшихся за ним котов (да простится мне и эта метафора!). Хромой же, схватив его за руку, молвил:

— Пойдем, дон Клеофас! Приступаю к уплате своего долга.

И оба вылетели через слуховое окно, будто ядро из пушки, и летели, не останавливаясь, пока не опустились на верхушку колокольни храма Святого Спасителя, самого высокого сооружения в Мадриде. Пробило час ночи — время, отведенное для покоя и сна, краткая передышка, даруемая нам полчищем житейских забот. В эту пору и зверь и человек погружаются в безмолвие, этот час равняет всех: мужчины и женщины поспешно сбрасывают башмаки и чулки, панталоны и кафтаны, юбки, фижмы, кринолины, сорочки, корсеты и забывают о благоприличиях, уподобляясь прародителям нашим, кои создали всех нас без этого тряпья. Обернувшись к спутнику, Хромой Бес сказал:

— С этой заоблачной башни, высочайшей в Мадриде, я покажу тебе, дон Клеофас, на зависть самому Мениппу из Лукиановых диалогов, все, что в такие часы происходит примечательного в испан-

ском Вавилоне, который по смешению языков может поспорить с древним.

И с помощью дьявольских чар Хромой Бес приподнял крыши зданий, точно корку пирога, и обнажил мясную начинку Мадрида в ту пору, когда из-за жары все ставни в домах раскрыты и в недрах этого вселенского ковчега кишит столько наделенной разумом нечисти, что Ноев ковчег против него показался бы жалким и убогим.

СКАЧОК ВТОРОЙ

Дон Клеофас так и замер, увидев этот паштет из человеческих рук, ног и голов, и в изумлении воскликнул:

— Неужто для такого множества мужчин, женщин и детей хватает полотна на тюфяки, простыни и рубашки! Погоди, дай наглядеться,— право, среди чудес промысла божьего это не последнее!

Но тут Хромой Бес перебил его:

— Смотри и слушай, сейчас я покажу тебе по отдельности самых любопытных персонажей этого театра, прелесть коего в разнообразии. Взгляни прежде всего на ту компанию кавалеров и дам, которые сидят за столом, ломящимся от яств, как заведено, с полуночи — это единственное, в чем они соблюдают часы.

Дон Клеофас сказал:

— Лица эти все мне знакомы, я бы не прочь свести знакомство и с их кошельками.

— Э, солдатики из кошельков давно перебежали к иноземцам из-за дурного обхождения этих всехристианнейших государей,— сказал Хромой,— и потому от их воинства осталось одно звание без содержания, как бывает с иными придворными.

— Пусть себе ужинают,— молвил дон Клеофас.— Ручаюсь, они не встанут из-за стола, пока не перебьют всю посуду, и когда эта потеха закончится — один бог ведает. Посмотрим-ка лучше на других, а у этих вельмож я и так каждый день ручку целую и каждую ночь в их обществе околачиваюсь. Целых два месяца просидел я на передке кареты у одного такого, был его поэтом-культистом и весь пропитался «вашими светлостями» да «вашими милостями», которые только и способны, что лесть выслушивать.

— Ну, тогда взгляни на законника,— продолжал Хромой,— вон того, что охает от боли в мочевом пузыре и трясет своей бородой, такой пышной и широкой, что кажется, среди подушек торчит хвост дельфина. А вон там рожает донья Вертушка, и ее жалкий супруг дон Торибио хлопочет у ложа, суетится, будто на свет появляется его чадо, меж тем как виновник события преспокойно

храпит в соседнем квартале и в ус не дует. Посмотри и на того красавца писаного, щеголя записного,— спит в подусниках, хохолок и затылок в папильотках, руки, покрытые мазями, в митенках, а на лице столько изюма, что хватило бы на весь великий пост. Чуть подальше старуха, заправская колдунья, толчет в ступке вяжущее снадобье,— спешно требуется подлатать девицу, чья слава на честном слове держится, чтобы она могла завтра идти под венец. Вон там, в тесной каморке, лежат двое больных, которых лечат клистирами; сейчас они затеяли спор, кто прошел больше курсов, точно им в университете степень получать,— ишь пошли драться подушками! А теперь обернись и посмотри внимательно на новомодную ханжу: днем благочестива, а ночью, гляди-ка, натирается мазями, чтобы попасть на шабаш ведьм между Сан-Себастьяном и Фуэнтеррабией,— право слово, и мы бы там побывали, да боюсь, как бы не узнал меня дьявол, что у них за козла. У нас с ним однажды в приемной у Люцифера большой спор вышел, и я влепил ему здоровенную пощечину, а книга о дуэлях и у нас, чертей, в ходу, ибо сочинитель ее — сын одного из наших. Но мы и здесь сумеем недурно развлечься. Взгляни вот на тех двух грабителей; орудуя особым ключом — отмычки ныне вышли из моды,— они лезут через балконную дверь в дом богача-чужеземца и, освещая себе путь фонарем, подбираются к большущему мешку, набитому серебряными монетами. Нет, голубчики, мешок чересчур велик, вам не утащить его, не наделав шуму! Так и есть, они решили его развязать и для начала наполнить монетами карманы и кошельки, а завтра вечером вернуться за остатком. Гляди, гляди, уже развязывают, а из мешка высунул голову сам хозяин — он, оказывается, сидит внутри, никому не доверяет сторожить свои денежки. «Сеньоры воры,— говорит он,— вот мы все и в сборе!» А они-то со страху повалились наземь, один справа, другой слева — точь-в-точь стражи на деревенском представлении воскресения Христова,— и на четвереньках спешат убраться тем же путем, каким пришли.

— Им следовало бы,— заметил дон Клеофас,— унести этого паука, не развязывая, как был, в коконе из монет, тогда все обошлось бы гладко. Известно, всякий чужеземец — денежный мешок, только крещеный, и, по беспечности нашей, нет у них иного дела, как наши деньги копить, ни в нашем государстве, ни в их собственном. Но постой, кто эта слониха в женской сорочке? Для нее не только кровать узка, но весь дом и даже Мадрид тесен, от ее храпа больше шуму, чем от прибоя на Бермудских островах; видно, хлещет вино сорокаведерными бочками и заедает целыми тушами.

— Еще недавно она признавала лишь мирские утехи, но за-

тем эта саагунская бочка поняла, что недалек час, когда она лопнет и рассыплется в прах. Она богатая трактирщица; нажилась, продавая коня за барана и кота за кролика голодным гостям, и с того приобрела шесть домов в Мадриде да еще отдала в рост купцам у Гвадалахарских ворот двадцать тысяч дукатов с лишком. Ныне, построив часовню для своего погребения и учредив две капеллании, она надеется прямехонько попасть на небо. А я полагаю, поднять эту бочку туда не удастся, даже если подвесить блок на планете Венере, а рычаг на созвездии Семи Козочек. Но она, после всех богоугодных дел, спит сном праведных.

— Постой,— сказал дон Клеофас,— я вижу какого-то кабальеро, тощего, как вяленая селедка,— в чем только душа держится. На его кафтане, висящем у изголовья, я примечаю орденский знак, нашитый среди множества заплат. Спит этот бедняга скрючившись, точно запеченная в тесте минога,— кровать ему коротка, едва до колен доходит, как полукафтанье.

— Это искатель должности,— ответил Хромой,— и для такого занятия он, пожалуй, еще толст и хорошо одевается. Добро вон тому столичному виноторговцу, он этих забот не ведает — служит при своем вине священником, крестит его в мехах и в бочках. Гляди, как он бродит, неприкаянная душа, со своей воронкой, льет и переливает. Уверен, что не пройдет и тысячи лет, как я увижу его среди участников сражения на тростниковых копьях в честь рождения какого-нибудь принца.

— А почему бы и нет,— сказал дон Клеофас.— Ведь он трактирщик и может подпоить Фортуну.

— Теперь взгляни,— продолжал Хромой,— на алхимика, только не пугайся. Видишь, там, в подвале, он мехами раздувает огонь и варит в котле смесь всевозможных веществ. Чудак не сомневается, что найдет философский камень и сумеет делать золото; десять лет эта мечта не дает ему покоя, ибо он начитался сочинений Раймунда Луллия и прочих алхимиков, которые толкуют об этой невозможной задаче.

— И правда,— сказал дон Клеофас,— еще никому не удавалось делать золото, кроме как богу да солнцу, по особому соизволению божьему.

— Верно,— сказал Хромой,— даже у нас, чертей, и то не получилось. Но обернись сюда и посмейся вместе со мной над этими супругами, помешанными на каретах. Вместо того чтобы покупать платье, обувь и обстановку, они все издержали на карету, что стоит пока без лошадей; в ней они обедают, ужинают, спят, и за четыре года, как приобрели ее, ни разу не вышли из своего заточения, даже по телесной нужде. Они себя заживо закаретили и так привыкли никуда не вылезать, что карета для них как раковина

для улитки или панцирь для черепахи: стоит кому-либо одному высунуть голову наружу, он тут же втягивает ее обратно, словно очутился в чуждой стихии, и если выставит из этой тесной кельи руку или ногу, то непременно простудится. Теперь они, как я слышал, задумали расширить свои владения — пристроить к карете чердак и сдать его внаем соседям, таким любителям карет, что согласятся жить хоть на запятках.

— Зато их души,— сказал дон Клеофас,— отправятся в ад в собственной карете.

— Туда им и дорога,— отвечал Хромой.— Совсем иные заботы у многосемейного бедняка, вон в том доме, чуть подальше. Он, как лег, долго не мог заснуть, оглушаемый капеллой детских голосов — альтов, контральто, дискантов и прочих,— исполнявших на все лады контрапункт плача. А когда наконец задремал, его разбудил набатный колокол — приступ маточных болей у жены, да такой жестокий, что супруг обегал всех соседей в поисках руты, сжег кипу шерсти и бумаги, накрошил миску чесноку, перепробовал всевозможные припарки, настойки, куренья и «три сотни прочих средств». Под конец у него самого от беготни в одной рубашке началось сильнейшее колотье под ложечкой, так что, думаю, он с лихвой отплатит жене.

— Зато в соседнем доме очень крепко спят,— сказал дон Клеофас.— Гляди, какой-то кабальеро приставляет к стене лесенку, намереваясь взять приступом и дом и честь хозяина. Если в дом, где есть внутренняя лестница, забираются по приставной — добра не жди.

— Здесь,— пояснил Хромой,— проживает старый богатый кабальеро с красавицей дочкой, которой не терпится, с помощью того маркиза, что взбирается по лесенке, утратить звание девицы. Маркиз обещает ей жениться — такую роль он уже сыграл с десятью или двенадцатью девицами, и все комедии кончались слезами. Но этой ночью он не добьется желаемого: подходит алькальд с дозором, к тому же у нас, чертей, есть давний обычай — портить людям удовольствие и, как говорит ваша пословица, выдавать кривоножую за пригожую.

— Но что за крики раздаются в доме поближе? — спросил дон Клеофас.— Можно подумать, все дьяволы оглашают пропажу своего собрата.

— Вряд ли речь обо мне — я уже вышел из плена,— сказал Хромой,— а из-за разбитой колбы меня не станут призывать в ад через глашатаев. Нет, это вопит притонодержатель, он нынешней ночью выдал игрокам полторы сотни колод и, ни за одну не получив платы, взбесился от ярости. А тут еще завязалась потасовка из-за того, поставить ли магарыч молодчику, судившему игру по-

жульнически,— правые и виноватые разбегаются, пока ребра целы. В это время на соседней улице, вселяя мир в их души, звучит пение в четыре голоса — это слуги некоего сеньора устроили серенаду жене портного, а портной клянется, что всех их пришьет кинжалом.

— Мне на месте мужа,— сказал дон Клеофас,— певцы показались бы мартовскими котами.

— Сейчас они покажутся тебе борзыми псами,— сказал Хромой.— Приближается другой обожатель супруги портного, и с ним банда человек в шесть-семь. Вот они обнажили шпаги, и наши Орфеи, отбив первую атаку гитарами, пускаются наутек, сочиняют фугу в четыре улицы. Но взгляни-ка сюда, на этого идальго; он шатался всю ночь по городу и теперь разоблачается. Это подлинный «чудо-рыцарь», и чудеса творятся не только в его вечно пустом желудке. Вот скинул наш идальго парик,— оказывается, он лысый; снял поддельный нос — он безносый; отклеил усы — безусый; отстегнул деревянную руку — калека; не в постель бы ему ложиться, а в могилу! В доме рядом спит лжец и видит страшный сон — ему снится, будто он говорит правду. А там виконт и во сне пыжится от чванства — он выклянчил у гранда еще один титул. Вот кончается картежник, и глаза ему закрывает лжесвидетель, да при этом сует игроку в руку не святую индульгенцию, а колоду карт, чтобы тот умер, как жил; умирающий же, испуская последний вздох, шепчет не «Иисус», а «туз». Этажом выше аптекарь смешивает безоаровый камень с александрийским листом. Рядом волокут из дому лекаря к епископу, которого хватил кондрашка. Там ведут повитуху к некоей полупочтенной роженице — схватки, к счастью, начались ночью. А вот и донья Томаса, твоя ненаглядная, внимая словам любви, в одной нижней юбке отворяет дверь другому.

— Пусти меня,— воскликнул дон Клеофас,— я спрыгну и растопчу ее!

— Знаешь, в таких случаях говорят: «Цыц! Цыц!»— ответил Хромой.— Прыжок-то нешуточный. И чего тебе тревожиться! У нее и без этого влюбленного нетопыря есть еще полсотни, между которыми она распределила дневные и ночные часы.

— Клянусь жизнью,— сказал дон Клеофас,— я считал ее святой!

— Вот и не надо быть легковерным,— возразил Бес.— Посмотри лучше на моего астролога. Бедняге не дают спать блохи и заботы; верно, он слышал шаги на чердаке и дрожит за свою колбу. Мог бы утешиться тем, что у соседа, который храпит, как боров, двое солдат тащат из постели жену, точно зуб изо рта, а он и не чует.

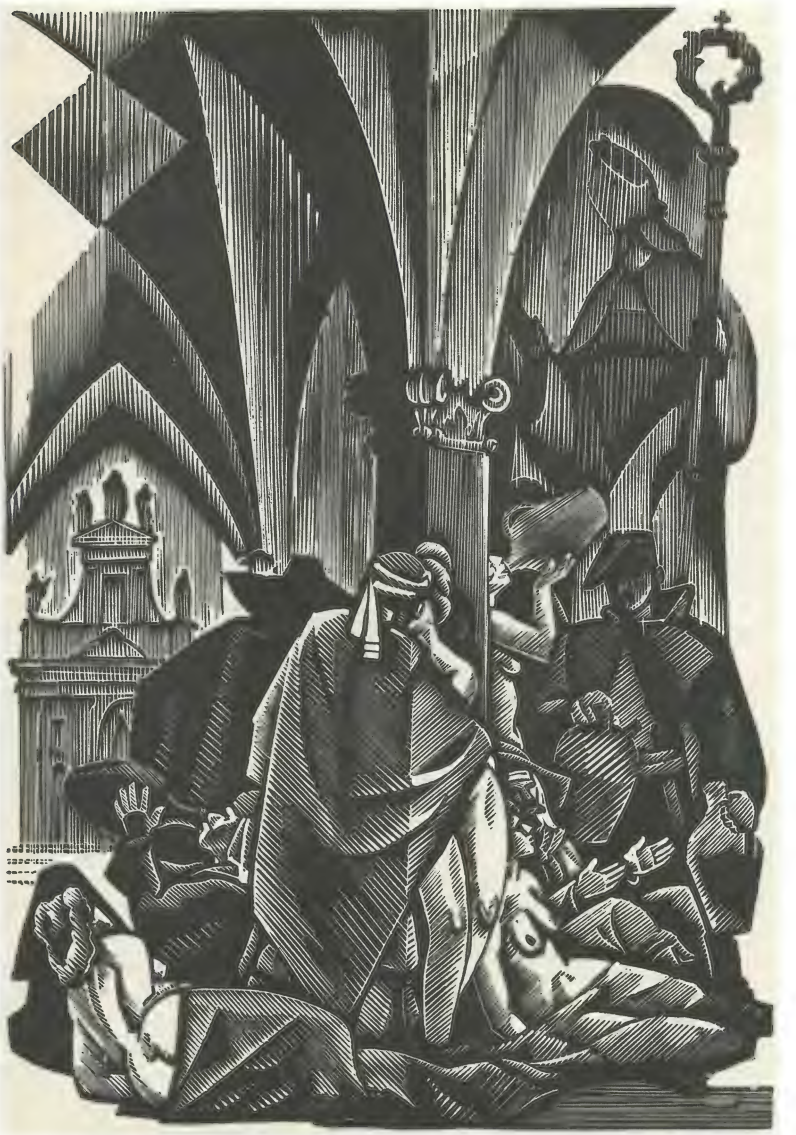
— Невелика потеря! — сказал дон Клеофас.— Уверен, что этот восьмой эфесский праведник скажет то же самое, когда проснется.

— Взгляни туда,— продолжал Хромой.— Цирюльник поднялся с постели и поставил жене банки, да спросонок обжег ей ляжку. Она кричит, а он ее утешает — прижигание-де всегда полезно и пригодится на будущее. А теперь посмотри на тех портных, они заканчивают свадебный наряд для невесты по заказу одного простофили, который женится вслепую, через посредника, на злющей, безобразной и глупой девке, вдобавок, бесприданнице,— его уверили в противном, показав портрет. Обстряпал это дельце сват — он как раз поднимается с постели, одновременно с сутягой, что живет в соседней комнате: один спешит переженить, другой — перессорить весь род человеческий. И только ты, благодаря тому что забрался так высоко, можешь не опасаться этих дьяволов, а они в некотором смысле дьяволы почище меня. Теперь обернись и полюбуйся на полоумного охотника, вставшего с петухами,— в такую рань он седлает своего одра и засовывает за луку дробовик. До девяти часов утра он уже не сомкнет глаз, ему непременно надо подстрелить кролика, который обойдется куда дороже, чем если бы его продал сам Иуда. Вон там, у дверей богатого скряги, подбросили младенца, который по отцовской линии мог бы оспаривать звание Антихриста. А скряга берет малыша и, как чиновник жалобу, перекладывает его дальше, на порог соседнего дома, где хозяин скорее способен съесть, нежели выкормить младенца, ибо сам обедает раз в неделю, по воскресеньям. Но уже светает, и нам пора заканчивать обзор. На улицах появились первые приметы наступающего дня: лотки с водкой и закусками. Вот и солнце принялось щекотать звезды, которые затеяли игру в «выйди вон». Золотя земной шар, как пилюлю, оно зовет в бой мошны и кошельки, бьет тревогу для горшков, сковород и чашек, а я вовсе и не желаю, чтобы, воспользовавшись моим искусством, солнце увидело тайны, скрытые от него ночным мраком. Пусть само потрудится, заглянет в щели, слуховые окна и печные трубы.

И, снова прикрыв крышами слоеный пирог, Хромой Бес со своим приятелем спустился на землю.

СКАЧОК ТРЕТИЙ

В огромном котле столицы уже начинало бурлить людское варево — мужчины и женщины проносились кто вперед, кто назад, а кто поперек, будто исполняя мудреный танец под музыку уличного гула; там и сям в этом океане человеческого разума замелькали



«История жизни пройдохи по имени дон Паблос».

киты на колесах, называемые каретами,— короче, разгоралось дневное сражение. Каждый выходил на промысел со своими намерениями и делами, каждый норовил надуть другого, плутни и обман застили свет божий, точно клубы пыли; нигде, как ни пяль глаза, не увидишь и проблеска правды. Дон Клеофас следовал за своим товарищем, который привел его на неширокую улицу с двумя рядами зеркал по обеим сторонам. Перед зеркалами стояло множество кавалеров и дам, любуясь собой и строя гримасы: то рот скривят, то локон взобьют; лица, глаза, усы, руки — все было в движении. Дон Клеофас спросил, что это за улица, он до сих пор не видал ее в Мадриде, и Хромой ответствовал:

— Называется она улицей Поз, и знают о ней только эти карточные фигуры из столичной колоды. Они являются сюда, дабы найти позу, с которой будут ходить весь день, разбитые параличом жеманства: у одних губки бантиком, у других глазки прикрыты в очаровательной истоме, и у всех подняты наподобие рожек два пальца — указательный и мизинец, а голова склонена набок, как при молитве «Слава всевышнему». Но уйдем отсюда! Хоть желудок у меня дьявольский и даже бурные волны преисподней ему нипочем, а все же с души воротит глядеть на эту шушеру, что расплодилась на позор природе и на зависть всем шулерам.

И они покинули улицу с зеркалами и вышли на небольшую площадь; там собралась толпа старух, в прошлом особ легкого поведения, и юных девиц, которые готовились стать тем, чем были некогда первые; между ними шел оживленный торг. Студент спросил своего спутника, что это за площадь, он ее тоже никогда не видал. И Бес ответил:

— Перед тобой рынок громких имен. Увядшие старухи, которым они уже без надобности, отдают их зеленым девицам в обмен на поношенные чулки, старые туфли, мантильи, чепцы и подвязки. Гусман, Мендоса, Энрикес, Серда, Куэва, Сильва, Кастро, Хирон, Толедо, Пачеко, Кордова, Манрике де Лара, Осорио, Арагон, Гевара и другие столь же знаменитые имена передаются новеньким в ремесле, тем, кто в них имеет нужду. А старухи остаются при своих прежних фамилиях-отчествах: Эрнандес, Мартинес, Лопес, Родригес, Перес, Гонсалес и тому подобных, ибо сказано: «Тысяча лет пройдет, и все имена вернутся в свой род».

— Да,— сказал студент,— в столице что ни день, то новшества.

И, свернув налево, они очутились на другой площади, напоминавшей Кузнечную: там нанимают лакеев и эскудеро, а здесь можно было нанять теток, братьев, дядюшек и супругов для

самозванных дам, желавших приобрести в столице почет и поднять цену на свой товар.

Справа от этого питомника странствующих родственников высилось большое здание, наподобие храма, только без алтаря; внутри его стояла просторная каменная купель, полная рыцарских романов, а вокруг этой купели теснились мальчики-подростки от десяти до семнадцати лет и несколько девиц такого же возраста. Рядом с каждым стоял крестный, и дон Клеофас попросил своего приятеля объяснить, что означает сие диво, похожее на сон.

— Согласен, необычайное это сооружение и впрямь удивительно. И все же, дон Клеофас, ты видишь доподлинную купель, из которой выходят доны и доньи; здесь принимают крещение все, кто явился в столицу без этих званий. Мальчики собираются стать пажами при господах, а девицы — компаньонками при дамах средней руки; вот они и обзаводятся донами и доньями, чтобы придать блеск дому, в котором будут служить. Сейчас церемония крещения заканчивается. Видишь, в купель входит судомойка во взятом напрокат платье, рядом стоит крестная — ее хозяйка; она вытащит девушку со дна купели с доньей и возведет в ранг знатной потаскухи, а затем та честно заработанными деньгами возместит хозяйке расходы на свое воспитание. Гляди, старуху-то как отшлифовали, точно у ювелира побывала.

— Пышная прическа, вставные зубы да кринолин — вот и все, что требуется для такого чуда,— сказал дон Клеофас.— А это что за процессия разодетых крестьян входит в двери храма, посвященного мирской суете?

— То ведут крестить богача-рехидора из ближнего селения; старику уже семь десятков, а гляди, бегом бежит обзавестись доном, так как родня убедила его, что без дона ему с рехидорством не справиться. Зовут его Паскуаль, и родственники дорогой затеяли спор, подойдет ли «дон» к имени «Паскуаль» и не окажется ли их рехидор монахом-расстригой в обители донов.

— У них есть пример другого дона Паскуаля,— сказал дон Клеофас,— того самого, которого все считали помешанным, а я называл Диогеном в лохмотьях; он бродил по мадридским улицам без шляпы, накрыв голову плащом, как древний пророк.

— А все ж, по-моему следовало бы изменить имя,— заметил Хромой,— чтобы их паскуального рехидора не дразнили «пасхальной свечой».

— Да наставит их господь,— сказал дон Клеофас,— в том, что более подобает рехидорской должности и потребно для блага рехидорствующих.

— Пока сеньора рехидора кропят доновой водой,— продолжал Бес,— очереди ждет итальянец, дабы проделать то же со

своим слоном, которого он собирается показывать у Пуэрта дель Соль.

— Ясно, слонов обычно зовут «Дон Педро», «Дон Хуан» или «Дон Алонсо». Удивляет меня только беспечность вожака, или, как говорят в Индии, надира; видно, его слон совсем плебейского рода, ежели так поздно получает титул дона. Клянусь богом, глядя на это крещение и на этих донов, я готов раскреститься и раздониться.

— Следуй за мной и не брюзжи,— сказал Хромой,— где дон прижился, там он и годился, а к имени «Клеофас» он пристал, как ноготь к пальцу.

С такими словами Бес вывел приятеля из этого призрачного (только с виду!) храма, и они увидели другое здание, где над входом были изображены тамбурины, гитары, волынки, колокольцы, бубны, кастаньеты, рожки, свирели — словом, все то, чем терзают слух человеку в жизни сей. Дон Клеофас спросил своего спутника, что это за здание и почему вход в него украшен музыкальными инструментами шутов.

— И этого дома я не видал в Мадриде,— добавил он,— а полагаю, обитатели его изрядно веселятся и забавляются.

— Это дом умалишенных,— отвечал Хромой,— и построен он, вместе с другими приютами, совсем недавно, иждивением весьма состоятельного и мудрого человека, дабы тут наказывали и лечили безумцев, коих прежде таковыми не считали.

— Войдем туда,— сказал дон Клеофас,— дверь, кажется, отворена, и мы сможем полюбоваться на эту новую породу безумных.

Сказано — сделано. Оба приятеля вошли и, миновав прихожую, где несколько выздоравливающих просили подаяния для буйнопомешанных, очутились в четырехугольном дворике, по сторонам которого были в два этажа расположены клетки — в каждой содержался один из упомянутых буйных. В одной клетке у входа сидел на скамье богато одетый человек и, положив бумагу на колено, что-то писал, да так усердно, что и не почувствовал, как выколол себе пером глаз. Хромой сказал:

— Это прожектер, помешанный на том, что следует сократить количество мелкой монеты; он исписал уже столько бумаги, что на дело Альваро де Луна вряд ли больше пошло.

— Правильно, что его поместили в этот дом,— сказал дон Клеофас.— Это самые вредные для государства безумцы.

— А в соседней каморке,— продолжал Хромой,— влюбленный слепец; он держит в руках портрет дамы сердца и ее письма к нему; неспособный ни любоваться ее чертами, ни читать, он уверяет, что видит ушами. Рядом, в каморке, заваленной бумага-

ми и книгами, сидит дотошный грамматист; он рехнулся, отыскивая герундий у греческого глагола. А вон того, в белых панталонах и с мешком за плечами, упекли сюда за то, что, будучи возницей и имея лошадей, он пошел служить пешим посыльным. В каморке над ним — видишь, держит на руке сокола,— кабальеро, который промотал на соколиную охоту богатое наследство; теперь у него остался один сокол, что сидит на его руке и с голоду клюет ее. Вон там человек, нанявшийся в услужение, хотя не нуждался в куске хлеба. А вот танцор — он так ретиво отбивал пятки, что с ума спятил. Подальше историк, лишившийся рассудка с горя, что затерялись три декады Тита Ливия. По соседству семинарист любуется грудой митр и примеряет, какая ему больше к лицу; он помешался на том, что станет епископом. Немного подальше — законник; этого свело с ума судейское облачение, и он из стряпчего сделался портным,— только и знает, что кроит да шьет мантии из тряпья. А в той каморке — на сундуке, набитом монетами и запертом на семь замков,— сидит скряга; нет у него ни сына, ни другой родни, кому оставить наследство, и, став рабом своих денег, он сам себя казнит: на обед у него пирожок за четыре гроша, на ужин салат из огурцов, богатство — его каторга. Тот, что распевает в своей каморке,— это сумасшедший певец; он тщится подражать птицам и после каждой рулады, как после приступа болезни, едва жив; его заточили в эту тюрьму для преступивших законы разума за то, что он пел без умолку, а лишь попросят его спеть, сразу умолкал.

— Так поступают почти все его собратья.

— Посреди двора сидит на закраине колодца и глядится в воду прелестная девушка — убедишься в этом сам, когда она поднимет голову,— дочь бедных, незнатных родителей. К ней сватались богатые и именитые кавалеры, но она всех отвергала, у всех находила тысячи недостатков. Видишь, ее посадили на цепь, чтобы, влюбленная, подобно Нарциссу, в свою красоту, она не утопилась в воде, которая ей заменяет зеркало; ни солнце, ни звезды небесные, по ее мнению, недостойны ее взгляда. А в убогой каморке напротив, где стена разрисована языками, заточен женатый бес, рехнувшийся из-за сварливой супруги.

Тут дон Клеофас прервал своего спутника, который готов был показать ему весь иконостас безумцев:

— Уйдем отсюда, как бы и нас не заточили за безумие, о коем мы не подозреваем. Ведь в этом мире всяк по-своему с ума сходит.

Хромой сказал:

— Послушаюсь твоего совета. Если даже бесы подвержены безумию, никто не может за себя ручаться.

— Со времен вашего первого приступа гордыни,— сказал дон Клеофас,—все вы безумцы, а преисподняя — дом для умалишенных, притом самых буйных.

— Вижу, зрелище пошло тебе на пользу,— сказал Хромой,— ты заговорил прямо как проповедник.

Так беседуя, они вышли из обиталища сумасшедших и, свернув вправо, очутились на широкой улице, увешанной по обеим сторонам гробами; вдоль нее прохаживались причетники в пелеринах, а множество могильщиков раскапывали могилы. Дон Клеофас обратился к своему товарищу.

— Это что за улица? Она кажется мне более удивительной, чем все, что я до сих пор видел,— того и гляди, заговорю еще более возвышенным слогом.

— Улица эта посвящена самым суетным мирским делам,— отвечал Хромой, — вместе с тем она самая необходимая из всех. Перед тобой гардеробная предков, куда является каждый, кто хочет доказать свое благородное происхождение и приобрести предков, коли собственные ему не впору или износились; за свои деньги он тут может выбрать то, что ему по вкусу. Взгляни на этого захудалого идальго, который примеряет приглянувшуюся ему бабушку, а вон и другой — бог весть чей сын — натягивает на себя чужого дедушку, но тот ему не по росту, великоват. Чуть дальше человек меняет своего прадеда на другого, с приплатой, да никак не сторгуется с причетником, хозяином гардеробной, который заломил за товар слишком дорого. Этот пришел отдать своего деда в перелицовку, просит перевернуть его задом наперед да подлатать взятой на стороне бабушкой. А тот явился со стражей, требует возвратить украденного предка, которого обнаружил здесь, в гардеробной, на вешалке. Буде тебе надобны дедушки или бабушки в доказательство знатного происхождения, мы, дон Клеофас Леандро, пришли как раз вовремя. Я вижу тут своего приятеля — гардеробщика, он обычно раздевает покойников в первую же ночь после похорон и поверит нам в долг любого предка на какой хочешь срок.

— Деньги, а не предки мне нужны,— ответил дон Клеофас Леандро.— Уж я как-нибудь обойдусь своими предками: родители мне сказывали, что я происхожу от храброго Леандра, который переплывал Абидосское море, «любовным пламенем пылая», и что моя дворянская родословная записана в произведениях Боскана и Гарсиласо.

— Супротив дворянства, пожалованного в стихах,— сказал Бес,— бессильно время и даже королевские суды. Нет более завидной участи, нежели быть дворянином рифмы.

— Если бы я домогался орденского звания,— продолжал дон

Клеофас,— это не стоило бы мне и сотни реалов, ибо ходатаями моими были бы Салисио и Неморосо: там, в стихах, мои наследственные владения, там моя Монтанья, моя Галисия, моя Бискайя и моя Астурия.

— Ну, полно чваниться,— сказал Хромой,— я и так знаю, что род твой прославлен и в стихах и в прозе. Пойдем лучше поищем харчевню, чтобы подкрепиться и отдохнуть,— тебе это будет кстати, ты не спал всю ночь и все утро. А потом отправимся дальше.

СКАЧОК ЧЕТВЕРТЫЙ

Оставим обоих приятелей в харчевне, где они завтракают, отдыхают и, не платя ни гроша, требуют птичьего молока да жареного феникса, и посмотрим, что делает наш удачливый чернокнижник, но незадачливый астролог. Встревоженный ночным шумом на чердаке, он поспешно оделся и, поднявшись наверх, обнаружил разорение, содеянное домашним бесом: колба разбита вдребезги, бумаги залиты, а сам Хромой исчез. Такое опустошение, а пуще всего бегство духа повергли астролога в величайшее горе: начал он рвать на себе волосы, бороду и раздирать одежды, точно библейский царь. И в то время как он сокрушался и причитал, пред ним предстал бесенок Левша, служивший на побегушках у Сатаны, и сказал, что Сатана, его повелитель, целует астрологу руки и велит передать, что-де его, Сатану, уведомили о бесстыдной проделке Хромого и он уж проучит негодника, а пока посылает другого беса взамен. Астролог чувствительно поблагодарил за заботу и упрятал бесенка в перстень с крупным топазом, который носил на пальце; прежде перстень принадлежал лекарю и помогал ему отправлять к праотцам всех, кому он щупал пульс. Между тем в аду, в переполненной зале, собрались верховные судьи тех краев и, оповестив всех о преступлении Хромого, распорядились составить бумагу, предписывающую схватить упомянутого Беса, где бы его ни нашли. Поручение сие возложили на беса Стопламенного, судебного исполнителя, отлично справлявшегося с подобными делами; тот прихватил в качестве крючков Искру и Сетку, бесов-скороходов, вскочил на воздушного коня и, подняв жезл, покинул адские пределы, дабы отправиться на поиски злодея.

В это самое время у озорного Беса и дона Клеофаса происходило неприятное объяснение с харчевником касательно платы за завтрак: в ход пущены были и вертела и сковороды, ибо черт никогда не отдаст того, что принадлежит черту. Когда же на шум явилась стража, оба посетителя выскочили в окно, и пока столичный

альгвасил с подручными разбирался, что да как, наши друзья уже миновали Хетафе по пути в Толедо; через минуту они оказались у окраин Торрехона и во мгновение ока перенеслись к Висагрским воротам, оставив по правую руку величественное здание приюта, стоящее вне стен Толедо. Тут студент обратился к своему спутнику:

— Славные прямики ты знаешь! Клянусь честью, я предпочел бы путешествовать с тобой, чем с самим инфантом Педро Португальским, который объехал все семь частей света.

— Мы, черти, народ ловкий,— ответил Хромой.

И, еще не закончив этот разговор, они опустились в квартале Крови Христовой, перед постоялым двором Севильянца, наилучшим в Толедо. Хромой Бес сказал студенту:

— Вот где можно отлично провести эту ночь и отдохнуть после минувшей. Войди-ка и спроси для себя комнату и ужин, а мне нынче вечером надобно побывать в Константинополе — поднять бунт в серале Великого Турка да отправить на плаху дюжину его братьев, заподозренных в заговоре против трона. На обратном пути я намерен посетить швейцарские кантоны и Женеву, натворить там еще кое-каких дел, чтобы этими услугами умаслить своего хозяина,— он, полагаю, крепко гневается на меня за мое озорство. И прежде чем пробьет семь утра, я буду с тобой.

Сказано — сделано. Бес понесся по воздуху, точно по чистому полю, воспарив ввысь на зависть всем обитателям эфира, пернатым и непернатым, кроме разве высокопарных поэтов-культистов. А дон Клеофас вошел в гостиницу, где в это время собралось много путешественников, прибывших из-за моря на галионах и направлявшихся в столицу. Новый гость был встречен весьма учтиво, ибо наружность дона Клеофаса была наилучшим рекомендательным письмом, как говаривали в старину придворные.

Какие-то кабальеро, с виду военные, пригласили его отужинать с ними и стали расспрашивать о мадридских новостях. Были торжественно провозглашены тосты за здоровье короля (да хранит его бог!), за дам и за друзей, и после того как на стол подали оливки и зубочистки вместе со счетом за ужин, все кабальеро разошлись на покой, намереваясь завтра встать пораньше, чтобы вовремя поспеть в Мадрид. По их примеру дон Клеофас отправился в отведенную ему комнату, весьма сожалея об отсутствии своего товарища, который так славно его развлекал. Недолго потолковав с подушкой, он мирно заснул, как птенчик в гнезде. Гостиница Севильянца усердно выплачивала дань сном ночному безмолвию, подобно всему остальному миру, где лишь журавли, нетопыри да совы стояли на страже у своих караульных будок,— как вдруг в

два часа ночи послышались отчаянные возгласы: «Пожар! Горим!» Вопли разбудили постояльцев, и те вскочили с постелей удивленные и встревоженные — со сна пугаешься любого шума, особливо крика «Пожар!»; он вселяет ужас даже в самые мужественные сердца. Одни стремглав понеслись по лестницам, чтобы поскорей очутиться внизу, другие выскакивали через окна во двор, третьи, из-за обилия блох, а может, и клопов, спавшие нагишом, выкатывались из постелей, как голыши из ручья, и спешили за остальными, похожие на грошовых глиняных Адамов, держа руку там, где положено быть фиговому листку. Вместе со всеми бежал дон Клеофас, обмотав руку до локтя штанами и размахивая палкой, которую схватил впопыхах вместо шпаги,— словно от пожаров или привидений могут помочь дубинки и шпаги, натуральные орудия защиты при всяких переполохах.

Но тут появился с подсвечником в руке хозяин, в одной рубашке и шлепанцах, опоясанный для согревания желудка широким красным шарфом, и попросил всех успокоиться. Сказав, что ничего особенного не случилось, он предложил разойтись по комнатам и предоставить ему самому все уладить. Дон Клеофас, как более любознательный из постояльцев, пристал к нему с расспросами, заявив, что не ляжет, пока не узнает причину шума. Хозяин с досадой ответил, что вот уже два или три месяца в гостинице проживает студент из Мадрида, что студент этот — поэт и сочиняет комедии, что он уже написал две комедии, которые в Толедо освистали, осыпав актеров градом камней, что сейчас этот студент заканчивает комедию «Сожженная Троя» и, без сомнения, дошел до сцены пожара, а поелику все, о чем пишет, он принимает близко к сердцу, то, видно, именно он начал кричать о пожаре. Хозяин добавил, что, судя по прошлому, совершенно уверен в истинности своих слов, а ежели постояльцам угодно убедиться самим, пусть соизволят подняться с ним в комнату поэта.

Все последовали за хозяином в том виде, в каком были, и, войдя к поэту, увидели, что он лежит на полу в разодранном кафтане, барахтаясь в груде бумаг, извергая пену изо рта и повторяя голосом умирающего: «Пожар! Пожар!» Он уже едва мог говорить, ибо полагал, что задыхается в дыму. Постояльцы окружили его, кто давясь от смеха, а кто жалея беднягу.

— Сеньор лисенсиат,— увещевали они,— опомнитесь! Не хотите ли чего выпить или съесть для подкрепления сил?

Тогда поэт, с трудом подняв голову, молвил:

— Если со мной говорят Эней и Анхиз, спасая пенаты и любезного Аскания, то чего вы медлите? Илион уже обратился в пепел, Приам и Парис, Поликсена, Гекуба и Андромаха уплатили смерти роковую дань, а Елену, виновницу всех бедствий, влачат

как пленницу Менелай и Агамемнон. Но горше всего то, что мирмидоняне захватили троянскую казну!

— Придите в себя,— сказал хозяин,— нету здесь никаких помидорян, ни прочего вздора, который вы мелете. Вас бы надо отправить в Дом Нунция, там вас наверняка назначат старейшиной умалишенных да кстати и полечат,— видать, рифмы ударили вам в голову, как тифозная горячка.

— О, сеньор хозяин весьма тонко разбирается в высоких аффектах! — возразил поэт, привставая.

— Начхать мне на ваши аффекты-конфекты! — сказал хозяин.— Я беспокоюсь о своих делах. Извольте завтра же рассчитаться за жилье и тогда ступайте с богом. Не желаю держать у себя человека, который что ни день полошит всех своими бреднями,— довольно я натерпелся! Помните, когда вы только поселились здесь и начали сочинять комедию о Маркизе Мантуанском — это она первой провалилась и была освистана,— вы затеяли такие шумные приготовления к охоте, так орали, сзывая псов — Чернопегого, Оливкового, Забегая, Ветронога и прочих,— так вопили: «Ату, ату его!» и «Держи медведя лохматого и вепря клыкатого!» — что одна беременная сеньора, остановившаяся здесь по пути из Андалусии в Мадрид, с перепугу родила прежде времени. А во второй комедии — «Разграбление Рима», похожей на первую, как две капли воды,— столько было барабанного боя и трубных звуков, что окна в этой комнате чуть не разлетелись вдребезги — и в такой же неурочный час, как нынче. А как оглушительно вы кричали: «Рази, Испания!», «Сантьяго, и на врага!», как изображали ртом артиллерийскую пальбу — точно родились среди взрывов петард и выросли под сенью «Мальтийского василиска»! Такой кавардак учинили, что подняли на ноги целую роту пехотинцев,— они в ту ночь стояли у меня и, схватившись за оружие, в темноте едва не изрубили друг друга. На шум сбежалось полгорода, явился и альгвасил, выломал двери в моем доме и пригрозил, что и со мной расправится. Нет, вы только поглядите на этого поэта-полуночника, который, точно журавль, всегда бодрствует и в любой час дня и ночи занят поисками рифм.

Тогда поэт сказал:

— Куда больше шума было бы, ежели бы я закончил ту комедию, два действия которой ваша милость держит у себя как залог в счет моего долга. Я назвал ее «Мрак над Палестиной», и там, в третьем действии, должна разодраться завеса в храме, солнце и луна померкнут, скалы ударятся одна о другую, и на землю, скорбя о Спасителе, обрушится вся небесная машинерия — громы, молнии, кометы и зарева. Да вот никак не мог придумать имена для палачей, потому комедия и осталась незакон-

ченной. Не то ваша милость, сеньор хозяин, заговорили бы по-иному.

— Чтоб вам ее на Голгофе закончить! — сказал невежа-хозяин.— Хотя, где бы вы ни вздумали ее дописывать и представлять, всюду найдутся палачи, которые распнут ее, освищут и забросают гнилыми овощами и камнями.

— Напротив, благодаря моим комедиям актеры воскреснут,— сказал поэт.— И раз уж вы так рано поднялись, я хочу прочитать вам ту, что пишу сейчас, дабы ваши милости убедились в этом сами и насладились слогом, отличающим все мои творения.

Сказано — сделано. Поэт взял в руки кипу старых счетов, исписанных с оборотной стороны,— по объему она скорее напоминала судебное дело о спорном наследстве, нежели комедию,— и, возведя очи горе, поглаживая усы, прочитал название, которое звучало так:

«Троянская трагедия, коварство Синона, греческий конь, любовники-прелюбодеи и бесноватые короли».

Затем поэт промолвил:

— Вначале хор молчит, и на сцене показывается Палладион, внутри которого сидят четыре тысячи греков, не меньше, вооруженных до зубов.

— Как же так?— возразил один военный кабальеро из числа тех, что прибежали голышом, будто собирались пуститься вплавь по этой необъятной комедии.— Ведь подобная махина не уместится ни на одной сцене, ни в одном колизее Испании, ни в Буэн-Ретиро, затмившем римские амфитеатры, и даже на арене для боя быков ее не поставишь.

— Невелика беда,— ответил поэт.— Чтобы поместить это изумительное сооружение, никогда еще не виданное в наших театрах, придется всего лишь снести ограду театра и две соседние улицы. Но ведь не каждый день создаются подобные комедии, и сбор будет такой, что с лихвой окупит эти убытки. Слушайте внимательно, заклинаю вас, действие уже начинается. На подмостки под громкие звуки флейт и грохот барабанов выезжают троянский король Приам и принц Парис, между ними на иноходце красуется Елена, причем король едет по правую руку от нее (я всегда соблюдаю должное почтение к коронованным персонам!), а за ними, в чинном порядке, едут на вороных иноходцах одиннадцать тысяч дуэний.

— Этот выход, пожалуй, еще труднее осуществить, чем первый,— сказал один из слушателей.— Разве мыслимо найти сразу такую ораву дуэний?

— Недостающих можно слепить из глины,— сказал поэт.— А собирать дуэний, конечно, придется со всех концов страны. Но

ведь так и заведено в столице, а к тому же — какая сеньора откажется ссудить своих дуэний для столь великого дела, чтобы хоть на время, пока продлится представление — а продлится оно самое малое месяцев семь-восемь,— избавиться от этих докучных пиявок?

Присутствующие так и покатились со смеху, услышав бредни злосчастного поэта, и целых полчаса не могли отдышаться. А поэт продолжал:

— Нечего вам смеяться! Ежели господь подкрепит меня небесными рифмами, я весь мир наводню своими комедиями, и Лопе де Вега, это испанское чудо природы, этот новый Тостадо в поэзии, будет супротив меня что грудной младенец. Потом я удалюсь от света, дабы сочинить героическую поэму для потомства, и мои дети или другие наследники смогут до конца дней кормиться этими стихами. А сейчас прошу ваши милости слушать дальше...

И, угрожая начать чтение комедии, он поднял правую руку, но все в один голос попросили отложить это до более удобного времени, а рассерженный хозяин, не слишком большой знаток поэтических тонкостей, еще раз напомнил поэту, чтобы он завтра же съехал.

Тогда кабальеро и солдаты, в рубашках и без оных, вступились за поэта и стали уговаривать хозяина, а дон Клеофас, заметив на полу среди прочих писаний потрепанное бурями «Поэтическое искусство» Ренхифо, заставил поэта принести, положа руку на стихи, торжественную клятву, что он больше не будет сочинять трескучих пьес, а только комедии плаща и шпаги, и хозяин сменил гнев на милость. Все разошлись по своим комнатам, а поэт, не выпуская комедии из рук, повалился в постель, как был, одетый и обутый, и заснул так крепко, что мог бы, чего доброго, перехрапеть Семерых Праведников и проснуться в другом веке, когда наша монета уже не будет в ходу.

СКАЧОК ПЯТЫЙ

Прошло всего несколько часов, а временным обитателям гостиницы уже надо было снова подниматься и расплачиваться с ее постоянным обитателем, сиречь с хозяином. Потягиваясь и зевая с недосыпу, все стали собираться в путь; слуги седлали мулов, под звуки сегидилий и хакар надевали на них уздечки, угощали друг друга вином и шуточками, сдабривая их понюшками табаку. Лишь тогда дон Клеофас проснулся и стал одеваться, не без грусти вспоминая о своей даме,— порой холодность женщин только распаляет страсть. И не пробило еще семи часов, как в комнату, верный своему

слову, вошел его приятель в турецком платье, в шароварах и тюрбане — несомненный признак того, что он прибыл из Турции,— и спросил:

— А что, долго продолжалось мое путешествие, сеньор лисенсиат?

Тот с улыбкой отвечал:

— Путешествие вашей милости с неба в преисподнюю продолжалось и того меньше, хоть лиг там побольше. А здорово вы тогда грохнулись со всеми этими князьями тьмы — так и не удалось вам вскарабкаться обратно на верхотуру!

— Эх, дон Клеофас, вот удружил! То-то говорят — друг дружке посадит блошку за ушко,— ответил Хромой.— Добро, добро!

— Знаешь, приятель,— сказал студент,— коль подвернется случай сострить, удержаться трудно. Я пошутил, ведь мы с тобой уже друзья. Но довольно об этом. Скажи-ка лучше, каково тебе гулялось по свету.

— Я обделал все свои дела и даже сверх того,— ответил новоиспеченный янычар.— И если б только захотел, этот славный народ избрал бы меня Великим Турком, а они, честью клянусь, верны своему слову, умеют говорить правду и хранить дружбу, не то что вы, христиане.

— Быстро же ты дал себя совратить! — сказал дон Клеофас.— Наверно, у тебя в крови хоть на четверть да есть примесь мужицкой крови.

— Быть того не может,— отвечал Хромой.— Мы все происходим из самого благородного рода самой высокой Горы на земле и на небесах, и любой из нас, будь он холодным сапожником, все равно горец, а следовательно, идальго. Известно, многие идальго, подобно навозным жукам и мышам, зарождаются в грязи.

— Знаю, знаю, что философию ты изучил основательней, чем мы в Алькала,— сказал дон Клеофас,— и имеешь звание магистра свободных искусств. Но не будем отклоняться в сторону, лучше расскажи мне еще о своем путешествии.

— Я нарядился в турецкое платье,— ответил Хромой,— ибо намерен опоганить одежды всех народов, подобно тому как один мой приятель, изрядный пачкун, ухитрился измарать одежду солдата, паломника и студента. Возвращался я через швейцарские кантоны, побывал в Вальтелине и в Женеве, но в тех краях делать мне было нечего: тамошние жители — сами сущие дьяволы, и недаром их земля считается у нас в аду надежнейшей нашей вотчиной, разумеется, после обеих Индий. Посетил и Венецию, чтобы посмотреть на этот сказочный город, превратившийся из-за своего местоположения в некое судно из камня и извести: колыхаясь на

волнах Средиземного моря, город все время поворачивается, куда ветер дует. На площади Святого Марка я этим утром беседовал со слугами «светлейших» и, когда речь зашла о военных новостях, шепнул им, будто в Константинополе через верных людей стало известно, что в Испании идут неслыханные приготовления к войне, настоящие чудеса творятся; покойники, заслышав бой барабанов, встают из могил, дабы идти воевать, и многие уверяют, будто среди воскресших — сам славный герцог де Осуна. Посеяв этот слух, я тотчас улизнул, чтобы заняться другими делами, и, покинув лоно Адриатики, проскочил Анконскую марку и Романью, оставив Рим по левую руку: даже мы, бесы, чтим этот город—главу воинствующей церкви. Через Флоренцию я полетел в Милан, который, укрывшись за своими стенами, поплевывает на всю Европу. Видел и красавицу Геную, этот всемирный денежный мешок, где всегда полно новостей. Затем пустился напрямик через пролив и, минуя Леон и Нарбонну, заскочил в Винарос и Альфакес. Заглянул в Валенсию, которая состязается с самой весной обилием сладостных ароматов, повидал Ламанчу, чья слава не померкнет вовеки, и, наконец, побывал в Мадриде. Там я узнал, что родственники твоей дамы сговорились найти тебя и убить за то, что ты ее обесславил. И хуже того, бес Подножка, наш соглядатай и управляющий соблазнами, проболтался, что меня разыскивает Стопламенный с приказом об аресте. Полагаю, нам надо не мешкая спасаться от этих двух напастей и убираться подальше. Махнем-ка в Андалусию, самый гостеприимный на земле край. Расходы беру на себя, не беспокойся. Как поется в романсе:

Зиму проведу в Севилье,
Лето знойное в Гранаде.

Побываем во всех андалусийских городах, ни одного не пропустим.

И, обернувшись лицом к окну, выходившему на улицу, Бес молвил:

— Превращаю тебя в дверь. Дон Клеофас, за мной! Мы покинем этот постоялый двор и отправимся завтракать в Дарасутан, что в Сьерра-Морене; до тамошнего трактира отсюда двадцать две или двадцать три лиги.

— Пустяки,— сказал дон Клеофас,— ведь ты у меня бесиноходец, хоть и хром.

С этими словами оба вылетели в окно, как стрелы, пущенные из лука. Хозяин, стоя у дверей, увидел, что студент летит по воздуху, и давай кричать ему, чтобы заплатил за постель и ночлег. А дон Клеофас в ответ:

— Вернусь из Андалусии, рассчитаюсь за все!

Полагая, что ему пригрезился сон, хозяин вошел в дом, крестясь и приговаривая:

— Дай бог, чтобы вот так же сбежал от меня поэт, пусть даже с постелью и прочим добром за плечами!

Тем временем Хромой и дон Клеофас уже завидели трактир; спустившись на землю, они вошли и спросили у трактирщика поесть. Тот ответил, что у него остались только один кролик и одна куропатка, которые вон там, на вертеле, любезничают у огонька.

— Так переселите их на блюдо, сеньор хозяин,— сказал дон Клеофас,— да подайте соус! Накрывайте живей на стол, несите хлеб, вино, соль!

Трактирщик ответил, что все будет сделано, надо только подождать, пока закончат свой завтрак чужеземцы,— другого стола в трактире нет. Дон Клеофас сказал:

— Чтобы не терять времени, мы, с позволения этих сеньоров, можем поесть вместе с ними, и, раз они сидят в седле, мы уж как-нибудь примостимся на крупе.

Не дожидаясь приглашения, оба приятеля заняли места, хозяин подал им обещанное блюдо со всеми положенными к нему службами и угодьями, и они приступили к завтраку в обществе чужеземцев — француза, англичанина, итальянца и немца, который уминал еду, лихо отбивая такт бокалами белого вина и кларета. Вскоре голова у этого немца дала сильный крен, появились предвестники пищеизвержения и близящегося шторма; он совсем окосел — еще немного, и трактирщик насадил бы его на вертел и изготовил рагу. Итальянец осведомился у дона Клеофаса, откуда он едет, и когда студент ответил, что из Мадрида, итальянец спросил:

— Что говорят там о войне, сеньор испанец?

Дон Клеофас ответил:

— Теперь война повсюду.

— А все же с кем вы собираетесь воевать? — спросил француз.

— Со всем миром,— ответил дон Клеофас,— дабы повергнуть его к стопам короля Испании.

— Но клянусь,— возразил француз,— прежде чем король Испании...

Не успел мусью закончить, как дон Клеофас сказал:

— Король Испании...

Но Хромой, перебив его, шепнул:

— Позволь, дон Клеофас, ответить мне, ибо по образу жизни я испанец, и с кем иду, за того стою. Сейчас я восславлю короля Испании так, что эти пьянчуги заткнутся. Пусть прочтут летопись нашей страны и узнают, что король Кастилии наделен даром изгонять бесов, а это более доблестное дело, чем исцеление золотушных.

Видя, что испанец умолк, чужеземцы стали исподтишка посмеиваться, но тут Хромой, который успел переодеться в кастильское платье, оставив турецкое в заоблачной гардеробной, уселся поудобнее и начал так:

— Сеньоры, вам собирался ответить мой друг, но сие надлежит сделать мне, как старшему. Покорнейше прошу выслушать меня со вниманием. Король Испании — это борзой благородных кровей, который гордо шествует по улице, и пусть все шавки, сколько там их ни есть, выскочат полаять на него, он и ухом не поведет, пока шавок не наберется столько, что одна из них, приняв его презрение за смирение, дерзнет приложиться к его хвосту, когда он свернет за угол. Тогда он вмиг оборачивается, бьет лапой направо и налево, и все шавки, обезумев от страха, пускаются наутек — их точно ветром сдуло,— и на улице воцаряется тишина: шавки пикнуть не смеют, лишь в ярости грызут булыжник. То же происходит со всеми врагами Испании — королями, наместниками и вельможами — все они шавки супротив его католического величества, и горе тому, кто посмеет цапнуть его за хвост! Наглец получит такой удар лапой, что другим неповадно будет, и они в ужасе разбегутся.

Чужеземцы начали браниться, и француз сказал:

— Ah, bougre, coquin espagnol! [1]

Итальянец подхватил:

— Forfante, marrano spagnuolo! [2]

Англичанин туда же:

— Испанский nitesgut! [3]

А немец был до того пьян, что только кивал, милостиво разрешая другим выступать вместо него на этом заседании кортесов.

Дон Клеофас терпением не отличался. Видя, как они взъярились на его приятеля и изрыгают вперемешку с винными парами потоки хулы, он, следуя поговорке «кто дает быстро, дает дважды», опрокинул скамью, на которой сидели двое чужеземцев, и набросился на них. А Хромой, поспешив на подмогу, принялся так ловко орудовать костылями, что зашвырнул француза на крышу трактира в трех лигах оттуда, итальянца — в нужник в городе Сьюдад-Реаль (смерть под стать месту, коим они грешат), а англичанина — головой в котел с кипятком во дворе одного крестьянина из деревни Адаму́с, собиравшегося шпарить кабана. Немца же, который бухнулся в ноги дону Клеофасу, Хромой, посоветовав

---

[1] Ах, мерзавец, испанская сволочь! *(франц.)*
[2] Подлец, испанская свинья! *(итал.)*
[3] Бездельник! *(искаж. голландск.)*

проспать хмель, забросил в Пуэрто-де-Санта-Мария, откуда тот выехал две недели назад. Тактирщик хотел было вмешаться, но вмиг очутился в Перальвильо, среди вяленых останков казненного ворья — там ему и место.

После этого оба приятеля сели за стол и не спеша приступили к уничтожению трофеев, захваченных у неприятеля. Когда они уже делали последние ходы в сей приятной застольной игре, вошли в трактир погонщики мулов, стали кликать хозяина и требовать вина, а вслед за ними во двор въехала труппа актеров; направляясь из Кордовы в столицу, они собирались подкрепиться. Дамы в мантильях, в шляпах с перьями и в полумасках ехали в удобных седлах, к которым подвешены были туфли с серебряными пряжками. Мужчины — одни с дорожным мешком и без подушек, иные и без того и без другого — сидели на свернутых плащах, засунув сумки за спину, а валлонские воротники — в шляпы. Музыканты путешествовали кто с одним стременем, а кто и вовсе бесстремянный, и везли гитары в футлярах; слуги же ехали на крупах — одни были в чулках и башмаках со шпорами, другие в сапогах с отворотами, но без шпор, третьи подгоняли своих мулов и тех, на которых ехали дамы, просто палками. Имена у большинства были валенсийские, актрис звали либо Мариана, либо Ана Мария, и все они говорили громко и высокопарно, как на сцене. Въезжая во двор, они беседовали о том, что Лиссабон ими опустошен, Кордова повергнута в изумление и Севилья оглушена, а теперьде они едут брать приступом Мадрид, и одною только лоа, которую везут для начала, сочиненною неким стригальщиком из Эсихи, без сомнения, посрамят всех актеров, приезжающих в столицу. Мужчины, проворно соскочив на землю, учтиво подставили руки своим супругам, помогая им спешиться, и все стали взывать к хозяину, «а ему не жаль их было».

Примадонне расстелили на земле коврик, она уселась, и остальные принцессы ее окружили, а директор труппы, пастырь этого стада, принялся хлопотать об угощении.

Хромой сказал студенту:

— Этого директора я ненавижу лютой ненавистью за то, что моих товарищей обижает.

— Как так? — спросил дон Клеофас.

Бес ответствовал:

— Второго такого бездарного актера в целом мире не сыскать, а туда же, берется представлять чертей на праздниках тела господня. У нас в аду его прочат в настоящие черти, чтобы представлял актеров, ежели нам вздумается разыгрывать комедии. Да вот беда — нынешние комедии не годятся даже для преисподней.

— Я тут приметил среди актеров,— сказал дон Клеофас,— одного молодца, которому когда-то в Алькала чуть не исполосовал физиономию. Он отбил у меня мою милашку, девчонка влюбилась в него по уши, глядя, как он изображает датского короля.

— Видно, она была датская принцесса,— сказал Хромой.— Хочешь, отомстим и директору и актеру? Я это мигом устрою. Сейчас они будут распределять роли в комедии, которую везут в Мадрид, в придачу к лоа,— вот увидишь, что тут начнется.

И впрямь, пока Хромой это говорил, суфлер вытащил из мешка тетрадки с ролями из комедии Кларамонте, каковые он кончил переписывать в Адамусе, где перед тем останавливалась труппа.

— Я полагаю,— сказал суфлер директору,— что следовало бы заняться распределением ролей, а тем временем нам приготовят обед и появится, надо думать, хозяин трактира.

Директор согласился: он всегда следовал советам суфлера, почитая того за величайшего знатока комедий,— суфлер когда-то учился в Саламанке и имел прозвище «Философ». Тетрадку с ролью первой любовницы вручили Мариане, жене кассира, помогавшего, кроме того, менять декорации. А когда роль второй любовницы дали Ане Марии, жене баса и плясуна на праздниках тела господня, эта дама швырнула тетрадку наземь, заявив, что поступала в труппу с условием играть первые роли по очереди с Марианой, а ей, видите ли, всегда дают вторые, хоть она их всех может поучить играть на сцене, ибо играла с величайшими актрисами и была прозвана второй Амариллис. На что Мариана ей ответила, что она недостойна смотреть даже на то, как играет ее, Марианы, башмак, после чего Ана Мария спросила, с каких это пор Мариана так возгордилась — давно ли она брала взаймы у нее, Аны Марии, весь костюм Дидоны, вплоть до нижней юбки, когда они в Севилье ставили великую комедию Гильена де Кастро, и тем не менее провалилась, так что из-за нее освистали всю труппу.

— Это тебя освистали,— ответила та,— тебе чтоб провалиться!

Дамы схватились врукопашную, осыпая друг дружку бранью, от которой и мужей разобрало; те обнажили шпаги, и разгорелась настоящая театральная баталия. Погонщики бросились разнимать, хлеща по чем зря поводьями, снятыми с мулов,— все сбились в один клубок. А дон Клеофас и Хромой под шумок улизнули из трактира и направились в Андалусию. Комедианты же продолжали кромсать один другого ножами, как на бумажной фабрике — тряпье. Еще немного, и трактир стал бы вторым Ронсевалем, но тут явился хозяин и привел стражников Эрмандады, вооруженных мушкетами, копьями и самострелами, чтобы схватить наших прия-

телей, а тех и след простыл. Застав в харчевне новое побоище,—все кружки, кувшины, тарелки были перебиты,— хозяин и стражники утихомирили актеров и повели их в Сьюдад-Реаль, готовясь вступить там в еще более трудный бой с альгвасилом, препровождавшим труппу в Мадрид по поручению арендаторов театра и по приказу Совета Кастилии.

СКАЧОК ШЕСТОЙ

Тем временем наши странники неслись вперед, пожирая целыми лигами воздушное пространство, точно хамелеоны, и вмиг оставили позади Адамус, владение славного маркиза дель Карпио Аро, благородного отпрыска древних правителей Бискайи и отца величайшего из меценатов древнего и нового времени, в ком сочетаются высочайшая доблесть с неменьшей скромностью. И, промчавшись над семью бродами и харчевнями Альколеи, они очутились в виду Кордовы, красующейся среди роскошных садов и знаменитых асфодельных лугов, где пасутся и плодятся табуны быстроногих детей Зефира, более достойных сего имени, чем те, коих в старину прославляли на брегах португальского Тахо. Здесь приятели опустились на землю и через квартал «Поле Истины» (куда не часто решается заглянуть бесовское отродье) вошли в город, прозванный римлянами Колонией и ставший родиной обоих Сенек и Лукана, а также отца испанской поэзии, великого Гонгоры. В тот день вся Кордова наслаждалась боем быков и сражением на тростниковых копьях — этим испытанием доблести, из коего тамошние кабальеро всегда выходят с честью. Оба приятеля, сняв себе жилье в «Гостинице Решеток», уже заполненной съехавшимися гостями, также решили пойти поглазеть на торжество. Стряхнув с платьев облачную пыль, они направились на Корредеру, площадь, где устраиваются эти зрелища, и, смешавшись с толпой, стали смотреть на фехтование — оно в Кордовской провинции обычно предваряет бой быков. В тех краях еще не знали ни о прямой линии, ни об острых и тупых углах, там дрались, как деды-прадеды наши дрались,— коли куда попало. Дон Клеофас, вспомнив, что пишет по этому поводу остроумнейший Кеведо в своем «Пройдохе», чуть не лопнул со смеху. Но, признаться, мы немало обязаны прославленному дону Луису Пачеко де Нарваэс за то, что он вывел фехтовальное искусство из мрака невежества на свет божий и выделил из хаоса бесчисленных мнений математические начала сего искусства.

Во время боя некий юноша из Монтильи, бравый рубака, сражавшийся с жителем Педрочес, тоже отличным бойцом, выронил свою черную шпагу. Многие бросились поднять ее, но дон Клео-

фас опередил всех. Решительность незнакомца, в котором по виду угадали уроженца Кастилии, вызвала всеобщее восхищение. Студент же, передав, как положено, свою шпагу и плащ товарищу, изящно вступил на арену. Распорядитель махнул двуручным мечом, оттесняя зевак, чтобы расширить круг, и громогласно объявил о новой схватке на шпагах-негритянках. Андалусиец и кастильский студент отважно устремились друг к другу, сделали по выпаду, но не задели и ниточки на платье. Зато при втором схождении дон Клеофас, просвещенный Каррансой, применил четвертый круговой и «башмачком» нанес андалусийцу удар в грудь, а тот, натянув нарукавник, полоснул дона Клеофаса по голове и задел рукоятку его шпаги. Тогда дон Клеофас, сочетая защиту с нападением, сделал боковой выпад и так ахнул противника, что у того внутри загудело, как в склепе герцогов де Кастилья. Стоявшие в кругу друзья-приятели андалусийца всполошились и начали, поверх меча распорядителя, покалывать шпагами дона Клеофаса, но он одним «башмачком», будто святой водой, отвел все удары, затем схватил свою шпагу и плащ,— а Хромой свои костыли,— и вдвоем они учинили такое побоище среди столпившихся зевак, что для восстановления порядка пришлось выпустить быка, выращенного в Сьерра-Морене. Этот могучий распорядительский меч в два-три прыжка очистил площадь лучше, чем все немецкие и испанские стражники; при этом, правда, у некоторых зрителей пострадали штаны и обнажилась некая часть их тела, сходная с лицом циклопа. А дон Клеофас и его приятель, посмеиваясь в усы, взобрались на помост, дабы полюбоваться потехой, и преспокойно обмахивались шляпами, будто они тут ни при чем. Однако альгвасилы приметили их — где тонко, там и рвется, чужаку первому достается — и, перерезав быку поджилки, подъехали на лошадях к помосту.

— Сеньор лисенсиат и сеньор Хромой,— сказали они,— спуститесь вниз, вас требует сеньор коррехидор.

Дон Клеофас и его товарищ прикинулись, будто не слышат; тогда блюстители, а точнее, губители правосудия попытались достать до них жезлами. Но друзья ухватили каждый по жезлу, и, вырвав их из рук альгвасилов, сказали:

— Приглашаем ваши милости следовать за нами, ежели посмеете.

И взмыли ввысь наподобие потешных огней. Альгвасилы же, лишившись жезлов, так и обмерли: сказочный полет этих чудо-акробатов казался им сном, только и осталось, что взывать к воробьям: «На помощь правосудию!» А оба наши сокола, сделав несколько кругов, миновали Гвадалкасар, владение славного маркиза того же имени из доблестного рода Кордова, и опустились у Эсиханского Столпа. Хромой сказал дону Клеофасу:

— Гляди, какое чудное гранитное дерево — только вместо плодов на нем обычно висят люди.

— И весьма высокое! А что это? — спросил дон Клеофас.

— Знаменитый во всем мире столп,— ответствовал Хромой.

— Стало быть, мы в городе Эсихе? — снова спросил дон Клеофас.

— Да, это Эсиха, самый богатый город Андалусии,— сказал Бес.— Видишь, в его гербе у входа на тот красивый мост изображено солнце в лучах, похожее на глаз в ресницах, и из глаза этого текут слезы в многоводную реку Хениль, которая рождается в горах Сьерра-Невады, а затем, сочетавшись хрустальным марьяжем с Дурро, струится дальше — обуть серебром великолепные здания и луга, пестрящие дарами апреля и мая. Здесь родился превосходный кастильский поэт Гарси Санчес де Бадахос, и лишь здесь, в окрестностях Эсихи, дает урожай хлопок, не созревающий в других местах Испании, а также дюжины две диких, но полезных растений, собираемых бедняками на продажу. Весьма плодородны и земли, прилегающие к Эсихе. Налево отсюда Монтилья, обиталище храбрых маркизов де Прието, Кордова-и-Агилар; из этого дома произошел во славу Испании тот, кто удостоился имени «Великого Капитана». Ныне вотчина сиятельного маркиза Монтильи приумножена владениями дома Ферия, ибо участь последнего отпрыска этой семьи, повергавшего в изумление Италию, была омрачена завистливой Фортуной — он умер без наследников. Доблестный его преемник, хоть и немой, деяниями своими, свершаемыми в красноречивом молчании, покоряет стоустую молву. Ниже расположена Лусена, подвластная «Предводителю Рыцарей» герцогу де Кардона — в океане его гербов потонул славный род Лерма. Дальше город Кабра, знаменитый своей пропастью,— с ее глубиной сравнится лишь древность рода владык этого города,— провозглашает всеми зубцами своих стен, что принадлежит великому герцогу де Сеса-и-Сома и что ныне в нем обитает блистательный и просвещенный наследник герцога. Еще дальше, там, где кончаются эти великолепные здания, Осуна похваляется тем, что дала миру многих Хиронов, орденских магистров, и славит своих горделивых герцогов. А в двадцати двух лигах отсюда расположилась красавица Гранада, истинный рай Магометов — недаром ее так отчаянно защищали отважные пиренейские африканцы. Ныне алькайдом ее Альгамбры и Алькасабы поставлен благородный маркиз де Мондéхар, отец великодушного графа де Тендилья, храброго защитника веры и зерцала рыцарей. Надо упомянуть и древний город Гвадис, славящийся своими дынями, а еще более — божественным даром его сына и архидьякона, доктора Миры де Амескуа.

Пока Хромой все это рассказывал, они подошли к Главной площади Эсихи, самой красивой в Андалусии. Подле фонтана, где на пьедестале из яшмы четыре гигантские алебастровые нимфы мечут в воздух хрустальные копья, стояло на скамье несколько слепых; перед толпой слушателей в грубошерстных плащах они распевали весьма правдивую историю о том, как некая дуэнья забеременела от черта и с соизволения господня народила целый выводок поросят. В заключение слепцы пропели романс о доне Альваро де Луна и заговорный стишок против бесов:

Сатана — зобатый,
Люцифер — горбатый,
А Хромого Беса
Мучит геморрой.
Только зоб, чесотку,
Геморрой, сухотку
Выгонит бабенка
Длинной кочергой.

Хромой обратился к дону Клеофасу:

— Что ты на это скажешь? Слышишь, как нас честят эти слепцы, какие пашквили сочиняют? Никто на свете не смеет нас задевать, а вот с этим незрячим народцем сладу нет — они куда храбрее самых дерзких поэтов. Но на сей раз я им отплачу, устрою так, что они сами себя накажут, да кстати насолю и дуэньям — этих баб ненавидит весь мир, даже мы, черти, хоть весьма обязаны им за помощь в наших плутнях и величаем их не иначе как «дьяволицами».

И Хромой тут же стравил слепых: заспорили они из-за того, как поется одна песенка. Ругались, толкались, пока не попадали со скамьи — одни на землю, другие в фонтан; но они быстро отряхнулись, снова сцепились и ну колотить друг дружку посохами, попутно угощая слушателей, а те давали им сдачи затрещинами и пинками.

Так как наши странники явились в Эсиху с жезлами кордовских альгвасилов, местные служители правосудия решили, что они прибыли из столицы с важным поручением. Поспешив изъявить гостям свое почтение, эсиханцы покорнейше просили их распоряжаться в городе, как у себя дома. Приятелям только того и надо было: они милостиво приняли любезное предложение и богатые дары, а на вопрос, по какому делу пожаловали, Хромой сказал, что везет указ против лекарей и аптекарей да, кроме того, намерен учинить смотр дуэньям-богомолкам. Отныне, дескать, лекарю, прикончившему больного, спина мула уже не послужит святым убежищем; а буде лекарь тот уйдет от ответа, то по крайности аптекаря, перепутавшего слабительное, надлежит подвергнуть каре,

хоть бы и взобрался он на круп лекаревого мула. Что ж до богомолок, то им впредь запрещается нюхать табак, пить шоколад и есть рубленые котлеты.

Старший альгвасил, человек смышленый,— он, говорят, даже хакары и интермедии сочинял,— учуяв подвох, приказал схватить мнимых альгвасилов и тащить в кутузку, чтобы там выколотить из них пыль да спустить семь шкур за колдовство, обман и самозванство. Но Хромой взметнул тучу серного дыма, схватил дона Клеофаса за руку, и оба они исчезли, предоставив эсиханским блюстителям порядка беситься от злости, кашлять, чихать и стукаться в темноте лбами. А наши соколы из самой сумрачной Норвегии, описывая круги в воздухе, оставили по правую руку Пальму, где водяной сочетает браком Хениль и Гвадалквивир; там искони повелевают роды Боканегра и Портокарреро, а еще недавно правил знатный вельможа и доблестный витязь дон Луис Портокарреро, невысокий ростом, но высокий духом. Затем они миновали Монклову, восхитительную рощу, насаженную римским полководцем Кловием, а ныне владение другого Портокарреро-и-Энрикес, воина не менее отважного, нежели его предок. Пролетели они и над живописным селением Фуэнтес, где ранее правил блестящий и непобедимый маркиз Хуан Кларос де Гусман, прозванный «Добрым» и после долгой, верной службы королю скончавшийся во Фландрии, к прискорбию всех, кто его знал и им восхищался; он был из знаменитого рода Медина Сидония, в коем все Гусманы носят прозвище «Добрый», заслуженное их происхождением и великодушием. Даже краем одежды не задели наши путники Марчену, обитель герцогов де Аркос, прежних маркизов Кадиса, где ныне достойно правит светлейший герцог дон Родриго Понсе де Леон, делами и подвигами затмивший всех своих предков. Лишь издали взглянули они на Вильянуэву-дель-Рио, владение маркизов де Вильянуэва Энрикес-и-Ривера, принадлежащее теперь дону Антонио Альварес де Толедо-и-Беамонте, герцогу де Уэска, славному наследнику великого герцога де Альба, коннетабля Наварры. И наконец оба друга достигли в птичьем своем полете подножья холма, на котором расположена Кармона, и опустились в ее обширной плодородной долине, где их застала ночь. Дон Клеофас сказал товарищу:

— Довольно мы уже налетались, дружище, отдохнем немного на месте, как лесные совы. Ночь тихая, теплая — так и манит провести ее на приволье.

— Согласен,— сказал Бес.— Раскинем шатры на этом лужке у ручья, в чью зеркальную гладь смотрятся звезды, прихорашиваясь к утреннему посещению солнца, их султана.

Дон Клеофас, положив плащ под голову, а шпагу на живот,

лег на спину, примостился поудобней и стал разглядывать небесный свод, дивное сооружение, воочию убеждающее самого слепого из язычников, что чудо сие сотворено рукою всевышнего мастера.

— Вот ты проживал в тех селениях,— обратился дон Клеофас к приятелю,— так, может, скажешь мне, правду ли говорят астрологи, будто звезды столь огромны? И еще скажи, на каком небе они помещаются и сколько всего небес, а то ученые морочат нас, невежд, всякими воображаемыми линиями да колюрами. И верно ли, что планеты движутся по эпициклам, что каждая небесная сфера — от перводвигателя до колеблющейся и неподвижной — имеет особое вращение? И еще скажи, откуда взялись те знаки, коими подписываются зодиакальные писцы? Тогда я открою людям глаза и не позволю выдавать бредни за истины.

Хромой ответствовал:

— Падение наше, дон Клеофас, было столь стремительным, что нам ничего не удалось разглядеть. Но, поверь, если бы Люцифер не увлек за собою третью часть всех звезд, как о том твердят в действах на празднике тела господня, у астрологов было бы куда больше поводов дурачить вас. Впрочем, я не хочу сказать ничего дурного о подзорных трубах Галилея и мудрого дона Хуана де Эспина, чей удивительный дом и необычайное кресло прославили его редкостный талант; я говорю об обычных подзорных трубах и не намерен бросить тень подозрения на оптические приборы тех двух зорких сеньоров, которые узрели на левом боку солнца родимое пятно, разглядели на луне горы и долины и заметили, что Венера рогата. Одно могу сказать: за то недолгое время, что я пробыл там, наверху, мне не довелось слышать ни одного из этих названий, придуманных для звезд плутами-астрологами: Стожары, Воз, Колос Девы, Большая Медведица, Малая Медведица, Плеяды, Гелиады... И нет там никакого Млечного Пути, или, как называет его народ, «Путь в Сантьяго, коим идет и здоровый и хромой», не то и я бы ходил по нему — ведь я хромой и вдобавок сын жителя той провинции.

Слушая эти рассуждения, дон Клеофас мало-помалу отдался на милость сну, предоставив приятелю Бесу стоять на страже, подобно журавлю, как вдруг его разбудили громкие звуки рожков и топот копыт. Дон Клеофас испугался, ему показалось, что Бес, столь любезно его развлекавший, хочет утащить его в места, куда менее приятные. Но Хромой его успокоил:

— Не тревожься, дон Клеофас! Раз ты со мной, бояться тебе нечего.

— Но что это за шум? — спросил студент.

— Сейчас объясню,— ответил Хромой,— только очнись хорошенько ото сна и слушай меня внимательно.

СКАЧОК СЕДЬМОЙ

Студент поднялся, зевками и потягиванием возмещая недоспанное, а Бес продолжал:

— Шум этот производит свита Фортуны, которая переправляется в Великую Азию, дабы присутствовать при генеральном сражении между Великим Моголом и Шахом и даровать победу тому, кто ее меньше заслужил. Смотри и слушай: вот проходит караван с казной Фортуны, но вместо вьючных животных тут купцы и менялы; покрикивая «с дороги!», они тащат сундуки, полные золотых и серебряных монет и покрытые коврами с гербом владычицы — четыре ветра и башенный флюгер, который поворачивается, куда ветер дует. Сундуки обвязаны веревками, заперты золотыми и серебряными замками, и, хотя они очень тяжелы, носильщикам кажется, что нести их — одно удовольствие. Несметная рать всадников, скачущих в беспорядке,— это служители желудка: повара, поварята, виночерпии, экономы, пекари, закупщики и прочая сволочь, причастная к жратве. Дальше шагают в белых колпаках набекрень лакеи Фортуны — величайшие поэты мира: Гомер, Пиндар, Анакреон, Вергилий, Овидий, Гораций, Силий Италик, Лукан, Клавдиан, Стаций Папиний, Ювенал, Марциал, Катулл, Проперций, Петрарка, Саннадзаро, Тассо, Бембо, Данте, Гварини, Ариосто, кавалер Марино, Хуан де Мена, Кастильехо, Грегорио Эрнандес, Гарси Санчес, Камоэнс и другие, кои в разных странах были королями поэзии.

— Немногого же они достигли,— заметил студент,— если ходят лишь в лакеях Фортуны.

— При ее дворе,— сказал Хромой,— никому не воздается по заслугам.

— А это что за нарядная кавалькада, сверкающая алмазами, золотыми цепями и расшитой жемчугом одеждой?— спросил студент.— Сколько пажей шествует в их свите, освещая дорогу факелами, меж тем как господа едут верхом, только не на лошадях, а на древних философах! И до чего жалкий вид у этих мудрецов — горбатые, хромые, безрукие, лысые, носатые, кривые, левши, заики!

— Господа эти,— сказал Хромой,— суть владыки, князья и сильные мира сего; они сопровождают Фортуну, наделившую их владениями и сокровищами; они могущественны и богаты, но нет на земле людей глупее и ничтожней их.

— Нечего сказать, хорош вкус у Фортуны! — заметил дон Клеофас.— Недаром она носит женское имя — выбирает себе самое худшее!

— Первой их благодетельницей была природа,— ответил Хромой и продолжал: — Вон там, видишь, восседает на дромадере

великан, посреди лба у него один глаз, и тот незрячий. Великан держит длинный шест, увешанный жезлами, митрами, лавровыми венками, орденами, кардинальскими шапками, коронами и тиарами. Это Полифем. После того как Улисс его ослепил, Фортуна препоручила ему эту вешалку с атрибутами власти, дабы он раздавал их вслепую; едет Полифем всегда рядом с триумфальной колесницей Фортуны, которую тащат пятьдесят греческих и римских императоров. В колеснице, окруженная хрустальными светильниками, в которых горят огромные свечи, стоит Фортуна; одна ее нога опирается на колесо с серебряными черпаками, колесо это непрерывно вертится, черпаки наполняются ветром и тут же опорожняются; другая нога Фортуны — в воздухе, где снуют тысячи хамелеонов, подавая докладные записки богине, а та не глядя рвет их. За колесницей едут на слонах придворные дамы Фортуны; седла под ними золотые, усыпанные гранатами, рубинами и хризолитами. Первая — Глупость, старшая статс-дама, особа преуродливая, но весьма обласканная Фортуной. За нею Ветреность; она раздает направо и налево брачные обязательства, но ни одного не выполняет. Дальше — Лесть, одетая по французской моде; платье ее сшито из переливчатых лепестков подсолнечника, на голове вместо чепца семицветная радуга, в каждой руке сто языков. За нею ты видишь прелестную, стройную даму с заплаканным лицом, всю в черном, без золота и драгоценностей; это Красота — особа весьма благородная, но обойденная милостями своей госпожи. За Красотой следует, злобно ее преследует, Зависть в желтых одеждах, на коих вышиты василиски и сердца.

— Эта дама,— сказал дон Клеофас,— поистине снедает сердца и прочие внутренности человеческие; она стервятник, обитающий во дворцах.

— Та, что сейчас проезжает,— продолжал Хромой,— с виду будто беременная, зовется Спесью; у нее водянка от непомерных желаний и притязаний. За нею Скупость — эта страдает завалами золота, но отказывается принимать клистир из стали, ибо сталь не благородный металл. Вон те дамы, в очках и токах с длинными вуалями, верхом на минотаврах,— это Лихва, Симония, Подделка, Сплетня, Ссора, Гордыня, Хитрость, Похвальба — дуэньи Фортуны. За этими сеньорами увиваются, освещая им путь факелами, воры, мошенники, астрологи, шпионы, лицемеры, фальшивомонетчики, сводники, сплетники, маклаки, обжоры и пьяницы. Вон тот, на Апулеевом золотом осле,— это Крез, главный мажордом Фортуны, а слева от него гарцует Астольфо, ее старший шталмейстер. На бочках с колесами, держа в руках кубки и покатываясь от хохота, развалились кравчие Фортуны, бывшие мадридские трактир-

щики. Орава кровожадных дикарей, которые едут на ослах,— это счетчики, казначеи, интенданты, летописцы, законники, столоначальники, писаря и делопроизводители Фортуны; перьями служат им песты, бумагой — кожа носорога. За ними несут украшенные гербами носилки, в которых Фортуна делает визиты; носильщиками здесь Пифагор, Диоген, Аристотель, Платон и другие философы для перемены; все они одеты в камзолы и панталоны из грубошерстной ткани, и на их лицах — клейма в виде буквы S с гвоздем. Далее, сопровождая траурные катафалки, следуют по трое — кто на гробу, кто верхом, кто ведет лошадь под уздцы — придворные врачи, аптекари и цирюльники Фортуны. Процессию замыкает диковинная движущаяся башня — та самая, Вавилонская; множество великанов, карликов, плясунов и комедиантов играют там на разных инструментах, бьют в барабаны, кричат, визжат; из бесчисленных окон, освещенных плошками, вылетают огненные колеса и шутихи. На большом балконе с фасада башни стоит Надежда, великанша в зеленой мантии; у ее ног толпятся искатели должностей — воины, капитаны, правоведы, искусные мастера, учителя различных наук; оборванные, голодные, отчаявшиеся, они взывают к Надежде и в превеликом шуме один другого не слышат. На балконе с правой стороны башни стоит Преуспеяние, великанша, увенчанная золотыми колосьями и одетая в драгоценную парчу, на которой вышиты четыре времени года; она швыряет мешки с деньгами скудоумным богачам, хотя те ни в чем не нуждаются и, похрапывая в носилках, полагают, что видят сон. Позади башни тянется длинный обоз — огромные повозки, груженные съестными припасами, женской и мужской одеждой. Это кладовая и гардеробная Фортуны. Ты видишь, за колесницей богини бежит столько нагих и голодных, но она никому не дает ни кусочка хлеба, ни тряпки прикрыть наготу, а если бы и оделила бедняков, дары не пойдут им впрок, ибо изготовлены по мерке счастливцев.

За обозом двигался летучий отряд безумцев — пеших, конных, в каретах; у каждого было свое помешательство, ибо рассудка они лишились из-за различных превратностей Фортуны на море и на суше. Одни смеялись, другие плакали, третьи пели, четвертые молчали — и все проклинали Фортуну. Она же оставалась глуха к их проклятьям и жалобам. Эта шумная толпа вскоре скрылась в гигантских клубах пыли, поглотившей в своих недрах и людей, и животных, и башню. Наступил день, но солнце, как дон Бельтран небесных светил, чуть не затерялось в ужасной пыли. А наши приятели поднялись по склону недавно окрещенного города Кармоны, этой дозорной башни Андалусии, где небо всегда безоблачно, чего не скажешь о жизни ее обитателей (зато насморком они ни-

когда не страдают). Подкрепившись в харчевне жареными кроликами и цыплятами, студент и Хромой направились в Севилью, чья знаменитая Хиральда видна уже с постоялого двора в Верхнем Пероминго; устремляясь ввысь, сия дщерь неба задевает головой звезды.

Дон Клеофас не мог надивиться прекрасному местоположению города и пестрой толпе судов, теснящихся в водах Гвадалквивира, хрустального рубежа меж Севильей и Трианой; он издали восхищался великолепием севильских зданий, которые, словно усопшие девы и мученики, держат в руках ветви пальм, красуясь среди цедратов, апельсинных и лимонных деревьев, лавров и кипарисов. Через несколько минут приятели очутились в Торребланке, отстоящей на одну лигу от славного града; там начинается Севильская Мостовая и знаменитый акведук, что несет воды реки Гвадайры из Кармоны в Севилью, которая с жадностью больного водянкой выпивает их, не оставляя и капли в дань морю, так что Гвадайра — единственная река в мире, освобожденная от уплаты сего налога. По обе стороны Мостовой тянутся бесчисленные усадьбы, окруженные садами, где благоухают апельсинные деревья, розы и жасмин. В ту минуту, когда путники приблизились к Кармонским воротам Севильи, Хромой заметил, что в них въезжает — верхом на коне, в сопровождении двух адских сыщиков — Стопламенный с поднятым жезлом. Обернувшись к дону Клеофасу, Бес сказал:

— Видишь всадника у Кармонских ворот? Это судебный исполнитель, посланный за мной в Севилью моими начальниками. Нам надо остерегаться.

— Чихал я на него,— сказал дон Клеофас.— Я приписан к университету в Алькала и никакому другому суду, кроме университетского, не подвластен. К тому же Севилья, слышал я,— что дремучий лес: стоит только захотеть, и все сыщики Люцифера и Вельзевула никогда не найдут нас.

Быстрым шагом они вошли в город — Хромой, пугливо озираясь, впереди,— и, отмерив одну за другой несколько улиц, оказались на небольшой площади, где высилось роскошное здание с богатым алебастровым порталом и длинными галереями тоже из алебастра. Дон Клеофас спросил, как называется этот храм, и Бес ответил, что это вовсе не храм, хотя на его стенах так много высечено в мраморе иерусалимских крестов, а дворец герцогов де Алькала, маркизов де Тарифа, графов де лос Моларес — верховных правителей Андалусии. Ныне, за отсутствием прямых наследников, богатейшие владения оного рода перешли к герцогу де Мединасели, к величию коего мудрено что-нибудь прибавить, ибо потомку Фоксов и Серда нет равных.

— Этого герцога я знаю,— заметил дон Клеофас,— видал его в Мадриде; он великодушен и разумен, как подобает столь знатному вельможе.

Так беседуя, они пришли на улицу Головы Короля Педро — теперь она называется улицей Лампады,— затем, пересекши Аббатскую и Сапожную улицы и маленькую площадь, именуемую Барабан, добрались до Речных улиц, самых глухих в Севилье; там они и остановились в гостинице.

Тем временем нашего астролога и мага хватил апоплексический удар, и чертенок Левша, преемник Хромого, утащил его в ад. Там душа астролога, очищенная от телесной скорлупы, голенькая, явилась к Люциферу просить управы на озорника за разбитие колбы. Не дремала и оскорбленная донья Томаса: она раздобыла другой указ об аресте студента и, прихватив нового своего обожателя, солдата с галионов, стала собираться в Севилью, куда, как она прослышала, сбежал дон Клеофас. Пылая местью, эта девица хотела любой ценой принудить нашего мадридского Вирено жениться на ней, завалящей Олимпии. Дон Клеофас и его приятель отсиживались в гостинице, чтобы не попасться на глаза соглядатаям Стопламенного, Искры и Сетки. Однажды вечером они поднялись на плоскую кровлю — так построены все севильские дома — подышать свежим воздухом и с высоты обозреть многолюдный город, сей желудок Испании и всего света: ведь Севилья разгоняет во все концы земли питательные соки индийского золота и серебра, ею пожираемых (этот особый, европейский, страус глотает лишь благородные металлы). Дон Клеофас пришел в восхищение при виде несметного полчища домов, нагроможденных так тесно, что, пустись они врассыпную, во всей Андалусии не хватило бы для них места.

— Покажи мне,— сказал он своему товарищу,— какие-нибудь достопримечательности Севильи.

Хромой сказал:

— Уже по одной этой колокольне, видимой на столь далеком расстоянии, ты можешь догадаться, что прекрасное сооружение, коего часть она составляет,— кафедральный собор,— самый большой из храмов, воздвигнутых в древности и в наше время. Не стану описывать подробно все его чудеса, довольно сказать, что на пасхальную свечу, которую здесь ставят, идет восемьдесят четыре арробы воску, а бронзовый светильник, зажигаемый на святой неделе, отделан столь великолепно, что будь он из чистого золота, и то стоил бы меньше. Дарохранительница сработана в виде колокольни собора, по тому же рисунку и образцу, только из серебра. Заднюю стенку хоров украшают самые восхитительные и дорогие самоцветы, какие добываются в недрах земных, а монумент — что храм

Соломонов. Но выйдем из собора — нашему брату не дозволено туда заглядывать даже мысленно, не то что толковать о нем. Лучше посмотри на то здание: оно называется Биржей и скроено из обрезков платья святого Лаврентия, воздвигнутого в Эскориале по плану Филиппа Второго. Справа от Биржи стоит Алькáсар, древняя резиденция королей Кастилии и вечно цветущий приют весны; ее алькайд — светлейший граф-герцог де Санлукар ла Майор, могучий Атлант при нашем испанском Геркулесе, чьей державной власти мудрость герцога служит верным компасом. И не будь построен Буэн-Ретиро, несравненный образец зодчества, где столько изумительных зданий, садов и прудов, севильский Алькасар превосходил бы красотою все королевские дворцы мира, особливо же его тронный зал, план коего государь наш Филипп Четвертый Великий восхитил у своего божественного воображения,— в этом зале немеют восторженные уста и меркнут все иные красоты. Ближе к нам ты видишь Торговую палату, которая нередко бывает вымощена слитками золота и серебра. Рядом дворец храброго графа де Кантильяна, любимейшего из придворных, учтивого кавалера во дворце и бесстрашного бойца на арене, баловня зрителей и утехи королей; быки из Тарифы и Харамы признаются в этом, когда идут на исповедь к его пике. Далее, подле Хересских ворот, большое здание Монетного двора, где золото и серебро навалены горами, точно простое зерно. А вон Таможня, дракон, пожирающий товары всех стран мира двумя пастями; одна разверзается в сторону города, другая — к реке, где находятся Золотая Башня и мол, высасывающий из галионов, будто мозг из кости, все, что они привозят в своих трюмах. Справа деревянный мост в Триану, его поддерживают тринадцать лодок. Пониже, у самой реки, стоит Куэвас, знаменитая обитель святого Бруно, где братья картезианцы, хоть и живут на языке суши, строго блюдут обет молчания. На том берегу Гвадалквивира раскинулся Хельвес, излюбленное место для сражений на тростниковых копьях, воспетое в старинных мавританских романсах. Ныне там проживают его достойные графы и доблестный герцог де Верагуа, живой портрет великого отца:

Дабы его все миновали беды,
он и Колумб, и Кастро, и Толедо.

— Э, да у тебя, приятель, рифма сорвалась! — сказал дон Клеофас.

— Случилось это не случайно,— ответил Хромой.— Для предмета моих восхвалений проза чересчур низка.

И он продолжал:

— Вон там Аламильо, где отлично ловятся бешенка, плотва

и осетр; ниже по реке — Альгаба, владение славных маркизов де Альгаба, де Ардалес, графов де Теба — истинных Гусманов во всем. На том же берегу Кастельяр, поместье Рамиресов-и-Сааведра, а за излучиной — Вильяманрике, принадлежащее Суньигам из древнего рода Бехар, где последним маркизом был злосчастный Гусман, дважды «Добрый», племянник великого патриарха Индий, королевского капеллана и главного раздатчика милостыни, благочестие коего сияет в лучах его сана и знатности. Этот Гусман был к тому же братом великого герцога де Сидония, кому служит престолом СанЛукар де Баррамеда — там, ниже по реке, двор сего Нарцисса, глядящегося в океан, генералиссимуса Андалусии и всего морского побережья Испании; вода и суша покорны его жезлу и победоносной длани, утверждающей на этом гористом мысе власть нашего короля на страх всему миру. Но уже темнеет, и мне, дабы достойно завершить эти хвалы, лучше умолкнуть,— посему отложим остальные объяснения на завтра. А сейчас мы спустимся с террасы, поужинаем и прогуляемся по городу — посмотрим чудесную Тополевую рощу, которую насадил и украсил двумя Геркулесовыми столпами граф Барахас, в прошлом королевский ассистент в Севилье, а затем славный президент Совета Кастилии.

СКАЧОК ВОСЬМОЙ

Тем временем донья Томаса, запасшись указом об аресте, наняла двухместные носилки и мула, на которого нагрузила свои и солдатовы пожитки, нарядилась, как его брат — близнец, в мужское платье и потащилась с этим новым обожателем из Мадрида в Севилью (таскаться и тащить ей было положено по званию). А нашего астролога все никак не могли похоронить из-за споров о завещании, им составленном незадолго до кончины и обнаруженном в его столе родичами: дабы решить кляузное дело, пришлось обратиться в суд. Хромой же и дон Клеофас проспали до двух часов дня, ибо почти всю ночь шатались по Севилье; затем они пообедали отменной здешней рыбой и вкуснейшими в мире галисийскими хлебцами, и дон Клеофас опять проспал всю сьесту, а его приятель отправился хлопотать при адском дворе о прощении за самовольный побег. Вечером они снова поднялись на террасу, и Бес продолжил рассказ о примечательных зданиях Севильи — сей пучины всесветной,— каковые не успел накануне показать товарищу. Внезапно дон Клеофас дважды вздохнул, и Хромой спросил его:

— Что тебе пришло на ум, приятель? Какие воспоминания раскалили твое сердце столь сильно, что из уст вырвались эти два языка пламени?

— Ах, друг,— ответил студент,— я вспомнил Главную улицу Мадрида и блестящий поток гуляющих, которые в этот час устремляются по ней к Прадо.

— Нам ничего не стоит увидеть это столь же отчетливо, как если б мы находились там,— сказал Бес.— Попроси у нашей хозяйки зеркало, и я устрою тебе забаву, какой ты еще не видывал. Конечно, я мог бы в мгновение ока доставить тебя туда на моих почтовых, хоть и кормлю их не овсом, а ветром, но не хочу покидать Севилью, пока не узнаю, к чему приведут происки Стопламенного и твоей дамы, которая также направляется сюда. К тому же в этом городе я чувствую себя превосходно — потому, верно, что в нем изобилие нечистой совести, привозимой из Индий.

Тут как раз появилась на террасе Руфина Мария, хозяйка гостиницы, дама орехово-шоколадной масти, чтобы прямо не сказать — мулатка, искусный лоцман, знавший все злачные места Севильи, и быстрый сокол, умевший спугнуть кошелек из кармана чужеземца и пригнать его в коготки начинающей потаскушки, если та догадалась прибегнуть к ее помощи. На хозяйке была белая блуза из голландского полотна с прорезями на рукавах, белая же хлопчатой ткани юбка, туфли на каблуках и, по обычаю темнокожих жителей того края, носки вместо чулок. О той поре Руфина Мария с гребнем и большущим зеркалом всегда поднималась на террасу причесываться. Пользуясь случаем, Хромой учтиво попросил у нее зеркало и, объяснив, для какой надобности, прибавил:

— Сеньора хозяйка может тоже остаться; у нее, я знаю, есть склонность к таким вещам.

— Ах, сеньор,— ответила Руфина Мария,— ежели вы про черную магию, так я от нее без ума. Ведь родом я из Трианы, умею гадать на бобах да вертеть сито лучше всех здешних ворожей и знаю штучки еще занятнее; с удовольствием покажу вашим милостям, чтобы отплатить за любезность, хоть люди благоразумные твердят мне, что ворожба — вздор.

— И они правы,— сказал Хромой.— А все же, сеньора Руфина Мария, то, что я намерен показать моему приятелю, заслуживает внимания столь незаурядной особы, как вы. Смотрите же хорошенько!

И, взяв в руку зеркало, он сказал:

— Сейчас я покажу вам обоим все, что в эти часы происходит на Главной улице Мадрида,— такую штуку, кроме меня, способен проделать разве только дьявол. Предупреждаю, в моих восхвалениях я буду держаться порядков Круглого стола, где каждый сидел во главе, а не обычая кредиторов, кои норовят один другого опередить.

— Ах, господи! — сказала Руфина.— Начинайте же поскорей, ваша милость, то-то будет забава! Я еще девчонкой побывала в столице вместе с одной дамой, она отправилась вдогонку за кавалером ордена Калатравы, который приезжал сюда доказывать свои права. Потом родители забрали меня обратно в Севилью, но улицу ту я не могу забыть и с удовольствием снова погляжу на нее, пусть только в зеркале.

Не успела хозяйка договорить, как показались в зеркале кареты, коляски, носилки, всадники на лошадях и такое множество прелестных дам в сверкающих дорогих уборах, словно апрель и май рассыпали свои дары и слетели звезды с небес. Дон Клеофас глядел во все глаза, не появится ли донья Томаса; хоть и довелось ему испытать столько разочарований, он еще не вырвал ее из своего сердца. О, извращенная натура человеческая! Холодность нас воспламеняет, а пылкость охлаждает. Но в эту пору донья Томаса, восседавшая в своих двойничных носилках, уже миновала Ильескас.

Руфина Мария, остолбенев от восторга, смотрела на это стечение важных персон, разыгрывающих на подмостках мира разные роли.

— Сеньор,— обратилась она к Хромому,— покажите мне короля и королеву! Я так хочу повидать их, коли уж подвернулся случай.

— Дочь моя,— отвечал Бес,— их величества не появляются на обычных гуляньях, но, ежели вы хотите увидеть их воочию, мы вскоре доберемся туда, где желание ваше исполнится.

— Дай-то бог! — сказала Руфина.— Но кто этот знатный кабальеро, что в сопровождении слуг и пажей проезжает в карете, достойной служить колесницей солнцу?

Хромой ответил:

— Это адмирал Кастилии дон Хуан Альфонсо Энрикес де Кабрера, герцог Медина де Риосеко и граф де Мóдика — гроза Франции в битве при Фуэнтеррабии.

— Ах, господи! — сказала Руфина Мария.— Так это он прогнал французов из нашей Испании? Да хранит его бог многие лета!

— Он, равно как и доблестный маркиз де лос Велес,— ответил Хромой,— в сем уподобились бесподобному Пелайо, освободившему родную Кастилию.

— А кто сидит вон в той карете, похожей на колесницу Весны? — спросила Руфина.

— Граф де Оропеса-и-Алькаудете,— сказал Хромой,— в ком течет кровь Толедо, Пиментелей и королей Португалии — муж величайших достоинств; а справа едет его кузен, граф де Луна, Киньонес-и-Пиментель, глава рода Бенавидесов в Леоне, первенец

«Хромой Бес».

графа Бенавенте — сия луна и днем сияет. Дальше едет граф де Лемос-и-Андраде, маркиз де Саррия, Кастро-и-Энрикес — старший жезлоносец Сантьяго, из свиты славного герцога де Архона — муж проницательный и великодушный, истинный вельможа. В соседней карете — граф де Монтеррей-и-Фуэнтес, наместник в Италии; будучи вице-королем Неаполя, он оставил благодарную память о себе в обеих Сицилиях, где его преемником стал герцог де лас Торрес, маркиз де Личе-и-Тораль, комендант крепости Авиадос, спальник его величества, он же принц де Астильяно и герцог де Сабионета — последний титул более всего подобает его величию. Графа сопровождает столь же родовитый и просвещенный маркиз де Альканьисас Альманса Энрикес-и-Борха. За ними следует мудрый коннетабль Веласко, камерарий его величества, с братом, маркизом дель Фресно. А вон герцог де Йхар Сильва-и-Мендоса-и-Сармьенто, маркиз де Аленкер-и-Рибалео — любимец двора и весьма искусный наездник в простом и рыцарском седлах, чем снискал себе право сидеть за королевским столом в праздник Королей. Рядом с ним маркиз де лос Бальбасес Спи́нола, великий отец коего прославил навек их имя. Вот и граф де Альтамира Москосо-и-Сандоваль, знатнейший вельможа и истинный витязь во всем, старший шталмейстер ее величества королевы. Дальше едет маркиз де Побар Арагон со своим братом, доном Антонио де Арагон, членом Совета орденов и Совета инквизиции. А там пересекают улицу маркиз де Хо́дар и граф де Пеньяранда — оба члены Королевского Совета Кастилии, кладези мудрости и благородства.

— Кто те два юноши, что едут вместе? — спросила Руфина.— С виду они ровесники, и оба при золотых ключах.

— Оба они камерарии; имя одного — маркиз де ла Инохоса, граф де Агилар и сеньор де лос Камерос Рамирес-и-Арельяно; имя другого — маркиз де Айтона, он покровитель музыки и поэзии, подобно своему отцу.

— А там что за карета, полная блестящих кабальеро? От них так и пышет юностью и благородством! — воскликнула мулатка.

— Ее хозяин — герцог дель Инфантадо,— сказал Хромой,— старший в роду Мендоса-и-Сандоваль по мужской линии, маркиз де Сантильяна-и-де-Сенете, граф де Салданья-и-Реаль де Мансанарес, сын и живой портрет знаменитого отца. С ним едут: маркиз де Альменара, самый учтивый, изящный и любимый при дворе кавалер; далее — сын маркиза де Орани, адмирала Арагона, зерцало доблести; далее — маркиз де Сан Роман, истинный рыцарь, наследник могучего маркиза де Велада, грозы Орана, Голландии и Зееландии, и с ним его брат, маркиз де Салинас, равно стойкий телом и духом,— оба они, как две капли воды, похожи на своего достославного отца; рядом с ними дон Иньиго Уртадо де Мендоса,

кузен герцога дель Инфантадо. Все это доблестные и благородные кабальеро, коим стоит лишь назвать себя — и стоустая молва умолкает, признав свое бессилие. Сопровождает их дон Франсиско де Мендоса, один из влиятельнейших придворных, всеобщий любимец, равно искусный наездник и боец на белых и черных шпагах.

— А эти всадники, что сейчас проезжают, кто они? — спросила Руфина.

— Если будут ехать медленно, я успею их назвать,— сказал Хромой.— Те двое впереди — это граф де Мельгар и маркиз де Пеньяфьель, чьи имена лучшая хвала их отваге; дальше — дон Балтасар де Суньига и его брат, граф де Брандевилья, достойные сыновья маркиза де Мирабель; дальше — граф де Медельин Портокарреро по мужской линии, а за ним принц де Арамберге, первенец герцога де Арискот; дальше — маркиз де ла Гуардия, прозванный «Ангелом»; за ним следуют маркиз де ла Лиседа Сильва-и-Манрикес де Лара, потом дон Диего Гомес де Сандоваль, старший командор ордена Калатравы, маркиз де Вильясорес Аньовер-и-Уманес, а также дон Балтасар де Гусман-и-Мендоса, наследник славного рода Оргас. А вон и Ариас Гонсало, старший сын графа де Пуньонростро, который в делах подражает отцу и мечтает сравниться с непобедимым дедом. За ними скачут граф де Молина с братом, доном Антонио Месия де Тóбар — доблесть каждого из них порука в доблести брата. Между ними — дон Франсиско Лусон, чье имя гремит в Мадриде и чье великодушное сердце едва ли уместится в груди великана, а позади едет его родственник, храбрый рыцарь дон Хосе де Кастрехон; оба они племянники сиятельного президента Совета Кастилии. В карете следом за ними едет герцог де Пастрана, глава рода Сильва, муж деятельный и могущественный, и с ним маркиз де Паласиос, мажордом короля, единственный потомок Мена Родригеса де Санабрия, правителя Санабрии и старшего мажордома короля Педро. Там же сидят благородный граф де Грахаль и граф де Гальве, брат герцога де Пастрана — краса истинного рыцарства, в ком сохранилась бы учтивость и тогда, когда б она исчезла во всем мире. Прочие спутники герцога прославили себя в различных науках и искусствах — такова всегда его свита. Сейчас он переговаривается с седоками соседней кареты — своим дядей, принцем де Эскилаче, и своим братом, доном Карлосом, герцогом де Вильяэрмоса; первый из них — член Государственного Совета его величества, второй — монарх поэтов. С ними едет дон Фернандо, юный герцог де Вильяэрмоса, чей разум не уступает доблести, и дон Фернандо де Борха, старший командор Монтесы, камерарий его величества, прошедший двадцать два курса в науке вице-королей и равный по добродетели обоим Катонам — Утическому и Цензору. Вон там едет маркиз де Санта

Крус, испанский Нептун и старший мажордом нашей государыни. А вот граф де Альба де Листа с маркизом де Табара и графом де Пуньонростро. Позади них герцог де На́хера, неаполитанский Гектор, нынешний правитель Арагона. В следующей карете — граф де Корунья Мендоса-и-Уртадо, баловень девяти муз, гордость кастильской поэзии, и рядом с ним граф де ла Пуэбла де Монтальбан Пачеко-и-Хирон. Вот маркиз де Малагон Ульоа-и-Сааведра и маркиз де Мальпика Барросо-и-Ривера, а также маркиз де Фромиста, отец маркиза де Карасена, прославший в Италии кастильским Марсом, и граф де Оргас Гусман-и-Мендоса де Санто Доминго и Сан Ильдефонсо — все они мажордомы короля. Вон в той карете едет маркиз де Флоресда́вила Су́ньига-и-Куэва, дядя славного герцога де Альбукерке, который с оружием в руках сражается во Фландрии, а прежде был капитан-генералом в Оране, где поверг в изумление всю Африку, водрузив знамена своего короля в сердце Берберии, за двадцать пять лиг от границы. Вот граф де Кастрольяно, неаполитанский Адонис. А там едут отважный андалусиец граф де Гарсиес Кесада и маркиз де Вельмар, дальше маркиз де Тарасона, он же граф де Айяла Толедо-и-Фонсека, потом граф де Сантистебан-и-Косентайна и с ним граф де Сифуэнтес — все люди возвышенного ума; вон граф де ла Кальсада, а за ним герцог де Пеньяранда Сандоваль-и-Суньига. А в той карете дон Антонио де Луна и дон Клаудио Пиментель — члены Совета орденов, Кастор и Поллукс по верности в дружбе и великодушию.

— Ах, господи! А вон тот, что сейчас проезжает в карете,— сказала Руфина,— он, сдается мне, из Севильи, и величают его Луис Понсе де Сандоваль, маркиз де Вальдеэнсинас; его лицо мне так знакомо, ну точно я в его доме выросла.

Хромой ответил:

— Это весьма знатный кабальеро, любимец и здешних и столичных жителей, что уже немалая похвала. И сидит с ним маркиз де Айямонте из горделивого рода де Кастилья-и-Суньига. Не менее знатен тот, что едет в следующей карете,— это граф де ла Пуэбла дель Маэстре, в чьих жилах течет кровь не только графов, но и орденских магистров, юноша, подающий большие надежды и достойный стать обладателем больших богатств, однако Фортуна ему не благоприятствует. Сейчас вот проезжает граф де Кастильо Аро, брат знаменитого маркиза де Карпио, президент Совета Индий, а дальше — маркиз де Ладрада и его сын, граф де Баньос Серда, из славного рода Мединасели. А вот маркиз де лос Трухильос, блистательный кабальеро. Дальше едет граф де Фуэнса́лида и с ним дон Хайме Маруэль, камерарий его величества, брат герцога де Македа-и-На́хера, в чьих руках ныне трезубец обоих океанов.

— Скажите, ваша милость, сеньор лисенсиат,— спросила Руфина,— что за роскошные здания высятся против тех ювелирных лавок?

— Это дворец графа де Оньяте,— ответил Бес,— славнейшего из всех Ладронов де Гевара, испанского Меркурия и графа де Вильямедиана, чей отец создает императоров и ныне восседает в кресле президента Орденов.

— А вон та галерея, где толпится народ? — продолжала спрашивать Руфина Мария.— Видно, она окружает какой-то храм? И чего там собрались все эти люди в пестрых одеждах?

— Это галерея святого Филиппа,— отвечал Бес,— у монастыря святого Августина, пресловутая солдатская «брехальня» — новости рождаются там прежде самих событий.

— А кого это так пышно хоронят? Вон та процессия, что движется по Главной улице...— спросил дон Клеофас, не меньше, чем мулатка, изумленный чудесным зрелищем.

— Да нашего астролога! — ответил Хромой.— Всю жизнь он постился, чтобы эти бездельники сожрали его добро, когда умрет. Жил бирюком, а в завещании, которое оставил родичам, распорядился, чтобы его тело пронесли не иначе как по Главной улице.

— Видно, для такой прогулки,— сказал дон Клеофас,— гроб самая подходящая карета.

— Вернее, самая обычная,— сказал Хромой,— и встречается на земле чаще других карет. Теперь, полагаю я,— продолжал он,— мои хозяева будут снисходительней: залог, который они требовали за меня, уже в их руках, а вскоре и вторая половина, сиречь тело астролога, последует за первой, дабы насладиться нашими серными банями.

— Легкого ему пару да огоньку пожарче! — добавил дон Клеофас.

Руфина меж тем не сводила глаз с Главной улицы и не слышала их разговора. Обернувшись к ней, Хромой сказал:

— Сейчас, сеньора хозяйка, мы прибудем туда, где ваше желание исполнится: перед нами Пуэрта дель Соль — ристалище, на коем состязаются лучшие фрукты и овощи Мадрида. Дивный фонтан из лазуревого камня и алебастра — это знаменитый фонтан Доброй Удачи, где полуголые галисийцы-водоносы, подобно тяжущимся кредиторам, взапуски наполняют свои кувшины. Напротив — монастырь Победы, обитель минимов ордена святого Франциска из Паулы, подражавшего смиренному и кроткому праведнику, что восседает в чертогах господних на месте нашего князя Люцифера, низринутого за гордыню. А вот и те, сеньора Руфина, кого я обещал вам показать.

Но мулатка, не слушая Хромого и его беседы с доном Клеофасом, все восторгалась:

— Какая великолепная кавалькада! Вижу всех так ясно, будто они рядом со мной!

— Первым едет король, наш государь,— сказал Хромой.

— Вот это мужчина! — сказала мулатка.— Усы-то какие, диво! Истинный король, и лицом и осанкой! А уж до чего хороша рядом с ним наша королева, как красиво одета и причесана! Да хранит их господь! А прелестное дитя с ними, кто это?

— Его высочество инфант,— сказал дон Клеофас.— Ну чем не ангел? Похоже, будто господь отливал его в той же форме, что и ангелов.

— Благослови его бог! — заметила Руфина.— Как бы мне его не сглазить. Пусть живет вечно и никогда не наследует своему отцу, которому я желаю здравствовать столько веков, сколько зубцов на крепостях в его государстве. Ах, господи,— продолжала она,— а кто же этот кабальеро? Одет он вроде бы по-турецки, и рядом с ним красавица в испанском наряде.

— И вовсе не по-турецки,— сказал Хромой.— Это платье венгерское, потому что кабальеро этот — король Венгрии: ты видишь Фердинанда Австрийского, державного императора Германии и римского короля, а с ним его супругу, императрицу Марию, светлейшую инфанту Кастилии. Даже мы, бесы и дьяволы,— шепнул Хромой дону Клеофасу,— прославляем их величие.

— А кто вон тот кабальеро в воинском наряде, красавец с роскошными кудрями? — спросила мулатка.— Он едет среди этого отряда венценосцев, такой осанистый, статный и бравый, что все вокруг только и глядят на него.

— Это светлейший инфант дон Фернандо,— ответил Хромой.— Ныне он вместо брата правит Штатами Фландрии, а кроме того, имеет сан архиепископа толедского и кардинала Испании. Он выдал французам и голландцам столько билетов в преисподнюю, что с самого того дня, как она создана предвечным, туда не являлись такие полчища,— а ведь мы видали армии Дария и Ксеркса! Полагаю, скоро он начнет выдавать даровые билеты в ад также и женам лютеран, кальвинистов и протестантов, ибо они идут по стопам своих мужей столь усердно, что чистилище ежедневно перечисляет нам деньги за купленные ими билеты.

— Ох, как бы мне хотелось расцеловать его! — сказала мулатка.

— В стране, где он живет,— сказал дон Клеофас,— поцелуями не удивишь — сам Иуда посеял в тамошних краях этот обычай.

— Как жаль, что смеркается,— сказала Руфина,— и этих важных господ на Главной улице уже не видно.

— Все они поехали на Прадо,— сказал Хромой,— и на Главной улице смотреть теперь нечего. Заберите, сеньора, ваше зеркало; как-нибудь в другой раз мы вам покажем Мансанарес, которую рекой нарекли только для смеху,— да и как не смеяться, когда купаются там, где нет воды, один чуть влажный песок! Как наваррская монета, она сходит за настоящую лишь в темноте, но съедено и выпито на ее берегах больше, чем у всех прочих рек.

— Зато она самая обильная из рек,— заметил дон Клеофас,— ибо мужчин, женщин и карет в ней больше, чем рыбы в обоих океанах.

— А я-то уж тревожился,— сказал Хромой,— что ты не вступишься за свою реку. Повтори эти слова тому бискайцу, который посоветовал жителям Мадрида: «Либо продайте свой мост, либо купите настоящую реку».

— Большей реки Мадриду и не надобно,— сказал дон Клеофас.— Там и без того слишком часто топят людей в ложке воды, а того рехидора, который подал в суд на лягушек со сгоревшей мельницы, и в такой реке не жаль утопить.

— Ну и любезен же ты, дон Клеофас,— сказал Хромой,— даже рехидоров своих не милуешь!

Они спустились с террасы, и Руфина, уходя, напомнила Хромому его обещание показать ей завтра еще что-нибудь. Но об этом и о дальнейших событиях мы поведаем в следующем скачке.

СКАЧОК ДЕВЯТЫЙ

Как и в прошлую ночь, друзья отправились прогуляться по Севилье, и хотя ее улицы — дщери Критского лабиринта, Хромой Бес, не в пример Тезею, сумел без Ариадниной нити пройти в квартал Герцога — обширную площадь, украшенную великолепными дворцами герцогов де Сидония. О доблести владельцев напоминает изображенный над их гербом и короной мальчик со шпагой в руке; подобно Исааку, пошедшему на заклание, он был принесен в жертву чести своего отца, дона Алонсо Переса де Гусман по прозванию «Добрый», алькайда Тарифы. Дворцы сии — постоянная резиденция ассистентов Севильи, коей ныне столь умело правит граф де Сальватьерра, камерарий инфанта Фернандо, наших дней Ликург в государственных делах. Свернув на улицу Оружейников, налево от площади, наши путники заметили свет в первом этаже одного дома. Они заглянули через решетку на окнах и увидели большую залу, полную богато одетых людей, которые со вниманием слушали человека, восседавшего в кресле у кафедры, где находились колокольчик, письменные принадлежности и бумага.

По бокам кресла стояли два помощника, а в зале, в проходах между стульями, расположились на полу несколько дам, кокетливо прикрывавших плащами один глаз. Хромой сказал дону Клеофасу:

— Пред тобой Академия лучших поэтов Севильи, они собираются здесь, дабы обмениваться мнениями и сочинять стихи на разные предметы. Войди, если хочешь, и позабавься — ты ведь питаешь склонность к рифмоплетству. Как гостей, и к тому же людей приезжих, нас, разумеется, примут весьма радушно.

Дон Клеофас ответил:

— Ты прав, лучшей забавы нам не сыскать. Войдем же, в добрый час!

Но Бес сперва слетал в залу и принес две пары очков, сдернув их с носа у двух спавших там невеж, которые, видно, привыкли дрыхнуть и днем и ночью, а потому и его невежеством не возмутились. Оба приятеля, чтобы не быть узнанными, вздели очки и, закрепив их, как положено, шнурками, с важным видом вошли в упомянутую Академию, патроном коей состоял гостеприимный граф де ла Торре Ривера-и-Сааведра-и-Гусман, глава рода Ривера. Председательствовал в этот вечер Антонио Ортис Мельгарехо из ордена иоаннитов, чье имя блистает в музыке и поэзии, а дом всегда был прибежищем муз. Должность секретаря исполнял Альваро де Кувильо, житель Гранады, прибывший в Севилью по делам, превосходный актер и искусный пиит, отличавшийся истинно андалусийской пылкостью, свойственной всем рожденным под теми небесами, а казначеем был Блас де лас Касас, чей божественный дар сияет равно и в божественных и в мирских материях. Среди прочих академиков наиболее знаменитыми были дон Кристобаль де Росас и дон Диего де Росас, украсившие своими дивными творениями поэзию драматическую, а также дон Гарсиа де Коронель-и-Сальседо — Феникс древней поэзии и первый андалусийский Пиндар.

При появлении гостей все встали и начали наперебой предлагать им лучшие места. Но вот, повинуясь колокольчику председателя, академики угомонились и тогда приступили к чтению стихов на темы, заданные на прошлом заседании. Завершила чтение донья Ана Каро, сия десятая, севильская, муза, огласившая сильву о Фениксе, после чего председатель попросил гостей оказать честь Академии и прочитать какие-либо из их собственных стихов: он уверен, что стихи, вышедшие из-под пера тех, кто явился послушать творения его собратьев, должны быть превосходны. Дон Клеофас, желая поддержать славу о талантах и учтивости кастильцев, не заставил долго себя упрашивать и сказал:

— Повинуюсь и прочитаю сонет о большом маскараде в честь нашего государя, состоявшемся в Верхнем Прадо, близ Буэн-

Ретиро, сего грандиозного амфитеатра, затмившего все подобные сооружения древних греков и римлян.

Присутствующие смолкли, а дон Клеофас, приняв изящную позу и отменно жестикулируя, звучным голосом прочитал следующее:

СОНЕТ

Сей муж для подвигов на свет рожден,
Он в доблести себе не знает равных,
И ярче солнца блеск деяний славных
Сияет среди множества племен.

Он на крылах Зефира принесен
Туда, где плещет Бетис своенравный,
Брегами теми воин богоравный
И рощами навеки был пленен.

Он с целым миром здесь готов сразиться,
Арена для него — весь шар земной.
Что в мире звездном с ней еще сравнится?

Не может враг смутить его покой.
Филипп Великий он, им мир гордится.
Он власть, о небо, делит лишь с тобой.

Вся Академия встретила сонет громкими рукоплесканиями и продолжительным гулом удовлетворения. Меж тем Хромой, готовясь к чтению своего сонета, откашлялся, по человеческому обычаю, даром что был черт, и начал так:

— Тщеславному портному, который не желал кроить одежду для своих друзей, предоставляя это подмастерью.

СОНЕТ

Коли богов бессмертных повеленьем,
Священной волею небесных сил,
Ты не рожден патрицием, Панфил,
И не достоин с Цезарем сравненья,

Пусть обретет душа успокоенье,
Уймет, смирясь, свой горделивый пыл,
Дабы завистник злой не говорил,
Что ремесло ты предаешь забвенью.

В родное лоно возвратись скорей,
Шей тоги — только на себя не меряй:
Доселе не был консулом плебей.

К совету Рима отнесись с доверьем,
Не прослыви вороной средь людей,
Что нарядилась в краденые перья.

И этому сонету дружно рукоплескала вся Академия, а самые ученые из ее членов утверждали, что он напоминает эпиграмму Марциала или иного древнего поэта из подражателей великого сатирика. Другие находили в манере сходство с творениями ректора Вильяэрмосы, славного арагонского Ювенала, а граф де ла Торре попросил дона Клеофаса и Хромого, пока они пробудут в Севилье, удостоить присутствием все заседания Академии и сообщить псевдонимы, коими они желали бы назваться, как то принято во всех итальянских академиях — в академии делла Круска и ей подобных в Капуе, Неаполе, Риме и Флоренции — и положено по уставу в севильской. Дон Клеофас назвался «Обманутым», а Хромой «Обманщиком» — истинного значения этих двух имен не понял никто. Засим, распределив темы для будущего заседания, председателем его избрали Обманутого, а казначеем Обманщика (должность секретаря была бессменной), дабы польстить гостям, о коих все составили самое высокое мнение. Одна из дам потихоньку настроила гитару и начала играть и петь, к ней присоединились еще две, и вместе они исполнили в три голоса великолепный романс дона Антонио Уртадо де Мендоса, возвышенного сына гор, искуснейшего мастера лирической поэзии, за дивную музыку которого все дары Фортуны — малая награда. На том и кончилось заседание Академии, и все разошлись по домам, хотя еще и девяти часов не пробило. Дон Клеофас и Хромой спустились к Тополевой роще — насладиться прохладой у Альменильи, мощного крепостного вала, сдерживающего бурный натиск Гвадалквивира, дабы славный град Севилья не был затоплен частыми и бурными разливами. Слева от дороги приятели увидели монастырь святого Клементия, знаменитую обитель невест Христовых, которым пожалован весь прилегающий квартал; сей монастырь — щедрый дар католических королей — основан королем Фернандо, отвоевавшим в день его освящения Севилью у мавров. Хромой сказал дону Клеофасу:

— В этих высоких стенах, словно птица в клетке, скрывается серафим, вернее, Серафима — сладостный соловей с берегов Тахо, чей дивный, упоительный голос, не вмещаясь в ушах человеческих, устремляется стройной гармонией к горним чертогам. Подобного диапазона и тембра еще не бывало в природе, однако и они не спасают чудо-певицу от зависти людской.

Пока Хромой выпутывался из этой гиперболы (хотя более истинные слова вряд ли слетали с его языка), они повернули на другую улицу, где почти не встречалось прохожих, и вдруг услыхали громкие раскаты хохота и веселые возгласы, доносившиеся из убогого, приземистого дома, окруженного неким подобием сада;

на невысоких прутьях ограды, почти у самой земли, мерцало несколько фонариков, скудные лучи которых были едва заметны. Дон Клеофас спросил Хромого, что это за дом и почему там веселятся в такой поздний час. Бес ответил:

— Это притон нищих — сюда они сходятся после того, как целый день побирались: развлекаются, играют в карты, распределяют места на завтра, чтобы, упаси боже, не столкнуться двум попрошайкам в одном доме. Войдем туда, знатная будет потеха. Я сделаю так, что нас никто не увидит и не услышит, и мы сможем всласть полюбоваться на сей конклав святого Лазаря.

Хромой взял дона Клеофаса за руку и повел в дом через небольшой боковой балкон, так как у главного входа нищенской обители стоял привратник, коему вменялось в обязанность впускать только своих да тех, кто отмечен десницей божьей. Сойдя по винтовой лестничке, они очутились в просторном помещении с низким потолком; окна выходили в сад, заросший крапивой и лопухами, под стать хозяевам, рожденным под сенью подобных растений. Посредине за столом сидели нищие, готовясь сыграть в рентой на несколько фляг аланиса и касальи, лучших вин того края. Вокруг них, сидя и стоя, расположились наблюдатели. Сосновый игорный стол держался на трех ногах — четвертая была покалечена — и мог бы просить подаяния с неменьшим успехом, нежели сами игроки. В глиняном светильнике горел просмоленный фитиль, карты были покрыты толстым слоем не то плесени, не то сала от грязных пальцев сих высоких особ; выигранные деньги складывались на подставку светильника. В углу находился эстрадо для дам — пеньковая циновка, пережившая не одну зиму. На одежде мужчин и женщин красовалось столько заплат, что казалось, она была скроена из отборнейшего тряпья севильских свалок. В то мгновение, когда дон Клеофас с приятелем входили в комнату, одна из нищенок сказала:

— А вот и Хромой Бес!

Дон Клеофас встревожился:

— Клянусь богом, они нас узнали!

— Не беспокойся,— ответил Бес.— Они не могут ни узнать нас, ни увидеть — я ведь уже говорил тебе. А сказано это о человеке, вошедшем одновременно с нами,— у него одна нога деревянная и костыль в руке; вот он, снимает шляпу. Его-то и прозвали Хромым Бесом, потому что он мошенник, притворщик, плут и вор. Мне, ей-ей, обидно, что ему дали такую кличку; это насмешка надо мной, и весьма для меня оскорбительная. Но, клянусь, этим вечером я с ним расквитаюсь, хоть бы и чужими руками.

— О, какая дерзость! — сказал дон Клеофас.— Как они отважились бросить вызов тебе, самому озорному бесу во всей преисподней! Уверен, что такое оскорбление никому не сойдет безнаказанно.

— Эти оборванцы — жители Севильи,— сказал Хромой,— и потому даже чертей не боятся. Но я не я буду, если не проучу хромого наглеца; не позволю ему бахвалиться, что он вышел сухим из воды. Во всем мире только три сословия осмеливаются меня оскорблять: комедианты, слепцы и нищие. Прочие же обманщики и плуты — сами сущие дьяволы, не плоше меня.

Тем временем Деревянная Нога, он же Хромой Бес, уселся поудобней на полу и принялся любезничать с дамами. Немного спустя вошел нищий, прозванный Нетопырем, ибо просил подаяния по вечерам, громко крича на улицах; его привел дружок — Винный Соус, который отыскал Нетопыря, прикорнувшего спьяну в кабачке, узнав его по туче мух: они роились над ним, как над саагунской бочкой. Новоприбывшим уступили места за столом Кузнечик и Петух; первый получил свое прозвище за то, что распевал летом в часы сьесты, будя лежебок, а второй — за то, что выходил попрошайничать на заре. Оба они предпочли усесться прямо на пол, так как страдали головокружением. Пока они располагались, на пороге показалась тележка, в ней сидел нищий по прозванию Герцог. Все присутствующие — и мужчины и женщины — встали с мест, дабы почтить его особу. Сняв шляпу, которая прежде, должно быть, украшала огородное чучело, Герцог молвил:

— Дамы и господа, умоляю вас не тревожиться, не то я сейчас уйду.

Все снова сели, боясь его прогневать, а мальчик, который катил тележку Герцога, подошел к игорному столу и попросил карты для своего господина. Один из игроков, по кличке Фараон, ибо на церковных папертях его страшились пуще казней египетских, и другой, однорукий, прозванный Сержантом, попросили его светлость подождать до следующей партии — они, мол, только вошли в азарт.

Тогда Герцог подъехал к безногому Маркизу де Башмак — тот обычно побирался, ползая на четвереньках и засунув руки в башмаки, но выше пояса был кавалером хоть куда и в это время как раз занимал дам беседой.

— Побуду пока с вами,— сказал Герцог,— тут скорее выиграешь.

Разумеется, ни тот, ни другой нисколько не нуждались в женском обществе.

Одна из дам, Почтальонша, получившая свое прозвище за то, что успевала каждый день обегать не меньше двадцати улиц и не пропустить ни одного дома, заспорила с Жердью, девкой долговязой и грязной, как сточная канава; речь шла о том, кого из них ревнует Герцог. А сварливая Паулина, имевшая привычку осыпать проклятиями всех, кто ей не подавал, сцепилась с Галионой, которая выходила на промысел, оснащенная батареей взятых внаем малышей. Причиной их стычки был сделанный Маркизу «чреватый» намек, понятно, без всякого повода для сей сплетни со стороны его сиятельства. Две другие дамы, Ящерица и Кроха, подливали масла в огонь; в дело встряли также Деревянная Нога с силачом Геркулесом: драка разгорелась нешуточная, и, не вмешайся тут сам хозяин притона Грошехват, да Простак, полюбовник Лодочницы, и Храбрый Плут, да еще Шипоглот, Голенастый, Перуанец и Супохлеб, эти оборванцы отколошматили бы друг друга по первое число. Герцог и Маркиз употребили все свое влияние, дабы прекратить побоище, и для полного восстановления мира предложили пригласить бродячих музыкантов и заплатить им в складчину. Деревянная Нога мигом сбегал за слепцами и волынщиком, проживавшими поблизости, и те прежде всего потребовали плату вперед за то, что их разбудили. Сошлись на тридцати куарто, причем Герцог поклялся жизнью Герцогини, что еще не слыхивал о такой цене за представление. А пока они рядились, в притон вошел в сопровождении Искры и Сетки Стопламенный с жезлом, заткнутым за пояс, и сказал:

— Кто из вас Хромой Бес? До меня дошли слухи, что он находится здесь, в этом притоне, и я не выпущу отсюда ни одного человека, пока не проверю всех. Это весьма важный преступник.

При виде служителя правосудия нищие перепугались насмерть, а подлинный Хромой Бес, подобно тореро, бросающему свой плащ быку, оставил на растерзание Стопламенному всю эту голытьбу и вместе с доном Клеофасом выскользнул по винтовой лестнице на улицу.

— Вот он,— сказал Герцог, указывая на Деревянную Ногу.— Знайте, что мы, как и подобает особам нашего сана, не станем укрывать важных преступников от правосудия.

Так он кстати отомстил одноногому за проделки, которыми тот не раз дурачил его светлость при раздачах монастырского супа. Когда же Искра и Сетка схватили Деревянную Ногу, бедняга завопил во весь голос: «Храм! Храм!» (для него любой кабак был храмом) — и принялся убеждать их, что это-де вовсе не притон, а святая келья и что все находящиеся тут собрались для молитвы. Но Стопламенный, Искра и Сетка поволокли его

к дверям, награждая затрещинами и подзатыльниками и приговаривая:

— Ишь, разбойник, морочить нас вздумал! Все равно не уйдешь, мы тебя знаем!

Тогда Маркиз, сунув руки в башмаки, вскричал:

— И мы должны смотреть на то, как Герцог выдает альгвасилу нашего бедняжку Хромого! Клянусь жизнью Маркизы, не бывать этому!

Все нищие и нищенки поддержали его и, задув светильник, принялись в темноте дубасить пришельцев скамейками, костылями и посохами. Досталось и Стопламенному, и его подручным! А слепые музыканты загудели на волынке, заиграли на прочих инструментах: такой подняли шум, что всех оглушили. Потасовка затянулась бы надолго, но тут забрезжила заря, и непрошеные гости исчезли.

СКАЧОК ДЕСЯТЫЙ

В это время дон Клеофас и его приятель подходили к Градас, подумывая о том, как бы сменить жилье и сбить Стопламенного со следа. Вдруг они увидели, что в почтовой карете, впереди которой скакал курьер, подъезжают двое щегольски одетых военных, и Хромой сказал:

— Эти сеньоры, видно, намерены остановиться в гостинице на Байонской или же на Соломенной улице. Знай, что они не кто иные, как твоя дама и ее дружок — солдат. Чтобы добраться побыстрее, они пересели из носилок в почтовую карету.

— Клянусь богом,— сказал дон Клеофас,— я проткну его шпагой, прежде чем он выйдет из кареты, а донье Томасе отрублю ноги!

— Все это можно сделать, не подвергая себя опасности,— сказал Хромой,— и не поднимая шума. Предоставь дело мне, и ты останешься доволен.

— Твои слова меня успокоили,— сказал дон Клеофас,— а то я прямо с ума сходил от ревности.

— Знаю, каков этот недуг, недаром его сравнивают с муками ада,— сказал Бес.— Пойдем-ка к нашей мулатке, там ты позавтракаешь и, соснув, смягчишь свой приговор. Да не забудь, вскоре тебе надо быть председателем в Академии, а мне — казначеем.

— Черт побери! — сказал дон Клеофас.— От такой досады я и запамятовал это, но, разумеется, мы люди порядочные и должны сдержать слово.

На следующий день они перебрались от Руфины на Мавританскую улицу, где нашлась менее людная гостиница, и провели

оставшиеся до заседания дни в усердных занятиях: изучали заданные темы, писали стихи, а дон Клеофас еще сочинил вступительную речь, каковую положено произносить председателям в подобных случаях. В назначенный день они оделись понарядней и под вечер отправились на ристалище поэтов, где две новые звезды были встречены шумными похвалами севильских светил. Вооружившись теми же очками, что и в прошлом сражении, приятели сели на отведенные им места, и дон Клеофас, иначе — Обманутый, призвал серебряным колокольчиком к порядку, после чего произнес великолепную сильву, искусный слог коей приковал внимание общества и расковал бурные изъявления восторга. Когда ж он вымолвил последнее слово: «Dixi!» [1], то снова исторг песнь из гортани серебряной птички и сказал:

— Дабы исполнить до конца долг председателя, я прочитаю в заключение некоторые советы божественным талантам, кои почтили меня высоким саном.

И, развернув листок, который был спрятан у него на груди, дон Клеофас начал так:

— «Наставления и правила, кои отныне и впредь надлежит соблюдать высокоученой Севильской Академии.

Да будут они оглашены и восславлены с достодолжной торжественностью, и барабанщиками при сем да послужат четыре ветра, а трубачами — Фракийский певец, тот образцовый супруг, что ради жены своей «descendit ad infernos» [2], и Арион, сей плененный пиратами и брошенный в море поэт, к коему, покорствуя звукам его лиры, подплыл дельфин и подставил свою чешуйчатую спину, дабы доставить его на сушу, et coetus, et Amphion, Thebanae conditor urbis! [3] И да будет глашатаем сама Слава, покоряющая страны и стихии, а секретарем, который увековечит сей указ, Вергилий Марон, король поэтов!

Мы, дон Аполлон, милостью Поэзии король муз, принц Авроры, граф и сеньор оракулов в Дельфах и в Делосе, герцог Пинда, великий герцог обеих вершин Парнаса, маркиз Конского Источника и прочая, и прочая, желаем всем поэтам — героическим, эпическим, трагическим, комическим, дифирамбическим, сочинителям ауто, интермедий, куплетов и вильянсико, а также всем остальным подданным нашим, как светским, так и духовным, доброго здравия и удачных рифм. Дошли до нас вести о великом беспорядке и расточительстве, царивших доднесь среди тех, кто пробавляется стихами, а также о том, что развелась тьма-тьмущая

---

[1] Я сказал, я кончил! *(лат.)*

[2] Спустился в ад *(лат.)*.

[3] И прочие, и Амфион, основатель града Фив *(лат.)*.

пачкунов, кои, не боясь бога и угрызений совести, сочиняют, кропают и марают вирши, среди бела дня воруя мысли, остроты и речения у прославленных поэтов. Вместо того чтобы великим подражать с умеренностью и искусством, как велят Аристотель, Гораций, Цезарь Скалигер и прочие законодатели нашей Поэтики, они штопают свои творения лоскутьями, урезанными у других поэтов, и промышляют стихотворным мошенничеством, плутнями и обманом. Дабы по справедливости пресечь сие зло, повелеваем и приказываем следующее.

Первое: всем надлежит употреблять лишь исконные кастильские слова и не заимствовать слова из чужих языков. Всякий же, кто станет писать fulgor, libar, numen, purpurear, meta, tramite, afectar, pompa, tremula, amago, idilio [1] и тому подобное либо придумывать бессмысленные инверсии, лишается звания поэта во всех академиях, а при повторном нарушении оного правила все его вирши надлежит конфисковать, а посевы рифм перепахать и посыпать солью, как у предателя родного языка.

Item, да не посмеет никто читать стихи, слащаво сюсюкая или производя, на арабский лад, клокотанье в горле, но да произносит слова с нашим кастильским выговором, под страхом лишиться всех своих слушателей.

Item, поелику поэты на прошлом заседании Академии — а нередко и многие другие поэты — воспевали во всевозможных стихах Феникса, возводя на сию птицу поклепы и называя ее дщерью и наследницей самой себя, а также птицей солнца, меж тем как никто коготка ее не касался и даже в глаза не видал ни ее самое, ни гнезда ее, и поелику оный Феникс — изгой среди пернатых, ибо нигде не обнаружено и следа его рода-племени, повелеваем наложить вечный запрет на упоминания о нем. Восхваление сей птицы есть идолопоклонство, ибо пользы от нее нет никому — перья ее не пригодны ни для придворного, ни для воинского наряда, ни для письма, голос ее не развеселил ни одного меланхолика, а мясо не насытило ни одного голодного.

Воистину это птица-призрак: все твердят о ее существовании, но зрению она недоступна, и ее бытие лишь в самой себе. К тому ж она заподозрена в нечистоте крови, ибо все ее предки подверглись сожжению. Напоминаем, что существуют на свете другие птицы: горний житель лебедь, орел, коего Юпитер не зря избрал своим вестником, цапля, сокол, голубь Венеры, пеликан, утешитель несчастных, и, наконец, вскормленный на молоке каплун, супротив коего все прочие птицы — сущая мелкота. Его-то и надлежит вос-

---

[1] Сияние, возливать, вдохновение, багрянеть, устремление, веха, притворствовать, великолепие, трепещущая, знамение, идиллия.

певать, а почитателям Феникса советуем, когда проголодаются, изготовить себе жаркое из своего идола. Да простит господь Клавдиана, распространившего в мире сие нелепое измышление, дабы ввести в соблазн всех поэтов.

Item, стали мы известны, что есть такие поэты и поэтессы — и даже среди придворных,— кои, обрекши себя на воздержание еще более строгое, нежели велит устав монастыря Паулар, обходятся всего лишь дюжиной слов, а именно: «Доверие, недоверие, скромность, расточительность, жестокость, несчастье, учтивый, желанный, нежеланный, злой рок, коварный, сетовать»,— и тщатся выразить ими все свои мысли, так что один бог может их понять. Оных повелеваем снабдить еще полсотней слов в виде единовременного пособия из казны Академии, дабы они словами сими пользовались неукоснительно под страхом прослыть глупцами и остаться непонятыми, как если бы изъяснялись на баскском наречии.

Item, приказываем изгнать из комедий наглых послов, кои дерзят королям, и отменяем закон о неприкосновенности посла. Запрещаем принцам переряжаться садовниками ради каких бы то ни было принцесс и велим восстановить доброе имя оклеветанным принцессам Леонским, провозгласив сие под звуки свирелей. Также запрещаем языкастым грасиосо, слугам-острословам, вступать в беседы с царственными особами, кроме как в поле или ночью на улице. Всем действующим лицам возбраняем, когда их начинает клонить ко сну, говорить: «Спать мне хочется ужасно!» — или другие стихи, ради рифмы сочиненные. Также возбраняем рифмовать слово «корона» с «велением закона», «месть» и «спасу свою я честь», а равно налагаем запрет на обороты вроде «вскипаю яростью великой», «отныне между нас двоих» и на прочие нелепицы, для коих нет оправдания в том, что:

Рифма часто нас неволит
Говорить не то, что надо.

Поэта, иже впредь совершит подобное преступление, приказываем на первый раз освистать, а на второй — отправить с двумя комедиями в Оран на службу его величеству.

Item, предлагаем прославленным поэтам установить между собою очередь в раздаче милостыни — сонетами, канцонами, мадригалами, сильвами, десимами, романсами и прочими видами стихов — на пропитание пиитам-новичкам, стыдливо выходящим просить подаяния ночью, а также вменяем сим корифеям в обязанность давать приют тем, кто занемог от усердного толкования великих творений или заблудился в «Одиночествах» дона Луиса де Гонгора. Тут же, в Академии, следует устроить окошко для раздачи супа из стихов нищим поэтам.

Item, приказываем учредить в поэзии свою Эрмандаду и Перальвильо для преследования поэтов «диких», коих надлежит уничтожать, яко вепрей.

Item, повелеваем всем мавританским комедиям принять крещение не позднее, как через сорок дней, в противном случае они будут изгнаны за пределы королевства.

Item, запрещаем поэтам, будь то из нужды или из любви, превращаться в пастушков и пасти коз, овец или иной скот, за исключением тех случаев, когда поэт, уподобившись блудному сыну, промотает все свои рифмы на запретные утехи и останется с пустым карманом. Таковым греховодникам в наказание мы повелеваем пасти свиней.

Item, возбраняем поэтам говорить дурное о своих собратьях чаще двух раз в неделю.

Item, поэту, сочиняющему героическую поэму, приказываем давать срок не долее полутора лет, а того, кто в этот срок не управится, надлежит считать покинутым музой. Поэтов же сатирических в Академию не допускать, яко разбойников, недостойных войти в цех благородной поэзии, и оповещать повсюду о награде за поимку виршей сих зловредных для государства смутьянов. Сыновьям поэтов, не сочиняющим стихов, запрещаем клясться жизнью своего отца, ибо таковых нельзя полагать истинными сыновьями поэтов.

Item, поэт, не состоящий в услужении у сеньора, да будет наказан голодной смертью.

И, в заключение, сим наставлениям и правилам надлежит следовать и повиноваться столь же неукоснительно, как законам, изданным нашими князьями, королями и императорами Поэзии. Да будет сие оглашено повсеместно и доведено до всеобщего сведения».

Грамота, прочитанная Обманутым, удостоилась величайших похвал за необычность и причудливость слога, а пока академики изъявляли восторги, тот, кто носил в сем ученом собрании и в трех полушариях прозвище Обманщика и, кроме того, числился казначеем помянутой Академии, тоже вытащил спрятанный на груди листок и зачитал следующее:

— «Лунный календарь на будущий год по меридиану, проходящему через Севилью и Мадрид, и предсказание, направленное против поэтов, музыкантов и живописцев. Сочинено Обманщиком, членом славной Академии на брегах Бетиса, и посвящается Краснобаю де ла Дубина, протодьяволу и поэту школы «Как бог на душу положит».

Но не успел он вымолвить последние слова, как чтение было прервано приходом альгвасила с такой оравой крючков, что, будь

они серебряными, их начальник мог бы поспорить в пышности с флагманским галионом флота, везущего в Испанию недра Потоси́, а также сердца моряков и сердца тех, кто их ждет. Вслед за альгвасилом явились и донья Томаса с солдатом — они примчались на почтовых, дабы наблюдать за исполнением указа. Неурочный визит привел в замешательство членов Академии, но отважный альгвасил успокоил их:

— Сеньоры, прошу не тревожиться! Я явился по долгу службы и вынужден арестовать всего только сеньора председателя. Таков приказ из Мадрида, и для меня он столь же свят, как заветы Евангелия.

Поэты зашумели, а дон Клеофас изрядно струхнул, но казначей, он же Хромой Бес, сказал ему:

— Не бойся, дон Клеофас, и послушно ступай с ними. Эта беда нам не страшна — я тебя вызволю живым и невредимым.

И, обращаясь к академикам, он объяснил им, что в подобных обстоятельствах всякое сопротивление неуместно, но, если бы потребовалось, Обманутый и он сумели бы показать всем севильским альгвасилам, где раки зимуют.

— Есть и среди нас мужчины,— заявил тут один поэт громадного роста, точно великан из процессии тела господня, получивший ученую степень в бунте «Ярмарки и зеленого стяга».— Мы бы тоже могли этих молодчиков потрясти на одеяле так, что они костей бы не собрали, а я среди присутствующих здесь сеньоров, пожалуй, еще самый слабый.

Альгвасил тут же приступил к исполнению своих обязанностей, полагая излишними дальнейшие споры и разговоры, но не взятку или подарочек. Донья Томаса наблюдала за ним, держа в одной руке шпагу, а другую обмотав плащом, готовая сразиться бок о бок со своим солдатом,— дама она была не робкого десятка и отлично владела всеми видами оружия, ибо ей пришлось дать немало сражений, пока она добилась указа об аресте сбежавшего должника. Хромой последовал за приятелем, академиков же будто ветром сдуло, и заседание бесславно скончалось от этой ветряной оспы. Пристроившись поближе к альгвасилу, Хромой шепнул ему, показывая на ладони кошелек с тремястами эскудо:

— Надеюсь, ваша милость сменит гнев на милость, приняв сию смягчительную смесь из ста пятидесяти двойных дублонов.

Альгвасил взял кошелек и поспешно ответил:

— Прошу прощения, сеньоры, я ошибся. Ступайте своей дорогой, сеньор лисенсиат, вы ничего мне не должны сверх того, что заплатили. Даяние же ваше принимаю как возмещение за немалую опасность, коей я подвергал себя, схватив, кого не следовало.

Солдат и донья Томаса, тоже в свое время поднесшие альгвасилу подарочек, принялись его увещевать, но тщетно. А друзья наши тем временем убежали так далеко, что оказались у переправы из Севильи в Триану. Наняв лодку, они переправились на другой берег и провели ночь на идущей от моста улице Альтосано — главной улице этого предместья. Сеньора Томаса де Битигудиньо со своим любезным, весьма раздосадованные неудачей, отправились ночевать в гостиницу, а альгвасил — к себе домой, весело беседуя с тремястами эскудо. Но Хромой не лег спать: он еще до рассвета покинул друга и помчался в Севилью, чтобы разнюхать, как там обстоят дела их обоих,— не преминув по пути затеять несколько драк на площади Ареналь, где обычно собираются пикаро.

Альгвасил тоже проснулся чуть свет — его тревожила мысль о дублонах, накануне спрятанных под подушку. Но, засунув туда руку, он денег не нашел, а когда вскочил с постели и бросился их искать, то увидел кругом горы угля — и в спальне, и в прочих комнатах. Так всегда бывает с деньгами, подаренными чертом! И столько там было этого добра, что бедняге пришлось выбираться из дома через слуховое окошко, а когда он наконец вылез, весь уголь обратился в золу. Не случись этого, альгвасил, верно, сменял бы свое занятие на ремесло угольщика, особливо кабы уголь был из того дуба, что растет в аду и вечно дает новые побеги. Аминь!

Хромой меж тем шнырял по Севилье, посмеиваясь в усы,— он знал, что́ произошло со взяткой, сунутой альгвасилу. По улице Красильщиков он вышел на площадь Святого Франциска и вдруг, оглянувшись, заметил, что за ним гонятся Стопламенный, Искра и Сетка. Тут Хромой бросил свои костыли и пустился бегом, а преследователи за ним, громко крича:

— Держите хромого вора!

И когда Искра и Сетка уже настигали его, навстречу Хромому попался писец, который шагал по улице, сладко зевая. Бес и юркнул писцу в рот, как был, одетый и обутый,— лучшего убежища ему бы и не сыскать. Искра, Сетка и Стопламенный хотели было тоже прошмыгнуть в это святилище, дабы вытащить беглеца, но на его защиту выступил отряд портных — пустив в ход иглы и наперстки, они вынудили бесов отступить. Тогда Стопламенный послал Сетку в ад — узнать, каковы будут дальнейшие распоряжения. Гонец вскоре вернулся с приказом тащить в преисподнюю всех — и Хромого, и писца, и портняжек. Приказ был выполнен. Однако писец, после того как его заставили изрыгнуть Хромого, наделал в аду столько хлопот, что судьи тамошнего края почли за лучшее изгнать смутьяна обратно в его контору, портных же вре-

менно оставили, дабы те сшили Люциферу парадный костюм к торжеству по случаю рождения Антихриста. Обманутая в своих надеждах донья Томаса начала хлопотать о разрешении на переезд в Индию вместе с солдатом, а дон Клеофас, узнав о горестной участи приятеля Беса, вернулся в Алькала продолжать учение, убедившись, что и чертям нет житья от своих альгвасилов и альгвасилам — от чертей. На том конец сей истории, и автор благодарит всевышнего за то, что позволил благополучно ее закончить. Читателей же автор умоляет, ради собственного их блага, позабавиться сочинением и не слишком строго судить сочинителя.

АЛОНСО ДЕ КАСТИЛЬО-И-СОЛОРСАНО

СЕВИЛЬСКАЯ КУНИЦА, ИЛИ УДОЧКА ДЛЯ КОШЕЛЬКОВ

ПЕРЕВОД С ИСПАНСКОГО Е. ЛЫСЕНКО

ПОСВЯЩЕНИЕ

СИЯТЕЛЬНЕЙШЕМУ СЕНЬОРУ ДОНУ МАРТИНУ ДЕ ТОРРЕЛЬЯС-И-БАРДАКСИ, ЭРЕДИА ЛУНА-И-МЕНДОСА, АНДРАДА-И-РОКАБЕРТИ, ГРАФУ ДЕ КАСТЕЛЬ ФЛОРИДО, ВЛАДЕТЕЛЮ БАРОНИЙ АНТИЛЬОН И НОВАЛЬЯС, СЕЛЕНИЙ АЛЬМОЛЬДА, НАВАЛЬ И АЛАКОН И ПРОЧАЯ

Здания, покоящиеся на непрочном фундаменте, нуждаются в более крепких опорах, нежели здания, для коих были вырыты глубокие рвы и заложено надежное основание. Так и труд сей, по предмету коего сразу можно судить, сколь слабое перо его писало, сколь ограниченный ум замыслил и сколь малая ученость украсила, не сможет существовать без могучей опоры в лице Вашего Сиятельства, кого избрал автор, дабы имя Ваше и древние гербы придали его сочинению знатности, а благородное покровительство Ваше защитило.

Вельможам столь высокородным весьма свойственно ободрять смиренных и воодушевлять робких — достохвальные сии дела подвигают на еще большие свершения, ибо похвала придает духу и побуждает таланты блистать к вящей своей славе. Тут выбор мой удачен — пусть нельзя этого сказать о выборе предмета,— и под сенью Вашего Сиятельства (в ком сочетаются достоинства доблестного кабальеро и мудрого правителя) книга сможет появиться на свет, не страшась оскорблений критика и попреков хулителя.

Автор желал бы наполнить всю эту книгу восхвалениями предков Вашего Сиятельства, знаменитого их рода, великого почтения, коим они были окружены, их высоких должностей в древнем сем королевстве и в других, что получило продолжение в деяниях Вашего Сиятельства (чей приветливый нрав и радушное обхождение пленяют все сердца), но тогда пришлось бы уместить в небольшой книжонке тему, требующую толстых томов.

Итак, примите, Ваше Сиятельство, малый сей дар, и пусть материя, в нем описанная, не умалит Вашего благоволения,— знатным особам не раз преподносились творения такого рода, и принимали их не столько ради самого предмета, сколько ради цели, с коей они были написаны,— состоит же она в исправлении нравов и в назидании беспечным, дабы первые улучшились, а вторые научились уму-разуму.

Автор уповает, что великодушие Вашего Сиятельства не отвергнет его подношение, и тогда он возьмется за перо для осуществления замыслов более важных и воспоет славу знаменитых Ваших гербов.

Да хранит Ваше Сиятельство бог, как я того желаю.

К услугам В. С.

Дон Алонсо де Кастильо Солорсано.

ПРОЛОГ

Любезный читатель! «Севильская Куница» выходит в свет, дабы стать мишенью для всех желающих; автор скромно признает, что изъянов в ней ты найдешь немало; признание сие спасает его от твоих упреков, и он надеется их не слышать, полагая, что ты не будешь чрезмерно строг к его перу, дабы не отбить охоту забавлять тебя своими трудами. Но что пользы пытаться снискать твое расположение, коль нрава ты придирчивого и все равно поступишь так, как тебе вздумается? Да наделит тебя бог терпимостью! Ежели возьмешься читать не с добрым намерением, даже изысканное покажется тебе пошлым, ничто не придется по вкусу. Что ж, клевещи, злословь, смейся, издевайся, разнеси все в пух и прах — я даю вдоволь пищи для твоего язвительного ума.

КНИГА I

Куница, как пишут жители тех мест, где она водится,— это зверек, имеющий зловредную привычку воровать, притом непременно по ночам; величиною она чуть поболе хорька, весьма хитра и проворна, ворует кур, и, ежели где появится, их не спасут ни курятник, ни высокая ограда, ни запертые ворота — уж в какую-нибудь щель она да пролезет.

В этой книге изображена женщина, прозванная Куницей за то, что от рождения была наделена повадками зверька, о котором мы сейчас рассказали. Бойкая и бесстыжая, она выросла в семье, где родители, хоть бы и занялись ее воспитанием, сами были такого склада, что не могли бы исправить беспутные замашки дочери; вот и удалась она в отца и в мать — с дурными склонностями, чрезмерной бойкостью и безудержной наглостью. При столь пороч-

ном нраве юность свою она провела в отчаянно дерзких похождениях — никакие кошельки, никакие ларцы не могли уберечь свое содержимое от крючков ее коварства и отмычек ее хитрости.

Да послужит читателям предостережением сей портрет с натуры, живописующий проделки плутовок такого пошиба,— в нем я соединил черты их всех, дабы человек распутный воздержался, отчаянный одумался, а беспечный усвоил назидание, ибо дела, тут описанные, не выдуманы мною, но случаются в наши дни весьма часто. Итак, приступаю к повествованию.

В «Похождениях бакалавра Трапасы» мы оставили этого молодца на галерах, куда он угодил за то, что надел на себя мантию Христова ордена, не обзаведясь надлежащими грамотами, коими его величество в своем Верховном Совете Португалии таковое звание подтверждает. А намерением Трапасы было прослыть в столице знатным кабальеро, чтобы под этой личиной совершать еще худшие пакости, и, пожалуй, он бы исполнил задуманное, когда бы не ревность Эстефании, его дамы, изобличившей плута и заставившей его служить бесплатно великому государю Испаний,— стал он гребцом на королевских галерах, где отбыл весь назначенный срок и еще немного сверх того.

На галеры его отправили в партии преступников, что каждый год выходит из императорского города Толедо,— запас, поставляемый справедливым судом милосердных слуг его величества испанским эскадрам, которые стерегут и защищают побережья его державы и нагоняют страх на злодеев-корсаров, промышляющих грабежом в подвластных Нептуну морских просторах. Так и Эрнандо Трапасе, отцу героини нашей повести, досталось послужить в одной из испанских эскадр, и он вместе с оравой других каторжников был препровожден в Пуэрто-де-Санта-Мария. В пути он весьма сокрушался, что не удалось ему осуществить некий благородный замысел — добиться освобождения по ходатайству напильника и вместе с товарищами по ремеслу проучить сеньору Эстефанию, виновницу его бед.

Ревнивая дама меж тем лелеяла совсем иные мечты — едва она узнала об отправке Трапасы на галеры, как ее объяло искреннее раскаяние в том, что она стала причиною его мук; хотя она и не была образцом справедливости, червячок совести принялся точить ее душу, и в конце концов она решила, что вину свою сможет загладить, лишь выйдя замуж за Трапасу, когда он отбудет свой срок,— у нее ведь была дочь от него. С этой мыслью она покинула столицу и переехала в Севилью — в огромном этом городе она надеялась выведать что-либо о Трапасе, которого мечтала увидеть избавленным от невыносимых трудов каторги; я, разумеется, описал бы их со всем доступным мне уменьем, когда б другие сочи-

нители не изображали уже галеры с гораздо большим блеском и ученостью.

Состояние у Эстефании было изрядное, супруг-генуэзец оставил ее богатой вдовой, и в Мадриде она жила на широкую ногу; однако там пошла о ней дурная слава, когда стало известно, что она из ревности отправила на галеры какого-то мошенника; подруги осуждали ее за низменность чувств, за то, что их предметом мог стать преступник. Это и побудило Эстефанию сменить Мадрид на Севилью; сборы были недолгими, она распродала свои вещи — те, что были бы обузой в дальнем путешествии, всякие шкафы, поставцы и большие картины, которых было у нее много, и весьма ценных,— выручила за них хорошие деньги, наняла карету и, взяв с собою двух слуг, прибыла в этот город, знаменитую сокровищницу всего Запада. В Севилье она сняла дом по своему вкусу и стала ждать, пока пройдут годы каторги, назначенной Трапасе, с которым жалостливая Эстефания решила щедро расплатиться. Срок кончился, она узнала, что испанские галеры пришли в Пуэрто-де-Санта-Мария, и собралась туда, но не в тех нарядах, в которых щеголяла в Севилье, а в более скромном платье, чтобы никто не вздумал злословить,— такая, мол, важная дама, а жена галерника или, по крайней мере, явилась вызволять его из каторги.

Без труда она выведала, что ее любезный находится на головной галере и что живется ему недурно,— он исполняет должность старшого, а потому избавлен от изнурительного труда гребцов, и, кроме того, веселый нрав снискал ему расположение самого адмирала, но если б он и не достиг такого поста, он отлично обжился в плавучем доме и с годами мог бы стать заправским моряком. Однако приезд Эстефании все переменил: она сразу принялась ходатайствовать об освобождении Трапасы, обивать пороги тех, от кого это зависело, да задабривать их деньгами; Трапаса же о том знать не знал — Эстефания не спешила его увидеть, да и он не покидал галеру и весьма был удивлен, когда ему сказали, что кто-то, пуская в ход связи и деньги, хлопочет о его избавлении,— ему невдомек было, что это его Эстефания сменила гнев на милость. Наконец все было улажено, Трапасу сняли со скамьи галерника, сбили с него кандалы, и он, не зная, кому обязан свободой, был в сопровождении надсмотрщика отправлен пред очи той, что своими хлопотами ускорила его выход на волю,— ведь известно, что даже когда каторжники отработают свой срок, всегда находится повод его продлить, и осужденные на четыре года сплошь да рядом отсиживают пять, а то и шесть лет.

Итак, Эрнандо Трапаса увидел перед собой Эстефанию и был поражен, что это она с таким усердием и пылом — о чем ему сообщали — добивалась его освобождения; она заключила его

в объятья, он ответил тем же — было бы подлостью не простить раскаявшейся, загладившей свою вину женщине и не принять ее ласки с любовью и благодарностью, предав забвению прошлый гнев; в то же время Трапаса был огорчен, видя, что его любезная одета бедно, меж тем как в Мадриде он оставил ее в богатстве и роскоши; мог ли он подумать, что хитрая Эстефания перерядилась, дабы не быть узнанной и опознанной надсмотрщиком или писцом с галеры, которые, впрочем, не слишком вникали в дело и приписали нежность встречи отношениям дружеским, а не супружеским. Эстефания пригласила обоих на обед и отменно угостила. После обеда гости отправились восвояси, а Трапаса и его дама остались у себя дома, то есть в весьма недурной гостинице; оказавшись наедине, они снова бросились друг другу в объятия, и каторжный любовник в самых пылких выражениях поблагодарил Эстефанию за ее доброту. Она же сказала, что, вызволив его с каторги, намерена причиненное ею зло исправить еще и тем, что сделает его своим супругом, ежели она Трапасе все еще мила,— у нее ведь от него дочь, и состояние есть изрядное, можно жить так же привольно, как тогда, когда она осталась в Мадриде одна. Тут Трапаса и вовсе ошалел от счастья — ему чудилось, будто райские врата открылись перед ним и само небо шлет ему на помощь Эстефанию; после горьких лет каторги любой уголок земли показался бы ему страной обетованной. Новые, еще более пылкие объятья были наградой Эстефании за радостную весть, Трапаса согласился с ее предложением и условиями брачного контракта и сказал, что хочет поскорей взглянуть на их дочь. Тогда Эстефания достала припасенное для него дорожное платье, вполне приличное, но не щегольское, чтобы люди с галер не злословили и не считали ее распутницей, заполучившей своего дружка.

В тот же вечер они уехали в Севилью, там Трапаса, полюбовавшись пятилетней дочуркой, как христианин исполнил свой долг, от которого прежде, как язычник, уклонялся,— обвенчался с Эстефанией in facie Ecclesiae[1].

Они переселились в другой конец города, и Эстефания стала убеждать мужа найти себе какое-либо почтенное занятие, чтобы они в Севилье могли жить в полном довольстве. Седина, пробившаяся у Трапасы за годы каторги, не давала ему возвратиться к проказам молодости и опасным затеям, однако человека дурного от природы трудно улучшить, а уж такого закоренелого, как Трапаса, тем паче, и если какое-то время он прожил спокойно, тут помогли лишь увещевания жены да мысль, что он — отец ребенка. Эстефания растила дочь в роскоши до восьми лет, а Трапаса меж

[1] Перед лицом церкви (*лат.*).

тем слонялся по Севилье без дела, в беспечности своей ни к чему не питая влечения, разве что любил он прохаживаться по Градас до полудня, а вечерком смотреть комедию. Сильно огорчалась этому его супруга, она-то уже свыклась со спокойной жизнью, позабыла свои проделки и не могла нарадоваться на дочурку, которая и впрямь была на редкость хороша собой.

Праздность, мать всех пороков, побудила Трапасу снова увлечься игрой — этим океаном, в котором тонут состояния и репутации; сперва он сел за карты как бы для забавы, но через день-другой вошел в азарт и, желая вернуть не столь большие проигрыши, стал спускать суммы все более крупные.

Вскоре у Эстефании исчезло несколько золотых вещиц, она узнала, что это дело рук ее мужа, принялась рыдать да браниться. Трапаса дал слово исправиться, но не сдержал его. Еще четыре года продолжал он играть, и под конец в доме, как говорится, ни ложки, ни плошки не осталось; а как не стало денег и пришла нужда, начались в семье ссоры да свары — таковы последствия игры. Трапаса в юности наезжал в Севилью, но теперь не был узнан и благодаря сединам слыл человеком почтенным; между тем исправился он лишь в одном — сколько ни теснила нужда, к мошенничеству он уже не прибегал; ему бы, правда, хотелось, чтобы Эстефания занялась не подобающим честной жене ремеслом, но она теперь держалась строгих правил, так что он об этом и заикнуться не смел; Эстефания же думала только о доме да о воспитании дочери, которой минуло уже двенадцать лет. Дочь немного помогала матери в хозяйстве, но домоседкой не была и предпочитала вертеться у окна, а мать, удрученная бесчинствами Трапасы и нежно любившая дочь, не находила сил ее бранить — многие матери этим грешат и потворством своим навлекают на семью тяжкие беды.

Нищета и непрестанные ссоры подкосили Эстефанию, она слегла и, поболев с год, отдала богу душу, исполнив христианский долг,— человек разумный всегда признает прошлые заблуждения и раскается в них; умерла она благой смертью, хотя при Трапасе видела лишь дурную жизнь; похороны были бедные, на более пристойные у Трапасы не хватило денег; он сильно горевал, лишь теперь поняв, каким безумием было его беспутное поведение,— ведь с приданым, что принесла жена, он мог бы жить безбедно; одно было утешение — дочь, которая росла красоткой, и Трапаса, горюя по жене, мечтал лишь о том, что дочь выгодно выйдет замуж и это будет спасением для них обоих,— пустые мечты, ибо в наше время ни красота, ни добродетель не приносят прибыли, деньги ищут денег, и где они водятся, там покажется красавицей самая страшная образина.

Терпя нужду, Трапаса все же ходил по притонам — играть не играл, денег не было, только клянчил у тех, кому в свое время давал подачки с выигрыша; но игроки таких долгов не помнят, они думают лишь о сегодняшнем дне — кто с деньгами, пред тем лебезят, а кто их прежде имел, но лишился, того презирают.

Отец все чаще отлучался из дому, и дочь, пользуясь свободой, не отходила от окна — на людей глядела и себя показывала; слух о ее красоте пошел по городу, на их улице стали толпами прогуливаться вздыхатели; отец об этом знал, и хотя мог бы проявить строгость, но, думая об их нужде и о красоте дочери, полагал, что избавить от бедности может лишь одно — богатый жених; и это была еще самая честная из его мыслей, ибо, предоставив дочери полную свободу самой искать жениха, он в душе был не прочь, чтобы Руфиника — так звали дочку — стала сетью для уловления кошельков тех юношей, которые ее обхаживали.

Расчеты Трапасы оправдались даже сверх ожидания — среди вздыхателей нашелся охотник оплатить красоту Руфины наличными. Девушка была со стороны матери дворянского рода, имела право величаться «доньей», а хоть бы и не имела, то по суетности своей приобрела бы его, тем более что ныне это обходится так дешево.

В числе многих прохаживался по их улице некий поверенный туза-перуанца, мужчина лет пятидесяти, не столь богатый, как с весом; в Торговой палате его считали человеком порядочным и состоятельным; узнав, что приданого за девицей нет и что отец ее беден, он был готов взять ее без гроша — когда страсть завладевает человеком в летах, избавиться от нее трудненько. Так сильно влюбился в Руфину наш Лоренсо де Сарабия — таково было его имя,— что, уже через неделю, сделав предложение, стал супругом и повелителем юной красотки. Человек он был достойный, добропорядочный и, в придачу к жене получив тестя, взял ее в свой дом с этим, весьма существенным, довеском, хотя знал, каким азартным игроком был Трапаса, называвший себя в Севилье Эрнандо де Киньонес.

Первые дни после свадьбы — сплошные праздники. Сарабия подарил жене много нарядов, но скромных — ему, человеку пожилому, было не по душе франтовство, а Руфина весьма огорчалась, она-то пощеголять любила, и что ни увидит на других женщинах, все бы ей хотелось нацепить на себя; из-за этого она невзлюбила мужа, который, как все индианцы, был скуповат, а тут, убедившись, что его тесть — игрок и вообще человек пропащий, стал еще прижимистей: не доверял жене денег, что были в доме, и сам вел расходы по хозяйству; так развеялись все мечты Эрнандо Трапасы о том, что после замужества дочери он сможет играть на ее деньги,— настолько карты его околдовали! И пока

он околачивался в притонах, а его зять Сарабия хлопотал по своим делам, Руфине было разрешено по утрам отлучаться из дома — как она сказала мужу, на девятидневные моленья, которые она, мол, исполняет, чтобы бог дал ей сына; а на самом-то деле она выходила покрасоваться на улицу Франкос или в кафедральный собор. Среди многих, посещавших два этих места, чтобы поглядеть на Руфину, был один юноша, сын почтенного севильянца, первый озорник в городе, почти такой же беспутный, как Трапаса, хотя из хорошей семьи,— сколь часто молодые люди, забывая о чести своей фамилии, становятся вертопрахами и позорят себя.

Таков был и этот Роберто, который приударял за Руфиной; собою недурен, юноша понравился ей, и она ответила на его чувства, поверив ему на слово, что он очень богат. Жадна была Руфина до денег, и всегда их ей не хватало из-за того, что муж был скуп и кошелек держал под замком. Первое, что она попросила у своего поклонника, было платье, такое же, какое она видела на соседке; если он сделает ей этот подарок, сказала Руфина, она в долгу не останется и сумеет вознаградить за любезность. Роберто просьбу исполнил, но притом провел Руфину неслыханным образом: будучи знаком с дамой, чей наряд должен был стать образцом для платья, обещанного Руфине, Роберто пошел к ней и попросил платье взаймы, якобы для представления какой-то комедии в женском монастыре; дама не могла отказать, и через три дня, которые будто бы ушли на шитье, платье было преподнесено Руфине обернутым в неаполитанское полотенце с вышитой разноцветным шелком каймой; принес платье слуга, явился он утром, когда муж отлучился из дому по своим делам. Очень обрадовала Руфину любезность нового поклонника, так быстро исполнившего обещанье, и она решила не остаться в долгу — Роберто побывал у нее дома, где его вознаградили за старанья. Но вот Роберто ушел, и Руфина стала размышлять, как бы, не вызвав у мужа подозрений, убедить его, что платье прислал родственник из Мадрида. А Роберто ломал голову, как бы это вернуть платье владелице; Сарабия не знал его в лицо, чем он и воспользовался. Выждав три-четыре дня, пока будто бы справлялось в монастыре празднество, Роберто в скромном костюме слуги постучался к концу обеденного часа в дом Сарабии — он-де слуга сеньоры, которой принадлежит платье; Сарабия велел его позвать в комнаты, он повторил и тут, что госпожа прислала его забрать платье, одолженное сеньоре донье Руфине для образца. Сарабия обернулся к жене и сказал:

— Ты слышишь, женушка? Какое платье требует этот идальго?

Руфина, узнав Роберто и слегка смутившись, сказала:

— Сеньор, приходите завтра — и вы получите платье.

— Как это завтра? — возразил Роберто.— Хозяйка велела мне без него не уходить, нынче вечером ей предстоит быть крестной матерью на крестинах, и она должна его надеть.

— Но как я могу узнать,— нашлась Руфина,— действительно ли вы ее слуга, чтобы вручить вам платье без опасений?

Плут, видя, что Руфина упрямится и не хочет отдавать платье, сказал: платье, мол, такого-то цвета, такого-то покроя, с такой-то отделкой, и принесли его завернутым в зеленое итальянское полотенце с каймой, вышитой разноцветным шелком по золотистой канве.

— Примет достаточно,— сказал Сарабия жене,— возражать не приходится; сеньора, тотчас отдайте ему платье; раз он так настойчиво требует, наверно, оно очень нужно, а ежели вам неохота подняться с места, дайте мне ключ от сундука, где оно лежит, я сам за ним схожу.

Тут уж Руфине нечего было возразить; лопаясь от злости, она встала из-за стола, вынула платье из сундука и подала его Роберто со словами:

— Целую руки сеньоре донье Леонор и прошу прощенья, что не могла отослать платье раньше,— я хотела показать его подруге, которая собирается шить себе по этому образцу.

Когда она вручала платье переодетому поклоннику, ее глаза метали молнии, так ее взбесило коварство Роберто. Мнимый слуга вышел, Сарабия спросил, для кого это она брала платье. Руфина сказала, что для подруги, которая хочет сделать себе такое же; этим она рассеяла подозрения мужа, затаив в душе негодование на хитреца, сумевшего отобрать платье, когда она уже считала его своей собственностью! С того дня она задумала отомстить Роберто за оскорбление и вскоре сообщила о своих замыслах служанке, поведав той, как было дело. Ее рассказ случайно подслушал Трапаса и решил взять месть на себя, тряхнуть стариной — ведь был он когда-то большим забиякой. Зная, что обидчик посещает те же притоны, что и он, Трапаса однажды встретился с Роберто и вызвал его на поле Таблада; там он сообщил причину, из-за которой искал встречи, оба обнажили шпаги, но Трапасе не повезло — тот день стал для него последним. Роберто ловким ударом шпаги лишил его жизни и последнего покаяния — подобный конец ждет тех, кто живет так, как жил Трапаса.

Роберто скрылся. Трапасу принесли в дом зятя, где прием ему был оказан кисло-сладкий: кислый, потому что предстояли расходы на погребение, но и сладкий, потому что зять избавился от обузы,— терпеть в доме такого тестя, как Трапаса, было нелегко, и Сарабия, держа при себе беспутного прощелыгу, совершал настоящий подвиг.

«Хромой Бес».

Сеньора Руфина плакала по отцу обоими глазами. Мне, пожалуй, скажут: где, мол, это видано, чтобы плакали одним; но я отвечу, что когда горюют по-настоящему, как горевала она, то плачут навзрыд, и никакие утешения не осушат и части слез. К тому же Руфина плакала за двоих — за себя и за мужа, который, как водится у зятьев, лишь для виду вздыхал и строил скорбные мины.

У Руфины остался супруг, для женщины добронравной это могло бы служить утешением в горе; но Руфина жила с мужем скверно и оттого горевала вдвое — а вина тут родителей, которые поощряют неравные браки.

Сарабия был счастлив, что он муж молодой и красивой женщины, но Руфина — отнюдь: ей нужен был ровня по возрасту, пусть и не такой состоятельный. Это и толкнуло Руфину нарушить благоприличие, презреть узы брака и искать развлечений в надежде, что они будут и приятны и прибыльны,— мы уже знаем, как она преуспела в последнем и какую прибыль ей принесла шуточка Роберто; Руфина так на него обозлилась, что все бы отдала, только бы найти человека, который покарает обидчика. Случай представился — не зря Руфина выходила покрасоваться перед людьми в часы, украденные у мужа, который все хлопотал по своим делам.

В один из праздничных дней, когда в Севилье при большом стечении народа веселятся особенно бурно, а бывает это каждую пятницу в пору между двумя славными праздниками — пасхой и пятидесятницей,— вблизи Трианы, там, где струится прозрачный Гвадалквивир, знаменитая андалусийская река и зеркало для стен Севильи, в одной из множества убранных зеленью лодок, в которых катают горожан лодочники, наживающиеся за счет бездельников, сидела Руфина; она отправилась на праздник с разрешения супруга, так как ее сопровождала соседка, которой Сарабия, не зная тайных помыслов этой особы, решился доверить жену,— пусть мужья возьмут это себе на заметку, такая дружба может привести к последствиям пренеприятным. Соседка была женщина легкомысленная, щеголиха и сплетница. Для нее, Руфины и еще двух подружек наняли отдельную лодку, однако жадность побудила лодочника взять еще пассажиров; его подкупил некий идальго, бродивший с тремя друзьями по берегу реки в ожидании подобного случая — на это у севильских повес отличный нюх — и приметивший Руфину, когда она, садясь в лодку, открылась. Юному гуляке — назовем его Фелисиано — приглянулось ее лицо, он вмиг уговорил своих друзей напроситься в лодку к дамам, для чего соблазнил лодочника деньгами, иже устраняют все препятствия.

Мужчины сели в лодку, и Фелисиано пристроился поближе к Руфине, чтобы приступить к свершению своих замыслов. Был он

сыном богатого идальго, который некогда вел торговлю в Индиях, преуспел и накопил большое состояние; единственный сынок, Фелисиано располагал для своих забав капиталами отца, сорил деньгами и наверняка промотал бы их быстрее, чем отец скопил,— он играл, волочился за женщинами, был окружен друзьями из тех, что не вылезают из харчевен и трактиров, и так был расточителен, что всегда расплачивался за всю компанию; кроме того, он отличался дерзким нравом, чем грешат многие сынки севильских горожан, избалованные родителями, подобно этому Фелисиано. Итак, он уселся подле сеньоры Руфины, а товарищи его — подле ее подруг, лодка отчалила и, покружив по реке не более получаса, пристала к берегу — лодочнику были заплачены немалые деньги, чтобы он так поступил. Фелисиано не терял времени, за полчаса он успел столь красноречиво поведать сеньоре Руфине о своих чувствах, что она, поверив его нежным словам, стала, как особа добросердечная, одарять его милостивыми взорами. Фелисиано был смышлен, остроумен и в подобных случаях выкладывал весь свой запас острот, каковой товар неизменно вызывал хохот у дам, восторгавшихся его шуточками; Руфина также слушала с удовольствием, красноречие нового любезника пришлось ей по вкусу. Ничего не скрывая, она рассказала, что замужем, назвала свое имя и дом; Фелисиано ответил тем же, поведав без утайки все о своей особе, сообщив, кто он, как богат и как страстно желает ей служить. Весь вечер продолжалась эта дружеская беседа, к великой радости поклонника и к удовольствию Руфины, имевшей в виду две цели: первое — уговорить Фелисиано, чтобы он отомстил Роберто, и второе — обобрать его, насколько сумеет. Обе цели были достигнуты, как она и желала, но об этом мы скажем позже.

С того дня Фелисиано стал часто наведываться на улицу, где жила Руфина, делая это в те часы, когда Сарабия уходил в Торговую палату или в свои конторы. Проученная Роберто, дама стала осторожней: прежде чем Фелисиано был допущен в дом, ему пришлось осыпать ее подарками — лакомствами, нарядами и драгоценностями; так что он расплатился и за себя и за Роберто — лишь тогда Руфина раскрыла ему свои объятья.

Насладившись обладанием, любовь обычно остывает, но здесь вышло наоборот — Фелисиано с каждым днем любил Руфину все сильнее, словно еще к ней не притронулся. В это время случилось так, что Роберто выиграл в карты более шестисот эскудо, и, вопреки обычаям игроков, которые думают не о нарядах, а лишь о том, чтобы иметь деньги для игры, юноша заказал себе платье побогаче и разоделся щеголем. Узнав, что Фелисиано часто прохаживается по улице, где живет Руфина, он был задет за живое и надумал, выпросив прощение за прошлую обиду, вернуть ее любовь; с та-

ким намереньем он начал ходить на ее улицу, что заставило Фелисиано призадуматься — ради кого тут прогуливается этот франт. Старания Роберто вернуть любовь Руфины лишь усиливали ее ненависть — всякий раз, когда она его видела, она с яростью вспоминала о его проделке и, жаждая мести, говорила себе, что верней всего возложить ее свершение на Фелисиано,— вот на какие дела подбивают женщины своих обожателей, отчего и случается каждый день столько прискорбных убийств.

Руфина не открыла Фелисиано, что произошло меж нею и Роберто, но, дабы укрепить его чувства, повела их по ложному следу, сказав, что Роберто за ней ухаживает и предлагает ей подарки, но она, мол, все это отвергает ради него, Фелисиано; этим она разожгла страсть Фелисиано, он воспылал ревностью, свято веря в истинность речей Руфины, тем паче что соперник все чаще появлялся на ее улице и порою мешал ему насладиться любовью,— Руфина теперь нарочно уклонялась от свиданий с Фелисиано, чтобы еще больше распалить его вражду к Роберто. Дело кончилось тем, что Фелисиано, один из первых забияк в Севилье, себя не помня от ревности, повстречался как-то ночью у дома своей дамы с Роберто; Руфина в это время уже спала, а муж ее проверял конторские счета; увидав Роберто, Фелисиано окликнул его по имени, подошел к нему и, чтобы не поднимать шуму на улице, повел в тупик, к ней примыкавший, куда выходили окна комнаты, где Сарабия сидел за бумагами. Итак, оба соперника прошли в тупик, и Фелисиано заговорил первым:

— Сеньор Роберто, вот уже несколько дней, как я заметил, что вы зачастили на эту улицу, и стал любопытствовать, из-за кого вы лишились покоя,— ведь здесь проживает немало очаровательных дам, которые могли быть тому причиною; приложив некоторые старания, я выяснил, что виновница ваших бдений— сеньора донья Руфина; убедили меня в этом и мои собственные глаза, и свидетельства служанок, которых вы пытались сделать посредницами в ваших притязаниях. По этой улице я хожу давно, нежными заботами заслужил милость дамы и все прочее, с этим связанное; хвалиться такими вещами мне не свойственно, но, чтобы положить конец вашим напрасным усилиям, я заявляю вам об этом в уверенности, что, как человек благородный, вы сохраните тайну. Итак, вам известны мои любовные виды и успехи; я был бы весьма признателен, ежели бы вы отступились,— тогда мы избегли бы неприятностей, коих не миновать, ежели вы будете упорствовать.

Роберто со вниманием выслушал предложение своего соперника Фелисиано, и с таким же, если не бóльшим, вниманием его слушал супруг Руфины, стоя у окна своей комнаты и с болью в серд-

це принимая речи, столь зазорные для его чести; как ни тяжко было слушать дальше, он дождался ответа Роберто, молвившего так:

— Сеньор Фелисиано, я не дивлюсь вашей страсти в разоблачении того, что предмет моей страсти — сеньора Руфина, ибо, судя по вашим словам, это кровно вас касается; надеюсь, и вы, как человек влюбленный, не удивитесь, что я ищу ее милостей, хотя причина моих чувств вам неведома; я также не хотел бы хвалиться своими успехами, но, дабы вы меня не осуждали зря, вам следует о них узнать. Я уже давно имел счастье пользоваться милостями этой дамы и ныне явился сюда за тем же, что и вы; прискорбная случайность лишила меня ее расположения, но теперь я намерен его вернуть, и ежели, как я надеюсь, она отнесется ко мне благосклонно, вам придется это стерпеть,— от своих притязаний я не отступлюсь и приложу все силы, чтобы ваши не были вознаграждены, как бы вы ни старались.

Тут они оба обнажили шпаги — Фелисиано настаивал, что красавица по праву принадлежит ему, Роберто же возражал; шпага нынешнего любовника оказалась более удачливой, жестоким ударом в левый сосок она лишила Роберто жизни, не дав ему даже воскликнуть «Иисусе!».

Такая злосчастная кончина уготована тем, кто идет по дурной дороге, домогаясь чужих жен,— всех их ждет столь же плачевный удел.

Поединок произошел почти без шума, шпага Фелисиано так быстро сделала свое дело, что стука никто не слыхал и не узнал бы о случившемся, когда бы Сарабия не находился тут же рядом. Чтобы труп Роберто не был обнаружен у дома, предусмотрительный Фелисиано взвалил его себе на плечи и отнес к воротам соседнего монастыря, там он положил труп наземь, а сам укрылся в другом монастыре, пока не выяснится дальнейший ход событий. Сарабия, пораженный увиденным и возмущенный неверностью жены, метал громы и молнии, жаждая отомстить за поруганную честь,— измена жены была для него тяжким ударом, меж тем как сама Руфина, ничего не ведая о происшедшем, спала спокойным сном.

Пылая желанием отомстить, Сарабия сперва решил было подняться в опочивальню, где спала коварная жена, и заколоть ее кинжалом; но затем он рассудил, что один труп, наверно, уже где-то спрятан убийцей и что, лишив жену жизни, он будет обвинен в беспричинном убийстве, и обе их служанки смогут свидетельствовать против него; тогда он надумал тайно ей подсыпать медленно действующего яду, но на это требовалось время, а ему казалось, что справедливый его гнев требует неотложного свершения мести; еще он говорил себе, что хорошо бы уехать из Севильи и

оставить Руфину, но и на это не мог решиться — слишком много пошло бы тогда толков и пересудов, люди стали бы на все лады позорить его, старого мужа; в конце концов он остановился на первом своем замысле — убить Руфину; но, прежде чем свершить этот жестокий шаг, а по сути, справедливую кару за грех, он решил, в свое оправдание, изложить на бумаге причину, толкнувшую его на убийство. Итак, взяв письменные принадлежности, он принялся писать о нанесенном его чести оскорблении, и все ему казалось, что он не находит достаточно убедительных слов,— один за другим рвал он листы бумаги и начинал сызнова; так он изорвал три записки, ум его одолевало глубокое смятение, ибо на человека пожилого, каким был Сарабия, всякое тягостное происшествие действует особенно удручающе, тем паче столь явное оскорбление чести, которое и более стойкого повергло бы в смущение и растерянность. Под конец, порвав в клочки три записки, он начал писать в четвертый раз, как ему казалось — более связную, но и тут остановился — надо было указать имена оскорбителей, а он-то не знал ни одного из них. Сарабия понимал, что самым правильным было бы разыскать прелюбодеев и сперва их лишить жизни, а уж потом жену; но кто они, он не знал, оставалось лишь убить жену; в таком смятении провел он бóльшую часть ночи, писал, вымарывал, рвал бумагу, не помня себя от горя. Измучившись, он решил разом покончить с письмом; обдумал заранее, что напишет,— чтобы больше не черкать и не рвать листки,— сел писать еще одно, и едва успел в основном изложить суть причиненного ему позора, как страдания, его терзавшие при этом, вызвали сердечный приступ, жизненные дýхи утратили силу, и жизни Сарабии пришел конец — замертво рухнул он на пол, и душа его, пылавшая жаждой мести, отлетела прочь, верней всего, в края, не слишком отрадные.

Пока все это происходило, Руфина, ничего не подозревая, продолжала спать; но вот она проснулась, обнаружила, что место, где обычно лежал супруг, пусто, и стала его звать; не получив ответа, она накинула юбку, спустилась в его кабинет и там при свете горевшей свечи увидела, что Сарабия лежит на полу, бездыханный; перепугавшись, Руфина принялась кликать служанок; те вскочили с постелей и прибежали на зов; печальное зрелище предстало их взору; пораженные, они почтили горестную кончину хозяина — а Руфина своего супруга — тихими рыданиями, чтобы не разбудить соседей; когда же стали поднимать труп, чтобы перенести его в залу, Руфина заметила полуисписанный листок и прочла следующее:

«Дабы меня не осуждали понапрасну, пусть знают те, кто прочтет сию записку, что я собственными глазами убедился в своем

позоре, причиненном распущенностью изменницы-жены; осквернив священное таинство брака, узы, коими соединила нас двоих церковь, она презрела мою безмерную любовь и допустила к себе двух любовников сразу; сие послужило причиной спора меж ними и злосчастной гибели одного из них; став очевидцем этого страшного дела и услыхав своими ушами о постигшем меня позоре, я почитаю себя орудием предначертаний божьих и намерен покарать за сие...»

На этих словах остановилось его перо, так как сердце разорвалось от скорби и жизненные духи покинули тело.

Легко вообразить смятение Руфины — целых полчаса она не могла с места сдвинуться, удрученная мыслью о том, что все тайны выходят наружу,— такова воля неба, раскрывающего их, чтобы исправить нас или покарать. Смерть доброго Сарабии повергла Руфину в ужас и горе; ужасалась она тому, что была так легкомысленна и стала виновницей гибели мужа, не снесшего своего бесчестья, а горевала, что муж ее мертв и непонятно, как скрыть от людей причину его смерти. Руфина всегда делала вид, будто любит мужа, и это отчасти ускорило его кончину — судя по ее притворной нежности, он никак не ожидал такого удара, и когда это случилось, тяжкое разочарование мгновенно свело Сарабию в могилу; все вокруг полагали, что в их супружестве царят любовь и согласие, и Руфина, зная об этом, решила последовать совету одной из своих служанок — той, которой поверяла свои любовные проказы,— сказавшей, что лучше всего уложить покойника на их супружеское ложе, а утром-де Руфина, словно только заметив, что он мертв, должна изобразить величайшее горе; они же, обе служанки, помогут ей в обмане, станут всем говорить, будто Сарабия скончался оттого, что накануне чересчур поздно и плотно поужинал. Так и сделали: наступил день, Руфина подняла такой плач, что всполошила весь околоток; обе служанки дружно вторили ей, и когда ближайшие соседи явились в их дом, то застали полуодетую Руфину, распростертую прямо на полу в притворном обмороке. Письмо мужа она, разумеется, сожгла, чтобы скрыть от людей свою вину. Соседки бросились приводить ее в чувство всякими снадобьями, это долго не удавалось, наконец она очнулась и снова принялась рыдать, прикрывая полотенцем лицо, чтобы не видели, как скудно каплют слезы из ее глаз. Служанки рассказали, чему они приписывают смерть Сарабии,— они-де ему говорили, чтобы не ел так много, ведь для человека его лет излишества вредны,— и объяснение было принято за чистую монету. Явились служители правосудия — в подобных случаях они всегда тут как тут,— но ручательство соседей, что чета жила в мире и согласии, рассеяло подозрения, которые могла

возбудить скоропостижная смерть. Доброго Сарабию схоронили, а Руфина из-за всех волнений позабыла, не в пример другим вдовам, припрятать имущество; тотчас после погребения явился племянник покойного, да и забрал все, что было в доме,— пришлось судиться, чтобы вытянуть из него хотя бы приданое Руфины.

Вернемся теперь на то место, где был положен труп Роберто. Утром монахи нашли его и, не зная, кто это, хотели предать земле, однако некий горожанин посоветовал сперва выставить покойника на площади для опознания — ежели у него есть в Севилье родители или родственники, то надо, мол, чтобы они узнали о его гибели, а они, монахи, ничего на том не прогадают, у покойника, может, было состояние, так им кое-что перепадет за добро, оказанное его душе, и за расходы на погребение; настоятелю совет понравился, призвали блюстителя правосудия и рассказали ему, что этого юношу нашли мертвым у врат монастыря; тело с двумя зажженными свечами было выставлено для обозрения на площади перед монастырем, вскоре нашлись люди, которые узнали Роберто, сообщили, из какой он семьи, а также передали скорбную весть родителям,— горе стариков было велико, престарелый отец уже давно пророчил сыну такую участь, понимая, что беспутство ни к чему хорошему не приведет. Похороны состоялись в том же монастыре, правосудие пыталось выяснить обстоятельства гибели Роберто, однако Севилья — город такой большой, что имя убийцы навеки осталось тайной; одна Руфина, видя, что ее любезный не появляется и что убит Роберто, догадалась, кто виновник; впрочем, она была только рада смерти Роберто, ибо ненавидела его всей душой за его злую шутку; счастье, что никто не обратил внимания на следы крови в тупике у их дома, иначе, узнай об этом деле правосудие, пришлось бы сеньоре Руфине туго — ведь все соседи могли бы засвидетельствовать, что не раз видели на улице обоих соперников.

Итак, наша Руфина овдовела и — что всего хуже — обеднела; впав в нужду, женщина ее нрава непременно смекнет, что может извлечь доход из своей красоты. Разумеется, речь идет о женщинах безрассудных, ибо благоразумные ищут честных способов обеспечить себе существование, главная их забота — не преступить заветы господа, и он зато открывает им путь к спасению.

Сарабия был похоронен с честью, племянник завладел всем добром, а Руфине отдали лишь то, что она принесла с собою, выходя замуж. С этими средствами ей пришлось переехать в другую часть города, в дом более дешевый — прежнее жилье было ей уже не по карману, ведь Сарабия жил на широкую ногу.

Племянник, впрочем, тоже получил не бог весть какое наследство — у дядюшки было слишком много обязательств в раз-

ных торговых домах, явилась толпа кредиторов за своими деньгами, и после уплаты по счетам наследнику осталось совсем немного, чем его алчной душе и пришлось удовольствоваться.

Молодая, смазливая, бойкая вдовушка, поселившись в другом конце города, не спешила показываться перед молодыми людьми, как многие другие, которые, схоронив мужей, сразу же утешаются и ищут знакомств, чтобы поскорее вступить в новый брак.

В том году в Севилью прибыл с флотом из Перу некий идальго, уроженец Монтаньи; когда-то он был слугой севильского купца и, разжившись за счет хозяина, завел торговое дело в Индиях, которое приносило с каждым днем все больше прибыли; через несколько лет он разбогател и отправился в Перу на весьма доходную должность; там он умножил свой капитал и возвратился в Севилью, привезя на корабле разные товары; выгодно продав их, он выручил вдвое. Удачливый Маркина — так звали этого перуанца — человек лет пятидесяти, уже седой, был самым гнусным скрягой, какого знавал свет,— даже пропитание для самого себя строго ограничивал и из скаредности голодал; челяди он держал мало, ровно столько, сколько требовалось для домашних работ: помощника, мальчика, черного раба, смотревшего за его мулом, и экономку, стряпавшую ему скудную пищу; домочадцев своих он прямо-таки голодом морил, и в Севилье почитали чудом, когда находился охотник пойти к нему в услужение; о скупости перуанца Маркины шла в Севилье молва, множество забавных историй рассказывали, другого бы это задевало, но перуанцу на все было наплевать, он думал лишь о том, чтобы скопить побольше денег.

Прослышала об этом человеке Руфина, и пришло ей на ум сыграть с ним шутку, от которой ему стало бы тошно, а ей была бы прибыль. Незадолго до того Маркина взял в счет долга от одного обанкрутившегося должника загородную усадьбу — нужна она ему была не для удовольствия, а только чтобы утвердить свои права на эту землю, доставшуюся в уплату долга, а значит, за бесценок. Усадьба была расположена вблизи монастыря святого Бернарда, в весьма красивой местности; Маркина поселился там, чтобы не тратиться на дом в городе; жилье его было надежно защищено от грабителей прочными дверями, толстыми стенами и частыми решетками на окнах; вдобавок он запасся отличными мушкетами, которые всегда держал заряженными, а также пиками и алебардами, стоявшими у двери. Чтобы обрабатывать сад и получать с него доход, пришлось нанять садовника, который вместе со своей женой возил на продажу выращенные в саду плоды,— такова была жадность Маркины! Деньги свои он хранил в кованых железных сундуках, стоявших за его кроватью, и держал в спальне несколько заряженных мушкетов на случай нападения; спать ложился он

еще засветло, зато ночью непременно обходил дозором весь дом — так и жил в постоянной тревоге этот жалкий раб своей мошны, у которого и детей-то не было, кому оставить наследство, ибо он никогда не был женат, да и не собирался жениться, хотя такому богачу, конечно же, сватали не одну невесту.

Задумав провести скопидома, Руфина для своего замысла обзавелась подходящим помощником — то был давний друг ее отца Трапасы, в юности совершивший в Мадриде несколько преступлений, затем переехавший в Кадис, а оттуда в Севилью; жил он здесь под другим именем на добытые правдами и неправдами деньги и был Трапасе первым другом; в воровском ремесле он не знал себе равных, но из страха, как бы не припомнили ему, ежели схватят, всех прошлых подвигов,— а было их немало,— в Севилье держался осторожно; с Трапасой же он познакомился на галерах, где пробыл недолго,— он уже заканчивал свой срок на веслах, когда туда прибыл Трапаса, так что некоторое время им пришлось быть вместе; там завязалась их дружба, а в Севилье возобновилась.

Этого-то уже немолодого человека по имени Гарай избрала Руфина в сообщники для задуманной плутни; она научила его, как поступать, и однажды, под вечер, перед заходом солнца, когда Маркина, отправившийся на биржу по своим делам, должен был вот-вот вернуться, к его усадьбе подъехали Руфина на сардинском ослике и Гарай на лошади; красотка наша, сидевшая в дамском седле, одета была не по-вдовьему, на ней был щегольской дорожный наряд, плащ и шляпа с перьями; они поравнялись с усадьбой в то время, когда садовник отпирал ворота; Гарай, приблизившись к нему, сказал:

— Почтенный сеньор, для нас очень важно, чтобы эта дама провела нынешнюю ночь вне стен Севильи; ежели вы не возражаете, я хотел бы устроить ее на ночь в этой вилле; скажу вам прямо, согласие ваше будет добрым делом, оно предотвратит большую беду, которая может произойти, коль дама здесь не останется,— речь идет не более и не менее, как о ее жизни.

Садовник усомнился, стоит ли оказать проезжим эту любезность; он опасался сурового нрава своего хозяина, который не любил, чтобы в усадьбу допускали посторонних; когда он сказал об этом Гараю, тот вынул из кошелька несколько восьмерных реалов со словами: «Примите сие в уплату, а коль пожелаете, дадим больше». В эту минуту из дома вышла жена садовника — поглядеть, с кем беседует муж; она услыхала их разговор, увидала монеты и, загоревшись жадностью, стала убеждать мужа пустить в дом эту женщину — комната хозяина, мол, так далеко от их жилья, почему же не приютить даму, бог даст, в эту ночь хозяин

не станет при обходе проверять их комнаты; словом, ей удалось уговорить мужа, и он решился тайком от хозяина устроить даму на ночь в своем жилище. Тогда Гарай дал ему еще шесть восьмерных реалов — для начала, мол,— и, посулив много больше, помог Руфине спешиться; ее провели в усадьбу, там Гарай с нею простился и отправился исполнять ее замысел, о котором они загодя договорились, а мы расскажем дальше. Очутившись в комнате садовника, Руфина открыла лицо, и супруги были восхищены ее красотой, хотя плутовка напустила на себя вид весьма унылый, будто ее постигло великое горе,— она уже сочинила грустную историю, которую расскажет Маркине, если все получится по ее расчетам.

Едва закатилось солнце, как к усадьбе подъехал он сам верхом на муле, которого вел негр; Маркина постучался, ворота открыли, и затем он запер их, как всегда собственноручно, на ключ и спрятал его в карман. Умаявшись за день, Маркина в этот вечер ничего уж не делал, только поужинал сырыми овощами из своего сада — ему их даже не варили,— да ломтиком хлеба и, запив глотком воды, улегся спать, предварительно осмотрев свою спальню, но не спустившись в комнату садовника, которую обычно тоже проверял; челядь тоже поужинала весьма скромно, дело было в пятницу, хозяин заставлял соблюдать пост — хотя не из благочестия,— и все легли спать полуголодные. Утром Маркина вставал рано и, отдав рабу распоряжения по хозяйству, уезжал на биржу; возвращался же в усадьбу к обеду, который готовили к этому часу. Руфина, узнав о его привычках, приуныла, ей показалось, что обстоятельства складываются неудачно для ее замысла; но все же она решила ждать удобного случая и, сказав садовнику и его жене, что встревожена долгим отсутствием дядюшки — так она именовала Гарая,— ходила прегрустная, а жена садовника, женщина бойкая и веселая, старалась ее развлечь.

В полдень Маркина приехал домой пообедать и, пока накрывали на стол, пожелал осмотреть норию в саду, исправна ли и не требует ли починки; найдя, что следовало бы кое-где ее подправить и дать больше воды овощам, он пошел к садовнику — взглянуть, есть ли еще доски, которые держали в запасе для таких надобностей; жена садовника, увидев, что к ним идет хозяин, испугалась и спрятала Руфину в каморке за своей спальней; им не удалось, однако, сделать это достаточно быстро — Маркина, подходя к двери, услыхал шуршанье шелка и даже заметил мелькнувшую тень Руфины; встревоженный, вошел он в комнату садовника, что была в первом этаже дома, прямо направился к каморке, где пряталась Руфина, и, разумеется, нашел ее; сильно гневаясь за то, что без его позволения пустили в дом чужого человека, он схватил Руфину за руку, вытащил ее на свет и, увидав ее пре-

лестное лицо, был поражен — садовница ждала, что хозяин будет бранить ее за ослушание, но он, не сказав худого слова, только спросил, кто эта дама. Садовница ответила, что дама эта накануне подъехала к усадьбе вместе с пожилым мужчиной, и оба были очень печальные и очень жалостно просили дать даме приют на ночь, чтобы не приключилось несчастья, которого им не миновать, если поедут дальше, и только, мол, поэтому муж и она осмелились вопреки распоряжению хозяина оказать проезжим такую милость. Пока жена садовника рассказывала Маркине все это, он неотрывно смотрел на лицо гостьи, осененное печалью и оттого казавшееся еще прекрасней; могущество красоты неотразимо, она сумела поколебать нерушимые правила Маркины и даже пробить брешь в окаменелом сердце скопидома; его словно подменили — с любезным лицом, стараясь придать голосу не суровость, а нежность, он сказал садовнице:

— Вы хорошо поступили, предоставив приют даме вопреки моему приказу — к таким прелестным особам он не относится, да и христианский долг велит оказывать помощь тем, кто в ней нуждается; сеньора эта достойна более роскошного приема, нежели тот, который могли ей оказать в бедном жилье садовника, и, коль будет ей угодно, я прошу ее перейти в мои покои, как подобает особе ее звания.

Руфина, поблагодарив, попросила все же не перемещать ее — за ней, мол, этим вечером должен явиться дядя, и ради столь короткого срока она не хочет утруждать того, кому хотела бы услужить.

Маркина, уже слегка влюбленный, выразил сожаление, что так мало гостья пробудет в его доме,— он желал бы видеть ее у себя подольше, но даже если бы ее пребывание длилось не более часа, она должна согласиться на его предложение, сделанное от всей души. Руфине только того и надо было — она сказала, что не хочет прослыть невежливой или неблагодарной, а потому принимает великодушное предложение хозяина; после чего она поднялась наверх, и вела ее под руку садовница, дивясь и радуясь внезапной перемене в поведении Маркины, столь несвойственном его жесткому нраву.

В верхних комнатах Руфина увидела дорогие летние занавеси, красивые кресла, обитые сафьяном из Московии, резные поставцы и столы из черного дерева и слоновой кости — хотя Маркина был скрягой, но на дорогую обстановку не скупился; хозяин тотчас дал денег невольнику и послал его купить припасов для роскошного обеда; тот проворно исполнил приказ, понимая, что и ему будет выгода от этой необычной щедрости.

Руфина села обедать вместе с Маркиной, который заботливо

ее потчевал, подкладывая лакомые куски с великим удовольствием и не меньшей нежностью, ибо сердце его было уже пленено. После обеда он повел гостью в покой, где на стенах висели превосходные картины и стояла кровать с пологом из индийской ткани,— он, мол, просит ее здесь отдохнуть и забыть обо всех невзгодах, ибо пока она в доме у него, покорного ее слуги, все будет хорошо, и ей нечего страшиться тех неприятностей, каких она опасалась. Руфина еще раз поблагодарила за любезность и, последовав совету Маркины, осталась одна в покое, служившем прежде спальней ему самому; Маркина же спустился в нижние комнаты и провел там сьесту в тревоге и волнении — страдая от любви к своей гостье и не зная, как завоевать ее сердце, он говорил себе, что ежели бы это произошло, он был бы счастливейшим человеком в мире.

Но прежде чем завести речь о своих чувствах, он решил узнать, какая печаль ее гнетет, что́ привело в его усадьбу и нет ли тут каких-либо препятствий, которые могут помешать исполнению его желаний; чтобы выведать это, он подождал, пока гостья проснется; Руфина же вовсе не спала, а все время, лежа в кровати, обдумывала, как ответит на вопрос, что́ привело ее сюда. Дождавшись часа, когда гостья, по его мнению, должна была проснуться, скупец Маркина вошел в ее комнату — он-де умоляет извинить за непрошеный совет, но вечером спать вредно, и он напоминает гостье об этом, заботясь о ее добром здравии. Руфина поблагодарила за внимание к ее особе — как легла в постель, она, увы, не сомкнула глаз, горести не дают ей ни на миг успокоиться или развлечься. Маркина стал нежно ее упрашивать поведать ему об этих горестях, ежели причина их может быть открыта,— он сделает все, что в его силах, чтобы ей помочь. Руфина опять поблагодарила за великодушие и, смекнув, что настало время приступить к плетению хитрых своих сетей, уселась рядышком с влюбленным скрягой и начала так:

— Родина моя — Гранада, славнейший град нашей Испании; родители, имя коих я вынуждена умолчать, происходят из двух древнейших и благороднейших фамилий, владевших в горах Бургоса поместьями; детей у них было всего двое — брат и я; брат, отдавая дань увлечениям юности, волочился за женщинами и был окружен друзьями-сверстниками — праздность и погоня за утехами побуждают юношей ко всяческим проказам, и брату моему, отличившемуся в озорстве, пришлось бежать из Гранады — от правосудия и грозившей ему кары; я же думала лишь о том, чтобы утешить престарелых родителей и исполнять свою работу по хозяйству, чуждаясь развлечений, коим предавались мои подруги, и с отвращением слушая их болтовню о всяких там поклонниках,— я-то ничего не знала о любви, никогда не сидела у окна,

чтобы показывать себя людям, и все россказни подружек об их амурных делах вызывали у меня только смех; Амур, видимо, вознамерился отомстить мне за насмешки над подругами, и прежестоко; однажды, когда родители отлучились из дому, отправившись к родственнику, у которого умерла жена, я услыхала на улице стук шпаг, словно там происходил поединок, и приблизилась к окну посмотреть, что случилось,— о, лучше б вовек этого не знать, столько бед и слез принесло мне мое любопытство! Я, на свое горе, увидала трех человек, нападавших на одного, который храбро и доблестно защищался,— не сходя с места, успешно отражал удары противников и даже, нападая, сумел двоих ранить в голову, но сам тоже был ранен; те трое, взбешенные его отвагой, решили прикончить храбреца, выдерживавшего столь неравный бой, и, разъяренные неудачей, стали теснить его, так что ему пришлось отступать к дверям нашего дома,— там они нанесли ему две раны в грудь, и он, почти уже не дыша, упал в сенях. Сострадание объяло меня при виде столь жестокого и бесчестного нападения на храброго юношу, я спустилась в сени и позвала служанок, чтобы помогли привести его в чувство,— улица была в этот час почти пуста, несколько человек, прибежавших на мой крик, не имели при себе оружия и не могли справиться с насильниками; мы заперли двери и, занеся раненого в комнаты, тотчас послали за хирургом, чтобы тот занялся лечением ран. Хирург явился не мешкая, велел уложить юношу в кровать, и я распорядилась отнести его в спальню моего брата, находившуюся на первом этаже. Юноша не знал, как благодарить меня за участие, которое началось с сострадания, а завершилось любовью; хирург осмотрел раны, и хотя не мог сказать ничего определенного, на всякий случай объявил, что раны опасные, чем поверг меня в тревогу,— храбрость, выказанная юношей во время поединка, склонила к нему мое сердце, он же благодарил меня за доброту трогательными словами, насколько позволяла ему слабость, наступившая от потери крови.

Явились мои родители, исполнив долг соболезнования,— еще подходя к дому, они узнали от соседа, человека пожилого и достойного, о происшествии и о том, как я, опасаясь, что юношу могут убить, положила конец драке, решившись оставить раненого у нас в доме; сердобольный мой поступок в столь трудную минуту доставил радость им и тому идальго, не менее, чем они, великодушному и склонному к благим делам.

Пошли взглянуть на раненого, его несчастье вызвало у всех жалость, стали его подбадривать и предлагать остаться у нас в доме, а меня похвалили за то, что я предотвратила убийство,— слыша такие речи, я удвоила заботы о больном, и это, увы, обошлось мне очень дорого.

Во второе посещение хирург сказал, что раны не смертельны,— все обрадовались, особенно я, чья любовь разгоралась с каждым днем. Всякую свободную минутку я спешила, тайком от родителей, навестить раненого, чему он бывал рад несказанно.

Родом этот идальго был из Памплоны, принадлежал к высшей знати города; в Гранаду же приехал ради тяжбы с одним влиятельным человеком, который, зная свою неправоту и предвидя неизбежность сурового приговора, вынес своему противнику еще более суровый,— подослал, чтобы убить его, трех своих слуг, надеясь таким образом избавиться от тяжбы. Прошел месяц неусыпных наших забот и услуг, и Леонардо — так звали раненого — встал с постели. Уже на второй день ему удалось встретиться со мной наедине, так как моя мать ушла в гости, а я отказалась ее сопровождать в надежде на это свидание. Леонардо объяснился мне, я не осталась равнодушной, и с того дня меж нами двумя воцарилась любовь. Незадолго до этого родители вели переговоры о моем браке с неким идальго из нашего города, который воспылал ко мне страстью и, когда моя страсть обратилась к другому предмету, стал еще настойчивей в своих домогательствах. Леонардо, узнав об этом, заметно огорчился; он, однако, не мог располагать собою до завершения тяжбы, о чем знали мои родители; решение суда ожидалось со дня на день, и Леонардо собирался, как только оно будет вынесено, просить моей руки. Я же тем временем убеждала отца отложить переговоры о моем браке с прежним искателем.

Но вот Леонардо вполне поправился; сердечно благодаря за гостеприимство, он осыпал нас подарками — дорогими лакомствами и ценными вещами,— вернулся в гостиницу и принялся хлопотать о скорейшем окончании своего дела; для меня же дело обернулось совсем худо — отец, ничего мне не сообщая, договорился о браке и подписал условия брачного контракта. Лишь тогда известил он меня о своем шаге, и горестная весть эта пронзила мне сердце. Явился с визитом жених, я встретила его холодно, не скрывая неудовольствия, и он ушел, затаив злобу, из дома, где надеялся встретить нежный прием.

Человек он был неглупый и понял, что причина моей холодности — не только девичья стыдливость; о пребывании раненого в нашем доме он знал и заподозрил, что виновник всего — не кто иной, как Леонардо, успевший раньше его завоевать мое сердце; охваченный ревнивой яростью, он решил тщательно проверить свою, вполне верную, догадку, чтобы не сделать опрометчивого шага,— когда бы все так себя вели, не было бы несчастливых браков, в которые вступают, любя другого.

Я была в полном смятении, и, когда сообщила Леонардо, он сильно опечалился. В тот же вечер он, как обычно, явился на сви-

данье, и мы договорились, что завтра вечером я уйду из родительского дома и Леонардо отведет меня к своей родственнице, чтобы утром мы смогли обручиться у викария. Настал желанный — и столь злосчастный для меня — час, я вышла из дому, возлюбленный ждал меня и повел по улице, но, завернув за угол, мы столкнулись лицом к лицу с моим женихом — подобно Аргусу, он все вечера проводил на страже, чтобы убедиться в своих подозрениях, подтвердившихся более, чем он желал бы; при нем было двое слуг, и, узнав нас, все они накинулись на Леонардо, который этого никак не ожидал; он даже не успел обнажить свою шпагу, как три шпаги противников пронзили ему грудь, нанесли три смертельные раны, и он упал на месте бездыханный, не произнеся ни слова. На шум стычки прибежали из соседних домов люди со свечами, и нападавшие, боясь, что их узнают, поспешили скрыться. В нашем доме уже поднялся переполох, отсутствие мое было замечено; убитая горем, я, услыхав об этом, страшно перепугалась и не нашла лучшего выхода, как сбросить чапины, подобрать юбку и со всех ног побежать к одному знакомому отца, человеку пожилому и бедному, которому я рассказала о печальном происшествии и объяснила, что мне необходимо покинуть Гранаду; старик посадил меня на круп своей лошади, мы добрались до ближайшего селения, где нашелся для меня осел; так доехали мы до вашей усадьбы, спасаясь от альгвасилов и от моего отца, которые, как мы по дороге узнали, отправились за мной в погоню. В Севилью заезжать я побоялась, ведь у ее ворот нас могли поджидать преследователи; это и привело меня в вашу усадьбу, где, лишь по моей настойчивой просьбе, садовник согласился дать мне ночлег.

Такова история вашей несчастной гостьи, для которой единственное в горестях утешение — радушный прием, вами оказанный. Награди вас бог за это благодеяние — есть ли на свете большее, чем помощь беззащитным и гонимым злою судьбой!

Рассказывая свою вымышленную и тщательно обдуманную историю, Руфина заливалась слезами, а простак Маркина, поверив всему, тоже прослезился — любовь, которую плутовка стремилась пробудить, уже завладела его сердцем. Утирая притворные слезы, Руфина из-под платка украдкой наблюдала за Маркиной; убедившись, что он тронут ее горем и вполне поверил лживому рассказу, она в душе ликовала.

Так и сидели они — Руфина рыдала, а Маркина ее утешал, хотя еще не вполне решился помочь ей — трудно было ему совладать со своей скупостью и позволить щедрости изгнать ее прочь из его сердца; глядя, однако, на прелестное лицо Руфины, на ее отчаяние и думая, как внезапно она появилась в его доме, он решил, что сами небеса послали Руфину ему на радость.

Маркина впервые влюбился, а первая любовная страсть всегда приносит человеку столько неожиданностей, сколько ему уже не испытать в течение всей жизни. Маркина влюблен? Стало быть, он станет щедрым. Он принял гостью? Не миновать ему неприятностей. О любовь, сладостная мука, чаровница мира, безумие мужчин,— какие только превращения ты не свершаешь в них, какой нрав не изменишь, какой замысел не разобьешь, какой покой не нарушишь, какое сердце не встревожишь? Даже сердце этого скопидома, всегда жестокосердого к своим ближним, любовь словно подменила — из скупого он стал щедрым, из Мидаса — Александром; Руфина понравилась ему, он ее полюбил, и вот она владычица его чувств и имущества.

Многое в повести Руфины могло бы возбудить сомнение в ее правдивости, когда бы любовь, владевшая Маркиной, не ослепляла его и не притупляла слух, чтобы он не учуял обмана; ведь если Леонардо говорил с отцом Руфины о своей любви, ясно, что отец не поступил бы так жестоко и не отказал бы ему, имевшему, не в пример другому искателю, то преимущество, что был любим Руфиной; были там и другие подробности, которых хитроумная Руфина не продумала, и они могли бы повредить ее затее; но довольно того, что она рассказывала свою повесть влюбленному, и он готов был поверить вещам еще менее правдоподобным.

Руфина добилась своего — после ее рассказа, обильно уснащенного слезами,— Маркина с жаром предложил ей свое покровительство, достояние, жизнь и сердце, все повергая к ее стопам и умоляя забыть о прошлом горе,— в его, мол, доме все будут стремиться лишь служить ей и угождать. На столь благородные речи Руфина ответила новыми слезами — глаза у нее были на мокром месте, как у большинства женщин, когда им это нужно,— и стала безраздельной владычицей помыслов Маркины и имущества, могла казнить и миловать его по своему усмотрению. Влюбленный Маркина мечтал очутиться в объятиях красотки; если она станет противиться, пустить в ход подарки и посулы — надежное оружие влюбленных; но если и это не сломит ее упорства, был готов завести речь о браке — слово сие, подобно плащу, служит для женщин благопристойным покровом, но порой оно оказывается с браком, так что становятся видны изъяны их добродетели. О видах Руфины мы уже говорили — шпагой коварства она стремилась нанести скупцу рану в сердце, распалить его, но не углубляться ни в какие опасные дебри; правда, посулы и предложения Маркины о браке она не стала бы отвергать — она сама могла обещать что угодно, но после проделки Роберто не спешила обещания исполнять, если не видела в том верной выгоды.

Весь этот день Маркина провел в усадьбе, даже не поехал по

своим делам; но на другое утро, когда гостья еще спала, он сел на мула и в сопровождении негра отправился на биржу, наказав экономке подать гостье завтрак, когда та проснется, и смотреть за домом; комнату, где хранились деньги, он запер на замок и, сойдя вниз, распорядился, чтобы садовник никого не впускал в усадьбу, кроме человека, приехавшего с Теодорой,— так себя назвала плутовка Руфина; затем Маркина отправился в город и там, дав негру деньги, послал его купить припасов для роскошного обеда.

Руфина тем временем встала, и экономка, исполняя приказ хозяина, попотчевала ее вкусным завтраком, сделав это весьма охотно, так как расточительность хозяина была всей челяди на пользу; гостья сошла в сад; гуляя, она хвалила расположение аллей и приятный вид насаждений — садовник, в своем деле весьма искусный, содержал сад в отменном порядке и украсил его множеством фруктовых деревьев, редкостных цветов и трав. Когда солнце начало припекать, Руфина вернулась в дом; там она увидала гитару, принадлежавшую помощнику Маркины, любителю музыки; будучи сама мастерицей играть и петь, взяла в руки гитару, настроила ее и принялась перебирать струны, извлекая из инструмента приятные аккорды. За этим занятием застал ее Маркина, приехав из города, и убедился, что еще не все чары гостьи были ему известны; она же, слыша, что он приехал и стоит под дверями, спела, чтоб его раздразнить, такой романс:

Раз Клоринда вышла в сад
И затмила луч Авроры,
Чтобы ожили цветы
И запели птичек хоры.
Видя свет ее двух солнц,
Солнца луч утратил резвость:
Там светить, где так светло,—
Непростительная дерзость.
Волны Бетиса тотчас
Обратилися в зерцало,
Чтобы это божество
Их недвижность отражала.
Прелести ее затмить
Тысячи красавиц тщились,
Но изящество с красой
Лишь в Клоринде воплотились!
Совершенство оценив,
Дамы молча и смиренно
Все, робея, пали ниц
Пред красою несравненной.
Эти чары, этот ум
Вызывают, пуще славясь,
Восхищенье пастушков
И пастушек злую зависть.

И слагает гимны сей
Красоте Фенисо юный,
И без устали звенят
Мелодические струны.

Так Клоринда всех пленяет и в полон берет,
Но для всех неволя эта сладостней свобод [1].

На последних словах она сделала нежные рулады и взяла несколько особо звучных аккордов — Маркине почудилось, что не человеческий голос он слышит, а небесный хор ангелов, донесшийся до грешной земли; он подождал, не будет ли пенье продолжено, но Руфина отложила гитару, и он вступил в комнату со словами:

— Благословен день, час и миг, когда глаза мои, осматривая дом, узрели вас, прелестная Теодора, ибо счастливый сей случай позволил мне узнать столь совершенное и полное прелестей создание. Ныне мое жилище могло бы возгордиться пред небесами — его почтил ангел, в нем обитает и его озаряет божество; никакими словами не передать сжигающую меня страсть, но если б я мог достойно выразить ее и свое восхищение вами, о несравненная, Цицерон и Демосфен со всем их красноречием были бы посрамлены.

— О, что вы, сеньор,— молвила Теодора, изображая смущенье,— я-то знаю себя и понимаю, что эти похвалы чрезмерны для столь ничтожного и жалкого предмета; догадайся я, что вы меня слушаете, я прекратила бы пенье, ибо тому, кто слыхал знаменитых певцов этого огромного города, мой голос никак не может понравиться; впрочем, людям благородным свойственно поощрять недостойных и одарять их незаслуженными почестями.

— Довольно говорить любезности,— возразил, пылая любовью, Маркина,— я готов повторить все, что сказал, и уверяю вас, сеньора Теодора, что хоть мне приходилось слышать божественные голоса севильских певцов, ваш голос может соперничать с ними всеми и наверняка одержит победу.

— Целую ваши руки за такую похвалу,— сказала Руфина,— я счастлива это слышать и желала бы одного — чтобы мое горе не помешало мне и впредь доставлять вам приятность игрой на этом инструменте; оно, однако, упорно гнетет мою душу, и сейчас я взяла гитару лишь затем, чтобы попробовать, не сумеет ли она отогнать воспоминание о былых бедах.

— В моем доме,— сказал Маркина,— всем им придет конец; взгляните, с какой радостью и любовью я служу вам, и вознаградите меня за это повеселевшим взором.

---

[1] Здесь и далее в этом романе перевод стихов — Л. Темина.

— Ценю ваше благородное намерение,— сказала Руфина,— украшенное столь щедро делами, и постараюсь, насколько смогу, исполнить ваш приказ; не знаю, однако, удастся ли это,— ведь даже тот, кто привез меня сюда, уж третий день не является и, верно, забыл обо мне.

— Не тревожьтесь,— сказал влюбленный старик,— ему, скорей всего, мешают вас навестить какие-то важные причины.

— Подозреваю,— сказала Руфина,— что он вернулся в Гранаду, убоявшись, как бы его не сочли сообщником в моем бегстве, и ежели это так, я пропала — он унес с собою то немногое, что было у меня.

— Не предавайтесь грусти,— сказал Маркина,— жалость вряд ли ему позволит сбежать и покинуть вас в одиночестве и горе; но пусть все вас покинут, не покину я, ибо люблю вас так пылко, что сам себя не узнаю.

И тут Маркина сгоряча выложил гостье все о своих чувствах к ней. Она же, притворяясь, будто не понимает, что речь идет о браке, поблагодарила лишь за участие и намерение оказать ей покровительство. Время было обеденное, стол уже накрыли, и оба они сели подкрепиться, причем Маркина потчевал даму самыми редкими и отборными яствами — где воцарится любовь, там нет места скупости, даже Маркина стал щедрым.

С Гараем Руфина условилась, чтобы он, когда ее обожателя не будет дома, приходил повидаться с ней под видом нищего, в лохмотьях, не вызывающих подозрений. Сама она тем временем выведывала, каким способом удобней ограбить скаредного Маркину, однако комната, где хранились его деньги, была так неприступна, что Руфину не раз брало отчаяние. Прошло еще три дня, Гарай все не появлялся, и Руфина ходила хмурая, что весьма тревожило Маркину,— он робел и не решался снова заговорить о своей любви; за эти дни Руфина высмотрела, где старик хранит ключи от сундуков, и изучила расположение комнат в доме, что ей могло сгодиться для ее замысла.

Перед заходом солнца, когда Маркина еще не вернулся, сидела Руфина у окна, смотревшего в сторону Севильи, и приметила, что к усадьбе ковыляет на двух костылях Гарай в обличье нищего; Руфина была не одна, а с садовницей, поэтому он лишь попросил у нее милостыни; бросив ему монеты через окно, она спросила, откуда он идет. Гарай ответил, что из Гранады; тогда Руфина, изобразив радостное удивление, сказала садовнице:

— Ах, дорогая, прошу вас, спустимся вниз, мне так хочется поболтать с этим нищим — ведь он недавно был у меня на родине.

Садовница не стала спорить, обе они, спустившись вниз, подошли к воротам, и Руфина, приказав мнимому нищему войти во

двор, спросила, как давно он покинул Гранаду. Тот ответил, что, мол, уже дней десять. Тогда Руфина стала задавать ему весьма пространные и обстоятельные вопросы, и садовница, соскучившись, вернулась в дом хлопотать по хозяйству; сообщники только этого ждали, для того-то Руфина и тянула свои расспросы. Обрадовавшись, что садовница ушла, они вдвоем обсудили, как исполнят то, о чем вы услышите дальше,— это был настоящий заговор против Маркины, мишени, в которую целили оба, готовя ему погибель. На том Руфина рассталась с Гараем и взошла в дом, садовнице она сказала, что узнала от нищего много важных новостей, и они, мол, заставляют ее торопиться с возвращением на родину; та приняла ее слова с неудовольствием, равно как и экономка Маркины, которой тоже сообщили об этом; обе они опасались, что с отъездом гостьи, побуждавшей их хозяина к щедрости, им вновь овладеет прежняя скаредность,— тогда прощай привольная жизнь для челяди.

Явился Маркина, этим вечером его дама глядела веселей, чем прежде, и он осмелился заговорить более пространно о любовных своих муках и желаньях; Руфина слушала милостиво, была нежней обычного, даже вселила в него некоторые надежды, и влюбленный старик уверился, что крепость вскоре будет завоевана; дабы ускорить любовную победу, он подарил в этот вечер гостье нарочно для нее купленный перстень с брильянтом, стоившим не менее пятидесяти эскудо и окруженным мелкими рубинами. Дама рассыпалась в благодарностях и хотела было на радостях потешить Маркину пением романсов, но затем сказала, что гитара, мол, дрянная, прямо в руки брать не хочется; тогда Маркина пообещал на другой день привезти арфу — Руфина и на арфе была мастерица играть. Удалились на покой, каждый со своими мыслями,— Маркина, мечтавший о благосклонности Руфины, обдумывал, как он добьется этого подарками, ибо знал, что дары ускоряют любое дело; Руфина же прикидывала, как бы побыстрей совершить кражу.

На следующий день Гарай, человек искушенный в воровских хитростях, подобрал себе дружков, также мастеров своего дела; они следили за Маркиной весь вечер, дожидаясь, когда он уляжется, что на сей раз он сделал позже обычного, ибо Руфина нарочно занимала его своим пеньем. Около полуночи Гарай с товарищами притащили к усадьбе соломенное чучело, накрытое плащом, и поставили его стоймя, против окна спальни Маркины. Чучело подперли жердью, чтобы потверже стояло. Ночь была темная, для грабителей самая подходящая. Поставив чучело, они принялись громко стучать в ворота, по всей усадьбе пошел грохот и разбудил Маркину, заснувшего первым сном; он проснулся

в тревоге, странным показалось ему, что в такой час кто-то ломится в усадьбу, чего раньше не случалось ни разу,— все знали, какой он нелюдим, и по ночам его никто не навещал; Маркина кликнул слугу, велел посмотреть, кто стучится в ворота; полусонный слуга пошел к воротам и стал спрашивать, кто там, но ответа не было; не заметив чучела, стоявшего у ограды, слуга возвратился в дом и доложил хозяину, что никого не видать. Маркина немного успокоился, но покой был недолгим — Гарай, зачинщик всей проделки, принялся стучать еще громче. Сильно встревожившись, Маркина приказал слуге еще раз взглянуть, кто стучит; однако и на сей раз никто на вопрос слуги не ответил, и он снова принес эту весть хозяину — тот в сердцах накинул плащ прямо на голое тело, стал у окна и закричал:

— Кто это стучится ко мне в такой час?

Но и ему не ответили, тогда Маркина, оглядев местность более внимательно, чем слуга, заметил чучело — стоя неподвижно, оно было главным действующим лицом проделки, предметом которой был Маркина. Страх объял Маркину, когда он увидел, что, сколько он ни кричит, незнакомец не отвечает, и, черпая силы в слабости, он громко сказал:

— Сеньор любезник, ежели вы решили ломать комедию от праздности и по юношескому недоумию, я этого не потерплю; добром прошу вас убираться прочь и не тревожить наш покой, не то вам придется бежать по севильской дороге так быстро, как вам и не снилось,— ежели вздумаете еще раз меня беспокоить, я буду стрелять.

С этими словами он закрыл окно и направился к кровати, но едва улегся, как раздался еще более громкий и отчаянный стук. Тогда Маркина схватил заряженный мушкет, всегда стоявший наготове для охраны и защиты его скарба, и опять подошел к окну; увидав на том же месте фигуру, которая сама, разумеется, не могла сдвинуться, он сказал:

— Какая наглость — без нужды и причины нарушать мой сон! Неучтивость ваша переходит всякие границы и достойна столь же неучтивой отповеди; убирайтесь прочь от моего дома, кто бы вы ни были, ежели не хотите, чтобы я прогнал вас силой, грубиян этакий!

Тут Маркина взвел курок мушкета и прицелился. Видя, однако, что его угрозы не вызывают у безмолвной фигуры ни малейшего страха, он подумал, что незнакомец, делая вид, будто не боится его мушкета, попросту над ним насмехается; он потребовал в третий раз, чтобы его не вынуждали к крайности, но все увещания были бесполезны, и Маркина решился выстрелить, причем не в воздух, не для устрашения, а прямо в наглеца; хорошенько

прицелившись, он метким выстрелом всадил две пули в соломенное чучело, и оно рухнуло наземь.

Гарай следил за всем этим, не спуская глаз и настороженно прислушиваясь; как только произошло то, чего он ждал, и сраженное выстрелом чучело упало, он жалобно простонал: «Ах, меня убили!» И тотчас же он сам и его товарищи начали кричать, будто возмущаясь такой жестокостью. Маркина был до смерти напуган своим поступком — скряги всегда трусливы и пуще всего боятся, как бы не пострадало их имущество. Он закрыл окно и пошел будить Руфину (это было нетрудно, она, конечно, не спала, с нетерпением ожидая, удастся ли ее затея). Сильно встревоженный, Маркина рассказал ей о своем выстреле; она прикинулась огорченной и стала выговаривать ему за столь безрассудную решимость — ежели он, мол, знал, что это шутка и что у себя дома он в безопасности, можно было выказать чуточку терпения, пусть бы себе стучали в ворота, сколько хотят, лучше стерпеть небольшое беспокойство, нежели мучиться от страха и казниться, что совершил убийство. Много она ему наговорила, бедный Маркина совсем приуныл и напугался, сам не зная, что теперь делать. Руфина посоветовала ради его безопасности сейчас же укрыться в монастыре святого Бернарда — нет, мол, никаких сомнений, что, ежели утром найдут здесь убитого, Маркину схватят, ведь труп лежит у его усадьбы. Маркина проклинал час своего рождения, так убивался, такие глупости говорил, что когда бы Руфине не надо было притворяться, она бы хохотала во все горло. Бедняга поднял на ноги челядь, рассказал, что случилось, и все стали осуждать его за опрометчивость; старик едва не сошел с ума, он уже видел себя в руках правосудия, свои денежки в карманах блюстителей порядка и свою жизнь в смертельной опасности, если его подвергнут мучительным пыткам и он сознается в преступлении; он позабыл, что защищать себя и свое добро — естественное право каждого.

Весь этот переполох кончился тем, что Маркина и впрямь решил бежать в монастырь святого Бернарда, только сомневался, кому поручить свои деньги. Доверить слугам было страшновато, отнести кому-нибудь из друзей он бы уже не успел, да и друзей-то у него почти не было из-за противного характера. В большом смятенье он снова спросил совета у Руфины. Она же, с виду не менее огорченная и напуганная, чем он сам, прикинулась, будто не знает, что ему посоветовать, хотя в уме все уже рассчитала заранее и все ее расчеты сбылись; наконец она спросила, много ли у него денег. Маркина честно признался, что дома у него хранятся четыре тысячи дублонов да еще две тысячи серебряных двойных дукатов.

— Я бы вот что сделала,— молвила хитрая бабенка.— Груз слишком тяжел, и вам не удастся в этот час незаметно унести

деньги к друзьям, а потому заройте их в усадьбе, отметив место каким-нибудь знаком, чтобы смогли его отыскать; все это вам надлежит проделать собственноручно, чтобы не видел никто из слуг, иначе они, чего доброго, вас ограбят; я же не могу оставаться здесь, хотя, разумеется, сохранила бы ваш скарб в целости; но я боюсь, что если явятся блюстители правосудия, меня первую схватят, а я, лишь с трудом спасшись от опасности, не желала бы вновь ей подвергаться.

Как ни был удручен Маркина, он, слыша эти речи, расчувствовался, безмерно тронутый такой заботой о нем; бедняга уже не надеялся спастись и плакал горькими слезами. Руфина его подбадривала — ей надо было, чтобы задуманный план осуществился; собравшись с духом, Маркина приказал слугам разойтись по их комнатам и не выходить, сам же он и Руфина, которой он одной доверял, ибо по уши влюбился, отправились за деньгами. Хранились они в сундуке, окованном железными полосами и запиравшемся на такой хитроумный ключ, что ни подделать его, ни взломать замок было немыслимо, и добраться до денег можно было только тем способом, который изобрела Руфина и успешно применила. Монеты вынули, переложили золото в небольшой ларец и понесли в сад; там Маркина вырыл лопатой глубокую яму, дублоны были погребены, а рядом оставлено место для шести мешков с двумя тысячами серебряных дукатов; с великим трудом притащили и дукаты — Маркина-то был стар и немощен, а его помощница непривычна таскать на спине тяжести.

Когда все монеты были захоронены, на их могиле сделали знак, чтобы опознать это место, а свежеразрытую землю прикрыли травой, которую нарвали в саду; Маркина оставил только двести золотых эскудо, хранившихся в его конторке, да еще полсотни дал Руфине, чтобы где-нибудь припрятала, пока не уляжется переполох. Затем они поднялись в верхние комнаты и увидели оттуда, что вокруг усадьбы бродят люди с факелами,— то были Гарай и его приятели; они изображали блюстителей закона, как условился Гарай с Руфиной. Сказав старику, что вот-де уже за ним пришли, она предложила ему немедля покинуть усадьбу и бежать с нею вместе в монастырь. Им пришлось перелезть через ограду, ворота нельзя было отпирать — там уже стучались участники этой комедии, да так властно, будто и впрямь были служителями правосудия.

Все слуги Маркины удрали вслед за ним, перелезая через ограду,— им вовсе не хотелось угодить из-за него в тюрьму и пострадать безвинно за его грех, совершенный по злобе,— и к рассвету в усадьбе не осталось ни души. Маркина и его дама подождали в соседнем саду, пока станет совсем светло и отопрут ворота мона-

стыря святого Бернарда,— как только ворота открылись, оба поспешили спрятаться в монастырской церкви.

Гарай во все глаза наблюдал за усадьбой и видел, как сбежали из нее Маркина и его челядь. Часа через два после восхода солнца он, перерядившись студентом, зашел во двор монастыря; они условились, что Гарай будет приходить и сообщать, что делается вокруг, причем Руфина рассказала ему, где зарыты деньги; насчет их количества она, однако, солгала, упомянув лишь о мешках с серебром; ей хотелось утаить от него главную часть клада, золотые монеты, чтобы впредь не знать нужды, и она надеялась, что сможет, тайно от Гарая, взять золото себе.

Следующей ночью, после полуночи, Гарай и один из его товарищей помогли Руфине, переодетой в мужское платье, перелезть через ограду усадьбы, а сами остались снаружи на карауле. Хитрая красотка первым делом нашла спрятанную в саду лопату, откопала ларец с золотом и, снова забросав землей мешки с серебром, спрятала ларец в другом месте, чтобы не делиться всем сокровищем со своими сообщниками. Затем она позвала Гарая и его дружка, те выкопали серебро, взяли мешки на плечи и вместе с Руфиной отправились на постоялый двор вблизи Севильи; как только ее сообщники уснули, Руфина, все еще в мужском платье и с мужской отвагой в душе, поспешила за припрятанным золотом; нелегко ей было поднять такой груз, все же она оттащила ларец и возвратилась на постоялый двор, где ее отлучки никто не заметил.

Следующий день и еще два они провели там, затем Руфина, раздав своим сообщникам небольшое вознаграждение и зашив в два корсажа дублоны Маркины, покинула Севилью вместе с Гараем, не желавшим с нею расставаться, ибо он понимал, что в союзе с такой продувной особой сможет жить припеваючи. Направились они в Мадрид, но тут мы их оставим и взглянем, что поделывает укрывшийся в монастыре Маркина.

Скопидом Маркина сильно тревожился, что вот уже четыре дня прошло, как Руфина, которую он знал за Теодору, куда-то исчезла; наконец он попросил одного монаха, имевшего в Севилье знакомых, разузнать, какие меры приняты властями против него и что говорят об убийстве. Монах усердно взялся за дело, обошел всех, кто мог что-либо знать о происшествии, но никто не сумел ему ничего сообщить, о чем он и доложил Маркине; тот весьма обрадовался, что может без опасений покинуть свое убежище, однако, не полагаясь на уверения монаха, пошел ночью к одному близкому другу, рассказал о своих страхах, и тот взялся выяснить, как обстоит дело. Побывав в тех же местах, куда ходил монах, он также не обнаружил никаких тревожных признаков. Наведался он и в усадьбу, отпер ворота ключом, который дал Маркина, и убедился,

что там нет ни души, а мул его друга околел, так как некому было кормить беднягу. Обо всем этом он известил Маркину и сказал, что тот может покинуть монастырь и ходить куда вздумается; Маркина был очень доволен, что, потеряв всего лишь мула, вновь обрел безопасность и покой; огорчало его только, что Руфина не попыталась с ним увидеться,— сильно он ее полюбил; впрочем, он объяснял это тем, что она, из естественного для женщины страха, скрывается от правосудия. Он вернулся в усадьбу, вернулись туда и садовник с женой, и прочие слуги, которые все это время старались, как говорится, не мозолить людям глаза, пока не уляжется переполох, так сильно их напугавший.

В первый же вечер после возвращения в усадьбу Маркина, прежде чем отойти ко сну, решил перенести деньги обратно в сундук; вдвоем с садовником, который нес свечу, они спустились в сад и пошли в тот его конец, где были спрятаны ларец и мешки; однако знака, которым скупец и Руфина пометили зарытый клад, нигде не было видно, что сильно встревожило Маркину. Обыскали все вокруг, знака нет как нет — Руфина нарочно убрала его, чтобы помучить старика; много раз ходил он взад-вперед по тому месту, встревоженный и изумленный; в эту ночь ему так и не удалось найти знак, полярную звезду его помыслов, и алчный Маркина, едва не лишившись ума, метался как бесноватый. Садовник не знал, что ищет хозяин и зачем привел его сюда, поэтому безумное поведение старика очень его удивило. Наконец Маркина решил пока оставить поиски и в великом горе пошел спать, вернее, в муках бодрствовать всю ночь; но едва в щели окон забрезжила заря, он поднялся, позвал садовника, и они вместе пошли на то же место, где кружили ночью; Маркина снова принялся искать знак, старания его были так же безуспешны, как накануне, и он надумал перекопать весь участок; садовник исполнил наказ, но нашли они только две ямы, опустевшие могилы ларца и мешков; тут старый скопидом окончательно решился ума и, повалившись наземь, стал колотить себя по лицу, крича и корчась так, что жалость брала всех, кто его видел, а именно его слуг, которые прибежали на крик, узнав, что у хозяина пропали деньги; вскоре Маркина догадался, что деньги украдены по наущению Руфины, и послал искать ее по всей Севилье; плутовка, однако, успела скрыться из города, увезя с собой деньги алчного старика, копившего их, не зная ни сна, ни отдыха.

От горя Маркина на несколько дней слег, а в Севилье только и речи было что о покраже, причем многие ликовали, что такая кара постигла скопидома, не сумевшего, при всем своем богатстве, обзавестись друзьями.

КНИГА II

О дочери Трапасы, Кунице в охоте за кошельками

Завладев сокровищем алчного Маркины, Руфина не стала дожидаться, пока ее начнет, по просьбе ограбленного, разыскивать правосудие; наняв двух мулов, она и Гарай на другой же вечер отбыли в Кармону — город, отстоящий на полдня пути от Севильи,— заранее договорившись с возницей кареты, которая направлялась в Мадрид через Кармону, что там сядут, и оплатив два лучших места. В Кармоне они остановились в изрядной гостинице, где Руфина, скрываясь от посторонних глаз, решила ждать кареты и рассудить, что будет делать дальше, став обладательницей восьми тысяч эскудо в четверных и двойных дублонах, целого сокровища, которое жалкий скряга собирал монета в монету, отказывая себе в сне и в пище, странствуя по океанам и далеким, заморским краям; такая участь ждет всякого раба своих денег, одержимого алчностью; мало кто в Севилье не радовался, что Маркину ограбили, всем претила его жадность и скаредность — ведь он ни для кого и на медяк не раскошелился ни разу, не подал нищему милостыни даже ради собственного блага и во спасение души. Пусть же скупцы усвоят сей урок и поймут, что бог взыскал их богатством не для того, чтобы они делали из денег себе кумира, но чтобы помогали ближнему.

Вернемся к нашей Руфине, которая в Кармоне ждет карету, чтобы ехать в Мадрид; ей казалось, что столица — это mare magnum [1], где всем есть место и пропитание, и что она будет там благоденствовать, обладая такими деньгами, хоть и нечестно добытыми,— однако деньги, обманом приобретенные, редко идут на пользу.

И вот в Кармону прибыла долгожданная карета с шестью путниками — ибо дорожным каретам положено брать восьмерых, каковое правило иногда нарушается по алчности возницы, втискивающего еще двух ездоков.

В карете находились пожилой идальго с супругой, лисенсиат, два студента и слуга лисенсиата, малый лет пятнадцати. Путники знали, что в Кармоне к ним присоединятся Руфина с ее наставником Гараем, которые оплатили два лучших места; без лишних слов места эти освободили, однако Гарай как человек рассудительный не захотел прослыть невежей и уступил свое место слева от Руфины супруге идальго, а сам уселся рядом с ее мужем на переднем сиденье. Расположившись таким образом, они выехали из Кармоны в понедельник утром. Было это в начале сентября, когда в садах поспевают фрукты.

---

[1] Великий океан (*лат.*).

Все путники радовались приятному обществу, а Руфина и Гарай — изрядному капиталу, который похитили у простака Маркины; идальго был любитель поговорить, лисенсиат в отличном расположении духа, студенты весьма любезны — дорога проходила незаметно, беседовали о всякой всячине, и каждый старался блеснуть остроумием, особенно лисенсиат, рассказавший, что едет в столицу отдать в печать две сочиненные им книги, для чего надо получить там одобрение цензуры.

Идальго, по имени Ордоньес, полюбопытствовал, каково содержание книг; лисенсиат Монсальве — так его звали — ответил, что развлекательное, имеющее наибольший успех у публики, и что одна называется «Приятное путешествие», а другая «Цветы Геликона». Первая, сказал Монсальве, состоит из двенадцати назидательных новелл со стихами по ходу сюжета, а «Геликон» — это поэмы, написанные им, когда изучал право в Саламанке, и ежели соседи не возражают, он охотно прочтет что-нибудь из первой книги, чтобы скоротать время.

Руфина очень любила подобные книги и читала все, что в этом роде появлялось на свет; желая познакомиться со слогом лисенсиата Монсальве, она попросила его не отказать в любезности и прочитать одну из новелл — она, мол, уверена, что сочинение такого умного человека должно быть отлично задумано и еще лучше написано.

— Любезная сеньора,— отвечал Монсальве,— я пытался возможно более сообразоваться с тем, как пишут в наше время; в моей прозе нет выспренности, раздражающей читателей, нет и низменных выражений, действующих точно так же; сколько в моих силах, я стараюсь не быть многословным и избегать оскорбляющих слух пошлостей; я пишу тем же языком, каким разговариваю, ибо понимаю, что естественность более приятна читателям, нежели напыщенность и манерность; разумеется, писать книги в наше время — это великая дерзость, когда видишь вокруг столько блестящих талантов, производящих на свет великолепные и остроумнейшие творения, причем не только писателей-мужчин, искушенных в философии и античности, но также знатных дам — ведь в наши дни блистает и покоряет умы талант доньи Марии де Сайяс-и-Сотомайор, по праву называемой «Мадридская Сивилла» за превосходные стихи, изобретательность и тонкий ум; она уже напечатала книгу, содержащую десять новелл, вернее, десять чудес, коими неустанно восхищаются все, кто пишет в этом роде; отличный слог, искусно построенный сюжет и стихи, вставленные в эти новеллы,— все в целом столь великолепно, что повергает в уныние отважнейших сочинителей в Испании. В Мадриде с ней соперничает Ана Каро де Мальен; родом она из нашей Севильи

и достойна не меньших похвал; ее сладостные и совершенные стихи восхищают всех, кто их слышит или читает, пример тому сочиненные ею стихи на все дни карнавала, который праздновался в Буэн-Ретиро, новом дворце его величества и десятом чуде света; в них она с блеском и пышностью воспевает это празднество, что готовилось за много дней заранее, дабы доставить развлечение королевской чете.

Так говорил лисенсиат Монсальве, отыскивая в своем бауле книгу новелл; но вот он ее нашел и при благосклонном внимании всех ехавших в карете начал звучным и приятным голосом читать новеллу, дабы скрасить спутникам дорогу.

НОВЕЛЛА ПЕРВАЯ
КТО МНОГО ЖЕЛАЕТ, ВСЕ ПОТЕРЯЕТ

В Валенсии, знаменитом городе нашей Испании, отчизне знатнейших фамилий, средоточии прославленных талантов и усыпальнице святых праведников, родился и вырос некий дон Алехандро, благородный и доблестный юноша; уже двенадцати лет от роду он вместе с братом своего отца, получившим чин капитана, отправился во Фландрию и так отличился в тех краях, что после гибели дяди был возведен в его чин; прослужив у нашего католического монарха Филиппа Третьего двенадцать лет подряд, проведенных в сражениях против мятежных сих провинций, он за свои подвиги был почтен званием рыцаря ордена Сантьяго и крупным денежным пожалованием. Находясь в Антверпене в ту пору, когда из-за суровых холодов прекращаются военные действия, он получил известие, что отец его отдал последний долг природе, вследствие чего дон Алехандро как первенец в семье стал владельцем майората и, подобно многим другим кабальеро, мог бы вести роскошную и развратную жизнь; однако изнеживающая праздность была ему не по сердцу, и он предпочел жить среди опасностей войны, служа своему королю, нежели предаваться неге на родине и быть за это осуждаему,— об этом надлежало бы подумать всем, кто стремится лишь к привольной жизни и наслажденьям, пятнающим благородное звание.

Итак, узнав о кончине отца, дон Алехандро рассудил, что надо хоть ненадолго поехать в родной город и навести порядок в своих владениях; он попросил на то разрешения у светлейшего эрцгерцога Альберта, который, найдя причину уважительной, не отказал ему и осыпал весьма лестными хвалами за то, что дон Алехандро обещал поскорее вернуться и продолжать службу под его началом, меж тем как все вокруг думали, что теперь-то он покинет армию.

Дон Алехандро прибыл в Валенсию, где его с радостью встретили родные и друзья, и сразу же занялся приведением в порядок имущества, чуждаясь обычных для молодежи развлечений; хоть он был солдатом, но к игре интереса не питал — добродетель среди юношей в наши дни редкая и тем более похвальная; ведь страсть к игре приводит к весьма пагубным последствиям, как все мы о том знаем; в самой Валенсии случалось немало таких прискорбных происшествий.

Также и амурные похождения не привлекали дона Алехандро, хотя другой на его месте не упустил бы случая и затеял бы интрижку в этом городе, славящемся своими красавицами. Единственно чем увлекался наш кабальеро, так это верховой ездой — натерпелись от него лиха купленные в Андалусии лошади необычайной красоты и резвости; с ними он выезжал на бой быков метнуть разок-другой копье и прослыл лучшим тореро в Испании.

В Валенсии существует обычай в первые дни весны всей семьей выезжать из города в живописные усадьбы, где в эту пору мотают шелк,— занятие это длится весь апрель и половину мая. Однажды дон Алехандро выехал в такое время верхом за город на прогулку по восхитительной валенсийской Уэрте и направился в окрестности монастыря Божьей матери Утешительницы; всю вторую половину дня разъезжал он среди приветных садов, наслаждаясь нежным ароматом цветущих апельсиновых деревьев, в изобилии произрастающих на плодородных землях, и когда солнце уже расставалось с валенсийским небом, приблизился к усадьбе, омываемой зеркальными водами Турии, и услыхал доносившиеся из дома звуки арфы, на которой играли с поразительным искусством. Дон Алехандро подумал, что, наверно, сейчас последует пение; он остановил лошадь и прождал довольно долго, но игравшая на арфе увлеклась затейливыми вариациями и не спешила украсить звучанье струн звуками своего голоса. Между тем стемнело, и дон Алехандро, плененный красотою места, поручил свою лошадь слуге и, велев ему отвести ее в сторону, остался один под увитым зеленью балконом, надеясь увидать ту, что играла на арфе; немного времени прошло, и она, сделав паузу в вариациях, вышла из комнат и села на табурет в левом углу балкона, отражавшегося в кристальной реке; дон Алехандро увидел даму и ее арфу, и она, наслаждаясь прохладным вечерним ветерком, возобновила свою чарующую музыку. Наконец, проиграв различные вариации, дама нежным и звучным голосом запела:

Цветы свой сладостный привет
Шлют Турии, из вод которой,
Вся розовея, к пастухам
Выходит поутру Аврора.

Пернатой стайкою кифар
Все пташки с самого рассвета
Согласным хором ей поют
Свои веселые мотеты.
Вокруг сплетаются, виясь,
Ручьев серебряные змеи,
Но в благодатных сих местах
Они журчат, ворчать не смея,
Когда Белиса, истомясь,
Здесь ищет от тревог покоя,
Когда поет, касаясь струн
Своей лилейною рукою:

В разлучницу-чужбину
Летите, ветерки,
Шепните господину
Слова моей тоски.

Уехал он — и муки мои столь велики!
Но жду его я стойко — до гробовой доски.

Приятность ее голоса и искусство в игре на арфе поразили дона Алехандро, ему хотелось, чтоб она пела еще и еще, он не мог с места сдвинуться. Дама, однако, отошла от инструмента и, перегнувшись через балконную решетку, вдруг заметила в темноте глядящего на балкон мужчину. Кабальеро, боясь упустить благоприятный случай, поспешил подойти как можно ближе и молвил:

— Поистине счастлив тот отсутствующий, о чьем отсутствии поет, скорбя, столь дивный голос! Как хотел бы я знать его имя, дабы обрадовать его вестью о счастье, которого он удостоился!

Дама, неожиданно услыхав такие речи, видимо, слегка испугалась, однако тотчас овладела собой и, хоть не знала, с кем говорит, ответила:

— Я пела эту песню отнюдь не потому, что скорблю о чьем-то отсутствии, и вам не придется извещать кого бы то ни было о счастье, выпавшем на его долю.

— Могу ли я вам поверить,— молвил дон Алехандро,— когда тоскливое эхо в ваших устах выдает страсть, томящую сердце?

— Неужели для вас важно, есть ли эта страсть?—сказала она.

— Важно, и весьма,— сказал он.— Волшебство голоса вашего столь сильно, что я, лишь услыхав его, пленен и в тревоге жажду утешения, дабы мог безбоязненно отдаться своему чувству.

На эти слова дона Алехандро дама рассмеялась и сказала:

— Правильно поступают те женщины, которые не верят льстивым речам мужчин,— ведь правды от вас никогда не услышишь.

— Почему вы полагаете, что все мужчины говорят неправду? — спросил дон Алехандро.

— Ежели они, подобно вам,— отвечала она,— едва увидав женщину, превозносят ее прелести, то как можно им верить? Вы утверждаете, будто мой голос — это волшебство, чтобы я сильней почувствовала, как дурно пою; ведь самый учтивый человек с трудом прослушает три куплета подряд в моем исполнении.

— Не скромничайте и не клевещите на мою правдивость, именуя ее по-другому; голос ваш необычен, чувство, с которым вы пели, столь же необычно и, я думаю, вызвано причиной, изложенной в романсе; для совершенства в нем не хватает только ревности — но, возможно, вы вполне уверены в постоянстве вашего предмета.

Дама, подумав, что незнакомец, наверно, имеет основания для таких загадочных речей, устроилась поудобней, чтобы продолжить беседу с доном Алехандро, и сказала:

— Ежели в восхвалениях моих чар столько же истины, сколько в подозрениях ваших, одного этого довольно, чтобы назвать вас записным льстецом; умоляю, ради моего спокойствия, не приписывайте минутную меланхолию глупой девушки тоске по отсутствующему — в жизни я ни по ком не тосковала и тосковать не намерена.

— За то, чтобы ваши слова были правдой,— сказал он,— я отдал бы все, чем владею.

— А это много? — спросила она.

— Совсем мало,— ответил он,— если подумаешь, ради кого я готов это отдать; но, будь я владыкой мира, я точно так же отдал бы все и считал бы себя не в убытке.

— Ну, видно, у меня нынче счастливый день,— молвила дама,— столько похвал слышу я, что они могли бы вскружить мне голову, поверь я хоть на миг, что в меня можно влюбиться, не видя даже лица; ручаюсь, когда взглянете на него днем, вы уже не будете с таким пылом восхвалять меня.

— Судя по тому, что услышал,— сказал он,— я убежден, что не ошибаюсь и что особа с таким совершенным голосом должна обладать и всеми прочими совершенствами, которые злобно скрывает от меня ночной мрак. Я не привожу сравнений с молнией, с зарей и прочими вещами, что в ходу у мужчин, скорых на льстивые и напускные чувства,— поэтому можете поверить, что я начинаю любить вас всерьез.

— Что ж, я готова начать вам верить, ежели скажете, кто вы,— молвила она.

— Сперва я хочу доказать любовь своим усердием,— возразил он,— дабы оно восполнило недостаток знатности.

— Ваша неуверенность в себе,— молвила она,— убеждает меня, что вы — человек достойный. Однако прошу извинить, меня зовут, я должна идти в гости и, чтобы меня здесь не застали, вынуждена удалиться.

— Будет ли вам угодно,— сказал дон Алехандро,— выйти завтра на это место в этот же час?

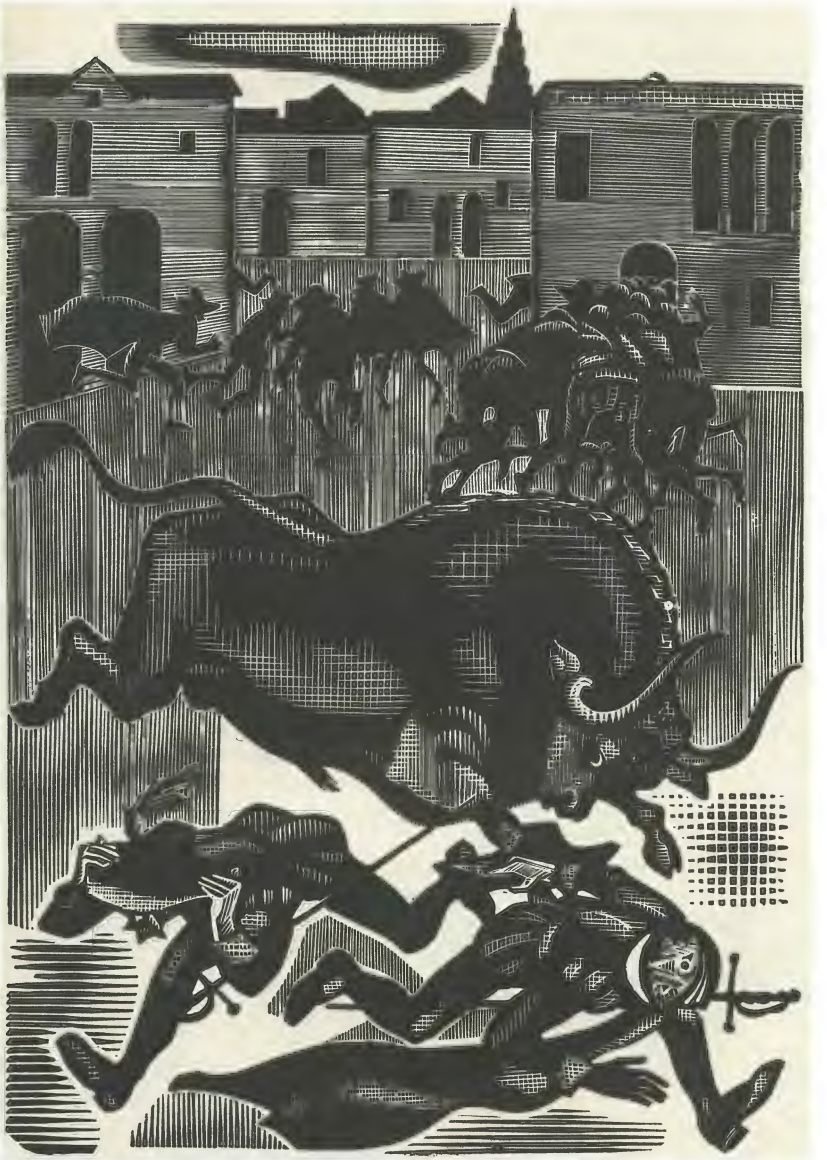
— Не знаю, смогу ли,— отвечала она,— но вы приходите — коль я и не выйду, вам зачтется.

— Я буду стоять на этом месте,— ответствовал уже изрядно влюбленный дон Алехандро,— недвижим, как столпы, что держат небосвод, вас осеняющий.

— Громкие фразы ваши наводят на размышления,— молвила она.— Придете в другой раз, не щеголяйте гиперболами, я не охотница их выслушивать — кто ими злоупотребляет, всегда кажется мне неискренним, ибо я знаю, сколь ничтожны мои достоинства.

С этими словами она сделала глубокий реверанс и удалилась с балкона; дон Алехандро был огорчен, что она так быстро его покинула,— и голос ее, и ум пленили его сердце, он очень хотел знать, кто она. Дама также не на шутку была заинтригована, она тут же послала слугу узнать, кто этот юноша, и, в случае надобности, следовать за ним до самого дома; слуга повиновался, выполнить приказ оказалось нетрудно — в нескольких шагах от дома он увидел, как дон Алехандро садился на коня, и сразу его признал. Когда слуга доложил об этом госпоже, она весьма обрадовалась, что ее собеседником был дон Алехандро, о котором она слышала столько хорошего, да и сама видела не раз его удальство в поединках с быками.

Возвратясь домой, дон Алехандро стал расспрашивать одного из соседей, кто могла быть та дама, с которой он беседовал, и, описав местоположение усадьбы, узнал, что имя ее донья Исабель (о фамилии мы умолчим), что она из высшей знати этого города, весьма добродетельна, славится красотой своей и умом. Была она дочерью дона Беренгеля Антонио, доблестного кабальеро, который много лет воевал, а когда удалился из армии, то, уже в преклонных годах, женился; плодом этого брака и была прелестная певица, ко времени нашего рассказа круглая сирота и наследница весьма скромного состояния, ибо владения дона Беренгеля были энкомьендой, которую государь Филипп Второй пожаловал ему за заслуги. Дама проживала со старухой теткой, почти всегда хворавшей, и теперь вместе с нею приехала в усадьбу мотать шелк. Дон Алехандро выспросил обо всем обстоятельно, хотя в общем-то был наслышан раньше о достоинствах доньи Исабели,— вся Валенсия восхищалась ее острым умом и талантами, она даже сочиняла



«Хромой Бес».

премилые стихи, что особенно красит даму, столь щедро одаренную природой. Дону Алехандро не приходилось ее встречать, и он еще до их беседы желал на нее взглянуть, а когда узнал, что она-то и есть владелица усадьбы, желание это возросло — несколько раз выезжал он за город, надеясь, что опять удастся с нею встретиться, но старания были тщетны, так как в эти дни занемогла тетка доньи Исабели и племянница не отходила от ее постели.

Прошло недели две с лишком, пока тетушке стало лучше и донья Исабель смогла наконец выйти из дому, чтобы отправиться на торжество пострижения одной монахини в монастыре, расположенном в Сандии, недалеко от ее усадьбы. На торжество собрался весь цвет Валенсии, самые знатные кабальеро и дамы; донья Исабель, прикрыв лицо, пошла туда со служанкой. Войдя в храм, она села поодаль в полутемном приделе; дон Алехандро, не найдя ее сразу, встревожился, но тут же подумал, что, быть может, она сидит в приделе, где находилось несколько дам с прикрытыми лицами. Позвав двух друзей, он пошел с ними в придел и, приблизившись к дамам, громко сказал:

— Эти дамы, удаляясь от общего веселья, наносят оскорбление сеньоре монахине; впрочем, я объясняю их поведение тем, что сами они отнюдь не склонны принять постриг, а потому не желают даже взглянуть, как это делается.

Донья Исабель, приметившая дона Алехандро еще в храме, обрадовалась, что он подошел к ней, хотя предпочла бы видеть его без спутников. Изменив голос, она возразила:

— Мы на торжество не приглашены и не обязаны соблюдать то, что положено приглашенным; что ж до упрека, что мы не присутствуем при пострижении, так мы его видели уже не раз, а довольно и одного разу, чтобы понять, что это такое, ежели собираешься в монахини.

— Судя по вашим словам,— заметил один из друзей дона Алехандро,— вы не из тех, кто этого жаждет.

— Пока ничего не могу сказать, для этого надобно призвание, а я до сих пор его не чувствую.

— Вы даете нам понять,— молвил дон Алехандро,— что, во всяком случае, вы не замужем, но что хотели бы этого?

— Я никому не обязана давать отчет в своих желаниях,— отвечала она,— тем более не родственнику, и не нуждаюсь в чьем-либо одобрении.

— Но, быть может,— сказал он,— вы его получили бы, ежели бы открыли нам, какой путь намерены избрать?

— А что бы вы посоветовали? — спросила она.

— Замужество,— ответил дон Алехандро, который уже узнал свою даму.

— Но ежели у меня нет на него надежды,— сказала она,— как по обстоятельствам жизни, так и из-за моей натуры? Что делать тогда?

— Ежели вы настолько обделены судьбой,— сказал он,— уж лучше забудьте, что вы женщина; та, что не годится ни в монахини, ни в супруги,— это как бы существо среднего рода, ни к чему не пригодное.

— Возможно, я последую этому совету,— сказала она.

— Ежели вы соизволите открыть то, что скрыто плащом,— сказал дон Алехандро,— я вам дам еще лучший совет.

С этими словами он подошел к ней совсем близко, и донья Исабель чуть опустила плащ и показала дону Алехандро с друзьями один из пары своих прелестных глаз.

— Коль придется дорого платить,— сказала она,— лучше останусь прикрытой; хотя ради дельного совета я, пожалуй, осмелилась бы открыться, в ущерб моей доброй славе.

— От такой смелости она не пострадает,— сказал дон Алехандро.— Судя по тому, что мы увидели, вы, несомненно, можете избрать путь брака и сделаете счастливым того, кто удостоится вашей руки; я же, не глядя на остальное, предлагаю себя в искатели столь приятной должности.

Оба его друга, плененные изяществом и остроумием дамы, также изъявили такое желание.

— Вот счастье-то привалило! — сказала дама.— Один неосторожный поступок — и передо мной три претендента, готовых меня выручить! Ну что ж, я согласна потолковать о своем деле, других советчиков у меня нет; только прежде я хотела бы узнать подробнее о каждом из вас, чтобы избрать наиболее достойного.

Каждый из трех начал в шуточных выражениях выхвалять свои достоинства и, придумывая всяческие небылицы, чернить своих друзей; смеху было немало, время летело быстро, хотя место для таких разговоров было неподходящее, ведь храм — это не биржа невест, но дом молитвы, как назвал его Христос.

Выслушав речи всех троих, расхваливавших себя почем зря, дама сказала:

— Итак, я уведомлена и извещена о высоких достоинствах столь доблестных и знатных кабальеро; теперь я намерена посоветоваться с подушкой, она надежней всех троих; хотя, по правде сказать, об одном из вас я знаю несколько больше, чем о других, и имела случай убедиться в его незаурядном уме, что, возможно, склонит меня избрать его, ежели он не боится, что у меня есть другой,— человек он, сдается мне, ревнивый.

По этим словам дон Алехандро понял, что речь идет о нем, и об их беседе с глазу на глаз, когда он впервые подъехал к дому

доньи Исабели. Но пора было возвращаться к остальным гостям; трое друзей, шутя и балагуря, стали прощаться с дамой — последним подошел дон Алехандро, говоря:

— Хорошо же вы награждаете пыл влюбленного, томящегося по вас; ежели не хотите его смерти, не карайте его столь продолжительной опалой.

На что она ответила:

— Мое оправдание — болезнь родственницы, за которой я хожу; и это чистая правда, не в пример вашим льстивым речам; но я постараюсь жалобу вашу уважить, когда вы меньше всего будете этого ждать.

Больше говорить им нельзя было, и дон Алехандро откланялся; дама же была весьма довольна его поведением и надеялась вскоре побеседовать с ним обстоятельней. Несколько дней спустя беседа состоялась: дон Алехандро снова пришел к ее дому, донья Исабель вышла на балкон, они свиделись, и дон Алехандро влюбился без памяти, а его дама — не менее страстно, хотя не следовало бы ей спешить расточать свои милости, ибо для нее это обернулось худо, как вы узнаете дальше. Дон Алехандро, видя, что донья Исабель и впрямь необычайно умна и в речах остроумна — о чем он столько был наслышан, — после первого письма, в котором объяснился в любви, прислал ей второе, где были следующие десимы:

Да, остроумье ваше,
Белиса, славится весьма,
И мне сдается, что ума
Оно намного старше.
Вот — чудо в мире нашем!
Дивиться я не буду,
Известно же повсюду:
Сокровища такой души
Столь изобильно хороши,
Что впрямь граничат с чудом.

У всех — любви реченья
Словесных лишь полны щедрот,
У ваших же — особый счет,
Они полны значенья,
Они — уже свершенья!
Все, что родит ваш разум,
Ценой равно алмазам,
И квинтэссенция того,
Что под луной — мудрей всего,
Любая ваша фраза.

И всяк талант, готовый
К венчанью лавровым венком,
Пошел бы к вам учеником,
Чтоб изучить основы

Чарующего слова;
Когда б исчез мгновенно
Ученый цвет вселенной —
За ваше вежество тотчас
В столице увенчали б вас
Коленопреклоненно.

Богини совершенней
Языческий не видел мир,
Не то б воздвиг он вам кумир
Для жертвоприношений,
Молитв и песнопений.
Цвети ж, апрель, всечасно
Для дамы столь прекрасной!
Лишь ею красен небосвод,
И с нею лишь глупец дерзнет
Соперничать напрасно.

Донья Исабель не подозревала, что сверх известных ей достоинств дона Алехандро он еще и стихи умел сочинять; десимы ей очень понравились, и она ответила на них таким письмом:

«Чрезмерные похвалы тому, о ком говорится в десимах, оскорбительны для него и бесславят пишущего их,— ибо его адресат, полагая, что недостоин таких почестей, толкует восхваление как насмешку и восторги как сатиру, облеченную в иронию; я не настолько тщеславна, чтобы не распознать лесть, но и не ставлю себя так низко, чтобы не найти справедливым кое-что из написанного Вами; правдивые хвалы мне приятны, но чрезмерные — оскорбительны, ибо я мало что знаю о Вашем характере и поведении; я не могу заставить себя поверить в искренность Ваших стихов, продиктованы ли они рвением или же чрезмерной учтивостью; время откроет мне истину, а пока я не знаю, должна ли испытывать благодарность или же обиду».

Прекрасная Исабель нашла способ доставить письмо своему новому возлюбленному, а дон Алехандро, спеша опровергнуть притворные упреки, велел посланцу подождать и написал такой ответ:

«Скупая Ваша похвала была бы величайшим моим позором, когда бы избыток любви не восполнял во мне недостаток поэтического дара; но, дабы не совершить второй такой проступок, я попытаюсь изложить прозой то, что не под силу убогому моему таланту, и буду умолять Вас не судить со строгой недоверчивостью мои неразумные порывы — ежели им не удалось справиться со столь небесным предметом, то лишь потому, что сами они земные и не могли подняться до того места, куда устремлены помыслы их господина. Коль Вам известны мои чувства, Вы поймете, сколь искренни мои слова; но если бы Вы, из скромности, не пожелали мне поверить, один взгляд в зеркало — и Вы поняли бы, что после

многих побед, одержанных над пленниками красоты Вашей, я для нее — убогая добыча, жалкий раб страсти. Уповаю, что испытание временем подтвердит мои правдивые слова, и Вы поймете, что до конца жизни моей они будут взывать к Вам как к владычице моей,— быть может, убедившись, что я неспособен нанести Вам обиду, Вы с благодарностью вознаградите мои пылкие мечты».

Получив это письмо, красавица Исабель стала с доном Алехандро ласковей — недаром среди троих друзей она избрала именно его. Продолжались свидания, посылались записочки, и страсть обоих все возрастала, причем дама требовала сохранения строгой тайны, и дон Алехандро повиновался ее желанию.

Донья Исабель была тут весьма придирчива, и если, случалось, она в храме замечала, что поклонник, стоя с кем-либо из друзей, глядит на нее, ей чудилось, что он ведет оскорбительные для нее речи и рассказывает о своей страсти,— тогда она сразу же об этом говорила ему или писала, да с такой уверенностью, будто слышала их разговор.

Дон Алехандро сносил эти придирки с кротостью: на ее жалобы рассказывал чистую правду и старался смягчить ее гнев — где есть любовь, и не такое стерпишь. Намерением дона Алехандро было жениться на этой даме, хоть она была небогата; он, однако, хотел сперва дождаться благоприятного ответа на просьбу об энкомьенде, которую просил за свои и дядины воинские заслуги во Фландрии, и, как будет видно дальше, эта оттяжка пошла ему на благо.

Как ни была дама осторожна, сколько ни запрещала ему слишком часто гулять по ее улице, смотреть на ее окна и приходить на свидания к балкону — а только в урочные часы, к ней в дом, куда она его уже впускала, соблюдая, однако, веления приличий,— случилось так, что сама же она их нарушила. В Валенсии обычно с большим шумом справляют мясопуст — тут и маски, и ряженые, турниры и танцевальные вечера; на таких вечерах дону Алехандро несколько раз удалось украдкой поговорить со своей дамой, когда они вместе танцевали или же выходили с толпой гостей после празднества.

Однажды валенсианские дамы задумали созвать гостей в доме у подруги доньи Исабели, которая, разумеется, была приглашена, как и дон Алехандро с другими кабальеро; ужина решили не затевать, а провести время в остроумных играх и веселых плясках. Первой явилась на вечер донья Исабель — было еще рановато, но вскоре пришла еще одна гостья, весьма красивая девица, мать которой, дав ей в провожатые двух эскудеро, преспокойно отправила дочь в дом, где устраивался праздник, ибо хозяйка его была ее близкой приятельницей и соседкой. Итак, обе гостьи уже

сидели в зале, когда появился дон Алехандро,— он тоже пришел рано и один, так велела его дама; обе девицы были ему рады, а он, пока не собрались гости, принялся их развлекать остротами и забавными россказнями.

Дама, что жила по соседству, поднялась взглянуть на вышитую по канве салфетку на поставце, где стояли две зажженные свечи; похвалив со вкусом подобранные цвета и тщательность работы, она позвала дона Алехандро посмотреть вышивку; на поставце стоял письменный прибор, и дама, которую звали Лаудомия, начала, забавляясь, чертить пером на листке бумаги буквы с изысканными росчерками. Дон Алехандро, подойдя, стал несколько неумеренно хвалить изящество ее почерка, это долетело до слуха его дамы, и ревность вспыхнула в ее сердце, когда она увидела своего поклонника рядом с доньей Лаудомией да еще услышала, как он восторгается ее почерком,— а дон Алехандро был с этой дамой немного знаком благодаря дружбе с ее братом. Дон Алехандро любил пошутить: глядя, как донья Лаудомия пробует перо, он вдруг выхватил его у нее из пальцев, и нежную белизну ее руки окрасили темные брызги чернил. Дама, осердясь, хлопнула дона Алехандро по плечу, да, кстати, обтерла чернила и побранила шутника за проделку; на это он ответил, что никогда еще чернила не казались ему черней, чем на ее руке,— на самом-то деле руки ее отличались белизной, и сказано это было иронически; дама, уже всерьез обидясь, еще раз хлопнула озорника, на сей раз по спине. Донья Исабель, беседовавшая с хозяйкой дома, не сводила с них глаз; воспылав жгучей ревностью, она поднялась с эстрадо, на котором сидела, подошла к дону Алехандро и, сама не понимая, что делает и как себя этим выдает, с размаху отвесила ничего не подозревавшему кабальеро звонкую пощечину, так что у него кровь пошла из носу и запачкала воротник. Он же на ее выходку ответил лишь тем, что достал носовой платок и, утирая кровь, молвил:

— Не я поспешил выдать тайну — она держалась столько, сколько было угодно вам.

И, поклонясь, он спустился по лестнице и ушел домой.

Едва донья Исабель дала волю порыву ревнивого гнева, как ей стало мучительно стыдно своего поступка не столько перед хозяйкой дома, близкой ее подругой, сколько перед той, что стала причиной ее ревности и гнева. В это время пришли еще гостьи, сестры устроительницы вечера; воспользовавшись суматохой, донья Исабель удалилась с подругой в соседнюю комнату, где они оказались одни, и подруга сказала:

— Как это понять, сеньора донья Исабель? Никогда не ожидала я ничего подобного, зная ваше благонравие и скромность!

Поступок ваш открыл мне в один миг то, что вы не удосужились сообщить за долгий срок,— ведь я знать не знала об этой тайной любви,— стало быть, ревности вашей я обязана больше, чем дружбе. Дон Алехандро действительно ваш поклонник? Я была бы этому очень рада.

Донья Исабель не могла сразу ответить от огорчения и от слез, заливавших ее прелестное лицо; однако, немного оправившись, она промолвила:

— Раз уж глупый мой гнев и безумная ревность открыли вам то, чего я не совершила, скажу лишь, что дон Алехандро питает ко мне нежную страсть и я отвечаю ему тем же; никогда я не замечала в нем склонности к таким шуткам, и его вольности с доньей Лаудомией вывели меня из терпения — ревность не рассуждает, она-то и выдала мою любовь столь внезапным поступком.

— Теперь надо поправить дело,— сказала подруга.— Будет очень плохо, если дон Алехандро не возвратится сюда,— донья Лаудомия это сразу заметит и заподозрит вас.

— Но как нам его вернуть? — спросила ревнивая дама.

— Очень просто,— отвечала подруга,— вы напишете ему записку.

Принесли принадлежности для письма, и донья Исабель набросала такие строки:

«Проявления любви и ревности, даже самые жестокие,— это для любящего не оскорбления, но знаки милости; поверьте, мне было трудней погрешить против скромности, нежели будет Вам забыть свой гнев. Ради моего доброго имени Вы должны вернуться на празднество и не выказывать обиды, ежели не хотите, чтобы она во мне превозмогла любовь и Вы меня потеряли».

Слуга поспешно отнес записку дону Алехандро на дом; тот как раз менял воротник, собираясь вернуться: записка его порадовала, ибо ревность — лучшее мерило любви; он немедля повиновался воле дамы и явился в дом ее подруги. Донья Лаудомия, после всего происшедшего, действительно заподозрила, что он влюблен в донью Исабель, и это ей было досадно — дон Алехандро ей самой нравился, и она предпочла бы, чтобы его дама была не так хороша. Между тем дон Алехандро, подойдя к донье Исабели, с веселой улыбкой сказал:

— Как к храму отнесся я к этому залу и еще более почтительно — к вашим ланитам; не желая осквернять сей приют и не смея посягнуть на ваше лицо, я отказался от мести, велящей в таких случаях вызывать на дуэль; не возвратись я сюда, мне было бы стыдно, что я выказал малодушие и не воспользовался возможностью отомстить великодушием.

— Я так предана сеньоре донье Лаудомии,— отвечала донья Исабель,— что приняла близко к сердцу ее обиду, а потому и удостоила вас своей милости, никак не думая, что это может привести к дуэли между мужчиной и дамой.

Донья Лаудомия не могла стерпеть, что донья Исабель ссылается на нее в оправдание своей выходки, истинным поводом которой была ревность, и сказала очень резко:

— Вот уж не ожидала, что наше, довольно далекое, знакомство побудит вас выступить в опасной роли моей заступницы, когда у меня самой достало бы смелости отомстить; но я, видите ли, чужда ревности и обидчивости, а потому гнев ваш опередил мое равнодушие. Весьма польщена, что моя персона послужила объяснением заданной вами загадки,— может, для кое-кого оно и сойдет, но я-то нашла другую разгадку, весьма простую и всем известную.

Задетая такой резкостью, донья Исабель хотела было ответить, но хозяйка дома, дабы не дать разгореться пожару, который уже готов был вспыхнуть, прервала ее и пригласила всех дам располагаться на эстрадо. Дон Алехандро в этот вечер блистал остроумием, несколько дам в него влюбились и в их числе донья Лаудомия, которая после этого происшествия решила любыми способами освободить его из-под власти ревнивой доньи Исабели и намерение свое осуществила.

Дону Алехандро его дама оказывала милости чрезвычайные, так как любила его без памяти,— однако любовь эта была предательством по отношению к некоему уехавшему кабальеро, который с доньей Исабелью был связан узами более тесными, чем дон Алехандро, не знавший, что его дама не слишком берегла свою честь; итак, отсутствовавшему были в свое время дарованы все права, и дама имела веские причины не порывать с ним и не позорить себя в его глазах.

Но вот поклонник этот, по имени дон Фернандо Корелья, приехал из Мадрида, столицы испанского государя, где у него была тяжба с его дядей, графом де Косентайна, из-за весьма значительного имущества, и рассматривалась она в Верховном Совете Арагона. В Валенсию он вернулся с окончательным приговором в свою пользу, присуждавшим ему ренту в две тысячи дукатов. Пришлось тут донье Исабели поразмыслить, как угодить обоим кабальеро, и была она в немалом недоумении, как вести себя с каждым из них; честь обязывала ее хранить верность дону Фернандо, но любовь влекла к дону Алехандро, ибо первый много потерял в ее глазах из-за своего отсутствия,— женщины способны любить лишь то, что у них перед глазами. Терзаясь сомнениями, она посоветовалась с одной из своих служанок, и та подска-

зала ей, как поступить, чтобы, встречаясь с одним, не потерять другого; ночью она впускала в дом дона Фернандо, которому вверила свою честь, а того, кого любила, утешала любовными письмами, но уже не встречалась с ним, как прежде, чтобы он не помешал более счастливому поклоннику приходить к ней,— а в оправдание писала, что, мол, ее родственники стали за ней следить и держат под наблюдением улицу, а потому она как о величайшей услуге просит дона Алехандро не появляться на ее улице ни днем, ни ночью, пока подозрения не улягутся.

Дон Алехандро, любивший всей душой, не подозревал коварства своей дамы и, веря всем ее обманным резонам, беспрекословно повиновался.

Дон Фернандо был готов исполнить свой долг и жениться на донье Исабели, но этому противилась его мать, невзлюбившая его даму, и он откладывал заключение брака, надеясь, что мать, женщина преклонного возраста, вскоре умрет. И покамест он наслаждался в объятиях своей дамы, дон Алехандро, читая ее лживые письма, страдал от неутоленных желаний.

Случилось в это время, что у дона Алехандро при игре в баскский мяч вышел спор с одним весьма знатным валенсианским кабальеро,— оба расстались врагами, и со дня на день могла грянуть кровавая стычка. Дон Алехандро, человек большой отваги, отличившийся на полях Фландрии, ожидал, что его, уж во всяком случае, вызовут померяться силами в честном поединке. Противник же, после ссоры, затаил злобу и не спешил выступать в открытую, но выжидал случая, чтобы отомстить дону Алехандро без риска для себя, неустанно следил за ним и шпионил.

Однажды дон Фернандо отлучился из Валенсии в одно из своих поместий на несколько дней; донья Исабель, томясь любовью к дону Алехандро, известила его, что он может прийти к ней домой ночью, только в полной тайне, чтобы никто не видел, иначе пострадает ее доброе имя. Влюбленный кабальеро был послушен; выбрав время, когда никто не мог его заметить, он явился к своей даме, которая, ловко обманывая обоих поклонников, ухитрялась извлекать из этого пользу,— один не знал о другом, и оба ей служили; по правде сказать, будь на то ее воля, донья Исабель выбрала бы дона Алехандро, но так как дон Фернандо был обладателем драгоценнейшего ее сокровища, то ей, чтобы не остаться осмеянной и обесчещенной, надо было держаться за него, пока не умрет старуха мать; в то же время она боялась, что он может не сдержать слова, потому и дона Алехандро не отваживала и вела игру с обоими,— такие дела в наше время многие женщины творят, и немало бед от того происходит.

Дон Алехандро был встречен благосклонней, чем обычно,—

угощенья да нежности вселили в него надежду на высшую милость, однако мечты его были напрасны, дама не позволила преступить границы, опасаясь, что, получив на нее больше права, дон Алехандро пожелает стать полным властелином ее чувств, которые она до тех пор делила меж двумя.

Пока дон Фернандо был в отлучке, все шло неплохо, но вот он вернулся в Валенсию, и к донье Исабели вернулась прежняя осторожность — она придумала новые отговорки, дон Алехандро, любя ее, поверил, но стал все же сомневаться и переодетым ходить по ее улице — вечер за вечером до поздней ночи — однако никто, кого бы он мог заподозрить, ему не встречался. А то, что он ради безопасности ходил переодетый, помешало узнать его оскорбленному кабальеро, что с ним поссорился и искал случая отомстить.

С соперником же он не встретился потому, что донья Исабель, соблюдая осторожность, велела дону Фернандо входить к ней через соседний дом, который принадлежал ее подруге и, сообщаясь с ее домом через террасу, имел потайной выход на другую улицу, так что к Исабели можно было пройти незамеченным даже днем,— обо всем этом дон Алехандро, конечно, знать не знал.

И вот, однажды ночью, когда дон Алехандро уже уходил от дома своей дамы, за ним следом увязался его враг с двумя слугами — не зная точно, действительно ли они преследуют дона Алехандро, тот хотел удостовериться, чтобы не тратить на другого заряды пистолетов, которыми они были вооружены. Преследовали довольно долго, дон Алехандро узнал своего недруга, но так как огнестрельного оружия при нем не было, а была только шпага и маленький щит, он решил постучаться условным стуком в дверь доньи Исабели, которая как раз в это время спустилась в сени, оставив наверху у себя в спальне дона Фернандо. Донья Исабель выглянула в окно спросить, чего надобно ее второму обожателю, и он сказал, что умоляет тотчас открыть ему, иначе жизни его грозит опасность — за ним, мол, гонится дон Гарсеран, заклятый враг, а защищаться ему нечем; дама заподозрила, что все это дон Алехандро говорит лишь для того, чтобы она ему открыла; рассмеявшись ему в лицо, она дала понять, что считает его слова обманом, на что дон Алехандро, клянясь самыми страшными клятвами, стал уверять, что узнал дона Гарсерана и что того сопровождают еще двое.

Тут донья Исабель опешила и не на шутку встревожилась, ответ же дала такой — к ней, мол, в этот вечер пришла подруга, которую она пригласила на ночь, и потому она никак не может его впустить. Дон Алехандро стал настаивать, что ему грозит большая опасность и, видно, донья Исабель его совсем не любит,

если в столь грозную минуту отказывается впустить в дом, как сделал бы даже самый чужой человек. Дама снова стала ему говорить, что боится повредить своей доброй славе, призывая бога в свидетели, как ей тяжело, что она не может исполнить его просьбу. На это дон Алехандро возразил, что если ее подруга почивает наверху, в спальне, то почему бы не впустить его хотя бы в сени — он-де оттуда шагу не сделает, пока не представится возможность уйти. Донье Исабели почудилось, что он слишком расписывает грозящую ему опасность; думая, что он, возможно, заметил тут дона Фернандо и что-то подозревает; она выглянула еще раз на улицу и увидела трех мужчин, подстерегающих дона Алехандро, ибо они уже убедились, что это он; тогда она поверила ему, но велела минуту подождать, пока она посмотрит, можно ли ему открыть. Затем она пошла наверх, и там дон Фернандо, проснувшийся, когда она спускалась вниз, спросил, почему она не ложится. Дама сказала, чтобы он подождал, пока она удостоверится, что тетка и служанки спят; оставив его и уйдя в другую комнату, она принялась размышлять, как ей поступить в таком затруднительном положении. С одной стороны, у нее в доме уже находится дон Фернандо, человек вполне достойный, к тому же обещавший спасти ее честь женитьбой; к нему ее склоняла честь. С другой стороны, любовь, которую она питала к дону Алехандро, убеждала ее открыть ему дверь и не допустить, чтобы враги лишили его жизни; в смятенной ее душе боролись честь и любовь, она перебирала все «за» и «против», и наконец, после недолгих размышлений, честь победила — донья Исабель решила не впускать дона Алехандро, опасаясь двух пагубных для ее девичьей славы последствий,— первое, то, что шум мог бы встревожить дона Фернандо, и ежели он найдет тут соперника, она погибла безвозвратно; и второе, что враг, преследующий дона Алехандро, увидит, как он входит в ее дом, и это тоже ей повредит. Наконец она как будто нашла выход и, спустившись вниз, сказала дону Алехандро:

— Призываю Амура в свидетели, что охотно впустила бы вас, сеньор, не только в свой дом, но и в сердце свое, которое принадлежит вам, но так как вас преследуют, я полагаю, будет нехорошо, если увидят, что вы в такую пору входите в мой дом, меж тем как в Валенсии меня считают девицей добродетельной. Кроме того, моя гостья не спит, а как мы, женщины, любопытны, она, наверно, захочет узнать, чего это я задержалась, да с кем, и на правах подруги еще вздумает спуститься сюда взглянуть. Простите, что отказываю вам, и поверьте, что мне очень тяжко видеть вас в такой опасности, однако, помня о той, что грозит моей доброй славе, я решила не идти на явный риск и не открывать вам.

Дон Алехандро сильно огорчился; зная, что дама его любит, он никак не ожидал этого жестокого отказа, да еще в столь трудную минуту.

Прозрение было горьким, и дон Алехандро был бы теперь даже рад, если бы на него напал дон Гарсеран и он бы мог свой гнев против доньи Исабели выместить на враге или погибнуть от его руки. На прощанье он сказал:

— О жестокосердая, не думал я, что в такой миг у вас не станет для меня ни любви, ни жалости; ныне же по вашему ответу я понял, сколь ничтожно малы оба эти ваши чувства; допустим, что вы потеряли бы доброе имя из-за любопытства подруги или из-за зоркости моего недруга, но зато вы спасли бы меня, и я мог бы, как намеревался, жениться на вас; об этом вы и не подумали, имея, видимо, на то особые соображения, для вас решающие; для меня же всегда было решающим одно — заслужить своими достоинствами честь назвать вас госпожой своей и супругой; но, вижу, сие не угодно небу, раз оно вдруг лишило вас чувства жалости; что ж, пойду искать ее у шпаги моего врага, но знайте, неблагодарного вашего поступка я не забуду вовек.

Донья Исабель хотела ответить — слова дона Алехандро задели ее за живое, и она готова была отказаться от своего решения,— но когда она окликнула его, он уже не слышал, так как удалялся от ее дома, а следом шел дон Гарсеран, который его опознал и собирался на него напасть.

Донья Исабель все это видела, дрожа от страха за его жизнь; но неожиданно дело обернулось к лучшему: когда дон Гарсеран приблизился на расстояние пистолетного выстрела, на улице показался дон Хайме, друг дона Алехандро, да не один, а со слугою, и дон Гарсеран уже не решился напасть — после ссоры с доном Алехандро они публично мирились, все бы его осудили, соверши он теперь нападение да еще с огнестрельным оружием; итак, понимая, что случай упущен, он поспешил удалиться, пока его не узнали,— правда, дон Алехандро тут же сказал дону Хайме, кто шел за ним, и тот был поражен, что дон Гарсеран не сдержал слова в таком пустячном деле и, видимо, считает себя тяжко оскорбленным.

Было уже далеко за полночь; по этой причине, а также чтобы проверить возникшее у него подозрение, дон Алехандро решил заночевать у дона Хайме; тот был очень рад, оба вошли в дом, и перед сном побеседовали о происшедшем, причем дон Алехандро поведал о своей любви к донье Исабели. Дону Хайме было кое-что известно об отношениях этой дамы с доном Фернандо, и он, сильно огорчившись, что друг питает к ней нежные чувства да еще намерен жениться, рассказал, что знал; тут дон Алехандро

убедился — дама не впустила его по той причине, что у нее в это время находился первый ее обожатель; кстати, он вспомнил, что ему запретили приходить вечерами на свидания с той поры, как вернулся из Мадрида дон Фернандо, и когда он поделился этой мыслью с доном Хайме, оба сошлись на том, что у доньи Исабели был не кто иной, как дон Фернандо; однако, чтобы удостовериться вполне, они поручили слуге дона Хайме стоять на страже у дома доньи Исабели, пока не рассветет; но так как дон Хайме был более проницателен, он поставил еще и другого слугу на соседней улице, напротив потайной двери, через которую впускали дона Фернандо; затем друзья легли, но дон Алехандро от волненья всю ночь глаз не сомкнул. Полчаса спустя после рассвета явился один из слуг с донесением, что дон Фернандо, укутанный плащом, вышел из дома подруги доньи Исабели и что в это же время в одном из окон дома доньи Исабели, также глядящих на ту улицу, показалась она сама и долго смотрела вслед уходящему и он, слуга, ее узнал.

Так подозрения дона Алехандро подтвердились, и сердце его начисто освободилось от любви к лживой даме; не могло быть и речи о том, что любовники приходят к ее соседке, женщине пятидесяти лет, известной сводне и посреднице между влюбленными. Женщин такого пошиба следует подвергать всеобщему презрению — творя тайные козни, они губят чужую честь, как моль одежду; из-за них ни один супруг, отец иль брат не знает покоя.

На другую ночь дон Алехандро, устроившись в доме одного знакомого, своими глазами увидел, как дон Фернандо прошел в потайную дверь; мало того — чтобы не осталось и тени сомнения, дон Алехандро поднялся на террасу, откуда мог наблюдать, как счастливый любовник, войдя в дом напротив, подождал, пока сама донья Исабель не вышла к нему и не повела его к себе.

На следующий день, под вечер, хитрая дама решила утешить страдающего поклонника — чтобы всех ублажить и никого не обидеть — и послала ему письмо со служанкой, которая была посвящена в тайну обеих любовных интрижек и за щедрую мзду охотно исполняла поручения обоих поклонников. Было время сьесты, дон Алехандро, только что проснувшись, лежал на кушетке; он сказал служанке войти, и та подала письмо, в котором он прочел следующее:

«Не стану расписывать Вам, дон Алехандро, сколь я удручена; понимаю, Вы негодуете на меня за то, что я не совершила милосердного дела, к которому призывали меня любовь Ваша и долг женщины благородной и отвечающей Вам добрыми, а может, и более нежными чувствами; но рассудите сами, как хрупка наша честь, какого бережного обращения она требует, и Вы пой-

мете, что я не впустила Вас в свой дом лишь потому, что в эту ночь мне, как на грех, довелось принимать у себя подругу и я побоялась сгубить свое доброе имя; о моем огорчении Вы могли бы судить по бессонной ночи, что я провела, и по этому письму — ежели бы доверие Ваше ко мне было равно обиде, угнездившейся в Вашем сердце; благодарю небеса, устроившие все к лучшему и уберегшие от опасности Вас и меня,— когда бы Вы не избежали гибели, клянусь, пришел бы конец и моей жизни.

Умоляю не давать волю гневу, ежели мои оправдания сумеют смягчить Ваше сердце. Получив ответ, буду считать, что обида прощена; да будет он благоприятным, коль Вам дорога моя жизнь, а Вашу да хранит небо, как я того желаю. Нежно любящая Вас».

Письмо это привело дона Алехандро в ярость, и, хотя он старался не подать виду, служанка, не спускавшая с него глаз, пока он читал, заметила, как менялось его лицо. Оскорбленный юноша попросил ее выйти и подождать ответа в прилегавшем к дому приветливом саду и, взяв принадлежности для письма, набросал сперва черновик, а затем и само письмо, гласившее:

«Ваши оправдания всегда лишь разжигали мою любовь; но на сей раз — хоть я и не считаю их запоздалыми — они оказали обратное действие; я понял, что они лживы в такой же мере, в какой всегда было лживым Ваше чувство; не думал я, не гадал, что меня используют как замену отсутствующего и что у Вас станет духа продолжать игру, зная, сколь мучительны для меня несбыточные желания и боязливые надежды. Не корю Вас за то, что Вы не дали мне приюта в миг смертельной опасности; эту вину я с Вас снимаю, ибо оказывать такую услугу двоим мужчинам зараз — милосердие, право же, чрезмерное; но я виню Вас в том, что, имея столь надежного возлюбленного, Вы хотели увлечь меня и не боялись ставить на карту свое доброе имя ради кратковременного обмана, который я раскрыл без большого труда, и теперь знаю, что некий счастливец имеет доступ в Ваши покои, где ему оказывают самый любезный прием.

Наслаждайтесь же с ним сто тысяч лет, но, сделайте милость, не вспоминайте обо мне, ибо я не гожусь быть среди званых и не удостоился быть избранным».

Вскоре письмо это очутилось в руках доньи Исабели. Служанка нашла ее у подруги, соседки, в том самом доме, через который проходил дон Фернандо; дама, взяв письмо, спросила служанку, в каком настроении она застала дона Алехандро; та ответила, что был он, мол, хмур и встретил ее нелюбезно, даже не попотчевал ничем, как, бывало, делал всякий раз. Тут донья Исабель, встревожившись, сказала:

— По словам твоим судя, это письмо не сулит мне добра.

Она вскрыла конверт, прочитала письмо и, ошеломленная, так и застыла на месте с листком в руке, не понимая, где она и что произошло. Подруга спросила, что там, в письме; донья Исабель, не чувствуя в себе сил пересказывать, дала ей самой прочесть; итак, подруга, к величайшему своему огорчению, узнала, что любовь дона Фернандо перестала быть тайной и что ее собственное доброе имя также погибло, ибо теперь стало известно, что любовник проходил через ее дом. Донья Исабель была настолько удручена письмом, что едва могла слово вымолвить и в душе проклинала день и час, когда разрешила дону Алехандро ухаживать за нею; одно утешение у нее, впрочем, оставалось — зная его благородство, она была убеждена, что, несмотря на ревность, он не станет изобличать перед людьми ее делишки; как по нашим временам, такое редко встретишь — теперь бахвалятся тем, чего и не было, а уж кто промолчит о том, что было? Однако злосчастья доньи Исабели этим не кончились — если Фортуна вздумает вертеть свое колесо нам на беду, одного оборота ей мало. Случилось так, что когда служанка, отнеся письмо своей госпожи к дону Алехандро, возвращалась с ответом, ее, выходящую с письмом в руке из его дома, увидел дон Фернандо; кто служит не слишком усердно, тот не слишком осторожен — получи служанка от дона Алехандро такие подарки, как обычно, была б она осмотрительней, но так как она ушла от него недовольная, с пустыми руками, то и не подумала скрывать то, что следовало держать в тайне; увидев ее с письмом, дон Фернандо почуял недоброе и украдкой последовал за ней до того дома, где находилась донья Исабель; тут была допущена еще одна неосторожность — служанка оставила дверь открытой. Дон Фернандо свободно вошел в дом, поднялся, никем не замеченный, в верхние покои и подслушал, как подруга доньи Исабели читала вслух письмо да как обе толковали о нем самом и удрученная горем дама сетовала на судьбу. Все это, да, кстати, возникшее у него еще раньше желание уклониться от своего обязательства — ибо любовь удовлетворенная далеко не так сильна, как любовь ожидающая,— подсказало нашему кабальеро путь избавления, и он решительно вошел в комнату, где находились дамы. При виде его они смутились и испугались, а он, глядя на убитую горем донью Исабель, сказал:

— Прежде я полагал, что обеты, связывающие нас двоих, прочны и что мне отвечают искренней любовью, какой заслуживают мои добрые намерения завершить все честным браком; но теперь, о неблагодарная донья Исабель, я убедился, что ты, забыв о верности, нашла себе другого любовника, а потому считаю себя вправе располагать своим сердцем — глупо служить даме, столь

дурно заботящейся о своей чести, и потом всю жизнь подозревать ее и сомневаться, бережет ли она мою честь.

С этими словами он вышел из комнаты, очень довольный своим поступком,— наконец-то избавился от обязательства, которое не одобряла мать.

У доньи Исабели не хватило сил снести этот удар — дыхание пресеклось, она упала без чувств на колени к подруге и долго пролежала в обмороке, а когда очнулась и заговорила, сетуя на свое злосчастье, жалобы ее тронули бы любого. Что делать? Дон Алехандро, узнав о первом возлюбленном, отказался от нее; дон Фернандо, оскорбленный ее бесстыдным поведением, отверг ее, и теперь она не могла придумать, чем смягчить его сердце,— ведь разгневался он за дело. Так прошел день до вечера, дамы всё рассуждали, как быть, но ничего дельного им не приходило на ум. Наступила ночь, и донья Исабель вернулась к себе домой, где мы ее оставим, дабы поведать о том, что сделал дон Алехандро.

Когда ушла служанка с ответным письмом, дон Алехандро стал думать, как вести себя дальше, — эта дверь была для его любви захлопнута, и честь не позволяла даже помыслить о возвращении. Меж тем ему и прежде нравилась красавица Лаудомия, та самая, из-за кого у доньи Исабели вспыхнула ревность; это была девица знатного рода, с изрядным приданым, и дон Алехандро решил просить ее руки у ее отца и брата; они сразу же дали согласие и были весьма рады, так как этого кабальеро все тут любили. Договорились об условиях, вскоре в Валенсии состоялось оглашение брака, и когда весть эта дошла до слуха доньи Исабели, судите сами, сколь велика была ее скорбь, тем паче что счастливой соперницей стала та, которую она возненавидела с первого их столкновения. Чего только она не говорила, как не кляла горькую свою судьбу! Но все эти беды были ничто сравнительно с той, что ее ожидала: дон Фернандо, которому посчастливилось так легко избавиться от своего обещания этой даме и отступиться от долга перед ней, по настоянию своей матери посватался к богатой и красивой девице; тут также был заключен брачный контракт, и хотя дело старались держать в тайне, слух распространился по Валенсии, так что и эта весть дошла до ушей доньи Исабели.

А она-то была уверена, что дон Фернандо не отречется от своего слова и что любой обет может быть нарушен, только не этот! И вот она оказалась кругом в проигрыше — потеряв самое драгоценное сокровище, ей следовало бы оберегать эту любовь, а у нее хватило бесстыдства выходить в то же время на свидания с доном Алехандро! И после этого она еще хотела, чтобы дон Фернандо,

зная о таких зазорных делах, на ней женился и затем всю жизнь жил в страхе?

В тот день, когда донья Исабель услыхала весть о женитьбе этого кабальеро, она выместила досаду на своем прелестном лице, нанося ему удары, и на золотистых своих кудрях — пряди волос так и летели на пол; очи ее превратились в неиссякаемые источники слез; в промежутках меж горестными стонами и тяжкими вздохами она говорила:

— О, горе тебе, несчастная женщина! Ты наказана неблагодарным за свое постоянство и любовь, за то, что хранила верность человеку бесчестному, обманщику, предателю, который, завладев лучшим, что у тебя было, отрекается от долга, платит изменой и забвением. Да послужит это уроком женщинам неразумным и ветреным, которые, обманутые низкой лестью и притворной любовью, решаются лишиться того, что уже не вернешь. О, как велика моя скорбь! В горести призываю я то, чего все страшатся,— я жажду смерти, но, увы, она не спешит положить конец моим мукам и принести избавление от невзгод.

Ее посетила подруга, через дом которой проходил дон Фернандо, успокаивала, как могла, однако горе доньи Исабели было так велико, причина его так серьезна и спасение так невероятно, что все утешения были напрасны,— хорошо утешать, когда есть надежда, а тут не было никакой, разве что весьма отдаленная надежда на то, что супруга, избранная доном Фернандо, когда-нибудь умрет; можно было бы, правда, заявить, что есть помеха браку, однако связь держалась в полной тайне, не было ни писем, ни свидетелей, кроме одной служанки, так что вряд ли такое заявление имело бы силу помешать намерению дона Фернандо, который примерно наказал донью Исабель за ее провину. Пусть же учатся уму-разуму те, кто без зазрения совести позволяют ухаживать за собой сразу двоим поклонникам, не думая об ущербе, какой грозит их доброй славе и имени, и о том, что они могут остаться ни с чем, как мы это видели в нашей истории. В конце концов донья Исабель решила постричься в монахини и удалилась в монастырь в Сандии, что сделала три дня спустя после того, как узнала, что неумолимый ее поклонник заключил брачный контракт.

Вся Валенсия дивилась перемене, происшедшей в этой даме, которую знали за охотницу до празднеств, неугомонно веселую в беседах, словом, за особу, приверженную всему мирскому; причиной этого ее шага сочли не то, что в действительности произошло,— ибо все осталось тайной,— а то, что у бога, мол, есть много путей, по которым идут призванные им.

Итак, сеньора эта избрала супруга более достойного и про-

жила с ним до конца своих дней. У дона Фернандо наследников не было, зато жизнь его изобиловала ссорами, долгами и огорченьями — с женою он жил не в ладу. И только дону Алехандро посчастливилось — и жена была хорошая, и дети рождались, и имущество прибавлялось.

На том закончилась новелла — да кстати и дорога, которую карета должна была проехать в тот день. Все похвалили лисенсиата Монсальве за искусный слог, а Ордоньес сказал:

— Ежели вся ваша книга так же хороша, как образец, который мы слышали, уверяю вас, что она будет нарасхват и продажа ее обеспечена. Но мы еще заставим вас почитать и остальные новеллы, чтобы дорога наша прошла веселей.

Монсальве поблагодарил за любезные слова и Ордоньеса, и прочих спутников, обещая, что, когда беседовать будет не о чем, он охотно почитает свои новеллы, пока запас их не кончится и слушателям не наскучит. Все с радостью приняли это предложение, а меж тем карета подъехала к гостинице, каждый выбрал себе комнату, и все разошлись ужинать и спать, чтобы утром встать пораньше.

Проведя в дороге несколько дней, путешественники подъехали к старинному городу Кордове, одному из самых больших в Андалусии, а некогда, во времена владычества мавров, столице их королевства; дело было к вечеру, и случилось так, что когда карета находилась от городских стен на арбалетный выстрел, в этом месте двое кабальеро дрались на дуэли; менее удачливый был сражен двумя ударами шпаги, а противник, покинув его, скрылся; раненый, лежа на земле, в то время как карета проезжала мимо, громко стонал и просил духовника; лисенсиат Монсальве, как особа духовная и исповедник, услыхав его стоны, вышел из кареты вместе с Гараем и сеньорой Руфиной, которой вздумалось — хоть в этом не было никакой надобности — посмотреть на раненого; Монсальве подоспел как раз вовремя, раненый еще смог произнести несколько фраз, достаточных, чтобы дать ему отпущение грехов; затем он умолк и потерял сознание на руках у Гарая. Монсальве, возвращаясь в карету, позвал Руфину, но она не пожелала покинуть своего Гарая одного; тогда их спутники, послав помощника возницы сказать Руфине, где карета остановится, весьма неучтиво велели гнать вперед; Руфина была в сильном огорчении, а Гарай, видя, что раненый еще жив, помогал ему умереть благочестиво, наставляя, дабы он от всего сердца препоручил себя господу; бедняга, однако, был совсем плох и вскоре простился с жизнью.

Руфина и Гарай растерялись, не зная, что делать с телом, и тут как раз явились стражники; еще издали они увидели покойника на руках у Гарая и женщину рядом, а так как им донесли, что в этом месте происходил поединок, то они приняли Гарая за одного из дуэлянтов; не долго думая, двое крючков подцепили его и отвели в город к альгвасилу, тот распорядился немедленно засадить Гарая в тюрьму и наказал смотрителю получше глядеть за этим узником, а Руфину в качестве арестованной велел отвести в свой дом. Оба пытались оправдаться, рассказывая, как было дело, но альгвасил, предполагавший, что причиной поединка была Руфина, не желал слушать их оправданий и твердил одно — пусть докажут, что говорят правду, тогда их отпустят. Руфину он оставил у себя дома, а сам поспешил к коррехидору доложить о происшествии — мол, за городской стеной был убит идальго, и он, альгвасил, приказал тело принести в город, а убийцу посадить в тюрьму, да еще задержал женщину, из-за которой, как он полагает, вышел поединок; коррехидор велел привести женщину к нему в дом, что и было исполнено.

А у коррехидора в это время находились несколько кабальеро и богатый генуэзец, крупный оптовый торговец, явившийся по делу; красота Руфины, стройность ее стана удивили всех, особенно генуэзца, человека влюбчивого. Руфина была удручена, что ее задержали в пути,— ежели ей доведется пробыть тут еще один день, карета уедет без нее. Коррехидор и его помощник, который сразу же явился, задали Руфине несколько вопросов касательно вызова на дуэль и убийства; она отвечала, что ничего не знает, что она ехала в карете из Севильи в Мадрид вместе с другими людьми, которые должны были остановиться в такой-то гостинице, и что они проезжали мимо раненого, призывавшего духовника, и тогда, чтобы исповедать умирающего, из кареты вышел ехавший с ними богослов да она со стариком дядей.

Время было позднее, и расследование решили отложить до завтра, причем коррехидор повелел помощнику предупредить пассажиров кареты, чтобы не уезжали из Кордовы, пока на то не будет разрешения. Затем Руфину отвели обратно в дом альгвасила, назначенный ей вместо тюрьмы, и провожал ее туда очарованный ею генуэзец, чей дом стоял на той же улице, а хоть бы и не стоял, он поступил бы так же—настолько понравилась ему красотка; прощаясь с ней у альгвасилова дома, он пылко предложил свои услуги, и она поблагодарила, думая, что это лишь любезные слова.

От огорчения, что ее задержали, у Руфины открылся жар, и похоже было, что начинается трехдневная лихорадка.

На другой день допросили пассажиров, все, сказав правду, подтвердили слова Руфины, и тогда освободили Гарая, тем паче

что дело с поединком начало проясняться,— пришли дать показания очевидцы, заметившие убийцу. Гарай, весьма огорченный болезнью Руфины, тотчас отправился ее проведать; он стал убеждать ее собраться с силами и продолжать путь, но лекарь, приглашенный к больной, отсоветовал — ежели, мол, ей дорога жизнь, пусть не трогается с места, пока не пройдет горячка. Карета с остальными путниками отправилась дальше, Руфине оставили ее вещи, и она, по распоряжению властей, должна была уплатить вознице, правда, не всю сумму, а часть.

Генуэзец, не будь плох, пришел навестить приезжую красотку в доме альгвасила и стал оказывать ей разные услуги да подарки делать, что было для него весьма непривычно,— он вполне мог сойти за двойника севильянца Маркины; однако любовь делает скряг щедрыми, равно как трусов храбрыми. Руфина пролежала в постели добрых две недели, и каждый день ее неукоснительно навещал сеньор Октавио Филучи, как звали влюбленного генуэзца, а после его визита являлся слуга с подношением — то сласти, то дичь,— чему альгвасил и его жена были радехоньки, ведь им тоже перепадало.

Наконец дама поправилась, но чтобы еще лучше восстановить здоровье, наш генуэзец предложил ей поселиться в его вилле с садом, расположенной на зеленом берегу Гвадалквивира. Гарай, которого она величала дядюшкой, посоветовал принять приглашение — он видел, что генуэзец влюблен по уши, и, зная, что денег у него много, надеялся на изрядную добычу, вроде как у Маркины. Слушаясь совета, Руфина дала согласие, сказав, что поживет на вилле, пока не наберется сил для дороги. Генуэзец не хотел, чтобы в Кордове знали о том, что он увез красотку на свою виллу,— не то пойдут по городу сплетни, да и полиция, чего доброго, явится его проведать; с согласия дамы, дело представили таким образом, будто Руфина покидает город, чтобы продолжить путешествие; как только стемнело, к дому подвели мулов, нагрузили на них два тюка с одеждой, и Руфина, Гарай и погонщик, чтобы обморочить не в меру любопытных, выехали на мадридскую дорогу; проехав же с четверть часа, они вернулись в Кордову и направились к вилле, отстоявшей от города примерно на два арбалетных выстрела; там их ждал с роскошным ужином сеньор Октавио Филучи; ужин прошел в отменном веселье, и тут пылкий генуэзец стал более откровенно выказывать свои чувства. Был это мужчина за сорок лет, из себя видный, одевался весьма пристойно, года за два до того он овдовел, имел в этом браке троих детей, но в живых не осталось ни одного; оптовую торговлю он вел различными товарами, забирать их являлось в его контору множество купцов из самого города Кордовы и из окрестных селений —

повсюду были у него клиенты. Был он немного скуп — пожалуй, даже весьма скуп, чтобы сказать точнее,— капитал имел изрядный: более двадцати тысяч эскудо наличными да на тысяч пятьдесят с лишком векселей, не говоря уж о товаре; питал склонность к наукам и в свое время весьма прилежно учился в Павии и в Болонье, пока не получил наследство от брата, умершего в Испании; тогда он покинул родину и, полюбив дочь купца, одного из тех, что закупали товары в его конторе, женился в Кордове и там остался.

Этот человек, о котором пойдет теперь речь, влюбился, как вы слышали, в Руфину и пригласил ее в свою виллу для поправки здоровья, сделав это с целью добиться ее любви и решив ни в коем случае не отступаться от своего намерения,— так полюбилась ему красотка.

А Руфина уже знала от Гарая, что, ежели умеючи приняться, с этого гуся много перьев будет, и коль выпала ей такая удача, не желала выказать фортуне неблагодарность и пренебречь ее подарком.

В первый вечер они только вместе поужинали и вскоре удалились на покой, каждый в свою спальню, потому что было уже поздно. Генуэзец, правда, сделал вид, будто хочет вернуться в город, но слуги стали его отговаривать: ночью, мол, небезопасно, теперь идет вербовка в армию, и среди солдат попадаются озорники, да, кроме того, хватает здешних шалопаев, которые пользуются случаем пограбить, надеясь, что все их дела спишут на бедных солдат,— это зло надлежит исправлять властям, посылая ночные дозоры и тщательно проверяя каждый случай грабежа, и коль удастся найти вора, наказывать его со всей строгостью.

Словом, генуэзец, к немалому своему удовольствию, остался на вилле — всю ночь он провел без сна, размышляя, как бы это без особых расходов заставить гостью ответить на его чувства; разные планы он составлял, но самый простой, видно, и в голову не приходил — да, в наше время добиться любви, не растрясши кошель,— это чудо из чудес.

Наступил день, гостье был послан в комнату завтрак, и застали ее уже на ногах, что весьма удивило генуэзца, и он пошел к ней сам пожурить за беспечное отношение к своему здоровью да кстати взглянуть, нет ли в ее красоте какой-либо подделки. Когда он вошел, Руфина причесывалась, а волосы у нее были дивные, красивого темно-каштанового цвета; генуэзец в душе возблагодарил бога за то, что волосы у его гостьи так хороши; когда же она, чтобы ответить ему, откинула густые локоны и он увидел, что лицо ее столь же очаровательно, сколь было накануне вече-

ром, генуэзец и вовсе растаял — теперь он убедился, что ее красота без обмана, что все в ней натуральное, неподдельное, а для мужчины это самое привлекательное.

Руфина не пользовалась никакими водами, притираньями, мазями, румянами и прочими снадобьями, коими женщины укорачивают себе молодость, старясь прежде времени; чистой водицей умывалась она, и естественные краски на ее щечках были краше всяких румян. Генуэзец пригласил ее пройтись по саду, она поблагодарила за любезность и, чтобы не быть невежливой, пошла, как была, даже не заплетая косы; Октавио, очень довольный, шел рядом, поддерживая ее под руку там, где она могла оступиться; Руфина с удовольствием осмотрела сад, но вскоре начало припекать солнце, и они вернулись в дом, позавтракали, побеседовали о том о сем; затем Руфина изъявила желание осмотреть дом, и влюбленный генуэзец повел ее по комнатам. Их украшали превосходные картины известных живописцев, богатые итальянские занавеси, радовали глаз резные поставцы, дорогие кровати с балдахинами — все было расположено с большим вкусом и содержалось в чистоте и порядке.

Когда уже обошли почти все комнаты, хозяин отпер еще одну — небольшую кунсткамеру, сообщавшуюся с молельней,— тут хранились гравюры из Рима, весьма красивые и ценные, агнцы божии из серебра, дерева и цветов, множество книг, расставленных в позолоченных шкафах. Гарай, как человек любознательный и начитанный, заинтересовался книгами и стал смотреть названия; в одном шкафу, стоявшем особняком, он увидел книги в особо роскошных переплетах и без названий; Гарай раскрыл одну — оказалось, что сочинил ее Арнальдо де Вильянова, а рядом с нею стояли Парацельс, Росино, Алкиндо и Раймунд Луллий. Генуэзец, заметив, что он смотрит эти книги, спросил:

— Что это сеньор Гарай так внимательно разглядывает?

— Я вижу тут полный курс алхимии,— отвечал тот,— и, судя по дорогим переплетам этих книг, ваша милость, верно, занимается этой наукой?

— Так, изучаю понемногу,— сказал генуэзец,— когда есть время. А вы что-то смыслите в этих книгах?

— Да я почти всю жизнь только ими и занимался,— сказал Гарай.

— О, тогда вы должны быть великим алхимиком,— сказал Октавио.

— Не буду покамест говорить, кто я,— сказал Гарай,— об этом еще потолкуем в другое время; скажу одно: кроме этих авторов, я прочитал и изучил всех до единого алхимиков, отлично знаком с сеньором Авиценной, Альбертом Великим, Гильгилиде-

сом, Херво, Пифагором, с «тайнами» Калидо, с трактатом об «Аллегории» Мерлина, «О тайне камней» и с книгой «Три слова», не считая многих других, как рукописных, так и напечатанных.

— У меня тут только рукописей нет,— сказал генуэзец,— остальное все собрано. Весьма рад, что вы занимаетесь искусством химии, к которому я питаю такое пристрастие.

— Я разбираюсь в нем неплохо,— сказал Гарай, уже замышляя некую хитрость.— Но сейчас я сообщу вам кое-что, чему вы крайне удивитесь.— И он прошептал генуэзцу на ухо: — Племянница моя, хоть и не ученая, знает не меньше меня, ибо все мои опыты она тут же повторяет с величайшей ловкостью, что вы вскоре сможете увидеть собственными глазами; но пока ей ни слова, это ее рассердит.

Лучшего способа провести хитрого генуэзца Гарай придумать не мог; тот был жаден чрезвычайно и прямо умирал от желания создать философский камень, надеясь, что будет тогда мешками загребать золото и серебро; знакомство с таким знатоком алхимии он почел великой удачей — заблуждение, из-за которого многие лишились имущества и погубили свою жизнь.

Пока Гарай толковал с Октавио, Руфина была занята разглядыванием занимательных книг, которые тоже были у генуэзца; но это не помешало ей услышать обрывки разговора на предмет химии и заметить, с каким удовольствием слушал Октавио то, что было сказано Гараем о ней, Руфине. Гарай действительно изучал когда-то это искусство и даже порастратил немало денег в поисках философского камня, столь недоступного, что и поныне никому не удалось достичь успеха в решении этой сомнительной задачи; разочаровавшись в алхимии и выбросив на ветер почти все, что имел, Гарай был не прочь возместить свои убытки за счет кого-нибудь, кто еще находился во власти заблуждения, как наш генуэзец, а тот, слыша речи Гарая и сразу же в них поверив, уже видел себя повелителем мира. Он поспешил сказать Гараю, что здесь на вилле припасено все необходимое для опытов, и показал в отдаленной комнатке горны, перегонные кубы, колбы и тигеля, а также все инструменты, которые в ходу у алхимиков, да целую кучу угля. Гарай, к радости своей, убедился, что все готово для славной шутки, а самое главное, что генуэзец, мнящий себя знатоком алхимии, на самом деле очень мало в ней смыслит,— будь он хоть немного знаком с ее основами, проделка Гарая не могла бы иметь успеха. Больше речь об алхимии не заходила, хотя генуэзец готов был день и ночь о ней толковать.

Все трое спустились в одну из нижних комнат, окна которой смотрели на самый красивый уголок сада; там уже стоял накрытый стол, они весело пообедали, а после обеда Гарай устроил так, что-

бы генуэзец и Руфина остались наедине,— притворился, будто его клонит ко сну, и отправился на покой; генуэзец тогда, не таясь, объявил даме о своей любви и предложил все, что имел и чем владел; она выслушала милостиво и с улыбкой, однако ответила лишь туманными обещаниями. В кабинете наверху Руфина приметила арфу, теперь она попросила подать ей инструмент — музыка помогала ей делать свое дело; генуэзец весьма обрадовался, узнав, что она умеет играть на этом приятном инструменте, и тотчас велел принести арфу, говоря, что его покойница жена прелестно на ней играла и что всего с неделю тому назад, когда он пригласил на виллу нескольких друзей, натянули все струны. Арфу принесли, Руфина, проворно настроив ее, начала играть, показывая свое искусство; играла она превосходно, и генуэзец был поражен беглостью ее пальцев и вкусом.

Она же, чтобы его доконать, пустила в ход чары своего голоса — мы уже говорили, что пела она изумительно,— и начала следующую песню:

Два веселых ручейка
В луговине благодатной
Петли вьют из хрусталя,
Обнимаясь многократно.
Дружбу сладостную их
Воспевает птичья стая,
Рощи весело шумят,
Их союз благославляя.
А Лисардо на лугу,
Пренебрегнутый и сирый,
Видя благостный пример,
Так запел под рокот лиры:
Ах, сколь жизнь прелестна!
Ах, сколь страсть нежна!
Ах, когда б не ревность,
Как цвела б весна!
Ах, ручьи, чья дружба так верна,
Покажитесь вы Белисе, чтоб увидела она:
Ранит строгости венец,
Лишь согласье благотворно для сердец.

Влюбленный Октавио, слушая нежный и звучный голос Руфины, совсем растаял; когда она кончила, он стал восторгаться красотой пенья и искусством игры на арфе, причем в восторгах этих меньше всего была повинна любовь — пела и играла Руфина и впрямь на редкость искусно; она же, зарумянившись и выказывая притворное смущение, сказала:

— Сеньор Октавио, я хотела доставить вам удовольствие, и вы можете хвалить меня лишь за усердие — разумеется, с моей стороны было дерзостью петь перед вами, тысячу раз слыхавшим лучшие голоса.

— Ничей голос на сравнится с вашим,— возразил Октавио,— и я желал бы, чтобы скромность ваша не оскорбляла вас самое; вы должны гордиться, сеньора, что небо столь щедро вас одарило, и быть ему благодарной за милость. Поверьте, мой вкус не из худших в Кордове, в юности я также занимался пеньем; правда, язык плохо мне повинуется, когда надо петь испанские песни, но итальянские я певал недурно под аккомпанемент теорбы, на которой немного играю.

Заметив, что Руфина хочет отставить арфу в сторону, он попросил спеть еще, и она пропела ему такой романс:

Волны Бетиса, светлея,
Дань свою несут цветам,
Чтобы те красу придали
Мирным рощам и полям.
В кронах миртовых деревьев
Стройным хором соловьи
Об одном поют предмете —
О любви! Лишь о любви!
Клори вышла на прогулку,
Чтоб порадовать поля,
Затмевая всех пастушек,
Всю природу веселя:
Воды замирают,
Рад цветок любой,
Ветерки стихают,
Всех объял покой.
Птицы нежно всех предупреждают:
«Пастушки́ от прелести такой
Пусть, не медля, убегают —
Очи Клори в сердце поражают,
Убивают эти очи страстью и тоской!»

И снова генуэзец Октавио принялся восхищаться волшебным искусством его ненаглядной Руфины, а она — благодарить за любезность; затем он предложил ей соснуть после обеда и сам поднялся наверх к себе, также чтобы прилечь.

Гарай меж тем ни минутки не спал, а все размышлял, с какой бы стороны нанести Октавио удар; услыхав, что их хозяин поднялся наверх почивать, Гарай тихонько перешел в комнату мнимой своей племянницы, изложил ей свой замысел и то, что прикрытием должна будет служить химия, наука, в которой Октавио воображал себя сведущим и, по чрезмерной и неутолимой алчности своей, жаждал изучить ее досконально, ибо ему казалось, найди он философский камень — этот океан, в коем потонуло столько несчастливцев,— все в его доме обратится в золото, Крез сравнительно с ним будет бедняком, а Мидас — нищим.

Гарай договорился с Руфиной, как они одурачат и обчистят Октавио, дал ей несколько советов, даже записал кое-что — ведь

генуэзец, как было ясно из их беседы, в химии разбирался, а потому надо было, чтобы Руфина не ударила лицом в грязь и знала хотя бы некоторые основы и термины; Руфина все это быстро затвердила, затем Гарай для начала попросил у нее полторы дюжины звеньев золотой цепи, которую она купила перед отъездом из Севильи; цепь была большая, никто бы не заметил отсутствие нескольких звеньев, а этого было достаточно, чтобы приступить к делу. Гарай поспешно отправился в город, к ювелиру, переплавил там звенья в небольшой слиток и вернулся на виллу—Октавио же тем временем крепко спал, словно не был влюблен, и проснулся лишь после его возвращения. Гарай подучил Руфину, как ей вести себя, затем они встретились с генуэзцем и стали с ним толковать о всяких посторонних вещах — делали они это с умыслом, Гарай хотел, чтобы хозяин сам завел речь о химии; и действительно, алчность генуэзца была так велика, что не прошло четверти часа, как он заговорил о том, что нужно было Гараю; тогда и Гарай принялся обстоятельно рассуждать о химии, как человек, прошедший курс этой лженауки и потерпевший крах, подобно всем, кто ею занимается.

Октавио был поражен его обширными знаниями и, хоть считал себя студентом того же факультета, вынужден был признать, что Гарай превосходит его в учености, о чем и сказал гостю, а тот, дабы придать себе весу и приступить наконец к обманной проделке, сообщил генуэзцу, что готов показать свое искусство превращать в золото любой металл; Октавио очень обрадовался и стал горячо просить Гарая сделать такой опыт. На вопрос, есть ли на вилле уголь, генуэзец ответил, что есть, и в большом количестве, потому что он-де сам собирался создавать философский камень. Вдвоем они поднялись в лабораторию, которую Гарай уже видел; осмотрев печурки, тигеля, перегонные кубы и прочие химические приборы, он сказал:

— То, что нам сейчас надобно, тут есть — я возьму вот эти два маленьких тигеля.

Разжегши огонь, он в один тигель положил немного латуни, чтобы расплавилась, и показал ее в жидком виде генуэзцу; потом достал из кармана коробочку, а из нее бумажку с порошком — необходимым для опыта, как он сказал,— всыпал порошок в тот же тигель и перенес его на свет к окну, и там, быстрехонько, чтобы генуэзец не успел увидеть, выплеснул жидкую латунь в окно, а вместо нее сунул золотой слиток и, прикрыв тигель крышкой, сказал генуэзцу, что так должно это постоять полчаса; тем временем они принялись толковать о всякой всячине, и жадный генуэзец все норовил перевести разговор на философский камень—ему мерещилось, что, создай он этот камень, он станет владыкой мира.

Но вот Гарай решил, что пришло время представить свою работу ненасытным очам генуэзца; сняв с тигеля крышку, он вынул золотой слиток и показал его Октавио; который, видя такое чудо, едва не сошел с ума от счастья; правда, он тут же усомнился, настоящее ли получилось золото, о чем сказал Гараю; тот отдал ему слиток и предложил снести к ювелиру, установить пробу и убедиться в том, что обмана нет.

Октавио тотчас пошел в город, там ему сказали, что золото в слитке двадцати двух каратов, и он возвратился рад-радешенек. Гарай меж тем не дремал — наставлял Руфину в том, что надобно делать дальше.

Все втроем они потолковали об удавшемся опыте, и Октавио, пылая уже не любовью, но алчностью, выразил желание на другой день заняться созданием философского камня, суля Гараю большую награду и обещая все расходы взять на себя, хоть бы это стоило десять тысяч эскудо. Гарай был плут матерый, проделку он задумал с большим размахом и на предложение генуэзца ответил такими словами:

— Сеньор Октавио, мне уже под шестьдесят, а это значит, что лучшая и бóльшая часть жизни прошла; скромные мои познания в сей науке дают мне возможность провести остаток жизни не хуже любого испанского гранда, причем и трудов многих не потребуется, ибо главные трудности я уже превзошел во время занятий химией; детей у меня нет, изрядное состояние, коим я владею, унаследует после меня Руфина, моя племянница; с этим наследством, а также с тем, что ей оставил мой брат, а ее отец, она легко сможет найти себе мужа столь же знатного, каким был ее покойный супруг, родовитый андалусский дворянин, и мне умножать ее богатство незачем — а как вы видели, это не составило бы для меня никакого труда,— однако я не делаю этого еще и по особой причине, которую вам открою. В Испании известно, что, кроме меня, нет в наши дни человека, в совершенстве постигшего химию, сведения обо мне уже дошли до ушей его величества, меня усердно разыскивают по всей стране; счастье, однако, сопутствовало мне, и до сих пор мне удавалось скрываться, пустив ложный слух, будто я уехал в Англию. Бегу же я от великих почестей, которыми, несомненно, осыплет меня государь, не потому, что я святой или презираю мирские блага, нет, главная причина в том, что мне не надобно ни почести, ни милости, за которые придется расплачиваться потерей свободы до конца дней и вести горестную жизнь в почетном плену. Но скажу вам больше — его величество ныне ведет войны в разных частях света, расходы огромны, и, чтобы содержать войска, государю не хватает его доходов и того, что привозит флот из Индий; приходится искать

помощи у подданных, и, ежели бы меня нашли те, кто столь усердно и неутомимо меня ищет, то, зная, что с помощью моего искусства я легко могу пособить в этой беде, они, схватив меня, сразу же посадят в крепость, которая станет для меня пожизненной тюрьмой; там мне придется все время заниматься только одним делом — трудиться над умножением богатств моего государя и усилением его могущества; я охотно бы дал ему золота раз-другой, но ведь алчность неутолима — люди никогда не довольствуются тем, что имеют; даже если имеют много, они вечно жаждут иметь еще больше. Такова, сеньор Октавио, причина, из-за которой я бегу и скрываюсь; цените, что я ее открыл вам — даже брату своему, будь он сейчас жив, я бы о ней не сказал; однако я полагаюсь на ваше благородство и умение хранить тайну и уверяю, со мной вы будете не в убытке.

Октавио поблагодарил Гарая за дружеские чувства; он ликовал в душе, считая, что теперь весь мир должен ему завидовать. С резонами гостя он согласился — разумеется, Гарая тут же посадят в тюрьму, чтобы он не перешел на службу к другому королю, и он вполне прав, что скрывается. Рассыпаясь в любезностях, Октавио уверял, что готов для него на все, но пока может предложить лишь свое имущество — пусть, мол, отныне распоряжается всем его добром, как своим собственным; однако он, Октавио, умоляет, чтобы Гарай, раз он уже начал показывать свое искусство, не уезжал из Кордовы, пока не просветит и его. Гарай не стал отказываться, только предупредил, что золото, столь драгоценный металл, можно делать не иначе как затратив вначале некое количество золота же и что расходы на создание философского камня будут немалые,— но ежели Октавио желает, чтобы он, Гарай, этим занялся с условием делить прибыль пополам, то он не против.

Генуэзец только об этом и мечтал — он сразу же предложил употребить в дело все свое имущество, а Руфина обещала свою помощь — ведь она, сказал Гарай, кое-что, и даже немало, усвоила из дядюшкиных наставлений.

Итак, договорились начать работу через два дня, установив, что основа «божественного эликсира» (так называют химики чудесное сие снадобье) должна состоять из ртути, замороженной вместе с аконитом, табачным крошевом, цикутой, корнем одуванчика, мочой и экскрементами рыжего мальчика, перегнанными с порошком алоэ, настойкой опия, жабьим жиром, мышьяком, селитрой или каменной солью; однако важней всего, заявил Гарай, это моча рыжего мальчика, а потому он просит Октавио обязательно раздобыть ее. Октавио сказал, что будет искать, и для начала дал Гараю пятьсот эскудо — столько тот потребовал на

покупку самых, мол, необходимых для опыта веществ. Необычная щедрость генуэзца объяснялась тем, что он надеялся получить огромные барыши да, кроме того, совсем успокоился насчет своих гостей и твердо решил жениться на Руфине, полагая, что когда она станет его супругой, а Гарай — родственником, то богатство ему обеспечено. Свое решение он задумал объявить, не откладывая, и вечером того же дня, после ужина, повел Гарая в сад и сказал о своих видах. Гарай смекнул, что ему это очень даже на руку, а потому изъявил свое удовольствие и уверенность, что для племянницы будет большим счастьем иметь такого супруга; однако, сказал он, есть одна помеха — придется подождать из Рима разрешения на брак, ибо Руфина, овдовев, от великой скорби, что потеряла мужа, дала обет постричься в монахини, и, дабы обет этот, данный в минуту безумного горя, отменить, они отправили нарочного в Рим к его святейшеству, да еще ему, Гараю, предстоит, мол, совершить поездку в Мадрид за рентой, причитающейся ему с имущества некоего знатного сеньора, который, полагаясь на свое влияние, уже шесть лет ничего не платит; однако он, Гарай, дает слово, что, как только придет разрешение, они начнут переговоры о браке, и уверяет, что племянница всегда повинуется его желанию. Октавио был на седьмом небе, и с этого вечера Гарай стал свободно распоряжаться всем его имуществом.

Чтобы пустить пыль в глаза, Гарай принялся закупать всякие вещи, уверяя Октавио, что все это очень нужно, а на самом-то деле — только для обмана. Он приобрел новые печки, новые тигеля и перегонные кубы — старые, мол, не годятся. А пока он этим занимался, генуэзец искал мочу рыжего мальчика, что оказалось нелегко, но все же осуществимо с помощью денег, которые горы ровняют,— мать мальчика, опасаясь колдовства, заломила изрядную цену. Гарай умышленно затягивал приготовления к химическому фокусу — он хотел улучить благоприятную минуту для ограбления и, чтобы сразу же бежать из Кордовы, припас двух добрых лошадей, которых держал в потайном месте.

А пока он на глазах у генуэзца выпаривал на огне всяческие смеси, для чего закупал разные вещества, которые в ходу у алхимиков — бронзу, латунь, всевозможные соли и прочее; разводя огонь то в одной, то в другой печке, он перегонял что попадется, только чтобы обмануть генуэзца, который, надеясь на эти опыты, швырял деньги без счета. В делах любовных Октавио успел больше — узнав о его предложении, сеньора Руфина, чтобы не испортить игру, начала дарить ему в отсутствие Гарая невинные ласки, отчего Октавио вконец ошалел и уж вовсе перестал считать деньги.

Но вот на имя Октавио пришло заемное письмо, которое он должен был оплатить в течение двадцати дней, вдобавок кое-кто

из его поверенных в других странах обанкротился — над Октавио нависла угроза полной потери кредита, ежели не смилостивится судьба; на всякий случай он прибегнул к средству, обычному у коммерсантов, опасающихся банкротства,— припрятать добро, и затем и самому скрыться. Итак, наш генуэзец, и не подумав объявлять себя банкротом, принял меры, дабы ничего не лишиться, и это оказалось на руку Руфине и Гараю.

От его имени Гарай, к которому генуэзец уже питал полное доверие, отдал на хранение драгоценности и деньги, причем держатель был предупрежден, что он не должен выдавать что-либо никому, кроме них двоих; немало ценностей Октавио привез на виллу и, на глазах у Руфины, спрятал в хитроумно устроенном тайнике, приготовленном на случай краха; обнаружить этот тайник не мог бы никто, кроме знающего о нем.

Тем временем перегонка продолжалась, Гарай тешил генуэзца надеждами, что через двадцать дней работа будет закончена, Октавио получит золота вволю и сможет не бояться банкротства, а на всякие химические принадлежности Гарай истратил, как он говорил, более тысячи эскудо — на самом-то деле и пятисот реалов не ушло. В эти дни пришлось генуэзцу отправиться в Андухар, чтобы обсудить там со своим поверенным, какие меры принять ввиду ожидаемых банкротств; дом он поручил Гараю — овечку волку; и тот, не будь плох, не стал ждать другого такого случая — забрал отданные на хранение деньги и драгоценности, оставив чеканное серебро; на вилле также ничего ценного не осталось; наконец все было уложено, и Руфина и Гарай сбежали от тигелей и перегонных кубов; к чему им был философский камень, они и так набили себе карманы чистым золотом за счет отсутствующего генуэзца.

Ночью, когда слуги Октавио спали, они, прихватив более шести тысяч дукатов в драгоценностях и монетах, направились по дороге в Малагу, хорошо известной Гараю. Перед отъездом они не забыли привести в порядок печи, загрузить тигеля, залить перегонные кубы — хоть сейчас начинай работу — и оставили на поставце листок со стихами, сочиненными Гараем,— а он был на это мастер,— чтобы больнее уколоть Октавио. Сделав все это, они, как уже сказано, в полночь тронулись в путь на лошадях, заранее спрятанных на вилле, однако поехали стороной от большой дороги. Предоставим же им, разбогатевшим и счастливым, продолжать путешествие и поведаем о том, что было с пострадавшим генуэзцем.

Из Андухара Октавио вернулся через два дня в не слишком веселом настроении — переговоры прошли не так, как он хотел бы; агент не сумел придумать никакого средства, чтобы попра-

вить дела и избежать краха, который грозил и всем поверенным, и главной конторе; одно утешало нашего генуэзца — он был твердо уверен, что с помощью Гарая все у него пойдет на лад, банкротства удастся избежать и станет он из богачей богачом — настолько заморочила его эта химия, а вернее, химера. На виллу он приехал уже затемно и застал там одного слугу, оставленного дома с Гараем и Руфиной,— прочая челядь была в Кордове. Слуга встретил его с весьма скорбной миной, и, как взошли они наверх, генуэзец, не понимая, чем вызвано это уныние, с тревогою спросил о своих гостях — не случилось ли, мол, чего; слуга, однако, не смог ничего о них сообщить, он не видел, как они уехали с виллы, потому что спал в это время и его заперли в комнате; все это он доложил хозяину да еще прибавил, что дверь никак не поддавалась, и он полдня промучился, пока не разбил ее в щепки. Стали они вдвоем осматривать виллу — замки сундуков взломаны, денег нет; но больше всего испугался Октавио, что Гарай, возможно, добрался до отданных на хранение ценностей. Когда же он, укладываясь спать, зажег свечу на поставце, то увидал там листок бумаги и, развернув его, прочитал такой романс:

Эй, алхимики-безумцы,
Что наживы легкой ради
Достояния и души
Заложить любому рады,
Вот он, камень философский,
Тот, что жадно вы искали,
Дабы в злато обратились
Все дешевые металлы!
Дар от доктора Гарая
Вам достанется бесплатно —
Он когда-то этой блажью
Сам грешил неоднократно.
Он прошел со тщаньем школу
Парацельса, Мориено,
И Раймунда, и Алкиндо,
Александра, Авиценны
И других, весьма ученых,
Тех, кто, в жажде отличиться,
Жег над тиглями нещадно
И карманы и ресницы,
Он копался в многомудрых
Книгах, сваленных в подвале,
А узнал в конце ученья,
То, что знал в его начале.
Так он много лет потратил,
Но ждала его победа —
Слава разочарованью,
Спасшему его от бреда!
Корень сей науки горек,
Плод зато на диво сладкий:

От подобного безумства
Убегай во все лопатки!
Вам же, тем, кто ждет наивно,
Мол, раскроются секреты,
Он готов великодушно
Добрые подать советы:
Ваши черепа порожни,
Лбы у вас из меди, право,
Набекрень мозги свихнулись
Честным людям на забаву.
Чем питаются, скажите,
Прихоти такого рода?
Как материи отбросам
Стать металлом благородным?
С экскрементами венчая
Гниль, все ждете вы, надеясь
На рожденье Сына Солнца
(Вот смеялся бы индеец!).
Блеск металла самый яркий,
Самый в мире вожделенный,
Может ли таить цикута
Или опий, яд презренный?!
А мышьяк и жир медвежий
Разве могут быть отцами
Благородного потомства?
Ну, не бред? Судите сами.
В поисках простого смысла
Непонятных заклинаний
Всю-то жизнь к авторитетам
Вы идете на закланье,
А они в часы досуга
От многоученых штудий
Тарабарщину писали
На потребу глупым людям.
Кабы так им было ясно
Все, что мучит их потомков,
Вы б сегодня не блуждали,
Как незрячие в потемках.
Эту ложную премудрость
Все вы, как Эдипы, ныне
Тщитесь вытащить из мрака,
Увязаючи в трясине.
Если верите вы древним,
Почитая в том завет их,
Что алхимия — наука
Очень важная для смертных,
Знайте, темные словечки,
Что они употребляли,
Вас должны держать от смысла
И Калепина подале:
«Силою трансмутативной»
(Бред какой-то несуразный!)
Звали камень, рог и мази,
Эликсир — и много разной
Прочей дряни, чтобы школа,

«Хромой Бес».

Не отринувшая оных,
Через дебри продираясь,
Множила умалишенных.
Школа преподать готова
Уйму «точных» указаний,
И заметьте — ложью пахнет
От придуманных названий:
Плотный, редкий и летучий,
Твердый, мягкий, форма, взвеси,
Дух, материя, осадки
И рецепты чистой смеси...
Есть еще, чтоб вас морочить,
-Иты, -оты, -еты, -аты,
Тальки, окиси, магниты,
Щелочи и силикаты.
Словно духов заклиная,
Кличут соли с умным видом
И коагулум, и даже
Баурат, хильпингидум!
Ртуть зовут (свою надежду,
Что должна осыпать златом)
Кто — фавоньем, кто — меркурьем,
Кто — экватом, кто — евфратом...
Серебро — луной, царицей,
Щедро наделенной властью,
Обжигающей, чернящей,
Словом — женской ипостасью...
Вы же, чтоб добиться толку
От вещей таких, упорно
Жизнь проводите с мехами,
Вечно жаритесь у горна,
Мир ваш — это сита, ступки,
Перегонный куб, решетки:
Собеседники — кастрюли,
Колбы, миски, сковородки...
Ваши лица прокоптились
И ожоги вам — награда,
Вы, ей-богу, пострашнее
Мерзостных исчадий ада.
То, что вас, глупцов несчастных,
Даже злые кары эти
Не спасают от безумья —
Мне всего чудней на свете.
В этой призрачной погоне
Разума вконец решаясь,
Проживая закладные,
Безнадежно разоряясь,
Вы становитесь беднее
Побродяжек нищей рати,
Грамматистов и поэтов.
(А меж них так мало, кстати,
Тех, кому нужны карманы!)
Вот и вы, отвергнув разум,
Ради выдумок и бредней
Расточаете все разом.

Ты, Октавио, столь пылок,
Сколь и алчен! Только тщетны —
По заслугам — жар любовный
И мечта про клад несметный.
Впрочем, тот, кто это пишет,
Сам алхимик не из худших,
Если смог из слов порожних
Начеканить денег кучи!
Так что философский камень
Не сравнить с наградой царской,
Приносимой ловкой плутней
Пополам с лукавой лаской!
Я своей добился цели,
И красотка — нет, не промах,
А глупца глупей не сыщешь,
Чем алхимик во влюбленных!
Вот нетронутые горны,
Перегонный куб и колбы,
Но рецепт, как делать деньги,
Мы берем с собой (еще бы!).
Мой совет: коли сумеешь,
Отыщи себе тетерю,
И обманутый, возможно,
Возместит тебе потерю,
Ибо, меченные гербом
Короля, свои монеты,
Ты — ручаюсь! — не увидишь
Больше до скончанья света.

Долго читал обманутый генуэзец эти сатирические стихи, оставленные ему сбежавшими гостями; что они-то и совершили покражу, у него хватило догадки понять, но как их отыскать, он не мог придумать. Ночь он провел прескверно, что без труда поймет всякий разумный читатель,— каково это быть накануне банкротства, без средств оплатить счета, да еще сознавать, что ты обманут и обобран. Все же он не терял надежды, что найдет в Кордове свои сокровища невредимыми и сумеет настигнуть похитителей. Всю ночь он ворочался в постели, терзаясь не из-за любви к плутовке Руфине,— пропажа денег полностью излечила его от страсти, но из-за самой этой пропажи и стыда, что его провел бессовестный мошенник; тут-то проклял он свои занятия химией, хотя ему бы следовало благословить случившееся, ибо коварная проделка гостей навсегда отбила у него охоту продолжать опыты. Едва забрезжил день, Октавио, мигом поднявшись, поспешил в город к хранителю его добра, узнать, побывал ли там Гарай; тот сказал, что да, Гарай у него был и забрал все, что хранилось, а он, мол, поступил согласно распоряжению Октавио вручить Гараю, что тот потребует. Генуэзец с горя так и обмер, потом стал бесноваться и вопить — когда бы хранитель его ценностей не

впал причины, то мог бы подумать, что он рехнулся. Добрый этот человек постарался утешить Октавио и посоветовал чем скорее заняться поисками преступников; генуэзец, не жалея денег, сделал все возможное, по всем дорогам были разосланы комиссары с описанием примет; однако Гарай и Руфина избрали направление настолько необычное, что никому и в голову не пришло, где их искать; комиссары возвратились в Кордову ни с чем, только стребовали с Октавио плату за труды, и ему, обокраденному, пришлось еще на это раскошелиться.

Вскоре по городу распространился слух, что генуэзец, получив еще один счет к оплате, предпочел улизнуть и сбежал в свою Геную с остатком денег и ценностей, оставив всех кредиторов при пиковом интересе — теперь им не с кого было спрашивать долги, не у кого требовать оплаты векселей. Так обычно кончают те, кто с небольшим капиталом берется за чересчур большие дела, надеясь, что в случае чего сумеет спастись бегством.

КНИГА III

Без отдыха гнали Гарай и Руфина лошадей по глухой дороге в Малагу; не одну ночь провели они, не заезжая в селение, ибо страшились попасть в руки правосудия, с основанием полагая, что генуэзец приложит все силы, дабы их разыскать; наконец они решили, что предосторожности можно уменьшить, только не следует останавливаться в селениях. Гарай, правда, заглядывал в деревни, чтобы запастись провизией, но так как погода стояла теплая, на ночлег они располагались под открытым небом.

Однажды вечером, на закате, путники приблизились к лесу — небо заволокло тучами, и они боялись, как бы не угодить под ливень и град, которыми угрожали долгие и оглушительные раскаты грома; страх загнал их в самую чащу, под сень густой листвы, где они надеялись найти укрытие от проливного дождя, обрушившегося с небес вместе с крупным градом. Но такой же страх побудил искать приюта в лесу еще кое-кого, и люди эти расположились поблизости от того места, где устроились Гарай и Руфина. Звук голосов привлек внимание Гарая; тихонько подкравшись к беседующим и спрятавшись за ветвями, он стал прислушиваться.

Беседовали три человека, и когда Гарай подошел, один из них держал такую речь:

— Ежели этой ночью, друзья мои, не прояснится, не видать нам удачи в задуманном деле — дождь льет как из ведра, он помешает нам осуществить наш замысел.

— Да, это верно,— молвил другой,— и отшельник в келье

у холма понапрасну будет нас ждать, чтобы помочь спрятать добычу.

— Человек каких мало,— сказал третий.— Монашеский его плащ служит прикрытием и для наших воровских дел; просто диво, как он сумел покорить сердца тех, кто предоставил ему эту келью.

— Он так ловко прикидывается, так умело лицемерит, что хоть кого проведет,— заметил первый.— Ухитрился прослыть праведником во всем этом крае, будучи самым отъявленным плутом, которому равного не сыщешь.

— Я знаю его уже двенадцать лет,— сказал второй,— все эти годы он укрывает краденое, и так ему везет, что он ни разу еще не переступил порога тюрьмы, хотя другие попадаются на первой же краже.

— Он всем нам благодетель, а его келья с подвалом, что он устроил под ней, отличное хранилище для нашей добычи,— молвил третий.— Славное обтяпали мы дельце позавчера, такой крупной кражи в этом краю никогда не бывало — больше полутора тысяч золотых эскудо отхватили у торговца окороками.

— Ежели погода улучшится,— снова сказал первый,— обещаю, что заработаем еще больше.

Тут они принялись толковать, как получше взяться за это дело, а Гарай ни слова не упускал — край этот был ему хорошо известен, каждый уголок знаком, знал он и отшельника, только до сих пор считал его святым мужем, не предполагая, что он занимается такими делами и что его келья — воровской притон.

Затем Гарай вернулся к Руфине и пересказал ей подслушанный разговор грабителей; оба они притаились, желая лишь одного — чтобы лошади не зашумели и не выдали их; задумав новое воровство, они все же не хотели терять то, что уже приобрели. Им повезло — лошади стояли тихо, небо прояснилось и грабители отправились свершать свое черное дело; слыша, что они удалились, Гарай и Руфина поехали к ближайшему трактиру, где заночевали и пробыли весь следующий день; там они обсудили, что делать дальше (о чем будет рассказано),— беседа грабителей навела их на мысль учинить еще одну покражу; итак, обо всем договорившись, они направились к келье у холма, где обитал брат Криспин,— как его называли с тех пор, что он сделался отшельником,— а иначе — Косме Злодей, по его прозвищу среди воровской братии.

Руфина хорошо разучила свою роль: Гарай привязал ее к дереву, росшему у подножья холма, вблизи кельи, и она принялась громко стенать и вопить:

— Неужели никто не сжалится над несчастной женщиной, которую хотят лишить жизни? Небо, смилуйся надо мною и покарай оскорбителя моей невинности!

А Гарай подавал свои реплики:

— Нечего зря кричать, никто тебе не поможет! Лучше употреби оставшиеся у тебя минуты на то, чтобы препоручить свою душу господу. Вот только привяжу тебя к дереву, тогда и прикончу кинжалом!

Криспин сразу услыхал вопли Руфины; он был в келье один, что редко случалось, так как обычно на ночь у него собирались приятели, собратья по ремеслу. Не надеясь, что сумеет устрашить разбойников своими речами, праведник вооружился двумя мушкетами, подошел к тому месту, где находились Руфина и Гарай, и выпалил из одного мушкета. Гараю только этого и надо было — он условился с Руфиной, что сразу же пустится наутек, а тут кстати и предлог подходящий, будто он перепугался смертоносного оружия; вскочив на свою лошадь и взяв в поводья другую, он во весь опор умчался прочь.

Криспин подошел поближе и при ярком свете восходившей луны увидал Руфину — она заливалась притворными слезами, изображая, будто едва жива от перенесенного испуга, а когда отшельник-лицемер приблизился, она, чтобы лучше сыграть свою роль, закричала:

— Возвращаешься, мучитель, чтобы меня погубить? Тебя уже не страшат грозные выстрелы мушкета? Что ж, вот я, рази, но знай, что за преступление это, за гибель невинной, которую ты ложно подозреваешь, небеса тебя жестоко покарают.

Тут Криспин, подойдя к ней, молвил:

— Я не тот, сеньора, за кого вы меня приняли; я пришел избавить вас от мучений и готов защищать вашу особу. Где злодей, грозившийся лишить вас жизни? Глядите — забыв о смирении, которое подобает людям моего сана, я пришел с мушкетами, чтобы устрашить вашего оскорбителя, ибо мне подумалось, что сие будет угодно господу.

С этими словами он стал отвязывать ее, и когда это было сделано, Руфина кинулась ему в ноги и сказала:

— Чудесное это избавление, брат Криспин (она уже знала его имя), могло прийти только от вас — не иначе как бог открыл вам, что здесь замышляется злодейство; взяв в руки оружие, столь чуждое вашему сану, вы, повинуясь гласу небес, поспешили на помощь, дабы покарать изверга. Да вознаградит вас бог, а я, слабая женщина, только могу смиренно поблагодарить вас за спасение — я обязана вам жизнью, которой угрожала ярость моего брата, поверившего ложным наветам.

Женщина показалась брату Криспину весьма соблазнительной — а он насчет женского пола промашки никогда не давал,— но, понимая, что лицемерная его роль велит вести себя скромно

и благопристойно, он сдержал себя и не высказал просившихся на язык нежных слов, но, прикрываясь личиной святости, сказал:

— Сестра моя, я недостоин милостей, оказываемых мне небесами, однако стремлюсь и жажду уподобиться праведникам, служа господу в сей пустыне; божественной его воле было угодно, чтобы в этом происшествии я стал орудием спасения вашей жизни; хвала небу, все закончилось благополучно; теперь могу предложить вам убогую мою келью на эту ночь и на последующие, коль будет вам угодно, покамест не найдем чего-либо поудобней и не уляжется гнев брата вашего; от чистого сердца и из любви к ближнему предлагаю вам свой кров, ибо надел сие облачение ради того, чтобы творить добрые дела.

Руфина снова принялась благодарить, проливая притворные слезы,— у женщин это легко делается; предложение она, конечно, приняла, оно было весьма существенно для ее замысла; так, оба направились к келье, причем отшельнику, уже охваченному страстью к Руфине, приходили в голову всякие грешные мысли; пока шли, коварная прелестница прикидывалась еще более усталой, чем была, и Криспин, ободряя, то и дело поддерживал ее под руку. Но вот он отпер дверь кельи, и они вошли внутрь; вся обстановка состояла из скамьи, где Криспин якобы спал, да грубого столика, в головах постели висело распятие, в ногах лежал череп, и тут же, на гвозде, висела плеть.

Руфина весьма изумилась, она уже стала жалеть, что пришла сюда,— убожество кельи и смиренное поведение хозяина словно бы противоречили тому, что говорили в лесу три вора. Заметив, что она внимательно разглядывает все его добро, Криспин молвил:

— Вам, сестрица, наверняка гостиница эта кажется убогой, и вы боитесь, что не удастся поспать с удобствами; но не печальтесь, вам повезло — нынешней ночью нет никого из молельщиков, приходящих в мою келью на девятидневные моленья, а они люди предусмотрительные и держат тут про запас кое-какое постельное белье.

Лицемер солгал — он уже успел выведать у Руфины, что та не из Малаги, и потому без опаски наплел ей, будто у него тут есть постель для молельщиков; на самом же деле он, чтобы спать с удобствами и приятностью, для себя держал мягкие тюфяки и всякое белье, чтобы можно было устроить отличную постель для одного, а то и для двоих, ибо у него частенько гащивали темные люди; постельные принадлежности и прочий скарб прятал он в подвале, тайно ото всех вырытом под кельей, хранилище вещей, которые, без согласия их хозяев, приносили сюда воры. Святоша попросил гостью подождать, проворно спустился в подвал и принес

оттуда постель, которую и постелил в отдельной каморке, рядом с его комнаткой; поужинали они несколько лучше, чем ожидала Руфина,— на закуску были отменные фрукты, хорошо приправленная олья и крольчатина, оставленная, по словам Криспина, одним из его почитателей, делавшим ему много добра. Руфина, подавляя природную свою веселость, держалась за ужином очень чинно и притворялась, что из-за перенесенных невзгод совсем не может есть; отшельник тоже старался скрыть, что по его аппетиту ему и двух таких ужинов мало; из приличия он, под стать Руфине, в еде не давал себе воли, зато вволю глазел на гостью в течение всего ужина. После десерта он, разумеется, произнес благодарственную молитву — как и благословение в начале ужина,— затем, сняв со стола бедную, но опрятную скатерку, осведомился, почему хотел убить Руфину ее брат, и попросил рассказать все без утайки. Она же, якобы из чувства благодарности и долга перед радушным хозяином, с готовностью согласилась.

— Как ни тяжко мне, святой отец,— сказала она,— воскрешать былые печали, я вам столько обязана, что не могу выказать неблагодарность и не исполнить ваше желание; приготовьтесь же слушать, история моя такова.

Родом я из Альмерии, родители мои благородного звания, еще их предки искони жили в этом городе; детей у них было всего двое — брат, на год меня старше, да я, и когда родители наши умерли, мне было пятнадцать лет; юная и, как видите, недурная собой, я была окружена вздыхателями, искавшими моей руки, однако брату ни один из них не нравился, у каждого он находил изъяны то ли в происхождении, то ли в самой его особе, так что все были отвергнуты; причина, полагаю, состояла в том, что брат хотел поместить меня в монастырь, где жили в монахинях две моих тетки, а навели меня на эту догадку настойчивые уговоры теток постричься в их монастырь; но я, не питая влечения к монашеской жизни, не давала согласия, за что брат весьма был мною недоволен. В ту пору приехал в наш город из Фландрии некий идальго, оставивший Альмерию еще ребенком; за воинские заслуги он был пожалован чином капитана от инфантерии, а затем и от кавалерии; пожелав возвратиться на родину и получив на то соизволение генерала, он явился в Альмерию и поразил всех щегольскими нарядами, хоть состояние у него было небольшое, а в его отсутствие еще уменьшилось из-за выплаты больших процентов. Однажды он приметил меня в храме, разузнал, кто я, и, по всей видимости влюбившись, стал за мной ухаживать и посылать письма; чтобы не утомить вас многословием, скажу лишь, что его учтивость, дворянское, как и у меня, происхождение и многие достоинства побудили меня ответить на его чувство, и я, уверенная, что он все равно станет моим

супругом, отворила ему дверь нашего дома; страшиться ему было нечего, ибо мой брат в это время лежал больной, страдая длительным и тяжким недугом, от которого не чаял оправиться. О, боже, как жаль, что он не умер, тогда не довелось бы мне испытать все эти ужасы! Один из моих поклонников, позавидовав счастливчику, который, только приехав, добился от меня таких милостей, стал за ним следить и однажды заметил, как он вошел в мой дом, а затем вышел в самый неурочный час; чтобы отомстить мне за пренебрежение, завистник надумал сообщить брату, что творится в его доме; и вот, придя навестить больного, он с глазу на глаз рассказал обо всем, что видел. Брат в ту пору уже несколько поправился, начал вставать с постели — ему не потребовалось особых усилий, чтобы своими глазами увидеть то, о чем ему донесли. Отомстить сразу он не мог, был еще слишком слаб, а потому отложил свершение мести до более удобного случая; то, что я обратила свои взоры на капитана, разгневало его до чрезвычайности, любой другой выбор был бы для него менее огорчительным, так как в свое время у него вышла крупная ссора с братом капитана и отношения между ними были враждебными.

Но вот брат вполне поправился. Капитан в ту пору уехал из Альмерии в столицу хлопотать о своих делах; брат сказал мне, что хотел бы повезти меня в Малагу повидаться с другой теткой, монахиней ордена святого Бернарда; не подозревая, что ему все известно, я поверила его словам и охотно согласилась, обрадовавшись предстоящему путешествию,— я эту тетку горячо любила, и она тоже относилась ко мне с большой нежностью, постоянно присылала подарки. Мы собрались в дорогу, а когда на двух резвых лошадях с двумя слугами подъехали к соседнему лесу, брат велел слугам скакать вперед, чтобы снять нам комнаты в гостинице; в сумерки мы добрались до того места, где вы, святой отец, меня нашли, и тут брат насильно стащил меня с лошади, подверг истязанию и, без сомнения, лишил бы жизни, когда бы вы не спасли меня,— гром выстрела так его напугал, что он обратился в бегство, оставив меня привязанной к дереву. Да хранит вас бог, а я, доколе жива буду, никогда не забуду этого благодеяния!

Брат Криспин принялся утешать гостью и предлагать свою помощь, в чем бы она ни потребовалась; время было позднее, и вскоре они отправились на покой,причем по уши влюбленный Криспин все размышлял о том, как бы это без скандала достичь своей цели. Руфина улеглась на приготовленную для нее постель, а Криспин устроился на другом, скрытом от посторонних взоров, ложе с превосходными простынями и подушками — он отнюдь не был склонен терзать себя неудобствами. Всю ночь он не сомкнул глаз, обдумывал, как открыть гостье свои чувства; в этих мыслях

его застало утро, возвещенное певуньями-пташками окрестных лугов; Криспин поднялся, вскоре встала и Руфина; она прошла в молельню, вход в которую был из кельи отшельника, и увидала, что он, стоя на коленях, молится; услыхав ее шаги, Криспин на миг прервал молитву — ежели только он молился,— и обернул голову, едва владея собой от страсти, что терзала его с прошлого вечера; Руфина тоже умела лицемерить — она опустилась на колени и простояла на молитве больше, чем ей хотелось, ибо не была чересчур набожной. Когда Криспин кончил молиться, она последовала его примеру, и отшельник, подойдя к ней, сказал:

— Благословен господь, сестра моя во Христе! Да ниспошлет он блаженство и телу твоему, и душе, внемля моим мольбам! Скажи, создание божье,— и сколь прекрасное! — как ты провела ночь?

— Брат,— отвечала она,— благодаря вашим заботам, неплохо, хотя горести не позволили сну усладить покоем мою душу.

— Сон — одно из важнейших подспорий для человека,— сказал Криспин.— Думаю, он так же необходим, как пища; поручи все свои заботы богу, сестра моя, и твоя скорбь превратится в радость.

— Да будет сие угодно бесконечному его милосердию! — сказала она.

Оба они, выйдя из молельни, уселись в садике, примыкавшем к лугу, и Криспин повел такую речь:

— Когда я вижу, как люди теряют покой и предаются волнениям из-за женской красоты, я, разумеется, отчасти их извиняю, ибо природа человеческая требует своего и необоримо влечет нас к тому, что доставляет наслаждение взору,— тем более когда предмет сей являет собою один из лучших образцов, в коем величие господне позволяет нам предвосхитить облик красы небесной, присущей ангелам. С той поры, как я в возрасте невинности удалился от мира, я избегаю глядеть на красивых женщин, ибо знаю, что сие для меня весьма опасно,— я на опыте убедился, что, коль загляжусь на красавицу, душа моя приходит в смущение; такими сетями уловляет сатана людей, его чуждающихся, дабы сделать нас своими рабами. Сие говорю я к тому, чтобы вы поняли, какую жертву принес я, предложив вам свой кров,— ведь лицо ваше представляет величайшую опасность для моей души, ибо прелестью своей очаровывает ее и покоряет; да не удивят вас эти слова, противоречащие моему сану,— я человек и, на миг забыв о нем, должен вам высказать все.

Лицо его зарумянилось как бы от стыда — которого в помине не было,— Руфина тоже постаралась изобразить смущение; только этого она и ждала, случай сам подставлял ей свой хохол,

надо было немедля за него ухватиться, чтобы тем верней осуществить свой замысел, и она сказала:

— Хоть я не причисляю себя к тем, чья красота тревожит мужчин, признаюсь, брат Криспин, я вполне с вами согласна; да, могущество красоты столь велико, что даже я, женщина, чувствую восхищение и неодолимое влечение, когда вижу красивого мужчину; потому я не дивлюсь, что мужчины, влюбившись, забывают о благоразумии, ибо власть красоты, пленившей их душу, не знает пределов; не мудрено, что она покоряет даже тех, кто удалился от мира, — ведь они тоже не свободны от человеческих страстей. Тем более ценю я ваше гостеприимство, ежели, оказывая его, вы пожертвовали своим спокойствием; дорого бы я дала, чтобы не причинять вам таких тревог, но единственное, что я могу теперь сделать,— это оставить вас в покое и избавить от своего, тягостного для вас, присутствия, раз оно приносит вам столь большой вред; хочу лишь отплатить вам, пусть не равным благодеянием, но хотя бы равной откровенностью, и высказать, сколь сожалею,что вы поспешили удалиться от всего мирского, дабы жить в уединении; понимаю, это пошло на благо вашей душе, однако я еще вижу в вас достоинства, которые принесли бы вам любовь и уважение в миру, а пойти в отшельники вы могли бы и попозже.

Речи Руфины восхитили брата Криспина — не помня себя от радости, он осмелился ей сказать, что пленен ее красотой и что с минуты, когда она вошла в его келью, он утратил покой и влюбился в нее без памяти. Руфина не стала ломаться—она, мол, не может его винить за присущие человеку страсти,—и, имея в виду свои планы, подала кое-какие надежды, чем Криспин был весьма доволен.

Два следующие дня Руфина притворялась больной и не вставала с постели, а хозяин кельи ухаживал за ней с большим усердием и угощал всевозможными лакомствами, что приносили ему по ночам его друзья-приятели из братства Кака.

Немалую дерзость выказала Руфина, решившись остаться наедине с мужчиной в столь глухом месте; отважилась же она на это, зная, как велика его любовь,— ведь когда любовь совершенна, ей присуща робость, ни один истинно любящий не дерзнет грубо оскорбить того, кого любит; так было и с Криспином; Руфина тешила его обещаниями — когда, мол, станет известно, что ее брата нет в Малаге, она будет более благосклонна, а пока она не чувствует себя здесь в безопасности, тревога мешает ей вполне оценить достоинства своего благодетеля, которых она изо дня в день находит в нем все больше. Такие речи ободряли брата Криспина; надеясь дождаться более явных милостей от своей гостьи, он обещал ей приложить все старания, чтобы через своих приятелей разузнать, находится ли еще ее брат в Малаге.

На третью ночь явились в келью Криспина три собрата по отмычке, закадычные его друзья, и принесли знатную добычу — только теперь удалось им совершить кражу, о которой они договаривались в лесу в ту ненастную ночь, когда их подслушал Гарай; принесли же они два кошелька со звонкими дублонами на сумму больше чем полторы тысячи эскудо. В ограблении им должен был помогать Криспин, ему надлежало тайно впустить их в дом, где он обычно получал милостыню, однако в ту ночь ливень помешал ему пойти в город, и дельце обделали только теперь с помощью мальчика, которого оставили в доме, с тем чтобы он в полночь отворил ворам дверь.

Три эти хвата расположились в келье, как у себя дома; гостью свою Криспин от них спрятал, однако принять их не побоялся, ибо уже твердо верил, что Руфина его не выдаст и во всем поможет. Поставил он трем дружкам ужин, а после ужина стали они толковать о том о сем; один среди них когда-то учился, да оставил занятия, предпочел опасную воровскую жизнь, хотя происходил из хорошей семьи и природа его не обидела. Во всех беседах и забавах их компании он был душою общества; вот и сейчас Криспин попросил его — чтобы не ложиться им спать сразу после ужина и скоротать время, пусть расскажет какую-либо историю или новеллу, он же прочел их уйму. Тайной мыслью Криспина было развлечь Руфину, которая все слышала из комнатки, находившейся позади той, где сидели трое воров,— с немалой радостью убедилась она, что Криспин действительно укрывает у себя столь почтенных особ. Просьба хозяина была уважена, и ученый вор начал свой рассказ.

НОВЕЛЛА ВТОРАЯ

ГРАФ ДЕ ОГОРОД

Дон Педро Осорио-и-Толедо происходил из знатнейшей фамилии и родился в Вильяфранка-дель-Вьерсо, старинном селении, лежащем близ границы с королевством Галисией. Воспитывался он вместе со старшим своим братом, доном Фернандо Осорио, и сестрой, которую звали донья Бланка; когда ему минуло пятнадцать лет, он лишился родителей, и пришлось ему пойти по пути, назначенному младшим сыновьям, которым достается весьма скудная доля наследства; отправился он воевать во Фландрию и там, начав с чина альфереса, благодаря геройским своим делам в борьбе с мятежными голландцами, вскоре был произведен в капитаны; еще больше отличившись, он удостоился того, что сам светлейший эрцгерцог Альберт пожаловал его званием рыцаря ордена Алькантара с обещанием дать ему в дальнейшем первую же

энкомьенду, которая в сем воинском ордене представится. Дон Педро продолжал доблестно сражаться, пока с неприятелем не был подписан мир на один год; это обстоятельство, а также весть, что его старший брат скончался, побудили его просить дозволения возвратиться на родину, где осталось двое детей брата и сестра, нуждавшиеся в его присутствии; детям требовалась опека, сестре — поддержка в устройстве ее судьбы.

В Вильяфранку дон Педро прибыл, когда его сестра уже две недели гостила у тетки со стороны отца, увезшей ее к себе в Вальядолид, где тогда находилась столица,— тетка эта была намерена завещать Бланке все свое имущество, чтобы девушка имела приданое.

Сразу же по приезде на родину дон Педро начал приводить в порядок имущество, оставленное покойным братом, и когда все дела были улажены и оба племянника поручены надзору пожилого родственника, дабы тот смотрел за их воспитанием, дон Педро решил съездить в Вальядолид повидаться с сестрой и стал готовиться к отъезду. Но случилось так, что, оказавшись однажды на главной площади Вильяфранки, он увидал там большую толпу, сопровождавшую к гостинице, что стояла на площади, двое носилок; в одних, впереди, несли почтенного кабальеро, а следом за ним — даму, чья красота и роскошный наряд вызвали восхищение у всех, кто ее видел, особенно же у дона Педро; не в силах отвести взор от красавицы, он прикрыл плащом лицо и, забыв обо всем на свете, последовал за носилками, не заботясь о том, что подумают люди; у гостиницы дама сошла на землю, и если красота ее лица привела дона Педро в восторг, то не меньше пленили его стройность ее фигуры и изящество прически; словом, он был очарован и не мог успокоиться, пока не разузнал подробно, кто эта красавица, столь быстро победившая его сердце и взявшая в плен его свободу; с этой заботой он справился быстро, да только навлек на себя новые, еще более мучительные,— дождавшись, пока на площадь вышел из гостиницы один из двух слуг, что сопровождали приезжих, дон Педро смиренно и учтиво спросил, кто этот седой кабальеро и куда направляется; на что слуга, так же учтиво, сказал ему следующее:

— Любезный сеньор, кабальеро, о котором вы спрашиваете, мой господин, имя его маркиз Родольф; он знатный вельможа, прибывший из Германии в Испанию послом от августейшего императора и направляющийся ко двору вашего короля вместе со своей дочерью, прекрасной Маргаритой, которую намерен выдать замуж за своего племянника Леопольда, находящегося в Вальядолиде. Юноша этот, отличающийся доблестью и многими другими достоинствами, решил в расцвете молодости повидать свет и с таким намерением покинул Германию; в сопровождении четырех слуг он

объездил всю Италию, Францию, Англию и остановился в Испании, которая привлекла его благодатным климатом и любезностью ее сынов; поселившись в вашей столице, он живет на широкую ногу со множеством слуг, обласкан его католическим величеством и любим столичной знатью, ибо щедрость и приятное обхождение пленяют сердца всех. О браке Леопольда с сеньорой Маргаритой велись переговоры еще в нашу бытность в Германии, а когда маркиза, моего господина, удостоили сана посла, дело было почти решено, и сам император настаивал на этом союзе; путешествие наше оказалось трудным, на море нас застигла страшная буря, и мы не раз были на краю гибели. Тогда маркиз, человек богобоязненный, дал обет — ежели господь избавит его от этой опасности, вняв заступничеству славного патрона Испании, которого маркиз весьма чтит, он, маркиз, обещает посетить святилище, где покоится тело святейшего праведника. Мы прибыли в Вальядолид, маркиз, отдохнув две недели, пока состоялось обручение Леопольда и Маргариты, пожелал исполнить свой обет и отправиться в Сантьяго. Леопольд с нами не поехал, считая это неудобным; он остался в Вальядолиде и ждет гонца из Рима с разрешением на брак, так как он и Маргарита — двоюродные. Вот и все, что я могу ответить на ваш вопрос.

Дон Педро поблагодарил слугу за эти сведения и, предложив свои услуги в случае какой-либо надобности, простился с ним.

Разговор происходил под вечер; когда они, беседуя, прогуливались по площади, было уже темно, и слуга не мог разглядеть лица дона Педро, который старательно прикрывался плащом.

Влюбленный кабальеро ушел, сильно опечаленный тем, что узнал о предстоящем и решенном замужестве красавицы,— эта печаль да вспыхнувшая в нем страсть не давали ему покоя.

Он решил в тот же вечер посмотреть из укромного места на маркиза и его дочь, для чего прибег к помощи хозяина гостиницы,— тот спрятал его в таком месте, откуда он смог вволю наглядеться, что еще подлило масла в огонь. На другой день маркиз уехал, и дон Педро больше не видел прекрасную Маргариту, так как еще накануне, поразмыслив о своих терзаниях и задумав некую хитрость, решил, что ни в коем случае его не должны видеть днем ни маркиз, ни Маргарита, ни кто-либо из их слуг.

Дорога в Сантьяго трудна, так как все королевство Галисия покрыто густыми лесами; маркиз в день проезжал немного, и дону Педро было ясно, что он и через двадцать дней не вернется, тем паче что собирался два-три дня отдохнуть в Компостеле, дабы набраться сил на обратный путь; поэтому дон Педро, простившись с друзьями и знакомыми, направился к Понферраде, городку, расположенному вблизи столицы, и, не доехав до него четыре лиги,

остановился на постоялом дворе; днем он не показывался, а вечером выходил подышать воздухом, избегая, однако, людей,— ни с кем из жителей Понферрады он не встречался, кроме как с хозяином постоялого двора,— с ним дон Педро подружился и открыл ему свои замыслы.

Кроме того, был у дона Педро слуга, с которым он приехал из Вильяфранки,— человек верный и преданный, давно уже у него служивший; дон Педро посвящал его во все свои секреты и любовные дела, однако нынешнюю свою страсть от него скрыл. Фелисиано — так звали верного слугу — видел только, что у его господина какая-то новая забота, что он ночи не спит, все ворочается в постели да вздыхает, но причина была Фелисиано неизвестна; одно было ему ясно: причина эта находится не в Понферраде, иначе дон Педро — ночью ли, днем ли — обязательно улучил бы время повидать свой предмет — раненое сердце не может долго скрывать свою страсть от окружающих, каждый поступок говорит о любовном томлении и изобличает причину. У дона Педро, однако, ничего такого не наблюдалось, хотя страдать-то он страдал в ночной тиши, и Фелисиано это видел; верный слуга много бы дал, чтобы узнать причину, и несколько ночей глаз не смыкал, надеясь что-либо услышать. Не в силах долее сносить молчание господина, Фелисиано, оставшись с ним наедине, повел такую речь:

— Никогда я не думал, господин мой и повелитель, что ты способен быть столь скрытным и таить от меня горести, терзающие твою душу — ведь я всегда был хранителем твоих тайн и помощником в любовных делах; видно, впал я в немилость, ежели ты, томясь любовным недугом и тревогами, скрываешь от меня свои страдания; я вижу, ночами ты не спишь, днем сидишь взаперти, все время погружен в молчание и тяжкую меланхолию, что меня весьма огорчает; уезжая из родного города, ты объявил, будто направляешься в столицу, а сам поселился в этом городке, чуждаешься людей, и я теряюсь в догадках, не понимая, что у тебя на уме; знаю, слуге положено лишь служить своему господину с усердием и любовью, исполнять все желания и приказы, но не пытаться знать больше, чем ему говорят; до сих пор я следовал этому правилу, однако теперь как старый твой слуга, верой и правдой тебе служивший, беру на себя смелость спросить: что привело тебя сюда? Из-за чего по ночам не спишь? Что ты намерен делать в этой гостинице, избегая встреч и бесед, что столь часто, вернее, всегда отвлекает от печалей? Неужто наш хозяин, с которым ты знаком всего несколько дней, стал тебе ближе, чем слуга, прослуживший у тебя годы? Объясни эту загадку, мой совет, возможно, сгодится тебе, как бывало уже не раз.

На этом Фелисиано закончил свою, вполне справедливую, жалобу, и господин постарался его успокоить, сказав следующие слова:

— Друг Фелисиано, человек не в силах противиться своей звезде, коль назначено небом, чтобы она над ним властвовала,— хоть и говорят, что мудрец сам повелевает звездами; знать, еще при рождении мне суждено было полюбить ту красавицу, что покорила мое сердце, пленила чувства и сковала волю; сопротивляться велению рока — безумие, и я отдался своей страсти, зная, что стремлюсь к невозможному и замышляю неслыханную дерзость; вот почему я задумчив, лишился сна и объят меланхолией, почему не знаю покоя ночью, молчалив днем и таю в сердце своем печали, порожденные тем, что, полюбив, я сомневаюсь в успехе и вижу перед собой препятствие, лишающее меня всякой надежды; короче, чтобы тебя не томить, скажу — я узрел эту красавицу, этого серафима в образе женщины, это чудо красоты, которое путешествует по нашему краю с маркизом Родольфом, своим отцом; ее прелести — ты ведь ее видел — могут служить оправданием моего дерзновенного чувства; я их постиг, полюбил, однако на моем пути есть препятствие, и пребольшое. Дама эта, чье имя Маргарита, обручена с неким кабальеро, своим кузеном, по имени Леопольд, юношей столь достойным, что соперничать с ним трудно; но я люблю, желаю ее, терзаюсь, я не властен отступить, пока не испробую все пути; начать ухаживать мне, бедному дворянину, когда ее ждет супруг любезный, богатый, блестящего ума, в родстве с ней состоящий и всеми уважаемый, просто нелепо; как мог бы я, при всей своей любви, заставить ее прочитать хоть одно мое письмо? Родом я не ниже ее, гербы домов Асторга и Вильяфранка свидетельствуют о благородном моем происхождении; это помехой бы не было, когда бы судьба сделала мое имя более известным в столице; вскоре Маргарита вернется туда из паломничества, сроку мне осталось всего три месяца, пока не прибудет разрешение на брак; я перебрал тысячи способов приблизиться к ней, и наиболее удачным показалось мне притвориться сумасшедшим и здесь, в этом городке, забавными выходками снискать ее расположение, чтобы она пожелала взять меня с собою в столицу. Таков мой замысел, пусть он и не украсит мое имя; надеюсь, однако, что в столице меня мало кто знает, ибо я много лет не был в Испании; кроме того, я намерен потешно вырядиться, это поможет мне остаться неузнанным и проникнуть в дом маркиза — тогда я начну действовать немедля; воодушевляет меня то, что от человека, сообщившего кое-какие сведения об этой даме, я знаю, что ее не очень-то радует предстоящий брак, ибо кузен ее — изрядный ветреник, и она это знает. С хозяином же нашим я поделился своим замыслом, чтобы вос-

пользоваться его помощью,— он должен меня представить и рассказать о моей особе много лестного. Теперь, Фелисиано, ты знаешь все о моей любви, моих тревогах и намерениях.

Фелисиано нашел удачной выдумку своего господина — другим способом вряд ли удалось бы поближе познакомиться с дамой; вдвоем они стали обсуждать подробности и решили прежде всего нарядить дона Педро в смешной старомодный костюм — широкие сборчатые панталоны зеленого сукна, длиннополый кафтан, короткий плащ с круглой пелеринкой и зеленую бархатную миланскую шляпу; так нарядившись, дон Педро переселился в другую гостиницу, принадлежавшую брату их хозяина, тоже посвященному в тайну, что обошлось нашему дону Педро в несколько дублонов,— он, правда, из Фландрии навез кучу денег и драгоценностей, выигранных в карты, ибо в игре ему везло.

И вот, когда наш маркиз с красавицей дочкой возвращались наконец из паломничества, у них, невдалеке от Понферрады, сломались рукояти кресел — старику пришлось сесть на лощадь и ехать в город верхом; там он сразу же заказал другие рукояти, чтобы можно было продолжить путь, однако достаточно искусного мастера не нашлось, изготовление, сказали, продлится более двух дней, и путешественники, как ни досадно, вынуждены были задержаться.

Маркиз остановился в гостинице, где прежде проживал дон Педро, лучшей в этом городе,— потому-то дон Педро съехал оттуда и переселился в соседнюю. Хозяин гостиницы был подучен, что́ сказать маркизу о нашем кабальеро, а тут и случай отличный представился — путешественники, от нечего делать, обычно осведомляются, что есть примечательного в месте, где они находятся; вот и маркиз велел позвать хозяина, чтобы расспросить о Понферраде. Человек он был весьма обходительный, в Испанию приезжал уже не раз и язык наш знал, словно тут родился; когда хозяин предстал пред ним, он принялся спрашивать, как древен этот город, какие в нем есть знаменитые фамилии, чем занимаются жители, есть ли красивые дамы, и множество других подробностей; хозяин удовлетворил его любопытство, обстоятельно обо всем рассказав, и, перечисляя достопримечательности старинного городка, упомянул об особе дона Педро в таких словах:

— Среди многого прочего, чем замечателен древний наш город, доложу еще вашей светлости об одном происшествии, которое, уверен, немало вас позабавит. Недели две тому назад явился сюда человек, одетый по-старинному в костюм зеленого сукна, и кое-кто из наших жителей стали спрашивать его, кто он таков. Приезжий ответил, что он вышел из реки Силь, омывающей стены нашего города, а родом он, мол, из высшей галисийской знати; чудак этот

требует, чтобы его величали «ваше сиятельство», он, мол, граф де Огород, и несет такую ахинею о своем графском происхождении, что все покатываются со смеху; живет он в гостинице, почти не выходит, платит щедро, а откуда у него деньги, мы не знаем; при нем всего один слуга, терпит, бедняга, его чудачества; я весьма удивлен, что он еще не явился с визитом к вашей светлости, знакомиться с приезжими — это его страсть.

Слушая рассказ хозяина, маркиз развеселился и попросил привести смешного чудака; присутствовавшая при беседе прелестная Маргарита присоединила свой голос; хозяин повиновался с готовностью, он сам только этого и хотел, и тут же отправился к своему брату; но прежде предупредил посла: ежели, мол, хотят получить удовольствие, то гостю надлежит оказывать величайшее уважение — малейшая насмешка выводит его из себя; это было обещано, хозяин сходил за доном Педро, и тот явился в костюме, о котором посол уже слышал и все же был поражен, равно как прелестная Маргарита; дона Педро сопровождал его слуга Фелисиано; маркиз вышел навстречу ему к самому порогу со словами:

— Добро пожаловать, краса Испании и цвет ее рыцарства!

— Ваша светлость — не первый, кто приветствует меня такими словами,— отвечал дон Педро.— Мне часто приходилось слышать хвалы природе, создавшей столь совершенное творение.

— Что ж, присоединю к ним свой голос,— отвечал маркиз,— ибо драгоценный брильянт восхищает всех, а в вашем облике все исполнено совершенства, коим наделило вас небо, дабы доставлять радость всем, кто вас видит.

Дон Педро между тем приблизился к Маргарите и, изобразив, что восхищен ее дивной красотой еще больше, чем было на самом деле, молвил:

— Полноте превозносить мои совершенства, сеньор маркиз, вы творите несправедливость по отношению к этой даме; скажите, ваша ли она дочь, дабы я заодно восхвалил и вас за то, что вы породили такую красавицу, диво нашего полушария, чудо природы, предмет восторга всех живущих; она магнит для чувств наших и разящая стрела Купидонова; клянусь графским своим титулом, за тот миг, что я лицезрел ее красоту, она успела покорить мою душу, я уже не принадлежу себе, и душа моя не вольна распоряжаться телом.

— Ваши восторги, сеньор граф, столь неумеренны,— сказала дама,— что я боюсь, не примешалась ли тут лесть; намереваясь с их помощью завязать знакомство, вы лишь роняете себя; я не советовала бы любезникам, начиная ухаживать за дамой, выставлять напоказ свои недостатки и вызывать сомнения в искренности.

— Но моя искренность,— сказал влюбленный кабальеро,— чиста, прозрачна, кристальна, без единого пятнышка лукавства, и таков я всегда.

— Садитесь, ваше сиятельство,— сказал маркиз,— мы хотели бы побеседовать с вами обстоятельно.

— Да будет это угодно творцу вселенной! — сказал дон Педро, усаживаясь.— Знаю, однако, эта радость будет столь краткой и восторг столь мимолетным, что покажется мне крохотной точкой ваше пребывание в сем городке — не земном обиталище, но чертоге небесном, ибо по нему ступают ножки богини.

— Ну, что ж,— молвил маркиз,— расскажите-ка нам для начала, кто вы, ибо, вступая в беседу с людьми мало знакомыми, мы легко можем совершить неловкость и нарушить приличия, задев их личность.

— Этого не может случиться,— сказал ряженый кабальеро,— однако для того, чтобы мою любовь и желание служить вам подкрепить сведениями о моем происхождении, прошу меня выслушать.

В древние времена королевством Галисией правили графы, а позже — короли. Одним из них был Гундемаро, владыка этого края, дважды овдовевший и передавший впоследствии престол инфанте Теодомире, которая, став королевой, была прозвана «Волчицей»; она вступила в любовную связь с красавцем Рекаредо, одним из знатнейших дворян Галисии, всегда проживавшим при дворе; приходился он королю дальним родственником, но был человеком весьма близким к особе монарха, что и открыло ему доступ в покои инфанты, а также в ее объятья. От этой любовной связи родился я; когда пришло время появиться мне на свет, король случайно находился в комнате дочери; начались у нее боли, и она как первороженица не сумела их скрыть от отца, который, правда, приписал их другой причине. Служанки — тоже не знавшие, что с нею,— отнесли ее на ложе, и через несколько часов она родила, извергнув меня в мир, дабы я узнал его жестокость. Приняла роды одна из служанок, посредница влюбленных, и, взяв меня на руки, пошла передать своему брату, загодя для этого призванному, но, как выходила она из покоя инфанты, ей встретился король, шедший проведать дочь; испугавшись, что он может полюбопытствовать, что это она несет в юбках, служанка, не долго думая, вернулась, спустилась в сад и, выйдя через калитку к реке Силю, бросила меня в воду в плетеной корзине, а инфанте сказала, будто передала брату, как было условлено; я в корзинке плыл по кристальной глади спокойной реки, как вдруг волны расступились, корзинка ушла под воду, и я угодил в объятия самого Силя, который в свите прелестных нимф направлялся в хрустальный свой чертог. Вы, пожалуй, думаете, что это поэтический вымысел, ис-

тория из тех, какие сочиняют поэты, но поверьте, все так и было на самом деле.

В потаенном том чертоге меня воспитывали нимфы и обучал сам речной царь, желавший, чтобы я во всем достиг совершенства, и не жалевший сил на уроки со мной; я изучил три-четыре языка и в особенности усердно занимался латынью; когда же мне минуло двадцать лет, Амур пожелал возжечь свое пламя в речном царстве, дабы явить свое могущество и беспредельную власть над всеми земными и водяными тварями. В девственном хороводе нимф выделялась одна, снискавшая особую любовь престарелого Силя; звали ее Анакарсия, и отличалась она дивной красотой, настолько же превосходя в прелести и талантах своих товарок, насколько дельфийское светило ярче звезд небесных; с величайшим искусством играла она на всех инструментах, умна была на редкость — короче, во всем являла чудо совершенства. В эту-то красавицу я влюбился и потерял покой с той минуты, как бог-малютка ранил мое сердце стрелами ее чарующих очей; объясниться мне было нелегко, обитательницы хрустального чертога почти никогда не оставляли нас наедине; но вот однажды, когда все нимфы отправились на заседание академии музыки и поэзии, коими они развлекали старца Силя, прелестная Анакарсия притворилась больной, ради того лишь, чтобы я мог поговорить с нею; я был предупрежден заранее и поспешил в ее покой, где красавица лежала на пышном ложе, снежным сиянием своего тела посрамляя белизну простынь и красою затмевая само солнце; увидав ее, я смутился, что естественно для истинно любящего; однако чуть погодя набрался смелости и, запинаясь, выговорил следующее:

— Очаровательная нимфа, краса водяного нашего чертога и гроза для душ, уязвленных твоей прелестью! Моя душа, с тех пор как глаза тебя узрели, попала к тебе в рабство, и я над нею уже не волен; она твоя, твоею хочет быть, распоряжайся же ею как даром, поднесенным с искренней любовью и пылкой страстью. Великую милость оказала ты, предоставив случай открыть мои любовные терзания; теперь ты о них знаешь, и ежели соблаговолишь от них исцелить, я буду счастлив, что удостоился такого блаженства.

Прекрасная Анакарсия меня любила и на нежные мои речи ответила столь же нежно, вселив в мое сердце отраду и надежду на милости более заманчивые; но увы, судьба решила иное: тихоструйный Силь, заметив мое отсутствие в академии и не видя там своей красавицы нимфы, поспешил к чертогу взглянуть, что она делает; украдкой приблизившись, он подслушал всю нашу любовную беседу и в гневе решил пресечь мою дерзость — прозрачные воды нахлынули на чертог, дверь покоя, где обитала нимфа, раскрылась, и старец Силь вышвырнул меня оттуда на берег реки.

— Гундемаро,— донесся до меня голос из водяной пучины,— ты потомок королей, хотя скипетр уже давно не в их руках и владеет им монарх из другого рода; ты родился язычником, теперь избери религию, какая тебе по душе, и, знаю, ею будет та, что процветает в сем королевстве, принадлежавшем твоим предкам; изгнав тебя из моих владений, я поступил справедливо — я не могу допустить, чтобы предалась греховной любви нимфа, посвятившая мне свою невинность взамен за опеку и покровительство; живи отныне в мире, который тебе ближе, и верь — я всей душой желаю тебе удачи и буду постоянно тебе помогать.

Голос умолк, и река, на миг разбушевавшись, тотчас успокоилась, будто ничего не произошло; я огляделся и увидел, что нахожусь в огороде, на грядке с петрушкой; сочтя это доброй приметой, я решил назвать себя соответственно и позже, приняв крещение, взял себя имя дон Педро Хиль де Галисия, по названию королевства, где правили мои предки, чей род, как узнал я из достоверных преданий, угас четыреста лет тому назад. Вот кто я и почему именую себя «граф де Огород», полагая, что там моя вотчина и что человеку столь знатного рода не подобает жить без титула, как простому идальго. Свое имя я назвал, о своих предках объявил, и ежели, о благородный маркиз, я достоин служить сей дивной красавице, сей чаровнице очей и храму всех совершенств, жду на то соизволения вашего, надеюсь на согласие ваше; внезапно вспыхнувшая страсть молит вас не отказать, в противном случае я лишу себя жизни, и тогда погибнет славнейший рыцарь Европы и самый знатный родственник нашего католического короля Филиппа.

На том он закончил свою речь, сопровождавшуюся такими страстными вздохами и нелепыми гримасами, что маркиз и красавица дочка с трудом удерживались от смеха. Фелисиано только диву давался, до чего доводит любовь,— умнейший человек, чье суждение в военных делах почитали непререкаемым, изображает безумного и строит из себя шута, чтобы ближе познакомиться с дамой и начать ухаживать за ней. Когда маркиз несколько успокоился—его прямо-таки трясло от сдерживаемого смеха,— он сказал:

— Сеньор дон Педро Хиль, славный и буйноцветный граф де Огород, с величайшим удовольствием слушал я рассказ о вашей особе, о необычном вашем рождении и воспитании, и когда б он исходил не из уст столь почтенной особы, я, право, подумал бы, что вы плетете небылицы, вроде тех, какие изобретают сочинители рыцарских романов, где мужчины и женщины силою волшебства живут по пятьсот лет; однако я не могу не поверить столь благо-огородному кабальеро, да еще с графским титулом, который придает блеск и внушает почтение; ваши достоинства покорили меня, я

постараюсь до конца своих дней сохранить вашу дружбу и сожалею лишь о том, что я не житель сего края,— тогда я мог бы постоянно находиться вблизи вас; но, сколько пробуду здесь — а сие зависит от воли императора,— я всегда к вашим услугам; что ж до моего согласия, чтобы вы служили Маргарите, даю его не обинуясь, а ей дозволяю принимать ваши услуги, столь для нее лестные; однако знайте, она помолвлена со своим двоюродным братом, уже послали в Рим за разрешением, и как только оно прибудет, состоится свадьба; преграда эта, надеюсь, не позволит вам преступить границы; весьма огорчен, что не знал вас раньше,— тогда бы, через столь знатного зятя, моя фамилия имела бы честь породниться с королями Галисии; обычно ухаживанье имеет целью брак, тут это невозможно, а без такой цели будет мало радости и вам, и жениху, что ждет Маргариту.

Слушая слова маркиза, наш ряженый кабальеро бурно вздыхал и сокрушался, что еще больше забавляло окружающих; они уже не могли сдержать хохота, особенно же смеялась прекрасная Маргарита, хотя и ей, и отцу ее было жаль, что такой красивый, статный юноша совсем потерял разум и несет ахинею, будто родился пятьсот лет назад и был извергнут рекой Силем.

Присутствовавшие при разговоре носильщики кресел стали высказывать свои сомнения, и пока дон Педро им отвечал, маркиз тихонько шепнул дочери, что у него появилась мысль взять дона Педро в столицу,— пусть забавляет их своими рассказами и чудачествами, а они будут и впредь обходиться с ним как с важной персоной; кстати, слуга подтвердил дворянское происхождение своего господина и объяснил, что рехнулся он, перенесши тяжкую болезнь. Красавица Маргарита согласилась с предложением отца, но сообщить об этом самому чудаку решила при следующем его визите. На прощанье дон Педро Хиль заявил маркизу, что, коль чувствам его не суждена награда в брачном союзе с красавицей, он все же умоляет не лишать его блаженства любить ее любовью чистой и целомудренной, такой, что и у супруга не вызовет подозрений.

Маркиз дал на то соизволение и пригласил отужинать с ними вечером, он-де должен кое-что сказать графу; дон Педро поспешил согласиться и откланялся.

Долго толковали маркиз и его слуги о доне Педро, дивясь его чудачеству и нелепому бреду, причем маркиз сообщил, что хочет просить безумца поехать с ними в столицу. Хозяин гостиницы, оказавшийся при этом, сказал:

— Я сильно сомневаюсь, чтобы дон Педро Хиль вас послушался, ежели вы намерены обходиться с ним как с нижестоящим,— он на редкость чванлив и обидчив; а хоть и даст согласие, так сразу же найдет, к чему придраться — мол, ваша светлость путешеству-

ет в креслах, а ему придется ехать верхом, и он, мол, не может с этим примириться.

— Дело это поправимое,— сказал маркиз,— пусть Маргарита ему прикажет ехать рядом с ее креслами и ее развлекать; коль его любовь еще не исчезла, отказаться он не сможет, и мы дадим ему отличного мула, которого я держу в пути на тот случай, когда, устав сидеть в креслах, захочу поездить верхом, поразмяться; мул этот ходит в особой, богато изукрашенной сбруе, я надеюсь, граф от него не откажется.

Так и порешили, а когда свечерело и дон Педро Хиль явился с визитом, маркиз встретил его весьма радушно; гостя усадили рядом с красавицей Маргаритой, что было для него величайшей честью, началась беседа о том о сем, и маркиз отметил, что чудак обладает умом незаурядным, однако расстроенным, о чем свидетельствовали нелепые словечки, которые дон Хиль не без труда то и дело вставлял, стараясь произвести впечатление помешанного. Ужин прошел весело, так как дон Педро, не переставая, отпускал остроты и давал прозвища окружающим, что всех забавляло. Когда же убрали со стола, маркиз сказал дону Педро:

— Сеньор граф, как жаль, что особа, одаренная столь многими достоинствами ума, прозябает в этом маленьком городке, а не является украшением и гордостью славной столицы государя Испании; я уже знаю, что лишь недостаток средств мешает вам туда отправиться, хотя вы этого более чем достойны; познакомившись с вами, я вас полюбил и был бы весьма рад, если бы ваше сиятельство соизволили принять мое приглашение и поехали со мною в Вальядолид, где вы будете жить у меня в доме, окруженный подобающей такому человеку роскошью, которая вам ничего не будет стоить; находясь в столице, вы явите всем великие ваши достоинства и найдете супругу под стать себе, из знатной семьи и богатую,— сама Маргарита поговорит со знакомыми ей девицами, чтобы склонить их к браку с вами; прошу не отказать в этой милости и поехать со мною — чистота и искренность любви вашей к Маргарите убеждают меня, что ваше присутствие не будет неприятно ее будущему супругу. Жду вашего ответа, и дай бог, чтобы он был таким, какого заслуживают моя склонность к вам и благие намерения.

Дон Педро заметно обрадовался; его замысел и впрямь удался как нельзя лучше: он поедет с маркизом в качестве гостя, будет вблизи обожаемой своей госпожи. И ответил он так:

— Сиятельнейший сеньор, лишь эта моя любовь и расположение к вашей светлости могут заставить меня покинуть сей городок, где я намеревался в уединении окончить дни свои, ибо когда граф вынужден вести подобающий его знатности образ жизни,

но имеет для этого слишком ничтожные доходы — обычная беда в злополучное наше время,— самое для него лучшее удалиться туда, где все и так знают, кто он, хотя бы он ходил без оравы слуг и имел лишь один скромный костюм; в жизни не уехал я бы из этого городка, однако велика сила ваших настояний и дивной сей красоты, покоряющей сердца, подобно тому как фракиец Орфей сладкозвучной своей лирой покорял диких зверей, растения и камни; с нынешнего дня я принадлежу вам; не стану говорить о том, какое обхождение приличествует особе моего ранга, ибо мое королевское происхождение и титул вам уже известны. Дозволив мне таким образом служить вашей красавице дочери, вы оказываете мне высочайшую милость, и я принимаю ваше предложение с превеликой охотой.

Стали обсуждать подробности дальнейшего путешествия, и маркиз предложил дону Педро Хилю, чтобы тот ехал рядом с креслами Маргариты на муле, которого маркиз ему дарит; дон Педро с готовностью согласился, также и маркиз был рад, видя, что истинная любовь заставила чудака забыть о дорожных удобствах,— ведь все полагали, что дон Педро захочет путешествовать в креслах, как сам маркиз, или вовсе не поедет. Так и договорились, а на следующий день дон Педро помог Маргарите усесться в кресла, ликуя, что она принимает его услугу и опирается на его руки; этой радости хватило ему на весь путь от Понферрады до Вальядолида.

Разговоры дона Педро в дороге, нежные речи и шутки веселили прелестную Маргариту, и на каждом постоялом дворе она повторяла своему отцу, как ей приятно, что с ними едет дон Педро де Галисия. Во время последнего переезда дон Педро решил выведать у своей дамы, радует ли ее мысль о предстоящем браке; он подвел разговор к этой теме, чтобы вопрос не прозвучал некстати, и, как все удрученные горем, готовые поделиться с любым, находящимся вблизи, Маргарита, хоть и знала о странностях дона Педро Хиля, на его вопрос, охотно ли она идет замуж, ответила так:

— Сеньор дон Педро Хиль, кузен мой Леопольд, нет сомнения, обладает достоинствами, за которые его можно полюбить; однако я нахожу в нем один недостаток, мне неприятный,— он слишком охоч волочиться за женщинами, невзирая на их положение, на то, знатны они или низкого рода; и это сильно омрачает радость, которую мне должен доставить наш союз; но возможно, что поведение Леопольда улучшилось после того, как он меня видел в Испании, и наша встреча обуздала его нрав, чтобы я могла любить его по-настоящему. А все же одному богу известно, с каким страхом я смотрю на это замужество,— ведь если уже с начала встречаешь подобные огорчения, чего ждать в дальнейшем? Покорность отцу и сознание того, что для дома нашего этот

брак желателен, не позволяют мне нарушить родительскую волю, я решилась и теперь только молю бога, чтобы моя нежность заставила жениха исправиться, когда он лучше узнает меня.

Дону Педро хотелось бы видеть в Маргарите меньше покорности и готовности к браку — тогда он мог бы питать больше надежд, чем ныне сулили ему слова красавицы. Однако он отвечал ей весьма разумно: старался оправдать ее кузена, сказал, что она может надеяться на его исправление, а в душе задумал как можно решительней вести атаку и объясниться при первом удобном случае. В этот день они прибыли в Вальядолид, причем на полпути от последней остановки их встречал Леопольд. Маркиз и его дочь приветствовали юношу с большой радостью, но для ряженого дона Педро радость была невелика — глядя на статную фигуру и красивое лицо Леопольда, он испытал жгучую ревность и стал сомневаться в успехе своей затеи.

Маркиз представил племяннику дона Педро в таких выражениях:

— Познакомьтесь, сеньор племянник, с этим кабальеро, что любезно сопровождает нас от самой Галисии; его ум и прочие достоинства заслуживают самого радушного приема, каковой я и оказал ему; в жилах его течет королевская кровь, титул его — граф де Огород, а владения столь обширны, что в любом краю находятся покорные ему вассалы.

Леопольд уставился на дона Педро и, по его костюму, а также по имени и титулу, заключил, что это, видимо, какой-то потешник, которого маркиз везет с собой веселья ради. Чтобы в его присутствии не портить маркизу шутки, Леопольд, обернувшись к дону Педро, сказал:

— Весьма польщен, сеньор граф, знакомством с вашей милостью, и особенно приятно мне, что вы оказали такую любезность моему дяде — маркизу и моей кузине; вместе с ними я объявляю себя вашим слугой и другом; раз они столь высоко оценили ваши достоинства и таланты, мне остается лишь последовать их примеру.

Дон Педро поблагодарил за лестные слова и ответил Леопольду следующее:

— Все, что имеет отношение к прекрасной Маргарите, для меня чрезвычайно дорого; так же дорога будет впредь для меня и ваша милость, и я желал бы удостоиться чести, чтобы вы распоряжались мною все то время, пока сеньору послу будет угодно держать меня в своем доме.

— Как? Нам даровано и это благо? — спросил Леопольд.— Нет слов выразить мою радость от того, что вы, оказывается, будете нашим домочадцем.

— Не знаю, уж как вы с ним поладите,— сказал маркиз.— Ведь сеньор дон Педро Хиль страстно влюблен в вашу кузину, благодаря этой любви и состоялось наше знакомство. Правда, он меня заверил, что, узнав о намеченном браке Маргариты, он будет ее любить любовью брата, и в качестве такового поехал с нами.

— Все это правда,— сказал дон Педро,— и у вас не должно быть никаких опасений; не то, если б я вас не предупредил, вы, пожалуй, могли бы встревожиться, и не только вы, но сам Нарцисс, ибо никто в мире не способен соперничать со мною в изяществе и остроумии.

— Именно такое мнение,— сказал Леопольд,— и создалось у меня с первого же взгляда на вас; итак, полагаясь на ваше слово, я буду спокоен, а без него мне и правда было бы страшновато.

Они приехали в столицу, и там, в доме, где должен был расположиться посол, застали множество дам, ожидавших его красавицу дочь. Маргариту, когда она сошла на землю, подхватил в объятия ее нареченный, что было новой пыткой для влюбленного дона Педро, уже всерьез ревновавшего. Вечером был устроен роскошный ужин для всех собравшихся встречать иностранных гостей — об этом позаботился галантный Леопольд, начавший с первого же дня расточать любезности.

Жил этот кабальеро в доме посла, и там же отвели превосходную комнату дону Педро, словно не как шута его привезли, а как почетного гостя,— по мнению маркиза, это было удобней, чтобы дон Педро мог в любой час веселить его и его свиту; сам же дон Педро после ужина удалился на покой, немало озабоченный тем, что в затеянном им деле оказалось столько трудностей, и сильно сомневаясь в успехе; среди многих препятствий главным казалось ему решение Маргариты повиноваться отцу, хотя нравы кузена были ей известны. Слуга дона Педро, Фелисиано, тоже не прибавил ему бодрости, а, напротив, упрекал за безрассудство— за намерение явиться в столицу в облике шута — ради цели явно недостижимой; оба провели в спорах да разговорах большую часть ночи, дон Педро решил поскорей объясниться Маргарите и, коль она отнесется к этому неблагосклонно, возвратиться в Галисию.

Шесть дней продолжались визиты кабальеро и дам, являвшихся свидетельствовать почтение маркизу и его дочери, и все это время дон Педро оживлял беседы бесчисленными остротами, которые очень нравились и повторялись всеми; в столице пошел слух, что приехал чрезвычайно забавный шут, равного которому здесь еще не видывали. Кое-кто советовал послу повести его во дворец — королю, мол, этот шут придется по душе; услыхал об этом дон Педро и сильно разгневался; он сказал, что особы его

ранга, не будучи уверены в том, окажет ли король прием, подобающий их могуществу и знатности, не должны рисковать, чтобы потом не обижаться за холодный прием. Посол, услыхав, что он отказывается, и не желая его раздражать, решил выждать более удобного случая, когда дон Педро будет в лучшем расположении.

Случилось так, что занемогли двое слуг Леопольда, его поверенные в амурных похождениях, а он, хотя мог бы воздержаться от своих привычек на то время, пока надо было оказывать внимание Маргарите, вовсе не думал об этом, но лишь о своем удовольствии; вот он и решил выходить на ночные прогулки в обществе Фелисиано, зная того как человека сильного и надежного; три или четыре ночи подряд приходили они с Фелисиано в один дом и покидали его уже к утру; Фелисиано, хоть и заходил внутрь, но сперва не любопытствовал, кто хозяин этого дома, и лишь на третью или четвертую ночь, любезничая со служанкой, которая была не прочь последовать примеру госпожи, он спросил, кому принадлежит дом и кто эта дама, пленившая Леопольда.

Любовь — плохой хранитель тайн; к тому же служанка, ясное дело, выболтает все, о чем ее ни спросят; Фелисиано услыхал, что дом принадлежит тетке его господина и что дама, с которой наслаждался Леопольд, это сестра дона Педро,— правда, Леопольд дал ей слово, что женится, и продолжал это обещать, так как его дама, живя очень уединенно, знать не знала о предполагаемом браке Леопольда с его кузиной. Узнав такую новость, Фелисиано на другой день поспешил ее сообщить своему хозяину; велико было изумление дона Педро и негодование против сестры, хотя поведение Леопольда, с которым отныне связала его судьба, породило в нем надежду, что все это может облегчить его задачу,— ему было ясно, что, пока он жив, он, дворянин, равный Леопольду по знатности, не допустит, чтобы тот женился на другой женщине, кроме как на его сестре, которой обязан вернуть честь. Чтобы придать событиям нужное направление, дон Педро велел Фелисиано сказать служанке о том, что Леопольд помолвлен со своей красавицей кузиной, да всячески расписать ее красоту, чтобы служанка поспешила передать это его, дона Педро, сестре, а сам решил ждать, как та ответит на оскорбление.

Все пошло по-задуманному, и на следующую ночь донья Бланка (так звали сестру дона Педро), уже обо всем уведомленная, имела с Леопольдом длинное объяснение — причем Леопольд решительно отрицал, что помолвлен и что намерен жениться на кузине, и старался на этот счет успокоить донью Бланку. Она притворилась, будто поверила, решив про себя завтра разузнать все точно, и выпроводила Леопольда; тот ушел, очень довольный

тем, что его дама успокоилась, однако с намерением так скоро к ней не возвращаться и сказаться больным. В эту же ночь дон Педро узнал от Фелисиано, что произошло между доньей Бланкой и Леопольдом; он сильно огорчился, что сестра дала себя убедить бессовестному обманщику, но положил выждать еще два дня, посмотреть, как поступит сестра, и приказал Фелисиано наблюдать за ее домом.

На следующий день после разговора с Леопольдом Бланка, терзаясь ревностью, почувствовала, что не в силах дольше сносить неизвестность, и пожелала узнать о своем позоре из верного источника, от самого маркиза; она наняла карету и, прикрывая лицо, подъехала к его дому, да только в неудачный час — когда она взошла на галерею, чтобы попросить слуг позвать посла, ей встретился Леопольд; сразу узнав ее, он догадался, что она явилась не за чем иным, как известить посла о его, Леопольда, обещании жениться и показать его письма на этот предмет; так в действительности и было — донья Бланка накануне лишь притворилась, будто верит оправданиям Леопольда и его клятвам, что он и не думает жениться на своей кузине, а сама втайне решила завтра же узнать у посла всю правду. Леопольд ее приветствовал весьма любезно, но она глядела на него хмуро, что лишь укрепило его подозренья; сказав, что должен поговорить с ней о чем-то важном, он попросил ее пройти в комнату, где им не помешают; Бланка настаивала, что хочет вначале повидать посла, а Леопольд удерживал ее, уверяя, что посол-де занят чтением прибывшего из Германии письма от самого императора. И так горячо он ее убеждал поговорить с ним прежде, чем с послом, что Бланка наконец уступила; Леопольд тогда попросил дона Педро провести эту даму к себе в комнату, пока он, Леопольд, не найдет времени переговорить с ней, а сам поспешил подготовить дядюшку и кузину; лицо Бланки было прикрыто, и дон Педро не узнал ее, хотя по всему, что ему стало известно, заподозрил, что это его сестра; также и Бланка не узнала брата — слишком чудно́ он был выряжен, да к тому же в очках, делавших его неузнаваемым. Дон Педро провел сестру в свою комнату и, заперев ее там, вернулся узнать, как Леопольд намерен поступить с этой дамой; Леопольд же замешкался у дяди и послал слугу сказать дону Педро, чтобы тот занял даму беседой и извинился за него,— срочное, мол, дело мешает ему прийти к ней тотчас, но ждать ей придется недолго. Дон Педро вернулся в свою комнату и замкнул дверь изнутри, чтобы остаться с дамой наедине. А между тем Маргарита, узнав, что ее кузен беседовал в галерее с какой-то дамой, прикрывавшей лицо, и потом попросил дона Педро увести ее к себе, загорелась ревностью и решила узнать, кто эта незнакомка; сделать это ей

было нетрудно, так как ее комната сообщалась с комнатой дона Педро и ключ от дверного замка был у Маргариты; тихонько, чтобы никто не слышал, она отперла дверь, и как раз в это мгновенье в комнату вошел дон Педро — сестра его, не опасаясь, что ее могут увидеть, сидела с открытым лицом и ждала Леопольда. Она не успела прикрыться, как дон Педро, убедившись, что перед ним сестра, сказал ей:

— О женщина, недостойная носить благородное имя, унаследованное от предков, и называться моей сестрою! Возможно ли, что ты, позабыв о приличиях, поверив пустым обетам, явилась в этот дом унижаться и оглашать свой позор — умолять того, кто тебя забыл, убеждать того, кто подло тебя обманывает? Ежели, ослепленная любовью, ты так жаждешь этого союза, у тебя есть родственники, которым ты могла довериться, а не предавать, закрыв глаза, свою честь во власть человека, от которого можешь ждать лишь презрения,— ведь это видно по его поступкам, коль ты способна их оценить: расточая тебе лживые уверения, он в то же время готовится к браку со своей кузиной; любовь настолько заполонила тебя, что во всей столице лишь ты одна не знаешь об их помолвке. Когда бы не уважение к этому дому, я вот этим клинком лишил бы тебя жизни, дабы дать урок всем женщинам. Ужели ты настолько пренебрегаешь послушанием нашей тетушке, что позволила Леопольду войти в ваш дом? Ты решилась подвергнуть опасности свою честь, когда не уступаешь ему в благородстве и знатности? Твое счастье, что в это время я оказался в столице, хоть и выряженный шутом,— уж я позабочусь о том, чтобы Леопольд не насмеялся над тобой. Отвечай же мне, легковерная, до чего дошла ваша связь, чтобы я мог надежно поправить дело, и не вздумай скрывать правду — речь идет не менее как о твоей чести и жизни.

Удрученная донья Бланка слушала эти слова, потупив очи и проливая сверкавшие, подобно жемчужинам, слезы. Бедняжка была в таком горе, что долго не могла произнести ни звука, но наконец, повинуясь настояниям брата, вкратце поведала ему, как Леопольд, увидев ее на одном празднестве и воспылав страстью, узнал, где она живет, стал прохаживаться мимо ее дома, слать письма и, не скупясь на нежные слова, добился того, что она впустила его в дом; а затем, пообещав жениться и подтвердив это письменно и при свидетелях, удостоился и высших милостей. Итак, дама рассказала брату все, как было, и он, чтобы немного ее утешить, обнадежил ее, что заставит Леопольда выполнить обещанное.

Всю эту беседу прелестная Маргарита слышала, стоя в дверях, соединявших ее комнату с комнатой дона Педро, и была без-

мерно удивлена, что столь знатный человек, причем, как было видно по речам дона Педро, отнюдь не безумный, но вполне разумный, вздумал сделаться шутом и в таком облике появиться в их доме и в столице; причина этого превращения была ей непонятна, но смутная догадка, что, быть может, она, Маргарита, тому виною, закралась в душу; кроме того, ее возмутило двуличие Леопольда, который готовился вступить в брак с нею, дав письменное обязательство и клятву другой знатной даме; чтобы разрешить эти сомнения, Маргарита вышла из своего укрытия, где подслушивала разговор брата с сестрой; Бланка даже не успела закрыть плащом лицо, а ее брат — подавить свой гнев; однако, немного овладев собой, он сказал:

— Как? Вы были здесь в засаде, о чудо красоты, владычица души моей и царица дум? Вы предательски нападаете врасплох на нас, беспечных? Негоже это, ибо красота ваша, нежданно явившись взорам, может убить внезапной радостью, как порой убивает горе.

— Полно вам притворяться, любезный сеньор,— сказала Маргарита,— я уже знаю, что вы не тот, за кого себя выдаете, и что горю, гнетущему вас, более желанно страдать наедине, чем острить на людях; любопытство мое, сдобренное ревностью, обнаружило в вас бездну этого самого притворства, а в моем кузене Леопольде — куда больше хитрости, нежели можно было предполагать по его любовным клятвам; я хочу раз навсегда избавиться от недоумения и узнать решение загадки, вами заданной, от вас самих; но прежде я хотела бы, чтобы эта дама, ваша сестра, прошла в мою комнату, а вы сказали Леопольду, что она, не дождавшись его, ушла обозленная и не было, мол, никакой возможности ее удержать. Остальное предоставьте мне.

Она увела донью Бланку к себе и, утешая, сказала ей, чтобы та не отчаивалась,— все может обернуться куда лучше, чем она думает, видя презрение Леопольда и гнев брата. Оставив Бланку на попечение служанок, Маргарита вернулась к дону Педро, а тот, хоть вначале и был смущен ее появлением и тем, что она узнала о бесчестье его сестры, потом даже был рад, что ревность и любопытство Маргариты разоблачили его притворство и открыли ей истинный нрав ее кузена. Итак, приход красавицы Маргариты доставил дону Педро большую радость, и лицо его это ясно выразило; Маргарита велела ему сесть, уселась и сама и повела такую речь:

— С недавних пор меня осаждает столько сомнений и так я огорчена двуличным поведением кузена, что хочу искать у вас утешения и просить объяснить загадки, терзающие меня. Первая: почему вы живете вдали от столицы и слывете там человеком,

обделенным судьбою? Вторая: как это вы решились в облике шута, потешника, появиться в городе, где обитает близкая вам и столь достойная особа, а именно донья Бланка, сестра ваша? Ведь если знатность ваша такова, как я предполагаю, вы должны были подумать о том, что пятнаете свою честь, выдавая себя за фигляра и нелепого чудака, одеваясь в шутовское платье и забавляя людей смешными выходками; уверена, что вы решились на это по какой-то весьма важной причине, и желаю, чтобы вы мне ее открыли и избавили от многих подозрений.

Прекрасная Маргарита умолкла, и дон Педро, повинуясь ее желанию, начал свой рассказ:

— Очаровательная сеньора, вам, конечно, известно, хоть на себе вы этого не испытали, что Купидон — всевластный бог, а потому каждый из смертных, в ком он зажжет огонь страсти, ищет способы, изобретает уловки и пробует разные пути, чтобы ее удовлетворить; крылатый этот бог, кому несут вассальную дань все уязвленные его убийственными стрелами, поразил одною из них мою грудь, когда я узрел божественную красоту вашу в Вильяфранке, родном моем городе; я расспросил, кто вы, узнал, что намерены вступить в брак и что отец ваш этим весьма доволен, а вы не слишком, ибо знаете нрав Леопольда, подтверждение чему я услышал затем из ваших уст; это меня ободрило, и, хотя дело о вашем браке было решено, я решился попытать счастья, избрав столь необычный путь; я позабыл о своем сане, знатности, благородстве, превратился в шута, в одержимого манией чудака, только чтобы быть представленным отцу вашему и вам; счастье мне сопутствовало, затея удалась, однако почтение к вам не разрешало мне объясниться, к тому же я опасался, что вы не поверите, да и срок свадьбы вашей был близок; и тут беда, приключившаяся с моей сестрой, и ваша ревность все переменили. Узнайте же, что зовусь я дон Педро Осорио де Толедо и происхожу из знатного рода, в котором соединились фамилии Вильяфранка и Асторга; мою грудь украшает орденский знак Алькантара, пожалованный мне за многие военные заслуги, и я имею надежду вскоре получить энкомьенду. Теперь вам известно мое звание и дерзкая моя мечта. Хочу, наконец, еще просить прощения — любовь и небесная красота ваша служат оправданием моей затее, которая помогла вам узнать истину о женихе и обратила мне на счастье слабость моей сестры; человек, обязанный вернуть ей честь, исполнит свое слово, либо я не буду жив.

Очень удивил Маргариту рассказ ряженого влюбленного, она не могла не признать и не оценить его чувства, и сердцем уже склонялась к нему, будучи оскорблена и возмущена поведением кузена. И ответила она так:

— Сеньор дон Педро, по такой ничтожной причине, как моя весьма заурядная красота, вы решились на шаг, опасный для вашего имени и положения; ценю ваш пыл и не стану вас винить, хотя, по моему мнению, достоинства ваши заслуживают лучшего применения, чем любовь ко мне. Я глубоко огорчена пренебрежением, которое выказал мне кузен, и поплатится он тем, что меня потеряет,— я вправе думать, что если человек накануне свадьбы не может сдержать себя, он этим показывает, что вовсе не рад женитьбе на мне; какое счастье, что я узнала правду до того, как завязан узел, развязать который властна лишь смерть; теперь мне известны и нрав кузена, и его отношение ко мне, известно также ваше, и, клянусь, я не забуду, чем вам обязана.

Дон Педро хотел было припасть к ее стопам, но Маргарита ему не позволила; глубоко тронутый, он поблагодарил за оказанную и обещанную милость, а что они вдвоем тут порешили, о том вы услышите дальше.

Маргарита отправилась попотчевать гостью и привести в исполнение то, что ей посоветовал дон Педро. А влюбленный кабальеро дождался прихода Леопольда, тот явился примерно через полчаса после возвращения дона Педро в свою комнату и спросил, где же дама, оставленная на его попечение. В ответ он услыхал, что дама, рассерженная его опозданием, ушла и никакими уговорами дон Педро не мог ее удержать.

— Вот и хорошо, что я опоздал,— сказал Леопольд.— Благодаря этому исполнилось мое желание — чтобы эта женщина, вздумавшая преследовать меня, покинула наш дом; да еще повезло, что она не встретилась с дядюшкой, не то у них был бы пренеприятный разговор.

Дон Педро с обычным своим остроумием задал ему несколько вопросов, чтобы еще кое-что выведать; Леопольд не был до конца откровенен, однако мысли его были ясны дону Педро, и он был так возмущен пренебрежением к своей сестре, что едва удержался, чтобы не заявить об этом с обнаженной шпагой.

Маргарита же, вернувшись к Бланке, расспросила подробней о ее любовной связи, увидела собственными глазами брачное обязательство и снова поразилась двоедушию Леопольда. Затем она послала за своим отцом и, когда тот явился, сказала ему наедине:

— Всегда было для родителей добрым установлением выдавать дочерей замуж с их согласия, ибо негоже, если в союзе, заключаемом на всю жизнь, нет любви; многие надеются, что с переменой жизни нрав мужчины изменится, однако это случается весьма редко, а потому неосторожно поступает тот, кто, боясь ослушаться, закрывает глаза и идет на риск; но еще более неосторожен тот,

кто вступает в брак, зная точно, что это не принесет добра. Отец и господин мой, я всегда была вам покорной дочерью и не смела нарушить вашу волю, хоть знала, что нравы Леопольда настолько чужды моим, что союз наш не сулит ничего хорошего; я повиновалась, зная, что могла бы встретить мужчину, который пришелся бы мне больше по сердцу и не уступал бы ни в знатности, ни в богатстве; все лишь потому, что видела ваше желание устроить этот брак. После помолвки послали в Рим за разрешением, и в это время, когда любовь и нежность моего кузена должны были, казалось, быть в самом разгаре, он ведет себя очень странно — дает обещание жениться даме, которую вы сейчас сможете увидеть воочию.

Тут она позвала донью Бланку, находившуюся у нее в комнате. Та зашла, села рядом с ними двумя, и Маргарита продолжила так:

— Вот этой даме, сеньор, дал мой кузен письменное обязательство жениться и тем убедил пожертвовать своей честью; она привезла сюда этот документ, а когда хотела поговорить с вами и поведать о своей обиде, ее задержал Леопольд и, чтобы не пустить к вам, запер в комнате нашего гостя; мне об этом стало известно, а как я немного любопытна, то через дверь, ведущую в его комнату из моей, подслушала беседу, которая мне все открыла; я вошла к гостье и забрала ее к себе, чтобы сообщить вам все то, что вы от меня услышали. Род этой дамы весьма знатен, в нем сочетались Осорио и Толедо, две знаменитейшие в Испании фамилии; она намерена прибегнуть к поддержке своих родственников — а они здесь, в столице, весьма влиятельны,— чтобы воспрепятствовать моему браку. До сего дня я повиновалась вам, как отцу, но отныне вы сами не захотите, чтобы я следовала вашей воле; скорее я приму постриг в самом бедном здешнем монастыре и останусь там до конца дней, чем соглашусь быть женой моего кузена.

С изумлением слушал посол слова дочери; он взглянул на письмо, принесенное доньей Бланкой, убедился, что этой причины более чем достаточно для отмены уже назначенной свадьбы, и отдал распоряжение прекратить все приготовления, а племяннику — переехать в другой дом, чтобы не жил с ними вместе. Выпроводив дам, маркиз призвал Леопольда, показал ему письмо с брачным обязательством и спросил, знает ли он, чей это почерк. Смущенный и побледневший, Леопольд стал открещиваться от письма, но посол сказал, что все, мол, увертки напрасны, сейчас он возьмет другие письма Леопольда и, сопоставив их, докажет, что подпись одна и та же. В конце концов Леопольд признался, что написал это письмо, будучи ослеплен страстью, но что он и не

«Севильская Куница».

думал исполнить обещание, хотя бы это стоило ему жизни. Весь разговор слушал дон Педро, спрятавшись в укрытии,— теперь он был одет в другое платье, весьма роскошное, со знаками ордена Алькантара на кафтане и на плаще. Слыша такие слова Леопольда, он, решив, что время настало, вошел в комнату и сказал:

— Сеньор Леопольд, вам бы следовало подумать, прежде чем говорить, и вспомнить о звании оскорбленной вами дамы; по знатности она равна вам, она моя сестра, и мне надлежит оказать ей поддержку и защиту, коль вы не исполните своего обещания; вот на этой перевязи моя шпага, и я сумею заставить вас сдержать слово, а не то — прощайтесь с жизнью.

Леопольд возразил, что он по этому поводу обдумал все, о чем должен был думать, и что никакие угрозы не вынудят его сделать то, к чему у него нет охоты. Дон Педро, придя в ярость, вызвал Леопольда на поединок; ссора разгоралась все пуще, вбежали дамы и бросились разнимать, приказав запереть все двери, чтобы мужчины не могли выйти из дому. Во всей этой огорчительной суматохе посол сперва не узнал дона Педро в роскошном костюме, орденском плаще и без его неизменных очков, а решил, что этот человек явился следом за своей сестрой; но, приглядевшись, маркиз понял, что вызывает на дуэль его племянника тот самый дон Педро, которого он держал за шута. Маргарита заметила, как неотступно смотрит на него ее изумленный отец, и, догадавшись о причине этого, молвила:

— Отец мой, человек, которого вы видите перед собой, еще недавно был одет в совсем другой и препотешный наряд; да, нас веселил своими шутками не кто иной, как дон Педро Осорио де Толедо; уймите ссору, и вы узнаете, что побудило его явиться в таком облике.

Посол еще пуще удивился и, наверное, потребовал бы у дочери объяснений, когда б не стычка обоих кабальеро, обнаживших шпаги и готовых обратить комнату в ристалище. Ласковыми словами стал маркиз убеждать племянника не отказываться от того, что составит для него прямую выгоду, ибо отказ повлечет за собой неисчислимые бедствия; и еще сказал, чтобы Леопольд на него не надеялся,— ему, мол, ясно, что племянник кругом не прав и нанес даме тяжкое оскорбление, а потому он, маркиз, выступит против него и поможет его противникам заставить его жениться. Что ж до Маргариты, то он, маркиз, должен его разочаровать и объявить, что она никогда не будет его женой, тем паче что ничем ему не обязана, но, напротив, глубоко оскорблена его бесстыдным поведением. Увидел Леопольд, что дело плохо, что все пути отрезаны и сама его жизнь под угрозой,— и пришлось ему согласиться с дядюшкой: он подал руку донье

Бланке и обнял ее брата, узнав наконец, кто это. Тут Маргарита открыла отцу, как дон Педро, влюбившись в нее, постарался под видом шута сблизиться с их семьей, и сказала, что чувствует себя обязанной вознаградить его за такую галантность, ежели отцу это будет угодно; маркиз с радостью согласился, Маргарита и дон Педро подали друг другу руки.

Итак, желание дона Педро исполнилось, свадьба была назначена через две недели, на нее собрался весь цвет столичной знати, было устроено шествие с факелами, и в завершение состоялись скачки. Король почтил обоих кабальеро своими милостями, и они вместе с женами прожили в Испании много лет в довольстве и радости.

Всей компании пришлась по вкусу новелла Гарсерана — так звали рассказавшего ее вора; позабавила она и Руфину, которая слушала из соседней комнаты. Отшельник Криспин вполне доверял своей гостье, и потому в эту ночь он и его дружки свободно обсуждали планы ограблений тех домов, о которых ворам было известно, что там есть, что красть; Криспин, как человек уважаемый и опытный, одни планы одобрял, другие отвергал ввиду разных препятствий, о которых напоминал честной братии; он был их главарем, и никто не смел ослушаться его приказаний. Пришел час ложиться, дележ добычи в этот вечер так и не успели устроить и порешили отложить до другого раза, а пока оставить все у отшельника, всегда сохранявшего краденое в целости.

Все улеглись, но Криспин, прежде чем лечь, захотел повидаться с Руфиной и пожелать ей спокойной ночи; встретила она его более любезно, чем прежде, и это его весьма утешило. Криспин спросил, понравилась ли ей новелла; Руфина ответила, что очень и что, доведись ей выслушать еще несколько таких же занятных, она бы, пожалуй, избавилась от меланхолии.

— Не унывайте, душа моя,— осмелился сказать лицемерный отшельник,— таких развлечений будет у вас тут вдосталь, и прибыль тоже ждет вас немалая, коль умерите свою строгость.

Руфина подумала, что пора уже отказаться от суровости и уныния, и с той самой ночи стала приветливей с отшельником, готовясь почистить его кладовые. Криспин пошел спать, лелея надежду, что эта скала вскоре станет доступной,— главное ведь было сделано, личина святости была сброшена, и истинное его лицо открылось.

На другой день, еще до зари, мастера отмычки покинули хижину отшельника и отправились промышлять — грабить честной народ; Криспину надо было идти в город собирать подаяние,

он простился с Руфиной, и она попросила его разузнать, нет ли в Малаге ее брата, причем указала все приметы — лица и фигуры,— Гараю вовсе не подходящие; отшельник запер ее в хижине, но это Руфину не огорчило — у нее из Кордовы были привезены отмычки, приготовленные для замков генуэзца.

Итак, Руфина осталась одна, а с Гараем у них было уговорено, что как скоро он увидит в Малаге брата Криспина, то сразу же поспешит к ней; так он и сделал, приехав верхом на одной из двух лошадей, и застал дверь уже отпертой; Руфина вкратце рассказала Гараю о друзьях отшельника, о его чувствах к ней и о том, что у себя в хижине он прячет кучу денег, наворованных у добрых людей.

Руфине хотелось так обчистить Криспина, чтобы у него и монетки не осталось; она велела Гараю поскорей вернуться в город и раздобыть там снотворные порошки, да понадежней,— они, мол, ей нужны для проделки, которую она хочет устроить с Криспином,— и чтобы впредь Гарай каждую ночь со своей лошадью был на карауле вблизи кельи, в месте, которое она ему указала, видном из окошка хижины. С этими наставлениями Гарай мигом слетал в Малагу и успел привезти Руфине порошки до прихода Криспина — тот целый божий день бродил, собирая милостыню, и домой возвращался уже затемно. На сей раз его приход был встречен Руфиной с радостью, она наговорила ему всяких нежных слов, необычайно его тронувших,— с каждой минутой его любовь к прелестной гостье разгоралась все жарче; Криспин показал ей, сколько он насбирал доброхотных пожертвований, да кстати кое-какие вещички, которые ему удалось стянуть без ведома хозяев,— два серебряных кувшина да жемчужное ожерелье,— эта пожива досталась ему у ротозеев, не подозревавших, на какие штуки способен Криспин; ожерелье он тут же подарил Руфине и, рассыпаясь в любезностях, заставил его надеть. Она поблагодарила за подарок, оба отужинали в самом дружеском расположении, а на десерт состоялась нежная беседа; Криспин не слишком огорчился, услыхав от Руфины лишь обещания; он был уверен, что они верный залог его счастья в недалеком будущем.

На следующую ночь у воров было условлено собраться на совет, но Криспин этому всеми силами противился, уверяя, что добыча спрятана у него надежно, как в могиле, и что незачем, мол, спешить с дележом; ему в этот раз вовсе не хотелось видеть своих приятелей, и он придумал хитрость — когда они придут, он скажет, что им тут нельзя оставаться, из города, мол, ему сообщили, что стража разыскивает какого-то убийцу и что в этом случае не остановится даже перед тем, чтобы схватить его в святом

убежище; и он, Криспин, боится, как бы не явились в его келью и не накрыли кое-кого из их шайки, уже известных правосудию и разыскиваемых. Люди этого сорта легко верят подобным слухам; вот и теперь воры поверили своему главарю и быстренько убрались из кельи, так что Криспин остался наедине со своей дамой — она обещала в эту ночь его осчастливить, и он, сам не свой от восторга, не мог дождаться минуты, когда красавица вознаградит его любовь. Настал час ужина, поставить на стол у них было что — Криспин накануне принес много дичи для этого пиршества да припас целехонький мех чудесного вина, лучшего, какое нашлось в Малаге. Он приготовил дичь с помощью Руфины, которая охотно взялась за стряпню, затем они накрыли на стол и стали весело пировать; тосты шли один за другим, Руфина наша была виночерпием, причем ухитрялась сделать так, чтобы в бокале Криспина всякий раз оказывалась толика снотворного порошка; святой отшельник пил по-богатырски, и вот наконец сон одолел его; Руфина, чтобы проверить, крепко ли он спит, подергала его за нос, за уши, но с таким же успехом она могла бы теребить бесчувственный труп; убедившись, что Криспин не проснется, она спустилась в подвал и вынула из стоявших там сундуков все деньги, а было их там немало, потом ссыпала монеты в холщовые мешки, которые крепко связала веревками и засунула в кожаные,— эти последние были вместе с деньгами украдены у одного скототорговца и поставщика бойни.

Управившись с монетами, Руфина вышла из кельи и подала условный знак Гараю; тот поспешно подъехал, Руфина рассказала ему, как обстоят дела; мешки с деньгами они вытащили наверх, но драгоценности, к великому их сожалению, пришлось оставить— ведь по этим дорогим вещицам их могли бы обнаружить, и тогда пошли бы насмарку все их труды. Не теряя времени, навьючили они мешки на одну из лошадок, сели сами верхом и поехали в Малагу, очень гордые тем, что сумели так ловко обчистить самого хитрого вора во всей Европе. В Малаге остановились на постоялом дворе, где жил Гарай, но Руфина ни в этот вечер, ни на другой день не показывалась постояльцам. Ей было известно, что воры со своим главарем Криспином договорились собраться на следующее заседание через четыре дня, и она придумала устроить им каверзу, о которой вы узнаете в дальнейшем,— а сейчас меня зовет Криспин, которого мы покинули спящим.

Проспал он всю ночь прямо у стола, за которым ужинал, и проснулся, когда солнце уже стояло высоко; ничего не подозревая, он окликнул Руфину и тут же вспомнил, что неодолимый сон помешал ему накануне воспользоваться случаем, о котором он столько мечтал; вконец расстроенный, Криспин стал громко

звать свою гостью, но хитрой бабенки и след простыл; бросился он искать ее по всему дому, в часовне и в подвале, потом выбежал во двор и, к великому своему изумлению, увидал, что ворота заперты; Криспин испугался, не приключилась ли с Руфиной какая беда, снова кинулся ее разыскивать и обнаружил, что сундуки отперты и денег там нет. Только теперь понял Криспин, что его ограбили и что устроила это Руфина, но ему подумалось, что она вряд ли решилась уехать ночью и, наверно, скрывается где-то поблизости. Обыскал он каждый уголок вокруг кельи, да все напрасно; пришлось ему эту пилюлю проглотить, как ни обидно было, что его, такого матерого вора, перехитрила слабая женщина,— сомнений не было: все, что ни говорила ему Руфина, было придумано с целью его ограбить. В тот же день он отправился в Малагу, надеясь застигнуть ее там. В городе он, правда, встретил Гарая, но так как никогда того не видел и не знал в лицо, все его розыски были тщетны.

Руфина и Гарай меж тем готовились к отъезду в Кастилию, но плутовка наша хотела перед отъездом учинить еще одну пакость лицемерному отшельнику. Она знала, в какой день должен был состояться совет и заседание грабителей в келье Криспина и что вся их воровская шайка будет в сборе у этого негодяя; безо всякого риска для себя она могла указать властям хижину Криспина, чтобы всех их накрыли и покарали, как того заслуживали их преступленья. Итак, Руфина написала донос коррехидору, сообщила место и время, где их можно схватить, после чего они с Гараем покинули Малагу, держа путь в Толедо. Предоставим же обоим ехать своей дорогой и скажем, что как только коррехидор получил письмо, он принял должные меры и, дождавшись темноты, отправился со своими людьми к келье; ее без шума окружили, коррехидор вошел вовнутрь и обнаружил Криспина, никак не ожидавшего такого гостя. Обыскали дом, спустились в подвал, а там-то и сидела вся шайка; там же нашли веревочные лестницы, отмычки, крюки — словом, все принадлежности воровского ремесла, и еще увидали в сундуках серебряную утварь и драгоценности — бесспорные улики того, какого рода занятию посвятили себя эти праведные люди. Коррехидор приказал всех их схватить и крепко связать им руки; Криспин был так перепуган, что слова не мог ответить на вопросы коррехидора, и тот ему сказал:

— Негодяй, подлый лицемер, под личиной святого совершавший преступления! Неужто для твоего пропитания мало было тебе обильных подаяний, на которые добрые люди не скупились и которых вполне бы хватило, чтобы жить в достатке и в уединенном сем приюте служить господу богу нашему? Но нет, ты не погнушался заняться самым подлым ремеслом на свете! Теперь

ты в моих руках, и выпущу я из них тебя и твоих дружков только на виселицу.

Воров увели, вскоре состоялся суд, и их присудили к смерти, ибо все они сознались во многих преступлениях; причем винили во всем Криспина,— он-де сообщал им, где что красть, и отпирал двери домов. Сам Криспин с твердостью выдержал атаки и все начисто отрицал; это не спасло его от смертного приговора, но из тюрьмы он все же сумел улизнуть. После суда его свалила с ног сильнейшая лихорадка — исполнение приговора над ним пришлось отложить, хотя соучастников всех повесили сразу же. И вот, в тот день, когда Криспина уже должны были повести на бдение перед казнью, он умудрился среди бела дня выйти из тюрьмы в женской одежде; много шуму наделал этот побег и много неприятностей смотрителю тюрьмы, которого продержали в застенке не один день, обвинив в том, что он выпустил преступника за взятку; но ему удалось оправдаться, указав властям человека, что доставил Криспину женское платье, и тот был отправлен на галеры.

КНИГА IV

Между тем Руфина и Гарай, едучи без задержек и везя с собою целое сокровище, прибыли в императорский город, где собирались поселиться; Руфина мечтала повести в Толедо жизнь на широкую ногу и, чтобы придать своему дому более почтенный облик, выдавала Гарая за своего отца; они сняли хороший дом в богатом околотке, завели слуг — одну рабыню купили еще в Малаге да здесь наняли служанку, пажа и эскудеро; Руфина ходила во вдовьем чепце, Гарай, приобретя приличный костюм, назвался доном Херонимо, и она — доньей Эмеренсианой; фамилию они себе придумали Менесес и говорили, что происходят из древнего рода, славного в Португалии; уладив все эти дела, Руфина принялась закупать утварь, подобающую дому знатной вдовы, ее стали посещать жившие по соседству дамы и весьма были довольны ее угощеньями и приветливостью; с несколькими она даже подружилась; эти были уверены, что блеск Руфины — чистое золото и что она и впрямь происходит из благородной семьи Менесесов. Руфина часто ходила в собор, показывалась перед праздными юнцами; все считали ее недавно прибывшей в город важной дамой, и так как личико у нее было смазливое, то вскоре появились обожатели, усердно гулявшие по ее улице. Пока Руфина разузнает, кто из них побогаче, чтобы на нем испробовать свое коварство, мы оставим ее и страждущих от любви щеголей и вернемся в Малагу, где, как мы знаем, брат Криспин недавно улизнул из тюрьмы.

Впрочем, выйдя на волю столь ловким способом, Криспин в Малаге не остался, а направился в соседний с городом лесок, провел там весь день, а как стемнело, подошел к келье, прежнему своему жилищу в ту пору, когда вся Малага почитала его за доброго христианина. Келья уже была отдана другому человеку, собиравшему по церквам пожертвования на приют, но он еще в ней не поселился, ждал, пока ее приведут в порядок. Итак, Криспин подошел к келье и, у южной ее стены, рядом с кучей камней — им же сделанной приметой,— принялся рыть землю колом, который смастерил в лесу, и докопался до припрятанного там мешка с толикой дублонов — ведь ему, как вожаку шайки, всегда доставалась при дележах лучшая доля. Прихватив эти дублоны — монет около пятисот,— он отправился в город Хаэн, где у него жил друг, тоже мастак в воровских делах; друг уже знал о побеге Криспина из тюрьмы, знал он и раньше, что Криспина посадили, и был тогда в великом страхе, как бы тот на кобыле не выдал его,— им приходилось не раз вместе отличаться в воровских набегах. Друг был очень рад появлению Криспина, хотя пришел тот в одних лохмотьях,— монашескую одежду у него отобрали, как у недостойного ее носить, а тюремное платье совсем истрепалось,— но эту беду быстро поправили: Криспин сразу же дал своему дружку денег, чтобы купить добротный цветной костюм,— и когда надел его да опоясался шпагой, стал вроде бы другим человеком; кстати, он сбрил себе бороду, которая в прежние времена доходила ему чуть не до пояса.

В новом этом наряде наш праведник Криспин покрасовался в Хаэне всего несколько дней, пока не подвернулось выгодное дельце в Андухаре; добычу разделили честно, по правилам, но вскоре пошел слух, что пострадавший хлопочет о розыске грабителей, и Криспин предпочел убраться подальше, чтобы не попасть снова в такую передрягу, как в Малаге, где он спасся только чудом. Вместе с одним валенсианцем, статным и красивым молодцом, он, не забыв прихватить деньги, явился в Толедо — в этом городе оба они прежде бывали лишь проездом и потому не боялись быть узнанными. Валенсианца звали Хайме; отец его, проживавший в Валенсии, мастерил альпаргаты, а сынок, позволив себе кое-какие шалости с имуществом своих хозяев, был вынужден покинуть родину; теперь было ему двадцать два года; белолицый, светловолосый, он отличался веселым нравом, но главное, был смекалист, насмешлив и плутоват, одевался же — за счет своих жертв — щеголем, по последней моде. Вот однажды он и Криспин пошли к мессе в собор, а в той же капелле, где они расположились, слушала мессу Руфина, известная в Толедо под именем Эмеренсианы; Криспин сразу узнал ее и возликовал в душе; он поста-

рался не попадаться ей на глаза, боясь быть узнанным, но опасался он напрасно — бритый подбородок и светское платье сделали его неузнаваемым для тех, кто видел его прежде в рясе отшельника. Он указал своему дружку Хайме на смазливую вдовушку и посоветовал пойти незаметно следом за ней, чтобы узнать, где она живет; найти ее дом оказалось нетрудно, а соседи сообщили, что зовут вдову донья Эмеренсиана де Менесес и что прибыла она вместе со своим отцом из Бадахоса. Криспин бесновался, вспоминая, как эта бабенка его провела, и дал клятву, что, раз уж судьба помогла ему встретить ее, он из Толедо не уедет, пока с лихвой не расквитается за кражу; для этого он подучил Хайме, как тот должен себя вести с Руфиной и что ей говорить, но не рассказал Хайме, что он, Криспин, кое-что о ней знает. Вскоре представился случай Хайме разыграть роль, которую они с Криспином отрепетировали до тонкостей: как-то в сумерки, когда звонили к вечерней службе, на улице, где стоял дом Руфины, произошла драка, и двое мужчин были тяжело ранены. Едва там показалась стража и, отправив раненых по домам на излечение, схватила кое-кого из прохожих, в стычке не участвовавших, как улица вовсе опустела — никому не хотелось безвинно угодить в тюрьму лишь за то, что он оказался на этой улице.

И тут-то началась комедия, придуманная Криспином и Хайме; наученный хитрецом-лжеотшельником, Хайме облачился в изящный черный костюм рыцаря ордена Монтеса и, подойдя к дому Руфины, оставил Криспину свой плащ, а сам с обнаженной шпагой, изображая на лице испуг, ринулся в дом; входная дверь оказалась отперта, Хайме поднялся по лестнице и вскочил в гостиную, где восседали на эстрадо сеньора вдовушка и две ее служанки. При появлении незнакомца с обнаженной шпагой, без плаща и явно чем-то устрашенного, женщины испугались. Руфина и служанки сошли с эстрадо, и Хайме сказал:

— Ежели красота, представшая моим взорам, не обделена жалостью, то я, о прекрасная дама, умоляю дать мне приют в доме вашем и спрятать от служителей правосудия, гонящихся за мной по пятам; мне случилось убить человека в стычке, вспыхнувшей на этой улице, за мной, как за убийцей, погнались, я побежал на соседнюю улицу и наверняка попался бы, кабы не стал сопротивляться; в храбром бою я ранил обоих стражников, явившихся со старшим алькальдом, а затем пустился наутек, ибо показывать спину блюстителям правосудия — не только учтиво, но и благоразумно. Итак, я ударился в бегство, а они — за мной; вдруг я заметил, что ваша дверь отперта, и решил искать защиты в этом доме; умоляю, ежели не во гнев вам будет, оставить меня здесь, пока восстановится порядок на улице и я смогу уйти; но

коль вид мой вас пугает и сердит, я готов, рискуя жизнью, возвратиться на улицу, ибо предпочитаю очутиться в тюрьме, чем быть неучтивым в ваших глазах.

Мы уже описали наружность Хайме, которого с этой ночи следовало бы возвести в дворянское звание. Руфина пристально на него посмотрела, и вот она, столь чуждая любви, знавшая только любовь к деньгам и страсть к воровству, с первого взгляда на этого мужчину была покорена и сказала ему так:

— Сострадание всегда присуще особам моего звания, тем паче что я, судя по приятному вашему облику, предполагаю в вас человека благородного; весьма огорчена постигшей вас бедой и предлагаю скрываться в моем доме столько, сколько будет необходимо, чтобы сбить с толку ваших преследователей,—было бы жестоко предать вас в их руки, когда есть возможность спасти; прошу вас, успокойтесь,— если блюстители порядка станут вас искать здесь, у меня есть тайник, где я могу надежно вас спрятать.

Юноша поблагодарил за доброту, на что Руфина ему сказала:

— Вы, конечно, понимаете, что при вдовьем моем положении я веду жизнь самую уединенную; поэтому я и предлагаю вам оставаться в моем доме до тех пор, пока не уладится ваше дело; вскоре придет мой отец, и если он согласится, чтобы вы расположились в его комнате, я буду очень рада.

Хитрый малый снова поблагодарил за любезность. Вдруг их разговор был прерван сильным стуком в дверь и криками, чтобы немедленно отворили служителям правосудия; сперва все испугались, но Руфина быстро оправилась от страха и, взявши Хайме за руку, повела его в свою туалетную комнату, где одна стенка была двойная, да еще прикрытая ковром; там Руфина спрятала гостя, сказав, чтобы он не тревожился — найти, мол, его здесь никто не сможет; лишь после этого она велела отпереть дверь, и вошел Криспин; поступок этот был, конечно, рискованный, Руфина могла его узнать, однако он надеялся на то, что новый наряд совсем его преобразил; вместе с Криспином был еще его приятель из таких же; на правах слуг правосудия они несли фонарь, жезл и имели огнестрельное оружие; так, оба вошли в дом вдовы, которая встретила их весьма приветливо, делая вид, что не понимает, зачем они явились. Криспин вежливо ей поклонился и сказал:

— Хотя с моей стороны, любезная сеньора, не слишком учтиво причинять вам беспокойство, долг службы велит нам не щадить сил для его выполнения; я послан сеньором коррехидором обыскать дома в этой части города, дабы найти некоего преступника; в соседних домах мы уже побывали, остался только ваш; простите, ежели мы учиним осмотр,— мы обязаны повиноваться своему начальству и своей совести.

— Полагаю, что мое честное слово в том, что сюда никто не заходил,— отвечала Руфина,— могло бы для вас быть не менее убедительным, чем обыск, однако я не хочу, чтобы меня считали укрывательницей злостных преступников,— ежели таков этот несчастный,— а потому предоставляю вам осмотреть весь дом и убедиться, что того, кого вы ищете, здесь нет.

Служанка со свечой освещала им путь, они осмотрели большую часть дома, но не весь, как бы желая этим выказать учтивость. И так же любезно, как вошли, они простились с хозяйкой; Криспин, решившись на этот шаг, ставил под угрозу свою жизнь, но ему надо было, чтобы товарищ верней сыграл роль, им же, Криспином, придуманную.

Мнимый кабальеро вышел из тайника, изображая на лице радость, что преследователи его не нашли, и рассыпался в пылких благодарностях милосердию вдовы. Она же, с каждой минутой все более разгораясь страстью, сказала, что, кабы ее воля, она исполнила бы все его желанья, но придется, мол, подождать отца, и она постарается убедить старика, по крайней мере, в эту ночь не позволить гостю выйти на улицу.

— Напротив,— сказал Хайме, приметивший, что вдовушка глядит на него умильно,— я хотел умолять вас дать мне дозволение уйти, ибо я намерен укрыться в монастыре и оттуда известить своих слуг, где я нахожусь, а завтра — уехать в Севилью и поселиться там, пока мне не разрешат вернуться на родину.

Руфину его намерение огорчило, она попросила Хайме не спешить с этим шагом, который может ввергнуть его в опасность,— не лучше ли переждать у нее в доме хотя бы несколько часов?

Хайме с готовностью повиновался, и Руфина, извинившись и оставив его на попечении служанки, нанятой ею в Толедо, вышла под предлогом, что ей надо до прихода отца выполнить его некое распоряжение. А придумала она этот предлог, чтобы посоветоваться с рабыней, самой преданной своей наперсницей; заперлись они в одной из комнат, и Руфина рассказала рабыне о том, как приглянулся ей этот кабальеро и как ей не хочется отпускать его из дому, хотя она понимает, что здесь его могут схватить; но, с другой стороны, она, мол, не уверена, согласится ли Гарай, чтобы пришелец остался на ночь; рабыня была девка продувная, она сразу смекнула, что́ посоветовать и как угодить хозяйке.

— Сеньора,— сказала она,— хотя с этим мужчиной ты едва знакома, надо тебе отважиться как-то показать ему свою любовь, ибо на то, чтобы Гарай согласился оставить его здесь на ночь, надежды мало; я посоветую тебе вот что: дом наш просторен, в нем есть несколько нежилых комнат,— например, те две, к которым

ведет вниз лестница из твоей; устрой гостя там, а я уж позабочусь приготовить ему постель и прочее; спроворим все это мигом, Гарай ничего и не узнает, тем более что он собирается через два дня в Мадрид; значит, ты сможешь побыть со своим любезным, уговорив его не выходить из дому,— скажешь, стражники, мол, день и ночь торчат на нашей улице.

Совет рабыни пришелся Руфине по сердцу, она послала ее приготовить комнату для гостя и постелить ему чистое, надушенное белье из самого тонкого полотна; берберийка побежала исполнять приказ госпожи, а та вернулась к гостю и сказала ему:

— Любезный сеньор, я сама, без разрешения отца, решила предложить вам погостить в нашем доме, не показываясь моему отцу на глаза, чтобы ненароком вам не пришлось предстать перед глазами судьи; примите благосклонно небольшую эту услугу и будьте признательны за добрые чувства к вам и желание оградить ваш покой.

Еще более пылкие слова благодарности были ответом Хайме на эту новую милость; в душе он ликовал, глядя, как рыбка сама идет в сети любви,— а это по всему было видно. Поговорили они немного о том о сем, и Хайме принялся восхвалять красоту Руфины — такой лести женщины всегда охотно верят — и намекать на свои чувства к ней; а ей тоже лишь этого и надо было, все шло по-задуманному, на ее глазах под действием ее красоты свершалось чудо: беглец, прячущийся от властей, превращался во влюбленного. Тут и рабыня вернулась, исполнив все распоряжения; Руфина повела Хайме в приготовленную для него комнату, оставила там свечу и сказала, чтобы он набрался терпения и побыл один, пока она не убедится, что отец лег спать. Возражать не приходилось, Хайме только попросил, чтобы она обязательно к нему зашла, не то, мол, он будет дурно спать эту ночь.

— Я сама этого хочу,— сказала Руфина,— мне ведь надо знать во всех подробностях, кто вы и какова причина ваших невзгод.

На том она с ним простилась, нежно посмотрев ему в глаза, что наполнило душу хитреца Хайме уверенностью в счастливом исходе его затеи.

Гарай был не настолько еще стар, чтобы не иметь видов на Руфину; он очень бы хотел жениться на ней, да уже был женат; жену свою он, правда, держал в Мадриде, подальше от себя, как делают многие мужья, которые либо из-за несходства характеров, либо со зла на своих жен бросают их, забывают, а жены, видя пренебрежение и холодность мужей, утешаются с теми, кому их прелести милее и кто находит удовольствие в их обществе к позору тех, кто ими пренебрег. В последнее время Гарай, давно не получая

вестей от своей супруги, подумывал, уж не скончалась ли она; наконец он решил съездить в Мадрид, тайно в этом удостовериться и, коль жена и вправду умерла, сделать попытку жениться на Руфине, напомнив ей, сколь многим она ему обязана; с такими мыслями он готовился в путь, а отъезд свой назначил через два дня. Оставим его пока при таких мечтах и вернемся к Руфине. Как только Гарай появился, она подала ему ужин, но сесть с ним за стол отказалась под предлогом нездоровья, чему он легко поверил. Обычно Гарай после ужина сразу отправлялся на покой; Руфина выждала, пока он улегся и заснул, и тогда велела служанкам подать ужин запертому в ее комнате молодчику — она намеревалась весело с ним провести вечер. Так и вышло — оба с удовольствием сели за стол, и во время ужина Руфина все более открыто намекала, что сражена любовью. Когда убрали со стола и служанки сели доедать остатки — и лакомые и обильные,— Руфина попросила гостя сказать свое имя, откуда он родом и зачем приехал в этот город. Чтобы ублажить любезную хозяйку, Хайме, мгновенно придумав историю, начал так:

— Моя родина, прелестная сеньора, это Валенсия, один из древнейших городов Испании, что вам, я думаю, известно по его громкой славе,— немногие города могут с ним сравниться древностью знати, богатством, приятностью климата и красотой окрестностей; там я родился в благородной, издавна и повсеместно славной семье Пертуса; зовусь я дон Хайме Пертуса, и государь наш за заслуги моих предков украсил мою грудь красным крестом Монтесы и пожаловал энкомьенду Силью, одно из лучших владений сего ордена; кроме доходов от Сильи, я распоряжаюсь майоратом, полученным в наследство от отца и приносящим около трех тысяч дукатов ренты; я единственный сын и всем этим владею единолично; не так давно я начал ухаживать за доньей Бланкой Сентельяс, знатной и блистающей достоинствами валенсианкой, оказывая ей изысканные любезности; она, однако, не отвечала мне так, как того заслуживали мои чувства, а причина была в том, что дама эта была неравнодушна к некоему кабальеро, также состоявшему в ее поклонниках, по имени Висенте Пухадас; он был предпочтен, а я умирал от ревности. Кабальеро этот вознамерился убрать со своего пути все препятствия, могущие помешать его любовным стремлениям, и вот однажды ночью, повстречав меня на улице моей дамы, он вместе с тремя слугами напал на меня, а при мне был один-единственный слуга; доколе мог, я оборонялся, но вскоре был тяжко ранен — думали, что я не выживу. Кто именно меня ранил, установить не удалось, хотя все догадывались, и власти, зная по слухам, что дон Висенте был моим соперником, схватили его, но он вместе со слугами умудрился доказать свое

алиби, после чего был отпущен. Я оправился от ран и, негодуя на то, что противники, пользуясь численным превосходством, всего меня изрешетили, решил тоже не церемониться и с несколькими слугами настиг соперника и ранил его еще тяжелей, чем он меня; но на улице были посторонние, узнавшие меня и сделавшие донос,— случай в Валенсии весьма редкий, ибо таким путем почти никогда нельзя выяснить правду; мне пришлось бежать, страшась за раненого, которому прочили близкую кончину, и за самого себя, коль его родня вздумает мстить за его смерть. Покинув Валенсию, я приехал сюда и живу в этом городе уже с месяц; недавно доверенный человек из Валенсии, с которым я переписываюсь, известил меня, что враг мой уже вне опасности, быстро поправляется и что он помолвлен с доньей Бланкой. Это меня, поверьте, гораздо больше огорчило, чем то, что нынче я встретился с двумя нанятыми доном Висенте головорезами, которых он подослал меня убить; они напали на меня на улице, одного я ранил — кажется, смертельно — и сумел от них уйти, смешавшись с толпою, которая собралась разнимать дерущихся; ваш дом стал для меня убежищем, здесь я могу не страшиться правосудия, которое способно завладеть лишь моим телом, ибо душой уже завладела красота ваша, и узилище сие для меня сладостно, в нем хочу я остаться до конца дней моих, коли на то будет ваша воля.

Так заключил свой рассказ мнимый дон Хайме, и Руфина была в восторге, что этот кабальеро, оказывается, вполне достоин ее любви и, сам воспылав к ней чувствами, уже предлагает ей стать его супругой. Мигом все это обдумав, она отвечала ему следующее:

— Сеньор дон Хайме Пертуса, весьма прискорбно мне, что знакомство с Толедо принесло вам одни неприятности; но ежели они не побуждают вас поскорей вернуться на родину, это немало радует тех, кто желал бы видеть вас в этом городе постоянно, и, уверяю, будь на то моя власть, я пошла бы на все, дабы вас удержать, не погнушалась бы даже прибегнуть к силе чар, возбуждающих любовь; да, я готова, коль сие возможно, приобрести искусством колдовства то, в чем меня обделила природа. С нынешнего дня вы обязаны мне признательностью, и, ежели впрямь полагаете себя моим должником, я вправе считать себя счастливицей — сильнее этих чар мне не придумать; небо не даровало мне великой красоты, какой я хотела бы блистать ради такого случая, но ежели нежное чувство обязывает к ответному, надеюсь, что вы не замедлите признать ваши обязательства передо мною.

— Тысячу раз,— сказал дон Хайме,— лобызаю землю, по которой ступают ваши туфельки, но даже и ее недостойны кос-

нуться мои уста, благодарящие за столь великую милость; любой долг свой я готов уплатить вам сторицей и потому не боюсь иска кредиторов. Что ж до вашего желания покорить чарами мою волю, отвечу: чтобы пленить плененного, сила вовсе ненадобна, и я надеюсь, что эти мои слова удержат вас от недозволенных средств,— ведь красота ваша могущественней самых сильных чар, она исхищает меня от меня самого и перемещает в вас; благословен тот час, когда на меня напали эти убийцы с моей родины,— за одну неприятность, приключившуюся там со мною, я в утешение вознагражден тысячью радостей; слыша столь любезные речи из ваших обворожительных уст, молю небо сохранить мне жизнь, ибо надеюсь, что любовь моя, держась верного курса, благополучно причалит в блаженной гавани вашей нежности; бодрость возвращается ко мне, я забываю о своей родине,— где суждены мне счастье и блаженство, там и моя родина.

Такими и подобными этим словами обменивались дон Хайме и Руфина; бессовестный плут сумел вскружить ей голову, и Руфина, упиваясь лживыми его речами, обо всем на свете позабыла, только глядела на него, сама не своя от любви; за нежной беседой время летело быстро, лишь около двух часов ночи Руфина с великой неохотой ушла к себе, а обманщик Хайме улегся спать, очень довольный тем, как удачно все складывается, что придумал Криспин. Сам-то Криспин немного тревожился, ибо ни в тот день, ни на следующий его из-за присутствия Гарая в доме нельзя было ни о чем известить, но когда Гарай уехал в Мадрид, влюбленной Руфине и ее гостю стало куда как привольно. Дон Хайме сразу же послал к Криспину рабыню с письмом, в котором описал, какое счастье ему привалило; Криспин с той же рабыней отослал ему ответ и кошелек с сотней дублонов, чтобы он мог развлечься игрой в карты да служанок задобрить на случай, коль понадобятся их услуги.

В день отъезда Гарая в Мадрид Руфине, к величайшему ее неудовольствию, сделали визит две дамы, ее соседки,— насколько приятней было бы ей не гостей принимать, а со своим любезным миловаться! Как только гостьи удалились, она поспешила в комнату дона Хайме — так мы и будем его величать, пока обман не раскроется,— и увидела его с гитарой, которую, по его просьбе, принесла служанка. Юноша был искуснейшим музыкантом, да и стихи сочинял недурно — валенсианский климат, видно, к тому располагает, ибо там немало замечательных музыкантов и поэтов,— оба эти таланта украшали его особу. Словом, оный дон Хайме наигрывал на гитаре, а Руфина, вслушиваясь в нежную гармонию струн, стройно звучавших под умелыми пальцами, тихонько вошла в комнату и, став так, что юноша ее не видел, глядела на

него с восхищением. Меж тем он приятным, сладкозвучным голосом запел романс, который и вовсе свел ее с ума.

Всю жизнь тиранил рок меня
Угрюмым своевластьем,
Как вдруг Фортуна сжалилась,
Осыпав щедро счастьем!
И муки те, что Кипрский бог
Чинил мне через милых,
Он сам в блаженства обратил,
Чтоб выше я ценил их.
Бывало, челн моих надежд
Владеньем Амфитриты
Блуждал, страшась подводных скал,
Теперь — пути открыты.
Его в пучине схоронить
Мог ураган всечасно,
Но та, что в гавань приведет
Корабль мой, так прекрасна,
Что силы все души моей
Ей сдались в плен без боя
(Хоть не прибавит славы ей
Победа надо мною).
О ты, владычица души,
Коль так щедра награда,
То внемли: горести свои
Не скроет твой Херардо.
Нимфы Тахо, цвет красы, было ли когда,
Чтобы тот, кто так любил, вспыхнул ото льда?!
Я, Клори, к вашей красоте
Воззвал, изнемогая,
От снега я огнем горю,
В огне — я замерзаю.
От муки страшной исцелить
Ничья рука не властна,
Коль та, что ранила меня,
Сама не даст лекарства.
Нимфы Тахо, цвет красы, видано ль когда,
Чтобы тот, кто так любил, вспыхнул ото льда?!

Еще жарче разгоралось любовное пламя в нежной груди Руфины, когда она слушала пенье мнимого дона Хайме; сладостный его голос, искусная игра привели ее в изумление, но более всего — слова песни, казалось, нарочно сочиненные к случаю; так оно и было на самом деле: хитрец не поленился — пришлись тут кстати его познания в поэзии и природные способности — и в короткий срок сложил в уме эти стихи, чтобы спеть их перед Руфиной. Слыша, что она идет, но не подавая вида, он и пропел их; когда ж он умолк, влюбленная красотка, подойдя поближе к гостю, наигрывавшему теперь различные вариации, сказала:

— И этот талант есть у вас, сеньор дон Хайме? Как мне это приятно, но я не дивлюсь — известно ведь, что в Валенсии чуть ли не у всех красивые и благозвучные голоса.

— Голос у меня никуда не годится,— возразил он,— но слова песни и впрямь недурны.

— Да, вижу,— сказала Руфина,— стихи свежехоньки, наверно, и трех дней нет, как их сочинили.

— Вы правы,— сказал дон Хайме,—но чему здесь удивляться, когда предмет, ради которого они сложены, обладает таким могуществом, что и сухие пни наделит душой и заставит любить себя, не то что меня, существо разумное и благодаря любви постигающее его совершенства?

— Не надо быть льстецом,— сказала она.— Да ежели б я поверила, что слова ваши правдивы, вы бы когда-нибудь вспоминали о своем пребывании в этом доме с еще большим удовольствием, но увы, мужчины умеют говорить то, чего не чувствуют, и изображать любовь, не любя.

— И в первом и во втором вы ошибаетесь,— сказал он.— Верьте мне, я готов благословить страх, испытанный моей осторожностью, и опасность оказаться в тюрьме, ибо они принесли мне счастье знакомства с вами; умоляю вас ответить на мою искреннюю нежность полным доверием, ибо я люблю вас со всей страстью.

Вслед за тем дон Хайме принялся расточать Руфине столь пламенные хвалы, что с этого вечера она перестала сдерживать свои чувства; так пошло и дальше, и вскоре плут, потеряв охоту разыгрывать роль, увлекся Руфиной не на шутку; она все же оставалась обманутой, ибо думала, что ее гость — таков, каким изобразил себя в своем рассказе, и больше всего убеждало ее то, что он тоже спросил ее, кто она. Не желая уронить себя в его глазах, Руфина вкратце сообщила, что она, мол, происходит из знаменитой фамилии Менесесов португальских, хотя и родилась в городе Бадахосе. Плут не усомнился в ее лживой родословной и стал всерьез подумывать о браке, уразумев то, что Криспин, несмотря на пожилые годы, не хотел уразуметь,— ему стали ясны опасности их ремесла и неминуемый конец, уготованный всем ворам,— восхождение на виселицу. Руфина ему очень нравилась, особенно же прельщало ее благородное происхождение, и он положил влюбить ее в себя еще крепче и добиться ее руки. О том же мечтала и она — отдавшись страсти, подобно истинно влюбленным, Руфина забыла об осторожности, и дон Хайме был удостоен высших милостей.

Руфина, однако ж, со страхом думала о том, что Гарай, как обещался, вскоре вернется; она помнила, сколько обязана ему, заменившему ей отца и слывшему в Толедо ее отцом, понимала

также, что, возвратившись, он, коль она его покинет, будет крепко огорчен, хоть у нее было намерение при расставанье дать ему тайком денег; хорошенько поразмыслив, она надумала иначе — решила уехать из Толедо, чтобы Гарай, вернувшись из поездки, уже ее не застал, а ехать она собралась в Валенсию, надеясь убедить дона Хайме взять ее с собою; об этом она намеревалась поговорить с ним дня через два-три — Гарая-то ждали не ранее, чем через две недели, как он сказал, отъезжая. А пока Руфина раскидывала умом и так и этак, время проводили они с любовником как нельзя лучше: он уже в ней души не чаял и твердо решил отказаться от задуманной проделки, хотя бы это и не по вкусу пришлось Криспину.

Стояла зима, ночи были долгие, и нежная парочка коротала их то в любовных беседах, то за пеньем, в чем и Руфина показала свой недюжинный талант,— на два голоса они исполняли песенки, бывшие тогда в ходу. В одну из ночей, когда влюбленные уже вдоволь попели и поболтали о разных разностях, Руфина выразила желание, чтобы ее любезный развлек ее и ее служанок; ежели он, сказала она, знает какую-нибудь новеллу, пусть, мол, расскажет им, чтобы время прошло быстрее. Юноша был на все руки мастер и умом остер — повинуясь своей даме и желая блеснуть хорошим слогом, он сказал:

— Хотя особе столь разумной, как ты, госпожа моя, прекрасная Эмеренсиана, слог мой покажется грубым, повиноваться твоим приказам — для меня честь превеликая; не премину исполнить и этот, а вы уж не обессудьте, коль, не имея времени подготовиться, я в чем-либо сделаю ошибку. Итак, слушайте новеллу, которую рассказывал мне один весьма просвещенный валенсианский кабальеро.

И, немного помолчав, дон Хайме начал так.

НОВЕЛЛА ТРЕТЬЯ

К ЧЕМУ ПОНУЖДАЕТ ЧЕСТЬ

В славном городе Севилье, столице Андалусии, матери знатнейших фамилий, отчизне блестящих талантов, хранилище сокровищ, посылаемых Испании западными Индиями, родился дон Педро де Рибера, благородный кабальеро из знаменитого рода герцогов Алькала, столь почитаемого в этом королевстве; после смерти родителей он унаследовал ренту в четыре тысячи дукатов, что позволяло ему вести в Севилье жизнь роскошную и блистать на публичных сборищах, затмевая всех пышностью нарядов и изяществом манер. Был у этого кабальеро в Мадриде двоюродный

брат, состоявший при дворе величайшего из государей; брат этот когда-то отправился в столицу по поводу тяжбы, которая вскоре была решена в его пользу, и так полюбился ему Мадрид и обхождение тамошних придворных, что он сменил свою родину на этот великолепный город; там он завел дружбу с неким пожилым кабальеро по имени дон Хуан де ла Серда, человеком многих достоинств и всеми уважаемым. Грудь старца украшал алый знак покровителя Испании, к коему присовокуплялась энкомьенда с двумя тысячами дукатов дохода. Кабальеро этот был вдовцом и имел одну-единственную дочь, наследницу всего его состояния, которую природа с особым тщанием украсила всеми своими дарами на зависть мадридским дамам. Как светозарное солнце превосходит звезды небесные, заимствующие у него свет, так дивная сия красавица, солнце истинной красоты, превосходила всех дам Мадрида.

Дон Хуан желал выдать свою дочь за человека достойного, равного ей благородством и богатством. Дон Родриго де Рибера — так звался кузен дона Педро, о котором я уже говорил,— вполне мог бы попытать тут счастья: и знатен он был, и с доном Хуаном де ла Серда весьма дружен, однако он был младшим сыном, и это удерживало его от сватовства — слишком ничтожно было его состояние по сравнению со столь значительным приданым. И он завел перед доном Хуаном речь о своем двоюродном брате, жившем в Севилье, расписал как его достоинства, так и богатство майората; дону Хуану такой жених показался подходящим, но, как человек осмотрительный, он решил сперва получше о нем разузнать, подозревая, что дон Родриго мог, по родственному пристрастию, преувеличить его достоинства и богатство. Итак, дон Хуан не мешкая написал одному своему другу в Севилью с просьбой узнать все досконально о достоинствах, нраве и состоянии дона Педро де Рибера, ибо дело идет о том, чтобы этим браком придать блеску его, дона Хуана, дому и составить счастье его дочери доньи Брианды. Вскорости пришел ответ, в коем друг все сказанное доном Родриго о своем родиче подтверждал и даже еще более хвалебно о нем отзывался, ни в чем не погрешая против истины; письмо очень обрадовало дона Хуана, он незамедлительно встретился с доном Родриго и просил известить его двоюродного брата об их замысле выдать за него донью Бриану. Дон Родриго это исполнил; тогда дон Педро, не намеренный жениться вслепую, высказал желание получить портрет дамы, и поручил своему кузену проследить, чтобы художник не изобразил ее в льстивых красках, но сделал портрет верный и правдивый. Дон Родриго и это исполнил, портрет дону Педро весьма понравился, и он попросил кузена, еще до его приезда в Мадрид, начать перего-

воры, для чего дал ему все полномочия. Пока дон Родриго все это с доном Педро обсуждал, донья Брианда любовалась другим портретом, который прислал ей дон Педро. Кабальеро же этот, справив себе роскошный гардероб, выехал в Мадрид; челядь его не могла с ним отправиться, ибо он велел слугам дождаться, когда им сошьют праздничные ливреи; итак, выехал он с одним лишь слугою на двух мулах, а на третьем, тоже добром муле, ехал погонщик, поспешая за доном Педро, которому не терпелось поскорее прибыть в Мадрид и увидеть красавицу донью Брианду,— он уже успел страстно влюбиться в нее по портрету и носил его все время на груди вложенным в то самое письмо, вместе с которым портрет был прислан.

За полдня пути до Толедо они остановились пообедать в трактире, и дон Педро приказал погонщику мулов ехать вперед, чтобы подготовить им место в гостинице; сам же после обеда сел с несколькими идальго из Оргаса — в этом городке он остановился — играть в карты. Ему не везло, он пришел в азарт, и игра затянулась, пока ему не удалось отыграться, так что пришлось выехать несколько позже, чем он рассчитывал. Сев на мулов и осведомившись о дороге, пустились они вдвоем со слугою в путь; едва отъехали на одну лигу, как стемнело, и дальше они двигались уже в полном мраке — ночь выдалась темная, небо было покрыто тучами, чрез которые сияние звезд не могло пробиться, да и луна на ущербе совсем не светила; едучи в темноте и не слишком присматриваясь к дороге, всадники заблудились — попали в оливковую рощу в полулиге от Толедо. Не видя дороги и не зная местности, они решили, чтобы не удалиться от Толедо, спешиться в этой роще и подождать до утра, надеясь при свете дня отыскать дорогу; сняли они с мулов вьюки и расположились на них под оливковым деревом, словно под зеленым пологом походного сего ложа; от усталости их быстро сморил сон, оба крепко уснули — и вовсе некстати: когда они спали самым сладким сном, ведать не ведая, что их ожидает, подкрались к этому месту четыре молодца, слышавшие стук копыт. Были это воры, ходившие в Толедо совершить покражу, но что-то им помешало, и они на обратном пути не пожелали упустить удобного случая; видя, что хозяева мулов спят, воры перемигнулись, набросились по двое на одного, скрутили беднягам руки сзади и, забрав все, что у них было, оставили обоих в полотняных рубахах и штанах, а чтобы поскорей улизнуть, прихватили и мулов.

Господин и слуга горько сетовали на судьбу, причем слуга корил хозяина, что тот засиделся за картами,— из-за этого, мол, и случилась беда; а пока они толковали, птицы нежным своим пеньем начали приветствовать зарю, явившуюся, чтобы

поблагодарить их за хвалы; вскоре послышалось поблизости блеянье овец, и оба ограбленных принялись громко звать пастуха; тот поспешил на зов и развязал им руки, ахая, что так их обчистили. На вопрос, далеко ли до Толедо, он ответил, что и пол-лиги не будет, но ежели они желают пойти на виллу его госпожи, так это совсем, мол, рукой подать, он охотно их туда проведет и оставит на попечении сеньоры, которая поможет их беде. Совет пастуха был принят, оба последовали за ним на виллу, которой с одной стороны оградой служили кристальные воды Тахо; дом был красив, с высокими башенками и золочеными капителями; когда подошли к дверям, пастух постучался, и им тотчас отворил пожилой человек, управляющий сельскими владениями, которому надлежало наблюдать за пастухами и принимать урожай. Пастух поднялся наверх и вкратце рассказал своей госпоже о бедственном положении приведенных им путников и о том, что они надеются на ее помощь; дама велела их ввести, дон Педро явился перед ней, к великому своему стыду, чуть что не голый, прикрываясь лишь взятым у пастуха плащом. О своем путешествии он сказал, будто направлялся в Мадрид по поводу тяжбы и что он — севильский идальго по имени Фернан Санчес де Тривиньо. Донье Виктории жаль было на них смотреть, особенно же на дона Педро, который показался ей недурен собою; она пошла в соседнюю комнату, достала из своих сундуков два костюма и дала беднягам, чтобы оделись; те не заставили себя упрашивать, дон Педро, приодевшись, глядел совсем красавцем — донья Виктория залюбовалась им так, что глаз не могла отвести. Пришло время обеда, дама без церемоний пригласила дона Педро к столу и отобедала с ним, а он, не переставая, благодарил ее за милость и ласковый прием.

Так прожили они со слугою на вилле два дня; дама ни словом не обмолвилась о своих чувствах к дону Педро, но глаза ее красноречиво говорили о ее томлении. Дон Педро сразу понял их язык и даже со слугой об этом толковал, но не решался завести о том речь с дамой, помня, что намерен вот-вот жениться. Слуга же подзадоривал его не зевать, раз уж фортуна послала такой случай, и не быть жестоким с той, что была к нему так милосердна. Уединенность виллы, красота дамы и ее туманные намеки побудили наконец дона Педро заговорить о своих чувствах; дама, однако, не соглашалась упасть в его объятья, пока он не даст ей слова жениться. Объятый любовным пылом, дон Педро позабыл о даме, изображенной на портрете, и охотно последовал советам своего слуги, а тот наставлял его, что, мол, не надо упускать случая насладиться красотой этой дамы, можно ей и слово дать жениться, и даже письменное обязательство, только не надо, мол, называть свое имя, а держаться имени придуманного; дон Педро так и посту-

пил, и донья Виктория де Сильва — таково было имя дамы — разрешила этому кабальеро прийти в ее объятья.

Так провел дон Педро на вилле еще несколько дней, а затем, сказавши, будто должен получить решение по тяжбе, которую он ведет в Совете по делам Индий, и будто ему надо непременно самому туда явиться, был отпущен доньей Викторией под честное слово, что скоро, очень скоро вернется к ней; на другой день рано утром он уехал, дама, провожая его, лила слезы, а он, прикрывая платком глаза, делал вид, будто тоже плачет. Так он и уехал с виллы — дама дала ему мулов и денег на поездку в Мадрид; но за дурной поступок его настигла кара незамедлительная: при въезде в Ильескас один из мулов, испугавшись чего-то, взвился на дыбы и сбросил замечтавшегося дона Педро наземь; юноша вывихнул ногу, и пришлось ему задержаться в этом городке под присмотром вызванного из Толедо цирюльника. Тут мы его и оставим, а сами вернемся к донье Виктории, которая после отъезда своего любезного плакала да горевала.

Случилось так, что одна из ее служанок, убирая постель дона Педро, нашла забытый им по рассеянности портрет дамы, на которой он собирался жениться, вложенный в письмо, присланное его кузеном. Находку она вручила госпоже, и та, развернув бумагу, увидела портрет, что повергло ее в новую печаль и тревогу, еще усилившиеся, когда она прочитала письмо, где было сказано следующее:

«Двоюродный мой брат и господин! С этим письмом посылаю портрет сеньоры доньи Брианды де ла Серда, точно и правдиво сделанный с оригинала; уверен, что ее красота побудит Вас ускорить приезд. Ее отец, дон Хуан, ждет Вас в большом волнении — не откладывайте же приезд, ибо после получения прекрасной сей копии это было бы неучтиво; а пока я веду переговоры о брачном контракте, как мы условились; по прибытии Вы его подпишете и можете почитать себя счастливцем, что Вам досталось такое блаженство.

Ваш двоюродный брат, *дон Родриго де Рибера*».

Донья Виктория с трудом дочитала письмо и от горя, ее охватившего, упала в обморок — более получаса пролежала она без чувств на руках у служанки, а когда пришла в себя, вздохам и слезам не было конца: она проклинала коварного севильянца и еще пуще — свое легкомыслие, то, что решилась доверить свою честь пришельцу, явившемуся в ее дом ограбленным. Весь этот день прошел в слезах, но затем, понимая, что ее добрая слава в опасности, донья Виктория решила не допустить, чтобы гово-

рили, что мужчина над ней насмеялся; итак, узнав из письма, куда он направлялся и на ком собирался жениться, она задумала ехать в Мадрид — сделать это было ей легче, чем иным женщинам, ибо у нее не было близких родственников, перед кем держать отчет в своих поступках, кроме брата, служившего в армии во Фландрии и имевшего чин капитана кавалерии. О намерении своем она сообщила Альберто, старому слуге, пестовавшему ее с детства, и тот, одобрив замысел, вызвался ее сопровождать; они распорядились нагрузить две повозки всяческой утварью, необходимой в богатом доме, и отправились в Мадрид; тотчас по приезде в славный сей город Альберто стал расспрашивать, где проживает дон Хуан де ла Серда и прибыл ли уже из Севильи жених, которого ожидали. Все это он разузнал, и когда донья Виктория услышала, что дон Педро еще в Мадрид не приехал, она, не зная о беде, приключившейся с ним в Ильескасе, изрядно встревожилась.

Первое, что сделала оскорбленная дама, это наняла уединенный дом вблизи дома дона Хуана де ла Серда; там она поселила Альберто, который должен был изображать хозяина; затем она велела ему пойти к дону Хуану де ла Серда и осведомиться, не требуется ли им в услужение дуэнья,— она задумала переодеться дуэньей, чтобы дон Педро ее не узнал. Альберто все исполнил с величайшим усердием и полным успехом — донья Брианда только и мечтала, как бы найти себе дуэнью; когда Альберто сказал, что ищет этого места для своей дочери, донья Брианда не только ее взяла на службу, но и его самого в качестве эскудеро, ибо он был вида представительного и украшен внушавшими почтение сединами; итак, устроив дело наилучшим образом, Альберто вернулся сообщить это донье Виктории, которая очень обрадовалась, особенно же тому, что донья Брианда желала поскорее ее увидеть. Вместе с Альберто они в тот же день поспешно раздобыли все необходимое для туалета молодой вдовы, так что на другой день донья Виктория уже могла явиться к даме, у которой ей предстояло служить дуэньей, и пошла она в сопровождении Альберто, игравшего роль отца; старец дон Хуан де ла Серда и его красавица дочь встретили обоих весьма любезно; донье Виктории было бы приятней, ежели бы невеста была не так хороша и привлекательна для жениха; подобная красота могла бы, кажется, остудить ее пыл и удержать от исполнения задуманного, но донья Виктория не пала духом; донье Брианде сообщили, что Альберто, назвавшийся Эстебан де Сантильяна,— так будем звать его и мы,— родом из Утреры, городка вблизи Севильи, и что там он выдал свою дочь замуж за почтенного идальго из того же городка, что идальго этот вел торговлю в Индиях, все ездил в Перу́ и обратно, и в одном из таких путешествий скончался, оставив столько долгов, что все

его имущество ушло на расплату с кредиторами, и вот одному из них он, Сантильяна, предъявил, мол, иск в Совете по делам Индий и надеется вскоре получить решение. Услышав, что Сантильяна андалусиец, дон Хуан спросил, не приходилось ли тому бывать или жить в Севилье; Сантильяна ответил, что да, он частенько бывал наездом в этом городе, ибо жил неподалеку, но вот дочь его, та прожила в Севилье некоторое время. На этом разговор закончился, ибо дон Хуан не пожелал расспрашивать о доне Педро де Рибера. Донья Виктория осталась прислуживать донье Брианде, которая была очень довольна новой дуэньей и сразу доверила ей ключи ото всех своих сундуков и секретеров, на зависть прочим служанкам, злившимся — и по праву,— что вот не успела новая дуэнья появиться в доме, как ей оказывают больше доверия, чем прослужившим тут не один год. Сантильяну же, сказавшего, что он с женой, чью роль разыгрывала служанка Виктории Марсела, живет по соседству, в доме дона Хуана не поселили.

Вернемся к дону Педро де Рибера. Поправившись, он приехал в Мадрид и остановился в доме у своего кузена дона Родриго, который уже тревожился из-за его опоздания; причину задержки дон Педро сразу объяснил, не скрыл и того, что произошло с ним на вилле Виктории, вплоть до данного им слова под чужим именем. Дон Родриго осведомился о звании дамы, и дон Педро сказал, что имя ее донья Виктория де Сильва и что она принадлежит к толедской знати. Дон Родриго выслушал его с неудовольствием и стал упрекать, что он обманул и обесчестил эту даму,— теперь, мол, ему надо ее опасаться, ибо, узнав, что он едет в Мадрид жениться, она, чего доброго, захочет отомстить за оскорбление, и ему придется худо. Потом заговорили о донье Брианде, и дон Педро сказал, что без памяти влюбился в нее по портрету, но увы, портрет у него пропал вместе с прочими вещами, что воры похитили у него в окрестностях Толедо; сам-то дон Педро знал, что портрет вовсе не украли, но что он забыл его под подушкой в своей постели на вилле Виктории, и это обстоятельство немало его беспокоило. Дон Родриго распорядился, чтобы, прежде чем дон Педро покажется своему тестю и невесте, ему сшили костюмы — дорожный и черный, парадный, а покамест он должен был никуда не выходить; шитье в Мадриде, коль есть деньги,— дело недолгое, через несколько дней дону Педро принесли великолепный дорожный костюм, и он, как если бы только что приехал, отправился со своим кузеном доном Родриго к дону Хуану де ла Серда, где их встретили с превеликой радостью, ибо дон Педро уж очень был хорош собою. Известили донью Брианду, что сейчас в ее покои явится будущий ее супруг,— ее в это время одевали служанки;

вот уселась она на эстрадо, а ее дуэньи подле нее на ковре, и в залу взошел дон Педро в сопровождении дона Хуана и дона Родриго. Во время визита юный кабальеро держался весьма непринужденно и блистал остроумием — в нем и тени не было обычной у женихов глупой робости, нет, дон Педро обладал ясным умом и изысканными манерами. Глядя на прекрасную донью Брианду в натуре, он убеждался, что кисть художника была точна, хотя в подобных случаях ей редко удается изобразить в портрете всю правду, которую надлежит выразить красками. Красота прелестной доньи Брианды привела его в восхищение, девица тоже не осталась в долгу — дон Педро очень пришелся ей по сердцу.

Мужчинам надо было уладить какие-то пункты брачного контракта, для чего потребовалось присутствие дона Педро; он, дон Хуан и дон Родриго удалились в другую комнату и заперлись там с писцом и несколькими родственниками, приглашенными на заключение контракта. Донья Брианда осталась со служанками, все говорили о доне Педро, ее будущем супруге, все поздравляли ее, что он оказался так хорош собой и галантен; только Виктория ничего не сказала, и ее госпожа это заметила; оставшись наедине с дуэньей, она сказала:

— Донья Теодора (так назвалась Виктория), почему, когда все мои служанки меня поздравляют с удачным выбором супруга, ты одна молчишь, не следуешь их примеру, хотя бы для того, чтобы доставить мне удовольствие? В чем причина твоего молчания?

А Виктория так поступала с умыслом, чтобы вызвать на этот разговор, как оно и случилось. Видя, что все складывается по ее желанию, она на речи доньи Брианды отвечала так:

— Сеньора, в особе дона Педро нельзя найти ни одного изъяна, он образец галантности, и лучшего жениха нечего желать — все это признали; молчание же мое вызвано тем, что в Севилье я очень хорошо знала этого кабальеро, ибо жила в той части города, которую он часто посещал, а почему, того я от тебя не стану скрывать, ибо обманывать тебя было бы негоже мне, желающей только служить тебе и охранять твой покой,— ведь лишиться его до конца дней своих — это скорее подобно смерти, нежели радостной жизни в замужестве.

Слыша такие слова, донья Брианда встревожилась и стала умолять дуэнью открыть ей смысл этих темных, многозначительных намеков, для нее непонятных. Виктория, радуясь случаю излить свой яд на дона Педро, губителя ее чести, не преминула это сделать; она предложила своей госпоже пойти в место более укромное, подальше от любопытных глаз служанок, и когда они уединились в какой-то комнатушке, хитрая Виктория сказала так:

— Хороша была бы моя любовь к тебе, моей госпоже, когда б я не сказала тебе откровенно о том, что может лишить тебя ни мало, ни много, но покоя; знай же, госпожа моя и повелительница, что у дона Педро в Севилье были амуры с одной тамошней дамой, весьма красивой и знатной, хотя родители не оставили ей достаточного состояния, чтобы она могла вести приличествующий ее имени образ жизни; домогательства дона Педро были так настойчивы, что она, тронутая бесчисленными комплиментами, визитами и подарками, отдалась ему, взяв с него обещание жениться, в чем у нее есть свидетели, хотя условие было заключено тайно,— в то время был жив дон Фернандо, отец дона Педро, знавший об этой любви и всеми силами пытавшийся ей воспрепятствовать, не желая, чтобы дон Педро женился на донье Эльвире де Монсальве, как зовут эту сеньору. Но связь продолжалась, и живым залогом ее были два сына и дочь, которые ныне живут на попечении матери. Дон Педро ждал, пока умрет его отец, который был стар и немощен; но когда это случилось и донья Эльвира уже надеялась, что станет супругой дона Педро и придет конец ее страданиям,— а изведала она их немало, я это знаю, потому что жила по соседству,— дон Педро перестал у нее появляться, и она, поняв его намерение, сообщила обо всем двум своим двоюродным братьям; те были так возмущены, что решили немедля заставить дона Педро исполнить данное им слово. Дон Педро в это время жил уединенно в одном из своих поместий, вблизи Севильи, остерегаясь своих врагов, которые, видя, что он и не думает выполнить свой долг, искали случая его убить. Так обстояли дела, когда отец привез меня в Мадрид, где я нахожусь уже месяца полтора. Вот что я могу сообщить тебе о доне Педро, и я уверена, что он, живя здесь в столице, будет все время в опасности, ибо родственники дамы, которую я хорошо знаю, люди благородные и смелые,— они, несомненно, явятся сюда отомстить за оскорбление их кузины, и здесь им будет это сделать легче, чем в Севилье, где дон Педро жил, хоронясь от них.

Со вниманием выслушала донья Брианда рассказ дуэньи о доне Педро, и стало ей обидно, что он приехал из Севильи несвободным от связи, которую на самом-то деле придумала переряженная донья Виктория; огорченная дама задала несколько вопросов — влюблен ли дон Педро, хороша ли собой донья Эльвира и кое о чем еще, на каковые дуэнья отвечала весьма обстоятельно и так, чтобы навлечь на дона Педро гнев его невесты; донья Брианда, все ж не вполне поверив словам дуэньи, решила известить обо всем своего родителя и просить его разузнать поточнее. Она пошла поговорить с ним в комнату, где как раз завершили заключение брачного контракта, а донья Виктория осталась

в зале, где обычно находятся дуэньи; вскоре туда явился слуга дона Педро, который, по поручению господина, ходил за почтой из Севильи; слуга, несший пакет с письмами, спросил у дуэньи, где его господин,— вдовья тока так изменила донью Викторию, что он ее не узнал. Дуэнья ответила, что его господин — в соседней комнате вместе с ее хозяином.

— Несу ему пакет,— сказал слуга,— что прибыл с почтой из Севильи, а в нем письма.

— Ежели вам угодно,— сказала хитрая Виктория,— я могу пакет передать — вам-то нельзя зайти туда, где находится дон Педро, а я охотно сделаю это ради вас.

— Весьма меня обяжете,— сказал слуга и, передав пакет дуэнье, удалился.

Она же первым делом вскрыла пакет и вложила в него письмо, написанное ею тут же, а затем, снова заклеив пакет, прошла с ним к своей госпоже. Та спросила, куда она несет письма. Дуэнья, не моргнув глазом, отвечала:

— Я несу их дону Педро, госпожа моя, пакет только что доставил слуга с почты.

Женщины все любопытны, вот и Брианда, выказав на сей раз любопытство, вскрыла пакет и нашла письмо, написанное дуэньей и подписанное именем доньи Эльвиры де Монсальве. После того, что Брианда слышала, ей захотелось узнать содержание письма; в надежде, что оно прольет свет на всю эту историю, она начала читать следующее:

«Ваше отсутствие и слабое мое здоровье, любезный супруг мой, причиняют мне столько страданий, что жизни моей скоро придет конец, тем паче что я имею известие, будто Вы намерены в столице жениться. Не могу заставить себя поверить подобному слуху о человеке, давшем слово быть моим супругом и связанном со мною столь надежным залогом — общими детьми. Не стану напоминать Вам, что на небе есть господь, чей суд справедлив, и что у меня есть двоюродные братья, которые, узнав о нанесенном мне оскорблении, не преминут отомстить. Да хранит небо Вашу жизнь, дабы Вы постигли всю силу моей любви и свой долг.

Ваша супруга *донья Эльвира де Монсальве*».

Прочитав письмо, донья Брианда убедилась, что рассказ мстительной дуэньи — чистая правда. Тут как раз вошел ее отец, и она поведала ему все, что узнала о доне Педро, показав, кстати, и письмо мнимой доньи Эльвиры; старик был изумлен; осеняя себя крестным знамением, он возмущался, что кабальеро из столь знатной семьи обманул эту даму, что прижил с нею детей, а после

этого еще приезжает жениться на его дочери; однако говорить с доном Педро откровенно он пока воздержался, желая сперва разузнать об этом деле у одного дворянина из Севильи, к которому тут же отправился.

Едва дон Хуан вышел из дому, как явился дон Педро в сопровождении слуги, который сказал ему, что, мол, пакет из Севильи со всеми письмами передан дуэнье; вот дон Педро и пришел за ними, так как дуэнья и не думала отослать их в дом его кузена. Он застал донью Брианду в первой зале, отца уже не было дома, и дон Педро сказал:

— Госпожа моя, я мог бы возвратиться и по менее важному поводу, только чтоб повидать вас, предмет моих мечтаний, но сейчас оправданием мне служат письма из Севильи, которые мой слуга оставил у той дамы, вашей дуэньи.

— Да, она думала,— сказала Брианда,— что вы сидите с моим отцом, и, войдя, чтобы передать вам письма, встретила меня, а я, догадываясь по ее словам, о чем речь в этих письмах, взяла да и вскрыла их из любопытства и опасения, что в Севилье кабальеро ваших лет вряд ли ведут монашеский образ жизни. Дорого обошлось мне любопытство, но благодаря ему я узнала горькую правду до того, как связала себя узами брака; куда хуже было бы, узнай я это потом; я видела письмо, которое вы сейчас прочтете, письмо от особы, хорошо вам знакомой; в придачу к тому, что я уже знала, мне этого достаточно, чтобы с нынешнего дня прекратить всякие разговоры о браке с вами. Из письма вы узнаете то, что вам и так известно, оставайтесь же с богом, не стану вас больше утруждать.

Дон Педро так и застыл с письмом в руке, недоумевая, что случилось; лишь прочитав письмо, он понял, что чья-то зависть к его счастью хочет ему помешать, нагромоздив на его пути нелепые выдумки; тут в зале появилась дуэнья, и он, не слишком к ней приглядываясь, сказал:

— Сеньора, что это за поклепы на меня возводят? У меня в Севилье возлюбленная, носящая такое имя? Я прижил с ней детей? Дал слово жениться? Готов прозакладывать голову, что это величайшая ложь, какую когда-либо придумывал обман.

— Что до меня,— сказала дуэнья,— я вашим словам верю, но надо, чтобы им поверила и моя госпожа, а она такого нрава, что вряд ли позволит вести дальше разговор о браке; я знаю, что она уже сообщила обо всем отцу и что он отправился разузнать подробности у одного кабальеро из Севильи, здесь находящегося и большого его друга.

— Очень этому рад,— сказал дон Педро,— он, разумеется, услышит, что это ложь и что дамы с именем «донья Эльвира» вовсе

нет в Севилье. Но прошу вас, сеньора, скажите, очень ли вы близки к моей госпоже донье Брианде?

— Я пользуюсь особым ее расположением,— сказала она.

— Ежели так,— сказал дон Педро,— вы, наверно, могли бы убедить ее выслушать мои оправдания.

— Сильно сомневаюсь, что она захочет с вами разговаривать; она, как я видела, была весьма разгневана, а уж если она рассердится, переубедить ее трудно, и ненависть ее долго не проходит.

— Но раз вы к ней так близки,— сказал он,— я уверен, что вы могли бы смягчить ее своими мольбами, описав, как нежно я ее люблю и как почитаю.

— Да, это в моих руках,— сказала дуэнья,— но что вы мне дадите, коль я уговорю мою госпожу?

— Все, что попросите,— сказал он,— и ежели вас интересуют деньги, то человек я не скупой, и для тех, кто мне помогает, ничего не жалею.

— Как видите, я еще молода,— сказала дуэнья,— и не потеряла надежду выйти замуж; но для этого мне надобно хоть какое-то приданое; надеюсь на вашу щедрость, на то, что вы вознаградите меня за услугу и поможете моему счастью.

— Исполните мою просьбу,— сказал он,— и я обещаю дать вам пятьсот эскудо, чтобы помочь в нужде, а дабы вы не сомневались, что обещание я сдержу, принесите письменные принадлежности, я тотчас напишу вам записку на эту сумму.

Донье Виктории было любопытно, чем все это кончится; она поспешно принесла бумагу, чернильницу, перо и положила все на поставец, чтобы дону Педро было удобно писать. В порыве галантности он поставил свою подпись на чистом листе, доверив дуэнье самой вписать названную сумму; ей же только этого и надо было; поблагодарив за оказанную милость, она пообещала быть усердной посредницей и обнадежила дона Педро, что очень скоро он вновь будет в милости у ее госпожи; влюбленный кабальеро, поверив ее словам, откланялся. В это время вошел Альберто, донья Виктория рассказала ему обо всем происшедшем, и он был удивлен, сколь успешно движется интрига, задуманная, чтобы помешать браку. Дама велела ему над подписью дона Педро написать брачное обязательство и проставить число одного из тех дней, когда он был на вилле, да и свидетелей указать. Альберто повиновался, стараясь как можно лучше подделать почерк дона Педро и взяв за образец подпись,— он в этих делах был большой мастер, писец незаурядный.

В тот день дон Хуан де ла Серда не застал своего севильского друга дома и отложил встречу с ним на следующий день. А донья Бриана решительно сказала донье Виктории, что ни за какие

блага не согласится на этот брак, хоть бы и осталась в девицах, да кстати открылась дуэнье, рассказав, что, прежде чем зашла речь об этом сватовстве, за ней ухаживал некий весьма знатный кабальеро по имени дон Санчо де Лейва и она, питая к нему нежные чувства, уже начала было дарить его своей благосклонностью; однако настояния отца, желавшего выдать ее за дона Педро, вынудили ее повиноваться его воле; теперь же, узнав о лицемерии дона Педро, она склонна снова вернуть дону Санчо свое расположение. Донья Виктория слушала с величайшей радостью — это сулило ее замыслам верный успех, и, чтобы укрепить его, она уговорила донью Брианду ободрить дона Санчо.

— Он сильно на меня обозлился,— сказала донья Брианда,— но ежели я пошлю ему письмо, не сомневаюсь, что гнев его пройдет и он снова будет у моих ног.

Мнимая дуэнья вызвалась вручить письмо, только попросила дать ей карету и указать, где живет дон Санчо; донья Брианда была очень довольна, что дуэнья с таким усердием ей служит, тем паче в деле, столь приятном ее сердцу, и, чтобы не откладывать, она приказала дуэнье поехать в этот же вечер к дону Санчо и отвезти письма. Донью Викторию нельзя было упрекнуть ни в лени, ни в тупости,— она тут же отправилась, но не к этому кабальеро, а в нанятый ею дом, велев вознице вернуться: она, мол, дальше пойдет пешком в сопровождении Сантильяны, которого выдавала за отца. У себя дома она написала два письма — одно дону Хуану де ла Серда с приглашением прийти к ней, другое, с таким же приглашением, дону Санчо, указав адрес, по которому ей было приказано поехать. А пока доставляли письма, донья Виктория, сняв платье дуэньи и надев нарядное платье знатной дамы, уселась на эстрадо и в обществе служанки принялась ждать этих двух посетителей. Вскоре явился дон Санчо де Лейва, не знавший, кто его вызвал, ибо подпись на письме ничего ему не говорила. Едва он уселся и перемолвился с доньей Викторией несколькими любезными фразами, как доложили, что дон Хуан де ла Серда вышел из кареты и поднимается к ней. Тогда она сказала дону Санчо:

— Сеньор, мне необходимо побеседовать с этим кабальеро наедине, но я не намерена скрывать от вас содержание нашего разговора; прошу вас, зайдите в этот альков и, стоя за занавесом, внимательно слушайте, о чем мы будем говорить, ибо все это послужит вашему благу.

Дон Санчо повиновался, недоумевая, к чему все эти таинственные приготовления.

Вошел дон Хуан, и, когда он уселся в кресло, донья Виктория сказала ему следующее:

— Полагаю, что вы, дон Хуан, немало удивлены, почему это вас приглашает письменно особа вам незнакомая в дом, хозяин которого также вам неизвестен. Дабы вывести вас из недоумения, скажу вам, кто я. Родина моя — императорский град Толедо; в семье моих родителей я родилась второй, у меня есть старший брат, наследник всего их достояния; фамилия наша Сильва; думаю, этим достаточно сказано о моей знатности, но могу прибавить, что отец мой был рыцарем ордена Сантьяго, а брат состоит в ордене Алькантара и служит его величеству во Фландрии, имея чин капитана кавалерии. Оставил он меня в Толедо на попечении престарелой тетушки, которая вскорости умерла; после ее кончины я удалилась на свою виллу, вблизи Толедо, и жила там, занимаясь хозяйственными делами,— в моем имении есть и стада, и пахотные земли; так проводила я время в мирных занятиях, наслаждаясь сельским покоем и не ведая любви, пока однажды утром один из моих пастухов не привел ко мне в дом двух мужчин, ограбленных ворами, совершенно раздетых; сжалившись над ними, особенно над тем, кто с виду был господином, я достала из оставленных мне братом двух сундуков с одеждой два костюма для них, и они оделись; оба благодарили меня за милосердие, хотя потом господин обошелся со мною без всякого милосердия,— его лесть, учтивое обхождение и нежные взгляды сумели в несколько дней, что он провел у меня в гостях, пленить меня так, что я перестала владеть собою; настойчивые его домогательства заставили меня поверить, что он меня любит, и я также открыла ему свою любовь. В конце концов, написав брачное обязательство, он добился от меня исполнения своих желаний, а затем, сказав, что едет хлопотать по тяжбе, сулящей ему немалые деньги и требующей его присутствия при вынесении приговора, он попросил у меня дозволения ехать в Мадрид, обещая вскоре вернуться; столько любви и нежности было в его поведении, что он сумел бы обмануть и женщину, менее любящую; я разрешила ему пробыть в столице, сколько ему понадобится, и с тем он, к великой моей печали, расстался со мною. Случайно найдя забытые им под подушкой портрет и письмо, я узнала, что он собирается в Мадриде жениться и что невеста его, чудо красоты,— это нынешняя моя госпожа и ваша дочь донья Брианда де ла Серда. Честь — драгоценнейшее наше достояние; посему я, обнаружив коварство дона Педро, решила приехать сюда и прибегнуть к помощи достойных особ, друзей моего покойного отца, дабы они, вступившись за меня, помешали этому браку; я полагала, что первая моя обязанность — уведомить вас о моем бесчестье и о нраве дона Педро, дабы вы, узнав о том и о другом, не дали ему вступить в брак, условия коего, как я узнала, уже подписаны. С этим вот письмом и имеющимися

у меня свидетелями я намерена добиваться справедливости; взгляните на него — и вы убедитесь, довольно ли у меня прав принудить дона Педро исполнить его обещание.

С изумлением выслушал дон Хуан де ла Серда речи доньи Виктории и по ее рассказу понял, что дон Педро — человек распутный, падкий до наслаждений; имея уже сведения о том, что якобы произошло с ним в Севилье, дон Хуан положил прекратить приготовления к браку дочери. Развернув же листок, протянутый ему Викторией, он прочитал следующие строки:

«Я, дон Педро де Рибера, житель города Севильи, сим обязательством и своей подписью подтверждаю, что готов стать супругом доньи Виктории де Сильва, жительницы Толедо, и не откажусь исполнить свое обещание, когда бы и где бы от меня ни потребовали, предъявив сию грамоту. Свидетели Альберто и Марсела, домашние слуги.

Дон Педро де Рибера».

Прочитав письмо и все обдумав, дон Хуан молвил так:

— Весьма сожалею, сеньора, что дон Педро, человек столь благородного происхождения, поступил с вами так коварно,— ведь когда писал он эту записку, он направлялся на свадьбу с дочерью моей Бриандой; я, с моей стороны, могу сделать одно: после этого предупреждения он не переступит порог моего дома, и о браке больше не может быть и речи — зачем мне настаивать на этом союзе, когда ваше противодействие, и столь справедливое, способно все расстроить. Продолжайте же добиваться своего и не отступайте — ведь дело идет не о пустяке, но о чести вашей; я же, дабы помочь вам, предлагаю свои услуги; у меня здесь есть влиятельные друзья, и, ежели сам не смогу действовать, я могу прибегнуть к их поддержке.

Донья Виктория поблагодарила за милость, утирая слезы, чем еще больше расположила престарелого дона Хуана; он вызвался показать записку дону Педро, надеясь, что сумеет заставить юношу признать свое преступление. На том старик расстался с доньей Викторией, обещая вскоре возвратиться, вернуть ей записку и уладить ее дело, в чем ему, мол, поможет один друг. Он ушел, а дон Санчо де Лейва появился из своего укрытия, и, когда он уселся, донья Виктория сказала:

— Ежели вы, сеньор дон Санчо, слушали внимательно мой разговор с доном Хуаном, то вам уже известна моя история и то, что дону Педро по этой причине не бывать мужем красавицы доньи Бриандры; сама же она поручила сказать вам, что к согласию на этот брак, весьма ей неприятный, ее вынудила лишь непреклонная

воля отца и что она почитает величайшим счастьем представившийся случай его расторгнуть и вернуть вам свое благоволение. Все это написано ее рукою в этом вот письме.

И она подала ему письмо, прочитав которое дон Санчо почувствовал себя счастливейшим человеком на свете, ибо оно воскресило его умершие надежды. Затем донья Виктория продолжила так:

— Я понимаю, сеньор дон Санчо, что теперь вы ломаете себе голову, каким образом это письмо попало в мои руки; загадка трудна, но я открою вам ее решение. Вы сами влюблены, а потому знаете, что любовь побуждает к всевозможным превращениям, и только ею порождены все те чудеса, о коих писал Овидий. Вот и я, всем сердцем полюбив дона Педро и к тому же имея на руках обязательство, о коем вы уже знаете, готова была на все, чтобы восстановить свою честь и удовлетворить любовь. Я приехала сюда с намерением поступить в услужение к донье Брианде, и это мне удалось; хотя сейчас вы видите меня в нанятом мною доме, я в ее доме служу дуэньей, избрав эту роль и вдовье платье, дабы вернее обмануть проницательность дона Педро и всеми способами внушить донье Брианде ненависть к нему; замысел мой оказался удачен, их брак не состоится, зато для вашего я сделала все, что могла. Итак, подумайте, что́ вы хотели бы передать через меня вашей даме,— прямо отсюда я, в платье дуэньи, вернусь в ее дом, где присутствие мое необходимо; ежели угодно, напишите, вот и прибор, и это, по-моему, будет лучше всего, тогда Брианда убедится,что ее приказ я исполнила в точности. Секрет моего переодевания вы должны сохранить — для меня он не менее важен, чем свершение моего замысла; верю, что вы меня не предадите и что такому человеку, как вы, я могу доверять вполне.

Дон Санчо выслушал донью Викторию с величайшим изумлением; похвалив ее за смелость и поблагодарив за посредничество в его любви, он клялся, что молит бога продлить ему жизнь, дабы он мог с нею расплатиться, а секрет обещал хранить до тех пор, пока она сама не прикажет его открыть. Донья Виктория уже торопилась, а потому дон Санчо быстро написал своей даме письмо в самых нежных выражениях, благодаря за милость и обещая быть верным в любви до конца дней своих. На том он с Викторией простился, и мы оставим ее, пока она снимает наряд знатной дамы и надевает платье дуэньи, чтобы идти обратно к донье Брианде, и поведаем, что́ застал дон Хуан де ла Серда в своем доме.

Огорченный злым наветом, которым опорочили его в глазах нареченной, дон Педро де Рибера сообщил обо всем своему кузену дону Родриго, и они вместе отправились к дону Хуану де ла Серда. Старика дома не застали и попросили доложить о своем приходе донье Брианде; та вышла к гостям, но, чтобы сократить визит, даже

«Севильская Куница».

не присела — так ей было неприятно видеть дона Педро после того, что она о нем узнала. Страдающий влюбленный стал оправдываться, клянясь и божась, что в жизни не знал в Севилье той дамы, которая писала письмо, и что, наверно, все это подстроено каким-то завистником, желающим помешать его счастью, и пусть, мол, дон Хуан все хорошенько разузнает, и ежели это окажется правдой, то он, дон Педро, готов отказаться от своего счастья и признать себя недостойным ее руки. Его уверения заставили Брианду усомниться, не была ли она обманута; надеясь на то, что отец все же сумеет выяснить правду, она в ответ сказала, что, мол, она над своим сердцем не хозяйка, что во всем она повинуется воле родителя, а посему не может им дать окончательного ответа и также не может победить предубеждение против дона Педро, но что скоро придет отец и он уже сам все решит, согласно тому, что ему удалось разузнать. Тут как раз вошел в залу дон Хуан, только что побывавший у Виктории; дон Родриго пересказал ему, о чем они толковали и как глубоко страдает его кузен,—остается, мол, одно, разузнать со всей достоверностью, правда ли то, что написано в письме, или же ложь. Все сели, и дон Хуан отвечал так:

— Любезные сеньоры, я вышел из дому с намерением узнать у моих друзей из Севильи, истинно ли то, в чем обвиняют дона Педро, но их не застал; впрочем, даже если б и застал, вполне возможно, что вести об этой связи до них не дошли,— Севилья город большой, от одного конца до другого так далеко, что, живя в одном городе, люди живут как бы в двух разных городах; зато узнал я другое, узнал, что дон Педро дал слово жениться некоей даме из Толедо, на чьей вилле гостил после того, как его ограбили воры, и, кроме того, что он обязан восстановить ее честь. Все это рассказала мне она сама, пригласив меня к себе и показав в подтверждение вот эту записку, подписанную его именем,— отрицать ему невозможно, мы все знаем его почерк.

Дон Хуан подал записку дону Родриго, затем, с некоторой опаской, дону Педро; оба были поражены, и дон Педро смятением своим выдал себя, хотя клялся, что обязательство такое давал не под своим именем, но под вымышленным. Дон Родриго, знавший все обстоятельства дела, стал стыдить кузена, а дон Хуан молвил так:

— Сеньор дон Педро, когда человеку молодому, да еще влюбленному, надобно удовлетворить страсть, он пойдет на все; вами владела любовь, и я не дивлюсь, что вы дерзнули причинить бесчестье той даме, не посмотрев на ее знатность, на славный ее род, не думая о том, что рано или поздно она сообщит родным об оскорблении и те вам отомстят; удивляет меня другое, то, что, когда вы, без памяти влюбленный, как твердят ваши письма, ехали жениться

на Брианде, в сердце вашем нашлось место для другой любви, нет, вернее, то была похоть, ибо, быстро позабыв об этом знакомстве, вы повели разговор о браке. Знайте же, сеньор, ежели вы желаете поступить как должно дворянину,— а в вашем благородстве я не сомневаюсь,— вам надлежит исполнить свое обязательство, не то найдутся люди, которые вас заставят его исполнить, ибо дама эта не так бедна защитниками, как вам кажется. Она приехала в Мадрид, чтобы любыми путями добиться восстановления своей чести, и она это сделает; все поддержат ее требование, ибо оно справедливо. Советую вам не давать повода, чтобы в Мадриде пошла о вас дурная молва: исполните свой долг, и пусть любовь к Брианде не ослепляет вас — скорее я запру дочь в четырех стенах, и пусть она, сидя дома, зачахнет, нежели разрешу выйти за вас.

Он поднялся с кресел и в гневе удалился в другую горницу, донья Брианда за ним вслед; оба же двоюродных брата, смущенные и безмолвные, возвратились восвояси, и дома дон Родриго учинил кузену знатную головомойку, укоряя за двуличность. Оправданий у дона Педро не нашлось, он только недоумевал, каким образом записка оказалась от его имени, когда он подписал ее именем вымышленным. Предоставим ему теряться в догадках и вернемся к мнимой дуэнье, которая, возвратившись в дом дона Хуана, передала Брианде письмо дона Санчо, чем несказанно ее обрадовала, ибо Брианда опасалась, как бы дон Санчо, обозлясь на нее за намерение выйти замуж, не отказался ее видеть. Брианда сообщила дуэнье о приходе дона Педро и его кузена дона Родриго, об их беседе с ее отцом и о том, как отец запретил им думать о браке, ибо случайно узнал, что дон Педро уже дал слово и письменное обязательство жениться одной толедской даме, которая явилась вслед за ним в Мадрид, чтобы расстроить его сватовство. Виктория делала вид, будто об этом ведать не ведает, а потом стала рассказывать всякие ужасы о доне Педро. В это время донье Брианде принесли записку от ее кузины, приглашавшей прийти вечером на представление комедии у нее в доме, и донья Брианда просила передать, что будет. Тут Виктории пришла на ум хитрая мысль, которая, как мы увидим, удачно осуществилась и привела все к благополучному завершению; она сказала донье Брианде, что ежели той угодно нынче вечером, пока будет идти представление, встретиться с доном Санчо в надежном месте, то можно это сделать в доме ее, Виктории, отца, вполне для этого удобном. Донья Брианда питала к дону Санчо весьма нежные чувства и желала бы оправдаться перед ним за нанесенную ему обиду; предложение дуэньи она приняла, а та, призвав Альберто, дала ему письмо к дону Санчо с приглашением явиться в восемь часов вечера в дом доньи Виктории, да еще другое письмо — к дону Педро де Рибера, извещаю-

щее о том, что, мол, донья Брианда, несмотря на все между ними происшедшее и на гнев отца, решила стать его супругой и для того желает встретиться с ним нынче вечером в доме, адрес которого ему укажет эскудеро, и чтобы явился он не позже девяти часов. Альберто, не мешкая, отнес оба письма, которые причинили немалое удивление получателям, особенно же дону Педро,— то его отвергали, то теперь призывают, суля осчастливить рукою доньи Брианды; он, однако, приписал это посредничеству дуэньи и решил, что, пообещав ей деньги за такую услугу, он еще дешево заплатил. Оба молодых человека стали готовиться к визиту, а тем временем донья Брианда и ее дуэнья сели в карету — дон Хуан де ла Серда уже укладывался спать — и отправились к Виктории, в ее дом, числившийся домом Сантильяны, как назвался Альберто; там их встретила Марсела, служанка Виктории, игравшая роль ее мачехи; сняв мантильи, они принялись ждать прихода дона Санчо к назначенному часу; а покамест Виктория тайком продиктовала Сантильяне, он же Альберто, письмо к дону Хуану, гласившее следующее:

«Моя госпожа донья Брианда, вместо того чтобы поехать на представление комедии в доме ее кузины, явилась в дом моего отца с намерением, вопреки Вашей воле, отдать свою руку дону Педро; извещаю об этом, дабы Вы предотвратили беду, и, предупредив Вас, оставляю засим службу в Вашем доме».

С этой запиской Сантильяна направился к дону Хуану, но только вручить ее наказали не ранее, чем в половине десятого. Пока все это делалось, дон Санчо не преминул явиться по приглашению; на условный стук ему сразу отворили, он оказался у ног своей дамы, всем его обидам было дано удовлетворение, и Виктория оставила их наедине в комнате, замкнув дверь на ключ.

Пробило девять, и к дому, опасливо озираясь, подошел дон Педро, отыскав его по указанным приметам; он тоже постучался условным стуком, и ему отворили. Встретила дона Педро Виктория, которая, проведя его в неосвещенную комнату, сказала, что ему надо здесь посидеть тихо и неподвижно,— скоро, мол, к нему придет ее госпожа; юноша обещал не шуметь и стал ждать, а Виктория тем временем пошла снять току и черное платье и нарядиться знатной дамой. Переодетая, она вернулась в темную комнату и, разговаривая шепотом, сумела ввести дона Педро в обман — он уверился, что это Брианда одарила его своими милостями.

Оставим их там и вернемся к дону Хуану. Только начал он раздеваться, как вошел Альберто с письмом от своей госпожи. Престарелый кабальеро взволновался и в сопровождении Альберто

поспешил к коррехидору, чей дом стоял поблизости; удрученный горем старик сообщил коррехидору, своему другу, о постигшей его беде, тот призвал стражу, все отправились к дому Альберто, и на их громкий стук дверь тут же отворили. Они вошли, имея при себе фонарь и факел, захваченные очень кстати, ибо во всем доме царила полная темнота. Зажегши факел, который понес впереди слуга, стали осматривать все комнаты; в одной нашли дона Санчо и донью Брианду, и на вопрос коррехидора, что они тут делают, дон Санчо отвечал, что он, мол, тут со своей супругой, и она это подтвердила. Дон Хуан хотел было кинуться на них со шпагой в руках, но коррехидор удержал старика, говоря, что его дочь здесь вовсе не с тем мужчиной, о котором он думает, а что кабальеро этот не кто иной, как дон Санчо де Лейва, известный в столице доблестью и благородством. Дон Хуан де ла Серда был готов примириться с этим браком, только бы не видеть дочь замужем за доном Педро, которого старик, узнав о его нечестных делах, возненавидел. Затем подошли к другой горнице, но тут дверь была заперта, и когда взялись взламывать замок, им открыл дон Педро и сказал, что он, мол, здесь находится с доньей Бриандой, своей супругой, что по ее воле явился он в этот дом, дабы здесь с нею обручиться. Но тут появилась из горницы донья Виктория и сказала:

— Вы ошиблись, дон Педро, я не та, что вы думаете, я донья Виктория де Сильва, чью честь вы обязаны восстановить; она-то и принудила меня пойти в услужение к донье Брианде под видом дуэньи.

Приглядевшись, дон Хуан и его красавица дочь узнали в даме мнимую дуэнью; стало ясно, что она прибегла к переодеванию, дабы защитить свою честь, и все принялись выговаривать дону Педро; доводы подействовали, он снова подтвердил данное прежде слово; так же поступили и дон Санчо со своей дамой; свадьбы решено было сыграть через неделю; посаженными отцами и матерями пригласили двух грандов Испании с их супругами. Обе молодые четы зажили счастливо, и вскоре у них родились дети, на радость и утешение родителям.

С великим удовольствием слушали Руфина и ее служанки искусно рассказанную доном Хайме новеллу; она стала еще одним звеном в цепи, полонившей сердце Руфины, чья любовь росла с часу на час. Юноша видел, что победа полная, большего нечего желать, и это было ему очень приятно; он решил отказаться от участия в ограблении Руфины и только ждал удобного случая рассказать ей обо всем. Помогла ему в этом сама Руфина: полагая, что

дон Хайме тот, за кого себя выдавал, она сказала, что до возвращения отца из Мадрида хотела бы с ним, Хайме, бежать, прихватив все, что в доме есть ценного; отправиться они могут в Валенсию; раз дон Хайме из тамошней знати и богат, ее отец, наверно, согласится на этот брак. Тут юноше уже пришлось раскрыть свои карты и хитрую плутню, против Руфины затеянную; дабы вывести ее из заблуждения, Хайме сказал следующее:

— Госпожа моя и повелительница! Знаю, вы от души желаете мне блага, а потому хочу говорить с вами откровенно, без утайки, о том, чего вы до сих пор не знали, и прошу меня простить — одна любовь может служить мне извинением. Преступление мое не в том, что я полюбил вас, ибо не в вашей власти помешать любить вас каждому, кто сподобился видеть божественную красоту вашу; да, я увидел ее, был ею побежден, моя свободная воля и все три силы духовные стали пленницами вашей прелести; подобную победу вы легко могли бы одержать и над сердцами более строптивыми, чем мое; лишь только увидел я сияние двух этих солнц, как стал вашим рабом, и всегда буду о том твердить. Сим предисловием я предваряю то, что намерен вам сообщить, дабы оправдать им мой проступок и прикрасить мой грех. Я не тот, каким расписал себя в своем рассказе; родился-то я в Валенсии, но в семье бедной, родители мои были людьми честными и почтенными; отец зарабатывал на пропитание трудом своих рук, а был он ремесленником, мастерил альпаргаты; я же с самого детства заносился высоко, не желал унижать себя трудом ремесленника и, недолгое время пробыв в Андалусии, перебрался в Кастилию — мне везло, с людьми я обходиться умею, и у меня никогда не было недостатка в друзьях и в деньгах. В этот город я приехал вместе с неким Криспином; его в Малаге содержали под стражей, но за какое преступление — он мне не пожелал сказать. Я этому человеку обязан; он взял на себя дорожные расходы и дал мне денег взаймы; затем, видя, что малый я любезный и хочу быть его другом, он, оказав мне разные услуги, однажды открылся передо мной: стал уговаривать, чтобы я проник в ваш дом и потом ввел его; зная о вашем богатстве, он хотел, чтобы мы вас ограбили; слыша такие речи, я убедился в том, что́ подозревал и раньше,— что Криспина содержали в Малаге в тюрьме за воровство. Как задумали, так и сделали: мы изобразили драку, я укрылся у вас в доме и нашел здесь столько благоволения в душе вашей и столько блаженства в ласках ваших, что они расстроили замысел Криспина; отныне я, разоблачив перед вами все его хитросплетения, попытаюсь у него самого потрясти мошну, ему в наказание, да не попустит небо, чтобы я, премного вами облагодетельствованный, отплатил вам за добро черной неблагодарностью. Я открыл свое сердце, располагайте же мною по вашей

воле, а я не допущу, чтобы Криспин причинил вам зло, хотя, как видите, пришлось мне отказаться от благородного звания.

Немало изумилась Руфина, слыша от своего милого такие речи; злобный замысел Криспина, который здесь, в Толедо, узнал ее и хочет отомстить за учиненное в Малаге ограбление, стал ей ясен, и теперь она опасалась, не рассказал ли Криспин ее любезному Хайме, какова она птица. И раз уж Хайме открыл ей, кто он, объявив свой прежний рассказ выдумкой, решилась и она изложить ему все как есть; она тоже объявила, что прежде ему солгала о своем происхождении, а затем вкратце сообщила, откуда она родом, да кто ее родители, да как она жила, пока не очутилась в Толедо,— до сих пор она все это скрывала, но любовь и вино развязывают язык.

Юноше было весьма приятно, что Руфина ему ровня, союз их оттого лишь крепче стал, они договорились пожениться и уехать из Толедо в Мадрид; но сперва, сказала Руфина, они должны отомстить Криспину, не может она простить, что он замыслил против нее такую подлость; Хайме попросил, чтобы Руфина разрешила действовать ему; под личиной друга он, мол, сумеет облапошить Криспина и не только без денег оставит, но, дабы впредь неповадно ему было затевать такие штуки, пристроит в надежное место — в толедскую тюрьму. Итак, в этот же вечер Хайме отправился к Криспину и застал своего приятеля дома; Криспин, его прихода никак не ожидая, очень обрадовался; Хайме стал докладывать, как он сумел втереться в доверие к Руфине и как она уже почти согласна исполнить его желания, да только надо вот закрепить успех, нужны, мол, ему еще деньги, чтобы потрясти кошельком перед ней и ее служанками; тогда она, мол, больше будет ему доверять и убедится, что он ее любит. Криспин, хоть и матерый вор, попался на удочку; без долгих слов он отсыпал Хайме, чтобы тот, как пристало знатному юноше, пошиковал, сотню золотых эскудо; пусть тратит сколько вздумается, он же, Криспин, надеялся получить прибыли втрое. Монеты доставал он из мешка, в котором было свыше пятисот дублонов, добытых темными делами; Хайме глаз не сводил с мешка, набитого желтыми бляшками, и поклялся себе, что уж закатит мешку очистительную, ничегошеньки не оставит, и скоро это исполнил. Улучив минуту, когда Криспин вышел отнести на кухню двух куропаток и кролика, чтобы поджарили на ужин ему с приятелем, Хайме подскочил к сундучку, хранилищу казны; как мастер своего дела, мигом поддел дужку замка, открыл сундучок и вытащил раздувшийся от дублонов мешок, дабы он разрешился от бремени в другом месте, о котором его хозяин и не догадывался. Ужин был на славу, затем Хайме распрощался с Криспином, подогрев в нем надежду, что скоро его желание сбудет-

ся. Сам же возвратился к своей Руфине и был принят с радостью; рассказав, как надул Криспина и как тот заплатил своими денежками за намерение ее обокрасть, Хайме показал ей дублоны — Руфина долго ими любовалась, к деньгам она была неравнодушна, особенно к золотым. Хайме сказал, что надо чем скорее удирать из Толедо, пока Криспин не хватился денег, но Руфина придумала кое-что получше, хотя и насчет бегства согласилась; решила она призвать на помощь власти Малаги, сообщить одному тамошнему альгвасилу, свирепому гонителю воров, что Криспин обретается в Толедо, указав и гостиницу, и приметы этого ловца чужого добра. Написали они письмо с таковым сообщением и стали готовиться к отъезду; нашлись две повозки, отправлявшиеся в Мадрид; Хайме и Руфина погрузили на них свое платье и прочие пожитки и только с одной рабыней отправились в столицу, этот океан, куда сбирается вся рыба и где Руфина была намерена жить скрываясь, пока не проведает, что с Гараем.

Оставим ее устраивать свое жилье и вернемся к письму, посланному альгвасилу; едва альгвасил это письмо прочитал, как принялся за дело; призвав своих крючков, он в тот же вечер пустился в путь и явился в гостиницу, где Криспин, словно иудей, полный радужных надежд, мечтал, как Хайме проведет его в дом Руфины да как он заграбастает все ее денежки; схватили голубчика тут же, в его комнате, и кинули в тюрьму. Совсем недавно один судья из Малаги пытался его искать в Толедо и, не найдя, передал этому альгвасилу приметы вора, так что он Криспина узнал сразу. Отвели мошенника в тюрьму и все его пожитки забрали, а там, как он полагал, были и золотые монеты, на самом-то деле украденные Хайме; так и не узнал Криспин об этом похищении, что было к лучшему для влюбленной четы. Когда стали Криспина допрашивать с пристрастием да посадили его верхом на страшного деревянного коня, оказался он никудышным наездником, наговорил три короба и на себя и на других; дело сочли весьма важным и приговорили Криспина к казни через повешение, дабы поплясал он на виселице перед всем честным народом; и в том явил господь великое свое милосердие, ибо Криспин окончил жизнь, покаявшись в грехах; хотя виселица — обычное место успокоения людей, занимающихся этим ремеслом, они чаще всего умирают внезапно, сраженные пулей или шпагой. Итак, Криспина повесили. Но прежде он, за бытность свою отшельником понаторев в проповедничестве, и на помосте виселицы сказал слово. Ему уже ясно было, что погубил его Хайме, но, как добрый христианин, он в смертный свой час простил коварного друга.

Руфина и ее любезный, скрываясь от Гарая,— особенно же пряталась она,— жили в Мадриде как муж с женой, обвенчавшись

сразу по приезде. Гарай же побывал в Алькала, где, как он слышал, жила его жена, но не нашел ее там и стал якшаться с разными ворами и грабителями, да на том погорел: схватили их однажды на месте преступления, всех присудили к наказанию плетьми и к шести годам галер; вереницу каторжников повели в Толедо, Гарай, думая, что Руфина живет там, послал письмо, в котором просил — в память его услуг, благодаря коим она приобрела все, что имеет,— сжалиться над его бедой и вызволить с каторги, поставив вместо него какого-нибудь раба, это, мол, делается каждый день. Посланец с письмом искал Руфину на указанной ему улице и тут узнал от соседей о ее отъезде; так бедняге Гараю, обремененному железами, годами и трудом, пришлось стать молотильщиком волн и слугою его величества вместе со многими другими, отнюдь сей должности не домогавшимися.

Вернемся к Хайме, который зажил в Мадриде припеваючи; сразу обзавелся он доброй компанией, все они, хоть и не были культистами, обожали перемещения, да только не слов, а драгоценностей и денег. Несколько краж они совершили столь осторожно, что преступников так и не нашли; от успеха у них прибавилось дерзости — без устали шныряли эти молодчики, высматривая, куда бы еще когти запустить.

Жил там, в Мадриде, некий автор комедий, состоявший в знаменитой труппе актеров, лучшей во всей Испании и пользовавшейся поддержкой сиятельного принца, который, следуя примеру многих ему подобных, влагал в это дело еще больше пыла, — то ли из похвального сострадания к беднякам, то ли по другой причине; в конце концов он взялся поддерживать и давать содержание этому самому автору и к началу года заполучил для него наилучших актеров того времени, чтобы на все роли были дублеры; а сделано это было для того, чтобы упомянутый автор в празднество тела Христова мог управиться один, без помощника,— случай до тех пор неслыханный. Принц закупил для своего любимца комедии, которые, по его просьбам и за его деньги, писали лучшие столичные поэты, да так, чтобы комедии пришлись впору этой громадной труппе; тогда другая труппа, пребывавшая в Мадриде, видя, что соперничать бессмысленно, удалилась из столицы в Толедо и взяла на себя обязательство устроить праздничные представления в императорском городе. Итак, автор-ловкач остался в столице, получил от городских властей подряд на представления в празднество тела Христова и, чтобы приодеться получше, взял вперед причитавшиеся ему деньги, две тысячи серебряных эскудо; так он сразу разбогател, хотя в то время с серебром было туго, и помогли в этом любители его труппы. Снес он деньги к себе в гостиницу и спрятал в стоявший у него в комнате сундук. Об этом пронюхала

шайка Хайме, разобрала их охота завладеть деньгами, но, не зная, как за это взяться, стали они предлагать всякие способы, каждый свое. Под конец положили спросить у Хайме, и тот обещал высказать свое мнение на следующий день — надо, мол, все обдумать не торопясь. Ночь он провел со своей супругой, которой сообщил о деле, задуманном его дружками. Сам Хайме тоже не мог ничего изобрести, но Руфина с ее быстрым умом подсказала надежный способ, причем Хайме должен был блеснуть своим поэтическим талантом. Вдвоем они все обмозговали, и утром Хайме изложил друзьям свой план, который всем очень понравился; а каков был этот план, мы пока умолчим; сами увидите, когда будем рассказывать об этой ловкой затее.

Через день-другой Хайме вырядился студентом, купив у старьевщиков потрепанную и засаленную сутану, одежду поэтов, и в пару к ней плащ из потертой байки; на нос нацепил он большущие очки, голову прикрыл широкополой шляпой — словом, обзавелся всем необходимым снаряжением, что стоило ему двух бессонных ночей. В таком виде Хайме появился на «Брехальне» в день, когда труппа отдыхала, ибо в театре принца готовили декорации к комедии трех поэтов; без труда нашел он там преуспевающего автора и после весьма учтивых и церемонных приветствий, осведомившись о здоровье, молвил так:

— Сеньор автор, я поэт милостью божьей, не в обиду вам будь сказано.

Автор был большим насмешником, и ему не раз приходилось видеть подобных типов; ответ его был таков:

— Желаю вашей милости оставаться многие годы поэтом, а мне обижаться нечего.

— Основы моих познаний в поэзии,— сказал дон Хайме,— заложены в бытность мою актером в Ираче, где я получил степень бакалавра, к великому восторгу всех моих земляков; я-то сам баск, к услугам господа и вашей милости. Родина моя — Ордунья, и происхожу я из знатнейшей семьи старинного сего городка; зовусь я бакалавр Доминго Хоанчо, имя славное во всей Бискайе; там я, не пренебрегая благом, что ниспослало небо, наделив меня безвозмездной благодатью в виде поэтического таланта, усердно изучал поэзию и даже стал сочинять комедии; некоторые из них стоили мне изрядного труда и отнюдь не похожи на те, что обычно пишут в наше время, нет, комедии моего сочинения совсем особые, и всего их у меня дюжина. Ныне я приехал в столицу, где столько блестящих поэтов, дабы поучиться у них и себя показать; я вижу, мне повезло чрезвычайно, я встретил здесь вашу милость и наиславнейшую труппу в Испании, которой желал бы предложить свои комедии; коль будет угодно сие вашей милости, я хотел

бы поставить хоть с полдюжины; что ж до платы за них, не тревожьтесь, сойдемся; скажите только, что́ ваша милость думает о моем предложении.

Автор этот отличался от своих собратьев, которые, лишь заикнись какой-нибудь поэт, что хочет поставить комедию, бегут от него, как от огня, ежели он не из прославленных, даже выслушать комедию не желают, словно бог, наделив их талантом, получившим признание, положил после того предел своему всемогуществу и уже не может одарить талантом, куда более блестящим, многих других поэтов. Но, повторяю, этот автор был человек добродушный и, когда был не занят делом, охотно шел на такого рода приключения. Итак, он пожелал услышать названия привезенных баском комедий, дабы по ним судить о таланте сочинителя. На его вопрос, каковы названия комедий, мнимый поэт, он же дон Хайме, вытащил лист со списком комедий, который загодя составил, изрядно при этом потешаясь, и прочитал автору.

«Список комедий, сочиненных бакалавром Доминго Хоанчо, баскским поэтом, в сем году, ныне истекающем, с таковыми названиями:

«Блуждающая инфанта».
«Кто имеет, пусть владеет».
«А подать мне сюда их всех».
«Туфельки в Астурии».
«Люцифер из Сайяги».
«Беспечальное житье».
«Ветошь не наденешь».
«Не полюбишь — не приголубишь».
«Таррага по пути в Малагу».
«Золотуха во Франции».
«Орехи для беззубого».
«Бискайская сеньоресса».

— Вот двенадцать сочиненных мною комедий,— сказал дон Хайме,— и хотелось бы мне, чтобы прежде всех прочих поставили последнюю, она о моей родине, и комедия эта непростая, но с большим смыслом, она способна наделать шуму в десяти столицах; да, чего уж там говорить, написать ее стоило мне трудов исполинских.

Слушая названия комедий, автор едва мог сдержать приступы душившего его смеха, и, чтобы вволю позабавиться творениями баскского поэта, он сказал:

— Сеньор, великое удовольствие получил я от знакомства с

вашей милостью, хотя до сей поры вашего имени не слыхивал; как я полагаю, вам следует явить свой талант достославной сей столице; я же, со своей стороны, берусь помочь тем, что готов вместе со всей моей труппой послушать чтение комедии, наиболее вами ценимой, и эту комедию вы как поэт-новичок должны мне предоставить бесплатно — таков обычай; за другие же, которые мне понравятся, я заплачу, как договоримся; может статься, они настолько придутся мне по вкусу, что я ими обеспечу нашу труппу на весь год, хотя бы и себе в ущерб; нынче вечером чтение можно устроить у меня в гостинице; приходите, ваша милость, как стемнеет, и доставьте нам удовольствие комедией по вашему выбору.

— Первой я буду читать комедию «Бискайская сеньоресса»,— отвечал Хайме,— она должна стать фундаментом моей славы.

— Я заметил,— сказал автор,— что ваша милость назвали ее «сеньоресса» вместо «сеньоры», слова более употребительного.

— Совершенно верно,— сказал мнимый поэт,— но так как «сеньоресса» отлично рифмуется со словами «принцесса», «баронесса», «догаресса» и так далее, я назвал ее «сеньоресса», и это, разумеется, новшество, но ваша милость знаете, что в наше время все жаждут нового, а обычное и привычное не желают слушать даже простолюдины.

Автор от души веселился, слушая поддельного поэта, а тот весьма искусно разыгрывал свою роль. Попросив не опаздывать, автор распрощался с новым знакомым. Хайме тотчас известил свою шайку, что договорился о чтении комедии, и обнадежил своих дружков, что сумеет отвлечь автора на то время, пока они управятся; хорьки эти, лазающие по чужим сундукам, запаслись и ключами и отмычками. С наступлением вечера в гостиницу к автору явился ряженый поэт читать свое творение. Автор уже рассказал всей труппе, какого он ждет чудака и как славно они в этот вечер позабавятся; собрались все актеры до одного и, рассевшись в зале для репетиций, стали ждать поэта. Тот вошел очень скромно и был встречен любезными приветствиями, затем его усадили в кресло, перед которым стоял поставец с двумя свечами; вытащив из кармана красиво переплетенную рукопись, он выждал, пока в зале воцарится тишина, и начал чтение:

— «Знаменитая комедия «Бискайская сеньоресса», сочиненная бакалавром Доминго Хоанчо, бискайским поэтом.

Участвуют следующие лица:

Дон Очоа, кабальеро.
Дон Гарника, кабальеро.
Гойенече Уполовник, слуга».

— Простите, ваша милость,— сказал автор,— а не довольно ли слуге иметь одно имя?

— Нет, сеньор,— сказал Хайме,— первое — это и есть его имя, а второе указывает на изображаемый им характер; как уполовником перемешивают варево, так и он перемешивает всю интригу комедии.

— Продолжайте, ваша милость,— сказал автор.

Хайме продолжил чтение.

— «Острохелинда, Бискайская сеньоресса (имя ее указывает на то, что она любит острить).

Гарибайя } ее служанки.
Гамбойна }

Лордуй, старик эскудеро.

Арансибия, майордом.

Кузница».

— Бога ради, остановитесь,— сказал автор.— Эта кузница тоже будет говорить?

— Нет, сеньор,— сказал поэт,— но она в комедии необходима на тот случай, коль стихи захромают и надо будет их подковать.

— Не вставляйте ее хотя бы среди действующих лиц,— сказал автор.

— Будет исполнено,— сказал бакалавр и прочитал далее: — «Тринадцать вассалов сеньоressы».

— Тринадцать? — удивился автор.— А нельзя ли их число уменьшить?

— Никак нет, сеньор,— сказал поэт.— Ведь они родом из тринадцати семей тамошних землевладельцев, и каждый дал обет жениться на сеньоре, и ежели я уберу хоть одного, это будет обида для его почтенной семьи; нет-нет, я очень точно придерживаюсь истории Бискайи, и ни на атом не погрешу против того, что в ней сказано.

— Да, но для меня нелегкая задача набрать для комедии столько народу,— сказал автор,— пожалуй, актеров не хватит.

— Наймите на стороне, ваша милость,— сказал поэт,— для такой комедии, как моя, стоит и раскошелиться.

— Есть там еще люди? — спросил автор.

— Да, есть,— отвечал мнимый поэт.— «Item [1], семь девиц, которые устраивают встречу с плясками своей сеньоре, при ее приезде в Бискайю».

— В комедии вашей милости,— сказал автор,— полно всяких диковин! Как ваша милость полагаете, где мы найдем семерых девиц, в нашей-то столице!

---

[1] Также (*лат.*).

— Сеньор, без расхода нет дохода,— сказал поэт.— Коль не будет подлинных девиц, наймите поддельных, пусть сыграют роль настоящих; но, разумеется, ежели бы удалось сыскать невинных девиц, комедия удалась бы лучше.

— Вы меня немного утешили, ваша милость,— сказал автор.— Такое количество актеров я найду, хотя бы пришлось нанимать женщин, которые еще не ступали на подмостки. Что ж, ваша милость, начинайте читать стихи.

— Слушаюсь,— отвечал поэт и прочитал: — «В первой сцене появляются дон Очоа, первый любовник, и Гойенече Уполовник, его слуга; оба в дорожной одежде, в сапогах со шпорами, в шляпах и с зонтами».

— Но если на них шляпы, к чему тогда зонты? — сказал автор.

— Ваша милость плохо знает, какие погоды бывают у нас в Бискайе летом; боже мой, такие ливни, что кажется, разверзлись хляби небесные, сил нет терпеть, а потом выглянет солнце да как начнет жарить — прямо мозги плавятся.

— Вполне вам верю,— сказал автор,— читайте, ваша милость, дальше.

Поэт приосанился и с изящным жестом начал читать:

Очоа

Вот Бискайя — отчий край,
Уполовник Гойенече!
От столба до стройных рей
Край простерт — в нем все иначе,
Видишь — бука ствол кривой?
Из любых краев и градин
Я сюда влекусь, храня
Страсть (ей дух чужбины вреден)...

Уполовник

Дали имечко стране
Из-за буковых уродин!

Очоа

Ах, Острохелинда-свет,
Ты Бискайи сеньоресса,
Лишь тобой край отчий свят,
Ты...

Уполовник

Принцесса и нарцисса!

Очоа

Будь свидетель небосвод:
Пусть соперника Гарнику
Кони резвые несут —
Я пойду на хитрость, ну-ка!
Он грехом не будет сыт,
Пусть рыдает одиноко...
Зло меня терзала страсть,
Ведь ее нещадна буря,
И легко ли выдрать кость
Из клыков такого зверя?
Нет, не жалуюсь я, пусть —
Чуть живое, тело радо
Вновь любови крест нести...

Уполовник

Приготовься же к награде.

Очоа

То есть?

Уполовник

К мукам ревности,
А не то — к забвенья аду!

Очоа

Ох, как долго жизнь влеклась,
Отвоевывая милость
Наконец отведать вкус
Этой рыбки...

Уполовник

Эка малость!
Лопай, братец, вкривь и вкось.

Очоа

Этот замок безупречно
Цвет любви хранит. Покличь
Стража.

Уполовник

Что за юмор мрачный?
Для тебя, я вижу, ключ —
Слаще скважины замочной!

Тут появляется один из тринадцати, по имени Чаварриа, со свечой на голове, и со стены замка, который должен быть сооружен на подмостках, говорит:

Чаварриа

Оглашенный! Дома все ль?
Воет, словно кошка в марте
Или всех чертей посол.
Чтоб сгореть тебе до смерти!
Ты крючок ли? Альгвасил?

Очоа

Не петля и не крючок я,
Но могу — в секунду хоть! —
Сжить со свету человека...

Чаварриа

А на это мне чихать
От рассвета и до мрака.

Уполовник

Усмири-ка злобы прыть,
Не ори на пол-Европы...

Очоа

Ах, орлом сейчас бы стать,
Чтобы выдрать враз из брюха
Дурня пакостную плоть!

Вскоре слушатели поняли, что коль стихи и дальше таковы, то после чтения длинной комедии в пятнадцать листов их кондрашка хватит, и в зале поднялся глухой ропот. Мнимому бакалавру только этого и надо было; ударив рукой по поставцу так, что свечи затряслись, он возгласил:

— Сеньоры, tacete, tacete![1]

Непросвещенная публика не разумела латыни, волнение в зале еще усилилось, кто-то погасил свет, и откуда ни возьмись полетели в поэта дорожные сапоги да мешки с песком — словом, устроили ему, по тюремному обычаю, «темную». Крепко досталось бедняге, и комедия его пропала; впоследствии Хайме весьма сожалел, что затеял эту проделку,— тут он на своей шкуре испытал, каким опасностям подвергают себя дрянные поэты, которые решаются читать свои стихи людям злобным и насмешливым и взывают к вниманию публики, надеясь завоевать их сердце учтивостью. «Темную» он, однако, отведал не напрасно: славный его отряд из трех отважных воинов не зевал и за это время успел

[1] Молчите, молчите! *(лат.)*

обчистить автора, не оставив и монетки из полученных вперед за праздничные представления денег. Добычу отнесли к Хайме на дом, там ее разделили, и ему, по уговору да за участие в деле его супруги, досталось на двести эскудо больше, нежели прочим.

На другой день, когда автор вздумал идти заказывать себе костюм и полез за деньгами, увидал он, что сундучок открыт и денег нет; с перепугу он чуть в обморок не упал. Принялся он расспрашивать жену, кто к ним заходил, но она никого не видела. Бросился просить помощи у властей, служители правосудия обошли дома по соседству с «Брехальней» — все было тщетно. Удрученный автор пошел к своему покровителю рассказать о покраже, но принц решил, что сочинитель его обманывает, и не поверил. С горя автор занемог и, пока лежал, догадался, что стал жертвой злой шутки, в которой, видимо, участвовал поэт; но сколько этого поэта ни разыскивали, найти не удалось — Хайме со своими дружками сумел надежно спрятаться. В конце концов принц был вынужден возместить автору похищенную сумму — столь великодушные поступки украшают тех, кому от рождения дано больше, чем прочим.

Получив от своего покровителя деньги, автор быстро поправился; альгвасилы, однако ж, не прекращали розыски похитителей, а главное, поэта, проведав о чем Хайме поделился своими опасениями с супругой, и она предложила покинуть Мадрид; денег у них было достаточно и для переезда, и для обзаведения на новом месте; Хайме ее послушался, они оставили Мадрид, перебрались в столицу Арагона, славный город Сарагосу, сняли там дом и открыли торговлю шелком. Этому занятию посвятили они некоторое время, и там мы покамест их оставим, а об их отъезде из Сарагосы поведаем во второй части, где я опишу еще более забавные проделки и остроумные мошенничества сеньоры Севильской Куницы, она же Удочка для Кошельков.

ТОМАС НЭШ

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ СКИТАЛЕЦ, ИЛИ ЖИЗНЬ ДЖЕКА УИЛТОНА

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО Е. БИРУКОВОЙ

Qui audiunt audita dicunt.
Plautus[1]

ПОСВЯЩЕНИЕ

Высокочтимому лорду Генри Райосли, графу Саутгемптону и барону Тичфилду.

Остроумнейший, достопочтенный лорд, не знаю, что за непонятный обычай восприняли мы от наставительной старины — посвящать издаваемые нами книги тому или иному великому человеку. Посему, дабы никто не дерзнул назвать мои писания товаром, не оплаченным пошлиной, и не навлек на них в качестве штрафа — презрение,— я, домогаясь визы Вашего превосходного суждения, предлагаю их Вам с просьбой рассмотреть и узаконить. Дайте им высокую или низкую оценку по своему произволению; ежели Вы найдете их хоть сколько-нибудь ценными, я сочту свой труд вознагражденным. С давних пор возмечтал я снискать своим остроумием Ваше одобрение. Исполненный почтительной покорности, я помышлял (еще с детских лет) о том, чтобы послужить к вящей Вашей славе. И вот наконец я обрел возможность выказать Вам свою преданность.

Все, что я могу обещать Вам в сем фантастическом повествовании,— это некое беспристрастное изложение исторических событий и разнообразные веселые рассказы. Иные из моих добрых друзей настаивали, чтобы я послужил своим слабым пером сему роду искусства, ибо он выгодно отличается от тех направлений, каких я доселе придерживался в своих писаниях. Хорошо ли или дурно выполнил я свой труд,— не ведаю (глаз, который все видит вокруг себя, не видит себя самого); лишь заслужив одобрение и поощрение Вашей милости, смогу я возомнить о себе.

Непостижимо высок Ваш дух как в героическом своем дерзании, так и в деяниях разума. Безвозвратно погибнет и окажется

[1] Что слыхали, поведать готовы. Плавт *(лат.)*.

пустым бумагомаранием та злополучная книга, которая разобьется об адамантовую скалу Вашего суждения. Вы являетесь драгоценным любителем и пестуном как поклонников поэтов, так и самих поэтов. Я не смею причислить себя к их священному сонму, хоть в некотором роде владею английским языком. Всеми силами своего малого разума я стремлюсь лишь к тому, чтобы стать приятным своим друзьям и смертельно опасным для своих врагов. Новый разум, новое остроумие, новый стиль, новую душу я обрету, сделав Ваше имя святыней для потомства, если только эта моя первая попытка не будет сочтена дерзостью. Льщу себя надеждой на Ваше милостивое расположение, ибо я все же не являюсь пасынком Славы.

Сию кипу листков, предлагаемую Вашему вниманию, я уподоблю листьям древесным, что не могут расти сами по себе, но прикреплены к ветвям и сучьям, каковые питают их своими живительными соками, непрестанно их возрождая. Так и эти безыскусные листки, если не укрепятся на ветви некоего аристократического древа, которая непрестанно бы их питала и возрождала к жизни своим благоволением и одобрением, никогда не вырастут на радость миру, но увянут и погибнут, едва успев родиться на свет. Вы, Ваше сиятельство, подобны широколиственной ветви славы, от которой мои убогие листки жаждут получить жизненные соки. От Вас зависит — с презрением отбросить их прочь, как изъеденные червями и негодные, или же милосердно сохранить их и оберегать, в надежде обрести среди них в летнюю пору сладостный плод.

Вашей милости покорный слуга

Томас Нэш.

ВСТУПЛЕНИЕ

К ГОСПОДАМ ЩЕГОЛЯМ, ПРИДВОРНЫМ ПАЖАМ

Благородные кавалеры, позвольте вам представиться,— однако не за игрой в «молчанку», ибо тогда я рисковал бы продуться в пух и прах, а за игрой в «novus, nova, novum»[1], что означает по-английски: «новости ловкача». Рекомендую вам одного из достойных пажей, именуемого Джеком Уилтоном, который предлагает вашему вниманию измаранные им листки, содержащие описание его злоключений. Что бы там ни было, сохраняйте их бережно, как знак его особого к вам расположения.

Ежели вы найдете, что они несколько лучше прочих произведений, он просит вас оказать им честь: когда они увянут, просушивать на них табак или разжигать ими трубку; а в случае надобности он дозволяет вам завертывать в эти листки бархатные ночные туфли, дабы у них не облезли каблуки, не выгорели верха и не стали походить на темноволосую голову с проседью, и не покрылись струпьями носки, как морда у обезьяны. Но поскольку вы любите пировать в хорошей компании и резаться в кости, то лучше уж затыкайте обрывками листков банки с горчицей,— дабы не попались они в руки бакалейщика и не стал он заворачивать в них мускатный орех; правда, это острая и дорогая специя, но Джек Уилтон ненавидит ее, ибо ему не раз доставалось на орехи. Ежели понадобится вам завернуть кусок мяса или бутылку, то употребляйте листки без зазрения совести, ибо это наилучшая услуга, какую они могут оказать нашему отечеству. Печатники — отпетые распутники,— так пожертвуйте им несколько листков, пусть оставят на них свои оттиски. Все будет ближе к делу.

[1] Новый, новая, новое *(лат.)*.

Memorandum [1]. Прежде всего каждый из вас, ознакомившись с этой сатирической повестью, должен запастись футляром со шпагами, дабы, если вам встретится человек, который станет бранить или критиковать ее, вы могли тотчас же крикнуть: «Sic respondeo!» [2] — и сделать выпад против него. Вы, как люди чести, конечно, не потерпите (смею вас уверить), чтобы джентльмена и вдобавок пажа осыпали за спиной оскорблениями. Во-вторых, в случае, если вас заставят поклясться на ночной туфле в верности вашему могущественному ордену, то вы отныне всегда будете клясться не на чем ином, как на этой Хронике, составленной королем пажей. В-третьих, любой вправе играть фальшивыми костями на крышке переплета вышеупомянутых актов и документов. Ни один монах из ордена миноритов не откажется взять их в залог в дни голода и нужды. Проходя мимо прилавка книготорговца в любое время дня и ночи, они снимут головной убор и отвесят глубокий поклон, взирая на книгу, являющуюся памятником великому главарю пажей. Будет преступным нарушением любого из вышеупомянутых пунктов, если произнесут имя Джека Уилтона вблизи пивной, хотя бы на расстоянии сорока футов от нее. Ну, а таверна, черт возьми, достойна уважения.

Еще немало особо важных правил хотел бы я вам предписать, и вы, господа умники, дежуря у подножия парадной лестницы или сидя в портике (а это и есть ваш парламент), еще лучше бы все сие обсудили, чем я сумел бы вам преподнести; однако и этого предисловия достаточно, чтобы оценить мое произведение, эта малость даст толчок изощренному уму, подобно тому как поджаренный на углях ломтик ветчины толкает нас к рюмке вина.

Эй, подходите, поднимайтесь наверх, рассаживайтесь по своим местам и слушайте! Джек Уилтон будет рассказывать свою историю.

---

[1] Примите к сведению *(лат.)*.

[2] Вот мой ответ! *(лат.)*

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ СКИТАЛЕЦ

В те дни, когда, гроза вселенной и неотвязная лихорадка французов, Генрих Восьмой (единственный подлинный герой Хроник) двинул свои знамена к стенам Турне и Теруана с их двумястами пятьюдесятью башнями, имея наемниками императора и всю знать Фландрии, Голландии и Брабанта — приспешников его фортуны, летевшей на развернутых парусах,— я, Джек Уилтон (как-никак дворянин), был своего рода служителем или пажом при английском дворе и вращался в придворных кругах; сколько было у меня долгов и кредиторов, определить я не мог. Coelum petimus stultitia[1] — кто из нас без греха? Да будет известно всем тем, кто заплатит сполна за книжку и прочитает мою историю, что я пребывал при дворе, то бишь в лагере, или в лагере, то бишь при дворе, когда Теруан потерял свою девственность и отворил свои ворота еще охотнее, чем Джен Тросс. Там я (тихо! дайте мне хлебнуть, и я буду продолжать) подвизался как единовластный король бутылей и жестяных кружек, принц пигмеев, державный палатин свежей соломы и провианта и, в довершение всего, высокий лорд-регент бекона, поджаренного на углях, и копченых сельдей.

Paula maiora canamus[2]. Но к делу! Какие стратегические операции и славные деяния мог, по вашему мнению, совершить изобретательный юноша моих лет? Вы скажете, достаточно, если он припрячет игральную кость, заложит своего хозяина, получив за него все, до последнего пенни, и произнесет клятву на ночной туфле по всем правилам искусства.

Таковы, доложу я вам, признаки хорошего воспитания и основания для того, чтобы «преуспевать в добре и в правде». Да!

---

[1] Гонит к небу нас безумье *(лат.)*.

[2] Споем-ка о более важном *(лат.)*.

Hoc aliquid latet quod non patet[1],— я должен поведать о дальнейшем своем пути и приведу вам убедительные примеры. Внимайте же, господа, рассказу о моих похождениях.

Всякому, кто знаком с жизнью в лагере, известно, что там немало квартир, хотя и поменьше, чем на Лондонском мосту. В этих квартирах собирается немало компаний. Чем больше компания, тем больше плутовства; права старинная поговорка: где больше учтивости, там больше обману. Эти компании можно уподобить грудам пшеницы на гумне, от нее отделяются плевелы; пшеница — это сытые обжоры, плевелы — славные молодцы с легким сердцем и легким кошельком, которые быстро отвеиваются и исчезают невесть куда. Принадлежа к этим плевелам, я изощрял свое остроумие, дабы вести веселую жизнь, и, по чести, мне это удавалось: государь заставлял людей проливать кровь, а я заставлял людей тратить все до последнего гроша на мои удовольствия. Но бедность под конец разлучает друзей; хотя я и был повелителем их кошельков и умел вытягивать из моих злополучных подданных в виде напитков подати не хуже любого кайзера, но на нет и королевского суда нет: с нуждой не поспоришь; с одного вола двух шкур не дерут. Как не прибегать к лисьим уловкам, когда львиная шкура вся изодралась?

В лагере пребывал один лорд,— если угодно, назовем его лордом-распорядителем увеселений, ибо он содержал самую заурядную пивную, без всякой вывески, даже без ветки плюща и — продавал сидр и сыр — в розлив и на вес (на пинты и на фунты) — всем, кто к нему заглядывал (при одном упоминании о сидре у меня вырывается вздох, ибо в наше время его столько подбалтывают к рейнскому!). Так вот, tendit ad sidera virtus[2],— великая доблесть содержится (уверяю вас) в кружке сидра, и, случалось, превосходные люди продавали его, а на море сидр — сущая aqua coelestis[3]. Однако сидр не обладает этими достоинствами, если не имеет патрона и покровителя в лице этакого пэра, властителя пинт и кварт. Сей великий лорд, сей достойный лорд, сей благородный лорд не почитал для себя зазорным (помилуй бог!) забрызгать свои широкие бархатные штаны этой лакомой жидкостью,— и при всем том он был старым оруженосцем, рыцарем древнего рода, судя по гербу его предков, для пущей важности начертанному мелом на внутренней стороне двери его палатки.

Этого-то лорда я и избрал мишенью для коварной шутки, вдохновленной безденежьем. Итак, я заявился к нему в один прекрас-

---

[1] То, что сокрыто, нам недоступно *(лат.)*.
[2] Стремится к созвездиям доблесть *(лат.)*.
[3] Небесная влага *(лат.)*.

ный день, когда он пересчитывал свои бочки и надписывал мелом цену на днищах; ревностно приступив к своим обязанностям, я доложил его пивной светлости, что могу сообщить ему нечто весьма секретное, если он соблаговолит дать мне приватную аудиенцию.

— Ко мне пожаловал молодой Уилтон,— воскликнул он,— вот оно как! Подать нам пинту сидра и наилучшего пива сюда в Залу трех кубков,— да сперва ополоснуть кружки!

Он повел меня в заднюю комнату, потом послюнявил палец, снял несколько пылинок со своей старой бархатной, изъеденной молью шляпы, утерся платком, отер слюни со своей безобразной козлиной бороды и предложил мне высказаться, а вслед за тем стал распивать со мной по этому поводу.

Тут я разразился пространной рацеей, иначе сказать — стал заговаривать ему зубы с хитростью, на каковую способен семнадцатилетний юнец, и поведал, сколь нежные чувства питаю к нему с незапамятных времен,— отчасти за его знатность, за принадлежность к славному роду, отчасти за трогательную заботу и бережное попечение о бедных солдатах, которые, ввиду пустынности здешних мест и нерегулярного снабжения напитками и едой, могли бы пойти на преступления и потерять боеспособность, если бы он не соизволил самолично стать поставщиком продовольствия для лагеря (замечательный пример духовного величия и утонченной любезности!), и благодаря его рвению теперь нет надобности далеко ездить и каждый может за свои деньги выпить сидра и набить себе брюхо сыром; причем он продает сыр не только на вес и сидр не только бочками, но смиренно сам, собственными руками берет сапожный нож (низменный инструмент для столь высокой особы!) и с беспристрастностью вершителя правосудия нарезает сыр одинаковыми ломтиками ценой в пенни, так что любо-дорого на него глядеть. Каждый бедняк может также получить умеренную порцию сидра (умеренность прежде всего!), за свой дойт или дендипрет,— столько же, сколько и богач — за свои полсу или денье.

— Даже полотняный фартук трактирщика,—продолжал я, — который вы носите, чтобы защитить свою одежду от брызг при неисправности крана, красноречиво свидетельствует о вашем смирении. Я говорю это со слезами на глазах,— ведь у нас немного найдется знатных людей, которые станут в полотняных фартуках разливать напитки. Да, вы друг всем и каждому, ко всякому, кто к вам заглянет — будь то добрый малый, простой солдат, вы подсядете и станете осушать за компанию кружку за кружкой, вы так благосклонно принимаете грубоватое обращение: «хозяин», как если бы вас приветствовали, называя все ваши высокие титулы. Эти достоинства, повторяю, которые свет склонен предавать забвению, побудили меня, в ревностной заботе о вашем благополу-

чии, предупредить вас о некоей опасности, грозящей вам и вашим бочкам...

При слове «опасность» он вскочил и так грохнул кулаком по столу, что его трактирный, услыхав стук, крикнул: «Сейчас, сейчас, сэр! Сию минуту!», прибежал, отвесил низкий поклон и спросил, что ему угодно. У хозяина чесались руки ударить трактирного, который перебил рассказ на самом захватывающем месте, но он боялся показаться мне грубияном, умерил свой гнев и всего-навсего послал малого за новой пинтой, свирепо наказав приглядывать за стойкой и живей прибегать на зов и при этом ругая его на чем свет стоит. Итак, в ответ на его назойливые просьбы, я омочил губы в вине, чтобы моя ложь резвей побежала к успешному концу, и продолжал свой рассказ:

— Случилось мне прошлую ночь вместе с другими пажами дежурить, когда король со своими лордами и военачальниками держал совет; там обсуждалось немало серьезных предметов, сообщались полученные от лазутчиков сведения о неприятеле; среди прочих поступило тайное донесение (ну и мерзавцы же эти доносчики!), гласившее, что вы, вы, с которым я сейчас беседую... О, лучше бы мне лишиться языка,— так тяжело мне рассказывать дальше! Вот я пью, а в душе у меня такая печаль, что я и слова вымолвить не в силах...

Тут мой пьяненький лорд, коему страсть как не терпелось услышать окончание фразы, бросился мне на шею и, неуклюже облапив меня, начал умолять поскорей избавить его от адских мучений и разрешить его сомнения; я-де прекрасный молодой джентльмен и всегда пил у него в свое удовольствие; потом он упал на колени, стал ломать руки и, смею вас уверить, выплакал весь сидр, выпитый им за неделю. Чтобы разжалобить меня, он вскочил и надел мне на палец свое ржавое кольцо, сунул мне засаленный кошелек, где болталась какая-то мелочь, обещал сделать меня своим наследником и еще кучу всяких благ, если я только положу конец жестокой, мучительной неизвестности.

Будучи по природе склонен к милосердию (ведь у меня было немало милых сердцу подружек), я наказал ему слушать во все уши и пощадить свои глаза, которые ему еще пригодятся,— тогда я выверну ему все мое нутро наизнанку, и он услышит такие страсти, от которых дай бог, чтобы не разорвалось у него сердце.

— Я всего лишь бедный желторотый ваш доброжелатель,— продолжал я,— но при одной мысли о том, что на столь достойного и знатного человека, как вы, всякие грубияны и негодяи возводят исподтишка такую злостную клевету, вся жидкость, накопившаяся у меня в теле, бурными потоками хлынула из глаз. Не протекает столько воды через колесо под нашим городским мостом, сколько

я изливал влаги, терзаемый нестерпимой скорбью. Я рыдал столь неумеренно и неудержимо, что нос мой начал походить на лондонскую сточную трубу. Мои глаза изнемогли вконец, стремясь выразить мое отчаяние, и превратились в острова, окруженные морем слез. Что мне сказать? Возведенная на вас злостная клевета повлечет за собой ваше падение и гибель. Вам незачем бледнеть. Чистую совесть ничто не может смутить. Так получайте же сполна весь груз напастей!

Королю нажужжали в уши, что вы-де тайный приспешник неприятеля и лишь для того добились привилегии снабжать лагерь сидром и другим провиантом, чтобы помогать врагу, и в якобы пустых бочках пересылаете ему предательские донесения и несметное количество пшеницы.

На этом мой рассказ вполне мог бы закончиться, ибо тут глаза у него помутились, стали совсем белыми, как его побелевшая от ужаса печень, и выкатились из орбит, словно белая мишень для стрел смерти. Сказать по правде, я не на шутку испугался за моего хозяина: неужто мне придется уйти, не промочив глотку? Но я живо придумал превосходное средство вывести его из этого транса и гаркнул ему в ухо:

— Эй, хозяин, сколько с меня? Что ж это никто не подает мне счета?

И в самом деле, это оказало желаемое действие,— от крика он вскочил на ноги и заметался по палатке, как человек, которого разбудил пожар, потом мигом разыскал трактирного и надавал ему оплеух за то, что тот заставляет джентльменов так долго его звать и не обслуживает. Но вот он опомнился и уже готов был снова впасть в мрачное отчаяние, но я перехватил его на полпути и спросил его светлость, почему он внезапно потерял голову от ужаса, а опамятовавшись, принялся ни с того ни с сего тузить трактирного.

— Ах,— промолвил он,— меня предали и продали за то, что я ревностно служил моей родине. Мне позавидовали, потому что своими добрыми делами я заслужил такое уважение начальства. Вижу, вижу, не жить ягненку среди волков!

«Да будет вам благо за ваши добрые дела, ваша сидровая светлость! — подумал я.— Стоит вам этак продрыхнуть еще лет сорок сряду, на манер Эпименида, и вы станете сущим мудрецом».

— Скажите мне, мой юный разумник Уилтон,—спросил он,— неужто и впрямь меня тайком погубили и похоронили злые языки?

— Нет,— отвечал я,— прошу прощения, сэр, я слишком много вам наговорил; мои расположенные к вам уста не произнесут столь страшных слов, как «смертный приговор»; еще недавно они сосали молоко,— ужели они вдруг переменят пищу и будут жаждать крови?

— Ну да,— сказал он,— истинный друг всегда останется другом. Налей-ка еще пинту, трактирный! Что же сказал король? Поверил ли он этому доносу? Скажи мне, умоляю тебя! Клянусь своей дворянской честью, ни одна душа не узнает, что я получил эти сведения от тебя!

— В этом-то я твердо уверен,— отвечал я,— иначе я не лез бы из кожи, вытаскивая вас из болота. Короче говоря (раз вы хотите все знать!), король изволил обозвать вас скрягой и скупердяем и добавил, что он, мол, никогда ничего хорошего не ждал от вас.

— Да,— вздохнул лорд,— без сомнения, против меня измыслила злое какая-либо планета, которой не по вкусу сидр.

— Дело обстоит похуже,— король поклялся, что закатит здоровую пирушку Теруану, выпалив в него втулками от ваших бочек. У меня сейчас нет времени доложить вам обо всем, что происходило на совете, но единственное, что я могу вам посоветовать как человек, с давних пор сердечно к вам расположенный,— это проявить щедрость теперь, в ваши преклонные годы: немедля великодушно раздайте все имеющиеся у вас съестные припасы или провиант бедным солдатам. На вашем месте я дал бы им нахлебаться до отказу сидром, дал бы выкупаться в сидре,— лишь бы не навлечь на себя немилость государя, обладая целым морем этого напитка. Когда охотник преследует бобра ради его яиц, тот живо откусывает себе яйца и отбрасывает прочь, чтобы их подобрали, и потом живет спокойно. Ежели жадные охотники или голодные клеветники преследуют вас, то это из-за денежек, какие у вас имеются; так выбросьте их, наплюйте на них, пусть себе они их забирают,— лишь бы вам не попасть из-за них в еще горшую беду. Последуйте моему совету — и вы увидите, что мои слова скоро сбудутся.

Итак, я разыграл роль его бедного друга. Еще несколько любезных фраз в таком роде: «Вашей милости покорный слуга, и прочее», «Прощай, славный юноша, благодарю тебя, я тебя не забуду»,— и мы расстались.

На следующий день мы получили, я сказал бы, целую пропасть сидра, наливали его в кубки, в шлемы, в совки, и если бы кто-нибудь подставил свои сапоги, наполнили бы их тоже.

У бедных солдат карманы сами собой наполнялись едой, даже если они этого не хотели. Мы дали пять залпов по городу одними только втулками и кранами от пустых выброшенных бочек. Каждый служивый получил опустошенный бочонок и мог в нем спать, подобно Диогену. На мою долю досталась целая куча конфискованных фартуков, принадлежавших трактирным, и я соорудил себе из них отменную палатку, не хуже, чем у любого офицера в нашем лагере. А в заключение дорогой моему сердцу пивной барон упал на колени перед королем и со смиренным видом сказал

ему, что он-де стар и обременен годами и нет у него наследника, чтобы закрыть ему глаза, посему если его величество соблаговолит принять от него все его земли и пожаловать ему скромную пенсию на прожитье, то он будет наверху блаженства. А что до войн, то он устал от них. Однако, покамест его величество будет подвергать опасности свою особу, он, лорд, не отступит ни на пядь, но будет защищать его своим дряхлым телом, как щитом, от любого удара.

Король, дивясь такой перемене в своем торговце сидром (так он не раз в шутку его называл), поговорил с ним малость и все как есть выведал у него о мнимом заговоре. После этого меня жестоко отстегали за мою блистательную ложь, но все же долго потешались зимними вечерами, вспоминая эту историю.

Несмотря на это, его тупоголовая светлость, мой трактирщик, продолжал настаивать на своем, умоляя короля принять его земли и поместить его в богадельню или в какой-нибудь отдаленный монастырь. Упорные домогательства возымели свое действие, и король сказал в шутку, что, раз уж его к тому вынуждают, он реквизирует часть его земель для взимания налога на сидр, чего раньше у него не было заведено.

Это был один из самых знаменитых моих подвигов, ибо мне больше уже никогда не случалось напасть на такого отпетого дурня. Правда, впоследствии я выкинул сотни шуток еще почище этой, но они не записаны в том порядке, в каком были совершены. Весьма прискорбно, что до потомства не дойдет столь драгоценная хроника. Тут уж ничем не поможешь. А впрочем, есть чем помочь: ведь, когда уже не на что надеяться, выручает хорошая память. Любезные читатели (постарайтесь уж быть любезными, коль скоро я так вас назвал), в той же мере, в какой мне удалось наплутовать, подвизайтесь на поприще честных деяний!

Еще во время осады Теруана (ведь король недолго бряцал здесь оружием) мне довелось свести дружбу с одним безобразным инженер-капитаном (пожалуй, для него было бы лучше, если б мы с ним сразу рассорились). Вы, конечно, понимаете, что в армии, где так ценят фураж, капитан без фуражки в руке едва ли в почете. Но допустим, что он все же был капитаном, хотя у него и не имелось военной фуражки и он ходил с непокрытой головой, так что мне пришлось одолжить ему выброшенную моим лордом бархатную шляпу с выцветшим пером; потрясая этим пером, он издали грозил своим солдатам, подобно тому как Юпитер, говорят, встряхивая кудрями, потрясал небо и землю.

Представьте себе, когда мне удавалось обчистить противников, с помощью фальшивых костей, мы с ним не раз на выигрыши одевались с ног до головы, и в самом деле, не в обиду дьяволу будь

сказано, если на протяжении веков какой-либо игрок заслужил золотые игральные кости, некогда присланные Деметрию царем парфян,— то этим игроком был я. Я обладал особым уменьем припрятать кость между двумя пальцами, ловким движением руки я мог сделать так, чтобы, когда мне было нужно, выпало три или четыре очка. На жизненном пути немало проделок предается забвению, но я пускался на все, чтобы поддержать нашу дружбу.

Этот «синьор капитано» снимал сливки с моих доходов, и crede mihi, res est ingeniosa dare[1], всякого человека нахваливают, покуда у него водятся денежки в кошельке. Деньги подобны бархатцам, чьи лепестки раскрываются с восходом солнца и свертываются на закате. Если счастье улыбается человеку или он в почете, деньги текут к нему, и он процветает; если приходит старость или же он впадает в немилость, благополучие увядает и денег нигде не достать. Я был мастер своего дела, хотя и был юн, и умел склонять: «Nominativo: hic asinus»[2], как присяжный грамотей; вот мне и пришло в голову, что незачем этому солдафону выбивать дробь на моем кошельке,— я выбью из него дурь и отправлю к чертям.

Вот какой я измыслил план: я знал, что в ближайшее время необходимо произвести разведку, для коей требуется человек, отменно владеющий своими пятью чувствами; но ежели за это дело возьмется дурак, ему будет крышка. Я и решил подбивать и подстрекать на это деяние сидевшего у меня на шее дармоеда, то бишь синьора в бархатной шляпе, отнюдь не отличавшегося сообразительностью. Войдя к нему в палатку в обеденное время, я обнаружил, что он поглощен чисткой своих ногтей за отсутствием другого развлечения, и обратился к нему со следующей торжественной речью:

— Капитан, вы сами видите, как солоно приходится нам обоим, ведь от игры в кости не больше толку, чем от дохлой собаки; подтесанные кости, кости с неравными гранями и налитые по уголкам свинцом уже не идут в ход, вся эта компания не может даже заработать нам на обед. Необходимо изобрести какое-либо средство, дабы предотвратить грозящую нам нужду. Мое благополучие, как вам небезызвестно, зависит от службы, какую я несу за столом, ваше продвижение может состояться лишь при условии, если вы проявите воинскую доблесть. Во время затяжной осады на достоинства человека не очень-то обращают внимание; важные шишки отдают приказания, а пушки ведут войну против стен. Если вам желательно быстро возвыситься, то существует

---

[1] В этом уж ты мне поверь: славное дело — дарить *(лат.)*.
[2] Именительный падеж: этот осел *(лат.)*.

лишь одно средство,— надобно совершить неслыханный подвиг, требующий редкостной изобретательности,— и как раз сейчас вам предоставляется замечательный случай.

Король задумал уничтожить одного из неприятельских главарей. Так вот, дабы осуществить это деяние, требуется не столько смелость, сколько осторожность; однако необходимо проявить и смелость, поскольку это предприятие связано с огромным риском. Мотайте же себе на ус,— дело серьезное! Нечего медлить и колебаться,— ежели вы пойдете на это и добьетесь успеха благодаря особой уловке (лишь бы вам ее придумать, покуда еще король не решил, как ему действовать), то ручаюсь вам, что вы проживете всю жизнь в полном довольстве и без всяких забот, даю вам голову на отсечение, что все так именно и будет!

Ах, любезные слушатели, если бы вы только видели, как он стал пыжиться и потирать руки, услыхав эту речь; потом он нахлобучил шляпу на самые брови, словно государственный муж, скрестил руки на груди и грозно потряс головой, словно желая сказать: «Берегитесь вы, французы,— уж я задам вам жару!» Повторяю, если бы вы хоть одним глазком посмотрели, как он пожимал плечами, презрительно усмехался, вертел пальцами пуговицы, закусывал губы,— вы хохотали бы до упаду, уткнувшись лицом в колени.

Надлежало ковать железо, пока горячо, и я решил пуститься во все тяжкие, ибо опасался, что пыл его остынет. Я уже рассказал ему вкратце о предстоящей разведке,— теперь я начал распространяться о том, какая это почетная задача, и сколь редкий дар изобретательность в военном деле, как ценится она королями и прочими государями, и привел в пример людей низкого происхождения, кои благодаря сему таланту вступили на трон. Засим я стал превозносить различные его качества и достоинства: он-де, подобно волку, чует издалека присутствие человека, еще не увидев его, подобно зайцу, он спит с открытыми глазами, и подобно тому, как орел с высоты бросает пыль в глаза воронам и другим птицам, ослепляя их, он наверняка пустит пыль в глаза неприятелю, тем или иным способом отведет им глаза, дабы они не распознали его хитростей; он должен быть запанибрата со всеми и никому не доверять, дружески выпивать и распутничать с человеком, из коего он надеется выудить кое-какие сведения, клясться и отрекаться от своих слов, всячески отводя от себя подозрения,— одним словом, до тонкости овладеть искусством притворства, подобно придворному.

— Быть может,— говорил я,— найдутся жирные пустобрехи, каковые станут вас отговаривать от этого предприятия, они будут клясться своей грошовой честью и настойчиво вам долбить, что

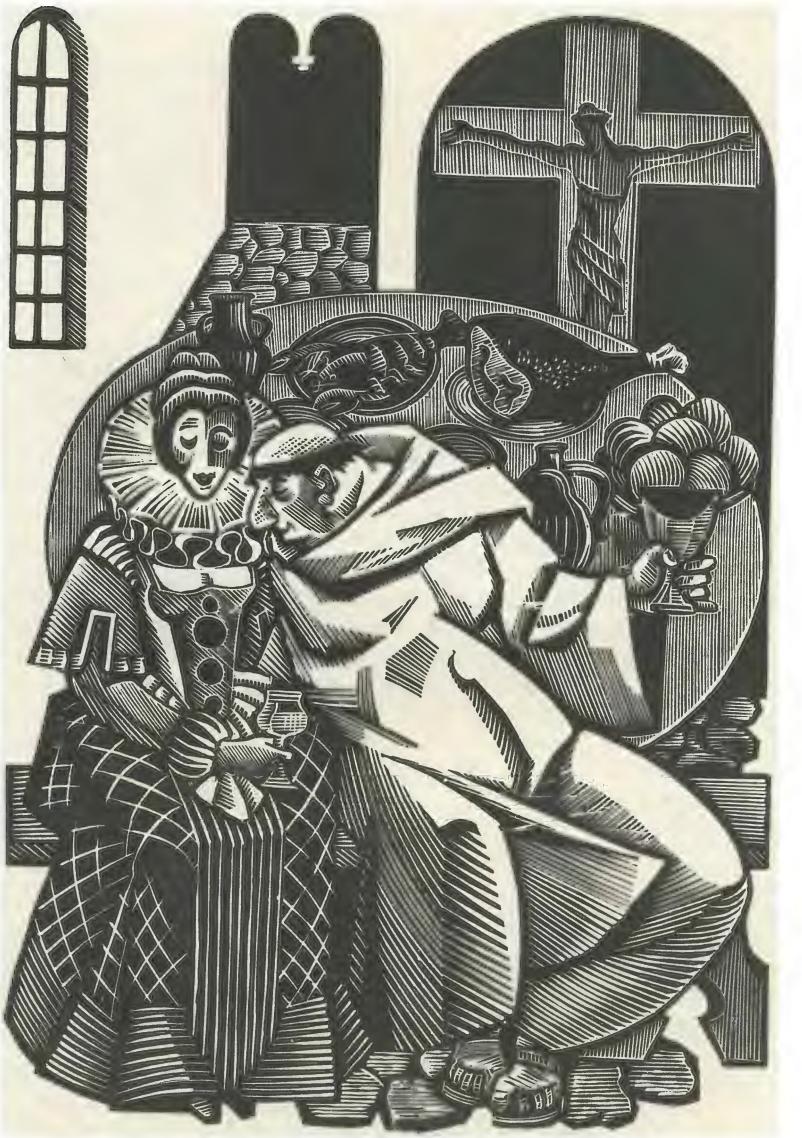
лучше уж стать палачом, чем шпионом,— этим ползучим соглядатаем, пресмыкающимся лазутчиком и презренным пикетчиком. Но пусть они вас не обескураживают своей болтовней, ведь большинство этих паршивых ненавистников здравого смысла — здоровенные мясники вроде Аякса, годные лишь на то, чтобы изо всех сил колотить кувалдой, загоняя клин, или же день-деньской бить молотом по железному брусу. Медвежата растут только во время сна, и вот этих огромных вожаков медведей высоко ценят, хотя их главное занятие сон.

Вы, конечно, читали (я готов поклясться, что он ни разу в жизни не заглядывал в книгу) о том, якобы многие римские герои прокрадывались как соглядатаи в лагерь врагов? Улисс, Нестор и Диомед как соглядатаи пробрались втроем ночью в лагерь Реза и захватили Долона, троянского соглядатая; ремесло соглядатаев опозорил лишь один Иуда, но ведь он повесился. Опасность научит уму-разуму любого. Архитас сделал деревянного голубя, который мог летать. Поэтому я полагаю, что даже самый отпетый дурень не лишен известных достоинств.

Хотя у нас бывают врожденные недостатки, но с ними можно справляться, и частенько человека, лишенного в каком-либо деле самых обычных способностей, природа вдвойне вознаграждает, даруя ему способности в другой области. Ослу недостает ума, зато он отличается благонамеренностью. Кто видывал, чтобы осел брыкался, или взвивался на дыбы, или выкидывал иные штуки, подобно лошади? Проживите хоть сто лет, вы никогда не услышите о том, что осел разломал ограду загона.

Переходя к людям, заметим, что человек, не обладающий умом, нередко отличается великолепной, прочной, как железо, памятью, а тот, у кого нет ни того, ни другого, обладает здоровым костяком и может таскать тяжести. У слепых обоняние развито лучше, чем у зрячих. Бык в драке пользуется рогами не хуже, чем мы — руками. Лев орудует своими лапами, точно секирами, и убивает всякого, кто вступит с ним в бой. Клыки служат кабану более надежным оружием, чем нам меч и щит. Зачем улитке глаза, когда она безошибочно находит дорогу, нащупывая ее своими рожками, словно зоркий сыщик? Существует рыба, которая, не имея крыльев, летает при помощи плавников.

Допустим, что вы не отличаетесь ни умом, ни способностями,— я имею в виду, что никто не сравнится с вами в идиотизме,— все же, если вы при своей простоте обладаете скрытностью (если вы умеете скрывать свою недалекость), то змеи примут вас за змею, ибо разве змея не скрывает свое жало? Но каковы бы ни были изъяны у человека, взявшего на себя столь ответственную задачу, ему едва ли обойтись без красноречивого обольстительного языка: по-



«Севильская Куница».

добно тому как упомянутая мною змея своим упругим хвостом обвивает того, кто приближается к ней, он своими чарующими речами привлекает к себе сердца всех людей; но ежели человек не обладает таким языком, ему никогда не уподобиться воронам и голубям, рождающим птенцов из клюва,— из его уст не выйдет ничего путного, другими словами, ему не удастся возвыситься или прославиться на поприще соглядатайства.

Сэр, я убежден, что все ваши недостатки, о коих я упомянул, вам присущи от рождения. Я вижу по вашему лицу, что вы, подобно ласточке, созданы, чтобы на лету добывать себе пищу, чтобы в странствиях стяжать богатство и славу. Вам одному по плечу столь важное предприятие; наши жалкие шпионы просто мухи, плавающие на поверхности потока военных хитростей, по сравнению с вами, вы единственны в своем роде,— их подслеповатые, близорукие глаза не могут проникнуть в глубины притворства; только вы вместе с Паламедом можете разоблачить Улисса, прикинувшегося безумным, вы можете отличить Ахилла от прислужницы, хотя он сидит с веретеном за прялкой; подобно тому как Ликаон, подавая Юпитеру за обедом человеческое мясо в виде жаркого, не смог обмануть небожителя, ни один мудрец не перехитрит вас, никому вас не провести. Вы всякого одурачите, все страшатся вас, любят вас, склоняются перед вами. Посему, добрейший сэр, послушайте моего совета, снизойдите с высоты своего величия и всецело посвятите себя этому делу.

Моя медоточивая речь прозвучала для него как божественная гармония, он предался сладостным мечтаниям, воображая, каким сверхъестественно мудрым шпионом он покажет себя, какие царственные милости посыплются на него,— и он твердо решил пойти напропалую в надежде без промедления вознестись на высоты славы. Да, я еще сильней воспламенил и очаровал его, чем фригийский напев — юношу по имени Тавромонтан, который возгорелся таким пылом, что тотчас же помчался и поджег дом куртизанки, вызвавшей его гнев.

Мне оставалось только одно — снабдить его деньгами,— что я и сделал, ибо кто не построит своему врагу золотой мост, ведущий к гибели? Он стал горячо меня умолять, чтобы я ни одной душе не поведал о его уходе, поскольку он занимал высокий пост, и поклялся честью, что вернется вскорости, добившись полного успеха.

«Да, да, только без головы! — подумал я.— А покамест пусть у тебя будет такой девиз: «Сумею, нет ли, избегнуть петли?»

Итак, он отправился. Путь добрый, день долгий! Ну а теперь, если вам угодно, пусть этот бедняга навеки погибнет! Что до меня, то будь он моим родным братом, я не мог бы оказать ему большей услуги, ибо, едва он скрылся из виду, я пошел с самыми благими

намерениями к главнокомандующему, доложил ему, что этот человек перебежал в неприятельский стан, и немедленно же выпросил его место для другого.

Что с ним сталось, вы сейчас услышите. Он направился к неприятелю и предложил свои услуги, ругая на чем свет стоит английского короля. Он клялся, что как дворянин и солдат отомстит ему за оскорбление; пусть только французский король последует его совету, и не пройдет и трех дней, как он прогонит англичан прочь от стен Теруана. Все это были милые шутки, но трагедия еще впереди. Французский король, услыхав, что появился такой болтун, пожелал его видеть, но все же, опасаясь коварного нападения, повелел одному из своих фаворитов разыграть из себя короля, а сам решил стоять в стороне, как простой смертный, покамест будут допрашивать перебежчика.

Теперь без промедления расскажу, что было дальше. Истинный бог, капитана провели к королю, но сперва его подвергли тщательному обыску. Ни одну вошь в его камзоле не пропустили, но допросили ее и именем короля приказали стоять смирно. Ободрали все его пуговицы, дабы убедиться, что это не пули, обшитые материей. Они заявили, что гульфик его штанов, который был тогда в моде,— чехол от пистолета. Ежели бы у него в башмаках оказался гвоздь со шляпкой, капитана бы повесили, и он так и не узнал бы, кто его погубил. Но, к счастью, на нем не оказалось ничего металлического,— он не имел отношения ни к одному из четырех веков — ни к золотому, ни к серебряному, ни к бронзовому, ни к железному; только его пустой кошелек отличался древностью и был, думается мне, вполне пуританским, ибо его не оскверняли грязные монеты. Перед лицом мнимого короля капитана стали допрашивать, кто он такой и по какой причине явился. На вопросы он отвечал хвастливо, с бесшабашной веселостью, что он дворянин, капитан, командир, военачальник и перешел к французам из-за обиды на английского короля. Когда же его спросили о непосредственной цели его прихода, у него не нашлось хоть сколько-нибудь убедительного объяснения, ему еле-еле удалось состряпать какую-то колченогую историю, но, видит бог, у нее не было почвы под ногами.

Тут от него столь нестерпимо завоняло шпионством, что всех присутствующих так и подмывало растерзать его на клочки, однако любимец короля, верный своему долгу, продолжал его выспрашивать, какими тайнами английского короля, полезными для французов, он обладает, обещая за три дня отогнать англичан от стен Теруана. В ответ тот наговорил кучу всяких вещей, кои требовали длительного обсуждения, но, по правде говоря, все это была чистая ложь, да вдобавок плохо испеченная. Тогда выступил вперед

настоящий король и приказал схватить негодяя и подвергнуть его пытке. Пусть выложит правду, ибо он самый доподлинный шпион.

Увидев колесо и другие орудия пытки, он завопил, как мужлан, и признался, что он всего-навсего жалкий капитан английской армии и что его подговорил Джек Уилтон, придворный паж, пробраться в город и совершить дерзкий подвиг — убить французского короля, а затем вернуться назад,— ничего другого у него, мол, не было на уме.

Таковое признание вызвало взрыв хохота, из его слов выходило, будто убить французского короля и вернуться назад столь же простое дело, как сходить в Иелингтон, съесть блюдо творогу со сливками и вернуться домой; вдобавок он заявил, что у него не было ничего иного на уме, словно этого было не достаточно, чтобы его повесили.

Адам никогда бы не пал, если бы бог не создал его дуралеем. Все это не спасло капитана от пытки, и ему поломали-таки кости на колесе, ибо французы поклялись, что живо заставят его признаться либо замучают насмерть, но он тянул все ту же песенку, и королю доложили, что это сущий осел и, должно быть, какой-нибудь остряк сыграл с ним скверную шутку; итак, он заслуживает того, чтобы его плетью выгнали из города и отправили назад в лагерь. Король одобрил это решение, капитана здорово отхлестали, выпроводили за пределы города, и герольд отвел его в лагерь, провозгласив, что король, его повелитель, надеется за короткое время отогнать плетью на родину всех английских дурней. Последовал ответ, что короткое время — это долгая ложь, а англичане весьма умные дурни, они выгонят французского короля из его королевства, и пусть он тогда, подобно коринфянину Дионисию, учит в школе ребят.

Когда отослали герольда, приунывшего разведчика позвали coram nobis[1]. Вы можете себе представить, как охотно он шел на допрос,— но все же он получил приговор. Воробей из-за своей похотливости живет всего лишь год, а капитан за свое вероломство протянул ноги. Plura dolor prohibet[2].

Теперь позвольте мне малость поторжествовать и минуту-другую насладиться своим изысканным остроумием. Все же я не дам себе передышки, покамест не выложу вам весь запас моих плутовских проделок.

Другого капитана — швейцарца, который бредил девками, я прямо-таки замечательно провел; был он чудовищный истребитель всяческих блюд (зубами, как жерновами, он перемалывал

---

[1] В наше присутствие; пред наши очи *(лат.)*.

[2] Печаль меня лишает речи *(лат.)*.

неимоверное количество еды), а также изрядный мастак по части напитков. К нему-то я и заявился, нарядившись дешевой девкой, и платье, и все украшения на мне были по последней моде. Наверно, моим любезностям содействовала вкусная еда или, вернее, напитки, но под конец я выдохся, начал натянуто улыбаться и пыхтеть, как горшок с овсянкой на огне, когда он только что закипает. Все кончилось весьма благопристойно,— он поухаживал за мной и дал мне нечестивый задаток — каких-то шесть крон — в предвкушении порочных наслаждений,— а я вышел под предлогом неотложной нужды и больше не возвращался к нему.

На этом я не остановился, но выкинул еще несколько плутовских проделок.

В лагере орудовала компания продувных писарей, которые были в дружбе с сатаной, но не с солдатским ярмом и шапкой. Они подцепляли благонамеренных людей, делали их своими опекунами и питались на их счет. Они не упускали случая прикарманить жалование убитого солдата, они не соглашались дать взаймы на неделю несколько грошей человеку, который растранжирил все свои деньги на прошлой неделе. Они мерили наглым взглядом самых знатных и отважных королевских приближенных, красуясь в своих белоснежных фасонистых рубашках и манжетах. Они с презрением говорили о вшах, этих неизменных спутницах каждого джентльмена. Их коротко подстриженные бороды каждый день обязательно во славу дьявола орошались розовой водой. Они изводили чуть ли не всю свиную щетину, натирая щетками свое тело и разгоняя паразитов. Они ни за что не позволяли мошкам, роящимся в солнечных лучах, любоваться их опрятной изысканной одеждой. Их начищенные башмаки сверкали, как отполированные. Умывая руки, они мутили и грязнили больше воды, чем верблюд, который пьет до тех пор, пока не замутит весь поток. Короче говоря, никто на свете не мог бы сравняться с ними в причудах.

Милостивые государи, судите обо мне, как вам угодно, но я глубоко убежден, что мне свыше было суждено стать бичом божьим и покарать их за их щегольство и жеманство. Уже нельзя было отсрочить час их наказания, и отмщение должно было так или иначе совершиться. Дело в том, что большинство из упомянутых борзописцев и самохвалов были сущими трусами и в случае испытания не посмели бы даже брызнуть чернилами в лицо врагу. Поэтому-то я и решил подстроить им нарочитую каверзу и потешиться над их малодушием.

Вот что я предпринял: в один прекрасный день я поднял ложную тревогу в той части лагеря, где они обретались, дабы испытать, останутся ли они на своем посту. Я закричал диким голосом, предупреждая их об опасности:

— Спасайтесь бегством! Измена! Вы окружены со всех сторон!

Едва услыхали они об измене, как пустились со всех ног наутек — бросили свои перья, роговые чернильницы и бумагу на произвол судьбы, оставили конторки с запертыми в них деньгами на милость победителя, а я и мои товарищи, так ловко их одурачившие, завладели боевыми позициями. О том, как мы обошлись с добычей, красноречиво поведают опустошенные конторки, а уж мы, смею вас уверить, пожили в свое удовольствие добрых две недели, хотя и было время поста.

Я не могу втиснуть пространное повествование в узкие рамки сатирической повести. Вздремните часок-другой, и пусть вам приснится, что Турне или Теруан взят нами, и король отплыл обратно в Англию, и я нахожусь на казенных хлебах в Виндзоре или при дворе в Гемптоне. Что ж, быть может, вы, при всем своем беспристрастии, вообразите, будто я после путешествия утратил главенство над пажами? Так вот, признаете ли вы или нет за мной это преимущество, оно останется при мне, даже против вашего желания.

Осведомляя вас, скажу вам в утешение, что в это время я уже не был простым королевским прислужником, каким-нибудь всеми презираемым факелоносцем. На моей шляпе развевалось перо, словно флаг на мачте корабля. Мой камзол французского образца был скроен с таким выступом на месте живота, что казалось, у меня вываливаются наружу все внутренности,— и я напоминал свинью, готовую лопнуть от жира. Широкие штанины с прорезями раздувались на бедрах, как мешки, набитые голландским сыром. Длинные чулки плотно облегали мои голени, без единой морщинки или непристойного ворсистого шва на икре. Сбоку у меня торчала рапира, подобно шесту, воткнутому в такелаж, чтобы матросам удобней было карабкаться наверх. Епанча из черного сукна ниспадала у меня с плеч, словно морской скат или ухо слона, что свисает у него чуть ли не до колен, наподобие кожаного фартука, за который крестьянка затыкает веретено. Для пущего щегольства руки у меня были без перчаток,— все по той же французской моде; над верхней губой у меня торчал черный мохнатый клочок волос и траурная кайма растительности под самым подбородком. Я первым ввел в употребление ритуал пропуска ко двору, воспользовавшись словами обычного окрика: «Кто идет?» — и геральдическим термином «Идущий», будучи глубоко убежден, что нельзя почитать дворянином и признать родовой герб человека, который сперва не прошел через должность пажа. Если при дворе появлялся какой-либо новичок, не принадлежащий к дворянскому сословию, я полагал, что это наносит ущерб достоинству двора, и дело

можно поправить, лишь пожаловав ему герб с надписью «Идущий» и возведя таким образом его в дворянское звание.

Между прочим, в Испании на дорогах то и дело останавливают проезжего, допрашивая его, кто он такой, и заставляют платить три пенса за пропуск.

Посему все сборище виночерпиев обсуждало вопрос о том, сколь опасно подпускать незнакомца или приезжего к резиденции государя, начиная с Большой палаты, не допытавшись, кто он таков, и не вручив ему пропуска. Итак, мы установили такой же порядок, как в Испании, только не брали денег, но в знак того, что человек прошел через наши руки и был допрошен, ставили ему красную метку на ушах и пропускали его как благонадежного.

Не решаюсь вам поведать, как нечестиво мы себя вели, опрокидывая кружки, и как часто меня возводили в короли пьяниц, венчая королевским кубком. Позвольте мне тихонько перейти к последним дням юности и немного рассказать о потливом недуге, который поверг меня в холодный пот и заставил без оглядки удрать из Англии.

Потливый недуг — болезнь, которую мог подцепить человек, даже никогда не заглядывавший в теплицу. Многим господам желательно иметь слугу, который работал бы до пота, но в те дни тому, кто вспотел, уже больше никогда не приходилось работать. Тогда не имели силу слова Священного писания: «В поте лица твоего будешь зарабатывать себе хлеб свой», ибо люди зарабатывали себе смерть в поте лица. Стоило какому-нибудь толстяку подтянуть кушак, и он был готов. Ванна матушки Корнелиус,— да, это был сущий ад: кто туда попадал, уж не выходил оттуда.

Повара, которые все время стоят над огнем, поджаривая свое лицо, были упразднены этой болезнью и превратились в кухонные отбросы; помещение их корпорации перешло в руки короля, ибо некому было его содержать.

Шерстобитов и меховщиков умирало больше, чем в былое время от чумы,— первых убивал горячий пар, поднимавшийся от шерсти, только что вынутой из котла, а вторых — зловредное тепло недавно ободранных овчин и кроличьих шкурок. В ту пору я видел одну старуху с тремя подбородками, которая, вытирая пот, стирала их один за другим, они таяли на глазах, растекались, точно вода, и скоро у нее осталась только верхняя челюсть. Подобно тому как в мае или в летнюю жару мы кладем масло в воду, чтобы оно не растаяло, в то время многие смачивали одежду водой, как это делают красильщики, или прятались в водоемах, спасаясь от знойного солнца.

Тогда счастлив был тот, кто был ослом, ибо осла может убить только холод, и ни один из них не умирает даже от страшного

жара. Рыбы, называемые морскими звездами, которые убивают друг друга, излучая жар, были не так опасны, как опасна была близость человека, страдающего потливым недугом. Каменщики не платили ни гроша за волос, который они подмешивают в штукатурку, а также и мастера, набивающие мячи волосом,— все они получали его даром,— волосы, покрывающие голову и подбородок, выпадали быстрей, чем успел бы их сбрить цирюльник. О, если бы тогда были в моде штаны на волосяной подкладке,— как бы процветали портные! Но все же портным здорово повезло, ибо все, у кого водились денежки, заказывали одежду из самой легкой и тонкой ткани. Смею вас уверить, закройщики в ту пору домогались, чтобы их корпорацию приняли в число Двенадцати цехов, ибо всякому хотелось иметь камзол для прохлады, скроенный особым образом и плотно прилегающий к телу, или же облегающую тело рубашку. Охлаждающий жакет ценился чуть ли не как сама жизнь. Почиталось государственной изменой, если какой-нибудь толстяк приближался на пять миль ко дворцу. Мне рассказывали, будто одна семья вымерла целиком, вплоть до грудных младенцев,— и только потому, что у них лежал запертый в ларе ирландский меховой коврик, коим они даже не застилали кровать. Ежели больной этим недугом засыпал, он уже более не пробуждался. При подобных обстоятельствах врачи только зря мучили простаков своими настойками, не в силах сделать их стойкими к болезни.

Гален мог бы с таким же успехом подковывать гусей. Его приспешники столь долго величали его божественным, что он в конце концов потерял всякую власть на земле. Гиппократ мог бы с успехом заняться составлением календарей,— здесь от него не было никакого толку. Человек скорее бы вспотел, изучая его рецепты, чем избавился от пота, следуя его бесполезным указаниям. Парацельс со своим «духом оружия» и «духами минералов» в данном случае мог бы лишь сказать: «Помоги ему, господи!» Plus erat in artifice, quam in arte[1],— сам врач распространял такую заразу, что, при всем своем искусстве, не мог вылечить болезни.

Мор перво-наперво стал косить стариков, ибо они гордятся длинной бородищей, и дабы она получше согревала им грудь, до того натапливают дом своей растительностью и такую нестерпимую разводят духоту, что даже стены потеют и на них выступает соль. Да, у многих стариков на диво горячее дыхание, и, задерживаясь в зарослях их кустистой бороды (как застаивается воздух в запертом помещении), оно становилось источником заразы.

Умнее оказался братец Бенкс, который тогда отрезал хвост

---

[1] Больше сил было в художнике, чем в искусстве *(лат.)*.

у своей ученой лошади, опасаясь, что, когда она начнет крутиться на задних ногах, вонь, застрявшая в ее пышном густом хвосте, причинит вред его зрителям. Скажи я вам, сколько красноносых чиновников из коллегии герольдии и судейских с рубиновыми щеками унесла эта болезнь,— вы бы мне не поверили. Подобно тому как саламандра одним взглядом губит яблоки на дереве,— чиновник герольдии или судейский в то время отблеском своего огненного лица мог погубить человека даже на большом расстоянии. Есть на земле места, где нельзя укрыться от солнца в тени,— если бы diebus illis[1] так было и в Англии, начисто вымерло бы все потомство Брута. Чтобы связать концы с концами, скажу: воздух, который вдыхали люди, был таким раскаленным, так обжигал, что даже самые достойные из них в те дни молили господа бога превратить их в коз, ибо козы дышат не только ртом и носом, но и ушами.

Но как бы они там ни дышали, я поклялся, что больше среди них не останусь. Под Теруаном я был наполовину в шутку солдатом, а теперь стал всерьез воякой. Итак, я со своим снаряжением переплыл пролив и, услыхав, что французский король дерется со швейцарцами, изо всех сил поспешил к месту сражения, намереваясь встать на сторону сильного. На мое счастье или на беду (не знаю, как сказать), прибыл я, когда битва была уже окончена, и мне предстало ужасающее кровавое зрелище — множество павших с обеих сторон: здесь неуклюжий швейцарец валяется в луже крови, словно бык на навозе; там легкомысленный француз корчится и извивается на окровавленной траве, будто щука, только что извлеченная из реки. Вся земля была усеяна секирами, словно двор плотника щепками. Заваленное изувеченными трупами поле битвы напоминало болото в бесчисленных кочках.

В одном месте можно было видеть груду мертвецов, на которых навалился павший конь, придавив их, как надгробная плита, в другом — кучу тел, у которых вывалились наружу кишки и перепутались между собой, связав трупы в один клубок. И, подобно тому как римские императоры имели обыкновение привязывать обреченных на смерть пленников лицом к лицу к трупам,— здесь лежали полуживые среди изуродованных разлагающихся мертвецов. Любой из уцелевших мог бы получить для своего герба руку с мечом, ибо кругом валялось столько рук и ног, сколько не наберется и в день Страшного суда. Сам французский король немало пострадал, он был обрызган мозгами своих воинов, под ним было убито три скакуна, и он получил три удара копьем в грудь. Но под конец на помощь пришли венецианцы, и гельветы, или швей-

[1] В те дни *(лат.)*.

царцы, были разбиты, король увенчан лаврами победителя, мир заключен, и город Милан перешел к нему в знак примирения.

Война затихла, рассеялись шайки грабителей, что следуют издали за войском, словно во́роны, слетающиеся на падаль, а я махнул в Германию, в Мюнстер, где в то время засел глава анабаптистов брат Джон Лейден, восставший против императора и герцога Саксонского. Там я надеялся обосноваться на продолжительное время, полагая, что ни один город не захочет подвергнуться осаде, если только не рассчитывает ее выдержать. Тем не менее эти мюнстерцы проявили стойкость и остановили императора у своих стен на целый год. Они бы и дольше продержались, если бы их не стал одолевать царь-голод. Вслед за тем император, послав к ним гонцов, назначил день сражения, когда, как полагали эти еретики, они должны были принять крещение в собственной крови.

И вот настал день битвы; мясник Джон Лейден с победоносным видом выехал на поле; на шее у него был шарф, сшитый из полос материи, словно чехол для лука, на груди — крест, вытканный цветными нитями; вместо щита его плечи прикрывала круглая саржевая подушка — сиденье портного,— похожая на поднос для пивных кружек; вместо пики было у него шило, вместо копья — здоровенная дубина для битья подмастерьев; большущий ушат пивовара защищал его спину, подобно латам, а на голове вместо шлема был надет громадный сапог кверху подошвой, ощетинившийся гвоздями.

Его войско состояло сплошь из простых ремесленников — сапожников, кожевников и медников, иные из них были вооружены железными брусьями, другие топорами, либо шестами, на которых носят бадьи, либо навозными вилами, либо лопатами, либо мотыгами, либо деревянными кинжалами, либо теслами. Вооруженные получше размахивали старой ржавой алебардой, унизанной, на страх врагам, мотками пряжи. Там и сям можно было увидеть молодца, напялившего на голову изъеденный язвами железный шлем, служивший членам его рода добрых двести лет ночным горшком; у другого вместо доспехов висело спереди и сзади по сковороде, дабы защитить спину и живот, у третьего вместо нагрудника на брюхе болталась пара старых потрескавшихся сапог, служивших ему надежной защитой; четвертый нанизал на свой кушак множество жетонов, воображая, что, попади он в плен, враги примут медяшки за золото, и он купит себе жизнь. Все это были весьма благочестивые ослы и до тупости самонадеянные — они полагали, что им известны помышления господни не хуже, чем богачам; да, они запросто получали свыше откровения; божественные глаголы жужжали у них в ушах — точно пчела, залетевшая в ящик, и ежечасно долетали до них вести

с небес, из преисподней и из неведомых земель. Ежели кто-нибудь навлекал на себя их неудовольствие, они обрекали его на вечное осуждение ex tempore[1]. Они хвалились, что между ними и апостолами нет ни на грош разницы: они, мол, такие же бедняки, такие же простые работники и так же вдохновлены свыше,— а господь не взирает на лица. Можно было, правда, усмотреть небольшую разницу между ними и апостолами: святой Петр носил меч, а они считали, что обречен адскому огню человек, который ходит с кинжалом. Да, у анабаптистов до того прочно укоренилось это убеждение, что теперь, когда они вышли на бой, ни у кого из них не было клинка, даже ножа для чистки лука (так они боялись навлечь на себя погибель). Ни один человек, кроме судьи, не вправе, говорили они, обнажить меч; и в самом деле (чуть было не позабыл), Джон Лейден, их судья, носил на боку некое подобие ржавой шпаги, выступая эдаким молодцом. Да, теперь вспоминаю,— то была всего лишь рапира, и он нацепил ее, давая знать, что завладеет рапирами врагов,— он вообще любил изрекать двусмысленные прорицания. Quid plura?[2] Он подготовился к битве; говоря: «подготовился», я не имею в виду, что он построил свою рать в боевом порядке,— тут не было и речи о порядке, но, подобно тому как матросы просмаливают свою одежду, чтобы ее не продувало ветром, большинство этих вояк просмолили свою заплатанную одежду, чтобы ее не пробило копьем,— ведь этак легко себя обезопасить, не потратившись на латы. Но можно было сказать и в другом смысле, что он приготовился к битве, ибо он был готов удариться в бегство, в случае если потерпит поражение.

Тише, тише, там, в притворе,— начинается служба! Перед самым сраженьем Джон Лейден и все его приверженцы падают на колени, они горячо молятся, завывают, увещевая бога даровать им победу, и являют неописуемое рвение; глядя на них, можно подумать, что это самые добродетельные люди на земле.

По сему случаю дозвольте мне сделать небольшое отступление несколько более серьезного свойства, чем заслуживала бы эта история или чем можно было бы ожидать от такого новичка в области богословия. Ведь не всякий, кто непрестанно вопиет: «Господи, отвори мне! Господи, отвори мне!» — первым войдет в царство небесное, и не самые ревностные проповедники стяжают наибольшую благодать, и не «все то золото, что блестит». Когда Христос сказал: «Силою берется царство небесное», он имел в виду не бесконечное бормотанье молитв, не нудные, полные рвения, бессмысленные проповеди, но веру, усердие в добрых делах,

---

[1] Немедленно *(лат.)*.
[2] Что еще сказать? *(лат.)*

долготерпение. Алчные невежды жаждут захватить для себя царство небесное, а всех нас, людей просвещенных, отправляют в ад.

Где Петр и Иоанн из третьей главы Деяний обрели немощного хромого, как не у дверей храма, называемых Красными? У прекраснейших дверей нашего храма, у ног проповедников можно увидеть множество немощных калек, немощных в жизни, немощных в добрых делах, немощных кругом; однако они всегда сидят лишь у дверей храма, даже когда уходят в реформацию, и отнюдь не спешат войти в истинный храм вратами добрых дел.

Вы можете мне возразить, что люди, против которых я пишу, ревностней всех читают Писание, внимательней всех слушают проповеди, имеют самый добропорядочный вид и одеты скромнее всех. Но позвольте мне вам ответить: не сказал ли Христос, что в последние времена солнце померкнет и луна претворится в кровь? Это может означать только одно: славное солнце Евангелия будет помрачено тучей лицемерия, блистательное светило спасения обратится в источник заблуждения и мрака; а слова: «Луна претворится в кровь» — означают, что те, что блистают добродетелями, с виду скромнее всех и кажутся наиболее приверженными к религии,— будут извергнуты из лона церкви, претворятся в кровь,— и все сие произойдет до наступления страшного дня господня, кануном которого является настоящее время.

Позвольте мне привести еще более знакомый вам пример, поскольку пыл, овладевший этим множеством людей, столь нас оскорбляет. Не повлек ли дьявол Христа на высочайшую вершину храма, дабы его искусить? Если он повлек Христа, то он увлечет и целое полчище лицемеров на высоты веры и святости, дабы соблазнить их и низвергнуть. Приведу вам слова, коими наш спаситель, прошедший через искушения, увещевал своих учеников: «Берегитесь рода сего развращенного. Истинно, истинно говорю вам, слуга не больше господина своего». Поистине, поистине, грешные люди не превосходят в святости святейшего Иисуса Христа, их создателя. Сей святейший Иисус Христос вновь повторяет священное изречение: «Помните слова, которые я вам говорил: слуга не более свят, чем его господин». Он как будто хочет сказать: «Помните же, запечатлейте слова мои в памяти вашей: ваши гордыня и своеволие заставят вас позабыть их, спустя много лет сила их иссякнет». «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее»,—кто хочет стремглав ворваться на небеса, нарушая повеление божье, тот, подобно гигантам, устремившимся на небо, дабы свергнуть Юпитера, будет низвергнут, на него обрушатся Осса и Пелион, и он будет обречен на вечные мучения в мрачном царстве сатаны.

Хотя служение первосвященников уже потеряло силу, когда Павел сказал одному из них: «Бог будет бить тебя, стена подбе-

ленная!», но все же, услыхав слова присутствующего: «Первосвященника божия поносишь?»—он раскаялся и попросил прощения.

Я не стал бы утверждать то, в чем я не вполне уверен. Законность духовной власти, которой они противятся, неоспоримо доказана; я не навязываю вам моих незрелых доводов, ибо они лишь зеленая ветвь и слабая подпорка для столь высокого здания. Достаточно будет сказать, что если вы познали Христа, то вы познали и его отца, если вы знаете христианскую религию, то знаете и отцов церкви. Но многие из вас, подобно Филиппу, долгое время были с Христом, но так и не узнали его; долгое время признавали себя христианами, но так и не узнали истинных его служителей. Вы примыкаете к французской или шотландской модной секте и во всех отношениях уподобляетесь швейцарцам, qui quaerunt cum qua gente cadunt — которые ищут, с каким бы народом им погибнуть.

В дни Нерона жил один чудак, который изобрел способ делать стекло столь же прочным, как золото,— не сказать ли мне, что опыт, проведенный им над стеклом, мы проделали над Евангелием? Да, скажу от чистого сердца: мы нашли способ закалить его против любой ереси. Но горнило лжи должны погасить молоты ереси, разбить, как было уничтожено горнило того чудака, не то можно опасаться, что ложный блеск стекла нововведений затмит древнее золото Евангелия.

Корень зла в том, что отцы вашей мертворожденной религии— сущие младенцы в вере. Катон, один из самых мудрых мужей, прославленных в анналах римской истории, родился, когда его отцу было восемьдесят лет; никто не может быть безупречным отцом веры и приводить своих детей истинным путем к богу, если он не умудрен долголетним опытом, если не научился кротко покорять людей вере и не продал, подобно Закхею, все свое суетное достояние, дабы радостно последовать не за обыкновенным человеком, но за духовным Мессией.

Патеры и пасторы, уступите свои секты и расколы одряхлевшим церквам, которые за морем враждуют меж собой. За многие годы они так привыкли вести религиозные войны или бороться за власть, что теперь обретают душевный мир, лишь нарушая мир других людей. Из-за крайней бедности эти страны не в состоянии должным образом содержать духовных лиц высшего ранга,— и вот они решили залучить нас в покровители их мятежной, подвергающейся преследованиям голытьбы. Это весьма напоминает секту философов, именовавшихся циниками, которые, не унаследовав ни земель, ни какого-либо имущества, не имея никаких средств к существованию, нищие и всеми презираемые, брошенные на произвол судьбы, вошли в заговор и совещались меж собой, как бы заставить людей ценить их бедность выше богатых имений

и царской власти. Их заговор и совещания привели к тому, что они стали жить обособленно, чуждаясь всякого общения с людьми. Не имея ни гроша за душой, они утверждали, что надобно жить в добровольной бедности, скудно питаться, спать на жестком ложе, а также презирать и осыпать бранью как последних негодяев тех, кого почитают богатыми или состоятельными. Диоген был одним из первых общепризнанных главарей этих угрюмых грубиянов, он обнаружил такое упорство и столь резко высмеивал суетность мира сего и низменные радости глупцов, что через некоторое время, вопреки здравому смыслу, его стали превозносить, считая полноценной монетой; так же точно обстоит дело и с нашими циничными реформированными иноземными церквами. Честное слово, они не пожнут плодов высокого епископского служения, ибо даже не знают, как их раздобыть. Пусть себе эти добрые люди по одежке протягивают ножки и выкручиваются как умеют, но пусть они оставят в покое нас, англичан, своих добропорядочных соседей, кои, имея гораздо больше сукна, могут в просторной одежде дальше протянуть ноги.

К чему же привело печальное отпадение Мюнстера? Они изгнали своего епископа, конфисковали церковные бенефиции и стали разыгрывать их, бросая жребий, подобно тому как воины метали жребий об одежде Христа,— короче говоря, не превратили ли они дом божий в вертеп разбойников? Да, в наши дни голодные святотатцы поистине создали разбойничий вертеп. Разбойники быстро проматывают то, что им легко досталось; похищенное у церкви добро впрок нейдет. Дионисий ничуть не разбогател, украв у Юпитера его золотой плащ, и в конце концов пришлось ему подвизаться в роли школьного учителя в Коринфе. Хорошие ли, дурные ли религиозные установления уничтожаются, господь никогда не оставит безнаказанным поругание веры. Я могу повторить вслед за Овидием слова, сказанные им о евнухе:

Qui primus pueris genitalia membra recidit,
Vulnera quae fecit debuit ipse pati.

Кто первым оскопил юнца своей рукой,
Изведать должен был и сам удел такой.

Итак, тому, кто первым лишил церковь ее бенефиций, как бы оскопив ее, следовало бы оскопить самого себя или лишить себя жизни. Я имею в виду кардинала Уолси, qui in suas poenas ingeniosus erat[1],— он сам научил других, как его сбросить. О том, насколько удачно действовал он и его приспешники, как они впо-

[1] Который умел изобретать кары *(лат.)*.

следствии орудовали уже самостоятельно, подробно повествует Хроника, хотя и не одобряет их поступков,— но если они и не понесли наказания в полной мере, то я не сомневаюсь, что потомство, подвергнув их суровому осуждению, воздаст им по заслугам.

Однако вернемся к рассказу о том, как был низвергнут самозванец Джон Лейден. Как я уже говорил, он и все его солдаты пали ниц и стали горячо молиться, решившись не прекращать молений до тех пор, покамест бог не явит им с небес какое-нибудь чудесное знамение победы.

Заметьте, что как Джон Лейден, так и шайка Книппердолинга и Мюнцера, имели такое обыкновение: если бог, несмотря на их неистовые крики и вопли, не изъявлял им своего благоволения, они принимались его бранить, осыпали его проклятиями, восставали на него, обвиняя его в несправедливости за то, что он не сдержал своего слова, и попрекали творца его же обетованиями, данными в Писании. Таким образом, они не служили богу в простоте сердца, но он должен был им служить, исполняя их требования. Подражая им, многие готовы служить богу, как рабы, дабы избегнуть петли, но кто искренне, от чистого сердца служит богу и взял себе девизом: «Amor est mihi causa sequendi» — «Я служу, потому что люблю», тот говорит: «Ego te potius, Domine, quam tua dona sequar» — «Я следую за собой, господи, ради тебя самого, а не из-за корыстного расчета на те блага, какие ты можешь мне воздать».

Христос желал иметь лишь таких последователей, которые оставляли все, дабы идти за ним, отказывались от всех своих желаний, не ожидали награды в жизни сей, отвергали и презирали свою жизнь, жену и детей из любви к нему и с радостью брали свой крест и следовали за ним.

Но эти анабаптисты и не думали оставлять все и идти за Христом, они не отказались от жажды мести и новшеств, они не расстались с надеждой ограбить своих врагов, они оберегали свою жизнь, заботились о своих женах и детях, не возлагали на себя креста смирения и не следовали за ним,— напротив, они распинали его, поносили и ни во что его не ставили, если он не являл знамения в ответ на их молитвы и мольбы. Deteriora sequuntur[1],— они следовали за господом, бросая ему вызов. И бог услыхал их молитвы, quod petitur poena est[2],— они вымолили себе в скором времени наказание. О, чудо, в ответ на их бесстыдные мольбы явилось небесное знамение — воссияла великолепная радуга,— точь-в-точь как та, что изображена на их стягах.

---

[1] Следуют за худшим *(лат.)*.

[2] Они домогаются кары *(лат.)*.

После сего, уверенные в своей победе (miseri quod volunt, facile credunt — человек в беде готов поверить в то, что ему хочется), они с криком и гамом внезапно ринулись сломя голову навстречу своему заслуженному поражению.

Достойны жалости и сострадания эти люди, беспощадно истребленные твердой рукой. Когда в чересчур уж кровавой схватке медведя (этого свирепейшего из зверей) одолевает и раздирает на части несметная свора псов, невольно испытываешь жалость, словно перед тобой кроткая тварь, и те, кои, глядя на него, еще полного сил в начале травли, желали этому чудищу жестокой смерти, теперь, забыв о жажде крови, сочувствуют его страданиям, ибо он кажется им безобидной тварью перед множеством разъяренных догов; подобное же сострадание возбуждали у ранее равнодушных к ним зрителей терпевшие поражение нечестивые мюнстерцы, теперь они казались безвинными овцами на бойне, а раньше представлялись волчьей стаей, напавшей на пастухов.

Имперские войска, оказавшиеся их палачами (подобно тому как отец проливает слезы, но все же бьет свое дитя), от души жалея своих врагов, скрепя сердце совершали прискорбное избиение. Однако грозные звуки барабанов и труб, возвещавших суровое отмщение, придавали им такой пыл, что руки их орудовали сами собой, вопреки их сокрушенным взорам. Их мечи, копья, алебарды, луки, мушкеты рубили, кололи, сокрушали, простреливали насквозь и повергали в прах каждую минуту сотни людей, падавших на землю, словно колосья под взмахом косы. Однако все это оружие, рубя, прокалывая, простреливая и сокрушая, причиняло вдвое меньший урон, чем победно грохочущая артиллерия,— то тут, то там железные снаряды тонули в кровавом месиве, и трудно было отличить головы от ядер или клочья окровавленных волос от клочков кровавого мяса.

Рассказу сему должно рано или поздно прийти к концу, и стоит ли его продолжать? Я охотно бы с ним начисто развязался, когда бы только знал, как это сделать, ибо, толкуя о сапожниках, медниках, канатных мастерах, мясниках и штукатурах, муза моя потеряла последние зубы и, думается мне, совсем онемела, стремясь сочетать богословие с поэзией. Что еще вам желательно узнать об этой трагедии? Говорите скорей, ибо мое перо уже вновь приходит в движение. Вы интересуетесь, как умер Джон Лейден? Он умер собачьей смертью, его повесили и за казнь его заплатили. Вы беспокоитесь, какая участь постигла его сообщников? Могу вам сообщить, что они больше уже никого не беспокоили, ибо все были убиты, ни один не спасся, так что некому было рассказать о чудесной радуге. Знайте же: стать анабаптистами или стать пуританами — значит дурно кончить. Пусть некото-

рое время вас считают мясниками, на коих снизошло озарение, но под конец вы возопите: «Люди добрые, помолитесь за нас!»

После трагической развязки Мюнстерского восстания я решил отказаться от новой для меня военной карьеры. В то время в христианском мире уже не вели войн ради возвышенных целей, посему, убедившись, что надобно потратить добрых полчаса, чтобы сказать по-немецки «прощай», я поспешно направился через всю страну к пределам Англии.

То в повозке, то на своих на двоих добрался я наконец до Мидлборо (ты ведаешь, господи, сколь переменчива наша судьба — судьба юных странствующих рыцарей!), там я повстречался с высокочтимым лордом Генри Говардом, графом Суррей, моим ныне покойным хозяином. Боже мой! Увидав его, я испытал такую радость, какой наверняка не испытал бы, очутившись в раю. О, это был поистине благородный лорд, воплощенная щедрость (если только в наш железный век щедрость еще может существовать на земле), возвышенный дух, ибо в нем жил поэт, не имевший себе равных.

Судьба проявляет величайшую несправедливость, посылая безвременную смерть превосходному поэту. Если в груди смертного человека порой еще вспыхивают сквозь пепел искры того совершенства, каковым обладал Адам в раю, то господь наделил сим даром свой совершеннейший образ — образ поэта. Никто из людей так не уподоблялся своей мудростью всевышнему, никто так не презирал мир. «Vatis avarus non temere est animus, — говорит Гораций,— versus amat, hoc studet unum» — «Редко случается встретить поэта, склонного к скупости, он любит лишь одни стихи, и больше ни в чем не обретает отрады»; и сей одичавший мир воздает ему презрением в той же мере, в какой он его презирает. Поэтов презирают в мире, ибо они не от мира сего: они воспаряют мыслью высоко над миром невежества и земной суеты.

Подобно божественному сонму ангелов, они непрестанно ведут беседу на небесах искусств. Небеса, как таковые, являются лишь вершиной познания. Тот, кто познал самого себя и все сущее, обрел источник счастья. Блаженны, трижды блаженны те, кому господь даровал, кроме земного, божественный разум и, кроме земной души, возвышенный дух поэта.

Мой доблестный покровитель в высшей степени обладал этим сверхъестественным разумом; он был чужд низменной скупости, а также свойственных женщинам малодушия и страха, каковые почитаются сродными водной стихии, но был исполнен духовной свободы, великодушия и щедрости, кои сродни стихиям воздуха и огня. Позвольте мне больше не распространяться о его совершенствах, ибо я могу растратить все свое вдохновение, воздавая

ему хвалу, и тогда уже недостанет у меня умственных сил и душевной энергии для продолжения настоящего повествования.

Когда я встретил этого человека и воспылал к нему самыми возвышенными чувствами, мне уже не подобало убегать от превратностей судьбы, но надлежало возвратиться и разделить с ним все успехи и неудачи в той лотерее, какой можно уподобить путешествия. Все же меня прельщала мысль странствовать с обладателем столь толстого кошелька, но я недоумевал, какая внезапная прихоть побудила его покинуть родимый край и отправиться без всякой надобности за море, в путь, чреватый опасностями, и вот однажды ввечеру я набрался смелости и спросил графа, что заставило его поехать на чужбину.

— Ах, милый мой паж,— отвечал он,— ты, конечно, заметил, какая произошла со мной метаморфоза с тех пор, как мы виделись с тобой последний раз. Существует бог-малютка, именуемый любовью, который не ищет себе поклонников среди свинцовых сердец, провозглашая себя единственным повелителем людей с проницательным взором и нежным сердцем; это он, являя свою власть надо мной, отнял, безжалостно похитил у меня всякую радость.

Ты знаешь величавую Джеральдину, столь величавую, что я даже не дерзаю воздвигнуть в честь нее статую или святилище; это она прибыла из Италии, дабы очаровать всех разумных мужей в Англии. Она служит королеве Екатерине Доуджер и наделена такой красотой, что могла бы покорить сердце любого из великих христианских королей. Дивное, возвышенное солнце ее прелести зажгло своими лучами мое сердце, оно запылало, словно костер Феникса, и я сам подливал нежную страсть и хвалы, как аравийские благовония, в погребальное пламя моего безумия. Те, что были обречены задохнуться насмерть, погрузившись в нежные недра пышного ложа из роз, не испытали столь сладостной кончины, каковая будет моим уделом, ежели гневное презрение, вспыхнув розовым пламенем на ее ланитах, станет моим палачом.

О, исполненный царственного величия Гемптонский двор, зачарованный замок Купидона, где я впервые узрел беспредельную власть всевышнего, воплощенную в смертном создании, ты, дарующий всем другим отраду в своих пленительных чертогах, лишь мне одному уделил из обильной сокровищницы своих забав порожденную красотою печаль!

Дорогой Уилтон, знай, что именно там я впервые поднял взор на мою божественную Джеральдину. Узрев ее, я испытал восхищение; я неспособен был ничего созерцать, кроме ее изысканной прелести. После длительного ухаживания и неоднократных изъявлений моих чувств я был благосклонно допущен в ее общество. Ни один равнодушный слуга не повиновался столь

рабски немилой ему госпоже, как я повиновался Джеральдине. Моя жизнь, мое достояние, мои друзья, наша судьба — были всецело подвластны ей.

В один прекрасный день я решил отправиться в путешествие. Молва об Италии и незаурядная приверженность к моей второй госпоже — поэзии, столь процветающей в этой стране, уже давно влекли меня туда. Никто не отговаривал меня от этого, и все зависело лишь от моей воли. Итак, я предстал перед своей госпожой, когда она с другими высокородными дамами прогуливалась в райских садах Гемптонского дворца, и стал смиренно умолять ее о милости: не соизволит ли она отпустить меня, своего слугу, разрешив мне пострансствовать год или два по Италии. Она весьма благоразумно отвечала мне, что ежели моя любовь и впрямь столь пламенна, как я не раз ее заверял, то я хорошо поступлю, наложив на нее пластырь разлуки, ибо разлука, как говорят, вызывает забвение.

— При всем том,— прибавила она,— поскольку вам так хочется увидеть Италию, мою родину, я тем более одобряю ваше желание. Итак, pete Italiam, отправляйтесь в Италию вместе с Энеем, но будьте вернее Энея. Я надеюсь, что мягкий, благодатный для процветания благородных искусств климат не вызовет перемен в столь благородной душе. Италия более не будет моей страной, если она войдет в союз с вами и усилит вашу любовь ко мне. Одно поручение я даю вам, и пусть это будет скорее просьбой, нежели поручением. Когда вы прибудете во Флоренцию (прекрасный город, и я горжусь, что там родилась), выступите в защиту моей красоты и бросьте вызов всем, кто будет ее оспаривать.

Вы столь превосходно владеете оружием, что я не потерплю урона, доверив всю славу моей красоты вашей искусной руке. Хотелось бы мне, чтобы все знали, где я родилась, хотелось бы мне, чтобы вы узнали, сколь славно главное ристалище Флоренции. Счастливого пути, не забывайте меня! Продолжительная отлучка увековечит мой образ в вашем сердце, вы обретете исполнение своих желаний, когда завершится ваше путешествие.

Тут слезы брызнули у меня из глаз и прервали течение моей хорошо обдуманной речи, подобно тому как ливень усмиряет порывы ветра. Рвущимися из сердца вздохами я выразил согласие на ее прощальную просьбу и поклялся, что буду ей принадлежать, доколе жизнь будет принадлежать мне. Hinc illae lacrimae[1], вот чем вызваны мои странствия.

Сия неожиданная любовная история немало меня порадовала, тем более что ее поведали мне уста, кои до сих пор изрекали

[1] Отсюда эти слезы *(лат.)*.

лишь суровые наставления в скромности и благонравии. Клянусь вам, что мне его общество стало тем драгоценней, что он отказался от возвышенных похвал целомудрию и воздержанию. Молю бога, чтобы он так же меня возлюбил, как я люблю простых, бесхитростных людей. Земля есть земля, плоть есть плоть, земное тяготеет к земному и плоть к плоти. Бренная земля, бренная плоть, кто воспрепятствует вам повиноваться законам естества?

Но оставим эти бесплодные доводы, приводимые pro и contra [1]. Мы направились к Венеции и по пути заехали в Роттердам, который, впрочем, отнюдь не лежал на нашем пути. Там мы повстречались с престарелым просвещенным мужем, главным украшением города, с плодовитым и высокодаровитым ученым Эразмом, а также с остроумцем сэром Томасом Мором, нашим соотечественником, каковой прибыл в Роттердам несколько ранее нас со специальной целью посетить упомянутого почтенного отца Эразма. Какие разговоры, какие беседы велись у нас тогда, я считаю излишним здесь пересказывать, могу лишь заверить вас в одном: во всех своих речах Эразм гневно поносил неразумие государей, оказывающих предпочтение паразитам и глупцам, и решил, сделав вид, что плывет по течению, безотлагательно написать книгу в похвалу глупости. Блещущий остроумием сэр Томас Мор подвизался в противоположной области; видя, что в большинстве стран господствуют дурные нравы и правители являются, по существу, крупными паразитами, одержимыми страстью к насилиям и убийствам и опирающимися на свору шпионов и кровавых самоуправцев; замечая, что в самых главных процветающих странах не существует справедливого распределения жизненных благ между всеми людьми, но богачи вошли в заговор против бедняков и незаконно присвоили себе все привилегии, якобы во имя блага государства,— он принял решение начертать картину идеального государства, или образа правления, назвав это сочинение «Утопией».

Итак, мы покинули этих мужей, занятых своим обличительным трудом, и направились прямо в Виттенберг.

Едва мы въехали в Виттенберг, как стали свидетелями весьма торжественной встречи, каковую устроили там ученые герцогу Саксонскому. Они прямо-таки пресмыкались перед ним, ибо он был главным патроном их университета и, встав на сторону Лютера, содействовал упразднению в их городе католических служб и освобождению его из-под папской юрисдикции. При его встрече имели место следующие церемонии.

Сперва члены университетского совета (поистине важные

[1] За и против *(лат.)*.

особы!) вышли навстречу герцогу в своих шапочках и в докторских мантиях, прикрывающих их лицемерие, secundum formam statuti;[1] вслед за тем представитель университета с острой бородкой, обрызганной розовой водою, произнес весьма ученую или, вернее, весьма плачевную речь (ибо все время лил дождь!), которая имела глубокий смысл, так как по клочкам была украдена у Цицерона,— да простит герцог оратора, который лез из кожи вон, щеголяя набором ученых терминов, причем не из желания блеснуть умом (видит бог, такового у него не имелось), но с единственной целью доказать свою несравненную преданность герцогу (коего заставили стоять под дождем, пока он не промок до костей). Он осыпал герцога каскадом всяких quemadmodum[2] и quapropter[3]. Каждая фраза неизменно заканчивалась словами: «Esse posse videatur»[4]. Воздавая хвалу герцогу, он наградил его всеми девятью добродетелями, заверил его, что ему, по их неустанным молитвам, будет дано дожить до возраста Нестора, и, процитировав затасканный стих Вергилия: «Dum iuga montis aper»[5], наконец завершил свою речь восклицанием: «Dixi!»[6]

Когда эта комедия закончилась, на герцога накинулась целая свора жалких питомцев университета, которые драли глотку, косноязычно выкрикивая, словно нищие: «Спаси господи вашу милость! Спаси господи вашу милость! Христос да сохранит вашу светлость хотя бы на час!»

Тут снова бросили ему в лицо пригоршню грошовых латинских словечек, но, смею вас уверить, они делали это с выбором, подобно тому, как из груды мусора выбирают лохмотья.

В городском предместье герцога встретили бюргеры и тупоголовые члены корпораций Виттенберга, в парадной одежде их гильдий, с почтенными физиономиями цвета пива, ибо большинство их были завзятыми пьяницами, и на лицах их можно было увидеть все оттенки красного цвета, имеющиеся на гербах — алые, пурпурные, малиновые, медно-красные и кроваво-красные тона. Эти грязные мошенники почти не израсходовали средств на встречу герцога, только заново покрасили свои заборы и фасады пивных, кои обычно красивее их церквей, и над своими воротами водрузили городской герб с изображением пивной кружки, поднятой за здравье герцога и его армии, примерно с такой надписью (читалась она с причмокиванием): «Vanhotten, slotten, ir blo-

---

[1] Согласно предписаниям устава *(лат.)*.
[2] Почему *(лат.)*.
[3] Из-за чего *(лат.)*.
[4] Сие представляется возможным *(лат.)*.
[5] Доколе будет вепрь любить вершины гор *(лат.)*.
[6] Я сказал! *(лат.)*

shen glotten gelderslike», каковые слова означают: «Добрая выпивка — лекарство от всех болезней».

Они избрали толстобрюхого оратора с чернильницей через плечо, по имени Вандерхульк, чтобы почтить герцога речью; у этого субъекта было широченное вздутое зеленовато-желтое лицо, как у сарацина, глаза, похожие на кентских устриц, и рот его во время речи широко раскрывался, точь-в-точь как старый расхлябанный люк, борода его напоминала птичье гнездо, разодранное на клочки, какой-то клубок из соломинок, волос и комков грязи. Он был облачен в новый черный кожаный камзол и короткую мантию без сборок на спине, отороченную спереди и сзади скрипучей каймой из медвежьей кожи, а на голове у него красовался алый ночной колпак. Его грубая, поистине медвежья речь должна была оказать должное действие.

«Высокоблагородный герцог (ideo nobilis, quasi non bilis[1], ибо вам не свойственна желчность или гневливость), да будет вам известно, что настоящая корпорация Виттенберга через меня, выразителя ее благодарности, горожанина по рождению, свободного германца по природе, оратора по призванию и писца по профессии, со всей покорностью и чистосердечием восторженно говорит вам: добро пожаловать в Виттенберг! Добро пожаловать, сказал я? О напыщенная риторика, утри свой вечно открытый рот и дозволь мне употребить более роскошную метафору в применении к государю доблестной саксонской крови! Красноречие, выложи из поэтического ларца весь запас своих похвал и избери самый величавый из тропов, имеющихся в твоей сокровищнице, дабы высказать ему свою покорность! То, чего не может выразить бессильная речь во всех ее восьми частях, сей бесценный дар, пекущийся о покое души как-никак, свершит нечто (говорю это со слезами на глазах), быть может, нечто выразит или выкажет — и все же сие является и все же не является, и будет скромным приношением, воздающим должное вашему высокому малодушию и недостоинству. Зачем мне блуждать и ходить вокруг да около и выписывать фортели и выделывать антраша двусмыслиц? Разум есть разум, доброжелательство есть доброжелательство. Со всем присущим мне разумом я сейчас, согласно посылкам, преподношу вам всеобщее доброжелательство нашего города, которое воплощено в образе позолоченного кубка, из коего надлежит пить на здоровье вам и вашим наследникам, законно порожденным вами.

Ученые кропатели соткут вам на скорую руку балдахины или ковры стихов. А мы, добрые малые, чья радость в кружках и куб-

---

[1] Потому благородный, что как бы не желчный (*лат.*— непереводимая игра слов).

ках, не станем поливать вас стихами, как они, но постараемся по мере сил ублажить вас добрым кубком. Тот воистину ученый человек, кто научился пить с самым достойным.

Любезный герцог, скажу, не прибегая к парадоксам, ваши лошади на наш счет, на наши денежки, все время, покамест ты будешь пребывать у нас, будут бродить по колено в можжевеловой настойке и любекском пиве. Всех собак, коих ты привел с собой, будут угощать рейнским вином и осетриной. Мы не ходим в капюшонах из мерлушки или в горностаевых мантиях, как пресловутые академики, однако мы можем выпить за поражение твоих врагов. У них мерлушка, а у нас — пуховая подушка, у них горностаи, а у нас шерсть простая. Они называют нас мастеровыми, и вполне справедливо, ибо большинство из нас мастера носить рога либо гоняться за девками, а как напьемся вина, мы витаем между небом и землей, точно гроб Магомета, что подвешен в мечети в Мекке. Три части света — Америка, Африка и Азия — исповедуют нашу простецкую веру. Нерон, воскликнув: «О, qualis artifex pereo!»[1], тем самым признал себя нашим согражданином, ибо «artifex» означает: «горожанин» либо «ремесленник», между тем как «carnifex» означает: «ученый» либо «палач».

Вступайте же, ничтоже сумняшеся, в наши богомерзкие пределы! Добрейший герцог, веселись себе на здоровье в нашем городе, и да будет тебе известно, что, подобно тому как чеснок обладает тремя свойствами — заставляет человека мигать, выпивать и смердеть, так и мы будем подмигивать, глядя на твои несовершенства, пить за твоих любимцев, а всех твоих недругов заставим смердеть. Да будет так! Добро пожаловать!

Герцог от души смеялся, слушая эту нелепую речь, но в тот же вечер его снова распотешили на славу, ибо он был приглашен в одну из главных школ на представление комедии, разыгранной школярами. Называлась она: «Аколаст, блудный сын», и была столь отвратительно исполнена, столь грубо сколочена, что сам Гераклит не удержался бы от смеха. Один актер, словно утрамбовывая глиняный пол, так топотал ногами по подмосткам, что мне всерьез подумалось, будто он решил посрамить построившего их плотника. Другой размахивал ручищами, словно сбивал шестами с дерева груши, и можно было опасаться, что он выбьет из розеток свечи, висевшие у него над головой, и оставит нас в темноте. Третий только и делал, что подмигивал и корчил рожи. Имелся там и нахлебник, который, хлопая руками и щелкая пальцами, казалось, исполнял какой-то шутовской танец.

---

[1] О, какой великий артист погибает! *(лат.)*

Лишь одно им удалось правдоподобно изобразить — это голодовку блудного сына, ибо большинство школяров кормили впроголодь. В самом деле, глядя, как они набросились на желуди и стали усердно их пожирать, можно было подумать, что они воспитывались в какой-нибудь свиной академии, где их сему научили. Ни одной порядочной шутки не нашлось у них, чтобы разогнать сон зрителей, — но от их остроумия так и несло помоями и навозом. Правда, время от времени на сцене слуга запускал свою лапу в блюдо перед носом хозяина и чуть не давился, жадно, с чавканьем поглощая еду, в надежде вызвать всеобщий смех.

На следующий день происходил торжественный диспут, на котором Лютер и Каролостадий бранились, спихивая друг друга с места, как во французской игре. Могу сказать, что тут были нагромождены горы возражений против церковной службы и против папы, но мне не запомнилось более никаких подробностей сего диспута. Противники, думалось мне, замучают друг друга своими доводами — так убежденно и горячо они спорили. У Лютера голос был позычней, и он потрясал и размахивал кулаками яростней, чем Каролостадий. Quae supra nos, nihil ad nos;[1] они не вымолвили ни одного смешного словечка, посему я расстанусь с ними. Но, ей-богу, их телодвижения по временам могли бы чуточку повеселить зрителя.

Я имею в виду не столько сих двух мужей, сколько вереницу всяких спорщиков и ответчиков. Один из них на каждом слоге рассекал воздух указательным пальцем и при этом кивал носом совсем как престарелый учитель пения, каковой отбивает такт, наставляя юнца, готовящегося в певчие. Другой, закончив фразу, всякий раз вытирал себе губы носовым платком, а когда ему казалось, что он закатил потрясающую риторическую фигуру, и вызвал неописуемое восхищение зрителей, он всякий раз взбивал себе шевелюру и победоносно крутил усы в ожидании аплодисментов. Третий то и дело вскидывал голову, точь-в-точь как гордый конь, закусивший удила; а то мне представлялось, будто передо мной какой-то необычайный пловец, при каждом взмахе руки прижимающийся подбородком к левому плечу. У четвертого от гнева выступал пот на лбу и пена на губах, когда противник отвергал ту часть силлогизма, на которую не приготовил ответа. Пятый раскидывал руки в стороны, как пристав, который идет впереди, раздвигая народ, и помахивал указательным перстом и большим пальцем, полагая, что он всех ублажил своим заключением. Шестой вешал голову, точно овца, заикался и шепелявил с весьма жалобным видом, когда его измышления терпели сокру-

[1] То, что выше нас, ничто для нас *(лат.)*.

шительный удар. Седьмой задыхался и со стоном цедил слова, словно его придушил жестокий аргумент.

Все это были тупые работяги, начитавшиеся книг и набравшиеся кое-каких знаний, но за отсутствием ума не умевшие ими воспользоваться. Они воображали, будто герцог испытывает величайшую радость и удовлетворение, слыша, как они изъясняются по-латыни, и поскольку они только и делали, что приводили на намять Цицерона, он вынужден был их выслушивать. В наше время во множестве университетов завелась глупая привычка превозносить как отменного оратора ловкача, который ворует не только фразы, но и целые страницы у Цицерона. Если из клочков цицероновских писаний он сумеет состряпать речь, он преподносит ее миру, хотя, по существу, это лишь шутовской плащ, сшитый из разноцветных лоскутов. Нет у них ни своей собственной выдумки, ни собственного предмета, но они подделываются под его стиль, и у них получается смехотворная мешанина. Тупоголовые германцы первые занялись этим делом, а нас, англичан, тошнит от их нелепых подражаний. У меня возбуждает жалость Низолий, каковой только и делал, что выдергивал нитки из старой, изношенной ткани.

Все это я сказал походя, но мы вновь должны обратить свои взоры к нашим участникам диспута. Один из них, как видно наиболее тщеславный, увидав, что у ног герцога на возвышении сидит его любимый пес, стал обращаться с речью к тому, и каждый волосок его хвоста награждал возвышенными сравнениями; будь это сука, его комплименты показались бы весьма подозрительными. Другой распространялся о жезле герцога, увешивая его множеством причудливых эпитетов. Нашлись и такие, что занялись герцогским гороскопом и обещали ему, что он не умрет до дня Страшного суда.

Опуская выступления других льстецов того же пошиба, отмечу, что мы встретили в этом торжественном собрании плодовитого ученого Корнелия Агриппу. В то время он почитался величайшим чародеем во всем христианском мире. Ското, который проделывал невероятные фокусы перед королевой, не мог стяжать и четверти славы этого мага. Доктора Виттенберга, его ревностные поклонники, попросили Корнелия Агриппу показать герцогу и всему собранию что-нибудь замечательное.

Один из присутствующих пожелал увидеть развеселого Плавта и просил показать, в какой одежде он ходил и как выглядел, когда молол зерно на мельнице. Другой был не прочь увидеть крючконосого Овидия. Эразм, присутствовавший на этом славном собрании, попросил показать нам Цицерона во всем его блеске и величии в тот момент, когда он произносил свою речь «Pro Roscio

Amerino»[1], причем добавил, что, доколе воочию не узрит, с каким упорством защищал Цицерон своего клиента, он ни за что не поверит, что возможно вести открытый процесс с помощью столь странной риторики. Агриппа охотно дал согласие на просьбу Эразма и повелел докторам по этому случаю приостановить прения и всем присутствующим сидеть недвижно на своих местах,— и вот в назначенное время в зал вошел Цицерон, поднялся на кафедру и произнес слово в слово упомянутую речь, но с таким удивительным жаром, с таким пламенным вдохновением, с такими патетическими жестами, что все слушатели готовы были счесть его провинившегося клиента божеством.

Сим деянием Агриппа так себя прославил, что к нему стал стекаться народ. И по правде сказать, ему до того надоели любопытные, приходившие на него поглазеть, что пришлось ранее, чем он намеревался, вернуться к императорскому двору, откуда он прибыл, и покинуть до срока Виттенберг. Мы отправились в путь вместе с Агриппой, ибо нам посчастливилось незадолго перед тем познакомиться с ним. По дороге мы сговорились с моим господином перемениться именами. Между нами было решено, что я буду графом Суррей, а он — моим слугой,— ибо он хотел позволить себе некоторые вольности, не нанося ущерба своему высокому сану; что до моего поведения, то он знал, что будет по своему желанию настраивать его то на высокий, то на низкий лад.

Мы прибыли к императорскому двору; там было у нас множество всякого рода развлечений. Мы распивали вино целыми галлонами вместо английских кварт. Когда пили за наше здоровье, то опорожнили чуть ли не бочонок. Мы жаждали познакомиться с обычаями этой страны, но видели лишь одну диковину: на пиру по случаю коронации императора подавали жареного быка, в брюхе которого был запечен олень, а в брюхе оленя — козленок, начиненный птицами.

Придворные от нечего делать рассказывали нам всякие истории про Корнелия Агриппу; о том, как он показал во сне разрушение Трои приезжавшему сюда нашему соотечественнику Томасу Мору. Далее, когда лорд Кромвель прибыл ко двору посланником короля, Агриппа в магическом зерцале дал ему узреть короля Генриха Восьмого со всеми его лордами на охоте в его лесах в Виндзоре; когда же Кромвель пришел в кабинет Агриппы и настоятельно просил произвести какой-либо необычайный опыт, о котором он мог бы поведать соотечественникам, возвратившись в Англию, Агриппа предложил ему вынуть из шкафа любой из двух тысяч толстых томов и прочесть строчку в любом месте, обя-

[1] «В защиту Росция Америна» *(лат.)*.

завшись процитировать вслед за тем наизусть двадцать страниц. Кромвель так и поступил, проделал опыт с целым рядом книг, и Агриппа всякий раз давал более обещанного и превзошел все его ожидания. Нам сообщили также, как он показал тогдашнему императору Карлу Пятому девять героев — Давида, Соломона, Гедеона и прочих в том самом образе, в каком жили они на земле.

Завязав во время путешествия с Агриппой довольно дружеские отношения и наслушавшись рассказов о приписываемых ему чудесах, мы с моим господином решили обратиться к нему с нашей личной просьбой. Будучи господином и повелителем, подчиненным графу, я попросил Агриппу показать нам в кристалле живой образ Джеральдины, предмета любви графа, желая увидеть, что она делает в сей момент и с кем разговаривает. Агриппа без малейшего затруднения показал нам ее: она лежала на постели больная и плакала, погруженная в молитву, тоскуя о своем отсутствующем поклоннике. При виде ее граф не мог сдержать своих чувств и, хотя он взял на себя роль слуги, тут же сложил следующие куплеты:

О чистый дух, что вянешь ты напрасно?
О злато, отчего поблекло ты?
Болезнь, как смеешь ты вредить прекрасной?
Тебе ли помрачать ее черты?
Померкло небо, зря ее печали.
Листки стихов влажны от плача стали.

Покойся, мысль, на персях белоснежных
И сердцу девы горестной внимай.
Пусть музыка его биений нежных
Умчит тебя в блаженный, мирный край!
Я славлю ту, чья речь звучит в Эдеме
И вдохновляет нас — земное племя.

Ее очей заемлют блеск светила,
Бросают отсвет кудри в небеса,
Чело блистаньем солнце посрамило,
Ее дыханье — свежая роса.
Как Фебе, ей подвластны слез приливы,
Болезни одр любовь хранит ревниво.

Рук белизна все ложе осияла,
Я ослеплен зарей ее ланит.
Ты радость подарило мне, зерцало,
Хоть образ милой дымкою повит.
Тебя лобзать готов я в знак признанья!
Нектара сладостней ее лобзанье!

Хотя у нас были веские основания для того, чтобы пробыть еще некоторое время при императорском дворе в обществе несравненного Корнелия Агриппы, от коего мы столь много полу-

чали, все же Италия была как сучок в глазу у моего господина. Ему представлялось, что он все еще не выехал за пределы Уэльса, поскольку он еще не достиг сей страны — горнила, где столь своеобразно выковываются умы.

Избегая окольных путей, мы махнули напрямик и вскоре прибыли в Венецию. Не успели мы как следует осмотреться, как на нас налетел некий редкостный, прямо сверхъестественный сводник, одетый самым доподлинным дворянином, с полдюжиной языков за пазухой, и стал беседовать с нами на нашем родном наречии, блистая пышностью и изысканностью оборотов. Опередив своих собратьев, он втерся к нам в знакомцы и, усиленно наседая на нас, со всей любезностью уговаривал посетить некое место, куда он нас поведет. Звали его Пьетро де Кампо Фрего, и был он прославленный сводник.

Он повел нас в пагубный дом куртизанки по имени Табита Соблазнительница; эта девка умела напустить на себя самый благопристойный вид — ни дать ни взять добродетельная Лукреция, ставшая безвинной жертвой. У нее можно было увидеть все священные предметы, какие встречаются в келье подвижника. Книги, образа, четки, распятия,— каждая комната — что тебе церковная лавка. Могу вам поручиться, что ни один из ее шейных платков не был надет наизнанку или криво, каждый волосок на голове был тщательно приглажен. На ее одеялах не виднелось ни морщинки, и постели не были измяты, ее тугие гладкие подушки походили на живот беременной женщины, и тем не менее она была турчанкой и неверной, и за ней водилось больше темных дел, чем за всеми ее соседками, вместе взятыми.

Получив денежки, она ублажала нас, точно королей. Как вы уже знаете, я играл роль господина, а граф изображал лишь моего старшего слугу и наперсника. И вот что произошло (ибо порок рано или поздно неизбежно выходит наружу): убедившись, что ей из меня больше ничего не высосать, Табита столковалась с моим мнимым слугой, чуть ли не пообещала ему выйти за него замуж, если он согласится вместе с ней отделаться от меня, чтобы им вдвоем завладеть моими драгоценностями и деньгами.

Она растолковала ему, что все это весьма просто осуществить: под ее домом имеется подвал, куда добрых двести лет никто из посторонних не заглядывал. Ни один из ее посетителей даже не подозревал о существовании этого подземелья. Слуг его господина, знающих о его местопребывании, следует, мол, всех разослать с различными поручениями и в разные концы города, якобы по его повелению, а когда они возвратятся, сообщить им, что его здесь больше нет,— после их ухода он-де отбыл в Падую, и им надлежит отправиться туда вслед за ним.

— Так вот,— сказала она,— если ты согласен расправиться с ним в их отсутствие, мой дом будет в твоем распоряжении. Заколи, отрави или застрели его из пистолета — как тебе угодно; когда дело будет сделано, мы сбросим его в подвал.

Даю вам честное, благородное слово, это была хитрая бабенка, и она ловко все обстряпала: будь он и впрямь моим слугой, состоявшим при мне и удовлетворявшим все мои нужды, то после убийства она свалила бы на него вину и завладела бы всем имуществом, что было при мне (ибо я постоянно носил на себе все ценности моего господина — деньги, брильянты, кольца и банковые билеты).

Затаив лукавство, он сразу же вошел с ней в заговор: да, он убьет меня, сам господь не может этому помешать, и он избрал в качестве смертоносного орудия пистолет, дабы уложить меня на месте.

Видит бог, я был юным, желторотым оруженосцем, и мой господин, изображавший коварного слугу, поведал мне обо всем, что они с Табитой замыслили против меня. Итак, я не в силах был предотвратить это покушение, но как мужчина должен был постоять за себя. Наступил роковой день; поздно вечером в мою спальню вошел мой достойный служитель с заряженным пистолетом под мышкой и с весьма зловещим, угрюмым видом; синьора Табита и Пьетро де Кампо Фрего — сводник, ее приятель — следовали за ним по пятам.

При их появлении я весьма дружественно и весело приветствовал их и тут же начал им рассказывать, какие ужасные сны мучили меня прошлой ночью.

— Мне снилось,— сказал я,— что вот этот мой слуга Брунквел (лучшего имени у меня не нашлось для него) вошел ко мне в спальню с заряженным пистолетом под мышкой, намереваясь меня убить, и что его подбили к этому вы, синьора Табита, и мой лучший друг Пьетро де Кампо Фрего. Дай бог, чтобы этот сон не был в руку,— он до смерти меня напугал.

Они начали было с невинным видом изрекать общепризнанные истины — о лживости и обманчивости снов, меж тем как мой преданный слуга Брунквел стоял, дрожа с головы до пят, и вдруг, как было между нами условлено, он выронил пистолет. Я мигом вскочил с постели, обнажил шпагу и закричал:

— На помощь! Убивают! — да так зычно, что добрейшая Табита чуть не обмочилась со страху.

Я схватил за шиворот своего слугу или своего господина (это уж как вам будет угодно) и пригрозил, что тотчас же проколю его насквозь, ежели он не сознается во всех своих злоумышлениях. Делая вид, что его терзают угрызения совести, он (прости его господи, граф умел замечательно притворяться) упал на колени, стал молить меня о прощении и обвинил Табиту и Пьетро де Кампо

Фрего в подстрекательстве. Я выслушал его весьма спокойно, с большим достоинством; когда он кончил свой рассказ, я не стал их бранить, но заявил, что предам их в руки правосудия. По обычаю их страны, совместное злоумышление на жизнь каралось смертной казнью, и они знали, какое наказание им грозит.

— Я мог бы,— молвил я,— расквитаться с вами по-другому, но иноземцу не подобает действовать по своему произволу. Ни слова больше, Табита умрет и предстанет пред богом, или ее заберет дьявол!

Тут она грохнулась в обморок, потом ожила, снова грохнулась и когда вновь ожила, то принялась тяжело вздыхать и заговорила слабым голосом, да так жалостно, уж так жалостно, что если б мы не знали проделок этой шлюхи, то невольно растаяли бы и прониклись состраданием. Но все эти слезы, вздохи и проникнутые скорбью слова я выслушал с каменным лицом. Я алкал и жаждал получить от нее сверкающие кроны, и она, ломая руки в притворном раскаянии, решилась мне их предложить,— я же соблаговолил их принять в уплату за молчание.

И вот, на мое счастье (будь оно проклято, такое злосчастное счастье!), эта потаскуха, эта подстилка, эта куртизанка, с которой кто только не спал, подкупая меня, чтобы я не выдал ее, отвалила мне кучу поддельных золотых, из числа тех, кои незадолго перед тем ей вручил фальшивомонетчик с просьбой их сплавить. И я, глупый молокосос, не подозревая обмана, принял за чистую монету все и даже на решку не взглянул, отчего (ловко прикрытое коварство!) мы с моим господином едва не отправились за решетку. Странствующий рыцарь, имевший немало дела со знатными и благородными дамами, нередко рассыпает денежки в таких местах, где дьявол щедро рассыпает свои соблазны. На улице Святого Марка у ювелира жила утонченная куртизанка по имени Флавия Эмилия, которую мне захотелось подвергнуть великому испытанию, убедиться, сведуща ли она в алхимии. Увы мне! Она оказалась фальшивой монетой, ибо не только ускользнула от меня, но из-за нее я чуть было не скользнул в петлю. Я послал ей золотой со стыдливой просьбой уделить мне часок. Ах, бесстыдная блудница! Оказалось, что она и моя хозяйка — сообщницы, и, получив от меня фальшивый золотой, они стали придумывать, каким бы способом спровадить меня к праотцам.

С досады, что меня так провели, я напился вдрызг, даже голова затрещала. Да что там, выложу, пожалуй, всю правду! Меня отправили в тюрьму как главного виновника, а моего господина — как соучастника. Точнее сказать, мы не сразу попали в тюрьму, а сперва к начальнику монетного двора; в некотором роде он был нашим судьей, воплощением сурового, неподкупного правосудия,

и, казалось, сочувствовал нам, считая нас жертвами обмана, и, без всякого сомнения, вскоре отпустил бы нас на свободу, когда бы несколько наших соотечественников, услыхав, что английский граф арестован как фальшивомонетчик, не явились на нас полюбоваться. Злосчастная недобрая звезда привела их сюда, ибо с первого же взгляда они распознали в моем доверенном слуге не кого иного, как графа Суррея, а во мне (меня они даже не удостоили назвать по имени!) его презренного дворецкого. С тех пор-то и начались наши бедствия! Начальник монетного двора, сперва так нас ободривший и успокоивший, теперь ополчился против нас; он вообразил, что мы чеканим злокозненные замыслы против их государства. Зову в свидетели небеса, что мы были далеки от этого! (Правда, небеса не всегда выручают нас своим свидетельством, как бы к ним ни взывали.)

Нас заключили под стражу: за возведенное на нас преступление нам надлежало понести расплату. О, достойные язычника коварные проделки и прирожденная ловкость рук нашего хваленого милейшего сводника Пьетро де Кампо Фрего! Хотя он ежедневно вкушал из одного блюда с нами, как будто весьма ревностно действовал в нашу пользу, и с самого начала был нашим толмачом в сношениях с должностными лицами, он оказался сущим предателем, под стать этим братцам Трулиям, и весьма искусно подстроил нам пакости. Желая нам отомстить, все наши показания он переводил нам во вред; хотя мы упорно стояли на своем, утверждая, что нас арестовали по ошибке и все дело в коварных кознях развратницы Табиты, нашей бывшей хозяйки, он так ловко подтасовывал факты и извращал сказанное нами, что получалось, будто мы сознались в преступлении и вопили «Miserere!»[1], даже не заглянув в псалтырь.

О, мерзость, мерзость! Плоть и дьявол орудуют совместно через своих слуг. Я положительно утверждаю, что сводники все до единого ударились в язычество. Сводник перещеголял самого дьявола, поскольку дьявол может добросовестно выполнять свои обязанности. У сводника должна быть ослиная спина, слоновый хобот, лисья хитрость и волчьи зубы. Он должен вилять хвостом, как спаниель, пресмыкаться, как змея, ухмыляться, как продувной плут. Ежели он с одного боку пуританин и умеет сыпать текстами, то он вдвойне преуспевает. Уверяю вас, это ремесло быстро выводит в люди, и никому не добиться высокого чина при иноземном дворе и не вкрасться в доверие к какому-нибудь блистательному лорду, ежели он не владеет этим искусством. О, это тончайшее из искусств, и сводник в тысячу раз превосходит шпиона!

---

[1] Помилуй! *(лат.)*

На это способен только степенный, серьезный и воспитанный человек. Он должен обладать отменной обходительностью,— он не какой-нибудь ничтожный старикашка и за столом требует себе самого почетного места.

Спаси господи нашего сводника (да и кто мог его спасти, кроме господа?), он был сведущ во всех семи нечестивых пагубных искусствах и во всех грехах достиг такого же совершенства, как сам сатана. Почище сатаны он обвел нас вокруг пальца. Смею вас уверить, он первый дал нам постичь итальянский дух. Покамест мы сидели взаперти и набирались здоровья в сем замке, уготованном для размышлений, туда поместили роскошную женщину из порядочной семьи, которая и составила нам компанию. Супруга ее звали Кастальдо, а она именовалась Диамантой. Причиной ее ареста была ни на чем не основанная ревность выжившего из ума супруга, усомнившегося в ее целомудрии. Он почитал сущим извергом некоего Исаака Лекаря, уроженца Бергамо, который, состоя при дворе, весьма часто посещал его дом, не из любви к нему или к его супруге, но единственно из желания занять у него денег под залог воска и пергамента; однако, убедившись, что Кастальдо слишком скуп, чтобы пойти ему навстречу, обманутый в своих ожиданиях, он решил отомстить и шепнул на ухо своим приятелям, что он посещал дом Кастальдо с единственной целью наставить ему рога, и глухо намекал, что ему якобы удалось достигнуть своей цели. Кольца, кои он позаимствовал у одной особы легкого поведения и носил сам, он якобы получил из рук Диаманты; в общем, он так повернул дело, что под конец Кастальдо возопил:

— Прочь! Шлюха, потаскуха, уличная девка! В тюрьму ее!

Когда судьба послала нам столь сладостную подругу по заключению, мы обрадовались, как если бы нас выпустили на свободу. Это была красивая круглолицая женщина с черными бровями, высоким челом, маленьким ротиком и тонким носом, вся пухленькая и кругленькая, как булочка; кожа у нее была гладкая, нежнее лебяжьего пуха, у меня становится отрадно на душе, как вспомню ее. Она не ходила, а порхала, словно птичка, и величавой осанкой напоминала страуса. Потупив быстрые, затаившие страсть глаза или же сердито отвернувшись в сторону, она всем существом своим выказывала недовольство и презрение; точь-в-точь как государь, который задыхается от гнева и мечет гром и молнии, узнав об измене могучего вельможи, только что бежавшего из его пределов. Ее лицо, выражавшее гнев и обиду и все же ясное, без единой морщинки, доказало бы чистоту ее совести самому строгому судье на свете. Лишь одно можно было бы вменить ей в вину; она была просто прискорбно целомудренна и оберегала свою красоту столь же ревностно, как ее супруг — свои сундуки.

Многие только потому честны, что не умеют быть бесчестными: она думала, что украденный хлеб не сладок, ибо не ведала сладости на ложе старика. Совершенно невозможно, чтобы женщина выдающегося ума ни во что не ставила свою красоту. В наш век и в нашей стране еще можно допустить такое чудесное исключение, но история былых времен доказывает, что люди, обладающие подвижным умом, обнаруживают решительно во всем подвижность. Когда куют железо, многократно по нему бьют; женщину с железным нравом можно покорить лишь после долгой любовной осады; золотой лист легко гнется; чем утонченней ум, тем легче на него воздействовать. «Ingenium nobis molle Thalia dedit»[1],— говорит Сафо Фаону. Я утверждаю, что если ваша возлюбленная не отличается ни добротой, ни кротостью, значит, у нее нет ни капли ума, и вы избрали предметом любви существо грубое, скучное и холодное, сущую куклу. Эта прекрасная женщина обладала любящим сердцем и пылким характером и могла бы блистать умом, не живи она постоянно под крылышком матери и мужа, по сей причине ум ее не развился и не сформировался должным образом. Беспочвенные подозрения могут толкнуть на измену простодушную женщину. Ставлю на кон честь пажа,— за нее полагается два очка,— что до встречи с нами в тюрьме она была безупречно чиста.

Так вот, представьте себе, какому искушению она подверглась, когда огонь приблизился к воску, но не осуждайте строго моего господина.

Увы, он был чересчур добродетелен, чтобы ее развратить; и религия и совесть внушали ему, что он совершит преступление, ежели нарушит заповедь господню. Он позволял себе по отношению к ней лишь такую вольность: порой в меланхолическом состоянии духа он воображал, что она и есть его Джеральдина, и весьма утонченно ухаживал за ней. Да, он готов был поклясться, что это его Джеральдина; он брал ее белую ручку и отирал ею свои слезы, как будто одно ее прикосновение могло утолить его тоску. Иной раз он преклонял колени и целовал грязный тюремный пол, который она благоволила освятить своими стопами. Человек, пожелавший в совершенстве научиться писать любовные стихи, стал бы превосходным лирическим поэтом, если бы в своих элегиях хоть отчасти достиг его пылкости. Одно любовное послание догоняло другое, он превозносил ее выше месяца и звезд в самых сладостных, чарующих стихах, и я убежден, что он был влюблен скорее в образ, созданный его пылкой фантазией, нежели в ее лицо; и в самом деле, многие страстно влюбляются лишь затем, чтобы покрасоваться перед самим собой.

---

[1] Мягкий нрав Талия нам даровала *(лат.)*.

«Злополучный скиталец».

Он превозносил ее, упрашивал, он жаждал ее и молил сжалиться над ним, ибо он якобы погибал из-за нее. Никому не было бы под силу вырвать его из состояния этого нарочитого, добровольного экстаза. Тому, кто погряз в своем чувстве, повсюду мерещится предмет его любви. От прозы он переходил к поэзии и атаковал ее такого рода стихами:

Какая смерть меня, страдальца, ждет?
Пусть дух исторгнут мой твои лобзанья!
Средь персей мраморных пускай замрет
Мой вздох последний — под твои стенанья!

Из кубка уст твоих отраву пью.
Хочу, чтоб ты язык с моим сплетала.
Обняв, из тела вырви жизнь мою!
Когда поёшь, язвит мне сердце жало.

Мне выжги очи пламенем очей
И удуши власами, не жалея!
Стать боровом мне повели скорей,
Чтоб жить во взоре мне твоем, Цирцея!

Лишь тот испытывает радость рая,
Кто помышляет о тебе, вздыхая.

Если мой господин говорил правду, то, будь я девицей, как это ни печально, я наверняка отправил бы к праотцам немало мужчин. Что стоит, ну, чего стоит, в самом деле, хорошенькой свеженькой девушке подарить несколько ласковых слов голодному влюбленному? Мой господин расставлял силки и приманивал птичку, играя на дудочке, а я ее поймал. Невинное чистосердечное признание настроит женщину на возвышенный лад, и она ускользнет от нас. Богу угодно было, чтобы он разыграл роль Пьетро Десперато, меж тем как я приступил к ней без всяких церемоний и заключил выгодную сделку. Пусть вкушают вечное блаженство простаки, кои полагают, будто можно покорить женщину, задавая ей загадки.

Вы, разумеется, догадываетесь, что у меня родился хитроумный замысел, каковой я и решил привести в исполнение. Супруг Диаманты жестоко ее оскорбил, и ей надобно было отомстить за себя. Лишь в редких случаях человек, несправедливо наказанный, безропотно покоряется своей участи; обычно он жаждет любой ценой расквитаться с обидчиком. Этой злосчастной Цецилии, безвинно заключенной в тюрьму, оставалось лишь одним способом покарать за ревность своего мужа, этого безмозглого старикашку,— а именно: украсить его голову тяжелым грузом позора. Она решила избавить его от нелепого заблуждения, в коем он погряз, дав ему основания к справедливым обвинениям. Вам нетрудно будет,

любезный читатель, догадаться, как я обошелся с ней, принимая во внимание, что я находился в темнице, а она была моим простодушным тюремщиком.

Месяца через два мистер Джон Рассел, камергер короля Генриха Восьмого, в ту пору посланник Англии в Венеции, предпринял известные меры, дабы дело было решено в нашу пользу. Тогда же синьор Пьетро Аретино был главным следователем по делам куртизанок. Этот Аретино докладывал королю о самых разнообразных предметах, главным образом потому, что незадолго перед тем английский король назначил ему пожизненную пенсию в размере четырехсот крон в год, каковую и отвез ему упомянутый Джон Рассел. Аретино приложил все усилия, пустил в ход все свое влияние, дабы освободить нас из темницы. Мы домогались лишь одного: чтобы он настоял на тщательном расследовании дела и обыске у куртизанки. Он действовал с таким необычайным усердием и ревностью, что спустя несколько дней миссис Табита и ее сводник завопили: «Peccavi, confiteor!»[1] — мы были тотчас же освобождены, а их казнили, дабы другим не было повадно. Выпустив нас на волю, представители власти обошлись с нами весьма почтительно, и мы были вознаграждены за все перенесенные нами обиды и страдания.

Прежде чем продолжать свое повествование, дозвольте мне сказать несколько слов об этом Аретино. То был один из самых больших умников, созданных богом. Ежели из такого обыденного вещества, как чернила, можно извлекать дух, то он орудовал не чем иным, как духом чернил, и его стиль отличался одухотворенностью истинного художества, меж тем как остальные писатели его эпохи были только вульгарными борзописцами. И в самом деле, они писали всего лишь на злобу дня. Его перо было отточено, как кинжал; каждая исписанная им страница воспламеняла его читателей, подобно зажигательному стеклу. Обрушиваясь на врагов, он заряжал свое перо, и оно становилось смертоноснее мушкета. Ежечасно он посылал легион бесов на тех, кто носил образ свиньи. Если к Марциалу, по его словам, слетались десятки муз, стоило ему пригубить вино из кубка,— то к Аретино слеталось их десять дюжин, когда он принимал решение расправиться с врагами; можно было опьянеть от восторга, прочитав всего лишь строчку его писаний. Подобно молнии, взор его проникал в самые недра злодеяний.

Должен сказать, что он набрался учености, главным образом, слушая лекции во Флоренции. Но превыше всякой учености он обладал даром схватывать сущность любого предмета, о котором заходила речь. Он не выказывал робости и никогда не

[1] Грешен, каюсь! *(лат.)*

раболепствовал и не льстил правителям стран, в коих он обитал. Речь его всегда отличалась обдуманностью; он уверенно и откровенно высказывал все свои мысли. Он не щадил государей, грешивших лицемерием. И так ценил свободу слова, что ради нее готов был пожертвовать жизнью. Меж тем как иные безмозглые недоброжелатели обвиняют его в том, что он написал трактат «De tribus impostoribus mundi»[1], произведение, вдохновленное целым сонмом дьяволов,— лично я глубоко убежден, что оно не принадлежит его перу, и мое мнение разделяют многие высокоавторитетные итальянцы. Можно привести следующие доводы в пользу этого мнения: трактат был опубликован через сорок лет после его кончины, вдобавок Аретино за всю свою жизнь не написал ни одного произведения на латинском языке. Уверяю вас, я слышал, что один из последователей и учеников Макиавелли был автором сей книги и, спасая свою честь, пустил ее в свет под именем Аретино через много лет после того, как тот навеки сомкнул свои красноречивые уста. Чересчур много желчи растворил в своих чернилах исполненный полынной горечи, проникнутый духом гибеллинов рифмоплет, который начертал тошнотворную эпитафию на надгробье сего превосходного поэта. От этого писаки отступился ангел-хранитель, и он даже не скрывал своей зависти. Четыре университета почтили Аретино следующими лестными наименованиями: «Il flagello dei principi, il veritorio, il dīvino e l' único Aretino»[2].

Он внушал такой страх французскому королю Франциску Первому, что тот, дабы обуздать его язык, прислал ему огромную золотую цепь, составленную из звеньев в форме языков. Аретино замечательными доводами доказал человеческую природу Христа. Далее, подобно тому как Моисей создал Книгу Бытия, он создал свое Бытие, где изложил все содержание Библии. Он составил замечательный сборник, озаглавленный «I sette psalmi penetenziàrii»[3]. Все почитатели Фомы Аквината не без основания любят Аретино, ибо он дал превосходное жизнеописание святого Фомы. Его перу принадлежит хорошая книга «La vita della vérgine Maria»[4], правда несколько окрашенная суеверием, а также целый ряд других, упоминать о которых я не стану, дабы не утомить читателей. Если его обвиняют в непристойностях, то он может ответить вместе с Овидием: «Vita veracunda est, musa iocosa mea est» — «Я в жизни скромен, хоть игрив мой стих».

---

[1] «О трех всемирных обманщиках» *(лат.)*.

[2] Бич государей, правдивый, божественный и единственный Аретино *(итал.)*.

[3] «Семь покаянных псалмов» *(искаж. итал.)*.

[4] «Жизнь девы Марии» *(итал.)*.

Коль скоро вы сведущи в истории, то назовите мне хоть одного крупного поэта, который в жизни своей хоть немного не ударялся бы в игривость. С вашего разрешения, этим грешил даже сам Беза. Доколе существует мир, ты будешь жить, Аретино! Цицерон, Вергилий, Овидий, Сенека не были таким украшением Италии, как ты. Я стал почитать Италию даже выше Англии с тех пор, как услышал про тебя. Мир духу твоему, хотя мне думается, что столь всеобъемлющий дух и в ином мире не почил от трудов, но создает гимны в честь архангелов. Пуритане, извергните из себя и отбросьте прочь отраву своих скудоумных измышлений! Жаба раздувается от зловредного яда, а вы раздуваетесь от зловредных брожений, в ненависти вашей ни на одну драхму подлинного религиозного вдохновения.

Но моя основная тема подталкивает меня в бок. После моего освобождения обнаружилось, что Диаманта, красавица жена Кастальдо, ожидает ребенка; в это время в Венеции разразился ужасный голод, и то ли Кастальдо погубила его скупость, то ли его до смерти заела ревность, но — свидетельница тому святая Анна! — он весьма благочестиво испустил дух. Вслед за тем я обратился весьма учтиво к достопочтенному Аретино, прося его оказать мне одолжение и ссылаясь на уже оказанные им благодеяния. Без всякого шума и промедления он, несмотря на противодействие родни супруга Диаманты, добился для нее «Nunc dimittis»[1], и она смогла беспрепятственно соединиться со мной.

Очутившись на свободе и вступив во владение всем имуществом своего мужа, она наделила меня монаршей властью. Ей предстояло вскоре разрешиться от бремени, и, не желая оставаться в Венеции из боязни опозорить себя, она решила отправиться со мной в путешествие, предоставив мне везти ее, куда я захочу. Мне хотелось во что бы то ни стало объездить всю Италию. Итак, мы отправились вдвоем, а средств было достаточно, чтобы облегчить ее участь.

По настоянию Диаманты, щедро рассыпавшей деньги, я уехал, не простившись с моим господином: в свое время он возвел меня в сан графа, и теперь я не хотел отступаться от своего графства. Во всех городах, через какие мы проезжали, я выдавал себя за молодого графа Суррея. Я окружил себя такой пышностью, так роскошно одевался, держал столько слуг и пускался в такие расходы,что ни в чем не уступал моему господину: у меня был столь же величественный вид и я выражался столь же высокопарно.

Поскольку главной целью моего господина было посетить Флоренцию, то, лишившись меня, он без промедления отправил-

[1] Ныне отпущаеши *(лат.)*.

ся туда. По дороге он услыхал о появлении еще одного графа Суррея; дивясь, откуда у меня взялись такие деньги, он поторопился разыскать меня, дабы отделить тень от тела. Настиг он меня во Флоренции; я восседал в царственном облачении со своей куртизанкой за ужином, подобно Антонию, осушавшему с Клеопатрой кубки вина, в коем был растворен жемчуг. Граф вошел незаметно, без приглашения, пожелал нам доброго здоровья и спросил, угодно ли нам принять гостя. Мне было бы более по душе, когда б он спросил, не хочу ли я повеситься. Я знал, что он намеревается лишить меня титула, и у меня душа ушла в пятки.

Мой дух, паривший столь высоко, вдруг поник долу; и, подобно тому как юные сабинянки, захваченные врасплох воинами Ромула, заливаясь краской, молили самого благородного из них о помощи, очутившись в не меньшей (а может, и большей) опасности, чем мы, моя кровь в испуге прихлынула к сердцу, вместилищу благородной графской крови, остро нуждавшейся в защите и поддержке.

Мы с Диамантой тряслись, будто в приступе лихорадки, и, право же, мне думается, что он, видя, в каком мы смертельном ужасе, сжалился и решил утешить и успокоить нас, а его собаки забрались под стол и обнюхивали наши дрожащие ноги.

Вместо того чтобы разносить меня, устрашать гневным взором и обнажить шпагу, угрожая покарать за мою неслыханную дерзость, он от души расхохотался; его забавляло, что он так ловко застиг нас на месте преступления и что его неожиданное появление повергло нас в такой смертельный ужас.

— О мой благородный лорд,— проговорил он сквозь затихающий смех,— как счастлив я, что могу столь неожиданно вас навестить! Уверен, вы будете радостно меня приветствовать, хотя бы потому, что мы носим одинаковое имя. Не диво ли, что два английских графа из одного рода одновременно очутились в Италии?

Слыша его приветливую речь, я стал приходить в себя и, набравшись храбрости, ответил:

— Добро пожаловать, сэр! Я ничем не опорочил имя, которое позаимствовал у вас. Я рассудил, что крупные деньги, предоставленные в мое распоряжение моей ненаглядной возлюбленной Диамантой, только послужат к славе моей родины, если я стану от вашего имени широко тратить их. Ведь тем самым вы более всех англичан прославитесь своей щедростью, великодушием и благосклонностью, я решил приписать вам все мои достойные деяния, осеняя их вашим величием. Не сочтите это наглостью, я хотел лишь приумножить вашу славу. Если бы я, взяв на себя столь высокую задачу, не сумел поддержать ваш царственный престиж и опозорил вас бесчестными, грязными поступками, то вы имели бы все

основания почитать себя оскорбленным, и мне нечего было бы сказать в свое оправдание.

Вполне могут подумать, что вы преднамеренно послали перед собой одного из своих приближенных, дабы он поднял на должную высоту достоинство графа и с честью его поддержал. Лично я знавал немало графов, кои и сами одевались весьма скромно, но находили удовольствие в том, чтобы перед ними стоял с непокрытой головой человек из их свиты в расшитой золотом одежде, осыпанный брильянтами; при этом они полагали, что люди наверняка сочтут величайшим из великих того, кто повелевает столь роскошно одетым вельможей. Славу знатного лица ярче всего отражает роскошная одежда его свиты. Не заключается ли слава солнца в том, что месяц и многие миллионы звезд заимствуют у него блеск? Если вы можете поставить мне в упрек какой-либо неприглядный, безнравственный поступок, наносящий ущерб вашему имени, то осыпайте меня оскорблениями, я не стану молить о прощении и пощаде.

Non veniunt in idem pudor et amor[1],— графу не хотелось порочить столь дорогого ему человека. Убедившись воочию, что я отнюдь не подсек крыльев его величия, но придал им размах, щедро рассыпая деньги,— он оказал мне почет, как если б я был посланником. Он пожал мне руку и поклялся, что сердится на меня лишь за одно,— впрочем, гнев его уже наполовину иссяк,— за то, что я так прославил его дотоле безвестное имя.

— Одно, мой милый Джек,— сказал он,— я ставлю тебе в упрек (только одно!): хотя я и доволен, что ты сыграл роль моей обезьянки (у какого же высокородного человека нет своей обезьянки и своего шута?), но ты сорвался с привязи да вдобавок таскаешь с собой свою возлюбленную.

Я возразил ему, что ведь и король ничего не сможет сделать, если у него не будет казны. Моя возлюбленная — это мой казначей, моя покровительница и моя опора.

— Охотнее откажусь,— молвил я,— от графского титула, чем от столь несравненной благодетельницы. Как бы то ни было, я отказываюсь от титула, поскольку подлинный его носитель обвиняет меня в том, что я присвоил себе его достояние. Так вот, я принимаю свое прежнее звание; я вновь становлюсь беднягой Джеком Уилтоном, вашим слугой, каким был раньше, и пребуду в этом звании до конца своих дней.

Мы быстро оставили эту тему и заговорили о другом, о чем именно, я уже позабыл, но разговор был самый обыкновенный, разговор как разговор, и о нем даже не стоит вспоминать. Мы поужинали, легли спать и поутру, как всегда, встали; я прислужи-

[1] Не уживаются стыд и любовь *(лат.)*.

вал моему господину. Поднявшись с постели, он первым делом отправился осматривать дом, где родилась Джеральдина; при виде этого дома он пришел в такой экстаз, что не будь меня рядом, тут же на улице произнес бы в честь него хвалебную речь. Нас ввели в этот дом и показали все его покои.

О, когда граф вошел в покои, где лучезарный, как солнце, дух Джеральдины окутался облаком плоти и, обладая непорочностью ангелов, приблизился к смертному естеству, из уст его излились целые потоки славословий, он превозносил ее выше звезд и утверждал, что блеском своей красоты она затмила солнце и луну. Он называл Джеральдину душою небес, единственной дщерью и наследницей великого primus motor[1]. В пылу красноречия он, как некий алхимик, извлекал из грубого вещества облаков и воздуха некую квинтэссенцию, дабы облечь Джеральдину совершенной красотой. В честь покоя, прославленного ее светоносным зачатием, он написал следующий сонет:

Обитель красоты непокоренной!
Средь стен твоих шар солнечный почил
В день гибели возницы Фаэтона;
Сюда Юпитер дождь златой излил.

Склонившись долу, чту твою святыню.
Часовней будь владычицы моей!
Здесь стала смертною любви богиня,
Весь мир испепелив огнем очей.

Ничто пред славою твоей, чертог,
Вся слава пламенного херувима!
Здесь молний блеск померк и изнемог,
Здесь всем сужден восторг неизъяснимый.

Коль на земле Элизиум царит,
Лишь здесь он всех отрадой одарит!

Еще немало замечательных стихотворений и эпиграмм были начертаны им в сем безмолвном покое с алебастровыми стенами, каковой много лет назад озаряли кротким сиянием ее очи. Демонами, владыками мира могли бы почитать себя диаманты, алмазы, коим удалось вырезать ее имя на глади стекла; с их помощью он начертал следующие изречения, свидетельствующие о страданиях плоти: «Dulce puella malum est.— Quod fugit ipse sequor.— Amor est mihi causa sequendi.— O, infelix ego! Cur vidi? Cur perii?—Non patienter amo.— Tantum patiatur amari»[2].

---

[1] Перводвигатель, то есть бог *(лат.)*.

[2] Девица — сладостное зло.— Я следую за тем, что от меня бежит.— Меня подгоняет любовь.— О, я несчастный! Зачем я увидел? Зачем погиб? — Любовь моя нетерпелива.— О, лишь бы любить дозволяли *(лат.)*.

Насладившись лицезрением предметов, распаливших в нем сладостные чувства, он велел провозгласить при дворе герцога Флорентийского гордый вызов всем христианам, туркам, евреям и сарацинам, кои дерзнут оспаривать красоту Джеральдины. Вызов был принят сравнительно милостиво, ибо та, в чью защиту выступил граф, была уроженкой Флоренции; если бы не сие обстоятельство, гордые итальянцы не допустили бы графа до состязания. Все же герцог Флорентийский пригласил его к себе и спросил, кто он таков и что привело его в их город, и, получив исчерпывающие сведения, объявил, что до окончания этого беспримерного состязания он обеспечивает свободный доступ в его владения и беспрепятственный выезд из них всем чужеземцам, как врагам и изгнанникам, так и друзьям и союзникам.

Высокочтимый и прославленный лорд Генри Говард, граф Суррей, мой несравненный повелитель и господин, выехал на арену в назначенный день. Его доспехи были увиты лилиями и розами и окаймлены листьями крапивы и терниями, говорившими о жгучих уколах, скорбях и тягостных препятствиях на пути его любви. Его круглый шлем имел вид сосуда, из которого садовники обрызгивают цветы, и из него словно бы истекали тоненькие струйки воды, напоминая струны цитры; струйки эти не только орошали лилии и розы, но питали крапиву и терния, возросшие на пути их сеньора и повелителя.

Все это означало, что слезы, истекавшие из его очей, подобно струйкам, истекающим из похожего на сосуд шлема, взращивали презрение его госпожи, уподобленное крапиве и терниям, а также увеличивали славу ее разящей красоты, уподобленной лилиям и розам. Ко всему этому относился девиз: «Ex lacrimis lacrimae»[1]. Попона его коня была вся покрыта серебристыми перьями и в точности воспроизводила фигуру страуса. Грудь коня была как бы грудью этой прожорливой длинношеей птицы, чья голова тянулась к золотым бляхам уздечки, словно страус принимал их за железо и пытался схватить, а когда скакун взвивался на дыбы или делал курбеты, казалось, страус заглатывал бляхи. Широко распростертые крылья страуса, помогающие ему лишь при беге, придавали могучему коню весьма гордый вид, уподобляя его Пегасу; эти широкие крылья, привязанные по бокам коня, слегка трепетали, и, когда граф еще до прибытия рыцарей величаво гарцевал по арене, казалось, они нежно овеивали его лицо, издавая прерывистый шелест, какой слышится, когда орел преследует в воздухе свою жертву. Известно, что у страуса имеется острое стрекало, или шип, коим он пришпоривает сам себя, когда бежит, помогая себе

[1] Из слез рождаются слезы *(лат.)*.

взмахами крыльев, посему у этого искусственного страуса на концах крыльев, во впадины на месте прикрепления перьев были вделаны выпуклые хрустальные глаза, по ободкам которых вставлены остроконечные брильянты, подобные лучам, исходящим из глаз; брильянты врезались, как колесики шпор, в бока коня, подзадоривая его в беге.

Эти хрустальные глаза и окаймляющие их круглые брильянты сияли таким чудесным приглушенным светом сквозь пышные волны колеблющихся перьев, точь-в-точь как свеча сквозь стенки бумажного фонарика или светлячок, мерцающий ночью в кустах шиповника сквозь густую листву. Хвост страуса, короткий и толстый, был весьма искусно прилажен к хвосту коня и украшал его, подобно причудливому плюмажу. Девиз звучал так: «Aculeo alatus»—«Я простираю крылья, лишь пришпоренный лучами ее очей».

Смысл сего таков: как пламенноокий страус (чья самка не высиживает птенцов, но согревает яйца лучами своих глаз) опережает самых проворных пернатых бегунов, подгоняемый острым, точно игла, стрекалом на своих крыльях, так пламенноокий граф, подстрекаемый сладостными лучами, исходящими из очей его госпожи, питает уверенность, что обгонит всех соперников в беге на пути к славе, ибо его воодушевляет и вдохновляет ее несравненная красота. И как страус ест железо и глотает куски любого тяжелого металла, так и граф готов на самые тяжелые испытания, на любые подвиги, лишь бы обрести благоволение столь прекрасной повелительницы. Его щит был устроен следующим образом: он представлял собою зажигательное стекло, обрамленное перьями цвета пламени; на внешнем поле помещался портрет его госпожи, чья прелесть была передана с величайшим мастерством; на внутреннем поле щита был изображен обнаженный меч, крепко привязанный узами истинной любви. Девиз гласил: «Militat omnis amans»[1]. Это означало, что его меч привязан узами истинной любви и должен защищать и охранять красоту его госпожи.

Вслед за графом на арене появился черный рыцарь, чье забрало было преднамеренно все исцарапано и обрызгано кровью, как будто он только что сражался с медведем. Его шлем имел вид небольшой печи, где бушевало пламя, ибо сквозь щели забрала вырывались пары серы и удушливый дым. Его доспехи. были обрамлены изображениями змей и гадюк, зародившихся из пролитой крови невинных жертв. Попона его коня была испещрена бесформенными пятнами, наподобие узоров. На щите изображалось во всем своем блеске заходящее солнце и стояла надпись: «Sufficit tandem»[2].

---

[1] Всякий любовник воюет *(лат.)*.
[2] Достаточно и этого *(лат.)*.

За ним следовал рыцарь Совы, чьи доспехи походили на пень, увитый плющом, а шлем изображал сову, сидящую на ветвях плюща; доспехи были окаймлены изображениями разного рода птиц, как бы стоящих на земле и дивящихся на него. Девизом его было: «Ideo mirum, quia monstrum»[1]. Попона его коня изображала повозку со снопами пшеницы, которые подхватывали свиньи. Девиз гласил: «Liberalitas liberalitate perit»[2]. На щите виднелась пчела, запутавшаяся в шерсти овцы, и девиз: «Frontis nulla fides»[3].

Появившийся на арене четвертый рыцарь был хорошо сложенный мужчина в нарочито заржавленных доспехах, чей шлем изображал тесный горшок, в котором росли цветы, но их корешки были сдавлены и венчики прижаты друг к другу. Доспехи были украшены каймой с изображением рук в железных перчатках, рассыпающих золото средь водруженных копий; девиз: «Cura futuri est»[4]. На его коне вместо сбруи были свинцовые цепи, слегка позолоченные или же натертые шафраном,— это означало, что жадность выступает в благородном обличье, как бы позолотив свои намерения. К этому относилось изречение: «Cani capilli mei compedes»[5]. На его щите виднелись изображения свившихся в клубок змей, висящих на крюке, и начертана надпись: «Speramus lucent»[6].

Пятый был разочарованный рыцарь, чей шлем украшали лишь гирлянды из ветвей кипариса и ивы. На его доспехи было наброшено брачное одеянье Гименея, окрашенное в грязно-желтый цвет, все измятое и в отвратительных пятнах. Сюда относилось загадочное изречение: «Nos quoque florimus»[7], что могло, пожалуй, означать: «И мы некогда были щеголями». Попона его скакуна была испещрена изображениями желтовато-оранжевых глаз, вроде тех, какие бывают у страдающих желтухой, коим все вокруг кажется желтым; там стояла краткая надпись: «Qui invident egent» — «Завистник всегда голоден».

Шестой был рыцарь бурь, чей круглый шлем изображал луну, а доспехи — поверхность волнующейся реки, озаренную превосходно переданным серебристым лунным сиянием. Доспехи были окаймлены изображениями крутых берегов, которые ставят преграды потокам. Девизом было: «Frustra pius»[8], что означает: «Бесполезная служба». На щите виднелся лев, коего сидящий на

---

[1] Потому удивительно, что необычно *(лат.)*.
[2] Щедрость губит самое себя *(лат.)*.
[3] Не доверяй внешности *(лат.)*.
[4] Забота о будущем *(лат.)*.
[5] Седые волосы — мои оковы *(лат.)*.
[6] Надеемся на свет *(лат.)*.
[7] Мы также цветем *(лат.)*.
[8] Тщетно ревностный *(лат.)*.

навозной куче петух своим криком отгонял от добычи, и стояли слова: «Non vi, sed voce» — «Не силой, а голосом».

Седьмой, подобно гигантам, замыслившим взобраться на небо и свергнуть Юпитера, был как бы придавлен горой, закрывавшей голову и все тело; на мантии были изображены руки и ноги, выступавшие из-под горы. Это обозначало, что человек, возмечтавший подняться на небеса славы, удержан повелением своего государя (придавившим его, подобно горе), но руки и ноги его все же свободны. Девиз гласил: «Tu mihi criminis auctor»[1]. Это имело отношение к повелению государя и означало: «Я обязан тебе своей вынужденной трусостью». Его конь был оплетен, словно канатами, древесными корнями, которые, хотя были подрублены внизу, все же не казались иссохшими и могли вновь ожить. Девизом было: «Spe alor»[2] — «Надеюсь увидеть весну». На его щите виднелся мяч, прихлопнутый к земле человеческой рукой, который должен был вновь подпрыгнуть, и — слова: «Ferior ut efferar»[3] — «Я готов стерпеть презрение, ибо я поднимусь».

У восьмого рыцаря доспехи были иззубрены по краям и имели вид усеянного шипами колючего куста боярышника, который, однако, в дни мая произвел на свет (как больной отец — здоровое дитя) целые купы чудесных цветов, разливавших, как всякое цветение в мае, упоительное благоухание. На верхушке этого белоснежного куста, похожего на кудрявую голову, сидел, запертый в клетке, одинокий соловей, с шипом в груди, из клюва коего тянулась лента с таким девизом: «Luctus monumenta manebunt»[4]. У подножия куста виднелись изображенные на стволе множество черных раздутых жаб, с разинутым ртом, хватающих воздух, а также игривые кузнечики, жаждущие росы, и те и другие задыхались, мучимые жаждой на солнцепеке. Там же стоял девиз: «Non sine vulnere viresco»[5] — «Я расцветаю не без труда», эти слова имели отношение к жабам и другим вредителям, которые раньше сосали влагу из корней куста, но потом были выброшены наружу и теперь задыхались от жажды. На коне рыцаря была попона цвета темной земли (из которой как бы вырастал куст), на ней торчали клочки сожженной солнцем травы и, подобно брызгам чернил, всюду виднелись муравьи, которые в летнюю ночь при свете полной луны (грубо намалеванной на лбу лошади) копошились, усердно собирая запасы пищи на зиму. Девизом было: «Victrix fortunae sapientia» — «Предусмотрительность предотвращает несчастье».

---

[1] Ты виновник моего преступления *(лат.)*.
[2] Живу надеждой *(лат.)*.
[3] Терплю поношения, дабы подняться *(лат.)*.
[4] Пребудут памятником скорби *(лат.)*.
[5] Я зеленею, израненный *(лат.)*.

На своем щите он изобразил смерть, подающую милостыню жалким бесприютным детишкам, и начертал: «Nemo alius explicat»—«Больше никто нас не жалеет» [1]. Трудно добраться до смысла этого изречения, но, по-моему, его можно только так истолковать: смерть оказывает добрую услугу изображенному здесь мальчику и его братишкам, избавляя их от жестокого родителя или родственника, который иначе бы их погубил. Какое же другое благодеяние способна оказать детям смерть? Разве что она может внезапно лишить их жизни, дабы избавить от безысходной нужды. Но этого нельзя предположить, ибо дети были изображены живыми.

Девятый был рыцарь-дитя; он велел написать яркими красками на своем щите несчастного ребенка, плывущего по морю на корабле, без снастей, мачт и ветрил. На мантии рыцаря темнел силуэт поврежденного бурями, неуправляемого корабля, его изящные очертания повторяли фигуру дитяти. На попоне коня были изображены ударявшиеся о корабль бурные волны. Когда конь взвивался на дыбы или устремлялся вперед, мнилось, что волны вздымались и обрушивались на корабль, сверкая и потрясая седой серебряной гривой. Девизом было: «Inopem me copia fecit» [2], что означало: «На воровство добыча соблазняет». На своем щите рыцарь изобразил старого козла, который обгрыз молодое деревце, и оно завяло; надпись гласила: «Primo extinguor in aevo» — «Не успев расцвести, увядаю».

Было бы утомительно перечислять все дышащие гневом или любовью девизы рыцарей, собравшихся на этот турнир. Для краткости опишу лишь несколько щитов. На одном из них глаза молодых ласточек, которые были вырваны, но снова водворились на место, и тут же надписи: «Et addit et adimit» [3] — «Ваша красота ослепляет меня и вновь возвращает мне зрение».

На другом щите красовалась сирена, с улыбкой взиравшая на разбушевавшееся море, где гибли корабли; это означало, что жестокая женщина хохочет, распевает и смотрит с презрением на слезы своего возлюбленного и на его бурное отчаяние; тут же был девиз: «Cuncta pereunt» [4] — «Тщетны мои старания».

Третий рыцарь, пострадавший от сварливой, неверной и распутной жены, прибег к такой аллегории. На своем щите он велел изобразить, как приводится в исполнение закон Помпея, карающий отцеубийц: мастер изобразил человека, посаженного в мешок вместе с петухом, змеей и обезьяной; это означало, что жена ры-

---

[1] Никто по-иному не истолкует *(лат.)*.
[2] Бедным меня сделало изобилие *(лат.)*.
[3] Дает и отнимает *(лат.)*.
[4] Все гибнет *(лат.)*.

царя криклива, как петух, ядовита, как змея, и похотлива, как обезьяна; сии ее свойства вконец доконали несчастного, и он был ввержен в море скорбей. Девиз гласил: «Extremum malorum mulier» — «Женщина — худшая из бед».

Четвертый рыцарь был заподозрен в ереси, и его непрестанно преследовали тайные соглядатаи и шпионы, вымогавшие у него деньги, посему он решил, что лучше всего отделаться от них, избавившись от своего состояния. Намекая на это, он вздумал изобразить множество слепых мух, чьи глаза закрылись от холода; тут же стояли слова: «Aurum reddit acutissimum»[1] — «Золото — лучшее лекарство для глаз».

Пятый рыцарь, чья возлюбленная заболела чахоткой и не внимала любовным мольбам, символически изобразил свою горесть в виде виноградных гроздей, которые засыхали на лозе, ибо из них не выжимали сока. К этому относился девиз: «Quid regnum sine usu?»[2]

Больше я не буду описывать щитов, но там было их еще с добрую сотню. Довольно и приведенных примеров, дабы составить себе представление о сем великолепном параде, равного коему еще не было во Флоренции.

Подробно рассказывать, как сражался каждый из рыцарей, значило бы дать описание всех приемов борьбы на турнирах. Иные из них припадали к шее коня и, признавая себя побежденными, ломали свое копье. Другие ударяли в пряжку, вместо того чтобы ударить в пуговицу, и, словно точа свои копья, медленно терли их о латы противника, не причиняя ему ни малейшего вреда. Третьи наносили удар крест-накрест по левому локтю противника и, изволите видеть, не желали покинуть арену, не получив раны,— такой обуял их пыл. Четвертые, опасаясь, что их выбьют ударом из седла, когда дело доходило до решительной схватки, клали копье на правое плечо и отступали, не осмеливаясь ринуться вперед. Один с чудовищной яростью нацелился на переднюю луку седла своего соперника и метнул копье между его ног, но даже не задел его и поднял кверху не замаранное кровью копье, словно шест. Второй прижал копье к носу или нос к копью, словно собирался стрелять из мушкета, и поразил правую ногу коня своего оруженосца.

Лишь один граф Суррей, мой господин, не посрамил своей чести и заставил всех своих противников отчищать доспехи от пыли; в тот день он стяжал великую славу и навеки прославил Джеральдину. Еще никогда герольды не трубили в честь столь расточитель-

---

[1] Золото возвращает зоркость *(лат.)*.

[2] Что за власть, от которой нет пользы? *(лат.)*

ного победителя (не то чтобы он обогатил соперников, по-царски одарив их деньгами, нет, он наносил им такие страшные удары, что их мантии, шляпы и доспехи были прямо искрошены, и он мигом расточил все доходы с их имений за последние десять лет).

Что же еще вам поведать? Трубачи провозгласили графа победителем на турнире, трубачи провозгласили Джеральдину несравненной красавицей, прекраснейшей из женщин. Все наперебой восхваляли его. Герцог Флорентийский, чье имя было (если память мне не изменяет) Паскуале де Медичи, с невероятным пылом умолял графа остаться у него. Но граф отказался: ему было желательно посетить все знаменитые города Италии и там проделать то же самое. Ежели вы спросите меня, почему он не начал с Венеции, я отвечу, что он захотел получить боевое крещение во Флоренции, на родине своей дамы. Он положил себе вернуться в Венецию и совершить там подвиги, достойные анналов и восхищения потомства, но его намерениям не суждено было осуществиться, ибо когда он пировал и веселился с герцогом Флорентийским, к нему прибыл гонец от короля, его повелителя, с депешей, наказывавшей ему как можно скорее возвратиться в Англию. Сие подсекло под корень его честолюбивые замыслы, и ему волей-неволей пришлось отбыть в Англию, а я с моей куртизанкой продолжал путешествие по Италии.

Не ведаю, что приключилось с графом после нашей разлуки, но Флоренцию покинули мы оба, и, возгоревшись желанием увидеть Рим, столицу мира и первый из всех городов, я махнул туда со всеми своими пожитками.

Прибыв в Рим, я остановился в доме некоего Джованни де Имола, знатного дворянина. Тот, будучи знаком с покойным мужем моей куртизанки, столь нежно ее любившим, в память его принял нас с чрезвычайным радушием. Он показал нам все римские достопримечательности, которых там великое множество, все они связаны с именами императоров, консулов, завоевателей, знаменитых художников и актеров. До сего дня ни один римлянин, если только он чистокровный римлянин, не убьет крысы, не записав это свое деяние на память потомству.

В бытность мою в Риме там проживал один бедный малый, который изобрел новый способ травить скнипов и скорпионов, в честь него был вывешен на высоком столбе стяг с хвалебной надписью длиннее лестницы во дворце испанского короля. Мне подумалось, что сии скнипы, подобно киммерам, были каким-то иноземным народом, который он покорил, а на деле они оказались лишь разновидностью вшей, которые обладают чрезвычайно ядовитым жалом, а когда их раздавишь, нестерпимо воняют. Святой Августин сравнивает с ними еретиков. Наибольшее восхищение

вызвала у меня церковь Семи сивилл, где собрано немало чудес; там на свитках начертаны все их пророчества и оракулы, а также перечислены все языческие боги и описаны религиозные обряды. Там находится немало гробниц и статуй императоров и вдобавок несколько идолов, которые должны возбуждать в нас ненависть.

Я посетил дом Понтия Пилата и помочился у его стены. Не могу вспомнить названия этой улицы, но она ведет к церкви святого Павла и проходит близ площади Святого Иакова. Там еще стоит теперь уже заброшенная, старая, полуразвалившаяся тюрьма, где сидел один узник, приговоренный к смерти; ему никто не мог принести еды, ибо всех приходящих обыскивали, но он жил долгое время, высасывая молоко из грудей своей дочери.

Но все это лишь жалкие крохи виденных мною диковин, да, по правде сказать, я не осматривал Рим так уж тщательно, чтобы описывать впоследствии, но на минуту услаждал свое зрение и проходил дальше. Если бы я рассказал здесь хоть половину чудес, совершившихся, по рассказам римлян, на могилах мучеников, или поведал о том, какое действие оказывала земля с гроба господня и другие реликвии, привезенные из Иерусалима, то меня сочли бы самым чудовищным лжецом из всех, кто когда-либо печатал свои записки. О развалинах театра Помпея, почитавшегося одним из девяти чудес света, о гробнице папы Григория Шестого, о решетке Прискиллы и о тысячах колонн, выкопанных из глубины земли, где были заложены основания древнего Рима, было бы неуместно подробно рассказывать, ибо о них распространяется всякий, кому случалось выпивать с путешественником. Позвольте мне быть историографом лишь моих собственных злоключений и не заниматься перечислением бесконечных достопримечательностей столь древнего и славного города.

Когда я впервые прибыл в Рим, то, на английский манер, носил длинные волосы и ходил в светлой одежде, подражая в своем наряде сразу четырем или пяти чужеземным народам; это было сразу же замечено, и все мальчишки Рима толпами ходили за мной.

Не успел я пройти и нескольких шагов, как мне преградили путь какие-то стражники и потребовали, чтобы я показал им свою рапиру; обнаружив, что она, а также и мой кинжал не затуплены, они собирались было потащить меня в застенок, но я ублаготворил их деньгами; мой проступок тем более заслуживал извинения, что я был чужеземцем, не осведомленным о римских обычаях.

Замечу мимоходом, что все до одного мужчины в Риме имеют обыкновение носить коротко подстриженные волосы, они делают это не столько из скромности или из религиозных соображений, но главным образом потому, что здесь бывает ужасающая жара, и если б они не стригли волос, то у них не осталось бы на голове

ни волоска и нечему было бы вставать дыбом от ужаса при виде призрака. Здесь не почитают джентльменом того, кто не ходит в черном; у них в яркие цвета одеваются лишь фокусники да шуты; они уверяют, что разноцветная одежда свидетельствует о легкомыслии и непостоянстве в любви.

А вот по какой причине им велено носить затупленное оружие: на пути между Римом и Неаполем засели разбойники, так называемые «бандетто», они нападают решительно на всех проезжих и грабят их. Время от времени их тайком призывают в Рим; получив несколько крон, они совершают убийство и удирают из города. Они являются в город переодетыми, и их невозможно отличить от чужестранцев; порой они облачаются в дорогую одежду и имеют вид самых добропорядочных горожан. Посему ни один горожанин или чужеземец, будь он дворянином, рыцарем или даже маркизом, не имеет права носить отточенного оружия, и нарушители попадают в застенок. Мне пришлось заплатить за незнание этого закона; пусть же мой опыт послужит на пользу другим и избавит их от излишних расходов.

Повествовать о роскошных, полных отрады римских садах, банях, виноградниках и галереях — значило бы написать вторую часть «Сокровищницы чудес». Войдите в дом любого знатного человека — и вы увидите на его плоской кровле бассейн с рыбами и небольшой садик. Если эти бассейны после дождей переполняются водой и необходимо ее спустить, то римляне даже из этого извлекают удовольствие, ибо у них вместо свинцовых водосточных труб установлены мощные духовые инструменты, которые издают гармонические звуки, когда стремительно падает вода.

Я посетил виллу, предназначенную для летних увеселений, принадлежавшую одному богатому торговцу, то было подлинное чудо света, с коим ничто не могло сравниться, разве что бог создал бы новый рай. То было круглое здание из зеленоватого мрамора, походившее на театр; войдя туда, вы могли созерцать под его кровлей и небо и землю. Над головой простиралось небо, то бишь прозрачный хрустальный свод, где сияли и двигались солнце, луна и целый сонм звезд, коих невозможно было отличить от настоящих, и уж не знаю, какой скрытый хитрый механизм заставлял эти светила вращаться и совершать круговое движение в орбитах, причем сие вращение сопровождалось мелодичной, точно журчанье ручейка, поистине небесной музыкой; такова музыка небесных сфер, о которой повествуют мудрецы, добавляя, что наши грубые чувства не способны ее уловить.

А земля была здесь подобна той, над коей владычествовал Адам до своего падения. То был большой, просторный покой; нам представляется, что именно в таком зале король Артур ежегодно в день

пятидесятницы пировал со своими рыцарями за круглым столом. На полу яркими красками были изображены великолепнейшие в мире цветы; они были выписаны столь тщательно, что если смотреть на них с известного расстояния и не так уж к ним приглядываться, то, ей-ей, они и впрямь казались живыми.

Стены были опоясаны кольцом маслин, пальм и разных благоухающих фруктовых деревьев, в дни празднеств от них веяло ароматами мирры и ладана. Другие деревья, не приносившие плодов, были посажены длинными рядами, образуя множество тенистых аллей; стволы сосен столь тесно примыкали друг к другу, что казалось, будто это одна сосна с широко раскинувшимися ветвями.

На покрытых густой хвоей ветвях сих сросшихся вместе сосен сидело множество звонкоголосых птиц, самых различных пород, какие только услаждают нас летом своим пением в лесных капеллах. Хотя то были неодушевленные фигурки, принявшее прелестную форму вещество, лишенное дыхания жизни, но благодаря хитроумному приспособлению — длинным серебряным трубкам, вставленным внутрь сучьев, на коих сидели птички, и незаметно проведенным сквозь их тельце в горлышко, они свистели и распевали, как крылатые обитательницы лесов и полей. Серебряные, состоявшие из множества колец трубки отнюдь не были прямыми, но многократно изгибались, не разрываясь при этом, извивались в разные стороны, следуя за изгибами ветвей, и проникали в горлышко птичек. Ежели кто-нибудь спросит, каким образом вдувался воздух в эти серебряные трубки и циркулировал в них, то я отвечу вам по всей правде, что трубки проникали в отверстия ручных раздувальных мехов, к коим они были накрепко припаяны и так плотно охвачены железными кольцами, что оставались неподвижными и воздух не мог просочиться в мехи. По мере того как поднимались и опускались свинцовые полосы, намотанные на колесо, мехи раздувались, наполняясь воздухом, который проникал сразу во все извилистые трубки, пронизывающие сучья дерева, и двигался в них взад и вперед. Но эти механические приспособления были так ловко спрятаны в толстых стволах деревьев, что все присутствующие, не подозревая о хитроумном устройстве, помышляли о действии некоего волшебства.

На одном из деревьев вместо плодов висели на цепочках щебечущие птички; в их тесное горлышко были вставлены узенькие трубочки, куда проникала подсахаренная вода; ее загоняло небольшое колесо, работавшее на сей раз на манер насоса, оно непрерывно доставляло воду, которая производила звук, подобный щебету, булькая в зазубренных углублениях закрытого клюва.

Под сенью уже упомянутых мною деревьев, стоявших тесным строем вдоль стен, на густой траве, мирно почивали дикие звери;

иные из них лежали по двое: собака спала, уткнувшись носом в шею оленя, а волк с радостью позволял ягненку лежать на нем и согревать его; осел закинул свои копыта на спину льва, но тот, как видно, предпочитал честного, хоть и бесцеремонного друга куче пресмыкающихся перед ним прихвостней. Здесь не было ядовитых тварей (ведь до грехопадения Адама не существовало яда). Не было тут пантер со зловонным дыханьем, что коварно нападают из засады; не было и воющих человеческим голосом гиен, что жаждут крови и могут изменять свой пол. Мы знаем, что голодные волки едят землю, так вот, здесь волки питались исключительно землей, не трогая невинных тварей. Единорог, приходя на водопой, не погружал сперва в поток свой рог, выпуская в воду яд, ибо ни в воде, ни на земле никто не творил зла.

Змеи не причиняли человеку ни малейшего вреда, подобно тому как у нас на земле они не вредят друг другу; на лепестках розы не было червей, на листьях — гусениц, в море не водилось сирен, а на земле — ростовщиков. Там стригли козлов и употребляли их шерсть, как, по рассказам, это и ныне делают в Сицилии. И тропинки были обитаемы. Только сороки воровали золотые и серебряные вещи, употребляя их на постройку гнезд, нельзя было встретить ненасытных лизоблюдов, и никого не тянуло сбежать в Индии. Подобно тому как слон понимает язык страны, в которой он живет, здесь все животные понимали человеческую речь.

Муравьи не собирались к зиме в муравейник, ибо здесь не было зимы, но царила вечная весна, воспетая Овидием. Мороз не грозил миндалю, который расцветает раньше всех деревьев, как бы проявляя опрометчивость и неосмотрительность, а тутовое дерево, что поздно цветет, но плодоносит раньше других, там никто бы не упрекнул в хитрости. Персиковое дерево сразу же после посадки приносило полезные для здоровья плоды, меж тем как у нас, сколько его ни пересаживай, на нем созревают лишь отвратительные ядовитые плоды. Стволы молодых растений были налиты не соком, а бальзамом, вместо капель желтой смолы на них сверкали янтарные слезы. По вечерам на цветах вместо росы выступали капли меда. Так золотой век, прекрасный и благородный век, царил на сей вилле, предназначенной для увеселений.

О Рим, если в твоих пределах заключены столь возвышающие душу предметы, то разве может сравниться с тобой небо? Подобием его скорее можно назвать глобус Меркатора, чем тебя. И все же я должен сказать, к стыду нас, протестантов: если за добрые дела попадают на небо, то здесь часто их совершают, и я поведаю о них.

Суеверие ли или что-либо иное побуждает здесь людей отдаваться безвозмездному служению, сие пусть решают проповедники

на кафедрах; но здесь вы увидите, как самые достойные дамы в платьях из золотой парчи омывают ноги пилигримам и бедным солдатам и круглый год только и делают вместе со своими служанками, что шьют для них рубахи и кроят бинты, дабы помочь им, когда они попадут в беду. Здесь госпитали весьма напоминают дома знатных людей; они столь богато обставлены, столь чисто содержатся, такое там тепло и благоухание, что раненый солдат, очутившись в этой божественной обители отдыха, почитает себя вознагражденным за все тяжелые походы и раны. Я не буду вести речь о папе и о его окружении, но поведаю вам о том, что случилось со мною в бытность мою в Риме.

Так вот, когда я там проживал, выпало на редкость знойное лето и разразилась чума неслыханной ярости. Истину говорю, налетела она, как вихрь, и не успели мы воскликнуть: «Господи помилуй!», как она обрушилась на нас. За восемь месяцев в одном этом городе от нее погибла добрая сотня тысяч человек. Загляните в хронику Ланкета — и вы прочтете там о ней. Втянуть в нос воздух близ зараженного чумой дома было столь же губительно, как понюхать букет цветов. Подобно скрягам, что сберегают зерно, покамест оно не протухнет и не покроется плесенью, облака сберегали в своих недрах заразу и своим зловонным дыханием отравили чуть ли не всех жителей Рима. Жадных до золота лекарей быстро настигал рок. Посетив пациентов, которых они бессильны были исцелить от недуга своим искусством, они возвращались домой и тут же умирали; они походили на чудака, который за хорошую плату согласился бы повеситься. Дни и ночи напролет по улицам разъезжали повозки, и возчики кричали:

— Эй, у кого тут покойники, которых надо хоронить?

И не раз случалось, что из дома выносили всех его обитателей; в одной могиле хоронили чуть ли не полтораста человек, одно ложе становилось алтарем, на коем приносилась в жертву целая семья.

Стены были насквозь пропитаны горячими влажными парами, кои вырывались из уст больных при последнем издыхании. Подобно тому как перед выстрелом из дула ружья вылетает зловонный дым, как бы прокладывая путь пуле, так и смерть, прежде чем человек испускал дух, словно бы закупоривала ему ноздри и заполняла весь рот зловонным паром, так что стоявший с ним рядом невольно зажмуривался, зная, что ему надо готовиться к кончине. Иные умирали, сидя за столом, другие — спрашивая врача, как помочь их больным друзьям. В доме, где я квартировал, я видел, как служанка принесла хозяину горячий суп, чтобы его ублажить, но не успел он выхлебать и полтарелки, как она упала мертвой.

Покамест свирепствовал этот бич, в Риме подвизался один испанец по имени Ездра из Гранады, известный «бандетто», коему покровительствовал сам папа, ибо он совершал убийства по велению последнего. Этот злодей вместе с неким Бартоло, головорезом-итальянцем, имел обыкновение вламываться по ночам в дома богатых людей, опустошенные чумой, и ежели там не оставалось в живых никого, кроме хозяйки и служанки, негодяи насиловали их и уносили все добро, какое только могли взвалить на спину. В доброй сотне домов знатных горожан они совершили такие преступления. Хотя подвергавшиеся насилию женщины вопили во всю мочь, никто не осмеливался войти в дом из боязни подцепить смертельную заразу, а иные полагали, что женщины больны и кричат, испытывая ужасные муки.

В числе других подвергся нападению и дом, где я квартировал, там все погибли от чумы, кроме почтенной хозяйки, благородной целомудренной матроны, по имени Гераклида, ее прислужницы, меня и моей куртизанки; вломившись в дверь поздно ночью, Ездра бросился к матроне, а со мной и с моей возлюбленной предоставил расправиться своему товарищу. Застав меня в постели, тот устремился на меня с рапирой в руке, полагая, что я буду сопротивляться, но, по счастью, мне удалось от него увернуться, я бросился к окну и схватил лежавший там незаряженный пистолет. Опасаясь выстрела, он погрозил, что пронзит мою возлюбленную насквозь, ежели только я нацелюсь на него. Он поволок ее из комнаты, приставив острие рапиры к ее груди.

— Отпусти ее! — крикнул я.— Лучше убей меня! Я дам тебе за нее выкуп — тысячу дукатов!

Однако похоть взяла верх, и тщетны были все мольбы. Он запер меня в спальне и крикнул товарищам, чтобы они меня сторожили и зарубили алебардами, ежели я вздумаю спускаться по лестнице (он обманывал меня, сторожить было некому).

Я упал на постель и долго лежал в мрачном раздумье. Потом стал призывать всех чертей, какие только есть в аду, крича, чтобы теперь, когда я остался один, они явились ко мне, и я стану драться с ними по очереди, ибо они допустили столь чудовищное насилие. Я бился об стену головой и обзывал их грязными сводниками за то, что они видели, как совершается преступление, и не обрушились на злодея.

Но вернемся к находившейся внизу Гераклиде, на которую напал самый безобразный из всех кровопийц, Ездра из Гранады. Сперва он хотел силой взять ее и зарубил прислужницу, которая кинулась было защищать свою госпожу. Расправившись со служанкой, он приступил к Гераклиде с медовыми речами и посулил ей столько брильянтов и драгоценностей, сколько ему не

награбить бы и за сто лет. Он поведал ей, как к нему благоволит и во всем поддерживает его папа и сколько ужасных убийств он безнаказанно совершал, избавляя папу от досадивших ему людей.

— Я уже навел порядок во множестве домов,— заявил он,— твой дом будет сто шестнадцатым. Провалиться мне на этом месте, если я и на сей раз не добьюсь своего!

— Ах,— воскликнула Гераклида с душераздирающим вздохом,— неужто тебе будет дано расправиться со мною беспощадней самой чумы? Неужто избегла я карающей десницы божьей, дабы впасть в руки человека? Услышь меня, Иегова, смилуйся и положи конец моим страданиям! Прикончи меня, гнусный, развратный человекоубийца, посланец смерти! Вот лежит мой супруг, холодный как камень, на ледяном полу. Ежели ты могущественней бога и можешь мгновенно меня убить, то порази меня в грудь, в самое сердце и отправь на небо, где я встречу своего супруга. Увы мне, ты хочешь обесчестить меня, а потом уж вырвать из тела мою потрясенную душу. Я знаю, ты дьявол и послан искушать меня. Прочь от меня, сатана, душа моя принадлежит спасителю моему! Ему я ее завещала, и никто из смертных не в силах похитить ее у него! Иисусе, Иисусе, сохрани неосквернённой меня, невесту твою! Иисусе, Иисусе, не оставь ту, которая всецело доверилась тебе!..

Тут она упала в обморок, веки ее сомкнулись, и мнилось, затворилась раковина, скрыв дивные, только что сотворенные жемчужины, каких еще не видел свет. Ездра принялся ее трясти, быстро привел в чувства и заявил, что у него имеется высочайшее соизволение. Она должна ему сдаться, непременно должна, ибо никому не вырвать ее из его рук.

На пороге смерти она отвечала слабым голосом:

— Неужто ты думаешь, что над тобой нет никакой власти? Здесь незримо присутствует грозный судия, и он покарает тебя, если ты совершишь преступное деяние. Когда все кругом благополучно, каждый человек грешит, но когда смерть вручает одному из друзей грамоту с приказом подвергнуть другого казни посредством чумной заразы и раздает из своего колчана смертоносные стрелы сразу сотне тысяч человек, кто же не станет следить за собой? Когда у человека на одном волоске висит над головой камень и он знает, что не успеет прочесть «Отче наш», как камень упадет на него и раздавит, то не станет ли он поневоле скорбеть о своих проступках, воздерживаться от всяких безумных помыслов и очищать душу раскаянием и покаянием?

Рука господня, подобно огромному камню, отяготела над твоей головой. Что есть чума, как не смерть,— наш палач, призванный подвергнуть казни всех, кому не суждено иным путем достигнуть небесной отчизны? Бездыханное тело моего дорогого

повелителя — колчан, из которого уже извлечены стрелы смерти и незримо нацелены на тебя. Подобно тому как возраст козлов можно определить по числу утолщений на их изогнутых рогах, ты можешь узреть меру гнева божьего по изгибам моих гневно сдвинутых бровей. У меня на глазах скончалось не менее ста моих домашних, я хоронила их всех, и в моем дыхании таится стократная зараза.

Вот я дохнула на тебя, и тебя постигнет сто смертей! Спеши покаяться, ведь если для тебя не существует неба, то существует ад. Вспомни об этом, ведь ты, конечно, испытал адские муки совести, если совершил даже вдвое меньше убийств, чем сказал мне, бесстыдно хвалясь. Меценат под конец жизни не спал целых семь лет, и я последние семь недель провела без сна, ибо непрестанно следила за своим врагом, дьяволом. Я называла смерть своим другом, но друзья всегда покидают нас в беде. Смерть, дьявол и все искушающие нас духи тьмы стоят на страже, следя за тобой, и, если ты меня обесчестишь, они завладеют твоей душой, и она навеки погибнет.

Господь может пощадить твою душу лишь в том случае, если ты пощадишь мою честь. Смерть не коснется тебя, хотя ты и ворвался в дом, который она избрала своим обиталищем. Если ты рожден женщиной или уповал на то, что спасение твое в потомстве, которое даст тебе женщина, то сжалься над женщиной. Затравленная псами лань, ежели ей некуда скрыться, бросается к мужчине, ища у него защиты,— к кому же прибегнуть женщине в безутешном горе и в страшной беде, как не к мужчине, ища у него защиты и поддержки? Если ты мужчина, ты защитишь меня, но если ты пес и дикий зверь, ты меня осквернишь, надругаешься надо мной и растерзаешь меня. Итак, или откажись от образа божьего, или откажись от своего злодейского умысла!

Эти слова, казалось, могли бы смягчить не только железное, но и алмазное сердце, однако они не тронули сердца Ездры. Покамест она его умоляла, он сидел, развалясь в парадном кресле, мрачно глядя из-под нависших бровей на рукоять своего обнаженного меча, и ни разу не поднял глаз и не произнес ни слова; но увидев, что она ждет от него ответа, который должен принести ей милость или гибель, он вскочил и грубо схватил ее за шею, спрашивая, долго ли она еще его задержит.

— Ты говорила мне,— сказал он,— о чуме и о тяжкой руке божьей и дохнула на меня, угрожая стократной заразой, а я тебе скажу, что в Испании я сто раз бросал кости и в случае проигрыша должен был попасть на виселицу, но мне неизменно везло. У нас придерживаются такого обычая при игре в кости: когда какой-либо генерал или капитан вернется с войны, уплатит сполна солдатам

и у него окажется на руках четыреста или пятьсот крон сверх королевского жалованья, то он заявляет во всеуслышание, что ежели найдутся двое смельчаков, которые готовы рискнуть ради выигрыша головой, он поставит эту сумму на кон, и пускай они приходят в такое-то место, где и состоится игра. И вот я отправляюсь туда и нахожу еще охотника, такого же обедневшего дворянина, как и я. Бросаем кости, я в выигрыше, а он пропал. Я выигрываю кучу крон, а его тащат на виселицу. Таков у нас обычай, и я больше ста раз загребал кроны, а этих бедняг загребал дьявол в ад, где им приходилось солоно и они были обречены вечно плясать под свист кнута.

Так неужто и ты думаешь, что я, который несчетное число раз избегал адских опасностей, полагаясь лишь на удачный бросок костей, удеру, испугавшись чумы? Не испытал ли я на своей шкуре бед почище твоей чумы? Недуги, тюрьма, нищета, изгнание — через все это я прошел. Родной матери я дал затрещину, так что она полетела со второго этажа и сломала себе шею, а все оттого, что не захотела пойти к знатному господину, к которому я ее посылал. Свою сестру я продал старому своднику, который и пустил ее в оборот; всех моих родственниц, про которых я знал, что они не шлюхи, я сделал шлюхами. Ты и есть шлюха, ты будешь шлюхой, хоть и уповаешь на религию и всякие там обряды!

Вслед за тем он устремился на нее, угрожая ей мечом, но вовсе не собираясь ее ранить. Он вцепился пальцами в ее белоснежную шею и принялся ее трясти, как мастиф встряхивает медвежонка, вцепившись зубами ему в шкуру, при этом он клялся, запугивая ее, что перережет ей глотку, если она ему откажет. Но и этой скотской грубости ему показалось мало,— отпустив ее лилейную шею, он запустил дерзкую руку в ее длинные серебристые волосы, рассыпавшиеся по плечам во время борьбы. Он пригнул ее голову к полу, как пригибают деревце ветвями к земле. Схватив ее за пушистые растрепавшиеся косы, он волоком потащил ее по полу, как изменника везут на санях на казнь. Наступив грубым сапожищем на ее обнаженную белоснежную грудь, он крикнул ей, чтобы она покорилась, а не то он насмерть затопчет ее.

— Топчи меня! — вскричала она.— Задуши меня моими косами! Повесь меня на первом суку и прикончи меня, лишь бы мне не пойти на небо с сучком в глазу!

— Нет,— заявил он,— я не растопчу тебя, не задушу, не повешу и не отправлю на небо, покамест не овладею тобой! Твои непокорные руки я свяжу вот этими шелковыми узами!

Тут он скрутил ей руки за спиной, связав их ее же волосами. Она боролась с ним, отчаянно отбиваясь, но все было напрасно. Пока она боролась, защищая свою честь, драгоценные камни на

ее перстнях как бы покрылись потом, доказывая, что ею овладевает смертельный яд. Он опрокинул ее на пол и коленом, как железным тараном, отверз врата ее стыдливости. Мертвое тело ее супруга послужило подушкой этому чудовищному насильнику.

Что было дальше, вообразите сами. Слова мои обессилели и увязли в этой гнусной топи. О, зачем только я начал это трагическое повествование! Но все на свете имеет свой конец. Приходит конец и моему рассказу. Насытив свою скотскую похоть, утолив свое бешеное желание, он забрал все находившиеся в доме ценности, какие только можно было унести, взвалил себе на спину и был таков.

Вы, что прочли сие горестное повествование, сию печальную историю, не давайте умолкнуть вашей скорби! Докажите, что вы горячо откликаетесь на чужое горе. Как по-вашему, не заслуживает ли названия величайшей страдалицы женщина, у коей на глазах приносят в жертву всех ее детей, убивают одного за другим, и которая, когда зарежут одного, вытирает своим фартуком меч, дабы следующий был сражен чистым лезвием, и делает так много-много раз, пока очередь не дойдет до семнадцатого ее отпрыска? А вот сия женщина, сия матрона, сия злосчастная Гераклида похоронила за пять дней четырнадцать своих детей, чьи глаза закрыла с громким стенаньем и отдала им прощальный поцелуй, причем у нее прорезалось немало морщин; а через день и супруг ее уже лежал недвижный и бездыханный, стал глыбой разлагающейся плоти и уже не мог ни разделять с ней трапезу, ни беседовать с ней, ни оплакивать с ней своих чад. Не лучше ли было бы ей не родиться на свет? Глаза ее распухли от слез, изливавшихся бурным потоком, слова ее были бессвязны, как у злосчастной Гекубы, мысли путались у нее в голове, и она была близка к безумию. Представьте себе, что на ваших глазах в церкви из гроба вдруг встает мертвец, именно так выглядела Гераклида, вставая с ложа, где ее принудили нарушить супружескую верность.

Взор ее померк, в лице не было ни кровинки, ее дыхание отдавало тлением, и она походила на привидение. Обесчещенная женщина поднялась на ноги; она испытывала отвращение к себе, подобно грешнику, встающему из могилы в день Страшного суда. Поднявшись, она взглянула на каменный пол и заметила, что у нее под головой находилось тело ее супруга. О, тут она принялась скорбеть, как Кефал, нечаянно убивший Прокриду, или как Эдип, который, сам того не ведая, умертвил отца и вступил в кровосмесительный брак с матерью.

Вот в каких словах изливала она свое отчаяние:

— Неужто для того я осталась в живых, чтобы тело моего супруга послужило носилками, на которых меня доставят в ад?

Неужто, утоляя свою мерзкую похоть, он не мог найти иной подушки, кроме его распростертого на полу трупа? На твоей плоти будет начертана моя вина в день всеобщего воскресения. О красота, тебе суждено быть приманкой, вводящей в соблазн нечестивых! У богачей похищают деньги, у красивых женщин похищают честь. Нет, красота не благословение, а проклятье. Да будет проклят час, когда я была зачата! Да будет проклят час, когда мать произвела меня на свет, наделив вводящей в соблазн красотой! Ведь я совершила столь же тяжкое преступление, как змий, соблазнивший наших прародителей. Змий был в раю проклят во веки веков. Не должна ли и я почитать себя проклятой? Ведь, согласно учению о предопределении, я была предназначена совершить сие чудовищное преступление! Боров мгновенно умирает, ежели у него вырвут глаз; а я валялась с этими боровом в грязи, и око моего целомудрия было вырвано жестокой рукой бесстыдства.

Мне остается только умереть! Да, я умру, ибо жизнь мне нежеланна. Я смогу искупить свое невольное падение и стяжать награду лишь в том случае, ежели добровольно лишу себя жизни. О мой супруг, я буду твоей женой на небесах! Да не отвергнет меня с презрением при встрече твой чистый, отошедший к богу дух, ведь я подверглась зверскому насилию. Дьявол, что клевещет на слабых смертных и готов обвинять всех людей на свете, при всем желании не сможет меня обвинить в том, что я поддалась без сопротивления. Ежели я в чем и провинилась, то лишь в том, что не изуродовала свое лицо — источник злого соблазна.

После этих горьких сетований она бросилась к зеркалу и взглянула на свои черты, ей хотелось узнать, не написан ли на ее челе содеянный ею грех. Увидев себя, она покраснела от стыда, хотя на нее смотрело из зеркала лишь ее собственное изображение.

Тут она снова принялась причитать:

—Heu, quam difficile est crimen non prodere vultu! О, как легко прочесть по лицу преступленье! Вот я смотрю на себя и краснею, но не испытаю ли я еще более ужасный стыд, когда господь будет взирать на меня? Ангелы предадут меня на поругание, святые и мученики отшатнутся от меня. Да, господь еще суровее осудит дьявола за то, что он дерзнул привести к нему столь порочное создание. Агамемнон, ты был язычником, но все же, отправляясь на Троянскую войну, ты оставил в своем доме музыканта, который должен был до самого твоего возвращения наигрывать все тот же мотив, состоявший всего из двух тактов, дабы оберегать целомудрие твоей жены. А мой супруг, отправляясь на борьбу с дьяволом и его приспешниками, на борьбу, в коей ему суждено было пасть, не оставил мне иного музыканта, кроме стонов и рыданий. Но если б даже меня охранял музыкант, то, подобно Эгисту, убившему

музыканта, оставленного Агамемноном, и этот новый Эгист убил бы моего стража.

О горестное сердце мое! Как потерявший рога олень в ужасе и отчаянии скрывается в лесной чаще, так и тебе остается лишь тосковать и скорбеть! Укройся же под сень крыл милосердия божия! Проси, моли, взывай к нему неустанно! Просящему никогда не будет отказано в милости. Нет, может быть отказано. Быть может, я нечистый сосуд, предназначенный к гибели. Единственное средство избегнуть грозной кары божьей — это покарать себя в этом мире. И я сделаю это! Я искуплю свой грех смертью и с радостью ее приму. Ударом кинжала я положу конец своим нестерпимым мукам. Прощай, жизнь, подарившая мне лишь одни страданья! Прощай, зараженная грехом плоть, более склонная ко злу, чем к добру, испытавшая больше мук, чем наслаждений! Порази, проколи, пронзи меня своим острием, кинжал! Я готова стать твоими ножнами. Вырви у меня душу и пошли ее к небесам! Иисусе, прости меня! Иисусе, прими меня!

Пронзив себе грудь кинжалом, она упала на пол и ударилась головой о тело своего мужа. И внезапно он, пролежав без дыхания добрые сутки, очнулся от сна. Между тем из своей комнаты на верхнем этаже я наблюдал сквозь щелку эту печальную сцену. Пробудившись, он стал ощупывать себе голову и протирать глаза, потом огляделся по сторонам. Чувствуя, что у него на груди лежит что-то тяжелое, он сбросил с себя тело жены и, поднявшись на ноги, зажег свечу.

Тут начинаются мои злоключения. Сей почтенный человек, войдя в комнату со свечой, увидел, что жена его лежит с распущенными волосами, осквернённая и зверски убитая, а рядом с нею распростерта ее служанка Капестрано, пронзенная шпагой. Тут он схватил алебарду и стал бегать по дому из комнаты в комнату, разыскивая убийцу. Под конец он ворвался ко мне; я лежал на кровати, дверь моей комнаты была заперта снаружи и обнаженная рапира брошена на подоконнике. Он сразу же решил, что я и есть убийца. Тотчас же созвав соседей, он заявил, что я умышленно велел запереть свою комнату снаружи, отослал прочь куртизанку, которую называл своей женой, и начисто вытер рапиру, дабы устранить все подозрения.

Меня тут же препроводили в тюрьму, приговорили к повешению и подвели к виселице. У меня уже была готова прощальная баллада, которую я наименовал: «Проделки Уилтона», и все же мне не пришлось поплясать в пеньковой петле. Человек, испытавший на своем веку немало опасностей и благополучно их избегший, охотно повествует о минувших злоключениях.

Мне уже надели на шею петлю, все шло как по-писаному, па-

лач держал в руках конец веревки, привязанной к перекладине виселицы, и, готовый меня вздернуть, наступил ногой мне на плечо, пригибая меня к земле, когда я во всеуслышание произнес свое последнее слово. Как на исповеди, я чистосердечно поведал об известных уже вам событиях: о том, как эти злодеи в ночное время вломились в дом, убили служанку, похитили мою возлюбленную и заперли меня в комнате, произвели насилие над Гераклидой и как она под конец покончила с собой.

В толпе, собравшейся вокруг виселицы, находился английский граф, изгнанный из родной страны; услыхав, что его соотечественник приговорен к смерти за столь ужасное преступление, он пришел послушать его последнее слово и посмотреть, что это за человек и не знаком ли он ему. Не успел я окончить свой рассказ, как он попросил слова и потребовал приостановить казнь.

— Почтенные господа, благородные римляне,— начал он,— два дня тому назад я зашел к цирюльнику, чтобы он пустил мне кровь, дабы уберечь от заразы; как вдруг с криком и гамом в цирюльню притащили итальянца по имени Бартоло, тяжело раненного и истекавшего кровью. Делая вид, что я сочувствую ему в его беде, я начал ласково его расспрашивать, почему он оказался в таком плачевном состоянии, попал ли он в руки разбойников, или же с ним приключилась какая иная напасть. «Ах,— отвечал он,— долгое время я водил дружбу и даже побратался с испанцем Ездрой из Гранады, и мы с ним утоляли свою ненасытную похоть: мы совершили вдвоем добрых пятьсот насилий и убийств. Но вот исполнилась мера долготерпения божьего, и, дабы нас покарать, господь положил конец нашей дружбе. Это случилось в день, когда мы ворвались в дом Джованни де Имола». Сие имя только что назвал молодой дворянин с веревкой на шее.

Затем Бартоло поведал мне о злодеяниях, совершенных им и его сообщником в доме этого человека, и его рассказ слово в слово совпадает с рассказом, который вы слышали из уст приговоренного к смерти. Но сейчас я вам поведаю о событии, неизвестном ни ему, ни вам. Ездра из Гранады, обесчестив и ограбив матрону Гераклиду, пустился наутек. Когда он застал своего сообщника Бартоло в обществе куртизанки, то мигом заметил, что тот сияет от удовольствия; ненасытный Ездра стал требовать, чтобы Бартоло уступил ему красавицу, разгорелась ссора, и они кинулись друг на друга с ножами. Бартоло был смертельно ранен, Ездра удрал, а прекрасная дама очутилась на свободе. Вот что поведал нам Бартоло в цирюльне; цирюльник, его сподручный и все находившиеся там люди могут под присягой подтвердить его слова.

Всех этих лиц привели к присяге, их показания возымели должное действие, я был оправдан и выпущен на волю. Первым

делом я направился к графу-изгнаннику, дабы выразить ему свою благодарность. Внимательно посмотрев на меня, он принялся меня распекать.

— Скажи мне, соотечественник,— начал он,— почему ты покинул Англию, пустился в дальний путь и обретаешься среди чужого тебе народа? Ежели ты хотел изучить их язык, ты мог бы это сделать и у себя на родине. Здесь ты ничему не можешь обучиться, кроме как гнусному разврату. Быть может, ты предпринял это путешествие из тщеславия, желая блеснуть перед приятелями? Но такого рода безрассудные притязания можно уподобить скрепленным воском крыльям Икара, под действием солнечных лучей воск неизбежно растает — и ты будешь ввержен в пучину бедствий. Первым путешественником был Каин, обреченный весь свой век скитаться по лицу земли. Кузнец подковывает дикую лошадь лишь для того, чтобы, потеряв свободу, она пустилась в подневольный путь. Так и всякий, отправляющийся в странствия, неизбежно расстается со свободой и подпадает под чужеземное иго.

Израильтяне испытали на себе всю силу божьего проклятия, когда им пришлось покинуть родину и жить в рабстве на чужбине. Но то, что было для них проклятием, мы, англичане, почитаем для себя высшим благом. У нас ни во что не ставят человека, который ни разу не путешествовал. Мы предпочитаем жить в чужой стране на положении рабов, гнуть спину и ломать шапку перед любым встречным, раболепствовать перед ревнивыми итальянцами и надменными испанцами, исполняя все их прихоти,— лишь бы не оставаться на родине, где все свободны и всякий себе господин.

Путешественник должен обладать спиной осла, чтобы таскать тяжести, языком, который вилял бы, как собачий хвост, расточая лесть направо и налево, пастью борова, чтобы пожирать все, что перед ним поставят, и, подобно торговцу, молча сносить все оскорбления. И столь постыдное рабство вы именуете свободой!

Ежели ты служишь лишь одному господину, твоя участь не так уж горька, но коли у тебя оказываются тысячи господ и любой мясник, медник или сапожник, пользующийся правами гражданства, помыкает тобой, как чужеземцем, смотрит на тебя свысока и считает тебя своим слугой, ты в скором времени убедишься, что на чужбине попал в сущий ад, в самое жестокое рабство, покинув отчий дом, где тебе было предназначено обитать.

Ежели ты бросишь хоть мельком взгляд на римлянку или вообще на итальянку, будь уверен, что тебя угостят крепко приправленной похлебкой, и ты живо отправишься к праотцам. Когда итальянец поднимет тебя на смех и ты дашь ему суровую отповедь или просто выкажешь неудовольствие, то поскорей ступай домой,

устраивай богатое пиршество и угости обидчика, а не то можешь быть уверен, что на следующую ночь к тебе заявятся гости в масках, тихо и благородно перережут тебе глотку и ускользнут как ни в чем не бывало. Из всех животных у собаки самая хорошая память; так вот эти итальянцы сущие собаки, они всю жизнь помнят обиду. Я знаю случай, когда человек, получивший пощечину, отомстил за нее через тридцать лет. Но неаполитанцы—самые кровожадные из итальянцев, это отпетые головорезы, недаром говорит пословица: «Я подмигну ему по-неаполитански» — это означает, что кто-то намерен исподтишка подстроить другому пакость.

Лишь одно можно посоветовать путешественнику, пусть он придерживается мудрого совета Эпихарха: «Vigila et memor sis ne quid credas»[1]. Ничему не верь, никому не доверяй и при этом делай вид, что ты все пропускаешь мимо ушей, ничего не подозреваешь, и вообще разыгрывай из себя последнего простачка, коего ничего не стоит провести. Сенека говорит: «Multi fallere docuerunt dum timent falli»[2] — «Многие, проявляя подозрительность и высказывая опасения, как бы их не обманули, только побудили людей изощряться в обманах».

Увы, мы, англичане, самые простодушные люди на свете. Мы гоняемся за новшествами, любим, чтобы потакали нашим прихотям, и с упоением внимаем лести. Известно, что Филемон, автор комедий, задохнулся насмерть от хохота при виде осла, пожиравшего фиги; так и итальянцы от души потешаются, глядя, как бедные ослы англичане преспокойно поглощают испанские фиги и жадно хватают любую приманку. Тот, кто не может, подобно критянам, водить дружбу со змеями и употреблять в пищу яды, не годится в путешественники. Крысы и мыши лижут друг друга, чтобы произвести на свет потомство; человек, коему желательно отличиться и добиться успеха при дворе или в чужой стране, должен подлизываться, пресмыкаться, плутовать, лгать и болтать всякий вздор. Каким бы он ни обладал характером, ежели у него хорошо подвешен язык, он живо приобретет друзей. «Non formosus erat, sed erat facundus Ulysses»[3] — «Улисс, долгое время странствовавший по свету, не был добродушен, но обладал красноречьем».

Иные говорят, что надеются в путешествиях научиться умуразуму, но я полагаю, что как невозможно изучить искусство запоминания (о чем писали Цицерон, Квинтилиан, Сенека и Герман Буш), не обладая от природы хорошей памятью, так невозможно

---

[1] Будь настороже и помни, что никому не следует доверять *(лат.)*.

[2] Букв.: Многие, опасаясь быть обманутыми, научили, как их обмануть *(лат.)*.

[3] Не был красив Улисс, зато обладал красноречьем *(лат.)*.

научиться уму-разуму во время путешествий, не обладая врожденным здравым смыслом. Единственное, что человек обретает в путешествиях — это experientia longa malorum — долгий опыт несчастий. Он может узнать во время странствий, что одного погубил такой-то безумный поступок, а другого погубило иного рода безумие, что такого-то молодого щеголя разорила такая-то куртизанка, что венецианский купец таким-то путем отомстил феррарскому купцу и что такой-то герцог так-то покарал убийцу. Но разве обо всех этих событиях и о многом другом мы не можем узнать из книг, не выходя из нашего теплого кабинета?

Овидий говорит в «Любовных элегиях»:

Vobis alii ventorum praelia narrent,
Quasque Scilla infestat, quasque Charibdis aquas [1] —

Пусть о Харибде речь ведут, о Сцилле,
О бурях злых, что моряков сгубили,

Vos quod quisque loquetur, credite [2].

Внимайте всем, но не пускайтесь в путь!

Итак, пусть рассказывают вам об удивительных происшествиях, об изменах и об отравлениях, случившихся во Франции, Испании и в Италии; слушайте себе на здоровье, но боже вас упаси туда соваться!

Чему еще вы можете научиться во Франции сверх того, что вы знаете в Англии, как не коварству в дружбе, неряшеству и нечистоплотности? Пожалуй, еще научитесь использовать друзей для своего удовольствия и торжественно клясться: «Ah, par la mort de Dieu!»[3] — когда у самого в кармане вошь на аркане.

Я знал иных путешественников из числа бездельников (я не имею в виду солдат), кои прожили во Франции добрых шесть лет и, возвратившись на родину, прятали под широкополой французской шляпой тощую, истасканную физиономию, поднимали на улице вихри пыли, шествуя в длинных серых бумажных плащах, и скверно говорили по-английски. Только и было толку от путешествий, что они научились разбираться в бордоском вине и отличать натуральное гасконское от орлеанского и, пожалуй, еще считать дурную болезнь не стоящей внимания, словно прыщик, вскочивший на лице, закрывать нос бархатной повязкой и расхаживать с печальным видом, скрестив руки на груди.

Что привозит путешественник из Испании? Круглую шляпу,

[1] Как возмущается хлябь, меж Сциллой кипя и Харибдой,
В бой как вступают ветра, пусть вам расскажет другой.
[2] Верьте всему, что говорят *(лат.)*.
[3] Провалиться мне на месте! *(франц.)*

похожую на старинную глубокую миску, невысокие брыжи, какие носят у нас олдермены, с короткими тесемками, что тянутся, как сопли из носа, облегающий талию камзол, который спускается сзади до самого крупа, а спереди едва доходит до середины груди, как воротник или шейный платок; широкие штаны по гасконской моде, смахивающие на женскую юбку для верховой езды, огромные ножны, куда можно запихнуть полкоровы, рапиру, которую в свое время носили с полдюжины грандов; плащ у него будет либо длинный, либо короткий,— ежели он длинный, то обязательно обшит по краям турецкой тесьмой из крученого шелка, ежели короткий, то непременно с узким капюшоном, похожим на телячий язык, который по своей длине уступает разве что стоячему капюшону на голландских плащах.

Но это еще не все; в башмаки его напихана тафта, как у стариков; ежели хочешь, я открою тебе тайну: она не только предохраняет пальцы ног, но и служит в качестве стельки. Он вояка и хвастун (это твердо установлено). Он шествует, приплясывая, ступая на носки и подбоченясь. Стоит вам заговорить с ним, и он начнет превозносить Испанию и втаптывать в грязь родную страну, но ежели вы станете у него допытываться, в чем же состоит превосходство Испании, он только сможет сказать, что у испанцев хлеб попышнее нашего; а на деле-то эти голодные черти накрошат в воду хлеба полную тарелку, сделают тюрю и уписывают за обе щеки, ибо у них не достанешь ни кусочка порядочного мяса, и они круглый год довольствуются соленой треской (если же и едят мясо, то круглый год вместе с треской), а главное, испанцы бедны как церковные крысы и валяются по ночам на вонючей соломе.

Италия, этот земной рай, где вкушают небесное блаженство, воспетое Эпикуром,— чему научится там молодой англичанин? Научится целовать себе руку, как обезьяна, изгибаться в поклонах, как нищий, выклянчивающий кусок хлеба, выделывать всевозможные па и размахивать шляпой вместо приветствия. Он постигнет там науку безбожия, привыкнет жить в роскоши и распутничать, обучится искусству отравления и противоестественной любви. Как ни достойна презрения эта страна, пожалуй, там можно усвоить нечто хорошее, а именно, науку раболепства и стать отменным придворным шаркуном; другими словами, изысканным подхалимом и непревзойденным лицемером. В настоящее время в кругу порядочных людей в ходу такое выражение; ежели они хотят поставить клеймо на каком-либо отменном негодяе, то говорят: «Он побывал в Италии».

С датчанами и голландцами я не стал бы встречаться. Эти славные люди, подобно дочерям Даная, только и делают, что

наполняют вином бездонные бочки, и уже за вторым блюдом пьяны вдрызг и начинают громко храпеть. Человек, посетивший эти страны, правда, наносит ущерб своему кошельку, зато может надеяться на спасение души, ибо виноторговцы, пивовары, солодовники и продавщицы эля будут молиться на него.

Плати сполна, плати скорей!
Молиться будут горячей!

А не оплатишь счет,
Тебя проклятье ждет!

Впрочем, едва ли будет толк от их молитв, ведь они ужасные грешники,— большинство из них смешивают различные вина, особенно этим грешат виноторговцы.

Ты спросишь: почему я позволяю себе эти шутки, ведь я веду такую серьезную, поучительную речь? Я подвергся изгнанию и должен был покинуть родину, хотя и связан узами крови с самыми знатными особами: я природный граф, но сейчас, как ты видишь, нищий. Много лет прожил я в Италии на положении изгнанника. Некоторое время я получал приличную пенсию от папы, но сие продолжалось недолго, ибо он скончался, а его преемнику не было дела ни до англичан, ни до своих соотечественников. Пришлось мне подбирать крохи, падающие со стола кардиналов, вымаливать помощь и милостыню у всех герцогов Италии; все эти годы я влачил жалкое существование и тысячу раз предпочел бы смерть подобной жизни.

Cum patriam amisi, tunc me perisse putato [1].

Утратив родину, я жизнь утратил.

Вода — родная стихия для рыб; извлеки рыбу из воды, и ей уже ни дышать, ни жить — она тут же погибает. Так же бывает и с птицей, ежели ее вырвут из воздушной стихии, где ей предназначено жить, и с четвероногими, коли их оторвут от земли,— так случилось и со мной, когда я был выброшен из Англии. Насладится ли теленок молоком волчицы? Подобно злополучному теленку, питаюсь я волчьим молоком, или же меня можно сравнить с эфиопами, обитающими в окрестностях Мэроэ, кои питаются только скорпионами; привычка — вторая натура, однако вдесятеро был бы счастливей человек, ежели бы он сохранил свою коренную натуру. Поверь мне, ни воздух, ни хлеб, ни огонь, ни вода не идут на пользу человеку вдали от родины. Растения северных стран, пересаженные на юг, не приносят плодов и погибают, гибнут и тропические растения, пересаженные на север.

[1] Утрата отчизны гибелью представлялась мне *(лат.)*.

«Злополучный скиталец».

Жалок тот, кто ради суетных наслаждений откажется от счастья дышать воздухом в краю, где он рожден на свет. Возвращайся домой, милый юноша, и пусть твой прах мирно почиет в склепе предков твоих; живи до глубокой старости, управляя своим имением, и считай своим долгом закрыть глаза своим родным. И дьявол и я равно утратили надежду — он на возвращение на небеса, я на возвращение на родину.

Тут он умолк и залился слезами. Обрадовавшись, что он наконец дошел до точки, я обещал ему принять к сведению его советы, добавив, что по мере сил постараюсь его отблагодарить. Сейчас меня призывают крайне важные и спешные дела, но я надеюсь еще с ним встретиться. Он не хотел со мной расставаться, но я столько наговорил ему о своих неотложных делах, что наконец он меня отпустил; он поведал мне, где его можно найти, настоятельно просил заходить к нему без церемоний как можно чаще.

«Ну и морока! — подумал я, очутившись на свободе.— Это почище, чем получить здоровую порку».

Ежели бы я, этакий шалопай, опамятовался, я, конечно, прочитал бы сотни раз «Ave Maria» за человека, который дал мне столь мудрые советы. Господь наказал меня за то, что я отверг его строгие, отеческие наставления и посмеялся над ним.

Выслушайте же рассказ о самом ужасном из моих злоключений. Я рыскал по городу в поисках своей возлюбленной до поздней ночи, и вот что со мной стряслось. Облака, словно напившись за день допьяна, вдруг стали изливать потоки воды; спасаясь от ливня, как вор от стражника, очутился я возле дома некоего еврея Цадока и забился под навес, под коим находился вход в подвал. Дверь подвала оказалась открытой; не разглядев ее в темноте, я полетел вниз головой, как человек на корабле, не приметив открытого люка, падает в трюм, или подобно тому, как во время землетрясения разверзается земля и слепец, что бредет, нащупывая посохом дорогу, вдруг падает в бездну и оказывается в преисподней. Я здорово расшибся и принялся кататься по полу, пока не утихла боль, затем стал оглядываться по сторонам, желая определить, под каким континентом я нахожусь, и вдруг — о, злой рок! — я увидел свою куртизанку, которая целовалась взасос с каким-то подмастерьем.

После падения у меня сильно болели спина и бока, но тут кровь ударила мне в голову, и она разбухла, как от ушиба. Я уже готов был обрушиться на куртизанку с отборной бранью, как вдруг хозяин, коего разбудил шум моего падения, стремглав спустился по лестнице в подвал и поднял тревогу. Сбежались его слуги, он велел связать меня и мою возлюбленную, обвиняя нас, что мы

вошли в заговор с подмастерьем и ворвались в его дом с намерением его ограбить.

В то время в Риме существовал закон, по коему всякий человек, который схватит грабителя, ворвавшегося к нему в дом, или разбойника, напавшего на него на большой дороге, имеет право сделать его своим рабом или повесить. Цадок, корыстолюбивый, как все евреи, живо смекнул, что для него не будет никакого толку, ежели он столкнет меня в петлю с лестницы, и в голове у него созрел хитроумный план. Он отправился к доктору Захарии, папскому лекарю, своему соплеменнику, и сообщил, что может предложить ему самую что ни на есть выгодную сделку.

— Мне небезызвестно,— сказал он,— что приближается день, в который вы ежегодно производите анатомирование трупов, и вам надлежит заранее раздобыть подходящее для вскрытия тело, иначе вашей коллегии грозит штраф. В городе свирепствует зараза, и едва ли вам удастся достать труп человека, умершего не от болезни. Вы мой соплеменник, посему я пришел первым делом к вам. Да будет вам известно, что ко мне попал в рабство вломившийся в мой дом юноша восемнадцати лет, высокого роста, стройный и писаный красавец. Слушайте же! Вы почтенный человек, один из рассеянных по лицу земли сынов Авраама; я уступлю вам его за пятьсот крон.

— Покажите мне его,— отвечал доктор Захария,— и ежели он мне подойдет, я заплачу вам, сколько следует.

Цадок послал за мной, и меня повели по улице в оковах, со связанными за спиной руками. По дороге я проходил под окнами некоей Джулианы; то была маркиза, родом из Мантуи, развеселая особа легкого поведения, одна из наложниц папы; окно у нее было приоткрыто, она выглянула наружу и увидала меня.

Ее сразу же пленило мое юное, безбородое лицо, отнюдь не похожее на лицо закоренелого преступника. Она послала мне вслед служанку разузнать, кто я таков, в чем провинился и куда меня ведут. Сопровождавшие меня слуги ответили на все вопросы. Узнав, в чем дело, она прониклась ко мне состраданием, к коему примешивалось вожделение, стала горько сетовать, что я попал в руки к иудеям, этому проклятому племени, и стал их рабом,— и принялась изыскивать средства к моему спасению.

Но сперва я поведаю вам, что случилось со мной, когда меня привели к доктору Захарии. Подслеповатый доктор напялил на нос очки и стал пристально разглядывать мое лицо; потом он приказал раздеть меня донага и принялся осматривать и ощупывать с головы до ног, желая удостовериться, что я не страдаю никакой болезнью и у меня на теле нет следов заразы. Потом он уколол мне руку, чтобы посмотреть, как циркулирует у меня в жилах

кровь. Закончив свои опыты и исследования, он уплатил сполна Цадоку и отослал его, а меня запер в темную каморку, где я и должен был сидеть до дня, назначенного для анатомирования.

О, в какое отчаянье я впал, узнав, что меня собираются раскроить, как модный французский камзол; меня даже прошибло холодным потом. Мне мнилось, что у меня кровь пошла из носу. Ежели меня кусала в руку блоха, мне уже мерещилось, что это укол скальпеля. Да, да, хоть я сейчас и пускаюсь в шутки, рассказывая о роковом повороте судьбы, но лучший способ сделать человека благочестивым христианином — это заявить ему, что его будут анатомировать. Могу поклясться, что покамест я сидел в чулане, я прочитал больше молитв, нежели за предыдущие семь лет. Если капли пота скатывались у меня по груди или по бокам, я воображал, что по моему телу с нежной лаской скользит острие скальпеля. Если раздавался стук в дверь, мне думалось, будто за мной пришел педель из анатомического театра. По ночам мне только и снились что кровопускания, кровавые поносы, вскрытие нарывов, кровоточащие язвы. Я не решался сковырнуть прыщик, опасаясь истечь кровью. Вместо мяса меня то и дело угощали каким-то месивом из послабляющего вещества, чтобы кровь у меня очистилась и не свертывалась в жилах. Но делалось все это скорее из экономии, нежели для очистки организма. Несчастнейшие из мышей обитают в домах врачей. Их терзает такой голод, какого не испытывал сам Тантал в аду.

Захария подбирал на полу хлебные крошки, упавшие со стола, скатывал из них шарики и приготовлял манну. Из горелых хлебных корок он изготовлял какое-то снадобье. Из обглоданных костей он вытапливал жир и продавал его по шиллингу за драхму. Свои сопли и слюни он взбалтывал и сотни раз всучал аптекарю, выдавая за «снежную воду». Он поджаривал ядовитых пауков и приготовлял из них замечательное противоядие. У него здорово слезились глаза, и когда он шел против ветра или вставал рано утром, к его услугам было сколько угодно розовой воды. Он был прямой наследник и душеприказчик тетушки Скупости. У него была целая куча старых книг в переплетах, изъеденных молью и червями, и он целые дни копался в своей библиотеке; однако он и не думал заниматься науками, а вылавливал из фолиантов моль и червей и приготовлял из них лекарство, предохраняющее от чумы. Он выжимал пот из своих башмаков и делал из него чудодейственный бальзам, излечивающий от бесплодия.

Однако покинем его на несколько минут и возвратимся к Джулиане. Она долго ломала голову, измышляя способ выручить меня, и наконец решилась послать к доктору Захарии гонца, нагло требуя отдать меня ей, а в случае отказа продать меня за любую сумму.

Но Захария, сей старозаветный еврей, грубо отказал ей в ее просьбе и заявил, что ежели на свете не осталось ни одного христианина, то он немедленно пронзит скальпелем свой кадык.

Прочитав с возмущением его ответ, она задумала нанести ему весьма болезненный, сокрушительный удар еще до конца месяца. Прошло два дня, и папа заболел (не знаю, при ее ли содействии или без оного). Послали за доктором Захарией, и тот, обнаружив кое-какие неполадки в его моче, дал ему прекрасное средство для укрепления желудка и попросил приближенных папы убедить его святейшество, дабы он некоторое время отдохнул, и он ручался, что папе в скором времени полегчает. И кому же передал Захария сие мягкодействующее лекарство? Наложнице Джулиане, своему заклятому врагу!

У сей особы был припасен на всякий случай весьма сильный яд; не выходя из папского дворца, в укромном уголке она подмешала его в лекарство, и когда человек, испытывавший на себе все кушанья его святейшества, отведал этого зелья, он рухнул мертвым на пол. Папа немедленно призвал Джулиану и спросил ее, что за необычайный отвар она принесла ему. Она преклонила колени и ответила, что отвар вручил ей самолично еврей Захария, и ежели он не понравился его святейшеству, она весьма огорчена и просит ее извинить.

Тут папа, не желая глубже вникать в сей вопрос, решил казнить Захарию и всех находящихся в Риме евреев, но Джулиана обняла его колени и, проливая крокодиловы слезы, умоляла смягчить приговор и подвергнуть евреев лишь изгнанию.

— Доктор Захария,— говорила она,— ваш лекарь, проявивший черную неблагодарность и покусившийся на вашу жизнь, все же весьма искусен во врачевании, и у него имеется множество лекарственных трав, целебных масел, полосканий и сиропов, кои могут пригодиться вашей светлости. Я прошу вас отдать в мое распоряжение все его имущество — ради блага и сохранения вашего здоровья, блаженнейший отец.

Просьба была подкреплена поцелуем, и папа тут же издал эдикт, предписывавший всем иудеям мужского и женского пола, обитавшим в старом еврейском квартале, не позже чем через двадцать дней после выхода эдикта покинуть пределы Рима, под страхом смертной казни через повешение; эдикт был оглашен по всему городу.

Еще за два дня до издания эдикта Джулиана послала своих слуг наложить руку на все земли Захарии, на его богатства, на движимое имущество, на пожитки и на слуг; ее повеление было выполнено более чем старательно, и ему не оставили даже старого ночного горшка или ящика из-под свечей. Вечером, часов около

шести, сии мародеры явились в дом Захарии; когда они ворвались ко мне в каморку, я сидел, пригорюнившись, подперев голову рукой, стараясь себе представить, что испытывает человек, когда у него понемногу выпускают кровь, приятная ли это смерть. Тут мне вспомнилось, что некоторые философы утверждают, будто душа вся целиком гнездится в крови, и мне подумалось: что же это будет, ежели моя душа плюхнется в лоханку?

Я сильно потел в душной каморке, и у меня вскочил розовый прыщик на руке как раз в том месте, где обычно делают уколы, и я с ужасом подумал, что это моя душа отчаянно ищет выхода из тела. Тьфу, пропасть! Жизнь человеческую выбросят на помойку! Что за мерзость! Умереть, истекая кровью, то же самое, что умереть, испуская мочу. Если потреблять хорошие напитки, то из них образуется хорошая кровь, а моча не что иное, как еще не вполне готовая кровь. Сенека и Лукан были сущие олухи! Как могли они избрать именно такого рода смерть? Свинья, боров и все животные, чье мясо употребляют в пищу, умирают, истекая кровью, под ножом мясника или повара. Умереть от укола не захотела бы даже самая трусливая женщина на свете. Боже мой, как это чудовищно!

Я был занят подобными размышлениями, когда слуги Джулианы схватили меня; они закутали меня с головой в мой плащ, дабы никто по дороге меня не разглядел и дабы я не знал, куда меня тащат. И вот из дома Захарии меня перенесли прямо в комнату маркизы Джулианы. Я и не подозревал, что судьба уготовила мне столь прекрасную смерть. Пока они меня несли на плечах, я был уверен, что направляюсь прямо на небеса; мне мнилось, что меня тащат на носилках в церковь, и я уже больше не надеялся отведать ни эля, ни здешнего пива.

Джулиана гневно напустилась на своих слуг, словно я неожиданно для нее попал к ней в руки:

— Что за подарочек притащили вы ко мне в дом? Это весьма странно. В чем он провинился? И где вы его подцепили?

Они отвечали примерно в таких словах:

— Мы нашли его в доме Захарии, он сидел запертый в каморке, как пленник, и мы решили, что нарушим приказание вашей светлости, ежели оставим его там.

— Ах,— сказала она,— вижу, вы перестарались. Или вы думали, что я, будучи одинокой женщиной, нуждаюсь в любовнике? Вы притащили ко мне сего безбородого хлыща, дабы навлечь на меня подозрения? Ведь я даже не ведаю, откуда он и чего ему надобно! Так слушайте! Вы оскорбили меня, и я этого вам не спущу! Вам надлежало отвести его к стражникам. Я наказала вам отобрать у Захарии только его имущество и слуг.

Слуги стали умолять Джулиану, чтобы она простила им их ошибку, они-де впали в крайность от избытка рвения и отнюдь не желали нарушить ее приказ.

— Но ведь я могу заподозрить и самое худшее! — продолжала она.— Скажу вам по правде, я начинаю подозревать, что сей юноша опасный сумасброд и что он подкупил вас, намереваясь меня обесчестить. Но, с другой стороны, я вполне могу допустить, что такой человек, как Захария, превратил свой дом в тюрьму. С вашего разрешения, прекрасный синьор, вы будете находиться у меня под замком, покамест я не наведу о вас справок; я узнаю о вас всю подноготную, и лишь тогда мы с вами расстанемся. Ступай,—приказала она служанке,—отведи его в дальнюю комнату, что в самом конце галереи и выходит окнами в сад. А вы, услужливые сводники, потрудитесь доставить его туда под караулом, раз вы уж потрудились притащить его сюда; когда сие будет сделано, проверьте, хорошо ли заперта дверь, и отправляйтесь восвояси.

Служанка была продувная бестия и знала все хитрости, как свои пять пальцев, ей не приходилось долго ломать себе голову. Все женщины таковы, у каждой из них имеется плащ на случай дождя, и она умеет за милую душу отвести глаза мужу.

Но покамест будет об этой синьоре маркизе. Позвольте вам рассказать, как обошелся Цадок с моей возлюбленной после того, как я был продан Захарии. Я полагаю, вы не такой простак, чтобы ожидать хороших плодов от дурного дерева: он был Цадок и поступил с ней как Цадок. Делая вид, что он хочет у нее выпытать, за какие деньги подмастерье привел ее к нему в подвал, он раздел ее догола, бичевал, отбивая на ней барабанную дробь, и исхлестал ее от головы до пят. День за днем, спокойно переваривая свой обед, он повторял сию процедуру. Это был жестокий лицемер и сладострастник с каменным сердцем.

Пантомимы, изображавшие бичевания, какие мы смотрели недавно в Англии,— детская игра по сравнению с истязаниями, каким он ее подвергал. Все ромфордские угольщики, что стараются поддержать честь своей корпорации, бичуя слепого медведя в Парижском саду, перед ним сущие сапожники. В искусстве бичевания он превзошел их всех, и плеть взлетала у него с молниеносной быстротой и со свистом.

Но смотрите, смотрите, что будет далее. Племя Иуды подверглось изгнанию из Рима и обречено было на скитания, им больше не дозволено было здесь оставаться, все эти Албумазеры, Рабизаки, Гедеоны, Тебиты, Бенхадады, Бенроданы, Зедехии и Галии были разорены дотла и изгнаны из своих домов.

Когда все имущество Захарии было конфисковано, он прибежал к Цадоку во вретище, с головой, посыпанной пеплом, и

рассказал ему, как с ним обошлись и какой указ готовится против их племени.

Да осенит меня вдохновение! Придется здесь дать картину ярости, какой воспылал мятежник Люцифер, когда он был низвергнут с небес. Существует рыба, весьма схожая с жабой; когда ее вытащат из воды, она начинает раздуваться, покамест не лопнет, тогда все ее внутренности летят в лицо человеку. Так раздувался от ярости Цадок, казалось, вот-вот он лопнет и его кишки, как заряд картечи, полетят в лицо Захарии, который принес ему столь ужасную весть. Глаза его сверкали и пылали синим огнем, как зажженная сера или как спирт, горящий в яичной скорлупе, нос его излучал свет, словно там сидела куча светляков, он скрипел и скрежетал зубами, как скрипит и трещит по всем стыкам сторожевая вышка, когда бурный ветер раскачивает ее, точно колыбель, бешено на нее налетая. Он ругался, проклинал и кричал:

— Вот они каковы, почитатели распятого бога из Назарета! Вот плоды их новых евангельских откровений! Сера и порох живо ввергнут их всех в геенну! Я готов навеки погубить свою душу, лишь бы увидеть, как сего трехглавого папу со всеми его разрешенными от грехов девками и помазанными елеем священниками черти в торжественной процессии, распевая кощунственные гимны, понесут на плечах прямо в преисподнюю. Я хотел бы спуститься в глубь земли и оттуда дохнуть что есть сил, да так, чтобы взлетел на воздух весь Рим, сия вавилонская блудница!

Ежели меня подвергнут изгнанию, ежели собаки язычники заграбастают все мое добро, я отравлю их источники и воду в водопроводе, поступающую по трубам во все концы города. Я заманю к себе в дом как можно больше детей, зарежу их, набью их мясом бочонки от говядины и отправлю вместо провианта для моряков на папских галерах. Прежде, нежели придут конфисковать мое имущество, я ассигную сто фунтов на покупку партии муки, прикажу замесить в нее яд скорпионов,— и от сего хлеба погибнет еще больше народу, чем от чумы. Я подкуплю людей, изготовляющих облатки для их таинств, они отравят их тем же ядом, и когда эти фанатики и суеверы проглотят облатки, их живо скрутит, и они станут падалью. Если сыщется нечестивый заклинатель, который может вызвать ветры из медных пещер и нагнать на небо тучи, я дам ему еще сотню фунтов, дабы он на целую неделю задержал над городом тучи с громом и молнией; от длительной грозы будет уже тот прок, что все вина в Риме превратятся в уксус. Покамест у них имеется в изобилии масло и вино, чума пожирает лишь немного жертв.

— Цадок! Цадок! — прервал его доктор Захария.— Ты сотрясаешь гневными словами воздух, а меж тем мы погибаем здесь

на земле. Не кто иной, как графиня Джулиана, маркиза Мантуанская, замыслила нас погубить. Не спрашивай, как было дело, но прими мои слова к сведению и совершай отмщение!

— Вот оно как! Вот оно как! — воскликнул Цадок, дергая плечами и корчась от злобы.— Я был бы блаженнее патриархов, ежели бы меня подвергли жесточайшим пыткам, к каким прибегали римские тираны, и, замучив насмерть, извлекли из моего тела кварту драгоценного яда. У меня в ноге свищ, и я готов отрубить себе ногу и из гнойника добыть отраву, коя губительней всякого змеиного яда. Если тебе желательно, я пойду в зараженный дом, подцеплю там чуму, отправлюсь к ней с гноящейся язвой и, передавая ей наше прошение, дохну на нее. Я знаю, мое дыхание и без того зловонно и в некоторой мере вредоносно. Я воздам ей по заслугам, ежели дохну ей в лицо удесятеренным, смертоносным смрадом.

— Нет, нет, брат мой Цадок,— возразил Захария,— так дело не пойдет! Не можешь ли ты раздобыть какую-либо рабыню, отличающуюся необычайной, божественной красотой? Ты мог бы преподнести ее в дар Джулиане от лица синагоги, умоляя ее оказать нам милость и содействие.

— Есть у меня такая, и я готов к услугам,— отвечал Цадок.— Диаманта, пойди-ка сюда. У сей девки,— продолжал он,— кожа столь же чистая, как у Сусанны — с головы до пят у нее на теле нет ни единой бородавки. Как вы полагаете, господин лекарь, пригодна она для ваших целей?

— Пригодна,— отвечал Захария,— и я тебе поведаю, какое поручение намерен на нее возложить. Впрочем, я предпочитаю открыть это только ей. Девушка,— обратился он к Диаманте,— (хоть я и не знаю, можно ли тебя назвать девушкой), подойди-ка ко мне поближе. Мы пошлем тебя к маркизе Мантуанской, и ты должна оказать нам известную услугу, за которую ты получишь свободу и крупную сумму тебе на приданое. Я знаю, что твой хозяин горячо тебя любит, хоть и не слишком выказывает свою нежность. Он намеревается завещать тебе все свое достояние, ибо у него нет детей. Постарайся уж ему угодить, исполнив все мои указания, и ты будешь обеспечена на всю жизнь.

Дело в том, что папе опротивела его наложница маркиза Мантуанская, и, всецело доверяя мне, лекарю своему, он препоручил мне тихо и мирно спровадить ее на тот свет. Сам я не могу сим заняться, ибо у меня по горло спешных дел; а ты, ежели станешь ее горничной и будешь прислуживать за столом, сумеешь неприметно подсыпать яд в хлеб, в мясо, в напитки, в масло и в сиропы, кои она употребляет в пищу,— и сие сойдет тебе с рук. Кто знает, папа, быть может, уже слышал о тебе, и ежели ты будешь вести

себя умно, то сможешь стать его любовницей после нее. Ну что, готова ли ты пойти на это?

Диаманта стала раздумывать, как ей быть; жилось ей как в аду в рабстве у Цадока, и она разумела, что ежели упустит сей случай, у нее уже не будет надежды на освобождение, и она попадет из огня в полымя; итак, она дала согласие и обещала выполнить наилучшим образом поручение. После сего, без дальнейших разговоров, Диаманту принялись готовить к исполнению миссии: разодели в пух и в прах, отточили на оселке и отшлифовали ее речь, и хозяин ее Цадок преподнес ее в дар маркизе вместе со всякими модными штучками — от лица всей общины, умоляя Джулиану выступить в роли их милостивой покровительницы и замолвить за них словечко перед папой; он добавил, что все они впали в немилость и подверглись конфискации имущества и изгнанию из-за проступка, совершенного по неведению одним человеком.

Джулиане сразу приглянулось хорошенькое круглое личико чернобровой Диаманты, посему она приняла еврея довольно благосклонно и сказала ему, что стоит в стороне от дел и не может ничего обещать, не будучи доверенным лицом его святейшества; правда, ей случалось оказывать на него влияние, когда он был к ней расположен, но на сей раз затронуты его личные интересы, и она не знает, пойдет ли он навстречу. Во всяком случае, пусть они не сомневаются, что она сделает все от нее зависящее, дабы папа смягчил свой приговор или даже отменил его. С этими словами она отпустила Цадока.

Едва он удалился, она принялась расспрашивать Диаманту, откуда та родом, есть ли у нее друзья и как случилось, что она попала в руки к сему еврею. Диаманта отвечала, что она дочь венецианского вельможи и ребенком была похищена из отчего дома, продана еврею и стала его рабыней.

— Цадок,— говорила она,— обходился со мной как самый жестокий тиран, и я всю жизнь буду праздновать день, когда я вышла из-под его власти. Ах,— продолжала она, тяжело вздыхая,— зачем я упомянула о том, что он зверски обращался со мной? Я имею вам нечто сообщить, но теперь вы можете подумать, что я стану со зла на него наговаривать. Сударыня, люди, обратившиеся к вам с просьбой, покушаются на вашу жизнь. Не бледнейте и не приходите в смятение, ибо я решила вас предупредить и открою вам их коварный замысел.

Тут она поведала Джулиане все, что ей говорил Цадок, и показала яд, который он ей вручил. Передала она также и разговор, который она подслушала сквозь щелку в запертой двери до того, как ее позвали.

— Пусть они всё отрицают,— продолжала она,— я готова под клятвой подтвердить свои слова, только умоляю вас, сударыня, будьте ко мне милостивы и не отсылайте меня назад к этим извергам!

Джулиана лишь коротко ей ответила, но замыслила злую месть. Она поблагодарила Диаманту, предупредившую ее о заговоре, и поклялась, что будет матерински относиться к своей рабыне. Она взяла у нее яд и тщательно спрятала в поставце, намереваясь его использовать для каких-нибудь благих целей, например, когда она вытянет из меня все соки и истощит вконец своей ненасытной похотью, она подсыплет мне драхму и швырнет в сточную яму. Она уже так поступала со своими любовниками, и ежели бы бог не послал мне спасительницу в лице Диаманты, я наверняка испил бы ту же чашу.

Час-другой просидел я под замком, как вдруг вышеупомянутая добропорядочная маркиза является ко мне, но уже не в качестве судьи, а как просительница. Как она вошла, в каком наряде, какими непристойными, бесстыдными речами улещивала она меня, о том не стану распространяться, иначе внушу омерзение всем скромным людям. Она заставила меня испытать большую неловкость своими ухватками уличной девки, и до сих пор меня за это мучит стыд.

Но да будет все сие прощено и забыто! Плотские наслаждения не помешали ей без промедления отомстить Цадоку. Она подослала к нему своих клевретов, приказав им всячески поджигать и подстрекать его, дабы он высказал свое негодование, и других шпионов, кои, идя по стопам первых, должны были всеми средствами подталкивать, подзуживать и пришпоривать его, добиваясь крамольных признаний. И те и другие мастерски сыграли свою роль, и Цадок, отличавшийся бешеным нравом, поклялся ковчегом Иеговы, что он подожжет весь город прежде, чем его покинет. А Захария, вручив девке яд и с надлежащими наставлениями отправив ее в пасть к сатане, решил тотчас же покинуть Рим из опасений, что заговор будет раскрыт. Он бежал к герцогу Бурбонскому, который впоследствии разграбил Рим; сей ублюдок, пылая злобой, нанес невообразимый ущерб и папе, и всем горожанам.

Цадок остался в Риме и попал в руки палача. Исполняя свою клятву, он изготовил шары из горючего вещества и заложил пороховые мины в тысяче мест, дабы взорвать город и предать его огню; он уже начал разбрасывать свои шары во все стороны, когда приставленные к нему шпионы схватили его на месте преступления. Его бросили в самую страшную из римских тюрем и с головы до пят оковали цепями и кандалами.

Джулиана поведала папе о Захарии и о его черном замысле. Принялись разыскивать Захарию, однако non est inventus[1] — он уже давно удрал. Последовал приказ, чтобы Цадок, коего держали под неусыпной стражей и под семью замками, был подвергнут самым жестоким пыткам с применением огня.

Я буду краток, ибо не сомневаюсь, что уже утомил моих читателей. Его привезли на место казни, раздели догола, затем посадили на острый железный стержень, врытый в землю, который вошел в его тело, как вертел, под мышки его прокололи еще двумя такими же стержнями. Вокруг него подожгли хворост, и запылал огромный костер, однако его лишь поджаривали, но не сжигали. Когда кожа его вздулась пузырями, огонь отодвинули в сторону, и ему влили в глотку смесь из азотной кислоты, соляной кислоты и раствора сулемы, которая прожгла все его нутро, и он стал корчиться от нестерпимой боли. Потом принялись стегать его по задней части, обожженной и покрытой пузырями, докрасна раскаленным бичом, скрученным из железной проволоки. Ему обмазали голову смолой и дегтем, которую и подожгли. К его половым частям привязали разбрасывающие искры шутихи. Потом стали его скоблить раскаленными щипцами и сдирать кожу с плеч, с локтей, с бедер и с лодыжек; грудь и живот ему натирали тюленьей кожей и, расцарапав до крови, тут же смачивали раствором Смита и спиртом; ногти у него наполовину вырвали и всунули под них острые шипы; отставшие от тела ногти стали напоминать окна в портняжном заведении, приоткрытые в праздничный день. Потом рассекли кисти рук вдоль пальцев до самого запястья. Пальцы на ногах вырвали с корнем и оставили висеть на клочках кожи. В довершение всех пыток стали медленно водить по всему его телу, с ног до головы, пламенем масляной лампы, над которой выдувают пузыри из стекла, постепенно сжигая за членом член. Наконец сердце его не выдержало, и он умер.

Торжествуйте, женщины, таков был конец бичевателя, все эти пытки придумала женщина, дабы отомстить за себя и за свою служанку!

Я уже сказал вам и еще раз напомню, что Диаманта приобрела величайшее доверие своей госпожи. Джулиана не сомневалась, что она невинная девушка. Она сделала ее своей камеристкой, поручила именно ей надзирать за мной и удовлетворять всем моим нуждам. Вы можете себе представить, какую радость испытали мы оба при встрече,— совсем как три брата, которые разбрелись в разные стороны в поисках счастья, каждый своей дорогой, а к концу года встретились, ибо дороги их вновь скрестились, и братья

[1] Он не был найден *(лат.)*.

стали рассказывать друг другу обо всем встреченном на пути; так и мы — долгое время порознь искали счастья и теперь с нежностью поведали один другому о своих злоключениях.

Чуть не каждые шесть часов маркиза посещала меня и пресытила до тошноты. Мне было ясно, что если только не удастся каким-либо чудесным образом вырваться отсюда, я неизбежно погибну от истощения, как умирают от недостатка мясного питания. Я терял последние силы, уже был на пороге смерти, и у меня не оставалось надежды на спасение.

Дни проходили за днями, и уже был недалек мой смертный час. Но вот все начали готовиться к празднику святого Петра. В этот день в Риме совершается величайшее торжество: является испанский посол и презентует папе белую, как молоко, лошадку испанских кровей, она без приказания становится на колени перед папой в знак покорности и глубочайшего почтения, и папа ставит ногу ей на спину, словно на бревно. При этом посол преподносит папе великолепный кошель длиной в добрый ярд, битком набитый динариями святого Петра. Все это время раздаются звуки нестерпимой для слуха музыки; пышно разодетые певчие в богатых головных уборах выводят ноту за нотой хриплыми голосами, точь-в-точь нищие на паперти.

Налицо были все клирики и пономари, даже мулы и лошади в великолепных попонах, принадлежавшие кардиналам, принимали участие в торжестве. Папу, в праздничном облачении и во всех регалиях, понесли по Борго, главной улице Рима, в дом посла, где должен был состояться обед; туда же последовала и вся его свита. У поэта не хватило бы жизни, чтобы описать это пиршество,— столько там было роскошных яств.

На это празднество Джулиана явилась в образе ангела. Она восседала на носилках под зеленым вышитым балдахином, имевшим форму дерева и приподнятым со всех сторон; ее несли четверо мужчин в длинной одежде из рытого бархата, на коем были вышиты розы и жимолость. По углам балдахина стояли четыре круглые хрустальные клетки, где распевали соловьи. Вместо ливрейных лакеев по сторонам носилок шли четыре девушки в батистовых платьях и играли на лютнях.

Впереди шагали в строгом порядке попарно сто пажей, одетых в белый креп и в длинных плащах из серебряной парчи. Каждый из юношей в белом нес изображение Джулианы, обрамленное белыми страусовыми перьями, вроде опахал, что носят над принцессами крови во время летних путешествий, дабы защитить их от зноя и солнца. Перед пажами шли восемьдесят карлиц, которых содержала Джулиана; они были в зеленых платьях и рассыпали по дороге травы и цветы. Позади носилок тащились слепцы, ка-

леки и хромые, разодетые, как лорды. Так прошествовала она в собор святого Петра.

Interea, quid agitur domi? Что же происходило в это время дома? Моя возлюбленная осталась при мне стражем, ей доверены были все ключи, она оказалась хозяйкой — fac totum![1] Войдя в заговор против маркизы, мы живо прибрали к рукам ее драгоценности, столовое серебро и имевшиеся в наличности денежки и понесли куда глаза глядят. Короче говоря, мы здорово ее ограбили и были таковы. Quid non auri sacra fames?[2] Какое бесчестие не нуждается в золотом эликсире? Человек, создавший поговорку: «Pro aris et focis»[3] — допустил ошибку; следовало бы сказать: «Pro auro et fama» — не за алтари и очаги надо бороться, но ради денег и славы.

Быстрей гребной галеры и даже ветра мы помчались, удаляясь от берегов Тибра. Многие славные игроки в кости побились бы об заклад на все свое достояние, что невозможно так легко избегнуть казни. Уже и след наш простыл, когда маркиза вернулась с празднества. Войдя к себе в дом, она увидела, что там недостает и вещей и людей, поставцы и буфеты открыты для проветривания, а меня и моего стража нет и в помине.

О! Тут она впала в бешенство, будто исступленная вакханка! Она топала ногами, вращала глазами, билась головой об стену, царапала себе лицо, рвала на себе волосы, клочьями ее волос был усеян весь пол. Когда ей попадались на глаза служанки, она колотила их и расшвыривала во все стороны; посылала их в погоню за нами, приказывала разыскать нас, хотя они не знали, куда мы направили стопы, кричала, что они будут навеки прокляты и она прогонит их с глаз долой, ежели они не разыщут нас.

Когда ярость ее естественно стала остывать, у нее начала раздуваться грудь после припадка истерического бешенства, и ей стало очень худо. Тогда она позвала одну из служанок и приказала поскорей достать в ее поставце на верхней полке флакон со спиртом и принести ей. Девушка впопыхах по ошибке схватила стоявший рядом флакон с ядом, который Диаманта сберегала для меня. Когда она опрометью примчалась в спальню, то ее хозяйка в глубоком обмороке лежала на полу, без признаков жизни. Девушка вскрикнула от ужаса и принялась изо всех сил ее растирать и тормошить. Однако это нимало не помогло; тут, вспомнив о спирте, за коим она была послана, будучи наслышана, что это могучее средство, способное даже оживить умершего, она раздвинула Джу-

---

[1] Букв.: Делай все *(лат.)*.
[2] Букв.: Что это такое, как не священная слава золота? *(лат.)*
[3] За алтари и очаги *(лат.)*.

лиане зубы ключом, схватила флакон, не подозревая, что там яд, влила ей в глотку изрядную порцию и стала похлопывать ее по спине, дабы жидкость поскорей на нее воздействовала. На мгновение яд ее оживил, но тут же она была сражена насмерть, получив возмездие. Она открыла глаза, подняла кверху руки и, не произнеся ни слова, умерла.

У девушки от страха душа ушла в пятки, и она ожидала самого худшего. Я слыхал, что папа сжалился над нею и, ввиду того что она совершила преступление не предумышленно, но по неведению, велел подвергнуть ее лишь такому наказанию: заставить ее выпить все, что осталось в флаконе, и отпустить на все четыре стороны.

Тем временем мы продолжали свой путь, даже не подозревая о том, что наш побег имел столь ужасные последствия; но когда кто-нибудь шел позади нас, нам казалось, что он вот-вот нас схватит. Пуганая ворона, как говорят, и куста боится, и когда ветерок шелестел в придорожных кустах, я уже хватался за рапиру.

Веселый ветер быстро домчал нас до Болоньи; мы там поселились на глухой улочке, вдали от городского шума, и долгое время скрывались от людских взоров. Но когда мы удостоверились, что достигли тихой пристани, что буря улеглась и нас не разыскивают, мы стали смело ходить по улицам.

Однажды мы услыхали, что состоится казнь убийцы, преступлениями превзошедшего Каина, и присоединились к толпе любопытных, не опасаясь осквернить свой взор картиной казни.

И что же! Оказалось, что сей преступник не кто иной, как Катуольфо, истасканный, крохотного роста сапожник с морщинистым лицом, родной брат итальянца Бартоло, сообщника Ездры из Гранады, совершившего насилие над Гераклидой, того самого Бартоло, что похитил мою возлюбленную.

Признаюсь, что меня не так уж интересовало, сколько он совершил преступлений, но мне хотелось кое о чем услыхать из его уст перед тем, как он будет подвергнут колесованию.

Не сомневаюсь, что у вас брызнут слезы из глаз, ибо до сих пор я еще не повествовал вам о столь трагических происшествиях. Дивны и непостижимы суды божьи, и здесь они будут явлены во всей своей славе. Целомудренная Гераклида, твоя кровь сберегается в небесной сокровищнице, она принесла плоды, ни одна ее капля не пропала даром. Если пролить воду, она вся целиком уходит в землю, но пролитая кровь воспаряет к небесам. Она громко вопиет к богу и не умолкает, доколе он не совершит отмщения. И не только кровь безвинно убиенного человека, но и душа его, поднявшись к престолу всевышнего, неустанно взывает к нему, моля о справедливом возмездии.

О люди с чистой душой, коим ежечасно грозит насилие! Не впадайте в отчаяние и не досаждайте всевышнему своими мольбами,— внимательно вглядитесь в картину, какая сейчас развернется перед вами, и вера ваша окрепнет. Все причиненные вам несправедливости, беды и оскорбления откройте взору пелицеприятного всемогущего Судии, и, поверьте, когда терпение ваше истощится, он окажет вам сугубую милость.

Но все это лишь пояснения к тексту.

Вот как начал Катуольфо свою дерзостную речь:

— Вы, господа и простой народ, что пришли, точно на праздник, глазеть, как будут терзать на колесе мою злосчастную плоть, не думайте, будто перед вами какой-то жалкий негодяй, который станет каяться, скулить, плаксивым голосом читать молитвы и все-таки угодит на колесо, где его разорвут на клочки. Я ростом мал, но духом велик. В моем теле живет душа Юлия Цезаря, перевоплотившегося в меня. Имя мое—Катуольфо, и по своему занятию я не более не менее, как сапожник, бедный сапожник из Вероны. Сапожник — человек, но ведь и король не более, чем человек.

Сейчас меня привели сюда, дабы переломать мне кости (что ж, все мы смертны!) за то, что я умертвил короля убийц Ездру из Гранады. Года два назад в Риме он убил на улице моего старшего и единственного брата по имени Бартоло, поссорившись с ним из-за куртизанки. Когда мне сообщили об этом, я сидел в своей мастерской под навесом, заколачивая гвозди в подметку. От гнева у меня прямо-таки дыбом встали волосы. Я продал сапожную мазь, щетки, бочонок с ваксой и шило, купил рапиру и пистолет и пустился в путь. Целых двадцать месяцев преследовал я его, таскаясь вслед за ним из Рима в Неаполь, из Неаполя в Гаэту (что по ту сторону реки), из Гаэты в Сиену, из Сиены во Флоренцию, из Флоренции в Парму, из Пармы в Павию, из Павии в Сион, из Сиона в Женеву, из Женевы обратно в Рим. По дороге туда мне посчастливилось встретиться с ним здесь, в Болонье, и я расскажу вам, как было дело.

Проходя по улице, я увидел, что невдалеке отчаянно дерутся несколько человек; так и мелькали шпаги. Подойдя поближе, я спросил, кто это такие, и мне ответили, что это знаменитый бандетто Ездра из Гранады. О! При этих словах у меня екнуло сердце и стало бешено прыгать в груди, руки зачесались, судорожно сжались пальцы, ноги так и заплясали, и я не помнил себя от радости. Между тем драка закончилась. Я подумал, что лучше мне не бросать ему вызов на улице (разве я справлюсь с этаким быком?), но подстеречь его и застигнуть врасплох.

Я крался за ним по пятам до его жилья, всю ночь пролежал у порога, через который он переступил, опасаясь, как бы он не

ускользнул от меня. Поутру я позвонил и, когда мне отворили, сказал, что мне нужно поговорить с Ездрой. Меня проводили до его комнаты. Я постучал в дверь. Он вскочил в одной рубашке и впустил меня, а потом велел мне запереть дверь.

«Чего ты притащился?» — спросил он и скользнул под одеяло.

«А вот чего я притащился,— отвечал я.— Тебя зовут Ездра из Гранады, не так ли? Два года назад в Риме, на улице, ты вероломно убил моего брата Бартоло, и я явился отомстить за него! Разыскивая тебя, с тех пор я прошагал три тысячи миль. Почти все время я просил милостыню на пути, ибо не хотел возвращаться домой за деньгами, боясь потерять время. Теперь ты лежишь раздетый, и ты в моей власти. Ты должен умереть, хотя моя мать и бабушка на смертном одре заступились за тебя. Я поклялся сатане, что не пройдет и часа, как передам ему в лапы твою душу,— и ни за что не изменю своей клятве! Я пущу пулю тебе в сердце. Не моргни, не пикни, не шелохнись, а не то тебе будет еще хуже».

«Не знаю, как тебя звать,— сказал Ездра,— но раз уж я попал тебе в лапы, я дам тебе, сколько ты потребуешь, золота, только пощади меня! Подвергни меня каким угодно пыткам,— я готов все вытерпеть,— только не убивай меня! Отруби мне руки и ноги и забрось меня, жалкого калеку, в какой-нибудь омерзительный лазарет, чтобы мне прожить еще год, принести покаяние и отмолить грехи. Меня преследует день и ночь образ твоего брата, угрызения совести, как ядовитый червь, точат мне душу, и эти муки уже служат для меня достаточной карой. Если ты пошлешь меня в ад, он не будет ужасней того ада, что в моем сердце.

Какая это будет месть, ежели ты сразу покончишь со мной, убийство будет скоро позабыто. Дай мне умереть медленной смертью, и это надолго останется в памяти людской. Медленная смерть окажется на пользу моей душе, но будет сопровождаться самыми ужасными телесными страданиями. Для спасения души я молю о телесных муках! Не уподобляйся дьяволу. Зачем тебе мучить мою душу и обрекать меня на вечную погибель? Твоя шпага, занесенная надо мной, заслонила небо от моих глаз. Я не смею поднять взор, каждый миг ожидая смертельного удара. Я не могу одновременно молиться богу и молить тебя о пощаде. Увы мне! Я уже читаю свой смертный приговор в твоих сдвинутых грозно бровях! Ты хочешь меня убить, но я молю тебя, подари мне жизнь! Нет ничего губительней ужаса, который внезапно нападает на человека, он выводит из строя все его чувства. Яд, преподнесенный в сахарных пилюлях, лишь наполовину яд; страх смерти ужаснее смертельного удара. Когда я смотрю в глаза смерти, вера моя умирает: ежели человек чего-либо страшится, он целиком этим поглощен. Надежда никогда не родится из страха. Разве я могу

надеяться, что небесный отец избавит меня от вечного огня, ежели он обрек меня огню твоей ярости?

Гераклида, мне вспомнились твои слезы, капавшие на пыльный пол, твои слезы, не смягчившие моего свирепого сердца. Отмщая за тебя, господь окаменил сердце этого человека, и он не хочет мне внимать. Но все же я не убил тебя, хотя своей рукой, как мясник, перерезал горло сотням людей.

Знайте же, благородный синьор, как ужасно отягощать свою совесть таким преступлением, как убийство,— тень убитого вами человека будет тревожить вашу дрему, ваши сны, отравлять вам одинокие прогулки, вселяя в сердце тревогу; вы будете пугаться днем своей собственной тени. При виде обнаженного оружия вы будете думать, что оно должно вас пронзить.

Душа смертоубийцы — это дом, разделившийся сам в себе; совесть, грозный обвинитель, обличает его, призывая в свидетели против него оба глаза, а ведь показания двух свидетелей неоспоримы. Если хочешь, вырви у меня глаза и лиши мою преступную душу двух главных свидетелей. Отруби кинжалом мой богохульный язык,— я с радостью откажусь от языка и от глаз, лишь бы получить время для размышлений о вечной жизни.

Прошу тебя, отсрочь свою кару, я еще не примирился с людьми, не далее как вчера я затеял драку и в ярости грозился отомстить своим врагам. Если бы я дерзнул попросить у них прощения, то я мог бы надеяться, что мне отпустится половина моих грехов. Сотни чертей день и ночь преследуют меня за мои ужасные преступления. Если я умру, они не захотят идти вместе со мною в ад,— ведь некогда они просили Христа не посылать их до времени в преисподнюю,— и вот они вселятся в тебя и станут беспощадно тебя терзать за то, что ты их изгнал из их обиталища. Я презираю раны. Жизнь не имеет для меня цены, но мне внушает ужас мысль об участи, ожидающей меня за гробом: вечные муки, неумолкаемые вопли и скрежет зубовный! Не от смерти я молю тебя избавить меня, но от страха вечных мучений! Я сгоряча пронзил шпагой тело твоего брата, его душе я не хотел причинить вреда; но ты погубишь сразу и тело мое, и душу, ежели сейчас осуществишь свою месть. Заклинаю тебя, пощади меня, пощади! Ради спасения твоей души, молю тебя, не обрекай мою душу на вечную гибель: ежели ты меня погубишь, тем самым ты погубишь и самого себя!»

Выслушав его долгую речь, полную мольбы, я гневно промолвил:

«Будь я даже уверен, что бог не смилуется надо мной, если я не смилуюсь над тобою, все равно я не помиловал бы тебя. Во всех тяжких случаях жизни ад помогает мстителю, и я ожидаю, что ад куда скорее, чем небо, поможет мне совершить отмщение.

Нет небесной жизни, но есть отмщение. Уверяю тебя, я не обрек бы себя таким трудам и мукам, чтобы попасть на небо, каким я себя обрек, пустившись в погоню за тобой, дабы тебе отомстить. Что мне отмщение с небес! Оно никогда не удовлетворит меня, как не удовлетворит и небесное блаженство.

Взгляни на мои ноги, они в кровавых язвах, ибо я гонялся за тобой из одного города в другой. Я сорвал себе голос, неустанно тебя проклиная. Я обеззубел, ибо всякий раз при звуке твоего имени так неистово скрипел и скрежетал зубами, что стер их в порошок. Мой язык от бесплодных угроз распух, и ему тесно у меня во рту. Мои глаза выкатились из орбит, ибо всю ночь я их отчаянно таращил и грозно вращал, стараясь изобразить, какое у меня будет лицо, когда я заговорю с тобой. Мои силы подорваны, ибо я то и дело рубил и колол каменные стены, воображая, что убиваю тебя. Прекрати свои мольбы! Никакое чудо не избавит тебя от кары, злодей! Итак, я проколю тебе шпагой утробу!»

«Стой! Стой! — воскликнул Ездра.— Дай мне сказать одно слово! Отсрочь ненадолго свой карающий удар и поручи мне совершить какое-либо чудовищное, неслыханное злодеяние, кое потрясет весь христианский мир и оглушит всех людей на свете. Повели мне перерезать глотку всей моей родне, поджечь глубокой ночью города, чтобы сгорели в постелях миллионы мужчин, женщин и детей. Если тебе ненавистен папа, император или турецкий султан, ни одному из них не сносить головы! Ради тебя я готов проклинать бога и отречься от веры, готов отвергнуть благодать крещения и все другие таинства. Только оставь меня в живых,— пусть я буду прозябать в каземате среди жаб, змей и гадюк или сидеть по горло в навозе. Я готов вытерпеть все муки на свете, лишь бы получить отсрочку и передышку, дабы очистить свою душу. О, послушай, послушай меня! Ты не можешь не сжалиться надо мной!»

Его отчаянные мольбы заставили меня остановиться. Не то чтобы я отменил свое грозное решение, нет, я лишь собирался с мыслями и силами для осуществления своей мести. Я ломал себе голову, придумывая, как бы мне вдвойне покарать его за все его гнусности. Я старался изобрести какой-либо новый неимоверный сатанинский подвох, который погубил бы не только его тело, но и душу.

И вот какие у меня были основания. Он обещал ради меня проклясть бога и отречься от веры и совершать злодеяния, достойные Юлиана Отступника. Если бы он и впрямь все это исполнил, то, пожалуй, я был бы удовлетворен, ярость моя утихла бы, и я мог бы отпустить его. Нет! Прежде всего — и это главное — он должен отречься от бога, отвергнуть его законы и окончательно, навеки отказаться от всяких надежд на спасение. Затем он

должен проклясть сам себя, как советовала сделать Иову его жена, и решительно завещать свою душу дьяволу, без всяких оговорок и проволочек. Наконец, исполнив все это, он должен воззвать к богу, умоляя его ни в коем случае не оказывать ему милосердия и не прощать его.

Не успел я изложить ему свои требования, как он начал изрыгать кощунства и отрекаться от бога. Удивляюсь, как это не разверзлась земля и не поглотила нас обоих,— в столь ужасных словах он обрушивал проклятия на христианскую веру. Как только не сразил его гром небесный за чудовищные оскорбления, коими он осыпал всевышнего! Казалось, внимая им, святые и мученики должны были встать из гробов и сам Христос должен был сойти с престола, где он восседает одесную отца.

От его чудовищных проклятий у меня тряслись все поджилки, волосы встали дыбом и сердце словно расплавилось в адском огне. Он с таким пылом и рвением предавался богохульству, словно сатана уже взял верх над нашим творцом. Он смело пронзил на левой руке вену, которая ведет прямо к сердцу, и когда оттуда хлынула кровь, обмакнул в нее перо и написал на листке, что бесповоротно завещает свою душу дьяволу. Да, он с бóльшим усердием молил бога ни в коем случае его не прощать, нежели христиане молят творца спасти их душу.

Когда он закончил эти чудовищные церемонии, я приказал ему как можно шире разинуть рот. Он так и сделал (чего только не сделает от страха негодяй!). Тут я без дальнейших разговоров выпустил ему в горло полный заряд из пистолета. Больше он не вымолвил ни слова. Я сразил его наповал, чтобы он уже не мог ни говорить, ни раскаяться. Труп его сразу же почернел и стал такого же цвета, как жаба: дьявол отметил его своим клеймом.

Вот по какому случаю очутился я здесь. Всякий истинный итальянец должен воздать мне честь за мое деяние. Отмщение увенчивает славой воителя и является высочайшим подвигом доблести. Отмщение — это самая сущность закона и справедливости. Чем яростней мы осуществляем отмщение, тем ближе становимся к престолу всемогущего. Он совершает отмщение своим карающим жезлом. И сей жезл он порой вручает человеку, предоставляя ему покарать его врага. Все истинные итальянцы должны мне подражать! Непрестанно мстите и учитесь мужественно умирать! Палач! Делай свое дело! Я готов вытерпеть все пытки!

Тут весь народ в неописуемом негодовании завопил в один голос:

— Смерть ему! Смерть ему! Палач! Терзай его! Раздирай его!.. Ежели ты его пощадишь, мы растерзаем тебя на клочки!

Палач не нуждался в поощрениях, ибо он был прирожденным

членовредителем и стал опытным мастером заплечных дел. Одним ударом деревянного ножа он пронзал человеку сердце и вылавливал его из груди так же легко, как мы вылавливаем сливу из миски с овсяной кашей. Он переламывал человеку шею так же быстро, как повар разбивает яйцо. Скорей, чем скрипач поворачивает на грифе колок, он сворачивал человеку челюсть. Он лихо взялся за дело, и затрещали кости Катуольфо, как барабанная дробь. Он не сразу их ломал, но, как шорник заколачивает гвозди в седло, он быстрыми ударами молотка вправлял на место вывихнутые члены. Каждый сустав он специальным топориком наполовину разламывал и заливал зияющие раны расплавленным свинцом, останавливая кровь. Он вырвал Катуольфо язык, дабы он не кощунствовал под пыткой. Он засовывал ему в уши ядовитых червей, чтобы вызвать у него мучительный бред, разрезанными на куски гусеницами он натирал ему рот и десны. Каждый член он медленно рассекал на куски. Катуольфо на колесе испытывал неописуемые, адские муки. Он был еще жив и видел, как клочки его мяса разлетаются по ветру.

Полна непостижимых тайн книга судеб человеческих! Одно преступление порождает другое. От первых дней творенья до сего времени пролитая на землю кровь всегда зачинала новые преступления.

Ужасающая трагедия, разыгранная Катуольфо и Ездрой, подействовала на меня угнетающе и не на шутку устрашила. Все сие вызвало во мне перелом, и я решил вступить на честный путь: еще до отъезда из Болоньи я женился на своей возлюбленной и стал щедро раздавать милостыню. Я поспешил покинуть Содом, называемый Италией, и через каких-нибудь сорок дней уже прибыл во Францию, в лагерь английского короля, расположенный между Ардом и Гинэ, где его величество с величайшей пышностью принимал императора и французского короля, оказывал им гостеприимство и пировал с ними много дней.

Я начал свой рассказ, описывая пребывание короля в Турне и в Теруане, и решил его теперь закончить, описав пребывание того же короля в Арде и в Гинэ. И вот какими словами я завершу свою повесть: ежели хоть кому-нибудь понравилось мое сочинение, сие вдохновит меня на дальнейшие труды в том же духе. А ежели нет, то я поклянусь на томе английских хроник, что более никогда в жизни не буду писать хронику иноземных деяний. Прощайте и будьте счастливы!

ПРИМЕЧАНИЯ

«ЖИЗНЬ ЛАСАРИЛЬО С ТОРМЕСА»

Повесть «Жизнь Ласарильо с Тормеса», судя по дошедшим до нас изданиям, увидела свет в 1554 году в типографиях Бургоса, Алькала-де-Энарес и Антверпена. На титульном листе ни одного из этих изданий имени автора повести не значилось. Когда был написан «Ласарильо»? Кто является создателем книги? Существовали ли какие-нибудь более ранние ее издания? Какое из трех сохранившихся можно рассматривать как editio princeps — первоначальное издание, достоверно воспроизводящее авторский текст? На все эти вопросы история литературы может дать лишь предположительные ответы, что объясняется не столько неразработанностью проблемы — о «Ласарильо» написано множество работ,— сколько своеобразным характером самого произведения, предвосхищающего основные черты литературы нового времени с ее ярко выраженным пафосом личностного самосознания и вместе с тем еще тесно связанного с традиционно-фольклорным типом творчества.

Из фольклорной традиции автор «Ласарильо» заимствовал не только отдельные образы и мотивы — прежде всего образы слепца и мальчика-поводыря, известных как персонажи одного французского фарса XIII века. Возможно, сюжет фарса проник в Испанию с бродячими кукольными театрами или через иллюстрации: на полях одной рукописи XIV века было обнаружено изображение слепца и мальчика, причем в ситуациях, целиком совпадающих с отдельными эпизодами «Ласарильо»,— мальчик, пьющий через соломинку вино из кувшина, который прижимает к себе слепец, мальчик, проделывающий дырку в бурдюке. Анонимность повести, равно как отсутствие конкретного автора у фольклорного произведения, как бы предполагала активное соавторство читательской аудитории в сотворении образа героя, по всей видимости существовавшего в народном воображении, в анекдотах, поговорках, присказках, еще до того, как автор повести взялся за перо. И когда речь идет о генезисе повести и о текстологических проблемах, современная критика с большими оговорками применяет к «Ласарильо» критерии индивидуально-авторского искусства последних четырех веков. Как подчеркивает Х. Касо Гонсалес — создатель новейшего (1967 г.) критического издания текста

«Ласарильо», повесть эта с момента ее написания вовсе не представляла собой законченного авторского текста и еще до того, как попасть на типографский станок, долгое время ходила по рукам в списках, в которых первоначальный текст подвергался разного рода изменениям, порожденным не только неизбежными при переписке ошибками, но и творческими новациями переписчиков. В самые последние годы тот же критик, во многом видоизменив старую гипотезу Р. Фульше-Дельбоска о существовании не дошедшего до нас первоначального издания «Ласарильо», перепечатками которого являются три сохранившихся издания, выдвинул гипотезу о существовании нескольких «семей» рукописных версий повести. К одной из этих «семей» относится бургосское издание (по традиции его клали в основу большинства критических изданий повести), к другим — все прочие. Поэтому попытка выдать за первоначальное издание любой из сохранившихся текстов или реконструировать некий изначальный авторский текст должна быть признана неправомерной, равно как была бы неправомерной канонизация какой-либо из записей фольклорного произведения, существующего, как известно, во множестве вариантов.

Целый ряд критиков (А. Сикроф, Ф. Айяла и др.) полагают, что и разделение повести на главы-рассказы (tratados), и развернутые названия глав, и даже порядок расположения отдельных глав внутри повествования принадлежат не автору «Ласарильо», а его добровольным «редакторам» и издателям: как иначе объяснить диспропорцию в объеме разных глав повести — бросающийся любому читателю в глаза развернутый характер первого, второго, третьего, пятого и седьмого рассказов и сжатость и схематизм четвертого и шестого?

С другой стороны, анонимность повести может быть расценена и как демонстративный жест пожелавшего скрыть свое имя писателя, как одна из сторон его глубоко оригинального творческого замысла, сводящегося к тому, чтобы заставить героя самого рассказывать о своей жизни, что было совершенно неизвестным приемом в повествовательном искусстве XVI века. «Вопрос об источниках «Ласарильо»,— пишет по этому поводу А. Кастро,— будет иметь второстепенное значение до тех пор, пока мы не соотнесем его с творческой установкой автора... Иначе не объяснить принятого писателем решения — взять за шиворот своего ничего из себя не представляющего героя и выставить его на всеобщее обозрение. Обыденная жизнь — нечто, полностью противоположное героическому деянию,— здесь повествует о себе самой. Таково было гениальное решение... И для того чтобы как-то сгладить подобную дерзость, истинный автор остается в тени. Автобиографичность «Ласарильо» и его анонимность — две стороны одной медали».

Однако, если анонимность повести вовсе не является помехой для восприятия ее во всей полноте авторского замысла и даже, если стать на точку зрения А. Кастро, в этот замысел входит, вполне оправданным остается любопытство потомков, желающих узнать, кто же все-таки был творцом этого шедевра.

Первые попытки раскрыть тайну имени автора «Ласарильо» относятся к началу XVII века. В 1605 году Хосе де Сигуэнса в своей истории ордена святого Иеремии указывает на настоятеля ордена Хуана де Ортега как на творца «Ласарильо», сочиненного якобы Ортегой еще в молодости, во время обучения в Саламанкском университете. В 1607 году библиограф Валерий Таксандр в своем каталоге книг испанских писателей приписывает авторство «Ласарильо» другому современнику Карла V — известному писателю-гуманисту, поэту, историографу и дипломату Диего Уртадо де Мендоса (1503—1575). И хотя атрибуция Таксандра была практически ничем не подтверждена, именно его версия легла в основу историко-литературной легенды, на протяжении веков связывающей имя Уртадо де Мендоса с «Ласарильо». В конце XIX века французский ученый-испанист А. Морель-Фасьо почти неопровержимо доказал несостоятельность мнения Таксандра, хотя кандидатуру Мендосы в авторы «Ласарильо» поддерживают и в наши дни такие критики, как А. Гонсалес Паленсиа, Э. Меле. Вместе с тем М. Батайон — создатель множества трудов, посвященных испанскому плутовскому роману и, в частности, новейшего фундаментального исследования о «Ласарильо» — вновь поднял вопрос о Хуане де Ортега как возможном сочинителе повести. Кроме Диего Уртадо де Мендоса и Хуана де Ортега, в качестве гипотетических авторов «Ласарильо» критики называли и называют имена Лопе де Руэда (мало обоснованное мнение Ф. де Хаана), Себастиана де Ороско, в одном из эпизодов своего «Кансьонеро» выведшего на сцену Ласарильо и его первого хозяина (гипотеза Х. Сехадора-и-Фрауки), Хуана де Вальдес, чьи взгляды на язык прекрасно иллюстрируются стилистикой «Ласарильо» (точказрения М.-Х. Асенсио), Эрнана Нуньеса де Толедо (недавно выдвинутое предположение А. Рюмо). Ни одну из этих гипотез нельзя считать доказанной. Единственное, что можно сказать достоверно об авторе «Ласарильо»,— то, что он принадлежал к группе религиозных вольнодумцев, появившихся в Испании в первой половине XVI века, людей, увлекавшихся религиозными и социальными вопросами, читавших Эразма Роттердамского и весьма скептически относившихся к господствующим церковным догмам. «Ласарильо» по сути дела являет собой развернутое пародийное отрицание понятия «чести» — краеугольного камня официальной идеологии, а для автора его не существует представления о «святости» и «неприкосновенности» Священного писания (текст повести полон пародийными аллюзиями на те или иные места из Библии).

Столь же спорным, как вопрос об авторстве, остается вопрос о времени написания «Ласарильо», ответить на который можно лишь основываясь на имеющихся в самой повести ссылках на те или иные исторические события или реалии. Таких ссылок в книге всего две. Во-первых, это одна из заключительных фраз повести, гласящая: «Все это случилось в тот самый год, когда победоносный наш император вступил в славный город Толедо и созвал кортесы» (с. 64). Во-вторых, в первом рассказе речь идет об отце Ласарильо, павшем «за веру в походе на Джербу» (с. 27). Но оба указания страдают извест-

ной неопределенностью. «Победоносный император» — Карл V, правивший Испанией с 1517 по 1556 год,— дважды собирал в Толедо кортесы — совещательную палату представителей знати, духовенства и городов: в 1525 и в 1538 годах. О каких кортесах говорится в повести? Если о первых, то следует сделать вывод, что повесть написана где-то в 20-х годах XVI века, если о вторых, то время ее создания 40-е годы. И походов на Джербу — остров, расположенный в заливе Габес у побережья Туниса и населенный берберийцами, также было два: один состоялся в 1510 году, другой — в 1520-м; первый был для испанцев весьма неудачным, второй завершился их победой. Поэтому и этот намек на временной отрезок, в котором протекает действие повести, мало что дает для уточнения заключительной фразы. К более ранней датировке повести склоняются такие ее комментаторы и исследователи, как Ч.-Ф. Вагнер, Х.-М. Асенсио, М. Батайон (в ранних работах); версию о написании «Ласарильо» в 40-е годы поддерживают Х. Сехадор-и-Фраука, М. Батайон (в последних трудах), Ф. Рико, А. Изази Ангуло и другие.

Хотя в случае с «Ласарильо» мы имеем дело с неокончательно сложившейся художественной структурой, повесть в целом не оставляет впечатления композиционного хаоса. И немаловажную роль в организации ее эстетической целостности играют сквозные темы и перекликающиеся мотивы, такие, как тема «голода», объединяющая три первых рассказа, как мотив исцеляющего Ласарильо «вина», который проходит через всю книгу, как тема «смерти — воскрешения» Ласарильо. Все эти темы связаны со специфической символикой и образностью, во многом ускользающими от взгляда современного читателя, способного, скорее, уловить социально-критический аспект повествования. Для читателя же XVI века образ Ласарильо еще многим напоминал травестированный сакральный образ умирающего и воскресающего героя, перенесенный на почву испанской действительности первой половины XVI века. Одно из ярких тому свидетельств — 259-й сонет Луиса де Гонгора, в котором есть такие строки (даем их построчный перевод):

Мертвого, меня оплакал Тормес, когда я
на берегу его лежал в глубоком сне...
Мое воскрешение было таким же чудом,
каким было возвращение Лазаро в мир,
так что я теперь — второй
Ласарильо с Тормеса в Кастилии...

Жизнь Ласарильо у трех первых хозяев — цепь «смертей» и «воскрешений», приводящих к тому, что в Ласарильо окончательно умирает наивно-природное восприятие мира и рождается Ласаро, готовый принять окружающую лицемерную реальность и жить как «добрые люди».

Но в еще большей степени, нежели сквозные темы и образы, структурное единство повести обуславливает принятая автором форма повествования от первого лица, позволяющая ему изобразить мир в перспективе мировосприятия героя-повествователя, с одной стороны, и героя — действующего

лица, с другой, сохранив при этом свою особую точку зрения на описываемые события. Именно эта композиционная сложность повести, игра «точек зрения», и отличает ее от внешне схожих с ней собраний анекдотов, циклизованных вокруг образа главного героя, например, от «народной книги» о Тиле Уленшпигеле.

Самый вероятный литературный прообраз «Ласарильо» в этом смысле — «Метаморфозы, или Золотой осел» Апулея, первый испанский перевод которого вышел в Севилье в 1513 году. Возможно также, что для генезиса повествовательной формы повести имела значение и эпистолярная традиция, поскольку «Ласарильо», по точному определению критика К. Гильена, представляет собой не что иное, как «рассказанное письмо» (epístola hablada) — подробнее об этом см. прим. к с. 24.

Популярность «Ласарильо» после выхода его в свет в 1554 году была весьма велика, и несмотря на то что в 1559 году книга была включена в список запрещенных книг, судя по имеющимся данным, она продолжала распространяться в списках, издаваться за границей (уже в 1555 г. в Антверпене вышло ее второе издание, а также «продолжение» — анонимная «Вторая часть», написанная якобы автором первой), переводиться на другие языки... В 1573 году секретарь Филиппа II Хуан Лопес де Веласко издает переделку повести — так называемого «Исправленного Ласарильо», в котором опущены главы о монахе ордена Милости и о продавце папских грамот. В 1620 году в Париже выходит продолжение повести, принадлежащее перу Х. де Луна.

В обоих продолжениях «Ласарильо» — и в антверпенском 1555 года, и в парижском — действие переносится в более фантастическую обстановку, нежели та, что дана в самой повести. В издании 1555 года Ласаро, отправившийся в Алжир, терпит кораблекрушение и намеревается добыть сокровища, обнаруженные им на морском дне. Его вылавливают рыбаки и возят по Испании, выставляя для всеобщего обозрения как человека-рыбу. Затем Ласаро возвращает себе первоначальный облик и переживает ряд приключений, заканчивающихся его очередным фиаско.

Х. де Луна при написании «Второй части» ориентировался как на самого «Ласарильо», так и на его антверпенское продолжение. Так, в начале книги Ласаро в качестве городского глашатая принимает участие в празднествах по поводу въезда императора в Толедо (так намечается сюжетная связь с заключением «Ласарильо»); затем он спасается при кораблекрушении благодаря большому количеству выпитого вина (еще раз сбывается предсказание слепца) и превращается в рыбу-тунца, после чего действие развивается в условно-аллегорическом русле.

В подражание «Ласарильо с Тормеса» был написан «Ласарильо с Мансанареса» (1620) Хуана Кортеса де Толоса.

«Жизнь Ласарильо с Тормеса» была впервые издана в России в 1775 году в переводе В. Вороблевского. В 1893 году появился перевод повести И. И. Гливенко, а в 1955-м — лучший по сей день — перевод К. Н. Державина, который и печатается в настоящем издании.

Стр. 23. *Плиний по этому поводу замечает...* — Далее следует ссылка на цитату из «Посланий» (кн. III, послание 5) римского писателя Плиния-младшего (около 62 — около 114). На это же высказывание Плиния ссылаются и другие испанские писатели «золотого века» — Сервантес в «Дон-Кихоте» (кн. II, гл. 3), Алеман в «Гусмане де Альфараче» («К читателю»), Грасиан в «Карманном оракуле» и другие.

...по каковому поводу говорит Туллий: «Почести питают искусство».— Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н. э.) — римский оратор, политический деятель и писатель-философ. Автор «Ласарильо» ссылается на изречение Цицерона, содержащееся в «Тускуланских беседах» (I,2).

...отдал свою кольчугу шуту...— В данном случае под «шутом» имеется в виду слуга рыцаря, заслуживший кольчугу в качестве награды за неумеренные восхваления доблести своего господина.

Стр. 24. *Прошу вашу милость...*— В этом обращении, неоднократно возникающем в ходе повествования, а также в тексте «Пролога», раскрывается важнейшая композиционная особенность книги, которая является по сути дела развернутым объяснительным письмом, адресованным Ласаро некоему важному духовному лицу — «вашей милости». Это духовное лицо, «слугой и другом» которого является покровитель Ласаро — настоятель храма Спасителя, по всей видимости, требует от Ласаро (см. слова Ласаро: «и так как ваша милость велит...»), чтобы тот разъяснил ему некий скандальный «казус» — «caso» в тексте, звучащее в русском переводе как малозначащее «всё» («чтобы все было описано и рассказано весьма подробно»). Суть же «казуса», как следует из содержания седьмой, заключительной главы повести, сводится к тому, что архиепископ и городской глашатай Ласаро живут дом к дому, а жена глашатая ходит к архиепископу «убирать покои и готовить обед». Для объяснения этой ситуации Ласаро и собирается рассказать его милости о всех своих злоключениях. Таким образом, уже в «Прологе» повести содержится ее развязка, или же вся повесть как бы является «производным» от запечатленной в самом ее конце ситуации. «Пролог» «Ласарильо» одновременно служит и его эпилогом.

...прежде, чем они достигли тихой пристани.— Последняя фраза «Пролога» перекликается с заключительной фразой повести —«В это самое время я благоденствовал и находился на вершине житейского благополучия», что еще раз подчеркивает циклическую композицию книги.

Стр. 25. *...зовут меня Ласаро с Тормеса...* — Имя героя повести имеет двойное значение, поскольку ассоциируется сразу с двумя евангельскими персонажами — голодным Лазарем, умирающим у дверей богача (Евангелие от Луки, VII), и с мертвым Лазарем, воскрешенным Иисусом Христом и ставшим единственным человеком, пережившим наяву и смерть и воскрешение. Каждое из этих значений имени Ласаро непосредственно связано с центральными темами и мотивами повести (см. об этом подробно во вступ. заметке). Кроме того, в народной этимологии имя Ласаро — Lázaro—связывалось с глаголом

lacerar (через lazrar), значащим «раздирать, увечить», а также «бедствовать». В современном испанском языке есть слово «lazarillo» — поводырь, непосредственно восходящее к имени героя повести.

Произошел я на свет на реке Тормесе...— В описании рождения Ласаро, а также в прозвании «с Тормеса», присоединяемом к его имени, пародируются эпизоды рыцарских романов, повествующие о таинственном, зачастую связанном с водной стихией, происхождении их героев. Пародия «Ласарильо», видимо, прежде всего обращена против самого знаменитого испанского рыцарского романа — «Амадиса Гальского», герой которого прозывался Юноша Моря.

...во всем сознался, ни от чего не отрекся...— Фраза, пародирующая слова из Евангелия от Иоанна (I, 20): «Он объявил и не отрекся», которые произносит Иоанн Креститель, возвещающий о рождении Иисуса Христа.

...и пострадал за правду.— В испанском тексте «Y padeció persecución por la justicia» — использована игра слов, поскольку «justicia» по-испански означает и «истина» и «правосудие». Отец Ласаро, в действительности, пострадал не «за правду», а от рук правосудия.

...ибо Евангелие называет таких людей блаженными.— В русле предшествующего обыгрывания двойного значения слова «justicia» Ласаро-повествователь переворачивает слова из Евангелия от Матфея (V, 10): «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (*лат.*— Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam quoniam ipsorum est regnum coeli) — таким образом, что они приобретают смысл «блаженны пострадавшие от рук правосудия».

В это время был объявлен поход на мавров...— О походе на о. Джербу см. во вступ. заметке.

...решила прибегнуть к помощи добрых людей...— В тексте «determinó arrimarse a los buenos». Аналогичную фразу произносит Ласаро в беседе с архиепископом в конце повести: «Yo determiné de arrimarse a los buenos» (в несколько вольном переводе К. Н. Державина — «в моих правилах следовать добрым советам»). Автор слов подчеркивает сходство сюжетных ситуаций, в которых находятся Ласаро и его мать: решив зажить «как люди», оба прибегают для этого к одинаковым средствам — матушка заводит любовника-конюха, Ласаро женится на содержанке архиепископа. Понятие «добрые люди»—los buenos—в этом контексте может звучать только иронически.

Командор — здесь: владелец энкомьенды, то есть доходов от взимания налогов и ренты с земли и строений. В XVI веке приход Марии Магдалины в Саламанке принадлежал ордену Алькантара.

Стр. 27. *...научил меня своей тарабарщине.*— Имеется в виду условный язык воров, нищих и бродяг.

Ни серебром, ни златом я тебя оделить не могу...— Намек на слова святого Петра (Деяния апостолов, III, 6): «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе», которые в устах слепца, да еще с измененным окончанием фразы — «зато я преподам тебе много полезных советов» (ср. в Дея-

ниях — «во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи»), звучат сниженно и профанированно.

Стр. 28. *Гален* — знаменитый римский врач (около 130—около 200).

Стр. 29. ...*подавали ему бланку*...— Бланка — старинная испанская монета, стоимостью полмараведи, или 1/64 реала.

Стр. 31. ...*потому что когда я ел по две, ты молчал*...— После этих слов в издании Алькала-де-Энарес следует эпизод, отсутствующий в бургосском издании повести.

Стр. 34. ...*несомненно обладавшего пророческим даром*.— Ласаро подразумевает, что слова слепца «если кому-нибудь на свете и посчастливится от вина, так это тебе» сбылись к тому моменту, когда он рассказывает о пережитых невзгодах: Ласаро стал городским глашатаем и получил от архиепископа жену якобы в знак благодарности за то, что он рекламировал архиепископские вина,— это входило в круг обязанностей глашатая.

Стр. 36. *По субботам в тех краях едят бараньи головы*...— Суббота была днем, в который церковь запрещала верующим употреблять в пищу мясо, за исключением голов или внутренностей животных и птиц, требухи, ножек и жира свиней.

Проскомидия — часть обедни.

Стр. 37. *И вот, находясь в такой крайности*...— Весь нижеследующий эпизод с похищением хлебцев из сундука священника представляет собой, по мнению некоторых критиков (Э. Пайпер, Ст. Хилмэн и др.), развернутую пародию на один из важнейших католических обрядов—таинство причастия (евхаристию). В этом эпизоде обещанное верующему «спасение» через причащение к таинствам святой веры приравнено к весьма натуралистической ситуации: «причащаясь» к содержимому сундука, Ласарильо спасается от реальной голодной смерти. «Сундук» (в исп. тексте — árca), проникнуть в который стремится Ласарильо, чтобы добыть священные хлебцы — «облатки», раздаваемые священником при причастии и символизирующие «плоть Христову»,— это профанированный образ ковчега со святыми дарами. Причаститься таинству веры можно лишь благодаря чуду, и такое «чудо» свершается, когда Ласарильо является «медник» — ангел, посланный «в таком обличье с небес на землю» (с. 37). И тогда Ласарильо, проникнув в сундук, зрит «в образе хлебов... лик господень», а сундук превращается для него в «хлебный рай», в котором мальчик — алтарный служка хозяйничает, как некогда «змий» в библейском раю,— недаром Ласарильо называет себя «врагом рода человеческого», а хозяин сундука — священник тщетно пытается изловить «змею», крадущую у него хлебы. Эпизод завершается «изгнанием» Ласарильо из «рая», «смертью» и возвращением к жизни — переходом к новому хозяину.

Стр. 38. «*Святой Иоанн, ослепи его!*» — Святой Иоанн считался покровителем слуг. В день святого Иоанна существовал обычай менять хозяев, на службе у которых не полагалось быть более года.

Стр. 40. ...*взяли подряд на тканье Пенелопы*...— Пенелопа — жена

Одиссея, двадцать лет ожидавшая его возвращения из дальних странствий. Отклоняя предложения многочисленных женихов, она обещала сделать выбор после того, как окончит ткать саван для отца своего мужа. Однако каждую ночь она распускала то, что успевала соткать за день, тем самым откладывая срок своего ответа.

Стр. 42. *...провел их, словно во чреве китовом...*— Лазаро уподобляет себя здесь не столько ветхозаветному пророку Ионе, прожившему три дня во чреве кита («чрево» — архаический символ «смерти», «могилы»), сколько Иисусу Христу, намекая на сравнение Христа с Ионой в Евангелии от Матфея (XII, 40).

Стр. 47. *Из тех шпаг, что сделал Антонио...*— Антонио — знаменитый толедский оружейный мастер конца XV— начала XVI века.

...близкий родственник графа Аларкоса...— В бургосском и антверпенском издании имя графа читается «Аркос» —«Arcos», что объясняется, видимо, типографской опечаткой, в результате которой исчезли первые две буквы. По предположению некоторых критиков, в этом ироническом сравнении перепутаны два героя популярных романсов — граф Аларкос и граф Кларос, поскольку именно в романсах о графе Кларосе есть описание богатого костюма героя и его тщательного туалета.

Стр. 48. *...беседовал с ним на манер Масиаса...* — Масиас, по прозванию «Влюбленный»,— галисийский поэт XV века, вокруг имени которого сложилась легенда о его гибели от руки мужа дамы, поклонником которой был поэт.

...насочинял Овидий.— Овидий Назон (43 г. до н. э. — 16 г. н. э.) — римский поэт, известный в средние века и в эпоху Возрождения прежде всего как автор эротической поэмы «Искусство любви», которая воспринималась как своеобразный любовный кодекс.

Стр. 54. *...я, как ты видишь, оруженосец...*— В испанском тексте «escudero»,— слово, которое можно перевести как «оруженосец», но являющееся одновременно и титулом, присвоенным низшему дворянству.

Есть у меня и голубятня...— Право иметь голубятню в средневековой Испании было исключительно дворянской привилегией.

Стр. 56. *Альгвасил* — младший судебно-полицейский чин в Испании XVI века.

Стр. 57. *Как Лазаро устроился у продавца папских грамот...*— Под «папскими грамотами» здесь имеются в виду папские послания (буллы), призывавшие к борьбе с маврами; приобретение грамот давало их покупателям «отпущение грехов». Сюжетно этот рассказ «Ласарильо» почти полностью совпадает с одной из новелл Мазуччо Гуардати Салернитанца — крупнейшего итальянского новеллиста XV века, что заставляет критиков предполагать возможность прямого заимствования.

Стр. 61. *Он молился не о том, чтобы господь отнял у грешника жизнь...*— Снова ироническая перифраза библейского изречения «Ибо я не хочу смерти умирающего» (Иезекииль, XVIII, 32).

Стр. 61. ...*было подстроено моим изобретательным и хитроумным хозяином.*— В издании Алькала здесь следует достаточно обширный эпизод, отсутствующий в бургосском издании.

Стр. 62. *Куэльяр* — город, в котором работал оружейник Антонио (см. прим. к с. 47).

Стр. 63. ...*я городской глашатай.*— Глашатай — «коронная служба», о которой Ласаро сообщает не без известного довольства, считалась в XVI веке одним из самых постыдных занятий. Так, например, законы того времени запрещали принимать на воинскую службу «негров, мулатов, мясников, глашатаев и палачей».

Стр. 64. ...*больше себя самого.*— Здесь в издании Алькала вставной абзац.

...*когда победоносный наш император вступил в славный город Толедо*...— См. об этом во вступ. заметке.

С. Еремина

«ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ПРОЙДОХИ ПО ИМЕНИ ДОН ПАБЛОС» ФРАНСИСКО ДЕ КЕВЕДО

Плутовской роман Франсиско де Кеведо «История жизни пройдохи по имени дон Паблос» был впервые опубликован в Сарагосе в 1626 году. Большое число опечаток и смысловых искажений в тексте этого издания говорит о том, что Кеведо причастности к нему не имел (пролог «К читателю», предваряющий книгу и написанный от лица автора, является, судя по всему, подложным). По всей видимости, издатель, некий Роберто Дюпорт, воспользовался какой-то — далеко не точно воспроизводящей авторский текст романа — рукописной копией; именно в таком виде «Пройдоха» имел хождение среди читателей в течение многих лет после его написания. В настоящее время, кроме сарагосского издания, известны три рукописных версии «Истории жизни пройдохи» — так называемая рукопись Хуана Хосе Буэно (названа по имени ее бывшего владельца), сантандерская рукопись из библиотеки филолога М. Менендеса-и-Пелайо и кордовская рукопись—все в значительной мере расходящиеся с сарагосским изданием. Вопрос о том, какая же из сохранившихся рукописей романа наиболее приближается к авторскому тексту, до сих пор остается не до конца решенным. Согласно предположению создателей новейшего критического издания Ф. Ласаро Карретера и А. Родригеса Мониньо (Francisco de Quevedo. La vida del Buscón llamado Don Pablos. Edición crítica por F. Lázaro Carreter. Salamanca, 1965), существовали две редакции романа — одна из них более ранняя, относящаяся к периоду до 1604 года, наиболее адекватно воспроизведена в рукописи Х.-Х. Буэно, сантандерская же и кордовская рукописи, вместе с сарагосским изданием 1626 года, восходят к какой-то утраченной версии, содержащей разного рода изменения, внесенные Кеведо в текст романа в 1609—1614 годах.

«Злополучный скиталец».

Опубликованный Ф. Ласаро Карретером текст романа представляет собой свод всех существующих его вариантов. Установить предположительное время работы Кеведо над «Пройдохой» помогают имеющиеся в самом тексте романа ссылки на те или иные исторические факты, сосредоточенные на достаточно конкретном отрезке времени 1600—1604 годов. Так, в VIII главе романа идет речь о различных способах завоевания Остенде — хорошо укрепленного нидерландского города и порта, осаждавшегося испанскими войсками в течение почти трех лет, с июля 1601 года до сентября 1604 года. Поскольку в романе о взятии Остенде говорится как о еще не свершившемся факте, можно сделать вывод, что время написания Кеведо романа, во всяком случае его VIII главы, приходится на период до сентября 1604 года, а скорее всего — на 1603 год, поскольку именно тогда некий Помпей Таргоне выдвинул проект дополнить осаду крепости с суши морской блокадой, гротескно обыгранный Кеведо в прожекте собеседника Паблоса осушить море со стороны крепости губкой или углубить его на двенадцать человеческих ростов. Далее, в эпизоде с похищением оружия у блюстителей порядка упоминается Антонио Перес (1539—1611) — бывший секретарь Филиппа II, обвиненный в убийстве, которое он некогда организовал по тайному приказу короля, и вынужденный бежать за границу, где им был опубликован ряд документов, компрометирующих испанский двор и политику. Паблос и его друзья сообщают стражникам, что якобы знают, где скрывается шпион, подосланный Антонио Пересом. Это упоминание об Антонио Пересе как об организаторе тайных интриг могло прозвучать злободневно лишь около 1602 года, когда Перес действительно имел в Испании своих тайных агентов, слухи о которых ходили при дворе в Вальядолиде, где пребывал тогда Кеведо (1601—1606 гг.). В III главе романа в образе «великого магистра фехтования» Кеведо зло высмеял одного из своих врагов, знатока фехтовального искусства Луиса Пачеко де Нарваеса, автора упоминаемого в романе трактата «Величие шпаги», в котором Пачеко обосновывает геометрические принципы фехтования, пародируемые Кеведо. Время выхода трактата — 1600 год — еще одна веха для датировки романа. Кроме того, можно предположить, что в рассказе о поступлении Паблоса в университет отразились весьма свежие воспоминания о годах учебы Кеведо в университете Алькала-де-Энарес (1596—1600 гг.). И наконец, в последней главе «Пройдохи» упоминаются имена действительно существовавших завсегдатаев севильских притонов, в том числе и имя Алонсо Альвареса де Сориа — сатирического поэта, повешенного в Севилье в 1604 году. В романе Паблос и его друзья оплакивают смерть Альвареса, воспринимаемую как недавно свершившееся событие.

Таким образом, «История жизни пройдохи» относится к самому первому периоду творчества Кеведо, занимая в нем промежуточное место между юношескими сатирическими памфлетами и циклом «Сновидения», начатым в 1606 году. Работая над «Историей жизни пройдохи», Кеведо, несомненно, имел в виду опыт своих предшественников в области плутовского романа—безымянного автора «Ласарильо» и Матео Алемана, издавшего в 1599 и в 1604 годах

две части «Гусмана де Альфараче». Существует мнение, что Кеведо, используя отдельные сюжетные положения и образы «Гусмана де Альфараче», в целом ориентировал свое произведение против романа Алемана, стремясь уйти от перегруженности повествования морально-дидактическими рассуждениями, что является характерной особенностью стиля Алемана, и вернуться к опыту автора «Ласарильо». Однако автобиографическая форма повествования используется Кеведо как в достаточной степени формальный прием: Паблос-повествователь, Паблос — герой повествования и автор практически никак не отделены один от другого. Обращение «я, сеньор», открывающее роман, звучит как дань традиции, поскольку неизвестно, к кому и почему обращается Паблос. Ничего здесь не объясняет и «Посвятительное письмо» («Carta dedicativa»), имеющееся в двух рукописях романа — кордовской и сантандерской, которое современная критика склонна приписывать самому Кеведо. «Письмо» это гласит: «Проведав о желании Вашей милости узнать о многочисленных превратностях моей жизни, чтобы не дать другому солгать (как это нередко случается), я решил послать Вам это сообщение, могущее помочь несколько рассеяться в печали. И поскольку я думаю рассказать все в подробности, сколь бы краткими ни были случившиеся со мной приключения, засим расстаюсь с Вами». Из «Письма» следует, что Кеведо, создавая вторую редакцию романа, пытался как-то мотивировать избранную им форму, но мотивировка прозвучала достаточно не убедительно. В «Ласарильо» обращение к «вашей милости» связывало начало романа с его заключительной ситуацией: Ласаро — в «тихой пристани». В романе Кеведо действительность предстает не через призму мировосприятия пикаро, завершившего свой путь, а с точки зрения героя, несомого по жизни и слившегося с ней до неразличимости.

«История жизни пройдохи» — первый испанский плутовской роман с «открытой» композицией, обрывающийся на подчеркнутом многоточии... Заключительная фраза романа: «...ибо никогда не исправит своей участи тот, кто меняет место и не меняет своего образа жизни и своих привычек» — лишь подчеркивает отсутствие у автора книги общей дидактической установки, поскольку речь в ней идет не об обретении героем нового мировоззрения — о его «обращении», как это, например, имеет место у Алемана, а о перемене стиля поведения в рамках «практического» миропонимания, сложившегося у пикаро в результате горького житейского опыта.

В романе Кеведо намного выразительнее, нежели у Алемана, и отчетливее, чем в «Ласарильо», выступает связь плутовского ви́дения мира с традициями народно-смеховой культуры: художественный язык Кеведо, логика созидаемых им образов прямо соотнесены со специфической символикой карнавального действа (о «языке карнавала» см.: М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., «Художественная литература», 1965). Уже во второй главе «Истории жизни пройдохи» повествуется об участии Паблоса в карнавальном обряде в роли «петушиного короля» («el rey del gallo»). Выборы «петушиного короля» — традицион-

ное развлечение школяров и студентов — являются частью святочного или масленичного праздничного обряда: «петушиный король» — «король на час», избираемый среди участников празднества, возглавляет шутовскую процессию ряженых. Кульминацией праздника является обряд «убиения петуха»: всадник с завязанными глазами на всем скаку должен срубить голову петуху, подвешенному на веревке или наполовину закопанному в землю,— отсюда и название обряда. В романе Кеведо описана только та часть празднества, которая связана с обычаем символического увенчания и развенчания шутовского короля. Самый презираемый — за свое «новохристианское» происхождение — из школяров, Паблос получает временную возможность возвыситься над своим состоянием — «прыгнуть выше лба», но кончается это его торжество побоями и падением в навозную кучу. Эта же логика — но не натуральных, а метафорических «возвышений» и «падений» героя — определяет и все развитие сюжета в романе, весь жизненный путь пикаро, а тема «избиения» проходит через весь роман, связуя воедино его отдельные эпизоды. Знаменательно, однако, что окончательное падение Паблоса, предопределенное его неудачным дебютом в Мадриде в роли знатного жениха, предваряется вполне реальным падением гарцующего перед окнами невесты мошенника с лошади (гл. XX): Кеведо дублирует сюжетную ситуацию, подчеркивая безнадежность попыток героя выйти из круга своей судьбы.

В эпизоде выборов «петушиного короля» Паблос — объект побоев, насмешек и издевательства, нечто вроде раздираемого на части масленичного чучела, и не случайно он сам сравнивает себя с чучелом «фарисея во время процессии» — этим сравнением Паблос апеллирует к приуроченному к иному времени карнавальному действу — к шествиям на страстной и пасхальной неделях, в которых фигурировали огромные чучела, изображавшие фарисеев — членов одной из иудейских религиозных сект, принимавших участие в осуждении Иисуса Христа. Так Паблос оказывается как бы в роли героя сразу двух празднеств, но ни в одной из этих ролей он не раскрывается со своей личностной стороны. Паблос для Кеведо — прежде всего pelele, марионетка, «повод» для нанизывания фарсовых сцен и гротескных описаний.

По всему тексту «Истории жизни пройдохи» разбросаны отдельные образы, метафоры, сравнения, генетически связанные с карнавальной символикой и пародирующие различные моменты религиозного католического культа. Пародии эти иногда вырастают и до целых эпизодов. Среди пародийных аллюзий такого рода следует особо выделить включенные в комический контекст упоминания самого торжественного католического праздника — дня тела господня (Corpus Cristi). Праздник этот был связан с установлением таинства причастия — евхаристии (о евхаристии см. во вступ. заметке к повести «Жизнь Ласарильо с Тормеса») и отмечался в первый четверг после троицы.

Первое упоминание дня тела господня возникает в беседе Паблоса с церковным причетником — сакристаном (гл. IX), сочинителем бездарных песнопений к этому празднеству, в которых он воспевает «Корпус Кристи»

как канонизированного святого. Невежество сакристана вызывает у Паблоса взрывы хохота, причем несомненно, что объектом смеха оказывается и сама тема сакристановых виршей.

Другой раз о дне тела господня говорится в связи с тем, что Паблос, становящийся на время комедиантом, на представлении действа в этот день играет роль евангелиста Иоанна, в которой он покоряет сердце одной монашки (гл. XXII). Предваряя же свой рассказ об ухаживании за монашкой, Паблос сообщает о себе, что он стал «покушаться на роль папаши антихриста», поскольку, согласно поверью, антихрист должен был родиться от союза священника и монахини. Сближение двух ролей, в которых выступает Паблос, роли антихриста и роли евангелиста, является несомненно профанацией и образа Иоанна Крестителя, и самого праздника.

Однако следует отметить, что подобная откровенная травестия церковного обряда не отражает собственно кеведовское восприятие религиозного таинства. У праздника тела господня на протяжении веков существовала народно-площадная сторона, и «традиционная процессия в праздник тела господня носила... отчетливо выраженный карнавальный характер с резким преобладанием телесного момента» (М. Бахтин. Там же, с. 249). В праздничной процессии в этот день обязательно участвовали чудовища, великаны, мавры, в конце процессии ехали повозки с ряжеными актерами — почти все персонажи, мелькающие на страницах кеведовского романа. Действо же, в котором принимает участие Паблос-комедиант,— «ауто сакраменталь» — было неотъемлемой частью этого праздника (об «ауто» см. прим. к с. 100), не лишенной, как и празднество в целом, гротескно-комической окраски.

В романе Кеведо, как и в «Ласарильо», есть эпизоды, профанирующие самое таинство причастия: это рассказ Паблоса о двух трапезах — об обеде в доме дяди-палача в Сеговии (гл. XI) и об ужине в обществе убийцы Маты и его друзей (гл. последняя). На обеде у дядюшки Паблос, студент Алькала, играет роль мнимого священника (студенты, как и священники, носили сутаны) и чуть было не оказывается вынужденным есть пирог с начинкой из мяса собственного отца — во время причастия верующий, съедая священный хлебец, символически вкушает плоть своего создателя — бога. Дядюшка же Паблоса, поглощая сосиски, произносит звучащую в такой момент богохульно клятву: «Клянусь этим хлебом, который господь создал по своему образу и подобию». И на обеде у дяди-палача, и во время ужина в Севилье пьется вино — также один из обрядовых мотивов — за упокой душ усопших, а Мата, как и дядюшка, клянется хлебом, именуя его «ликом господним» (см. об этом сравнении во вступ. заметке к «Ласарильо»).

Эти и многие другие случаи профанации католического культа прекрасно воспринимали современники Кеведо: инквизиционная цензура отметила в романе шестнадцать случаев вольного обращения автора с религиозной символикой.

В самом стиле романа Кеведо есть многое, связанное с поэтикой карнавального обряда. В частности, большинство имен персонажей, фигурирующих

в романе,— это имена-прозвища, так или иначе соотнесенные с ролью героя в сюжете. Например, имя лисенсиата Брандалагаса, вызволяющего Паблоса из гостиницы под видом посланца инквизиции, можно расшифровать как «выжигающий язвы» (родом Брандалагас из Орнильос, что по-испански означает «печь», «горн»); имя тюремщика Бландонеса де Сан Пабло можно перевести как «Свечи святого Павла» — намек на то, что этого стража закона можно купить так же, как благосклонность небес с помощью свечки, поставленной в честь святого; имя сводни Марии Наставницы является откровенно травестирующей параллелью к традиционному прозванию Марии Богородицы — «наставляющая» (верующих на путь истинный); лисенсиат Флечилья назван так с намеком на быстроту его ума, вор Мерло Диас — с намеком на его хитрость, подруга Паблоса Грахаль — не что иное, как «сойка», то есть «болтушка», и т. д.

Таким образом, мир, возникающий со страниц романа Кеведо, — это мир, построенный по карнавальной «логике обратности», «мир изнутри», как назвал Кеведо одно из своих «Сновидений», и в этом отношении «Пройдоха» во многом предвосхищает и «Сновидения», и «Час воздаяния», и другие творения писателя более позднего времени. Уже в «Пройдохе» встречается образ преисподней — по определению М. Бахтина, центральный образ карнавального действа,— так или иначе проступающий во многих эпизодах романа и превратившийся чуть ли не в основную арену действия «Сновидений». Всякое «избиение» героя — его развенчание, увлекает его вниз, приводит его в «преисподнюю». «Сеньор, а уверены ли вы, что мы живы? — спрашивает Паблос дона Дьего в первую же ночь их пребывания в доме лисенсиата Кабры.— Мне вот сдается, что в побоище с зеленщицами нас прикончили и теперь мы души, пребывающие в чистилище». Но чаще образ «преисподней» заменяется у Кеведо другим, более «прозаическим» и бытовым образом «грязи», «навоза» и т. п. И в целом многие карнавальные символы теряют у Кеведо свой ритуальный смысл, и в роман проникают элементы натуралистического видения мира. Смех Кеведо уже не столько смех «амбивалентный» — и развенчивающий и утверждающий одновременно,— сколько смех отрицательный, имеющий явно сатирическую направленность. Резко сатирический пафос романа Кеведо во многом предопределил его дальнейшую судьбу: сразу после выхода «Пройдохи» в свет появились доносы инквизиции на содержащиеся в романе насмешки над церковью и на аморальность его содержания. В 1646 году «Пройдоха» был внесен в список книг, подлежащих серьезной «чистке».

Однако у читателей роман пользовался несомненным успехом: кроме переиздания его на испанском языке, последовавшим почти вслед за сарагосским изданием, появились переводы романа на другие европейские языки— на итальянский (1634), французский (перевод, сделанный знаменитым создателем «Комического романа» Скарроном и вышедший в 1633 г., выдержал более 20 изданий!), голландский (1642, 1699), английский (1657, 1670) и другие языки. Русский перевод романа, принадлежащий К. Н. Державину и снабженный обстоятельным комментарием, увидел свет в 1950 году — Ф р а н-

сиско де Кеведо-и-Вильегас. История жизни пройдохи по имени дон Паблос, пример бродяг и зерцало мошенников. М.—Л., Гослитиздат, 1950. Этот перевод, с незначительными изменениями, внесенными в текст в соответствии с последним испанским изданием, публикуется в настоящем томе. При составлении комментария использованы как материалы комментария К. Н. Державина, так и аппарат к изданию «Пройдохи», осуществленному в 1927 году А. Кастро.

Стр.67. *...была не старой христианкой...*— то есть имела в роду обращенных в католичество евреев или мавров.

...предпочитал вместо трефовой двойки вытаскивать из колоды бубнового туза.— В оригинале «metía dos dedos para sacar el as de oro» — выражение, фигурально означающее «запускал руку в чужой карман».

Стр. 68. *...его сопровождали сотни две кардиналов...*— В оригинале игра слов, основанная на том, что по-испански слово «el cardenal» означает одновременно и «кардинал» и «кровоподтек»: отец Паблоса был осужден на наказание плетьми, коих он получил около двухсот ударов.

...и пешком и на коне всегда выглядел в равной степени хорошо.— Осужденного на наказание плетьми преступника во время исполнения приговора провозили по улицам верхом на осле.

...чуть было не украсили перьями, дабы она явила свое искусство при всем честном народе.— Лиц, осужденных за колдовство, возили на осле по городу, предварительно вымазав дегтем и вываляв в перьях.

...альгвасилы и алькальды?—Альгвасил —см. прим. к с. 56; алькальд— глава городской или сельской управы, исполнявший и обязанности судьи.

...готовы преподнести нам петлю, хотя еще не наступил день нашего ангела и никто о подарках не думает?— В оригинале игра слов, использующая двойное значение слова «colgar» — «вешать», «казнить» и одновременно «делать подарок ко дню ангела».

Стр. 69. *...меня часто можно было увидеть в церкви.*— В стенах храма преступники пользовались правом убежища: этот же мотив в более развернутом виде возникает и в «Главе последней», в которой Паблос укрывается с друзьями преступниками в Севильском соборе, то есть сын повторяет судьбу отца, кончая тем, с чего отец начинал,— положение, существенное для философии плутовского романа.

...могли бы посадить меня на осла, если б я запел на кобыле! — «Запеть на кобыле» — «cantar en el potro» на воровском жаргоне — означало «признаться под пыткой в совершенном преступлении», что, естественно, влекло за собой наказание. См. также прим. к с. 68.

...я почти каждый раз получал отличия...— В знак отличия ученику предоставлялась привилегия по указанию учителя бить линейкой своих провинившихся товарищей, то есть в начале романа Паблос выступает не в роли преследуемого, а в роли, в чем-то схожей с ролью его дядюшки — палача (см. гл. XI).

Стр. 70. *...потому что он кот.* — «Кот» («el gato») на воровском жаргоне означало «вор».

...когда на нее напялили митру. — Осужденные инквизицией отправлялись к месту казни или наказания в колпаках, напоминавших по форме епископскую митру.

Стр. 71. *...увидав на улице человека по имени Понсио де Агирре...*— Сюжет эпизода несомненно взят Кеведо из устной традиции, поскольку он встречается и у других писателей, например, в «Диалогах для покойного отдохновения» Гаспара Лукаса де Идальго (1605).

...назови его Понтием Пилатом...— Понтий Пилат — римский наместник в Иудее (умер в 39 г.), ко времени правления которого евангельское предание относит казнь Иисуса Христа.

Стр. 72. *...выбрать петушиного короля.*— См. об этом во вступ. заметке.

...началась настоящая битва при Лепанто...— В оригинале «la batalla naval» — «морская битва» — выражение, по традиции относящееся к морскому сражению у мыса Лепанто (1572 г.), в котором соединенный флот Испании, Венеции и папского престола разбил турецкую эскадру. В оригинале — игра слов: в Паблоса бросают брюквой — «la naba», то есть начинается «свекольная» битва, которую приходится вести, сойдя с лошади.

Стр. 73. *...для моего намерения стать кабальеро требуется именно умение писать плохо...*—Намек на то, что многие аристократы имели плохой почерк, считая ниже своего достоинства уделять время школярским штудиям.

Стр. 74. *Лисенсиат* — звание, присваивавшееся лицам, окончившим университет.

Нос его навевал воспоминания отчасти о Риме, отчасти о Франции.— Нос лисенсиата был приплюснутым, что у испанцев считалось особенностью, характерной для лиц римлян (нечто противоположное русскому понятию о «римском» носе), и деформированным, как если бы лисенсиат переболел «французской» болезнью — сифилисом.

...подобно трещоткам, что бывают у прокаженных...— Трещотки эти состояли из трех дощечек, соединенных веревкой и привязанных к ручке, держа которую в руке просящий милостыню приводил дощечки в движение и заставлял их греметь.

Стр. 75. *...мог служить могилой для филистимлянина.* — В библейских легендах царь филистимлян — древнего народа, покорившего Палестину в XII веке до н. э.,— Голиаф изображался в виде сказочного великана, поэтому людей высокого роста называли в Испании филистимлянами.

Селемин — старинная мера емкости, равная 4,6 литра.

Стр. 77. *...одного имени с нашим учителем...*— «Кабра» («la cabra») означает по-испански «коза».

Стр. 79. *...утром в одну из пятниц обнаружил у него на камзоле хлебные крошки.*— Строгие церковные правила предписывали католикам по пятницам полное воздержание от пищи до обеда.

...яичницы эти могли выдавать себя за коррехидоров или адвокатов.—

Коррехидор — представитель центральной судебной власти. На судебных заседаниях коррехидоры и адвокаты носили парики из белой шерсти.

Стр. 80. *Через сорок дней начали мы кое-как шевелить ногами.*—Обращает на себя внимание то обстоятельство, что число дней, потребовавшихся для исцеления Паблоса и дона Дьего, равняется числу дней великого поста. Более того, ранее сообщается, что их пребывание в доме Кабры длилось как раз до этого времени («Муки эти мы терпели до великого поста» — гл. III), то есть приходилось на дни масленицы и мясоеда. Таким образом, в этом эпизоде романа масленица и пост как бы меняются местами: на масленую герои умирают от голода, а в дни великого поста их кормят «мясными соками», дичью и другой скоромной пищей — явная пародия на церковный культ.

Стр. 81. *...учиться в Алькала...*— Алькала-де-Энарес — город в тридцати четырех километрах от Мадрида, славившийся своим университетом, основанным в 1508 году.

Хозяин его был мориск и вор. Никогда не приходилось мне видеть собаки и кошки, живущих в столь полном согласии...—Мориск—потомок обращенных в христианство мавров; морисков звали собаками, а воров—котами.

Стр. 85. *...не смог бы насчитать и сам Хуан де Леганес.* — Хуан де Леганес— юноша, поражавший современников своими необычайными счетными способностями. Жил в Мадриде во второй половине XVI века.

Стр. 86. *...явились требовать патента у моего хозяина.*— Патент — денежная пошлина, которую должен был заплатить старшим товарищам студент-новичок.

Стр. 87. *Видно, это Лазарь и собирается воскреснуть...* — О Лазаре см. вступ. заметку к повести «Жизнь Ласарильо с Тормеса». Имя Лазаря не раз упоминается на страницах «Пройдохи», возможно, как ссылка на историю Ласарильо — предшественника Паблоса. В данном эпизоде Паблос прямо отождествлен с Ласарильо, так как играет роль умирающего и воскресающего героя.

Стр. 88. *Ecce homo* — согласно евангельскому преданию, слова Понтия Пилата, обращенные к Христу. Паблос, оплеванный своими товарищами, пускай в негативной форме, но сравнивает себя с Иисусом Христом, что является явной профанацией текста Священного писания.

...служили носовыми платками бо́льшим носам, чем были когда-либо виданы во время процессии на страстной неделе.— В религиозных процессиях на страстной неделе участвовали маски, изображающие носатых фарисеев. О процессиях такого рода см. также во вступ. заметке.

Стр. 90. *Нам на него укажет математик.*— Математики в те времена были также астрологами и предсказывали будущее.

Дон Дьего взял меня за средний палец...—Имеется в виду прием, применявшийся в средневековой медицине для облегчения работы сердца.

Стр. 92. *...Иудой—хранителем казны...*—По евангельскому преданию, Иуда Искариот, продавший своего учителя Иисуса Христа за тридцать сребреников, был среди апостолов казначеем.

...не соблюдало правил риторики, ибо из большего делалось меньшим...— Правила ораторского искусства требовали для убедительности речи переходить от меньшего к большему, то есть от предметов менее важных к важнейшим.

Стр. 94. *...подобное дару французского короля исцелять от золотухи.*— Существовало поверье, что французские короли прикосновением руки могут исцелять больных золотухой.

...крича: «Пио, пио!» — Весь эпизод, видимо заимствованный из фольклорных источников, построен на игре слов, так как имя Pio — Пий, что значит «благочестивый», носили многие римские папы. Кроме того, в простонародном жаргоне это слово употреблялось как синоним проститутки — иронический намек на безуспешную попытку Пия V запретить проституцию в Риме. Звукоподражанием «пио, пио» также созывают цыплят.

Стр. 97. *Корчете* — прозвище полицейских фискалов, означающее «крючок».

...подослал... Антонио Перес.— См. об этом во вступ. заметке.

Стр. 99. *Театинец* — член ордена, основанного в г. Теато в Италии, одной из обязанностей которого было напутствовать осужденных на смертную казнь.

Стр. 100. *...откапывала мертвецов...*— Матери Паблоса нужны были для колдовства зубы повешенных.

...нашли ног, рук и черепов больше, чем в какой-нибудь чудотворной часовне...— Лица, считавшие себя чудотворно исцеленными каким-либо святым, вешали в церквах и часовнях, в знак памяти и благодарности, маленькие изображения выздоровевших органов тела.

...выступить в ауто в троицын день...— В оригинале игра слов, поскольку «ауто» («el auto») означает и действо, то есть аллегорическое театральное представление на религиозную тему, и церемонию осуждения (auto de fe), совершавшуюся инквизицией над еретиками и лицами, обвиненными в колдовстве.

Стр. 102. *...два способа завоевать Остенде.*—См. об этом во вступ. заметке.

Хуанело — Хуанело Турриано (умер в 1585 г.), итальянский механик, построивший в 1570 году водонапорную машину для снабжения Толедо водой из реки Тахо. Машина эта функционировала около тридцати лет и считалась одним из чудес техники.

Стр. 103. *...является... мастером фехтования.*—Речь идет о Луисе Пачеко де Нарваес. Подробнее об этом эпизоде см. во вступ. заметке.

...обман с большим переходом на четверть окружности... — Высмеиваемый Кеведо Нарваес представлял школу фехтования Херонимо Каррансы (XVI в.), согласно учению которого противники располагаются на противоположных точках воображаемого круга с диаметром, равным длине вытянутой руки со шпагой. Противники движутся по этому кругу, вступая в него лишь для нанесения удара. См. также прим. к с. 211.

Стр. 104. *Per signum crucis* — начальные слова молитвы «Крестным знамением освободил нас от врагов наших». В тексте романа слова молитвы неределаны так, что получают смысл, данный в переводе. Еще один пример вольного обращения писателя с религиозным культом.

Стр. 106. *Махалаонда*—селение неподалеку от Мадрида (ныне — Махадаонда). Во времена Кеведо жители Махалаонды были предметом постоянных насмешек из-за их невежества.

Стр. 107. *Сакабуча* — раздвижная металлическая труба, предшественница тромбона.

...в которой было больше хорнад, чем в пути до Иерусалима.— Хорнада (la jornada) по-испански означает и путь, проходимый в течение дня, и акт в пьесе.

Стр. 108. *Редондилья* — испанский стихотворный размер, представляющий собой четырехстрочный восьмисложный стих с рифмами по схеме *абба* и т. п.

...будто он разменивает эскудо на мараведи...—Цена золотого эскудо равнялась четыремстам сорока двум мараведи или тринадцати серебряным реалам (реал равнялся по стоимости тридцати четырем мараведи).

Прагматика — указ короля, имеющий силу закона. Пародийные прагматики были одним из любимых жанров Кеведо. «Прагматика», включенная в текст «Истории жизни пройдохи», была создана лишь в 1614 году и включена в роман при второй редакции.

Стр. 110. *...осужденных на вечный консептизм.*— Консептизм — одно из основных направлений в испанской литературе XVII века, к которому принадлежал и сам автор романа. Название этого направления происходит от слова «concepto», что означает «парадоксально выраженная мысль». Консептизм развивался параллельно с другим течением — культизмом (о культизме см. прим. к с. 187), с которым он враждовал. Сатирический пафос «Прагматики» направлен скорее против культистов, которых консептисты, делавшие основной упор на утонченности выражаемой мысли, обвиняли в формальном словотворчестве и пристрастии к поэтическим «красивостям».

Стр. 111. *Долина Иосафатова* — по библейскому преданию, место предстоящего Страшного суда.

...перестав быть маврами... стихотворцы превратились в пастухов...— Кеведо намекает на распространенные в поэзии начала XVI века, особенно в романсеро, мавританские сюжеты, которые в литературе второй половины XVI века были оттеснены на второй план пасторальным романом.

...пристало ли отшельничество таким безбородым людям, как я? — Внешним признаком отшельника была длинная борода, в то время как католическое духовенство было обязано брить бороду и усы.

Стр. 112. *Касик* — титул вождя у некоторых индейских племен.

Тетуан — город в Марокко, центр торговли испанскими пленниками.

«*Introibo*»—песнопение, предшествующее мессе; названо по начальному слову текста.

Линьян — Педро Линьян де Рьяса — лирик конца XVI века. Эспинель Висенте (1551—1634) — поэт, музыкант, автор плутовского романа «Жизнь Маркоса де Обрегон». Алонсо де Эрсилья-и-Суньига (1533—1594) — автор эпической поэмы «Араукана». Фигероа Франсиско де (1540—1620) — поэт, автор многочисленных пасторальных стихотворений. Падилья Педро де (умер после 1595 г.) — поэт и импровизатор.

Стр. 113. *Этим ...меня наградили в Париже...*—Спутник Паблоса имеет в виду или события 1590 года, когда испанская армия выступила против осаждавшего Париж Генриха IV, или же события 1592 года, когда Генрих IV был атакован испанцами и их войска вступили во французскую столицу.

...деяния Сида и Бернардо дель Карпио.— Сид Кампеадор (Родриго Руис де Бивар; 1030—1099) — народный испанский герой. Подвиги, совершенные им в борьбе с маврами, воспеты в поэме «Песнь о моем Сиде» и в многочисленных романсах. Бернардо дель Карпио — легендарный эпический герой, изображаемый как победитель Роланда в битве при Ронсевале.

...ни Гарсиа де Паредес, ни Хулиан Ромеро... — Гарсиа де Паредес Дьего — один из героев итальянских войн; Хулиан Ромеро — офицер, отличившийся во время войны во Фландрии.

Стр. 114. *...когда мы громили Антверпен.*—Антверпен был взят и разграблен испанскими войсками в 1576 году.

Стр. 115. *...буду совой, которая это масло... выпьет...*— По народному поверью, совы выпивали масло из лампад.

Парар — распространенная карточная игра.

Стр. 116. *...в битве при Сен-Кантене...* — Битва при Сен-Кантене — во Франции состоялась в 1557 году и была выиграна испанцами. В память об этой победе Филипп II приказал воздвигнуть монастырь в Эскориале.

...мы встретились с одним генуэзцем... антихристом для испанских денег...— Получаемое из колоний золото уходило за границу и оседало в генуэзских банках.

Безансон — город во Франции, важный банкирский центр, во времена Кеведо принадлежал Испании. Писатель ошибочно помещает его в Италии.

Стр. 117. *...увидел четвертованного отца моего, ожидавшего того мгновения, когда, преображенный в звонкую монету, он в кошельке отправится в долину Иосафатову.*— Намек на то, что пирожники начиняли свои изделия мясом казненных — каннибальский мотив, возникающий в романе ранее (гл. VII) и получающий дальнейшее развитие в описании обеда у дяди-палача (гл. XI),— подробнее об этом см. во вступ. заметке. В рассматриваемом случае в подлиннике имеет место игра слов: «hecho cuarto» означает и «четвертованный», и «превращенный в куарто», то есть в медную монету.

Пассакалья — испанский танец.

Стр. 118. *...жилье мое не Алькасар...*— Алькасар — слово, означающее укрепленный замок, а также дворец мавританской постройки.

Стр. 119. *Каждой свинье приходит день ее святого Мартина...*—В день

святого Мартина, празднуемый 11 ноября, обычно резали свиней и заготавливали их мясо на зиму.

Стр. 121. *Все начали... прикладываться к полу.*— Землю целовали, чтобы оградить себя от опасности.

Стр. 125. *...как ременд*о*н, асадон, бландон, бордон...*— Издеваясь над выскочками, присваивающими себе дворянские звания, дон Торибио подбирает для их фамилий самые «вульгарные» слова: remendón — «холодный» сапожник, azadón — мотыга, blandón— свечка, bordón — поводырь.

Стр. 133. *Такие удивительные позы не изображал... сам Босх.*—Иероним ван Эйкен, по прозванию Босх (1450—1516), — знаменитый голландский художник, ряд полотен которого находился в Эскорнале и поражал современников Кеведо своей гротескной выразительностью.

Стр. 135. *...царь, что привык к яду...*—Имеется в виду Митридат, царь Понтийский (123 — 63 гг. до н. э.), который, по преданию, опасаясь отравления, всю жизнь приучал себя к ядам, принимая их регулярно в незначительных дозах.

...отведать похлебку у монастыря...— У стен монастырей в определенные часы раздавали нуждающимся бесплатную похлебку.

Стр. 137. *...даже кладбище Антигуа в Вальядолиде не пожирает тела мертвецов с такой быстротой...*— По народному поверью, земля на этом кладбище уничтожала трупы в течение одного дня.

Стр. 138. *...память дона Хуана...*—Имеется в виду Дон Хуан Австрийский (1547 — 1578) — побочный сын Карла V, победитель в битве при Лепанто. См. также прим. к с. 72.

Луис Кихада— майордом Карла V, воспитатель Хуана Австрийского. Умер в 1570 году.

Стр. 139. *...бакалавр философии из Сигуэнсы!* — Бакалавр — младшая ученая степень, присуждавшаяся в испанских университетах. Сигуэнса — небольшой город в провинции Гвадалахара, университет которого часто служил предметом насмешек и иронических отзывов.

...происходит от Великого Полководца...— Имеется в виду Гонсало Фернандес де Кордова (1453—1515) — выдающийся испанский полководец, завоеватель Неаполитанского королевства.

Стр. 140. *Арголья* — игра в мяч.

Стр. 141. *...обитавшему якобы в горах близ Алькала.*—Город Алькала-де-Энарес расположен на равнине.

Стр. 144. *...мученический конец святого Стефана...*—По преданию, святой Стефан был побит камнями.

Стр. 146. *Апосентадор* — чиновник-квартирмейстер для важных лиц, прибывавших в столицу.

...напомнила ему, что на плечах у него мотовило святого Андрея! — Мотовило своей формой напоминает андреевский крест, который инквизиция предписывала носить лицам, присужденным к длительному покаянию и бывшим, как правило, обращенными евреями.

Стр. 147. ...*немножко сюсюкала и пришепетывала*...—В испанской литературе пришепетывание часто отмечается как один из признаков женского кокетства.

...*если же играла, то только в писпириганью, ибо и тут можно было показать ручки.*— Писпириганья — детская игра, заключающаяся в отгадывании того, кто ударяет играющего по ладони.

Стр. 149. ...*fidalgo ордена Христа.*— Португальский военно-религиозный орден Креста был основан в 1317 году. Так как изображение креста, носившееся членами ордена, напоминало по форме фигуру креста, помещавшуюся на первой странице букваря, то орден иногда именовался «орденом букваря» — Картильи. Кеведо строит на этом игру слов, называя португальца кавалером ордена букваря или Христа.

Стр. 151. ...*одарить его деньгами, этой кровью невинного агнца, лишь с помощью которой можно обрабатывать самые твердые алмазы*...— В XVII веке алмазы обрабатывались другими алмазами и горячей кровью козла. «Кровь невинного агнца» — в Священном писании метафорическое выражение, означающее «кровь Иисуса Христа». Подменяя козла ягненком, барашком (el cordero) и употребляя это слово в самом прямом его значении — названии домашнего животного, Кеведо, однако, иронически намекает и на его второй смысл — «невинный агнец», травестируя тем самым христианский культ.

Стр. 154. *Один посмотрел на другого*...— Строки из романса о смерти дона Алонсо де Агилар.

Каса-дель-Кампо — загородный мадридский парк, место прогулок мадридской аристократии.

Кинола — азартная карточная игра.

Стр. 158. *Валенсуэла* — лошадь берберийской породы.

Стр. 162. ...*ссылаясь на Виданью — свою конкурентку в Алькала и на Пласиосу из Бургоса*...— Имеются в виду действительно существовавшие и осужденные инквизицией по обвинению в колдовстве проститутки.

Стр. 167. ...*употребляя слова апостола Павла в дурном смысле*...— Далее иронический намек на слова апостола Павла: «...но во избежание блуда каждый имей свою жену...» (Первое соборное Послание к коринфянам, гл. VII).

Лоа — стихотворный пролог, произносившийся со сцены перед началом спектакля и взывающий к благосклонности зрителей.

Сенат — обычное почтительное обращение к зрителям.

Стр. 168. ...*сочинена*... *Рамоном*...— Рамон Алонсо—испанский драматург второй половины XVI века, весьма восхваляемый Сервантесом, Лопе и другими современниками.

Гарсиласо—Гарсиласо де ла Вега (1503—1536)—знаменитый поэт-лирик.

...*имел*... *успех у мушкетеров*...— Мушкетерами названы Бальтасар, Пинедо, Эрнан Санчес де Варгас, Алонсо де Моралес — популярные актеры конца XVI — начала XVII века.

Стр. 170. ...*была родом из Галисии*...—Образ галисийца в литературе XVI— XVII веков встречается нередко — как воплощение глупости и невежества.

Стр. 171. ...*стал покушаться на роль папаши антихриста*...— См. об этом во вступ. заметке.

Стр. 173. ...*настоящий субботний стол*...— См. прим. к с. 36.

Стр. 176. ...*звали его Мата*...— то есть «Убей!» (*исп.* matar — убивать).

Стр. 177. ...*оплакали Алонсо Альвареса*.— См. во вступ. заметке.

Стр. 178. ...*решил ... перебраться в Вест-Индию*...—то есть в Америку, так по традиции, идущей от Колумба, называли Новый Свет.

С. Еремина

«ХРОМОЙ БЕС» ЛУИСА ВЕЛЕСА ДЕ ГЕВАРА

Повесть «Хромой Бес» — единственный прозаический опыт драматурга Луиса Велеса де Гевара — вышла в свет в Мадриде в 1641 году. Согласно предположению одного из первых комментаторов повести — А. Бонильи-и-Сан Мартина, Велес де Гевара сочинял ее урывками, начиная с февраля 1637 года и кончая июлем 1640 года. Достоверно известно, что хвалебный сонет и пародийный «Указ Аполлона», с чтением которых герой повести дон Клеофас выступает перед севильскими «академиками» (девятый и десятый «скачки»), были прочитаны самим Велесом де Гевара во время придворных празднеств 21 февраля 1637 года, из чего, однако, можно сделать разные выводы: либо повесть к этому времени была в целом завершена, либо писатель включил в нее сочиненные им сонет и «Указ» позднее, воспользовавшись ими как подходящим к случаю материалом.

Плутовской роман — жанр по своей природе не менее «протеистичный», нежели его — с легкостью меняющий обличья, хозяев и условия существования — герой, предстает в «Хромом Бесе» в почти до неузнаваемости измененном виде. Как отмечает Л. Пинский, автор обстоятельной вступительной статьи к первому русскому изданию «Хромого Беса» (Луис Велес де Гевара. Хромой Бес. Перевод с испанского Е. Лысенко. М., «Художественная литература», 1964), Велес де Гевара выделяет из биографии героя жанра — пикаро только один студенческий период и замыкает повествование в рамки новеллистического эпизода, рассказывающего о преследовании «вечного студента» дона Клеофаса жаждущей женить его на себе «фальшивой» девицей доньей Томасой. Эта «цикличная» композиция повести — вполне в духе традиций «Ласарильо» и «Гусмана де Альфараче» — классических образцов жанра. Однако если традиционный герой — пикаро за время, отделяющее начало повествования от его конца, успевал пройти целую школу жизни и познать не только окружающую действительность, но и прежде всего самого себя, то дон Клеофас в основном — зритель грандиозного спектакля на кеведовскую тему «мир изнутри». Весь огромный жизненный опыт,

приобретаемый пикаро за время странствий по свету, в повести Велеса де Гевара «передоверен» Хромому Бесу. Введение в сюжет «двойника» героя — его спутника и «приятеля» — Хромого, а вместе с тем и появление диалогической формы повествования — основная новация Велеса де Гевара.

Образ Хромого Беса писатель заимствовал из фольклора, из народной демонологии, где Хромой Бес фигурировал также под именами Ренфаса и Асмодея. «Хромой бесенок знает больше других», «Хромой бес проворней прочих» (изречение, по смыслу близкое к русскому: «Наш пострел везде поспел») — гласят испанские народные поговорки. В протоколах инквизиционных процессов XVI—XVII веков сохранились записи «ведьмовских» заговоров и заклинаний, в которых не раз встречается имя Хромого Беса. Не столь всесильный, как другие демоны, не столь устрашающего обличья — небольшой рост героя Велеса де Гевара создан был народным воображением,— он, однако, имел славу самого ловкого, самого скорого посредника в любовных и прочих делах, «греховодника», любителя танцев и развлечений, подбивающего на подобные занятия смертных,— у Велеса де Гевара он «самый озорной из всех адских духов». Этот-то всеведающий хромой циник, бес-пикаро (по определению Л. Пинского), увлекает дона Клеофаса, оставляющего на время студенческую скамью, в воздушное путешествие по Испании, демонстрируя студенту «изнаночную», непарадную сторону общественной и частной жизни страны.

Роли между доном Клеофасом и Хромым Бесом распределены следующим образом: дон Клеофас в связи с тем или иным представшим перед его взором зрелищем задает бесу вопросы, то есть выступает с позиции наивно-несведущего наблюдателя жизни; Хромой отвечает на них, преподнося увиденное доном Клеофасом в сниженно-разоблачающем аспекте, затем дон Клеофас снова берет слово и уже в духе постигшего истину делает выводы из увиденного, впадая при этом зачастую, по собственному шутливому замечанию, в тон проповедника. По форме перед нами — диалог. По сути — дальнейшее развитие «внутренней» формы плутовского романа, жанра по своей природе недиалогического.

Уже в самом первом образце «пикарески» — в «Ласарильо» — изображаемая реальность дана «многоракурсно», глазами несмышленого мальчика Ласарильо, постепенно постигающего премудрости жизни, глазами Ласаро — городского глашатая, довольного собой и достигнутым им местом в обществе, и глазами автора, скрывающегося за фигурой героя-повествователя и явно иронически оценивающего его исповедь. Однако все эти точки зрения на мир вовсе не располагаются в повествовании на одной плоскости, а входят одна в другую, подчинены универсальному «плутовскому» опыту: читатель «пикарески» как бы рассматривает действительность через многофокусную, но статично укрепленную подзорную трубу.

В повести Луиса Велеса де Гевара герой дон Клеофас предстает в тех же двух ипостасях — несведущего и все постигшего героя, но связует эти ипостаси не лежащий между этими состояниями личный опыт, а фокусы

Хромого Беса. И читателю повести мир также дан таким, каким он видится дону Клеофасу, то есть таким, каким его выставляют Хромой Бес и стоящий за ним автор. И в диалоге «Хромого Беса» не столько сопоставляются соизмеримые в своей истинности точки зрения на мир (как, например, в «Дон-Кихоте» Сервантеса), а разворачивается ситуация «педагогического» диспута, в которой одна сторона выступает в роли поучаемого, другая — в роли наставника, безраздельно владеющего истиной,— мотив общения любознательного героя с бесом, как отмечает Л. Пинский в указанной статье, восходит через западноевропейские сказания о Соломоне и Морольте к восточным талмудическим легендам о Соломоне и Асмодее.

Таким образом, несмотря на отказ Велеса де Гевара от традиционно автобиографической формы повествования, «Хромого Беса» с «пикареской» роднит не только использование писателем героев-плутов, а также ситуаций и мотивов, неоднократно возникавших до того на страницах плутовских романов, но и — прежде всего — сам принцип изображения действительности с всеобъемлющей «плутовской» точки зрения.

Но не меньшее, если не большее, число характерных жанровых черт сближает «Хромого Беса» с другой разновидностью испанской словесности XVII века — с «видениями» (родословная этого жанра восходит к античности, к Лукиану и к «Менипповой сатире»). Повесть Велеса де Гевара— не что иное, как синтез «видения» и плутовской истории.

Тема постижения истины героем в процессе созерцания раскрывающегося в фантастической ситуации во всем своем неприглядном обличье мира, почти вытеснившая в повести Велеса де Гевара тему «похождений» — испытаний героя жизнью, взята писателем из жанровой практики авторов «видений» — прежде всего из творческого опыта Франсиско де Кеведо как создателя цикла «Сновидений» (1606 — 1612 гг.) — русский перевод этого произведения см. в кн.: Ф. де Кеведо. Избранное. Л., «Художественная литература», 1972.

Из «Сновидений» Велесом де Гевара заимствован не только прием фантастико-аллегорического освещения внешне пристойной и примелькавшейся реальности, но и многие отдельные мотивы и сюжетные ситуации, такие, как беседа автора-рассказчика с всезнающим бесом («Бесноватый алывасил»), как образ улицы Двуличия («Мир изнутри»)—очевидный аналог улицы Поз из «Хромого Беса», как мотив близкого конца света, вылившийся у Кеведо в апокалипсические фрески Страшного суда («Сон о преисподней») и возникающий на последних страницах повести Велеса де Гевара.

Еще одним непосредственным литературным источником «Хромого Беса» может быть названо сочинение Родриго Фернандеса де ла Рибера «Причуды острого взгляда» (опубликовано в Севилье в 1630 г.), в котором наставник по имени Разочарование демонстрирует автору мир с высоты Севильского собора — мотив, явно повторенный Велесом де Гевара во втором «скачке», где Хромой Бес показывает дону Клеофасу «мясную начинку Мадрида» с колокольни храма Святого Спасителя.

Следует, однако, иметь в виду, что «Хромой Бес», созданный Велесом де Гевара на склоне лет, не только продолжает определенную литературную и фольклорную традицию, но и является обобщением богатого социального и житейского опыта его автора.

Повесть пользовалась несомненным успехом у современников писателя и у испанских читателей последующих поколений, о чем свидетельствуют неоднократные ее переиздания (четыре посмертных издания в XVII в., четыре — в XVIII, девять — в XIX). В XX веке выходят обстоятельно комментированные издания «Хромого Беса» — в 1902 и 1910 годах с примечаниями А. Бонильи (в издании 1910 г. критик учел замечания другого комментатора, Переса-и-Гонсалеса); в 1918 и 1941 годах — с примечаниями Ф. Родригеса Марина.

В общеевропейский читательский обиход образ Хромого Беса вошел через французскую обработку испанского сюжета, сделанную Р. Лесажем (его философско-сатирическая повесть «Хромой Бес» увидела свет в 1707 г.). Отступления Лесажа от первоисточника весьма существенны (подробное сопоставление двух версий сюжета см. в указанной статье Л. Пинского).

Особые трудности для восприятия «Хромого Беса» современными читателями, а также для его перевода на другие языки представляет стиль Луиса Велеса де Гевара — типично барочного писателя, часто прибегающего к игре слов, к построенным на изощренных ассоциациях метафорам, к пародийным перефразировкам пословиц и поговорок (некоторые из них отмечены в комментарии). В повести немало темных мест, намеков писателя на те или иные историко-бытовые реалии, далеко не всегда поддающихся расшифровке даже очень вдумчивыми учеными.

В настоящем томе воспроизводится перевод повести, выполненный Е. Лысенко по изданию: «La novela picaresca española». M. Aguilar, 1946, и вышедший отдельным изданием в 1964 году.

С. Еремина

Стр. 181. *Родриго де Сандоваль, де Сильва... герцог де Пастрана* — видный государственный деятель, член Королевского совета по государственным и военным делам (умер в 1675 г.).

Стр. 183. *...зловещий час для прохожих...*— По указу 1639 года после одиннадцати часов вечера летом и после десяти зимой разрешалось выливать помои на улицу.

Прадо — бульвар в Мадриде, излюбленное место для прогулок.

Мансанарес — протекающая в Мадриде речка, приток Харамы; летом почти полностью пересыхает, что было обычным поводом для острот в испанской литературе XVII века.

«Расходитесь, река кончилась»...— Пародируется возглас священника по окончании службы: «Расходитесь, месса кончилась».

Стр. 185. *Эскудеро*— буквально: «щитоносец»— идальго, находившийся

в услужении у знатного вельможи. Эта должность считалась не унизительной для бедного дворянина. См. также прим. к с. 54.

Стр. 185. ...*принес сарабанду... «щегла-щеголька»*... — Речь идет о различных танцах.

Хáкара — шуточная песенка и танец.

...*с одинаковой высоты*...— По преданию, до сотворения мира часть ангелов во главе с Люцифером восстала против бога; они были низринуты с небес в ад и стали дьяволами.

...*в наших Нижних Провинциях*... — Борьба Нидерландов (Нижних Провинций) за независимость причиняла Испании много неприятностей на протяжении почти ста лет (до окончательного отделения их в 1648 г.), с чем и связано каламбурное уподобление преисподней Нидерландам.

...*как ветер, мчат*.— Перефразируется испанская поговорка: «По пути в Сантьяго (знаменитое место паломничества) идет и здоровый и хромой».

Стр. 186. ...*нашей кромешной Гвинеи*.— Бес уподобляет ад, населенный «черными» дьяволами, Гвинее, откуда в огромном количестве вывозились в Европу и главным образом в Латинскую Америку негры-рабы (первая партия африканских негров была доставлена португальцами в Лиссабон еще в 1441 г.).

...*будто у гирканского тигра*...— Гиркания, область древней Персии к югу и юго-востоку от Каспийского моря, славилась обилием тигров.

...*на зависть самому Мениппу из Лукиановых диалогов*...— В одном из своих диалогов («Разговоры в царстве мертвых») знаменитый греческий сатирик Лукиан (около 125 — около 192) выводит философа-киника Менипа (III в. до н. э.), который, оказавшись в подземном царстве, знакомится с его достопримечательностями.

Стр. 187. ...*как заведено, с полуночи*...— В пятницу был предписан пост, и только после полуночи разрешалось есть мясные блюда. Это служило предлогом для устройства ночных пирушек, которые осуждались моралистами.

...*был его поэтом-культистом*...— Культизм, или гонгоризм,— течение в испанской поэзии, возникшее в начале XVII века под влиянием поэта Луиса де Гонгора-и-Арготе (1561—1627). Произведения поэтов-культистов отличались усложненностью языка, обилием метафор, латинизмов и смелых неологизмов.

...*трясет своей бородой*...— Правоведы и законники носили окладистую бороду, что вызывало насмешки, так как модной считалась бородка клинышком.

Стр. 188. ...*а на лице столько изюма*...— Изюм применялся как косметическое средство, улучшающее цвет лица.

Сан-Себастьян, Фуэнтеррабия — города в провинции Гипускоа (крайний северо-восток Испании).

Бермудские острова — группа островов в Атлантическом океане, открытая в 1552 году испанцем Хуаном Бермудесом. Из-за частых бурь берега этих островов считались опасными для мореплавателей.

Стр. 189. *Саагунская бочка* — знаменитая своими размерами бочка для хранения вина, имевшаяся в городе Саагун (провинция Леон).

...у Гвадалахарских ворот...— Район, прилегавший к Гвадалахарским воротам (сгорели в 1582 г.), был торговым центром Мадрида; там находились лавки самых богатых купцов.

...среди участников сражения на тростниковых копьях...— В этом увеселении, заменившем в XVII веке турниры и распространенном в Италии, Франции и Испании, имели право участвовать лишь дворяне.

Раймунд Луллий — известный средневековый поэт, философ и миссионер, по происхождению испанец (1235—1315). Наряду с подлинными его сочинениями, во всей Европе распространялись приписанные Луллию трактаты, в частности алхимические. На самом деле Луллий осуждал алхимию.

Стр. 190. ...«*и три сотни прочих средств*» — стих из шуточных народных куплетов, ставший присловьем.

Стр. 191. ...*сочиняют фугу в четыре улицы.*— Обыгрывается двойное значение слова «фуга» — род музыкального произведения и «бегство» *(лат.)*.

«*Чудо-рыцарь*» — название одной из комедий Лопе де Веги, где изображен дворянин, ведущий роскошный образ жизни на неизвестно какие доходы. Велес употребляет это шуточное определение в несколько ином смысле.

Безоаровый камень — встречающееся в кишечнике у жвачных животных (и реже — у людей) образование из волос, остатков пищи и проч. В средневековой медицине считался средством, предохраняющим от ядов.

Стр. 192. ...*восьмой эфесский праведник...*— Согласно христианской легенде, в городе Эфесе (Малая Азия) во времена императора Деция (201—251) были заживо замурованы в пещере семь братьев-христиан. Когда через сто девяносто шесть лет пещеру открыли, оказалось, что братья все это время проспали.

Стр. 193. ...*и на зависть всем шулерам.*—Намек на то, что шулера во время игры переговариваются с помощью знаков и гримас.

...при своих прежних фамилиях-отчествах...— Фамилии, образованные от имен (по типу отчества — Эрнанд-ес, Мартин-ес и т. п.), обычно указывали на плебейское происхождение.

Стр. 194. *Рехидор* — член городской или сельской управы.

...«*пасхальной свечой*».— В оригинале игра слов, основанная на том, что имя «Паскуаль», сочетание которого с титулом «дон» считалось неблагозвучным, означает «пасхальный».

Стр. 195. *Пуэрта дель Соль* — центральная площадь старого Мадрида.

Альваро де Луна — всесильный фаворит (1388—1453) короля Хуана II. Вызвал недовольство знати, был обвинен в том, что околдовал короля, и после долго тянувшегося процесса казнен.

Стр. 196. ...*что затерялись три декады Тита Ливия.* — Из огромной истории Рима, написанной Титом Ливием (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.) и состоявшей из ста сорока двух книг, дошли только тридцать пять книг, или

три с половиной декады (разделение на декады — по десять книг — позднейшее). Остальные известны в кратком изложении.

Стр. 197. *...Боскана и Гарсиласо.*— Хуан Альмогавер Боскан (1500—1542) и его друг, талантливый поэт Гарсиласо де ла Вега (1503—1536), были основателями «итальянской школы»; они ввели в испанскую поэзию стихотворные формы и размеры, применявшиеся в Италии. Боскан перевел с греческого поэму Мусея (конец V — начало VI в.) о юноше Леандре, влюбленном в жрицу Афродиты Геро и приплывавшем к ней с другого берега Геллеспонта, где он жил в городе Абидосе. Гарсиласо написал на эту тему сонет, который и цитирует дон Клеофас.

Стр. 198. *Салисио и Неморосо* — собеседники, выведенные в эклоге Гарсиласо «Салисио и Неморосо».

...и моя Астурия.— Уроженцы этих северных областей Испании, не подвергшихся арабскому завоеванию, кичились чистотой крови и знатностью.

...подняв жезл...— Приступая к исполнению обязанностей, блюститель правосудия поднимал жезл.

Стр. 199. *Хетафе* — город в восемнадцати километрах к югу от Мадрида.

Торрехон (теперь Торрехон-де-Веласко) — город в провинции Мадрид у границы с провинцией Толедо.

Висагрские ворота — одни из ворот города Толедо.

...который объехал все семь частей света.— Кругосветное путешествие, совершенное в 1424 году инфантом Педро Португальским, сыном Жоана I и братом Энрике Мореплавателя, было описано в книге, вышедшей в Испании в 1570 году под названием «Книга об инфанте доне Педро Португальском, который объехал все четыре части света». Однако испанцы, привыкшие к сочетанию «семь частей» — название знаменитого сборника законов короля Альфонсо X (XIII в.),— превратили «четыре части света» в «семь».

Великий Турок.— Так называли в то время в Европе турецкого султана.

Стр. 201. *Мирмидоняне* — древнегреческое племя, жившее в Фессалии. Под началом Ахиллеса участвовало в осаде Трои.

Дом Нунция — приют для умалишенных в Толедо; был построен в конце XV века папским нунцием Франсиско Ортисом.

«*Мальтийский василиск*» — по-видимому, пушка, которая принадлежала рыцарям ордена св. Иоанна на о. Мальта.

...который, точно журавль, всегда бодрствует...— Согласно «Естественной истории» Плиния, пока стая журавлей спит, ее вожак бодрствует.

Стр. 202. *Палладион* — здесь: «троянский конь», сооруженный по велению Паллады.

Буэн-Ретиро — парк в Мадриде, где находилась королевская резиденция. В 1632 году там был построен «Колизей», роскошный театр, вначале придворный, а в 1640 году открытый для публики.

Стр. 203. *Тостадо* Алонсо, или Алонсо де Мадригаль (около 1499—1555),— испанский богослов, необычайная плодовитость которого вошла в поговорку (его сочинения были изданы в 1615 г. в двадцати четырех томах in folio).

Ренхифо Диего Гарсиа — автор чрезвычайно популярного в свое время «Испанского поэтического искусства» (первое издание — в 1592 г.).

Семеро Праведников. — См. прим. к с. 192.

Стр. 204. *Лига* — старинная испанская мера длины, равная 5,6 километра.

...самой высокой Горы...— Гора (*исп.*— Монтанья) — народное название испанской провинции Сантандер.

...зарождаются в грязи.— Аристотель и Плиний допускали возможность самозарождения живых существ в мертвой материи, особенно при наличии влаги (гусениц из росы на листьях, моли — из пыли и т. д.). Это воззрение господствовало вплоть до XVII века.

Вальтелина — территория, находившаяся на стыке испанских владений в Италии и владений Австрийского дома. Была в XVII веке местом неоднократных военных конфликтов.

Стр. 205. «*Светлейшие*» — титул высшей венецианской знати.

Герцог де Осуна — Педро Тельес-и-Хирон, герцог де Осуна, вице-король Неаполя и обеих Сицилий, сыгравший большую роль в борьбе Испании против Венецианской республики, которая поддерживала мятежные Нидерланды.

Анконская марка — провинция на побережье Адриатического моря с главным городом Анконой, в то время крупнейшим после Венеции приморским городом Адриатики. В 1532 году была присоединена папой Климентом VII к церковным владениям.

...этот всемирный денежный мешок...— Генуэзские банки играли главную роль в процессе выкачивания из Испании золота, поступавшего из Америки.

Винарос и Альфакес. — Винарос — портовый город в провинции Кастельон-де-ла-Плана, южнее устья Эбро; Альфакес — небольшой порт в провинции Таррагона, также на восточном побережье Испании.

Стр. 207. *...коим они грешат...*— Имеются в виду распущенные нравы итальянцев, в частности мужеложество.

Стр. 208. *Пуэрто-де-Санта-Мария* — портовый город в провинции Кадис, место зимовки испанских эскадр.

Перальвильо — селение близ города Сьюдад-Реаль; там Эрмандада (добровольная военная организация, возникшая в Испании в XIII в. для борьбы с бесчинствующими феодалами и грабителями на дорогах) подвергала преступников казни, стреляя в них из лука; когда трупы сгнивали, кости бросали в особое хранилище.

Эсиха — город в провинции Севилья, родина Велеса де Гевара.

...«а ему не жаль их было» — стих из популярного романса о Нероне, безжалостно взиравшем на пожар Рима.

Стр. 209. *...датская принцесса.*— Бес имеет в виду Орпану, датскую принцессу, возлюбленную Амадиса Галльского.

Кларамонте — Андрес де Кларамонте-и-Коррой (умер в 1610 г.) — драматург и актер, друг Велеса; написал много комедий и ауто.

...учился в Саламанке...— В городе Саламанке находился знаменитый университет, основанный в 1253 году королем Альфонсо X.

Амариллис — сценическое имя известной испанской актрисы Марии де Кордова (умерла в 1678 г.).

Гильен де Кастро (1569—1631) — видный драматург, автор «Юности Сида». Здесь речь идет о его драме «Дидона и Эней» (опубликована в 1625 г.).

Ронсеваль — ущелье в Пиренейских горах, где, по преданию, был уничтожен арьергард войска Карла Великого во главе с Роландом. Стал в испанском языке нарицательным словом для обозначения кровавого побоища.

Стр. 210. *...по приказу Совета Кастилии.*— Заботясь о том, чтобы столичные театры не пустовали, Совет Кастилии приказывал странствующим труппам являться в Мадрид, нередко в сопровождении альгвасила.

...точно хамелеоны...— Согласно поверью, хамелеоны, живущие преимущественно на деревьях, являются обитателями воздушной стихии и питаются воздухом.

...с неменьшей скромностью.— Речь идет о всемогущем министре короля Филиппа IV — Гаспаре де Гусман, графе-герцоге Оливаресе (1587—1645), фактически правившем Испанией в 1621—1643 годах.

Альколеа — предместье Кордовы.

...на брегах португальского Тахо.— Писатели древности (Плиний, Марк Варрон и др.), восхищаясь быстротой португальских коней, высказывали фантастическое предположение, что португальские кобылы зачинают от ветра.

...обоих Сенек и Лукана...— Марк Анней Сенека Старший, или Ритор (около 58 г. до н. э.— 33 г. н. э.), был известен в Риме как автор руководства по риторике и обзора римской истории с начала гражданских войн до правления императора Тиберия. Гораздо более знаменит его сын, Луций Анней Сенека Младший, или Философ (3—65), принадлежавший к школе стоиков и оставивший ряд философских сочинений и трагедий. Лукан Марк Анней (36—63) — внук Сенеки Старшего, римский поэт, автор поэмы «Фарсалия», описывающей гражданскую войну между Цезарем и Помпеем.

...чуть не лопнул со смеху.— В главе VIII первой книги «Жизни пройдохи по имени дон Паблос» Кеведо выводит полусумасшедшего теоретика фехтования, который обосновывает фехтовальные приемы математикой.

Монтилья — город в провинции Кордова.

Педрочес — селение, расположенное в самом высоком месте Сьерры-Морены.

...выронил свою черную шпагу.— При фехтовании применялись так называемые «черные» шпаги, в отличие от боевых, «белых».

Стр. 211. *Карранса* — Херонимо Карранса де Барреда, теоретик фехтовального искусства, издал в 1569 году книгу «О философии оружия и о владении им», доставившую ему европейскую известность.

«*Башмачок*» — наконечник, надевающийся на острие шпаги при фехтовании.

...*как в склепе герцогов де Кастилья.*— По преданию, в фамильном склепе герцогов де Кастилья всякий раз, как умирал кто-нибудь из их рода, раздавались громкие удары.

...*опустились у Эсиханского Столпа.*— Во многих городах и селениях Испании стояли каменные виселицы или просто каменные столбы с крестом наверху как эмблема власти и правосудия. Такой «столп» действительно являлся одной из достопримечательностей Эсихи. Он служил основанием для плиты, на которой была статуя льва, держащего щит с гербом города; к этой плите подвешивали останки четвертованных преступников.

Стр. 212. *Гарси Санчес де Бадахос* (XV в.) — автор аллегорической поэмы «Ад любви», имевшей большой успех.

«*Великий Капитан*» — прозвище Гонсало Фернандеса де Кордова (1453—1515), выдающегося полководца, прославившегося в войнах против мавров и завоевавшего в 1504 году Неаполитанское королевство.

Альгамбра, Алькасаба.— Альгамбра — знаменитый дворец мавританских королей в Гранаде. Алькасаба — крепость *(арабск.)*.

Мира де Амескуа Антонио — известный поэт и драматург золотого века, друг Велеса и один из его соавторов (около 1578 — около 1640).

Стр. 214. ...*соколы из самой сумрачной Норвегии...*— Соколы норвежской породы особенно ценились любителями соколиной охоты. Здесь намек на преисподнюю, так как Норвегия представлялась испанцам страной, где почти не бывает солнца.

Кармона — город в провинции Севилья.

Стр. 215. *Колюр* — название двух больших кругов небесной сферы, из которых один (колюр равноденствий) проходит через полюсы мира и точки равноденствий, а второй (колюр солнцестояний) — через полюсы и точки солнцестояний.

...*до колеблющейся и неподвижной...*— Согласно средневековым астрономическим воззрениям, основанным на геоцентрической системе Аристотеля и Птолемея, звезды, планеты, а также Солнце и Луна помещаются на девяти сферах, которые вращаются вокруг Земли с различной скоростью, причем это движение сочетается с вращением планет по эпициклам (малым кругам).

Хуан де Эспина — современник Велеса, занимавшийся собиранием редкостей и астрономией, благодаря чему слыл в народе чернокнижником.

...*что Венера рогата.* — Планета Венера, подобно Луне, имеет фазы, что было открыто Галилеем в 1610 году.

...*подобно журавлю...*— См. прим. к с. 201.

Стр. 216. ...*были королями поэзии.*— Из приведенного перечня комментируем менее известные имена. Силий Италик (I в.)— римский эпический

поэт, автор историко-героической поэмы о II Пунической войне. Клавдиан (конец IV в.) — латинский поэт, родом из Александрии, оставивший ряд поэм на исторические сюжеты. Стаций Папиний (около 40 — после 95) — римский поэт, автор двух больших эпических поэм «Фиваида» и «Ахиллеида», стяжавших ему огромную славу в средние века. Саннадзаро Джакопо (1458—1530) — итальянский поэт, автор знаменитой идиллии «Аркадия», многих фарсов, а также элегий, эклог и эпиграмм на латинском языке. Бембо Пьетро (1470—1547) — итальянский филолог, историограф и поэт. Гварини Джованни Батиста (1537—1612) — итальянский поэт, известный главным образом своей пасторальной драмой «Верный пастух» на сюжет, заимствованный из «Аминты» Тассо. Кавалер Марино Джамбаттиста (1569—1625) — знаменитый итальянский поэт, чьи манерные, вычурные стихи вызывали восхищение современников и сделали его главой особой школы. Особенно славилась его поэма «Адонис». Хуан де Мена (1411—1456) — испанский поэт, подражавший итальянской и латинской поэзии, автор аллегорической поэмы «Лабиринт Фортуны». Кастильехо Кристобаль де (около 1490—1556) — испанский поэт, восставший против петраркистов и подражателей итальянской поэзии. Гарси Санчес.— См. прим. к с. 212.

Стр. 217. *Симония* — продажа должностей.

Астольфо — персонаж поэмы Ариосто «Неистовый Роланд», не столько доблестный, сколько удачливый герой баснословных приключений, свершаемых при помощи крылатого коня Гиппогрифа.

Стр. 218. *...с гвоздем.*— Клеймо, состоявшее из буквы S («эсе»), перечеркнутой гвоздем («клаво»), означало «эсклаво» (по-испански — «раб»).

...как дон Бельтран небесных светил...— В одном из народных романсов о Ронсевальской битве рассказывается о гибели рыцаря Бельтрана: «В превеликой этой пыли затерялся дон Бельтран». Это двустишие стало шуточной поговоркой.

...недавно окрещенного...— Звание города было пожаловано Кармоне Филиппом IV в 1630 году за подношение сорока тысяч дукатов.

Стр. 219. *Хиральда*—огромный флюгер в виде статуи Победы на башне Севильского собора.

Триана — в эпоху Велеса де Гевара предместье Севильи (теперь один из районов); расположена на другом берегу Гвадалквивира.

Иерусалимский крест — крест особой формы. Этими крестами украшен дворец герцогов де Алькала́ в память путешествия в Иерусалим одного из членов их рода.

Стр. 220. *...Вирено жениться на... Олимпии.*— История Вирено и покинутой им Олимпии рассказана в песнях IX и X «Неистового Роланда», а также воспета в одном из испанских народных романсов.

Арроба — мера веса — 11,5 килограмма.

Монумент—алтарь, воздвигавшийся в церквах в страстную неделю для хранения облаток, которыми причащают верующих в страстную пятницу.

Стр. 221. *...по плану Филиппа Второго.*— Севильская Биржа была со-

оружена по тому же плану, что и знаменитый монастырь святого Лаврентия в Эскориале, план которого начертал сам Филипп II. И Биржу и Эскориал строил архитектор Хуан де Эррера (1530—1597).

Золотая Башня.— Имеется в виду башня, построенная арабами в 1220 году; получила свое название благодаря облицовке изразцами, отливающими золотом.

Герцог де Верагуа.— Речь идет о потомке Христофора Колумба, проживавшем в Севилье. Он был одним из покровителей Велеса.

Стр. 222. *...ассистент в Севилье...*— В некоторых крупных городах Испании (Марчена, Сантьяго, Севилья) во главе городского управления стояли королевские советники (asistentes), а не коррехидоры.

Стр. 224. *...в битве при Фуэнтеррабии.*—В 1638 году французы сделали попытку вторгнуться на территорию Испании, но были разбиты благодаря героизму гарнизона Фуэнтеррабии.

Пелайо — первый король (умер около 737 г.), избранный знатью и духовенством, которые укрылись в горах Астурии от нашествия арабов. В 718 году одержал победу в знаменитой битве при Ковадонге, что явилось началом отвоевания полуострова.

Стр. 225. *Старший жезлоносец Сантьяго* — почетное звание, которого удостаивались лица из высшей знати.

Праздник Королей — народное название католического праздника (6 января) в честь поклонения королей (царей волхвов) младенцу Христу.

...прославил навек их имя.— Имеется в виду Амброзио Спи́нола (1571—1630), знатный генуэзец, в течение ряда лет стоявший во главе испанских войск в Нидерландах и отличившийся в других военных кампаниях.

...знаменитого отца.— У графа де Салданья Велес состоял на службе примерно с 1608 по 1620 год.

Стр. 226. *Маркиз де Пеньяфьель.*— У него Велес также служил с 1620 по 1622 год.

Герцог де Пастрана.— См. прим. к с. 181.

...Утическому и Цензору.—Марк Порций Катон Утический (95—46 гг. до н. э.) — римский народный трибун, глава республиканской партии. Покончил с собой в г. Утике, узнав о победе Цезаря над войсками республиканцев. Марк Порций Катон Цензор (234—149 гг. до н. э.) — прадед Катона Утического, один из крупнейших государственных деятелей Древнего Рима, полководец, оратор и писатель, с крайней строгостью боровшийся против распущенности нравов.

Стр. 227. *Берберия* — старинное название Северной Африки (Марокко, Алжир, Тунис, Триполитания и др.).

Стр. 228. *...смиренному и кроткому праведнику...*— Имеется в виду святой Франциск Ассизский (1182—1226), основатель ордена францисканцев, одним из ответвлений которого был орден миноритов («меньших братьев»). Орден минимов («наименьших братьев»), учрежденный Франциском де Паула (1416—1508), был по уставу родствен францисканскому.

Стр. 229. *...король Венгрии...*— Речь идет о Фердинанде III (1608—1657), унаследовавшем в 1637 году престол императора Священной Римской империи. Еще до этого, в 1625 году, он был коронован королем Венгрии.

Инфант дон Фернандо (1609—1641) — брат Филиппа IV, правитель Нидерландов. В 1636 году совершил вторжение во Францию, дошел почти до Парижа, но из-за дезертирства немецких наемников вынужден был отступить.

...поцелуями не удивишь...— Испанцев, воспитанных в правилах церемонного придворного этикета, возмущал обычай англичан и голландцев целоваться при встречах.

Стр. 230. *...чуть влажный песок!* — См. прим. к с. 183.

...лишь в темноте...— Монета, чеканившаяся в Наварре, не имела хождения в остальной Испании.

...со сгоревшей мельницы...— По-видимому, намек на какую-то побасенку.

...алькайда Тарифы.— В 1293 году армия мавров во главе с мятежным принцем доном Хуаном, восставшим против своего брата, короля Санчо Храброго, осаждала город Тарифу. Сын алькайда Тарифы Алонсо Переса де Гусман был пажом дона Хуана, и принц требовал, чтобы Перес сдал город, угрожая в противном случае убить его сына. Но Перес в ответ на это перебросил через городскую стену кинжал, сказав, что готов скорее потерять сына, нежели изменить королю. Взбешенный дон Хуан велел зарезать мальчика на глазах у отца. Этот героический эпизод послужил сюжетом для одной из лучших драм Велеса — «Король важнее уз крови».

Стр. 231. *...примут весьма радушно.* —В нижеследующем эпизоде дано комическое изображение Севильской поэтической академии, одной из многих, создававшихся в испанских городах в подражание итальянским академиям.

...как положено, шнурками...— Ношение очков как признак учености было модным в Испании XVII века и часто осмеивалось писателями. Очки имели форму пенсне со шнурками.

Альваро де Кувильо — популярный в то время поэт и драматург (умер в 1644 г.).

Гарсиа де Коронель-и-Сальседо (умер в 1651 г.) — поэт школы Гонгоры.

Сильва — распространенная в испанской поэзии XVII века стихотворная форма — сочетание не всегда рифмованных стихов разного размера.

Стр. 232. *Бетис* — древнее название реки Гвадалквивир.

Стр. 233. *Ректор Вильяэрмосы* — вероятно, поэт Бартоломе Леонардо де Архенсола (1562—1631), который в виде синекуры имел звание «ректора» (главы церковного прихода) в арагонском селении Вильяэрмосе.

Академия делла Круска — знаменитое литературное общество, основанное во Флоренции в 1582 году.

Антонио Уртадо де Мендоса — поэт и драматург, автор большого количества романсов и ряда драм (1590—1644).

...Севилью у мавров.— Король Фернандо III «Святой» (1199—1252) осуществил ряд успешных походов против мавров и овладел почти всеми

мусульманскими территориями на юге Пиренейского полуострова. Севилья была им завоевана в 1248 году.

Стр. 234. *Рентой* — азартная карточная игра.

Эстрадо — деревянный помост, обычно устланный коврами и подушками, заменявший мягкую мебель. Здесь иронически.

Стр. 236. *Паулина.*— «Паулиной» называли эдикт об отлучении от церкви (по имени папы Павла III (1534—1549), при котором такие эдикты вошли в обычай) и в расширенном значении всякую брань, поношения, проклятия и т. п.

Стр. 237. *Градас* («Ступени») — галерея вокруг Севильского кафедрального собора; там собирались купцы для заключения торговых сделок, назначались свидания.

Стр. 238. *Фракийский певец* — Орфей.

Арион — полулегендарный греческий поэт и музыкант (VII в. до н. э.).

Конский Источник — Иппокрена, священный источник на вершине горы Геликон, забивший после того, как крылатый конь Пегас ударил в скалу копытом. Иппокрена в греческой мифологии — источник вдохновения муз.

Вильянсико — народные песенки на религиозный сюжет, обычно распевавшиеся в церквах на рождество.

Амфион — музыкант, сын Зевса и Антиопы, окруживший город Фивы стеной, причем камни сами собой складывались под звуки его лиры (*греч. миф.*).

Стр. 239. *Цезарь Скалигер* — филолог и критик, по профессии врач, родом из Италии, но живший во Франции (1484—1558). Автор многих философских и филологических сочинений; особенно прославился своей «Поэтикой».

...и тому подобное...— Все эти слова, заимствованные из латыни и итальянского, вошли в испанский литературный язык.

...утешитель несчастных...— Кормя птенцов рыбой из своего зоба, пеликан прижимает клюв к груди; отсюда возникло поверье, что он раздирает себе грудь и кормит птенцов собственной кровью.

Стр. 240. *Клавдиан.*— См. прим. к с. 216.

...устав монастыря Паулар...— Имеется в виду устав обители картезианцев в провинции Мадрид, повелевавший хранить обет молчания.

...в Оран на службу его величеству.— В качестве наказания провинившимся дворянам нередко повелевалось отправиться в Оран (испанское владение в Алжире) с двумя воинами, что и пародируется здесь.

«*Одиночества*» — самый знаменитый цикл поздних стихотворений Луиса де Гонгора, отличающихся темнотой языка; к ним уже вскоре после смерти поэта составлялись обширные комментарии (см. прим. к с. 187).

Стр. 241. *...и в трех полушариях...*— Под третьим полушарием подразумевается ад.

Стр. 242. *Потоси́* — город и область в Боливии с чрезвычайно богатыми залежами серебра.

Стр. 242. *Бунт «Ярмарки и зеленого стяга».*—Имеется в виду бунт в Севилье в 1521 году; его наименование связано с тем, что он был поднят жителями квартала Ярмарки, которые несли зеленое знамя, некогда захваченное у мавров и водруженное в качестве трофея в приходской церкви. Участники бунта прославились своей отвагой, которая вошла в поговорку.

Дублон — монета в два и в четыре эскудо.

Стр. 243. *...и вечно дает новые побеги.*— По народному поверью, из этого дуба черти изготовляют весь уголь, потребляемый в аду.

Е. Лысенко

«СЕВИЛЬСКАЯ КУНИЦА» АЛОНСО КАСТИЛЬО ДЕ СОЛОРСАНО

«Севильская Куница» — один из четырех плутовских романов Алонсо Кастильо де Солóрсано, выходивших в свет в такой последовательности: «Мадридские гарпии» (1631), «Плутовка Тереса с Мансанареса» (1632), «Похождения бакалавра Трапасы» (1637), «Севильская Куница» (1642). Три последних романа образуют некое подобие цикла, поскольку их персонажи во многом дублируют друг друга и даже находятся друг с другом в «родственной» связи. Так, героиня «Севильской Куницы» Руфина — это дочь Трапасы, и роман, посвященный ей, сюжетно продолжает «Похождения бакалавра Трапасы», то есть является его второй частью, которую обещал писатель читателям в последних строках «Похождений». «...последующие события его жизни,— сообщает автор о Трапасе, очутившемся на галерах,— описаны во второй части, которая будет именоваться «Дочь Трапасы и столичная моль» и выйдет в скором времени в свет...» Тематически же «Севильская Куница» связана скорее с «Тересой с Мансанареса» и входит в ту линию развития испанского плутовского романа, которая берет начало от «Плутовки Хустины» Лопеса де Убеда (1605), где на месте героя-пикаро появляется героиня-«пикаресса».

Плутовские романы приходятся в основном на последний период творчества Кастильо де Солорсано — одного из наиболее талантливых и плодовитых испанских новеллистов первой половины XVII века, прославившегося как автор сборников «Занимательные вечера» (1625), «Веселые дни» (1626), «Время отдохновения, или Мадридские карнавалы» (1627), «Ночи удовольствий» (1631) и других. Новеллистика в целом более, чем какой-либо другой жанр (а кроме плутовских романов, Солорсано писал комедии и стихи), отвечала основному направлению таланта Солорсано, блистательного и остроумного рассказчика, мастера занимательной интриги, сконцентрированной вокруг какого-нибудь частного события, наблюдательного нравописателя, редко поднимавшегося до обобщений социального и тем более эпохального характера, а тем самым и до «большого» эпического стиля, присущего роману. Обращение Солорсано к плутовскому роману — это прежде всего попытка

использовать формальную схему «пикарески» для объединения ряда новелл в книгу. В первый период своего творчества Солорсано прибегал для осуществления той же цели к созданному еще Боккаччо в «Декамероне» «обрамляющему» рассказу-беседе, в которой беседующим по очереди предоставляется право поведать ту или иную историю. (Впрочем, следы использования этого приема сохранились и в «Севильской Кунице».)

О формальном восприятии Солорсано законов жанра плутовского романа свидетельствует не столько включение им в основное повествование обширных «вставных» новелл, сколько его отказ от автобиографической формы. Рассказ от первого лица — один из основных жанрообразующих законов плутовского романа — предоставлял писателям возможность изобразить действительность в ракурсе специфически плутовского, «низового» взгляда на мир, и эта универсальная точка зрения собирала в романе все, внешне мало связанные между собой, эпизоды из жизни плута в единое художественное целое. Повествователь у Солорсано — это не плут, а образованный человек, близкий к придворно-аристократическим кругам и усвоивший дух «этикетного» восприятия жизни, завсегдатай заседаний различных литературных «академий» и обществ, ориентирующий свое слово на избранную культурную аудиторию. Герой-плут для него — всего лишь объект рассказа, повод для создания одновременно и развлекательного и поучительного повествования.

Но обращение писателя к той или иной жанровой форме, какими бы целями оно ни диктовалось, влечет за собой и усвоение им «внутреннего» содержания этой формы; так и Солорсано, обратившись к плутовскому роману как к способу циклизации новелл («Мадридские гарпии» — еще не роман, а цепь новеллистических историй), пришел к созданию образа Тересы с Мансанареса, описание похождений и проделок которой составляет уже не только сюжетный, но и тематический центр книги. В «Севильской Кунице», по мнению большинства критиков, Солорсано обыгрывает свои собственные художественные открытия времен создания «Тересы с Мансанареса» и «Похождений бакалавра Трапасы», выводя на страницы романа целый ряд персонажей, уже неоднократно фигурировавших в его собственных произведениях, да и в книгах других испанских писателей «золотого века»: скупого старика богача, молодого повесы, отшельника-лицемера, бездарного сочинителя комедий и т. п. В «Севильской Кунице» в поисках сюжетов Солорсано нередко прибегает к литературным источникам. Особенно показателен в этом отношении рассказ о том, как поклонник Руфины Роберто обманывает ее при помощи взятого им напрокат платья: эпизод этот почти полностью повторяет вторую новеллу «Восьмого дня» «Декамерона», в которой «приходский священник из Варлунго спит с мадонной Бельколоре, оставляет у нее в залог свой плащ и, взяв у нее на время ступку, отсылает ее ей с просьбой вернуть плащ, оставленный в закладе». Боккаччо вообще один из главных литературных авторитетов для Солорсано-новеллиста. Однако писатель многое перенял и у своих соотечественников, прежде всего у Сервантеса и у Тирсо де Молина, книгу которого «Толедские виллы» (1624) Солорсано восхвалял

в одном из стихотворений. Писательница-новеллистка Мария де Сайяс-и-Сотомайор также была предметом восхищения автора «Севильской Куницы», о чем свидетельствует один из эпизодов романа.

Сразу после выхода в свет «Севильская Куница» была переведена на французский, английский (трижды), голландский и другие европейские языки. На русском языке отрывки из «Севильской Куницы» (переведенной как «Севильский Хорек») печатались в «Хрестоматии по западноевропейской литературе XVII века» (составитель Б. И. Пуришев. М., 1949). Перевод Е. Лысенко выполнен для настоящего тома по изданию: «La novela picaresca española». Madrid, M. Aguilar, 1946.

Стр. 250. *В «Похождениях бакалавра Трапасы»*...— Имеется в виду плутовской роман, изданный Солорсано в 1637 году. Подробнее о нем см. во вступ. заметке.

...мантию Христова ордена...— Орден Христа — организация духовно-рыцарского характера, созданная в 1317 году в Португалии королем доном Дионисио. Членами ордена могли стать лишь лица весьма знатного происхождения.

...великому государю Испаний...— Под «второй» Испанией имеется в виду Мексика, присоединенная к испанским владениям в 1522 году после ее завоевания Кортесом и прозванная Новой Испанией из-за сходства внешнего облика мексиканских построек с испанскими.

...из императорского города Толедо.— Город Толедо до 1560 года был столицей Испании, а так как еще с XI века некоторые из испанских королей присваивали себе императорский титул, Толедо называли «императорским городом».

Стр. 254. *...некий поверенный туза-перуанца*...—«Перуанцами» в Испании XVI—XVII веков назывались испанцы, долгое время прожившие в Перу и вернувшиеся на родину. Как правило, это были состоятельные люди, поэтому и слово «перуанец» стало синонимом слова «богач».

Торговая палата — организация, созданная в 1503 году в Севилье, которая была, собственно, не торговым домом, а службой кастильской короны, ведавшей морскими коммуникациями, которые связывали Испанию с новооткрытыми землями и снабжением этих земель всем необходимым. В делах этой организации активное участие принимали крупные севильские кущцы.

...как все индианцы...— «Индианцами» называли лиц, приобретших состояние в американских колониях и вернувшихся на родину. Образ «индианца»-скупца был очень распространен в испанской литературе «золотого века».

Стр. 264. *...уроженец Монтаньи*...—Имеется в виду провинция Сантандер на севере Испании, оставшаяся не завоеванной арабами. Жители Монтаньи кичились древностью своих родов и чистотой крови. См. также прим. к с. 204.

Стр. 266. ...*пожелал осмотреть норию в саду*...— Нория — гидравлическое устройство, предназначенное для подъема воды из колодца. Состоит из ворота, приводимого в движение лошадью, и зубчатого колеса, к которому на цепи подвешены расположенные на некотором расстоянии друг от друга бадьи так, что цепь с бадьями образует некое подобие четок.

Стр. 271. *Чапины* — старинная испанская женская обувь без задника.

Стр. 283. ...*я пытался возможно более сообразоваться с тем, как пишут в наше время*...— Излагаемые далее Монсальве взгляды на искусство повествования могут быть с полным основанием названы эстетической программой самого Кастильо Солорсано, стиль лучших романов и новелл которого отличается всеми достоинствами, перечисляемыми Монсальве.

...*талант доньи Марии де Сайяс-и-Сотомайор*...— Мария де Сайяс-и-Сотомайор (1590—1661) — писательница, большую часть жизни проживавшая в Мадриде, автор сборника «Назидательные и любовные новеллы», который считается лучшим, после «Назидательных новелл» Сервантеса, образцом новеллистического жанра в испанской литературе «золотого века»,— это и есть книга, о которой говорит Солорсано, точнее, первая часть ее, увидевшая свет в 1637 году, что позволяет уточнить время создания «Севильской Купицы» (не ранее 1637 г.).

Ана Каро де Мальен де Сото — писательница и поэтесса первой половины XVII века, автор книги «Описание королевских празднеств во дворце Буэн-Ретиро».

Стр. 284. ...*рыцаря ордена Сантьяго*...— Орден Сантьяго — один из четырех военных орденов Испании (Сантьяго, Калатрава, Алькантара и Монтеса), учрежденный в XII веке главным образом для защиты паломников, посещавших Сантьяго де Компостела.

...*у светлейшего эрцгерцога Альберта*...— Альберт Австрийский (1559—1621) — сын германского императора Максимилиана II. В 1597 году, незадолго до смерти, испанский император Филипп II, желая предоставить мнимую независимость Нидерландам, население которых уже в течение тридцати лет боролось с испанскими завоевателями, передал Нидерланды во владение эрцгерцогу Альберту, женив перед этим Альберта на своей дочери инфанте Кларе-Евгении. Нидерланды стали формально независимым (под протекторатом Испании) государством, но на деле новый принципат оставался в полном подчинении у Испании. После смерти эрцгерцога Нидерланды были возвращены испанской короне.

Стр. 285. *Валенсийская Уэрта* — живописная долина в окрестностях Валенсии.

Стр. 291. *Десимы* —строфы, состоящие из десяти восьмисложных строк. Один из распространенных в поэзии XVII века размеров.

Стр. 293. *Мясопуст* — три последних дня перед «пепельной средой», с которой у католиков начинается сорокадневный пост.

Стр. 297. *Баскский мяч*— игра с мячом, в которой игроки состязающихся команд бьют мячом об стенку и поочередно подхватывают его в особые сетки.

Стр. 306. ...*во времена владычества мавров, столице их королевства...*— С 929 года Кордова была столицей Кордовского халифата, созданного арабами на завоеванной ими части испанской территории. В 1236 году Кордова перешла в руки испанцев. Во времена арабского владычества Кордова была крупнейшим в Европе центром науки и культуры.

Стр. 310. *Арнальдо де Вильянова* (1240—1311) — придворный медик короля Педро II, занимавшийся также алхимией.

Парацельс — Филипп Аврелий Теофраст Бомбаст де Гогенхейм (1493—1541), прославившийся под именем Парацельса, ученый медик, профессор Базельского университета, выдвигавший новые научные теории и низвергавший средневековые авторитеты в области медицины— Галена и Авиценну; относился отрицательно к алхимии, но тем не менее приобрел в народе славу алхимика.

Алкиндо — Абу-Юсуф-Ибн-Исаак Абкенди или Аль-Кеади (конец VIII в.— 873 г.), математик, врач, философ и астроном, живший в Багдаде; автор книги «Трактат о магических искусствах», переведенной на латинский язык.

Раймунд Луллий.— См. прим. к с. 189.

Авиценна — Ибн-Сина (980—1037), врач, автор «Трактата о медицине», основного источника сведений по медицине в средневековье.

Альберт Великий (1193—1280) — монах-доминиканец, теолог, философ, под именем которого распространялись апокрифические алхимические трактаты.

Стр. 311. *Мерлин* — персонаж средневековых рыцарских романов о короле Артуре и рыцарях «круглого стола», всесильный маг и волшебник.

Стр. 330. ...*друзья-приятели из братства Кака.*— То есть из воровского братства. Как — легендарный вор и разбойник, похитивший быков Геркулеса (об этом эпизоде повествует VII книга «Энеиды» Вергилия). Имя Кака стало нарицательным.

Стр. 331. *Альферес* — дословно «знаменосец», один из младших чинов в испанской армии.

Стр. 332. ...*в Вальядолид, где тогда находилась столица...*—Вальядолид был столицей Испании с 1601 по 1606 год.

Стр. 333. ...*посетить святилище, где покоится тело святейшего праведника.*— Имеется в виду монастырь Сантьяго-де-Компостела в городе того же названия (провинция Корунья), где, согласно преданию, находится гробница св. Иакова, одного из двенадцати апостолов, умершего мученической смертью в 44 году. Св. Иаков считался покровителем Испании. Сантьяго с древних времен был популярнейшим местом паломничества.

Стр. 339. ...*насколько дельфийское светило ярче звезд небесных...*—Имеется в виду бог солнца Аполлон, чей храм находился в Дельфах.

Стр. 370. ...*алый знак покровителя Испании* — то есть знак ордена Сантьяго.

Стр. 392. ...*хоть и не были культистами, обожали перемещения, да*

только не слов, а драгоценностей...— Культисты, или гонгористы (см. прим. к с. 187), при построении фраз нередко прибегали к инверсии, то есть к перестановке слов внутри предложения, нарушающей обычный строй речи.

Стр. 400. ...*а об их отъезде из Сарагосы поведаем во второй части...*—Это обещанное продолжение так никогда и не было написано Солорсано.

С. Еремина

«ЗЛОПОЛУЧНЫЙ СКИТАЛЕЦ, ИЛИ ЖИЗНЬ ДЖЕКА УИЛТОНА» ТОМАСА НЭША

Двадцать седьмого июня 1593 года Томас Нэш завершил работу над романом, озаглавленным им «Злополучный скиталец, или Жизнь Джека Уилтона» — именно эта дата стоит в конце первого издания книги Нэша, вышедшего в 1594 году. В том же 1594 году появилось и второе, исправленное издание романа.

«Злополучного скитальца» нередко называют английским плутовским романом и предполагают, что он создавался Нэшем по образцу «Ласарильо с Тормеса» (английский перевод — 1576 г.), хотя никаких явных следов знакомства Нэша с испанской повестью в самом тексте романа обнаружить не удалось. Да и по сути «Злополучный скиталец» многим отличается от испанских плутовских романов, что объясняется не только своеобразием национального опыта Нэша (следует отметить, что английская действительность отразилась в «Злополучном скитальце» весьма косвенно, поскольку основное действие романа разворачивается на континенте — во Франции, Германии, Италии). Самое жанровое ви́дение мира у Нэша и у анонимного автора «Ласарильо» мало схоже, и «Ласарильо» и «Злополучный скиталец» могут быть уподоблены друг другу лишь на основе внешних сюжетных совпадений: и тут и там герой повествует о своей полной превратностей, но завершающейся благополучной женитьбой жизни. Однако в «Ласарильо» герой действительно рассказывает о себе, о своей жизни, со своего рождения до того момента, когда он приступает к сочинению письма-исповеди (см. об этом вступ. заметку к повести «Жизнь Ласарильо с Тормеса»), и его автобиография необходимо включает в себя этапы его личностного становления (или деградации), основные вехи его «воспитания», и все эпизоды повести представляют интерес лишь постольку, поскольку соотнесены с внутренним опытом героя. Джек Уилтон повествует в первую очередь не о себе, а об увиденном вокруг себя, внутренне почти не соприкасаясь с окружающим его миром, никак не изменяясь на протяжении всего романа, хотя описываемые им события охватывают по меньшей мере двадцатилетний отрезок времени, с 1513 по 1534 год. Впрочем, Нэш обращается с временем весьма произвольно: Джек оказывается свидетелем событий, изображенных как следующие один за другим эпизоды из его странствий, а на самом деле образующих такую при-

чудливую последовательность: осада Турне (1513 г.)—сражение при Мариньяно (1515 г.) — разгром «Мюнстерской коммуны» (1534 г.) — посещение Италии (до 1527 г.) — встреча Генриха VIII с Франциском I, на которую приходится конец странствий Джека (1520 г.). Джек Уилтон, являющийся на первых страницах романа в роли рассказчика, и Джек—герой повествования— одно и то же лицо, и рассказ его не столько автобиография, сколько используемый Нэшем технический прием, позволяющий ему воспроизвести на страницах «Злополучного скитальца» стиль живой разговорной речи — в противовес искусственному языку писателей-эвфуистов. Роман Нэша напоминает растянутый монолог, разыгрываемый героем со страниц книги. Ситуация своеобразного пролога — обращения к придворным пажам — весьма наглядно воспроизводит отношения героя-повествователя и читателей романа: это отношения аудитории и актера-чтеца, исполняющего роль ловкача, шутника и острослова. Существует мнение, что на Нэша повлиял гротескно-исповедальный стиль Роберта Грина, автора памфлетов «Жизнь и смерть Нэда Броуна» (1592), «Грош мудрости, приобретенный за миллион раскаяния» (1593). Однако, по-видимому, автобиографическая форма «Злополучного скитальца» возникла не без воздействия на манеру Нэша-повествователя современной ему драматургической практики. Театральность многих эпизодов романа (особенно истории Ездры и Катуольфо, так и называемой Нэшем «трагедией») очевидна, равно как натурализм и жестокость отдельных сцен романа свидетельствуют отнюдь не о «реализме» Нэша-романиста, а о том, что сам Нэш и его читатели-современники воспринимали эти сцены через призму своей зрительской практики: кровавые ужасы были обычным явлением на английской сцене конца XVI века.

В романе Нэша существенно иную роль, нежели в «Ласарильо», играет традиционный материал. При создании «Джека Уилтона» Нэш, несомненно, использовал многие сюжеты из английских сборников анекдотов, циклизованных вокруг похождений героя-пройдохи (так называемых «джест-букс»), и опыт итальянских новеллистов, и традицию гриновских памфлетов о «ловцах кроликов», то есть простофиль. Но если в испанской повести сюжет средневекового фаблио или итальянской новеллы подчинен задаче самораскрытия образа героя-повествователя, то в «Злополучном скитальце» анекдот или новелла — лишь сюжетный материал для построения очередной комической или трагической сцены.

Наконец, в «Злополучном скитальце» совершенно иначе, чем в плутовском романе, соотнесены история отдельной личности и «большая» история. Так, в «Ласарильо» сообщение о толедских кортесах преподносится как факт из жизни героя — исключительно для фиксации того момента, когда он пребывает на вершине житейского благополучия. В «Джеке Уилтоне» жизнь героя целиком спроецирована на исторический фон и на этом фоне растворяется, тускнеет. Роман Нэша можно было бы с полным основанием назвать одним из первых в Европе исторических романов, а точнее — романизированной хроникой: не случайно в работе над «Злополучным скитальцем» Нэш все

время ориентировался на исторические труды XVI века — на «Хронику» Ланкета (1565) и «Хронику» Слейдана (английский перевод — 1560 г.). «Злополучный скиталец» — своеобразный синтез авантюрного повествования, сборника анекдотов и хроники. «Все, что я могу обещать Вам в сем фантастическом повествовании,— это некое беспристрастное изложение исторических событий и разнообразные веселые рассказы»,— пишет Нэш в посвящении графу Саутгемптонскому, точно определяя жанровый строй своего романа. Однако «беспристрастность» писателя весьма относительна. Исторический факт не просто романизируется им, «обытовляется» трезво-насмешливым пажом: он предстает повернутым к современным Нэшу проблемам, «искаженным» с объективно-хроникерской точки зрения. Поэтому наряду с историей в основание «Злополучного скитальца» ложится легенда, правда, легенда, возведенная вокруг исторической личности — английского поэта, воина, дипломата, павшего жертвой придворных интриг — Генри Говарда, графа Суррея (1517—1547), первое издание стихотворений которого появилось в 1557 году.

Граф Суррей привлек внимание Нэша как тип человека, воплотившего в себе многие черты раннеренессансного гуманистического идеала совершенной личности, человека — «чуда природы». Вместе с образом Суррея на страницы романа Нэша вторгается дух рыцарской героики, дух рыцарского романа. В жанре рыцарских повествований Нэш создает легенду о любви Суррея к прекрасной Джеральдине — легенду, поводом для сотворения которой послужил один-единственный сонет Генри Говарда, посвященный им десятилетней девочке, Элизабет Фитцджеральд (написан в 1537 г.). В сонете Элизабет фигурирует под именем Джеральдины. Более нигде в стихах и бумагах Суррея, как и в его жизни, имени Джеральдины не встречается. Граф Суррей никогда не посещал Италию — якобы родину Джеральдины, да и Элизабет Фитцджеральд родилась не в Италии, а в Ирландии. Италия нужна Нэшу как страна, с образом которой прежде всего связывалось представление о ренессансной культуре, как родина — не Джеральдины, а Возрождения. Самое описание Италии, как и других европейских стран, основано Нэшем не на собственных впечатлениях, а на рассказах современников, посещавших описываемые Нэшем места: никакие непосредственные книжные источники, откуда Нэш мог бы черпать свои сведения о чужеземных обычаях, об облике итальянских городов и так далее, назвать невозможно.

Однако во всем остальном «Злополучный скиталец» — настоящая энциклопедия ренессансной культуры: рассказ Джека Уилтона пестрит латинскими изречениями, цитатами из античных авторов (Гораций, Овидий, Марциал, Ювенал, Теренций, Плавт, Сенека, Цицерон, Филемон...— далеко не полный список упоминаемых Нэшем имен), рассуждениями на философские и религиозные темы, построенными по всем правилам классической риторики. Нэш сводит своего героя с Томасом Мором и Эразмом Роттердамским, с Пьетро Аретино и Корнелием Агриппой Неттесгеймским — с крупнейшими деятелями ренессансной науки и словесности.

Но роман Нэша не только компендиум ренессансной культуры. Это

подведение итогов, произведение, созданное в момент кризиса раннеренессансных иллюзий. «Рай на земле», описанный Нэшем по образцу «золотого века» древних,— это искусственный рай, вилла для летних увеселений, принадлежащая богатому торговцу. Вокруг виллы — мир, где царят чума, предательство, кровавые пытки, насилие. И не случайно Томас Нэш «отгораживается» от этого мира маской Джека Уилтона — пажа, ставшего свидетелем войн, религиозных распрей и не очень высоко ставящего человеческую природу, предоставленную самой себе. Нэш не просто создает легенду о Суррее и Джеральдине: он ее создает с одной целью — чтобы затем развенчать, спародировать. Насмешлив весь рассказ Джека о любовных страданиях Суррея. Пародия достигает своей кульминации, когда Суррей принимает за Джеральдину хорошенькую итальянку Диаманту и посвящает ей стихи, в которых Нэш пародирует Петрарку.

В этом плане «Злополучный скиталец», как отмечают некоторые критики (например, Д. Урнов), стоит гораздо ближе к «Дон-Кихоту», чем к плутовским романам. Однако пародия у Нэша не становится средством воссоздания внутреннего мира героя, средством изображения его сознания, как это происходит у Сервантеса. Поэтому и «Злополучный скиталец» не смог стать, подобно «Дон-Кихоту», прообразом романа будущего, а остался своеобразной «хроникой» своего времени — панорамой века и «сатирическими записками», в котором Нэш излил свои горечь и разочарование относительно состояния вещей в современном ему мире.

Роман Нэша несомненно пользовался успехом у современников, но вскоре оказался забытым и был издан вновь лишь в конце XIX века. Наиболее авторитетным считается Собрание сочинений Нэша, вышедшее в 1904—1910 годах под редакцией Р.-Б. Маккерроу и перепечатываемое до настоящего времени. В России о Т. Нэше впервые обстоятельно высказался В. Лесевич, опубликовавший в 1901 году в журнале «Русская мысль» статью «Происхождение романа в Англии», в которой содержится пересказ романа «Злополучный скиталец». Отрывки из романа (в переводе В. Лесевича) были помещены в «Хрестоматии по западноевропейской литературе (Эпоха Возрождения)» (сост. Б. И. Пуришев). Полный перевод романа Нэша выполнен специально для настоящего издания Е. Бируковой по изданию: T h o m a s N a s h. The works. Ed. from the original text by Ronald B. Mckerrow. Vol. I—V. Oxford, 1958—1966.

Стр. 403. *Высокочтимому лорду Генри Райосли, графу Саутгемптону и барону Тичфилду.*— Генри Райосли, граф Саутгемптон (1573—1624),— просвещенный аристократ, вместе с которым Нэш обучался в Кембриджском университете (1589 г.), глава кружка литераторов, собиравшихся в его доме. Графу Саутгемптону посвящал свои произведения и В. Шекспир. Во втором издании «Джека Уилтона» посвящение снято, что, по-видимому, объясняется тем, что к этому времени у Нэша появился другой покровитель, мало расположенный к Саутгемптону.

...отличается от тех направлений, каких я доселе придерживался в своих писаниях.— До «Джека Уилтона» Нэшем были написаны сатирические памфлеты «Анатомия бессмыслицы» (1589), «Мольба к черту Пирса Безгрошового» (1592), комедия «Последняя воля и завещание лета» (1592) и ряд других произведений. «Джек Уилтон»—первый и единственный роман Нэша.

Плавт Тит Макций (середина III в. до н. э.— около 184 г. до н. э.)— римский комедиограф, произведения которого пользовались большим успехом в среде ученых-гуманистов XV—XVI веков.

Стр. 404. *Адамантова скала* — иначе — непоколебимая скала (адамант — устар. алмаз).

Стр. 405. *...за игрой в «novus, nova, novum», что означает по-английски: «новости ловкача».*— Приводя разные родовые формы латинского прилагательного «новый, новая, новое», Нэш иронически намекает на распространенную игру в кости, называвшуюся «новем».

Стр. 406. *...если вас заставят поклясться на ночной туфле...*— Клятва на старой туфле входила в комический церемониал принятия нового члена в студенческую корпорацию в Кембридже. Этот шутовской обряд был также распространен среди придворных пажей.

...на крышке переплета вышеупомянутых актов и документов. — «Акты и документы» — выражение, заимствованное у Джона Фокса (1516—1587), назвавшего так один из своих трудов. Употреблялось для обозначения разного рода серьезных и обширных исследований. Нэшем употреблено явно иронически.

Стр. 407. *В те дни, когда... Генрих Восьмой... двинул свои знамена к стенам Турне и Теруана... имея наемниками императора и всю знать Фландрии...*— Генрих VIII (1509—1547)—второй английский король из династии Тюдоров, один из создателей абсолютистской монархии в Англии. В первые годы правления вел войны с королем Франции Людовиком XII. В июне 1513 года Генрих VIII высадился в Кале и захватил два французских города — Теруан (в августе) и Турне (в сентябре). Союзником Генриха VIII в этой войне выступал германский император Максимилиан I (1493—1519).

Coelum petimus stultitia.— Здесь и далее в романе Нэш цитирует знаменитых поэтов древности — Горация (как в данном случае), Вергилия, Овидия и других, часто сопровождая цитаты своим ироническим толкованием.

Палатин, или паладин,— лицо, приближенное ко двору.

...«преуспевать в добре и правде» — изречение, с которого, вероятно, начинали обучение азбуке. Со временем стало поговоркой.

Стр. 408. *...там немало квартир, хотя и поменьше, чем на Лондонском мосту.*— Лондонский мост во времена Нэша на всю длину по обеим сторонам был застроен домами.

Стр. 409. *...за свой дойт... или денье.*— Дойт — мелкая датская монета. Дендипрет — английская монета ценой в 1,5 пенса. Су — французская монета ценой в 1,25 дендипрета. Денье — французская монета, равная 0,1 английского пенни.

Стр. 411. *...продрыхнуть еще лет сорок сряду, на манер Эпименида...*— Эпименид — жрец, живший в VII веке до н. э., легендарный прорицатель и любимец богов. Согласно позднейшим преданиям, Эпименид юношей заснул в зачарованной пещере и проснулся лишь через сорок (версия древнегреческого историографа Павсания) или пятьдесят семь (по «Естественной истории» Плиния) лет.

Стр. 412. *Когда охотник преследует бобра...*— У Нэша очень много подобного рода «зоологических» сравнений. Большинство его сведений, касающихся повадок различных птиц и животных и носящих явно фантастический характер, заимствовано им из «Естественной истории в XXXVII книгах» римского писателя Плиния Старшего.

Стр. 414. *...золотые игральные кости, некогда присланные Деметрию царем парфян...*— Сюжет, наряду со многими другими почерпнутый Нэшем из сочинения «О тщете и недостоверности всех наук» — «De vanitate et insertitudine omnium scientiarum» (1531) Корнелия Агриппы Неттесгеймского (см. о нем прим. к с. 440.). Деметрий — по-видимому, Деметрий I, бактрийский царь (189—167 гг. до н. э.).

Стр. 416. *Аякс.*— Имеется в виду Аякс Большой, один из героев гомеровского эпоса, отличавшийся силой и огромным ростом.

...многие римские герои прокрадывались как соглядатаи в лагерь врагов? — Улисс — римский вариант имени героя гомеровского эпоса Одиссея, мифического царя острова Итака, принимавшего участие в походе против Трои. Нестор — пилосский царь, уже в преклонном возрасте принявший участие в Троянской войне. Диомед — аргосский царь, захвативший во время осады Трои вместе с Одиссеем троянского разведчика Долона. Узнав от Долона, где расположен лагерь союзника троянцев фракийского царя Реса, Диомед проник в лагерь Реса, убил его самого и похитил его волшебных коней. Этот сюжет Нэш воспроизводит по «Метаморфозам» Овидия (кн. XIII)— основного источника его сведений по древнегреческой и римской мифологии. Отсюда — причисление Одиссея, Нестора и Диомеда к римским героям.

Архитас сделал деревянного голубя, который мог летать.— Архитас (400 — 350 гг. до н. э.) — древнегреческий ученый и философ-пифагореец, которому приписываются многие открытия в области геометрии. Сюжет, упоминаемый Нэшем, заимствован им у К. Агриппы.

Стр. 417. *...вместе с Паламедом можете разоблачить Улисса, прикинувшегося безумным...*— Паламед — герой гомеровского эпоса, разоблачивший Одиссея, который притворился сумасшедшим, чтобы не принимать участия в Троянской войне. Одиссей возненавидел Паламеда и впоследствии погубил его. О разоблачении Паламедом Одиссея повествует также Овидий в XIII книге «Метаморфоз».

...можете отличить Ахилла от прислужницы, хотя он сидит с веретеном за прялкой...— Ахилл — герой Троянской войны, сын Пелея и морской богини Фетиды. Послегомеровская легенда рассказывает о том, что Фетида, желая спасти сына, который, согласно предсказанию, должен был погибнуть

в походе на Трою, укрыла его на острове Скирос, где Ахилл рос вместе с дочерьми царя Ликомеда, одетый в женское платье. Узнав об убежище Ахилла, Одиссей, Феникс и Нестор прибыли на Скирос под видом купцов. Разложив перед царевнами женские украшения, они рядом с ними положили копье и щит. Когда неожиданно раздался боевой клич, женщины в страхе убежали, а Ахилл, схватив оружие, бросился навстречу врагу, чем и выдал себя. Сюжет обработан во второй книге «Метаморфоз».

...подобно тому как Ликаон, подавая Юпитеру за обедом человеческое мясо в виде жаркого, не смог обмануть небожителя...— Ликаон — аркадский царь, который, желая испытать богов, предложил им во время пира еду, приготовленную из внутренностей ребенка. Зевс опрокинул стол и испепелил Ликаона и его сыновей, за исключением одного. Миф, разработанный Овидием в первой книге «Метаморфоз».

...сильней воспламенил... его, чем фригийский напев — юношу по имени Тавромонтан...— История, рассказанная К. Агриппой.

Стр. 419. *...столь же простое дело, как сходить в Иелингтон...*—Прогулки в окрестности Лондона на молочные фермы часто упоминаются в современной Нэшу литературе и были, по-видимому, распространенным обычаем.

...подобно коринфянину Дионисию, учит в школе ребят.— Дионисий Младший (367—344 гг. до н. э.) — сын сиракузского тирана Дионисия Старшего, сдавшийся вождю коринфян Тимолеону; был отвезен в Коринф, где зарабатывал на пропитание, обучая в школе детей.

Стр. 423. *Гален.*— См. прим. к с. 28.

Гиппократ (460—377 гг. до н. э.)— знаменитый врач древности, «отец медицины».

Парацельс со своим «духом оружия» и «духами минералов»...— О Парацельсе см. прим. к с. 310. Парацельс, чаще других врачей своего времени, обращался в своей фармацевтической практике к неорганическим веществам.

Стр. 424. *...начисто вымерло бы все потомство Брута.*—Имеются в виду англичане. Брут — здесь: легендарный британский герой, по имени которого якобы названа Британия, внук Энея, бежавший из Италии и основавший на Британских островах Новую Трою — Лондон.

...французский король дерется со швейцарцами...— Французский король Франциск I (1515—1547), разбивший в сентябре 1515 года под Мариньяно армию, состоявшую из соединенных сил швейцарцев и итальянцев, возглавляемую миланским герцогом Максимилиано Сфорца. Швейцарцы потеряли в этом сражении около двенадцати тысяч человек. По заключенному после Мариньяно миру Милан отошел к Франции.

...на помощь пришли венецианцы...— В битве при Мариньяно на стороне французов выступила венецианская армия во главе с Бартоломео Альвиано.

Стр. 425. *...в Мюнстер, где в то время засел глава анабаптистов брат Джон Лейден...*—Анабаптисты—перекрещенцы, наиболее радикальное тече-

ние сектантского типа в Реформации. Анабаптисты отрицали церковную организацию, иконы, таинства, обряд крещения, совершаемый в младенчестве, и настаивали на принятии человеком крещения в зрелом, сознательном возрасте. Анабаптизм ранее всего распространился в Германии, где после разгрома Крестьянской войны 1524—1525 годов начались преследования анабаптистов как со стороны католиков, так и со стороны протестантов. В начале 30-х годов центрами анабаптистского движения стали Северные Нидерланды и Вестфалия, где анабаптистам удалось захватить власть в Мюнстере и организовать «Мюнстерскую коммуну», просуществовавшую с 23 февраля 1534 по 25 июня 1535 года. Вождем коммуны был Иоанн Лейденский (Ян Бокелзон), который после захвата Мюнстера войсками мюнстерского епископа попал в плен и был казнен (1536 г.). При организации «Мюнстерской коммуны» анабаптисты изгнали из города всех, кто не разделял их убеждений, обобщили имущество и ввели ряд законов, касающихся распределения доходов. Подробное описание мюнстерских событий содержала «Хроника» Иоанна Филиппсона, прозванного Слейданом, английский перевод которой появился в 1560 году. Судя по всему, при описании Мюнстерского восстания Нэш следовал за Слейданом, хотя и допустил ряд отступлений и исторических неточностей. Так, описываемая им битва войска Джона Лейдена с имперскими войсками не имеет никакого отношения к Мюнстеру и напоминает более всего сражение при Франкенхаузене, происшедшее 15 мая 1525 года между анабаптистами, возглавляемыми Томасом Мюнцером, и Фридрихом, герцогом Саксонским, также описанное у Слейдана. Таким образом, Нэш контаминировал два события, разделенные десятилетним промежутком времени. О вольном обращении Нэша с хронологией говорит также и то, что в рассказе Джека Уилтона никак не зафиксирован девятнадцатилетний промежуток времени, разделяющий Мюнстерское восстание и битву при Мариньяно.

Стр. 426. ...*Петр носил меч*...—В Евангелии от Иоанна (XVIII, 10—11) повествуется о том, что когда отряд воинов явился в Гефсиманский сад, чтобы схватить Иисуса Христа, преданного Иудой, апостол Петр, «имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо».

Стр. 427. *Где Петр и Иоанн из третьей главы Деяний обрели немощного хромого*...— Речь идет об эпизоде, приведенном в одной из книг Нового завета — Деяниях апостолов (III, 2). —

...«*Луна претвбрится в кровь*»...— Переделка слов апостола Петра (Деяния, II, 20): «Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный».

Не повлек ли дьявол Христа на высочайшую вершину храма, дабы его искусить? — В Евангелии от Матфея (IV, 5—7) рассказывается об искушении дьяволом Христа: «Потом берет его диавол в святый город, и поставляет его на крыле храма, и говорит ему: если ты Сын Божий, бросься вниз...»

Осса и Пелион—горы в Фессалии. В мифах, повествующих о восстании гигантов против Зевса, гиганты, стремясь взобраться на Олимп, пытались взгромоздить Оссу на Пелион, но были повержены Зевсом.

Стр. 428. *...многие из вас, подобно Филиппу, долгое время были с Христом, но так и не узнали его...*— Намек на слова Иисуса Христа, сказанные им апостолу Филиппу в ответ на просьбу показать Отца Божьего: «...столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?» (Евангелие от Иоанна, XIV, 9).

Катон, один из самых мудрых мужей, прославленных в анналах римской истории...— Нэш, несомненно, имеет в виду Катона Утического (95—46 гг. до н. э.), правнука Катона Цензора (234—149 гг. до н. э.). Но приведенный им факт, заимствованный из «Естественной истории» Плиния, относится не к Катону Утическому, а к сыну Катона Цензора Порцию Катону Салонианцу, родившемуся, когда его отцу было восемьдесят лет.

...и не продал, подобно Закхею, все свое суетное достояние...— Закхей — мытарь, о котором в Евангелии от Луки (XIX, 1—10) говорится, что он был удостоен особого внимания Иисуса Христа, после чего «став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо».

Стр. 429. *...подобно тому, как воины метали жребий об одежде Христа...*—Намек на слова Евангелия: «Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий» (От Матфея, XXVII, 35).

Дионисий ничуть не разбогател, украв у Юпитера его золотой плащ, и в конце концов пришлось ему подвизаться в роли школьного учителя в Коринфе.— Нэш смешивает баснословные эпизоды из жизни Дионисия Старшего и Дионисия Младшего (см. о них прим. к с. 419). Похищение золотого плаща приписывалось писателями древности (Валерием Максимом, Цицероном) Дионисию Старшему.

Я имею в виду кардинала Уолси... он сам научил других, как его сбросить.— Томас Уолси (1473—1530) — английский кардинал и политический деятель, имевший огромное влияние при Генрихе VIII. Проводил политику укрепления абсолютизма и подчинения английской церкви центральной власти. Неудачи во внешней политике привели в 1529 году к отставке Уолси.

Стр. 430. *...шайка Книппердолинга и Мюнцера...*—Книппердолинг Берт— анабаптист, мюнстерский купец, с 1533 года бургомистр Мюнстера, один из вождей «Мюнстерской коммуны» (см. о ней прим. к с. 425). В 1536 году, после падения коммуны, был казнен вместе с Иоанном Лейденским. Мюнцер Томас (около 1490—1525) — один из выдающихся деятелей Реформации в Германии, возглавлявший ее наиболее революционное крыло. В 1525 году, после разгрома крестьянского восстания, был казнен.

Стр. 432. *...там я повстречался с высокочтимым лордом Генри Говардом, графом Суррей...*— О Генри Говарде и об истории его любви к Джеральдине см. вступ. заметку.

Стр. 433. *Королева Екатерина Доуджер.*— Имеется в виду одна из жен Генриха VIII — либо Екатерина Арагонская (1485—1536), либо Екатерина Парр (1512—1548); однако Элизабет Фитцджеральд (Джеральдина) никогда

не служила ни у одной из них, а была придворной дамой принцессы Марии, а позднее Екатерины Говард.

Стр. 434. *...отправляйтесь в Италию вместе с Энеем, но будьте вернее Энея.* — Как повествуется в «Энеиде» Вергилия, троянский герой Эней после разгрома Трои и долгих странствий оказался в Карфагене, где в него влюбилась царица Дидона, основательница Карфагена. Повинуясь воле Зевса, Эней покинул Дидону и отправился в Италию. Вероломство Энея вошло в поговорку.

Стр. 435. *...по пути заехали в Роттердам... Там мы повстречались с... ученым Эразмом, а также с остроумцем сэром Томасом Мором...*— Эразм Роттердамский (1469—1535) — крупнейший деятель культуры нидерландско-немецкого Возрождения, писатель, ученый-гуманист, филолог, заложивший основы научного толкования Библии. Был близким другом Томаса Мора (1478—1535) — английского историка-гуманиста, писателя и государственного деятеля. Эразм и Мор сведены в Роттердаме исключительно по воле фантазии Нэша. Первая встреча Эразма и Мора состоялась в 1497 году, вторая — в 1508-м, третья — в 1520-м. В 1515 году, к которому относится эпизод посещения Джеком Уилтоном и его хозяином Роттердама, Мор был во Фландрии, но как раз в это время Эразм находился в Базеле.

...решил... написать книгу в похвалу глупости.— Первое издание «Похвалы Глупости» Эразма Роттердамского вышло в свет в 1509 году.

...он принял решение начертать картину идеального государства... назвав это сочинение «Утопией». — Томас Мор задумал и написал «Утопию» (полное название «Золотая книжечка о наилучшем устройстве государства или о новом острове Утопия») в 1515 году, то есть через шесть лет после выхода в свет «Похвалы Глупости», когда он был послом во Фландрии. Первое — латинское — издание «Утопии» относится к 1516 году, английский перевод появился в 1551 году.

...направились прямо в Виттенберг. — Виттенбергский университет, сыгравший важную роль в немецкой Реформации, был основан Фридрихом III, герцогом Саксонским, в 1502 году. С 1512 года Мартин Лютер был профессором теологии в Виттенберге.

Стр. 438. *...сам Гераклит не удержался бы от смеха.*— Гераклит Эфесский (середина VI в. до н. э.—475 г. до н. э.) — древнегреческий философ, мизантропизм и пессимизм которого вошли в пословицу.

Стр. 439. *...диспут, на котором Лютер и Каролостадий бранились...*— Каролостадий — латинизированная форма имени Андреаса Боденштейна (1480—1541), более известного под именем Карлштадта — деятеля немецкой Реформации, профессора Виттенбергского университета, примкнувшего в начале Реформации (в 1517 г.) к Лютеру, но занявшего более радикальную позицию, что послужило причиной его споров с Лютером. Изображаемый Нэшем диспут является вымышленным отголоском этих споров.

Стр. 440. *...Низолий, каковой только и делал, что выдергивал нитки из старой, изношенной ткани.*— Низолий Марий, точнее Марио Ниццоли

(1498—1576),— итальянский ученый, большинство трудов которого носило компилятивный характер и состояло наполовину из цитат из Цицерона и Демосфена, над чем и иронизирует Нэш.

...встретили... плодовитого ученого Корнелия Агриппу.— Корнелий (Генрих) Агриппа Неттесгеймский (1486—1535) — один из образованнейших людей XVI века, писатель, врач, философ, проявивший себя во многих областях знаний, однако отдавший в своих сочинениях и дань мистицизму. О К. Агриппе ходил слух как о чародее, но все чудеса, которые Нэш приписывает Агриппе, являются вымыслом самого писателя.

Стр. 441. *...когда лорд Кромвель прибыл ко двору посланником короля...*— Кромвель Томас (1485—1540) — английский государственный деятель, никогда, однако, не бывший английским посланником в Испании.

Стр. 442. *Давид, Соломон, Гедеон* — ветхозаветные герои, о героических деяниях которых рассказано в Библии.

Стр. 443. *...добродетельная Лукреция, ставшая безвинной жертвой.*— Лукреция — жена знатного римлянина Коллатина, обесчещенная сыном царя Секстом Тарквинием и заколовшая себя ножом, чтобы смыть кровью свой позор. Имя Лукреции стало символом добродетели.

Стр. 446. *...под стать этим братцам Трулиям...*— По-видимому, выражение, означающее—братцам притворщикам. Может быть, здесь Нэш имеет в виду пуритан.

Стр. 448. *Сафо* — древнегреческая поэтесса первой половины VI века до н. э.

Фаон — возлюбленный Сафо.

Стр. 450. *Джон Рассел* (1486—1555) — английский дипломат, бывший в 1527 году английским посланником при папском дворе.

Пьетро Аретино (1492—1554) — знаменитый итальянский поэт, публицист и памфлетист, прозванный «бичом королей», один из любимых авторов Томаса Нэша. Кроме сатир, Аретино написал несколько произведений на «божественные» темы, которые далее называет Нэш: «Бытие» (1538), «Семь покаянных псалмов Давидовых» (1534), «Жизнь святого Фомы» (1543), «Жизнь девы Марии» (1539). Что касается трактата «О трех всемирных обманщиках», принадлежность которого Аретино оспаривает Нэш, то это анонимное произведение, имевшее хождение в середине XVI века и направленное против основателей трех религий — Моисея, Христа и Магомета, действительно Аретино не принадлежит.

...к Марциалу, по его словам, слетались десятки муз, стоило ему пригубить вино из кубка...— Марциал Марк Валерий (около 40 — около 104) — римский поэт-сатирик. Вероятно, здесь Нэш имеет в виду следующие строки Марциала: «Никуда не гожусь я трезвый! Выпью — //И пятнадцать сидит во мне поэтов» (перевод Ф. Петровского; кн. XI, эп. 6).

Стр. 451. *Макиавелли* Никколо (1469—1527) — итальянский писатель, историк, политический деятель, призывавший к национальному объединению Италии и не видевший к нему иного пути, кроме сильной деспотической

власти, которая во имя великой цели может прибегать к любым средствам и пренебрегать законами морали. Эту — наиболее слабую — сторону мировоззрения Макиавелли и выделяет Нэш, приписывая ему распространение в Италии пагубных идей.

Стр. 452. *Беза* Теодор (1519—1605)—писатель, деятель Реформации (возглавил после Кальвина церковь в Женеве), переведший на французский язык псалмы для реформированного богослужения и создавший ряд драматических переработок ветхозаветных сюжетов. В юности Беза написал ряд фривольных стихотворений на латинском языке, от которых позднее отрекся.

Стр. 453. *...юные сабинянки, захваченные врасплох воинами Ромула...*— Ромул — мифический основатель Рима. Согласно преданию, став царем Рима, Ромул, чтобы увеличить население города, пригласил на праздник соседей-сабинян; во время пира римские юноши похитили сабинских девушек и сделали их своими женами.

Стр. 456. *Герцог Флорентийский.*— Нэш имеет в виду либо Александра Медичи (1510—1537), либо его наследника Козимо Медичи (1537—1574).

Стр. 463. *...дом Понтия Пилата...*— В Риме была площадь, носившая такое название.

...о гробнице папы Григория Шестого...— Нэш, видимо, имеет в виду не гробницу Григория VI, умершего и похороненного в Германии, а Грегорианскую капеллу, воздвигнутую по проекту Микеланджело.

Стр. 464. *...значило бы написать вторую часть «Сокровищницы чудес».*— Имеется в виду сочинение Томаса Проуктора «Великолепная галерея изящных вымыслов» (1578).

Король Артур — персонаж рыцарских романов из так называемого «артуровского» цикла, будто бы велевший соорудить круглый стол с той целью, чтобы на пиру у него не было ни лучших, ни худших мест и чтобы все его рыцари чувствовали себя равными.

Стр. 472. *...скорбеть, как Кефал, нечаянно убивший Прокриду...*— Кефал — охотник, возлюбленный богини зари Эос. Согласно греческому мифу, на охоте случайно убил копьем свою супругу Прокриду, когда она тайно следила за ним, подозревая мужа в неверности. Этот миф обработал Овидий в седьмой книге «Метаморфоз».

...Эдип, который, сам того не ведая, умертвил отца и вступил в кровосмесительный брак с матерью.— Эдип — фиванский царь, который, согласно греческому мифу, юношей получил предсказание оракула, что убьет отца и женится на матери. Устрашенный предсказанием, Эдип покинул коринфского царя Полиба, которого считал своим отцом, и отправился странствовать. Во время странствий он встретил своего истинного отца Лайя и убил его. Придя в Фивы, Эдип освободил жителей города от чудовища Сфинкса и получил в жены вдову Лайя — царицу Иокасту, то есть собственную мать. Узнав через много лет, что предсказание оракула исполнилось, Эдип ослепил себя.

Стр. 473. *Агамемнон... отправляясь на Троянскую войну...*— Агамемнон — предводитель греков в Троянской войне. По возвращении на родину

Агамемнон был коварно убит своей женой Клитемнестрой и ее возлюбленным Эгистом, с которым она вступила в связь в то время, когда Агамемнон находился под Троей. История, приведенная Нэшем, не относится к циклу сюжетов классического эпоса и сложилась много позднее. Заимствована Нэшем у К. Агриппы.

Стр. 477. *...мудрого совета Эпихарха...*— Нэш ошибочно именует Эпихархом греческого писателя и философа Эпихарма (550—460 гг. до н. э.).

Филемон — древнегреческий комедиограф (365(60) — 264(63) гг. до н. э.), написал девяносто семь комедий, от которых сохранились отрывки. У современников Филемон пользовался огромной популярностью, и о его жизни и смерти сложилось много анекдотов, один из которых приводит Нэш, заимствовав его у Валерия Максима.

...о чем писали... Квинтилиан, Сенека и Герман Буш.— Квинтилиан Марк Фабий (около 35 — около 96) — древнеримский теоретик ораторского искусства; Сенека Луций Анней Старший (около 54 г. до н. э. — около 39 г. н. э.) — римский ритор и историк; Герман Буш (1468—1534) — немецкий ученый, пользовавшийся в свое время большим авторитетом, профессор истории в Марбургском университете.

Стр. 479. *...блаженство, воспетое Эпикуром...*—Эпикур (341 —270 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, создатель этики, долженствующей указать путь к счастливой жизни. Счастье, по Эпикуру, состоит в удовольствии, а достижение удовольствия ведет к невозмутимости, безмятежности, включающей и здоровье тела, и спокойствие духа. Впоследствии учение Эпикура было переосмыслено в духе гедонизма и получило вульгарное толкование в обыденном сознании как проповедь стремления к чувственным удовольствиям.

...подобно дочерям Даная...— Дочери Даная, согласно греческим мифам, по приказу отца в брачную ночь убившие своих мужей, должны были за свое преступление после смерти вечно наполнять водой бездонную бочку.

Стр. 483. *...голод, какого не испытывал сам Тантал в аду.*— Тантал — герой греческого мифа, любимец богов, удостоившийся великой чести для смертного — посещать собрания и пиры богов на Олимпе. Возгордившись, Тантал оскорбил богов и за это был низвергнут в Аид, где испытывал страшные муки голода и жажды, стоя по горло в воде и стараясь схватить ускользающую от него ветвь, полную плодов.

Стр. 486. *...ромфордские угольщики, что стараются поддержать честь своей корпорации, бичуя слепого медведя в Парижском саду...*—Эта жестокая забава действительно была распространена в Англии во времена Нэша.

Стр. 487. *...все вина в Риме превратятся в уксус.*—Имеется в виду средневековое поверье, что вина могут скисать от ударов грома.

Стр. 490. *...бежал к герцогу Бурбонскому, который впоследствии разграбил Рим...*—Имеется в виду Шарль Бурбон, который, однако, не участвовал в разграблении Рима, так как был убит при штурме его в 1527 году.

Стр. 498. *Юлиан Отступник* — Юлиан Флавий Клавдий, римский император (361—363 гг.), пытавшийся возродить в Риме язычество, за что и получил в сочинениях христианских писателей прозвище «отступника».

Стр. 499. *...проклясть сам себя, как советовала сделать Иову его жена...*— Иов — герой ветхозаветной Книги Иова. Имеется в виду следующее место из главы II этой книги: «И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей! Похули Бога и умри».

Стр. 500. *...в лагерь английского короля, расположенный между Ардом и Гинэ...*— Речь идет о встрече Генриха VIII с Франциском I, состоявшейся в июне 1520 года. Лагерь Генриха был расположен в Гинэ, лагерь Франциска — в Арде, и встреча их состоялась в долине между двумя городами.

С. Еремина

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Томашевский. Плутовской роман 5

Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения. *Перевод К. Державина* 21

ФРАНСИСКО ДЕ КЕВЕДО-И-ВИЛЬЕГАС

История жизни пройдохи по имени дон Паблос. *Перевод К. Державина* 65

ЛУИС ВЕЛЕС ДЕ ГЕВАРА

Хромой Бес. *Перевод Е. Лысенко* 179

АЛОНСО ДЕ КАСТИЛЬО-И-СОЛОРСАНО

Севильская Куница, или Удочка для кошельков. *Перевод Е. Лысенко* 245

ТОМАС НЭШ

Злополучный скиталец, или Жизнь Джека Уилтона. *Перевод Е. Бируковой* 401

Примечания *С. Ереминой и Е. Лысенко* 501

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ПЕРВАЯ
Том 40

ПЛУТОВСКОЙ РОМАН

*

Редактор С. Шмидт
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректор
Г. Асланянц

*

Сдано в набор 20/VI 1974 г. Подписано к печати 24/X 1974 г. Бумага типографская № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 35 печ. л. 32,66 усл. печ. л. 37,07 + +8 нак.=37,87 уч.-изд. л. Тираж 303 000 экз. Зак. 1489. Цена 1 р. 91 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, М-54, Валовая, 28